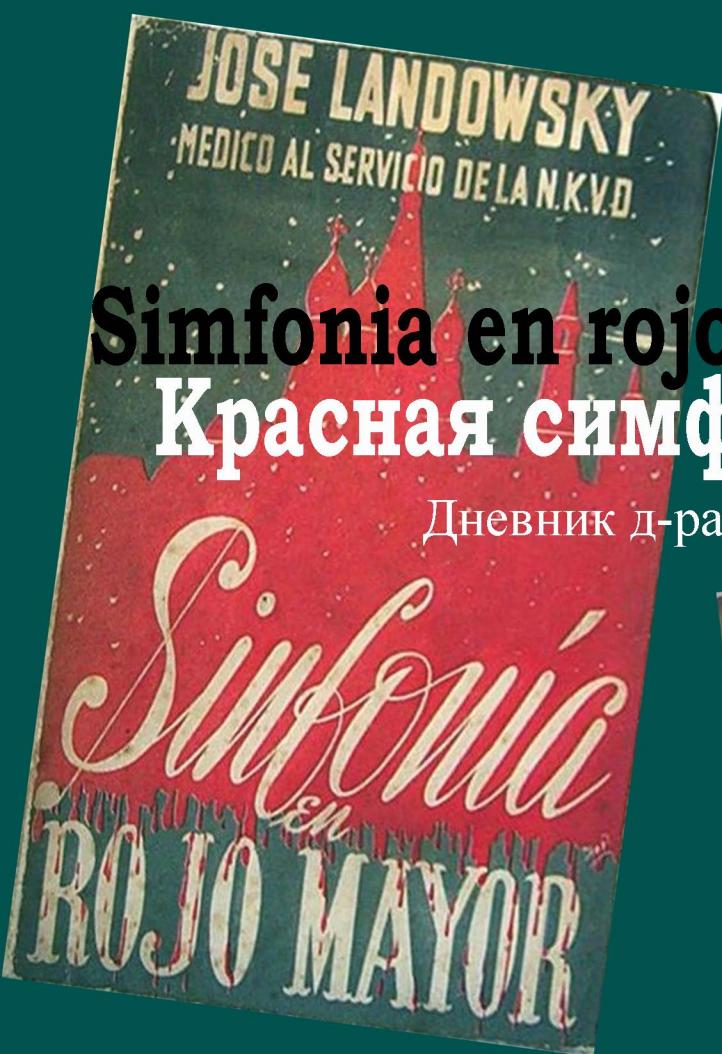
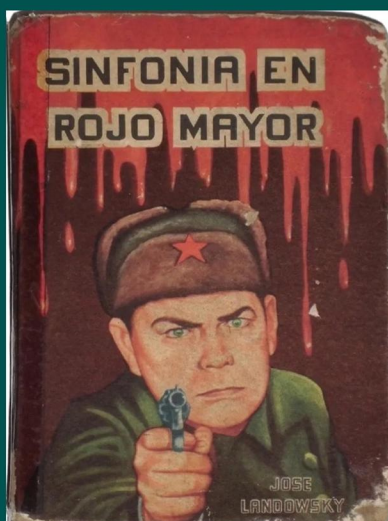
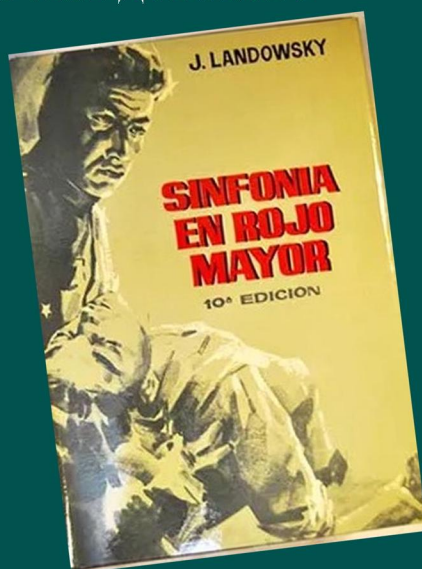


Хулиан Маурисио Карлавилья дель Баррио



Simfonia en rojo mayor Красная симфония

Дневник д-ра Ландовского



Переводчица З. Кулиш

Маурисио Карлавилья

Simfonia en rojo mayor

Красная симфония

Дневник д-ра Ландовского¹

¹ Этот трудоемкий перевод нескольких тетрадей, найденных на трупе Ландовского испанским добровольцем А.И. в одной из изб на Ленинградском фронте.

Он нам принес их. Их восстановление было медленным и утомительным, учитывая состояние рукописей. Оно длилось годы. Еще более долгое время мы сомневались в том, можно ли будет их опубликовать. Финальные разоблачения были настолько чудесны и невероятны, что мы никогда не решились бы опубликовать эти воспоминания, если бы в них не было полного соответствия с фактически существующими людьми и реальными фактами.

Прежде чем эти воспоминания увидели свет, мы подготовились к доказательствам и полемике.

Мы лично отвечаем за абсолютную истинность основных фактов.

Посмотрим, будет ли кто-нибудь в состоянии опровергнуть их путем аргументов и доводов...

Ожидаем.

Переводчик Маурисио Карлавилья.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Вам, мои дети:

Для того, чтобы вы, прочитавши мои воспоминания узнали, что способен сделать отец для спасения жизни своих детей, а зная это, никогда не смогли б вы написать таких ужасных стихов, как эти, которые я прочитал и переписал из одного запоздавшего номера "Правды":

Ты была злостной саботажницей в колхозе,
Мать, ты была его завзятым врагом,²
А так как ты не любишь колхоза,
Я не могу жить с тобой.
Одной зимней холодной ночью.
Когда тебе было поручено караулить колхозное зерно
Ты сама забралась в амбар,
Чтобы украсть колхозное зерно.
Пол-лета ты провела в бездельи,
А зимой, при наступлении ночи,
Меняла, украденное зерно на фураж.
И таким образом ты саботировала план посева.
("Правда", 21 - 5 - 1934)

Проня Кобылин

Автор стихотворения Проня, донесший на свою мать, как на "расхитительницу социалистического добра", премирован стипендией от государства.

ВАШ ОТЕЦ.

² Примечание переводчика. — "Преступление", в котором обвиняет сын свою мать, наказуемо одинаково со следующими случаями:

За пользование без разрешения вещами принадлежащими колхозу (лошадь, рыболовная лодка). Трибунал применяет декрет от 7-го августа 1932 года и присуждает к смерти. За бросание камня в хорька, то, что в акте называется "причинение убытка живому колхозному инвентарю", Трибунал применяет декрет от 7 августа.

("Краткое юридическое руководство" СССР. 1934. стр. 30. Андрея Вышинского)

История? Новелла? Об этом спрашивают читатели КРАСНОЙ СИМФОНИИ.

Документальная критика, весьма необширная, провозглашает ее историей, поскольку предыдущими и последующими событиями в СССР показано и доказано, что это история. Заявления Хрущева, в которых он обвиняет Сталина и разоблачает некоторые интимности ужасных советских чисток, явились последними отзвуками и доказательствами историчности того, что разоблачает СИМФОНИЯ.

Какая история, Читатель! Это история более волнующая и чудесная, чем самые захватывающие террористические, авантурные и любовные новеллы!

Несомненно, что описанная в КРАСНОЙ СИМФОНИИ интимная и реальная история, там пережитая и выстраданная, превышает в сто крат самые смелые и возвышенные творения воображения.

Доктор Ландовский, автор рукописей, выстрадал и пережил сам своей собственной персоной, а также в лице своей супруги и детей, физические и моральные мучения, когда сменявшиеся шефы советской полиции: Ягода, Ежов и Берия заставляли его совершать через посредство медицинской науки ужасные политические преступления, чреватые своими последствиями.

Находясь под властью настоящего гения зла, этого ангела-демона, начальника-чекиста "Ренэ Дуваля или "Капитана Кузьмина", "Габриеля Диаса" и т.п. который так, а может быть и еще иначе назывался при совершении своих геройских поступков главным образом в районе... см. на обороте (далее текст обрывается, прим С.А.)

ОНИ СТУЧАТ В МОЮ ДВЕРЬ

Послышался стук в дверь моей квартиры.

Этот столь обыденный факт вызывает всегда в СССР психическую травму. Звонок или стук извещает о чем-то неизвестном, он вызывает внезапный испуг и тревогу, ибо часто это и есть сам "Ужас", который стучится в дверь нашего очага. Только открыв дверь можно удостовериться, какого рода пришел визитер: то ли это спекулянт сахарином или маслом, то ли член партии, явившийся, чтобы предложить вам новую подписку, а, может быть, это член семьи, возвращающийся домой, или еще кто-либо из тысячи лиц, которые могут иметь в вас надобность. Все это не оправдывало бы тревоги, длящейся для нас целую вечность, начиная от того момента, когда мы слышим стук и до того, когда мы, наконец, решаемся открыть дверь, чтобы посетитель изложил бы нам причину своего визита, но возможность того, что это может быть агент НКВД, ускоряет биение пульсации у всех жителей России, к какой бы категории они не принадлежали, каждый раз, когда эхо от стука достигает нашего слуха.

Во всех семьях предпринимались, обычно, совместные меры предосторожности. Каждый должен был звонить или стучать особым образом. Таким образом можно было распознавать визитера: то ли ближайшего родственника, то ли истинного друга, ибо все очень следили за тем, чтобы употреблять условленный "ключ".

Но в этот день это не был никто из знакомых. Этот сухой стук, который я определил, как повелительный, меня необычайно встревожил.

Инстинктивно я окинул взглядом все вокруг себя. Через отверстие двери - без наличия самой двери - в моей квартире (располагаю двумя комнатами: одна для всей семьи - нас пятеро - и другая в качестве "кабинета") я увидел мою старшую дочь Марию над очагом в облаке дыма и младшую Елену, корпевшую над старым пальто и прошивавшую куски бумаги, тряпье, вату и самые разнообразные вещи между двумя обесцвеченными кусками материи, служившей раньше занавес-

кой, матрацем, полотенцем или еще чем-нибудь в этом роде, и что теперь должно было сделаться прокладкой для пальто моего сына Николая.

Думаю, что промежуток между двумя стуками длился только несколько секунд.

Два сухих повелительных и нетерпеливых удара сотрясли деревянную дверь.

Два сухих повелительных и нетерпеливых удара сотрясли деревянную дверь.

Обе мои дочери стояли неподвижно, вопросительно глядя друг на друга и на меня. Я направился к двери, в то время как Мария сняла икону Иверской Божией Матери и спрятала ее на груди.

Открыл.

— Доктор Ландовский?

— Да. Что угодно? — Я прикрыл за собой незаметно дверь.

Человек в хорошей меховой черной кожаной куртке вынул из кармана удостоверение и показал мне его. НКВД! Угадал я скорее, чем прочитал. Я по-видимому очень побледнел. Он улыбнулся, и мне хотелось верить, что тут не было иронии.

— Ничего не бойтесь, дело идет об использовании ваших технических услуг. Вы должны сопровождать меня.

Мне хотелось верить тому, что он мне говорил, но мне это не удавалось. Все могло быть только обманом.

— Можно поговорить мне с моими детьми, дать им несколько поручений?

— Конечно, как хотите...

Это меня успокоило больше. И, желая быть вежливым, я пригласил агента:

— Не желаете ли пройти? Я им скажу, что вы служащий Центральной лаборатории. Не так ли?

Входим. Обе мои дочери, полные тревоги, посмотрели на меня. Я придал своему лицу выражение наиболее спокойное, какое только мог. Обе стояли рядом как бы в оборонительной позе.

— Это только на один момент, мои девочки. Очень спешный анализ, мне надо уходить. Вот — я показал на чекиста — товарищ из лаборатории.

Я взял пальто, спокойно поцеловал обеих моих дочерей,

не высказывая волнения, которым я был полон при прощании. Вышел, прошел несколько шагов по прилегающей комнате. Не смог преодолеть желание вернуться, вот она обе, вырисовывающиеся на светло-голубом фоне дверной рамы, рядом, совсем рядом, с улыбкой на губах, с немой тревогой в глазах. Такими видел я их в последний момент моей жизни. Моя жена и мой сын не были дома.

Сосед, занимавший помещение через которое мы проходили, ночной работник Метро, приподнялся на своем ложе, посмотрел на нас заспанными бессмысленными глазами и, повернувшись в полуоборот, что-то невнятно пробормотал.

Спустились на улицу. Неожиданность, меня ожидал легковой автомобиль, а не зловещий грузовик, употребляемый для перевозки задержанных.

Швейцар, - извините, "ответственный по дому товарищ" - поджидал нас на тротуаре. Незаметно было в нем обычного самодовольства и чувства превосходства, которым он мне так всегда досаждал. Он поклонился своему "коллеге" (каждый швейцар, как таковой, если он даже не имеет других заслуг, - служащий Г.П.У.), и - небывалый случай - меня он тоже ошачивил более сердечным поклоном, не лишенным даже церемонности. Не подумал ли он, что я поступил в "учреждении"?

Садимся в машину, которая быстро тронулась с места. Мой сопровождающий с любезной улыбкой что-то искал в своем кармане. Я тайком наблюдал за ним. Он мог бы вытащить носовой платок, но с таким же успехом и револьвер. Все же это было ни то и ни другое: он извлек коробочку и предложил мне папиросу, настоящую "интурист", по 5 рублей штука, достижимую только для комиссаров, чекистов, иностранных делегатов и для более важных людей. Я взял ее с восторгом, завязтый курильщик, я почти не помнил, с каких пор я уже не наслаждался сносной папиросой. Это внимание не ободрило меня. Не сделаюсь ли уже я важной особой?

Через замутненные окна я как будто бы различил очертания улицы Дубинки, очертания, хорошо врезавшиеся в мою память, хотя я проходил по ней еще в дореволюционные времена. Ничего странного, вряд ли найдется хоть один житель Москвы, который не будет в состоянии распознать ее с первого взгляда, настолько часто посещает она его воображение, будь то во сне или наяву.

Автомобиль завернул, слегка подпрыгнул, и внутри стало более темно.

Я понял, что мы куда-то в"ехали, наверное, во двор Лубянки, машина затормозила и остановилась. Мой сопровождающий вышел из машины.

— Прибыли.

Я вышел. Перед нами была довольно большая дверь. Два часовых азиатского происхождения, не то китайцы, не то монголы, стояли на часах с примкнутыми штыками, не двигаясь, казалось, будто они заморожены. Я перешагнул через порог и последовал за моим любезным руководителем.

Остановка в портале. Мой сопроводитель заявляет о себе, пред"являя удостоверение, хотя видно, что суб"ект, сидящий за столом, его хорошо знает. Я должен выполнить ту же формальность и установить свою личность пред"явлением паспорта. Сверяются с кое-какими бумагами. Можем проходить. Проходим через короткий уединенный проход. Доходим до другой маленькой двери, тоже охраняемой двумя часовыми, это дверь под"емника, в который мы входим.

Поднимаемся некоторое время. Под"емник останавливается и мы выходим. Еще два часовых. Еще коридор, но лучше освещенный, чем первый. В конце коридора часовые, стол, пара людей в штатском. Мы направляемся к ним. Мой руководитель идет впереди меня. Он снова заявляет с себя, Я тоже. Сверяются по книге. "Проходите". Дверь открывается. Помещение обыкновенных размеров. Там находятся два человека, они сидят и зевают от скуки, - затем лениво поднимаются при нашем входе.

— Подойдите, товарищ, — раз"ясняет мне агент.

Те же два человека приближаются ко мне, протягивают руки, и мне кажется, что они хотят схватить меня. Я встревожен, но меня успокаивает мой сопроводитель.

— Маленькая формальность, товарищ, — раз"ясняет мне агент. Нужно произвести ваш личный обыск.

Я разрешаю, испуская вздох облегчения, приемы этих двух типов не были успокаивающими.

С легкостью экспертов они не оставили ни одного уголка, ни одного шва на моей одежде не прощупанными, не осмотренными, не обследованными. По-видимому, они были удовлетворены, ибо оставили меня, наконец, в покое. В их владении

остался только тюбик борной мази для лечения воспаления в носу. Не знаю, какую опасность могли они в нем увидеть.

Мои контролеры повернулись ко мне спиной, и я следую опять за агентом дальше. Впереди еще дверь и еще один коридор. Опять пара полицейских в глубине его. Я должен ожидать в комнате, которую они охраняют.

— Ждите здесь. Не беспокойтесь, если я немного задержусь, шеф может быть занят, и в этом случае примет вас с задержкой. Возьмите, развлекайтесь пока что. Сказав это, он бросил свою коробочку с папиросами на стол, стоявший посередине комнаты, и вышел без дальнейших церемоний. Слышу, как поворачивается ключ и как его вытягивают из замка: предосторожность, мне непонятная, ибо вышеупомянутые часовые продолжают неподвижно стоять на часах.

Кто я такой? Что я здесь делаю?

Осматриваюсь вокруг себя. В помещении нет окон, и оно освещено искусственным светом. В центре стоит стол, четыре стула и висит неизменный портрет Сталина. Я смотрю на него, а он на меня своими подмигивающими глазами, стереотипными на всех портретах, ни один русский не будет в состоянии сказать засмеется он или начнет кусаться.

Усаживаюсь при наличии этой единственной и такой приятной кампании. Мои нервы немножко успокаиваются, но замечаю, что моя рука, берущая папиросу, несколько дрожит. Курю и испытываю некоторое удовольствие. Тороплюсь, понимаю, что прошло еще немного времени, но мне кажется, что оно тянется. Жду, сидя неподвижно на стуле. Ни звука. Проходят мгновения. Слышу только скрип за дверью. Не идут ли за мной? Нет. Сажу опять спокойно. Опять скрип. Спрашиваю себя не наблюдают ли за мной? Нет. Наконец понимаю, что это за шум. Это скрипят, без сомнения, подошвы, часовых каждый раз, когда один из них переминается с ноги на ногу.

Не знаю, сколько времени я просидел так, известно, что часы - недостижимая роскошь в Советском Союзе. Все уходит на "тяжелую индустрию", ноги усталых полицейских скрипели много раз. Я выкурил четыре папиросы, но я выкурил бы и девять папирос, подаренных мне симпатичным чекистом. Тем не менее я воздержался, мечтая о том удовольствии, которое я получу от них там, в моем доме, после счастливого окончания моего испытания.

Я услышал приближающиеся шаги. До этого момента я не слышал других шагов. Я сделал вывод, что мое дело должно было быть очень важным, если меня привезли в это осиное гнездо - Лубянку, но в такое спокойное и укромное место. Щелкнул ключ, и открылась дверь. Это был мой сопровождающий, которому я улыбнулся одной из моих лучших улыбок. Знаком он пригласил меня идти.

— Шеф ждет вас, следуйте за мной.

Мы прошли через коридорчик. Я заметил в помещении, в которое мы проникли, большую утонченность, даже роскошь, судя по качеству мебели и по хорошему ковру. И тут тоже были поминаемые мною часовые. Я заметил, что это не были обыкновенные солдаты, они были одеты в кожаные куртки, очень чистые - почти блестящие, были в шапках и подпоясаны черными очень широкими поясами, с которых у каждого из них свешивалось по пистолету с казенной частью чрезмерной величины, поскольку ее удлиняла огромная обойма. Их вид был в самом деле зловещим, по ним можно было догадаться о важности персоны, оказывавшей мне честь приема. В одном из углов комнаты сидел маленький человечек, голова которого разделялась на две части аккуратным пробором, чуть ли не все его лицо было закрыто очками, и он сидел внимательно наклонившись над несколькими листами бумаги. Это биологическое ничтожество было, по-видимому, очень важной особой. Мой сопровождающий не осмелился заговорить с ним, он только вытянулся, - я услышал четкий стук его каблуков. Он замер в ожидании. Видно было, что этот не солидный человечек заметил наше присутствие, но не счел нужным взглянуть на нас. Он по-прежнему сидел, уткнувшись носом в бумаги, несомненно - он был близорук, а документы необычайно важны.

Прошла секунда. Наконец радужный блеск этих очков с очень сильными стеклами ослепил наши глаза, как два олимпийских рефлектора. Самодовольно поднял он свой крупный нос и округлил брови. Затем он схватил карандаш и начертил какой-то таинственный зашифрованный знак квадратной формы, он глубокомысленно его изучал. На его незначительной физиономии отразилось удовлетворение.

Что за дьявольский шифр? — подумал я про себя.

Я уже держал в руке свой паспорт. Человечек протянул

свою руку, и я ему его вручил, заметивши, что его ногти были обработаны опытной маникюршей. Он проверил мой паспорт, как бы совершенно на заметивши меня, бюрократический ритуал был закончен со всей тщательностью. Я осмелился бросить взгляд на заинтересовавший меня документ, который лежал рядом с его папкой. О, разочарование! Это был кроссворд, вырезанный и наклеенный на лист бумаги с государственным гербом.

Он возвратил мне паспорт, встал и прошел через дверь, охраняемую часовыми. Слышно было, как открылась вслед другая дверь и затем закрылась. Серьезность моего сопровождаителя прекрасно выявляла, что мы дышим уже почти что одним воздухом с высоким начальством. Но, каким?, тревожно вопрошал я себя.

Снова появился человек, остановился в дверях и, обращаясь ко мне, подозвал меня знаком. Я подошел, он положил руку на ручку закрытой двери, находящейся в непосредственной близости от первой, и прежде чем открыть ее, произнес мощным важным голосом, которого никто не мог бы ожидать от этого вылощенного типа, если бы не было видно, как его тело сокращалось, подобно холщевому мешку, от выпускаемого им воздуха.

— Товарищ Ягода ожидает...

Он открыл толчком дверь и предоставил мне свободный проход. У меня не было времени упасть в обморок при звуке этого имени, и я машинально сделал несколько шагов вперед. Мне показалось, что дверь позади меня закрылась. Я этого не знаю, ибо почувствовал себя ошеломленным и почти что потерявшим сознание.

Вероятно прошло несколько секунд, пока я успел прийти в себя, но мне они показались вечностью. Помещение показалось мне большим, огромным, в том месте, где я находился, была полутень. Передо мною горело несколько электрических лампочек, которые своим живым светом отодвигали полутени и отражались на никелированных предметах, находившихся на большом столе. Все это сверкнуло передо мной молниеносно. А то, что притянуло мой взор, была фигура, которая неподвижно вырисовывалась на освещенном фоне. Это был "Он", вне сомнения "Он".

Он стоял неподвижно, опершись одной рукой на угол сто-

ла и заложив правую, согнутую в локте, за спину. Его взгляд терялся в направлении боковых занавесок. Мои представления о внешности Муссолини или Гитлера воплощались прекрасно в этой фигуре.

Я продвинулся по направлению к статуе. Продвигаясь, я чувствовал, как мои ноги утопали в мягком ковре, и я употребил при этом усилий больше, чем бы их мне понадобилось при пересечении одной из Московских улиц в гололедицу.

Вот я перед "ним". Фигура зашевелилась, повернулась почти что лицом ко мне. Медленно и даже торжественно она протянула мне свою руку, одновременно приветствуя меня:

— Добро пожаловать, гражданин Ландовский.

Я молча протянул руку, не удержавшись от "старорежимного" поклона, тут же упрекнув себя за его несоответствие, но, думаю, что это не было неприятно этой сказочной персоне. На его лице появилось что-то вроде улыбки, и он указал мне жестом на передний стул. Он повернулся ко мне спиной, чтобы направиться к своему креслу, а я ждал и не садился, пока не сел он. Вполне понятно, что ему понравилась эта вежливость, и он повторно приветливо распорядился, чтобы я сел.

Я думал о том, что мне надо что-то сказать, но мои губы как бы склеились. Делаю усилие...

— Я в распоряжении... вашего... в вашем распоряжении, комиссар Ягода... — чуть не выпалил "ваше превосходительство", таково было мое смущение от окружающей атмосферы. Кровь бросилась мне в лицо. Но замечаю, и это так и было, что мой собеседник явно выражает полное удовольствие от всего этого. Лучше пусть будет так.

Он молча смотрит на меня, чтобы я мог полюбоваться им. Берет в руки разрезной нож и кончиком его опирается на папку.

— Гражданин Ландовский, я должен поручить вам одну миссию... - Он сделал жест обозначающий, что подчинение тому приказанию, которое он удостоит мне сделать, должно быть для меня необычайно радостным и является для меня большой честью. По крайней мере он хотел это выразить. Ягода продолжал дальше.

— Очень сожалею, что не имел раньше сведений о ваших способностях в специальности, которой вы занимаетесь. Я ничего не знал о вашем существовании. Помехой является то,

что вы не принадлежите к партии...

— Это не легкая вещь, — перебил я и, думая, что я вышел за пределы дозволенного, добавил: — возможно, мои заслуги, мой возраст, мое образование.

— Может быть, но факт таков, что ваша ценность, что подтверждается всеми моими информациями, прошла мною незамеченной... мною, наиболее информированным человеком в СССР, — самодовольно улыбнулся он. — Ваше имя никогда не появлялось в нашей печати, даже в самых незначительных научных бюллетенях. Очень жаль.

Я окончательно был сбит с толку. Он меня обвинял в том, что я не был популярен? Я не мог догадаться, к чему клонились эти упреки. На все лады я показывал мое одобрение односложными словами и нетерпеливо ждал, когда мы доберемся до сущности вопроса.

— Я очень интересуюсь химией, — продолжал он. — НКВД располагает своими собственными лабораториям, но я не удовлетворен духом инициативы наших техников. Они рутенеры без дерзания. Нам нужны были бы люди вроде вас: изобретательные, исследователи, любители неизвестного в своей специальности. Вы занимаетесь одурманивающими наркотиками. Не так ли?

— Да, — подтвердил я.

— Надеюсь, что мы договоримся. Конечно, в том случае, если вы преодолеете некоторые мелкобуржуазные предрассудки, пережитки вашего прошлого, которые еще у вас остались, но думаю, что это будет делом легким, ибо дело идет о человеке интеллигентном и благоразумном, каковым являетесь вы, Ландовский...

— Я готов на все в области науки, можете быть уверены.

— Хорошо, хорошо... Подойдем к сути дела. Прежде всего, предварительная консультация, как у специалиста. Думаете ли вы, тов. Ландовский, что легко выполнимо, чтобы пациент спал в течении двадцати четырех часов без большого физического расстройств и без последующего вреда для своих способностей?

— Да, я так думаю, это нечто слишком элементарное, ежедневная практика в любой клинике.

— Мы не будем говорить об обстоятельствах в клиниках, дело может касаться и анестезирования пациента при обстоя-

тельстввах более или менее ненормальных. Предположим, что дело касается душевнобольного человека, человека, который сопротивляется и которому нужно дать анестезию против его воли? вы понимаете? Так, чтобы он не понял в чем дело.

— Комиссар Ягода! — перебил я. — Вы знакомы с моими работами.

Он улыбнулся многообещающе.

— Да, — ответил он — кое-что из ваших работ мне известно, и они могут сделать известным ваше имя... Не забывайте, что самый информированный человек в СССР это я.

Он чуть не захлебнулся от удовольствия. Наконец загадка стала раз"ясняться. Даже больше. Как это стало возможным, чтобы моя упорная, но скрытая работа достигла ушей Ягоды? В течение уже нескольких лет я пытаюсь найти такое анестезирующее средство, в котором успокаивающее действие ионов брома соединялось бы с почти что натуральным гипнозом от воздействия барбитуровых кислот (усыпляющие средства) и быстрым действием составов, родственных хлористому этилу, парализуя все, включая и функции вегетативной нервной системы, которые могут быть механически подменены. Благодаря этому могли бы быть разрешены многие хирургические проблемы и среди них проблема, психического шока (я убежден, что все шоки на 80% являются шоками психическими), и стало бы возможным оперировать больных так, чтобы они об этом и не знали. Я добился получения веществ практически токсических, действующих мгновенно при приеме внутрь. Если ловко сделать укол, то суб"ект чувствует только как бы укус насекомого и уже через две минуты, если дело идет о крепком человеке, спокойным образом засыпает. Не предложит ли мне Ягода свои лаборатории для продолжения моих исследований?

Все это я об"яснил ему впопыхах, беспорядочно, вне себя от радости, он слышал меня с улыбкой, с большой благосклонностью, а затем начал играть рычажком, который находился с левой стороны от него. Послышался далекий голос через кружок, служивший по-видимому громкоговорителем:

— Центральная слушает...

— Б-01 приказывает Ягода.

— В вашем распоряжении Б-01.

— Дело Ландовского закончено?

— Да, шеф, направляются в Крым.

— Больше ничего, — и Ягода оттолкнул рычажок в противоположном направлении.

Я сидел ошеломленный. Мое имя, мои наркотики и Крым не имели никакой связи в моей голове.

— Гражданин Ландовский, — Ягода придавал своим словам некоторую торжественность, — гражданин Ландовский, сейчас вам будет известно то, что мы могли бы назвать в некотором роде "государственной тайной". Надеюсь, что вы настолько умны и образованы, чтобы понять, какая ответственность налагается на нас с этого момента. Но если вы на это неспособны... неважно: я уже предпринял меры предосторожности. Слушайте, тот период интернациональных событий, в который вступил СССР, является кануном решающих событий и определенные особы, определенные враги советского населения, сами по себе до смешного незначительные, и до сих пор нас очень мало занимавшие, могут стать опасными, могут стать страшными. Они - ничто, ничего не стоят, но в случае, если при определенных обстоятельствах интернациональной политики они приобретут власть при помощи некоторых буржуазных государств, то они тогда станут для нас опасными. Разумеется от нас зависит избежать этого быстрым и радикальным путем. Для этого у нас слишком много средств и власти. Но здесь дело не в этих элементарных вещах. Человека, особенно если он представляет собой только посредственность, можно упразднить. Правда, в этом случае только предупреждается скандал, который мог бы произойти. Гораздо более, чем исчезновение этих людей, нас интересует то, что они знают. В делах такого рода только начальник знает своих соучастников. Иностранные правительства ведут переговоры с одной персоной и всегда и только устно, в силу простой предосторожности всегда запрещается что-либо записывать. Конкретно: есть за границей одна особа, которая в данный момент нас интересует, это шеф одной антисоветской организации, он предпринимает много предосторожностей для своей безопасности, и нам необходимо иметь его здесь, в СССР. Это все. Конечно он должен быть в нашей власти живым и в прекрасном умственном и физическом состоянии. Такова наша проблема. Часть ее должна быть разрешена вами, тов. Ландовский.

Я старался понять. Сдержанность в выражениях Ягоды не давала возможности видеть дело достаточно ясно. После то-

го, как он окончил свои наставления, и кое-что, соответствующее его персоне и его славе, стало вырисовываться передо мной в этот момент. Я почувствовал себя обеспокоенным. Бесконечное чувство тревоги парализовало меня. Я сделал попытку выйти из этого опасного круга, который замыкался вокруг меня.

— Комиссар Ягода, — начал я. — мне 56 лет, моя жизнь и мои склонности не сделали меня человеком определенно динамичным. Для того, что я предполагаю, т.е. для дела, о котором идет речь, кроме научных сведений, более или менее значительных, требуются еще известные способности, ловкость, дальновидность, проворство... Это, по-видимому, слишком много для меня, я не обладаю такими качествами. Я думаю, тов. Комиссар, что у вас образовались чрезмерные представления о моих способностях. Если вы желаете, чтобы я доказал мою полную преданность Советскому режиму, то я думаю, что ваша попытка выключить меня из сферы науки и теории и переключить и сферу действий подвергнет меня опасности провала. Я очень благодарен вам за честь и доверие, оказанные мне, но думаю, что самое благоразумное будет уклониться...

Ягода меня оборвал. Он встал из-за стола и наклонился по направлению ко мне, опираясь обеими руками о стол. Он пристально посмотрел на меня: губы его раскрылись без улыбки, но так, что виден был один большой и кривой зуб из-под усов а-ля Гитлер. Я заметил, что до сих пор я, собственно, Ягodu-то и не видал, этот, который держал меня сейчас под своим взором, целиком соответствовал легенде. Он не произнес ни слова, пока не выпрямился, но затем заговорил быстро, резко, нервно, с живой мимикой рук, подчеркивавшей каждый слог, каждое слово.

— Нет, господин Ландовский — (это слово "господин", произнесенное им, впервые приняло в его устах особый оттенок, как будто бы он произнес слово "труп"), — вы в великодушном заблуждении. Я не ошибаюсь, я не могу ошибаться. Здесь нет выбора, здесь подчиняются. Достаточно мне сказать один раз, и уже никому нет возврата. Я вас предупредил, что мною приняты меры предосторожности. Я не предлагаю вам возможность выбирать между жизнью и вашей службой... Еще имеются романтики и глупцы, это мне известно. Слушайте

меня хорошо. Дело касается вашей жены и ваших детей.

Я моментально встал, я стоял неподвижно, мой спинной и головной мозг превратились в лед. Ягода сошел со своего места и, повернувшись спиной, прошел несколько шагов. Затем повернулся в полуоборот, держа руки в карманах, искоса глянул на меня.

— Что это значит? Моя жена, мои дети.

Несколько минут он молчал, развлекаясь моей тревогой и иронически улыбаясь.

— А... а. Ваша жена, ваша дорогая жена, ваши любимые дети. Мы договоримся. мы договоримся, гражданин! Не тревожьтесь, пока что не тревожьтесь! Ваша жена и ваши дети путешествуют, попросту путешествуют. Радуйтесь, они едут в благословенный климат: в Крым.

— Но...

— Еще не понимаете? Вещь очень простая и легко отгадываемая. Гражданин Ландовский становится персоной, важной для Советского государства, его семья, как и семьи наиболее высокопоставленных послов СССР, будет ожидать его возвращения и определенном месте отдыха на Черном море, на солнце, место чудесное, я вас уверяю. Все граждане СССР мечтают о том, чтобы там провести свой отпуск. Я вас заверяю, что ваша семья будет чувствовать себя в восторге. Я хотел, чтобы с этой стороны вы были бы спокойны и удовлетворены. Также вас не должен мучить вопрос о благосостоянии вашей семьи, поскольку вы будете заняты важной миссией. Даю вам слово чести! Разумеется, вы догадываетесь о том, что ваш отказ или измена будут равносильны подписи под смертным приговором их и, конечно, вашим. Не думаю, чтобы вам нужно было много раздумывать насчет окончательного решения. И уже догадываюсь о вашем согласии... Не так ли, Ландовский?

Не отдавая себе отчета в этом, я опять сел. Мои охваченные дрожью ноги не держали меня. Мой нервный тон выдохся. Мое тело стало, как тряпка, душа тоже. Я только смог пробормотать:

— Вы распоряжаетесь.

— Великолепно. Вникнем в детали. Курите, товарищ?

Не ожидая ответа, как бы догадавшись об этом, он поставил передо мной, коробку китайской работы с сигарами и папиросами лучших заграничных марок.

Я взял и закурил папиросу.

— А...! Небольшое подкрепление. Разрешите...

Налево от него находился, по-видимому, незаметный шкапчик, ибо в его руках появилась бутылка виски, а затем другая с содой и под конец две рюмки, все произошло быстро с оттенком непринужденности и элегантности.

— Не беспокойтесь, я...

— Давайте, давайте! Хорошая марка? эти чертовские буржуи...

Налил себе и мне — Ну как? При наличии этих и других вещей они дегенерируют, размягчаются. Они устроили войну, чтобы иметь возможность снабжать китайцев опиумом, а для себя резервировали виски, кино и много других вещей. Они почти что уже созрели...

Он засмеялся, желая показаться насмешливым и остроумным. Я заметил с самого начала, что этот Ягода пытался всеми силами выражаться элегантно, следил за утонченностью своих манер и хотел производить впечатление выдающегося человека - одновременно циника и тонко воспитанного. Можно было бы сказать, что в этой голове зарождалось честолюбие. Но все это было неподходящим для народного комиссара НКВД. Возможно, что он воображал себя в своем блестящем будущем среди иностранных дипломатов, встречающимся с дамами, ведущим дискуссии с буржуазными политиками и аристократами. Кое-какие детали его гардероба, необычайно утонченные для советской среды, как например, изящный платок, хорошо выглаженный воротничок, блестящий, как зеркало, красноречиво говорили об этом. Сверх того мое внимание было привлечено его часами, они в самом деле были великолепны, но, кроме этого, при них был брелок настоящего черного жемчуга (что я хорошо определил), запрятанный в карманчик, он развлекался им, тайно его лаская во время разговора, но ни разу не забыл спрятать его в карманчик в тот момент, когда ему нужно было употребить руки для другого дела.

Все это виднелось из-под надетой на него тужурки военного покроя.

Только крой и цвет (она была каштанового цвета и военного типа) выказывали, что тот, на кого он хотел быть похожим, был не его властелин и господин, а - Гитлер, которого я хорошо запомнил по оскорбительным фильмам, демонстрировавшимся не так давно в Московском кино. В состоянии нервного напряжения - а мое дошло до чудовищных размеров - приобретается какая-то странная ясность ума для оценки деталей и для формулировки самых странных выводов, можно сказать, что у души, совершенно парализованной в значительной части своих способностей, остаются совершенно свободными другие ее способности, в силу этого приобретающие большую остроту и силу. Все эти выводы я сделал за то время, которое он употребил на угощение меня виски, меня ни на минуту не покидало чувство тоски, происходившей от горького сознания той опасности, которая угрожала моей жене и моим детям.

Прежде чем снова возобновить разговор, я сделал два больших глотка.

Мне это было необходимо для подкрепления моих сил. А Ягода стал продолжать начатый разговор.

— Дело касается бывшего генерала Миллера. Вы его знали?

— Случайно, когда он был полковником, но теперь я не смог бы его узнать.

— Хорошо, это все равно. Он в Париже. Вам нужно будет поехать туда. Ваша роль очень несложна. Вы говорите по-французски, кажется?

— Довольно правильно? хотя акцент у меня немного твердоват.

— Да, мои информации совпадают. Акцент не является препятствием. Все это сгладится вашими персональными данными. Но, как я говорил, ваша миссия очень проста, безопасна, бескомпромиссна. Конечно, за исключением непредвиденных обстоятельств. Вам только нужно будет его анестезировать и охранять до того момента, когда его нужно будет разбудить. Несколько часов, думаю, что не долго.

Я машинально продолжал пить виски. Уже прошло несколько часов после того как я принимал пищу, время моего ужина прошло давно, я не знаю, который был час, но мой желудок выдавал свое состояние. Действие ликера на пустой же-

лудок было весьма плачевным, будучи возбужденным, но не утратив сознания настоящего момента, я дошел до границы опьянения. Я сам восхищался той натуральностью, с которой я выслушивал детали преступления, в котором я должен буду принимать участие. Натуральность, с которой Ягода говорил о подробностях, как будто бы дело шло о вполне нормальном вопросе, не вызывала во мне никакой реакции. Разве что обострила внимательное любопытство техника.

Он говорил еще некоторое время. Я не могу воспроизвести точно остальной разговор - отказываюсь от этого. Я его слушал и время от времени соглашался, но не мог хорошо увязать все слова, которые достигали моего мозга.

Наконец, он встал. Я также. Не переставая разговаривать, он дошел со мной до двери, открыл ее, и я вышел, отдаляясь от него и не поворачиваясь к нему спиной. Не знаю, как я открыл другую дверь. Ягода стоял у косяка первой. Думаю, что он смеялся. Около меня появился секретарь с очками.

— Пусть гражданин подождет немножко — сказал Ягода, обращаясь к человечку. — До свидания, гражданин Ландовский, желаю удачи, мы уж увидимся по вашему возвращении.

Затем он закрыл дверь. "Важный" секретарь изменил обращение: предложил мне сесть, предложил мне папиросу. Несомненно, что слова шефа дали ему понять, что этот плохо одетый Ландовский может стать в ближайшее время очень важной особой.

Не прошло и 15 минут, как из кабинета Ягоды вышло 2 человека.

Один из них был тот, которого я знал, другой, который шел впереди, вероятно, был более влиятельным, так как не сделал низкого поклона секретарю. Игнорируя его, он направился ко мне:

— Гражданин Ландовский, шеф поручил мне ваше дело. Можем идти, если желаете.

Мы вышли из этой комнаты, сопровождаемые до самых дверей секретарем, распрощавшимся с нами с отталкивающей сердечностью.

Спускались по тем же коридорчикам, по которым сюда входили, пред"являли свои удостоверения личности в тех же комнатах и у тех же служащих, но в два раза быстрее и с меньшими формальностями. Мне была возвращена моя носо-

вая помада. Нас ожидал другой автомобиль, еще более комфортабельный, в том же самом месте, до которого нас доставил предыдущий. Мы уселись в него. Прежде чем дать приказ трогаться, мой сопровождающий спросил меня:

— Нужно ли вам вернуться домой? Я спрашиваю потому, что, может быть, нам нужен какой-нибудь инструмент, или нужно привести в порядок свои документы или еще что-нибудь в этом роде.

— Конечно, я должен вернуться, товарищ...

— Миронов, товарищ Миронов.

— Я предполагаю, что мы не предпримем путешествия сейчас же, товарищ.

— Путешествие? Большое путешествие - нет, но если нам нужно проехать несколько верст сегодня вечером, что скажете?

— Да, да, мне нужно заехать домой.

Миронов дал распоряжение шоферу, и мы тронулись. Я не знал, зачем я ехал домой. Но я чувствовал непреодолимую потребность увидеть это жилище, эту мебель, которая представляла собой часть любимых мною предметов, и которая, может быть, скажет мне что-нибудь о душевных переживаниях моих родных в этот момент. В состоянии своей абстракции я не дал себе отчета в том, что мы прибыли, пока автомобиль не остановился и мы, выйдя из него, не стали подниматься по скользкой лестнице. Швейцар был на месте и весьма настороже, он вышел из под"езда навстречу нам с самым подобострастным низким поклоном: этот тип в новом костюме и шикарных ботинках вызывал у него чувство уважения и почтения. А тот даже и не посмотрел на него.

Толкнули входную дверь и вошли в переднюю - жилище работника Метро, бедный человек как раз одевался, чтобы уходить, и имел довольно комичный вид.

— Немедленно уходите отсюда, — строго приказал Миронов.

Человек схватил одни сапог и сел с намерением одеть его.

— Что вы делаете? Я вам сказал, чтобы вы вышли моментально так, как есть.

Агент направился к нему, но не успел дойти: Антонов уже направлялся к двери в своем достойном сожаления виде на-

столько проворно, насколько позволяли ему его панталоны, свалившиеся ниже колен, и исчез за дверью лестницы.

Вошли в мою комнату. Я не заметил ничего значительного. Меня поразила опустевшая комната. Там, на одном из стульев без спинки еще лежал "проект" простеганного пальто, которое шила Мария. На очаге, уже затухшем, стоял горшок с остывшим пшеничным супом. Но я не заметил признаков беспорядка или насилия. Единственно только исчез мой старый портрет. Досчатый ящик, служивший сундуком для хранения небольшого количества нашей одежды, был пуст: там оставалась только одна моя зеленоватая рубашка, несколько дней тому назад хорошо перешитая моей бедной Катей. Я взял ее и стал рассматривать, не зная точно, что мне нужно делать. Я не отдавал себе также отчета в присутствии моих двух сопровождающих.

— Что вы делаете, товарищ?

— Собираю кое-какую одежду, это мне понадобится во время путешествия. Миронов весело засмеялся, агент ему вторил.

— Не беспокойтесь, товарищ, вас уже ожидает ваше полное обмундирование: не думаете ли вы прогуливаться по бульварам в этом виде?

Я не знал уже, что мне и делать. Пошел в мой "кабинет-альков". За мной последовали с любопытством. Я наложил стопку бумаг, взятых без выбора, чтобы что-нибудь делать, присоединил сюда еще несколько тетрадей с заметками и формулами. Мне хотелось растянуть свое пребывание в доме, мне казалось, что я нахожусь вблизи от своих, и я даже бессознательно представлял себе, что в любой момент может открыться дверь и через нее войдет моя хорошая Катя, сопровождаемая маленьким Николаем, Марией, Анной и Еленой. Несколько раз я прошелся ничего не разыскивая. Присмотрел нетерпеливость моих сопровождающих. Наконец неловко захватил пачку бумаг и стал искать взглядом что-нибудь, во что бы ее завернуть. Там в углу, на спинке одного хромоногого стула заметил белую ленту, которой придерживала свою светлую вьющуюся гривку моя маленькая Елена. Почувствовал неудержимую потребность взять ее с собой. Подошел туда, зажал ее между пальцами, она была мокрая и холодная, на ее кончике, свешиваясь с нитки, балансировала капелька воды, мне взбрело в голову, что это

жемчужинка или слеза, а, может быть, одновременно и то и другое оставленное тут для меня моей малюткой Еленой... Мне захотелось сохранить ее, и я взял ее пальцами, на один момент почувствовал ее холодок, а затем она исчезла, оставив на них свой влажный след, я почувствовал, что по моей лихорадочно горевшей щеке катится настоящая горячая слеза. Когда я смахивал ее со смущением, она соединилась с воображаемой слезой моей дочери. Еще не высохшей на кончике моего пальца.

Я не сопротивлялся больше и вышел, не произнеся ни слова. Вслед за мной вышли оба агента. Они сами заперли на ключ дверь моей комнаты, я поспешил вперед, отдалившись от них, чтобы скрыть охватившее меня волнение и боль.

Они быстро последовали за мной. Я слышал, как они дали распоряжение швейцару, приказывая внимательно смотреть за моей квартирой, чтобы никто не входил туда до моего возвращения, а также не осмелился бы ее занять.

Вышли на улицу. Все втроем сели в авто и быстро поехали.

Я дал адрес клиники, где я работал.

С какой грустью смотрел я на это помещение, в котором я продвигал вперед свои опыты наедине с кошками и собаками и еще кем-нибудь из больных, которые были моими помощниками.

— Соберите все, что вам может понадобиться, товарищ.

Я оглянулся вокруг. Как все предвидит ГПУ,

Входили два человека и вносили сундучок.

— Имеете много чего?

Я остановился в изумлении. Что это такое, "что мне должно понадобиться? Ягода как будто детально разъяснил мне, что я буду делать, но или я не все слышал, или не помню. Машинально стал собирать мои склянки. "Раствор 219", "раствор 220", "раствор 221". Припоминаю, что 221 вызнал в кроликах, при введении под кожу, странный анафилактический шок, без признаков альбумина!

Какие горизонты для исследований! "Раствор 222", "раствор 223". 223 - наиболее действенный из всех, которые я до сих пор получил, при употреблении 223 наблюдал явление понижения давления.

— Давайте, товарищ Ландовский! Не можете ли вы сократить время?

Около дюжины склянок уже в сундучке. Для чего, Боже мой!

II

В ЛАБОРАТОРИИ НКВД

Наш автомобиль проехал окрестности Москвы. Не могу хорошо разобраться, по каким местам мы едем, видно очень плохо, потому что дым от наших сигар и дыхание трех человек сильно затуманили стекла. Только яркий свет от уличного освещения время от времени отражается внутри нашей машины. Когда уже совершенно исчезли все огни, мы все еще ехали быстро около часу. Затем сразу куда-то завернули и остановились. Кто-то приближается к каждому из окошек. Один из моих сопровождающих опускает стекло, и силуэт какого-то человека в шапке с ушами нажимает фонарь, наводя свет на нас. Миронов показывает свое удостоверение, и тот человек вежливо кланяется, как подчиненный. Он отходит. Слышен его голос, отдающий распоряжения. Скрипнула решетчатая дверь, и автомобиль двинулся. Через окошко со спущенным стеклом могу различить большие деревья. Новая быстрая проверка личностей у часового, который держит вахту у дверей небольшого здания, меньше средних размеров, судя по тому, что я могу рассмотреть. Похоже на что-то вроде дома отдыха. Дверь хорошей архитектуры, украшенная двумя колоннами, и над ней виднеется герб.

Вход был открыт нам кем-то, находившимся внутри, после того, как часовой сделал вызов особым способом.

Миронов проходит вперед, я позади него, а за нами следует агент, который затем остается в вестибюле. Мы вдвоем поднимаемся по лестнице. На площадке первого этажа нас уже поджидает человек. Наверное, это управляющий внутренним распорядком этого дома, так как мой проводник его спрашивает:

— Все устроено?

— Да, товарищ Миронов. Несколько часов тому назад мы получили приказ из Центра. Ваши помещения приготовлены, ужин тоже.

— А багаж товарища прибыл?

— Да, товарищ, уже прибыл час тому назад.

— Хорошо, проведите нас в наше помещение. Надеюсь, что мое помещение будет то же, что и всегда, не так ли?

— То же самое. Прошу следовать за мной, товарищи.

Он прошел вперед, и мы вошли в коридор, в который выходило несколько дверей. Затем этот человек, которого я принимал за управляющего, открыл одну из дверей.

— Это ваша, товарищ Миронов, — и, подойдя к следующей, добавил: — а это товарища...

— Ландовский, Иосиф Ландовский.

Служащий остановился у дверей, вперед прошел Миронов, а я за ним. Это была комфортабельная комната с атмосферой комнаты отеля. Хорошая кровать и чистые простыни. Тут же сообщение с другой комнатой таких же размеров, которая, судя по удобной и элегантной мебели определенно старинного типа, могла бы служить кабинетом и рабочей комнатой. На кровати и на двух стульях была разложена полная экипировка.

— Ваша одежда, — указал мне Миронов. — я оставляю вас на некоторое время. Можете переодеться и выкупаться, если желаете. Вам нравится? Горячая вода!

— Я это сделаю завтра, если вам угодно.

— Ни в коем случае. Вашу одежду мы заберем сейчас же. Она не достаточно чиста для этого дома. Кроме того, чем раньше вы привыкнете к своему новому костюму, тем лучше. Вы должны приобрести непринужденность и свою былую элегантность, если это возможно. Вы не должны иметь вид манекена в этом новом костюме. И мы не располагаем большим количеством времени для всего этого. Не беспокойтесь насчет размеров. Одежда изготовлена специально для вас, наши портные имеют ваши мерки, как и мерки тысяч граждан, и работают неплохо. Я оставляю вас. Позовите, когда будете готовы к ужину.

Я остался один. Я был голоден, припомнил, что сказал мне мой руководитель насчет ужина. Начал быстро раздеваться. Подумал, что хорошо бы взять душ. Я не купался уже с лета, и он был бы мне очень кстати. Я так и сделал. Затем я одел темный костюм, сидевший на мне великолепно. Зеркало отобразило прежнего профессора Ландовского, более худого и более старого, но еще не сгорбленного. Хорошо подстриженные волосы и выбритое лицо сделают меня другим человеком. Я

посмотрел и свои глаза. Это был другой человек! Совсем другой!

Я закончил свой туалет и позвонил. Управляющий появился моментально. Мы пошли по направлению к столовой. Ужин был уже накрыт, как было сказано.

Меня ожидал Миронов и еще другой человек, которого я не знал, прежде, чем садиться, налили себе несколько рюмочек.

Меня представили:

— Иосиф Максимович Ландовский, доктор химических наук и медицины. А вот — сказал Миронов, указывая на незнакомца, — Левин Лев Григорьевич, которого будете знать по имени, ваш коллега.

Мы протянули друг другу руки. Одно мгновение я изучал этого типа. Если его отчество не говорило ясно о его расе, то его чисто еврейское происхождение было явно выражено в каждой черте его лица, в каждом его движении. Он был учтив и вежлив, манеры были безупречны, но было в нем что-то отталкивающее и неприятное.

Мы сели за стол. Уже в течение нескольких лет я не видел перед собой подобного банкета. Говорю "банкета", хотя ничего особенно пышного не стояло на скатерти, ясно было видно, что это была обычная в этом доме еда. Одних закусок хватило бы на целую неделю для моей семьи - таково было их количество. А что касается качества, то можно было видеть, что тут содержалось протеинов больше, чем все мы вместе потребляли за один месяц. Мои щедрые хозяева обильно угощались и пили белое сухое вино, которое я определил, как французское, хотя и не знал его марки. Они ели непринужденно, как люди, привыкшие к подобным яствам. У меня аппетит был огромный, и я должен был делать неслыханные усилия, чтобы сдерживать себя. Я хорошо знал неподготовленность своего желудка, и мне не хотелось подвергнуться серьезному расстройству пищеварения на эту ночь. Они меня подзадоривали, но я старался быть умеренным. Я не пожалел об этом, ибо когда дело дошло до кофе и до ликеров, их языки были более развязны, чем мой, и я смог разузнать от них, а частично догадаться, о многих вещах. Не то, чтобы они смотрели на меня как на "одного из своих". Но они должны были знать о моем состоянии "преданности" и благодаря этому же очень стеснялись в разговорах.

Доктор Левин сообщил мне с большой важностью, что он был официальным медиком при НКВД, припомнил времена, когда он охранял драгоценное здоровье Дзержинского и Менжинского, хвалясь тем, что он продлил биение этих сердец на большой срок, он отвергал способы лечения других врачей, которые они хотели применять, и с жаром защищал свой способ, приводя в изобилии разные теории и пересыпая все научными терминами, как будто бы он хотел оправдать себя передо мной, как не знакомым с этими случаями и не могущим высказаться по этому вопросу. Теперь он имел попечение о Ягоде и хвалился его дружбой и доверием. Затем он говорил о своих поездках за границу. Он путешествовал в обществе Горького, при котором был ответственным за его здоровье медиком. Припоминал его поместье в Италии на Капри, затем свое посещение Парижа в 1934 году, нехотая жалел с непомерными преувеличениями о смерти Максима Горького и его сына, создавалось впечатление, будто умер кто-то из его ближайших родственников. Он раз"яснял мне детально характеристику их болезней: алкоголизм сына, туберкулез у отца. "Ах! Какое несчастье для меня. Такие дорогие существа и попали ко мне на лечение как к доктору, уже в таком состоянии! Это были уже настоящие трупы, уважаемый коллега! Мне нужно было сотворить чуть ли не чудо, чтобы продолжить им жизнь!"

Затем он стал интересоваться техническими деталями моей специальности.

Я старался выходить из положения, как мог, я был действительно очень утомлен волнениями и переживаниями этого дня. Миронов это заметил, он предложил выпить по последней рюмке, и вслед за этим мы разошлись.

Я пришел в мою комнату и начал раздеваться. Дверь я, конечно, закрыл. Когда я расшнуровал одни ботинок, то услышал, что повернули ключ. Было очевидно, что меня заперли, как узника, это меня не слишком удивило, ибо я знал, что я в руках ГПУ.

III

ДОКТОР ЛЕВИН - УЧЕНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЫТКАМ

Считаю необходимым сообщить кое-что о своей персоне. Я сын полковника Максима Ландовского, мы происходили из одной старинной польской семьи, породнившейся во времена моих дедов с другой русской семьей. Мой отец уже утратил привязанность к исчезнувшей национальности своих предков, также и мне Польша была безразлична, это значит, что мой родитель был вполне русским человеком, верным царю и храбрым военным, щепетильным в делах чести. Он отличился на войне, был однажды продвинут по службе и много раз награжден. Умер, не достигши славы. Будучи настроен крайне консервативно, он присоединился к Корнилову и был расстрелян, о чем я и моя мать узнали значительно позже. Она, имея очень подорванное здоровье, пережила его только на несколько месяцев, это немного времени, но достаточно для того, чтобы успеть дожидаться захвата власти большевиками в Санкт-Петербурге, когда она умирала, я не мог быть при ней. Я был в это время в Киеве на военно-санитарной службе при Армии, только спустя два месяца после ее смерти я узнал об этом по возвращении домой. Узнал от моей жены, самоотверженно за ней ухаживавшей, как она горевала, не видя меня, как ждала меня, постоянно произнося мое имя. Я женился на Кате в 1914 году, закончивши свои науки и докторат. Мой медовый месяц продолжался только два месяца, так как вспыхнула война, и я должен был быть призван в качестве военного врача. Во время войны родилась моя дочь Мария, и ей исполнился уже 21 год к моменту событий, о которых я повествую, за ней следовала Анна, которой исполнилось 10 лет, затем шел Николай и, наконец, Елена - пятнадцати и девяти лет. Не стану рассказывать о нашей тяжелой жизни. Как сын расстрелянного полковника я был лишен всякой возможности заниматься своей профессией. Я был обречен на голодную смерть. Первые годы я существовал, берясь за любые работы, к которым я только мог бы приложить свои руки и проявить свою деятельность, это были самые низкие профессии. Но не часто попадалась счастливая случайность заработать несколько руб-

лей, и я, располагая временем, находил себе утешение в занятиях наукой.

К счастью, химические книги являлись для толпы нерасшифрованной тайной: я сохранил большую часть моих книг, много книг я нашел также на свалке. Затем мне удалось получить пропуск в библиотеку. Вынужденный аскетизм придавал моим способностям как бы наибольшую силу. Могу сказать без хвастовства, что я почти что достиг степени учености. Думаю, что при наличии в моем распоряжении хорошей лаборатории я бы мог сделать какие-либо сенсационные открытия, но долгое время я не имел возможности работать хоть в какой-нибудь лаборатории. Мои прежние друзья, даже и те, которые устроились при этом режиме, не осмеливались протектировать мне или воспользоваться моим сотрудничеством из страха подпасть под подозрение. До 1925 года я не мог ни с кем установить научной связи. Несколько позже мой прежний товарищ Иванов решился устроить меня в качестве посыльного, хотя и не официально, при Центральной лаборатории Комиссариата Топлива. Это занятие, собственно занятия рабочего, дало ему возможность использовать мои знания, и мы сотрудничали в научных занятиях и опытах. Будучи глубоко ему благодарным, я предлагал свои работы, свои предположения, свои монографии, о которых он, с моего согласия, делал сообщения, как о своих, на конференциях и в статьях, появлявшихся в научных журналах. Его известность возросла, а в силу этого и власть, наличие большей власти позволило ему усилить протектирование по отношению ко мне, что отражалось на моем экономическом положении. Нельзя сказать, чтобы оно стало блестящим, но оно и не было плохим, будучи отверженным парием, я мог уже иметь пропитание не хуже, чем квалифицированный рабочий, а это уже было много. Очень мало, но достаточно для того, чтобы не умереть с голоду. Это уже было большое счастье для моих детей. Мой друг Иванов мог без особой опаски протектировать им по мере того, как они достигали соответствующего возраста, помогая записываться им в школы и университеты. Моя старшая дочь изучала химию, к чему она имела призвание и способности, Анна - вторая - естественные науки, Николай учился еще в школе второй ступени и мог бы пойти очень далеко, благодаря многообещающему таланту и своему прилежанию, он хотел быть инженером. Он

имел питание в учебных заведениях, и его ученический паек, а также и мой паек, к счастью для моей доброй Кати, помогали нам поддерживать семью, что было уже много, учитывая наше политическое положение. Затем один хирург из Врачкина разрешил мне пользоваться лабораторией при операционной, которая служила хранилищем для метел. Там разворачивалось дело с моими анестезическими растворами, пока не появилась у меня возможность начать опыты на людях. Я думал, что никто меня не знает и что я одинок со своей наукой и со своими иллюзиями. Но ГПУ бодрствовало. Боже мой! Чем бы могла стать такая организация, как ГПУ, если бы она была, предназначена для борьбы с человеческими горестями, а не для умножения их.

Мое положение "зачумленного буржуя" имело определенные выгоды: мне не пришлось переживать трагедии, переживаемой многими и многими, кого я знал. Многим, враждебно настроенным к большевикам, и насчитывавшим в своих семьях жертвы, павшие от рук таковых, удалось вступить в партию, камуфлируясь на тысячу ладов, но сохраняя одновременно внутри себя свои религиозные взгляды, еще большее количество записалось в Профсоюзы, благодаря чему им удалось спастись и жить лучше. Но это было для них ужасно, ибо "камуфляж" обязывал их воспитывать детей атеистами, и дети вступали в ряды Комсомола, там они богохульствовали и приобретали вольные обычаи и пороки, которые им там вдалбливались в головы. И то, что началось из-за "камуфляжа", превратилось в ужасную действительность для наиболее близких существ. Надежда на то, чтобы раскрыть им когда-нибудь всю правду о своих дарованиях и идеях, в момент, когда они смогут рассуждать разумно, кажется, никогда не сможет быть реализована. Ибо с годами коммунистическое воспитание превращает этих молодых людей в фанатиков, способных принести все в жертву идее, родители же продолжают отступление под воздействием террора, не смея произнести ни одного слова, опасаясь теперь уже своих собственных детей, видя в перспективе трагический конец своей жизни в Сибири или же от пули в затылок в Чека, как результат доноса на них теми существами, которых они дали жизнь. Я до этого не дошел.

Я не имел мужества воспитать своих детей в том духе, в котором выросла их мать и я. Но я никогда не был защитни-

ком Советов и всегда проявлял к ним индифферентность. Мое положение, несправедливость которого они чувствовали сами на себе, выработало в них чувство отталкивания, обострило их чувство критического отношения и поддерживало в них молчаливую враждебность. Я вполне уверен, что они никогда не принесли бы в жертву несправедливому режиму ни одной своей самой маленькой семейной привязанности. Я очень остерегался экзальтировать их предрасположенность, боялся их неопытности вследствие их молодости и многочисленных ловушек, существовавших среди студентов, благодаря шпионажу. Только моя старшая дочь Мария знала, полностью о моих убеждениях и втайне их вполне со мной разделяла, но у нее был цельный характер, в высшей степени сдержанный, ибо таковой сделало ее воспитание в несчастии. Только она знала, что она крещена, только с ней начала заниматься, моя жена практическим применением религии. Остальные еще ничего же знали даже о своем крещении и только, подражая своей матери, которая не всегда могла скрыть свои христианские привычки, подражали некоторым из них, не понимая точно их значения. Время и их поведение указали бы уж нам, как нам надо было бы поступать с нашими тремя детьми. Их мать, всегда остававшаяся христианкой, обладавшая чувствами, обостренными от горя и склонная к мистике делала неслыханные усилия, чтобы подавить свое рвение. Мне приходилось бороться с ней, и убеждаемая мною она ограничивалась постоянной моральной проповедью словом и делом.

Так было до момента, когда стук чекиста в мою дверь поставил точку на этом большом отрезке моей жизни. И вот я лежу в кровати в незнакомом мне помещении, целиком и руках ГПУ, этого ужасающего советского учреждения, с возбужденными мозгами, в которых перемежаются сцены пережитого вчера с кошмарными образами, мучившими меня всю эту долгую ночь с беспокойным сном.

Думаю, что настал момент серьезно поразмыслить. Закуриваю сигару, чтобы прояснились мысли. Мое положение очерчивается вполне ясно в моем уме. Ягода, думаю, избрал меня, чтобы я принял участие в преступлении. Я еще не знаю, в какой степени должен я принять тут участие, но это безразлично, реально то, что я должен стать убийцей, криминалистом. Моя мысль переносится к жертве, вижу там, где-то, ге-

нерала Миллера, мое воображение воспроизводит его мне в виде легендарного вождя Белой Армии, той армии, от которой я когда-то ожидал своего освобождения. "Нет, ты этого никогда не сделаешь!", кричит мне моя совесть... Но получается внезапное искривление моего воображаемого экрана. Передо мной появляется моя жена и дети, умоляющие меня, я вижу милиционеров, приближающихся со зловещим намерением убить их. Подпрыгиваю на кровати, потрясенный ужасом. Должен сделать большое усилие, зажал голову между руками, чтобы успокоиться, овладеть своими нервами. Мне нужно обдумать хладнокровно, как я должен себя вести. Выпиваю большой стакан очень холодной воды. Проблема поставлена мною как будто бы правильно. Пытаюсь установить термины. С одной стороны, говоря упрощенно, вижу смерть, ужасную смерть одного человека, т.е. генерала Миллера, с другой - пять убийств: моей жены и четверых детей. Разрешая проблему математически, можно усомниться: один меньше пяти. Я сам поражен хладнокровием и автоматичностью, с которыми я прихожу к решению. Прихожу к нему без рассуждений морального порядка, не считаясь с тем, что на трагических весах лежит жизнь моих любимых существ, в то время, как на другой чашке находится белый генерал, мне почти что совсем неизвестный. Но эти же самые соображения мне подсказывают вопрос: "А что, если проблема эта - проблема не математического, а морального порядка? В этом случае арифметическим доводам тут нечего делать. "Не убьешь", слышу я в себе требование высшего безусловного морального кодекса и без наличия смягчающих обстоятельств. "Не убьешь", повторяет и повторяет кто-то очень интимный где-то там в моей груди. Пытаюсь дискутировать с этим непреклонным голодом, но мне не удастся заставить его замолчать. Он не рассуждает, но диктует: и без доказательств имеет больше оснований, чем вся логика.

Я - человеческое существо, я - бедный человек. Хочу подавить этот голос доводами, без конца доводами, принесение в жертву моих родных будет бесполезно, другие - и их найдется много - подчинятся с удовольствием и совершат преступление... Разве не сказал мне Ягода, что жизнь генерала в его руках? Какое значение может иметь то, кто будет его убийцей: я или кто-нибудь другой. Вот эти резоны и еще тысяча других

того же порядка приходили беспорядочной толпой и лавиной наваливались на тот голос, чтобы его придушить, но тщетно, голос парил над нагромождением доказательств, и его "Не убьешь" звучало все сильнее и сильнее в моем мозгу, доходя до металлических оттенков библейских Иерихонских труб...

Так проходили дни и часы. Но вот я услышал поворот ключа в замке, а затем несколько деликатных ударов.

— Войдите, — сказал я.

— Не больны ли вы товарищ? — послышался голос за дверью, — уже одиннадцать часов. Вас ждут...

— Я сейчас приду...

Я услышал удаляющиеся шаги. Я быстро вскочил с кровати. Взял за полминуты холодный душ. Истощенный за ночь, я вновь почувствовал себя бодрым, ибо вследствие моей внутренней борьбы я действительно сильно упал духом. Оделся на сколько мог быстро. И пока я одевался мне в голову пришла ободряющая идея. Почему же она не пришла мне раньше? Очень просто: изменить Ягоде, помешать преступлению... каким образом? А там уже посмотрим! События укажут на способ действия.

Я почувствовал себя счастливым. Все мне казалось теперь легко. Дело устроится хорошо. Ягода не даст себе отчета. Я начал смотреть с чувством превосходства на Ягodu и всю его великолепную организацию преступлений.

Весело насвистывая, я спустился по лестнице. До такой степени настроила меня оптимистически моя прекрасная идея.

Миронов уже ожидал меня в столовой. Он сердечно меня приветствовал и сообщил, что Левин тоже сейчас придет, заметив мой небритый подбородок он раз"яснил мне, что в этом доме можно пользоваться услугами китайского парикмахера, к которому и нужно обратиться, чтобы докончить мой туалет.

Завтракаем основательно: пара яиц, ветчина и кофе с молоком. Нечто превосходное, настоящий вкус чего я уже почти что забыл, так как, если и удавалось когда-либо, весьма редко, раздобыть яичко, то его нельзя было хорошо поджарить из-за отсутствия масла, если в два года раз удавалось достать несколько граммов кофе, то не хватало сахара, ветчина... хорошо. Я забыл даже ее цвет. Но, по-видимому, еще кое-кто в России пользовался такими преимуществами, и в первую оче-

редь это ГПУ. Наверное, они имели все в большом количестве, судя по тому, как непринужденно и обильно они угощались.

Когда мы уже позавтракали и стали курить, прибыл жизнерадостно настроенный Левин, он мне тут же моментально сообщил, что он имел беседу с шефом. "Мне все известно, товарищ", сказал он похлопывая меня добродушно по плечу. "Большая миссия! Как я вам завидую! Мне бы очень хотелось самому заняться этим великолепным делом. Сначала я подумал, что дело касается какого-нибудь поручения внутри страны... поручение продолжить жизнь какого-нибудь видного изменника... это дело обычное... Но ехать туда! О, чудесно! – просто чудесно! Приложите сюда все свое внимание, товарищ, и будущее у вас будет блестящим..., я вас уверяю! Сколь многие будут завидовать вашей работе! Здесь ничего нет. Так начать! Рассчитывайте во всем на меня, товарищ, располагайте мною"...

Впадая в тон я почтительно поблагодарил за хорошие пожелания "дипломата-преступника" и даже позволил себе, отвечая, похлопать его несколько раз по плечу.

Он почувствовал себя польщенным.

— Начнем работать... Товарищ Миронов разрешит нам покинуть его приятную кампанию, если он не пожелает поскучать с нами в лаборатории.

Мы вдвоем пошли наверх по лестнице. Дошли до третьего и последнего этажа. Дверь была закрыта. Ее охранял человек в штатском. Но с такой же серьезностью и сдержанностью, как будто он был в форме. Левин достал из кармана ключ и открыл дверь. Все крыло здания представляло собой как бы корабль с ориентировкой на полдень. Большие окна с двойными стеклами прекрасно его освещали, снаружи железная или стальная сетка заменяла оконную решетку.

По мере приближения к первому столу, который был приставлен к большому окну, Левин мне заметил:

— Не вздумайте открывать его и дотрагиваться до сетки, она соединена с током высокого напряжения.

Первым моим впечатлением было удивление, связанное с чувством зависти. Лаборатория была колоссальная. Широчайшие белые мраморные столы у окон, в центре – витрины с бесчисленными материалами, помещение было весьма просторно, царил порядок и чистоты, которого нигде в СССР

я не чувствовал. Стеклянные перегородки разделяли зал на отдельные помещения. Я не так скоро выбрался из первого помещения, так как Левин меня там задержал. Это было фармакологическое отделение, там на одном из табуретов стоял мой чемоданчик, еще запертый, в котором были упакованы мои "растворы". Еврей указал мне на ряд баночек, размещенных в витрине рядом с испытательными трубками, пробирками, стеклянными колбами и бюретками.

— Смотрите, — сказал он мне, — это нечто совершенно новое. Экстракты из канабий, усовершенствованные Люменштатом.

— Здесь работает Люменштат?

— Да, сейчас у него пятнадцать дней отпуск, и он возвратится еще через пятнадцать следующих дней.

Затем он взял в руку одну из бутылок с пробкой, залитой парафином, и содержащую сильно улетучивающуюся красноватую жидкость.

— Вам это не знакомо? — спросил он энтузиазмом. — Да, конечно, вы этого не можете знать. Но вам стоило бы его испытать. Это средство для наслаждения, наиболее утонченного из всех известных. Вне СССР о нем ничего неизвестно. Достаточно одной дозы размером в кубический сантиметр, впрыснутой под кожу, и человек, получающий ее, испытывает упоительнейшее наслаждение, о каком только можно мечтать. Видения, галлюцинации переживая необыкновенной красоты и несравненной привлекательности. Вы никогда не пробовали гашиша?

— Нет, нет, товарищ.

Это же гашиш, употребляемый арабскими султанами, персами и всеми древними народами от Средиземного моря до Аравии и Индии. Люменштату удалость культивировать в южных республиках индийскую коноплю, улучшить ее сорта и добыть оттуда спирт необыкновенно чистый и очень высокой концентрации.

Революция захватила его на этих исследованиях. Он был вынужден прервать свои труды, НКВД дало ему все средства для выполнения точных работ, и та степень усовершенствования, которой он достиг, — несравнима. Никогда не обладало человечество такими наркотиками, которые могли бы вызывать чувства наслаждения, подобные этим. Вообразите себе:

вековая мудрость, облагороженная новейшей и могущественной химией.

Я был ошеломлен, НКВД, - применяющее средства наслаждения? Или я сошел с ума? Или доктор еврей говорил вздор.

— Но — спросил я робко, — зачем нужны Политической Полиции такого рода вещества?

— Они составляют часть аппарата пыток — был невероятный ответ.

— Хорошо ли я понял? Как вы сказали?

Он поставил банку на свое место и пристально посмотрел на меня, улыбаясь.

— Дорогой друг. Мы создаем новое человечество, о чем вы должны знать. Христианское человечество доставляло себе удовольствия, пользовалось и обладало всевозможными вещами, наслаждаясь подобно тому, как наслаждается стадо свиней грязью. Ну и вот, то, что до сих пор было уделом немногих, станет теперь инструментом для построения коммунальной жизни.

— Не могу понять...

— Чего? Куда я клоню? Слушайте меня дальше и имейте терпение. Хотите закурить? У меня есть поручение дать вам несколько уроков высшей политики, которые вам пригодятся в будущем.

Мы закурили по папиросе, и еврей продолжал наставлять меня в высшей политике следующим образом:

— До сих пор все государства пользовались болью как полицейским средством. Припомните "инквизицию" в различных средневековых странах, при помощи каковой вынуждались признания и необходимые заявления от врагов, а также при посредстве которой люди запугивались с целью держать их в подчинении. Мы, - я, говоря откровенно, я, я сам! - думаем пользоваться и болью и наслаждением. Представьте себе арестованного из группы тех, которые сопротивляются и не дают признаний. Предположите, что его пытаются, а он выдерживает все мучения, включая и те, которые подвергают опасности его жизнь.

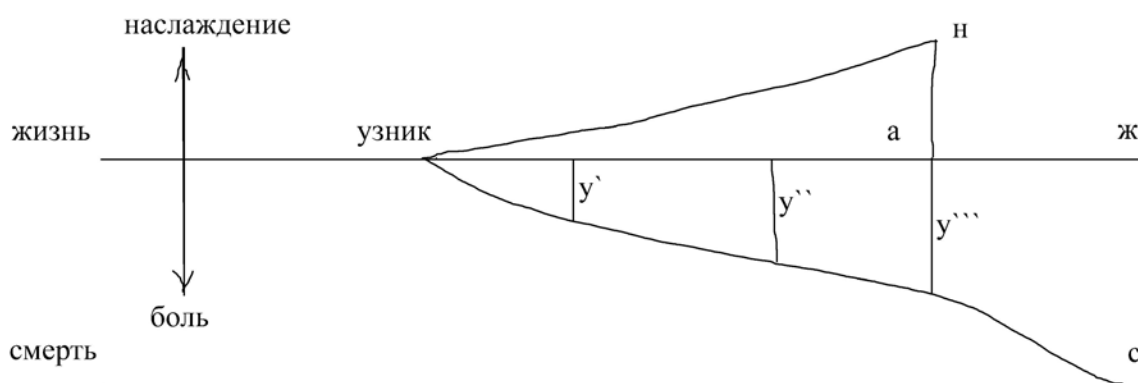
Все бесполезно. Невозможно идти дальше этим путем, ибо он настроен умереть, не дав показаний. Ну и вот, дорогой коллега, если этому человеку дать возможность наслаждения, на-

слаждения, доселе им никогда не испытанного, его воля максимально напрягается и подвергается двояким усилиям. Я это раз"ясню все математически.

Он подошел к доске и начертил нервно линии и буквы. Обозначил буквой Ж горизонтальную линию.

— Это линия жизни, обычной жизни без больших страданий или особенных удовольствий. Ну, в общем, жизнь человеческого существа. Представьте себе, что мы берем какого-то человека - политического преступника, врага народа - и отклоняем его от этой траектории. У - обозначает: узник.

И отклоняем его от линии жизни вниз, т.е. к страданию. Одним словом, пытаем его с целью покорить его волю. Ясно, что его воля цепляется за жизнь, мы продолжаем нажим и с каждым разом последовательно натягиваем ее сильнее, как это показывают пунктирные линии, посредством пытки от У к У', затем к У'' и т.д. Теперь смотрим: если воля, натянутая до степени У'' путем максимального увеличения пытки, доходит до У''' и все еще сопротивляется, то мы уже не можем усиливать больше пытку, так как дойдем до уровня смерти. Понимаете?



Да, я понимал и ужасался этой бесчеловечностью, вычерченной геометрически на доске. По-видимому Левин заметил выражение моего лица, потому что он начал опять улыбаться и стал продолжать с большим воодушевлением.

— Теперь предположите, что мы не ограничиваемся тем, что "тянем" этого человека к низу, но, наоборот, ставим его над жизнью, мы доставляем ему не боль, а наслаждение такое прекрасное, о котором он никогда не мечтал. Изображаю это

буквой Н. Подготавливаем человека путем страдания, затем доставляем ему наслаждение, т.е. резко поднимаем его от уровня обычной жизни до уровня счастья, как обозначено этой поднимающейся толстой линией. Теперь, без передышки, применяем пытку максимальной степени. Воля этого человека, мой друг, подвержена уже не усилию У, которое равняется двум, но усилию А, которое равняется четырем или десяти, или же двадцати. А? Что вы мне скажете?

Он чертил на доске размашистыми движениями руки, говорил с выкриками, как бы одержимый сверхнатуральным энтузиазмом, и утомился. Он опустился на табурет и заговорил более тихим тоном, скрестив из груди руки.

— Вы же знаете, в организациях социальной защиты всегда пытаются человека. Когда он уже больше не может выдержать, ему говорят: "Если сообщишь нам то, что нас интересует, тебя освободят от этих мучений". А мы делаем гораздо больше: "Если сообщишь нам то, что нас интересует, вытащим тебя из этого пекла и доставим тебя в рай, где позволим тебе наслаждаться целую минуту. Понимаете ли вы, что этот мой метод несравненно более действенен, чем обычные методы?

Я чувствовал себя в неопределенном положении перед этой гиеной. Вдруг его взгляд сделался холодным, и он сказал уже почти что враждебно:

— Вас это не воодушевляет? Я думаю, что вы обладаете очень вялой научной мыслью. А вы знаете такую вещь? Мой метод с математическими схемами, которые вы здесь видите, был предложен через НКВД нашему прославленному товарищу Сталину. И Сталин одобрил его, наградив меня почестями. Не знаете, что у меня будет орден Ленина? Кроме этого, обратите внимание на то, что моя схема (линия жизни - горизонталь, верхнее пространство, поле положительных знаков, наслаждение, пространство нижнее, поле отрицательных знаков, боль) соответствуют самому чистому ортодоксальному марксизму, наиболее научным материалистическим директивам в области психологии. Ну, что скажете? Ничего не скажете?

— Что я поражен, — сказал я откровенно. — Все это мне кажется необыкновенным, невероятным. Не имел ни малейшего понятия о...

— Да, я понимаю, что вы потеряли дар слова. Вы воспитаны в буржуазном духе скромности. До настоящего времени

в мире еще не существовала настоящая научная дерзновенность.

— А не знаете ли вы еще что-нибудь в этом роде?

— Видите ли, должен сознаться, что другие вещи более низкого порядка. В другие я не вникаю непосредственно. Но это,... это мое творение, мое собственное!

— А как же Люменштат?

— Люменштат - сумасшедший. Он сам не знает, что делает. Я взялся за него, чтобы он работал, как автомат. Я имел неосторожность рассказать ему, для чего мне это было нужно, и он испугался. Он тоже буржуа. Первый авторитет в мире по алколоидным материям, но буржуа. Я его заставляю работать хорошо! Я его послал сейчас в отпуск, а то он совсем уж пропал.

— Значит, вы, товарищ, занимались только наркотиками?

— Да, я занимаюсь фармакологией. Здесь же мы получили органические вещества, очень полезные для сна. Это средства, очень хорошо действующие и возбуждающие симпатическую и нервную систему. Могу сделать так, что арестованный не закроет глаз в течение целой недели, что бы с ним ни произошло, и это при помощи простых таблеток или же инъекций внутрь ягодичной мышцы. Способ, гораздо более действенный и гораздо более легкий, чем устаревшие световые фокусы, оглушительные звонки и т.д. В точности обратное тому, что продельваете вы, не правда ли? Вы, товарищ, их усыпаете, а я их пробуждаю. Остроумно!

Он раскатисто захохотал над своей шуткой. И я должен был иметь довольный вид и должен был выносить все утро этого монстра, который занимался наукой с исключительной целью сделать человечество более несчастным от всего того, что можно было постигнуть при ее помощи.

Любопытно, то, что этот еврей был типом на редкость элегантным. Вид у него был приятный, взгляд приветливый, проникновенный и искренний, голос пылкий, манеры свободные и мягкие. Он показался мне необычайным уникамом своей расы, в своем роде аристократом.

Выслушивая его болтовню, я одновременно распаковывал и расставлял в витрине мои склянки 220, 221, 223, мои дорогие. Как ласкал я вас тайно своими руками, дети моего ума,

порожденные для добра, как и творения Люменштата, но затем попавшие в руки сатаны: и те и другие.

Когда мы покинули лабораторию для того, чтобы пойти завтракать, я почувствовал, что познания в отношении ГПУ значительно расширились. Левин познакомил меня с новыми, не подозреваемыми мною размерами террора, все это оказалось более углубленным и да такой степени незаконным, что воображение Эдгара По и Уэльса, посвященное созданию нового мира пороков и преступлений, обслуживаемых наукой, не могло даже и близко сравняться с этой ужасной реальностью.

Террор, отрицательный террор, как средство зверского насилия над людьми и массами, - это единственное ощущение нормального человека, которое превалировало в СССР на сегодняшний день.

Научное преступление, не только как оружие для разгрома противника, но как средство борьбы для удержания власти, было признано нормальным и систематически развивалось дальше.

Судя по тому, что я видел в этом доме, существовало уже нечто, превышающее могущественный государственный инструмент. Осторожные усовершенствования, маскировка, наличие неподозреваемых деталей, тоже неизмеримых, говорили мне о том, что не все, что тут имелось и затевалось, находилось на службе у Сталина. Многие из всего этого было излишним, эти утонченные методы, эти камуфляжи смерти не гармонировали с грубостью, которую выставлял на показ в своей мстительности красный диктатор. Сталин сможет заставить невинного человека признаться в преступлениях, сумеет ложно обвинить и применить самые кровавые приемы для успеха своего личного замысла, кроме всего этого, ему доставляет удовольствие публичное лишение чести и уничтожение своих врагов. Эта же утонченность и хитроумность в деле устранения человека не соответствует психологии Сталина, который, будучи коварным и осмотрительным при поимке своих жертв, не препятствовал тому, чтобы люди уничтожались открыто. Может быть, думал я, большая часть всего этого предназначена для иностранцев, так как политические преступления, вынуждают предпринимать особые предосторожности по отношению к ним, чему я имел уже доказательства в случае, который был поручен мне самому.

Могло быть, что Сталин, подражая ортодоксальному марксизму, не хотел применять классически анархическую и осужденную доктриной систему индивидуального террора, а для того, чтобы ей не противоречить, пользовался теми научными средствами, при помощи которых он мог производить массовые убийства, маскируя их под явление "натуральной смерти". Это было возможно, но у меня не имелось сведений насчет многих фактических данных, внушавших мне подозрение. Не отвергая этих предположений и, наоборот, признав их подходящими для отдельных случаев, я скажу, что у меня создалось впечатление, будто это учреждение было предназначено для совершения "легальных убийств", "убийств, как произведение искусства", непрерывных, систематических, в полном порядке и хладнокровно, и эта моя фундаментальная оценка привела меня к тому выводу, что "это" составляло часть кошмарного, мрачного и в чудовищной степени честолюбивого целого.

Так размышлял я во время завтрака и был моментами до того рассеян, что это было замечено моими компаньонами. Виной этого были формулы и вид лаборатории, породившие во мне эти мысли. После завтрака я углубился в свои, дорогие мне склянки. Мне нужно было фильтровать, нейтрализовать, изотонизировать. На самом же деле я хотел укрыться в волнах своего воображения от того страшного мира, в который я погрузился.

УБИЙСТВО ПУТЕМ "ЕСТЕСТВЕННОЙ" СМЕРТИ

Большую часть ночи я не спал. Нагромождение мыслей, вызванное моим вступлением в новый и мрачный мир, наполнило мой мозг противоречивыми понятиями, которые надо было упорядочить и обсудить. И, кроме всего этого, в моей голове, вперемешку со всем вместе взятым, мелькал неясный проект измены. Состояние мое было настолько лихорадочным, что воспоминание о моих появлялось у меня только время от времени, и даже навязчивая идея об опасности, которая меня до сих пор терзала, почти что совершенно исчезла.

Я не могу сказать, в котором часу меня одолел тяжелый сон, ибо я был вне сомнения, измучен. Пришлось войти в комнату управляющему, чтобы растолкать и разбудить меня, когда утро уже наступило давно.

Я спустился бегом в столовую и принес Миронову тысячу извинений. Он мне сообщил, что получены приказы. Возможно, что мы предпримем поездку сегодня же вечером. Я должен по возможности раньше приготовить свой багаж. Может притти приказ на спешный от"езд.

Новостей никаких не было, и Миронов должен был немедленно после первого завтрака отправиться в Москву. Он не вернулся и ко второму завтраку. Левин тоже не завтракал в этом доме, и я был за столом совсем один. Попробовал завязать разговор с управляющим и официантом, но ничего, кроме односложных ответов, я от них не услышал.

Я решил погулять немного взад и вперед по столовой, а затем закрылся в своем помещении. От нетерпения, которое меня охватило, часы тянулись для меня очень долго, и я сократил их немного сном.

Меня разбудили по поручению Левина. Когда я спустился на первый этаж, то заметил, что он поднимался по нескольким ступенькам, которые вели, по-видимому из подвала, он закрыл сам туда дверь и сказал мне: "ходил только что глянуть на морских свинок там внизу..."

— Мне бы очень хотелось, чтобы вы мне показали свои эксперименты на живых существах, товарищ, мне нечего де-

лать и я скучаю здесь один взаперти.

— После вашего возвращения, коллега, после вашего возвращения, и это будет скоро.

Он предполагал, что наше путешествие мы предпримем уже сегодня вечером и, прося у меня извинения и расточая похвалы, просил меня привезти из Парижа кое-какие безделушки. Он просил привезти галстуки, причем описал их рисунок и цвет, он, по-видимому, имел к ним большую слабость, хотя его вкус показался мне очень плохим, я, не будучи в курсе последней моды, придерживался, все таки старых вкусов. Кроме этого, с некоторым смущением он попросил меня привезти резиновый корсет для его супруги, он записал мне марку и номер, по величине которого я мог судить, что его компаньонка была очень полной комплекции. Это подтвердилось тем, что он добавил заказ на духи от пота, по его словам, очень известные, и которые можно было достать только в лавке на каком-то бульваре, он не остановился на этом, просил еще другие вещи для себя и для своих отпрысков. Ссылаясь на свое положение, я справился у него, буду ли я располагать средствами и достаточной свободой, чтобы делать покупки. Он ответил утвердительно, обычно в этом отношении предоставляются и средства и свобода.

-----ooooooooOoooo-----

В этот необычайный период моей жизни часы текли очень монотонно. Ничего из ряда вон выдающегося не омрачало этого почти что приятного ареста.

Но я хорошо помню день 18-го сентября. Прибыл поспешно Миронов, весьма возбужденный. Он попросил меня захватить быстро шляпу и пальто, и мы сели в автомобиль, на котором он приехал, для поездки в Москву. Почти что без соблюдения формальностей я снова очутился перед Ягодой. Было одиннадцать часов утра. Я заметил в его лице следы бессонницы: его глаза, несколько косо поставленные, были налиты кровью и провалились. Напыщенность отсутствовала в нем, и он не был похож на того Ягоду, которого я видел в первый раз. Он предложил мне сесть в кресло напротив него и без особых предисловий, как человек, который торопится, сказал мне:

— Товарищ Ландовский, я думал послать вас одного за границу, хотя это и противоречило существующим обычным нормам в делах этого рода, я уже почти что решился разрешить вам забрать с собой вашу жену и ваших детей... Вот смотрите.

Он взял со своего стола конверт, вытащил из него что-то, вроде книжечки, которую он мне подал: это был паспорт, паспорт на имя всех моих, в котором фигурировали фотокарточки, имена и данные, а также печати и подписи. Все необходимое для проезда за границу.

— Посмотрите также и это.

В моих руках оказались два документа. Один большой с назначением в качестве медика при Советском Посольстве в Париже. Другой - поменьше - чек на сто тысяч франков на Лионский кредит.

Неожиданная радость, как молния, пронизала мой спинной мозг, но это продолжалось несколько секунд. Элегантная внешность Ягоды излучала из себя что-то вроде лучей жестокости, и, кроме этого, я имел об этой жестокости сведений, очень правильные, очень об"ективные и личные. Вот почему моя душа опять быстро потухла. Ясно было, что он имел намерения потребовать от меня что-то еще большее при выполнении моего поручения, а, может быть, и совершение нового преступления.

— Я вас слушаю, комиссар Ягода — произнес я.

— Видите ли, раз"яснил Ягода, облакачиваясь на спинку кресла и собрав вместе кончики пальцев — я понимаю, что вы будете служить гораздо более честно и энергично нашей Советской Родине, если вам будет разрешено выехать со своими. Хорошо, но теперь я должен в этом удостовериться. Мне нужно, чтобы говорить вполне точно, доказательство вашего согласия сотрудничать.

Он пытался владеть собой, но им, в свою очередь, владела какая-то нервность. Он начал наклоняться над столом, разрезной нож задрожал у него в руках, и он продолжал:

— В настоящее время СССР нуждается в небольшой технической услуге. Это чрезвычайно просто, нечто такое, что может реализовать всякий. Одним словом, я не хочу подвергать проверке ваши технические знания, а исключительно вашу скрытность и верность, Вы, меня понимаете? Прошу вас

вдуматься в мои слова.

— Понимаю — ответил я, — что вы, товарищ, не хотите подвергать проверке мои технические знания, а мою скрытность и верность...

Я уж знал, что в силу его диктаторского темперамента Ягоде должно понравиться такое точное повторение его приказа.

— Превосходно, — сказал он, — снова отклоняясь на спинку стула. — Превосходно. Раскрылось, товарищ Ландовский, что один из наших наиболее знаменитых генералов, генерал заслуживший свой престиж еще во время гражданской войны, оказался изменником. Точно известно, что он состоит на службе фашизму у Гитлера. Было бы естественно расстрелять его моментально на основании Совещания Военно-полевого суда... Доказательства убийственные. Но, соответствует ли это интересам родины? Что могут подумать за границей о нашей военной мощи, если будут знать, что одно из наиболее высоких ответственных военных лиц продалось, занялось саботажем и выдало врагу наши мобилизационные планы, наши сведения о вооружении? Подумали бы, что уже настал момент для осуществления агрессии против России. Они должны были бы атаковать немедленно, прежде чем были бы изменены планы нашего Генерального Штаба. Наш славный товарищ Сталин решил приговорить его к "естественной смерти"... Понимаете? Вы не коммунист, товарищ Ландовский, но я взываю к вам, как к Русскому, к вашему патриотизму... Даже больше, именно потому, что вы не коммунист, человек неизвестный и политически незначительный, я и подумал о вас. Здесь исключена возможность вашего соучастия в конспирации с этим генералом-изменником. Мне кажется, что я говорю вам достаточно ясно под конец раз"ясню вам и все прочее: знаете ли вы, о чем говорит этот паспорт, это название и эти деньги? Говорят о полной свободе, что - будем чистосердечны - доктор Ландовский, является золотой мечтой. Ожидаю вашего ответа...

— Товарищ комиссар Внутренних Дел, — ответил я, — вы знаете, что можете располагать, как вам угодно, моими техническими услугами. Также вы знаете, товарищ комиссар, что я желал бы иметь право соединиться снова с моей семьей...

— Хорошо, давайте сократим: какой способ может вы-

звать "естественную смерть" генерала, изменившего СССР?

— Конечно... пуля в затылок, как мне кажется, по первому впечатлению. Это соответствующий способ... достаточно только в дальнейшем запретить вскрытие и обследование и т.п.

— Надеюсь — сказал Ягода серьезно, — доктор Ландовский, что вы не имеете намерения насмехаться надо мной?

— Ни в коем случае, товарищ Ягода. Проанализируем систематически: мы, люди науки, имеем привычку к систематическому рассуждению. Предположим, что вы дали мне понять, что травматизм не приемлем в частном случае, о котором идет речь. Будем анализировать с другой стороны. Есть много способов отравления, которые до определенного пункта вполне благоразумны. Угарный газ, цианистые соли...

— А вскрытие?

Это замечание было именно то, чего я ожидал. Мне нужно было знать, готовя ли Ягода государственное преступление или частное убийство. После того, как комиссар Внутренних Дел выразил опасение о возможности вскрытия трупа, он только подтвердил в большой мере мои подозрения о чем-то нелегальном и чисто личном, что играло роль во всем этом. И я сказал спокойно:

— Комиссар Ягода, вы мне до сих пор не об"яснили, что вскрытие трупа будут производить медики... не подчиненные. Поэтому мне пришел в голову способ отравления. Выстрел в затылок определит каждый. Но отравление может быть замечено медиком специалистом при помощи химических анализов и... предварительном решении умолчать о полученных результатах.

Ягода сморщил лоб. Я боялся, чтобы не раскрылась моя игра, чтобы он не дал себе отчета в том, что я, распространяясь на эту тему, выпытываю от него тайну. Я попытался помешать ему сообразить это, быстро перейдя к другим вещам.

— В таком случае, тов. Комиссар — заговорил я более твердым и ускоренным голосом, насколько это было возможно: — не подумайте, что на этом оканчиваются средства, которыми располагает наука. Имеется много других, пожалуй, более благоразумных, но, может быть, менее подходящих к случаю, о котором идет речь.

— Изложите, — сказал он мне, отчеканивая по слогам, —

все методы, которыми располагает медицина, чтобы произвести смерть со всеми признаками натуральной смерти. Перечислите мне все, а я выберу.

— Перечень будет большой, не можете ли дать мне папиросу? — попросил я, стараясь казаться спокойным.

— Конечно.

Я играл с огнем, но мне казалось, что изложить ему все было единственным способом защитить себя. Моя бедная жена, мои дети, сам я, все, что меня интересовало в мире, вынуждало меня быть отважным, и я был полон решимости быть таковым, хотя моя воля должна была бороться с моими нервами со всей своей силой. В этой борьбе меня поддержала мысль, внезапно появившаяся в моей памяти: я слышал раньше, что Ягода, обладавший определенными бонапартистскими стремлениями, очень желал стать главой СССР, но чтобы стать таковым при наличии определенных бонапартистских наклонностей у Иосифа Виссарионовича, он должен был бы избавиться от того, кто в настоящее время возглавлял власть. Не думал ли Ягода отравить Сталина? Если бы мне это удалось раскрыть, то Ягода был бы в моей власти. И я решился раскрыть это.

Комиссар Внутренних дел предложил мне чудесный ящик с китайской инкрустацией. Я закурил не торопясь, будто бы раздумывая.

— Поторопитесь, тов. Ландовский. — Ягода был взволнован и неспокоен. — Я вам сейчас налью виски.

— Раз мы отказались от травмы и отравления, как не заслуживающих интерес, то остается инфекция. Смертельная инфекция может быть привита различными путями. Посмотрим: если есть возможность сделать ин"екцию человеку, о котором идет речь, то заражение крови действовало бы молниеносно. Смерть - вопрос нескольких часов.

Ягода размышлял несколько мгновений.

— Нет, — сказал он под конец, — все таки надо действовать более осторожно. Вы извольте перечислить мне все средства, вам известные, как я приказал раньше.

— Хорошо. С одной стороны инфекцией, как я сказал, достигается быстрая смерть. Во вторую очередь могут быть использованы пути пищеварения. Отравление мясными ядами может произойти от случайной инфекции. Можно ли заста-

вить этого генерала-изменника с"есть несколько сосисок или мясо, специально приготовленное?

Я ждал ответа. Ягоде начали казаться подозрительными мои вопросы. Он произнес по складам, как уже это сделал раньше:

— Не спрашивайте ничего. Я вам сказал, что бы вы мне изложили все средства.

— Значит, тов. комиссар, нам нужно выбрать между системой ин"екций или системой отравления через пищу. Затем еще остается путь — я намеренно выразился более сложным образом — путь носоглоточногорло-бронхиального воспаления.

— Как? — перебил меня Ягода, что я и предвидел. — Раз"ясните мне, что это за путь носоглоточно... и.т.д.

— Сейчас увидите, товарищ. Есть бактерии, бациллы Коха³, как вы это знаете, каковые проникают в организм обычно через дыхание. Они не оставляют следов, невидимы и никоим образом не могут быть замечены. Вполне выполнимо достигнуть того, чтобы человек, не отдавая себе даже отчета в этом, вдохнул такое количество этих бацилл, какое достаточно для того, чтобы убить сотню лошадей.

— Таким образом, что индивидуум не дает себе отчета? И никто не дает себе отчет?

— Да, тов. комиссар.

— И смерть неизбежна?

— Вполне неизбежна. Только что... что в случае, если повезет, жертва может умереть от острого заражения в течение нескольких дней. Но если уж не повезет, то смертельный исход затянется. Хотя, конечно, заболевание все равно смертельно.

На сей раз он был насторожен. Я изложил эти соображения с тем же самым намерением, что и раньше. То, что теперь

³ Примечание: В оригинале не упоминаются бациллы Коха; Ландовский говорит о других более заразных, инфекция которыми более надежна и действует почти что наверняка; кроме того, эта бацилла более легко добываемая и ее не нужно помещать в стеклянные ампулы. Но не было бы морально разглашать о способе отравления через легкие в наши времена голой криминалистики.

Поэтому мы заменяем название бациллы, о которой говорит русский доктор, на бациллу Коха, поскольку уже Баханов и Троцкий пишут сами о ней в своих произведениях, как о часто применяемой в Кремле. В дальнейшем текст применяется к той системе отравления, которой заменена система оригинала.

скажет Ягода, должно окончательно раз"яснить мне его планы. Поразмысливши немного, он сказал:

— Хорошо! Мне подходит это с бациллами. И даже, если он умрет на несколько недель позже,.. то лучше. Это придаст больше естественности смерти... Например, три месяца? Хорошо, хорошо! Мне подходит! Приготовьте все необходимое.

Я удивился.

— Невозможно, тов. Ягода, — ответил я. Я не могу приготовить, не зная целого ряда необходимых деталей. Не подумайте, что я хочу быть нескромным. Я не стал бы спрашивать ничего в отношении места, где должно произойти заражение... Так как, предположим, вне помещения операция не может быть произведена. Каково помещение, в котором находится генерал?

Ягода посмотрел на меня серьезно, но я заметил его согласие и одобрение.

Он должен был понимать, что наблюдение было вполне логично. Я видел, как он приподнялся и стал изучать помещение. Пораздумал. Затем сделал несколько шагов и подошел сбоку к столу. Появилась бутылка виски. Налил мне, а затем и себе до верху. Я искренне его поблагодарил, моим нервам необходимо было что-либо подкрепляющее.

— Мне кажется, что вы правы — ответил, наконец, Ягода, щелкнув языком, затем втягивая верхней губой виски, оставшиеся на усах.

Он сделал пару шагов вдоль кабинета, засунув руки в карманы, и остановился в нескольких метрах от меня. Сделал вид, будто бы мысленно припоминает другое место, измерил расстояние руками и взглядом...

— Да, — пробормотал он — это будет вот так... Смотрите, товарищ, помещение будет немного больше или меньше, чем это... Да, да здесь есть вход, (показал на тот, который находился справа от его письменного стола) большой балкон, похожий на этот, и потолок - высотой метра в три с половиной приблизительно.

— Мебель?

— Есть большой стол-бюро,.. вроде, как этот. Одно кресло этого размера, пара табуреток...

— Ковер? — спросил я. — Есть ковер?

— Да, разумеется есть.

Я встал, размышляя, принял вид эксперта. Зашел с другой стороны стола, подошел близко к креслу, которое занимал Ягода, и быстро спросил натуральным тоном:

— Ковер доходит до сих пор? — и я указал на место под креслом.

— Да, доходит до сих пор. Но, почему?

— Это очень важно — подтвердил я, — очень важно для того, чтобы принять решение.

Раздумывая над этим, я сделал второй глоток. Мы оба стояли по бокам его кресла. Я отодвинул стул назад, встал на колени и откинул ковер. Вытащил из кармана жилетки свой тюбик с мазью для носа, положил его на пол, прикрыл его ковром и поднявшись, поставил кресло на его постоянное место.

— Идите на свое место, тов. Ягода, пожалуйста, — распорядился я, самодовольно улыбаясь.

Он выполнил то, что я сказал с некоторой опаской.

— Извините... нельзя ли еще виски, товарищ? Прошу вас... Большое умственное напряжение.

Он налил мне, я был поражен своей смелостью и его снисходительностью. Какой-то момент казалось, что мы поменялись ролями. Я выпил залпом и сказал ему с видом как бы фокусника:

— Уж дело будет сделано. Разрешите мне. На минуточку отойдите отсюда.

Перед его взором я повторил проделанную раньше операцию. Отодвинул кресло и ковер и, выпрямляясь, показал на пол...

— Что это такое?

— Это... это все, — отвечал я.

Он нагнулся.

— Я вижу только несколько побитых стекол. Что это такое?

— Все необходимое, решение моей проблемы.

— Но все же раз"ясните мне.

— Эти стекла, которые вы тут видите, были раньше тюбиком... Вы сами, тов. Ягода, неминуемо растоптали его. Это могла бы быть ваша смерть.

— Как?

— Я повторяю, что это могла бы быть ваша смерть, если бы этот тюбик содержал бы, например, болезнетворные заро-

дыши...

Ягода не смог скрыть своего удовлетворения. Положил свою руку ко мне на плечо, пристально посмотрел на меня.

— Товарищ, — произнес он, — вы талантливый человек. Я не ожидал этого от вас. Сделайте то, что вы прорепетировали, и судьба ваша обеспечена. Даю слово чести...

Он был в таком восторге, что даже не мог размышлять. Впрочем и я также видя его энтузиазм. Под парами виски, которых я выпил много, и от наступившей после нервного напряжения слабости я воображал что комиссар Внутренних дел Советского Союза находится в моих руках. Об остальном я мог уж поразмыслить позже, в уединении в лаборатории.

— Итак, — сказал я, - выпивая последнюю рюмку, — товарищ Ягода надеюсь, что Левин даст мне необходимые средства.

— Нет, Левин сюда не должен вмешиваться. Иначе я поручил бы это дело ему.

— В таком случае, нет нужды его в это посвящать. Я могу попросить у него все необходимое так, что он не будет знать, для чего мне это нужно...

— Это да. Вы пришлете мне пробирку с нужным содержанием...

— И мои инструкции о том, как с ней обращаться. Когда я должен вам ее послать?

— Насколько возможно скорее. Сегодня вечером.

— Но... нужно же время для подготовки заразных культур. Разве что Левин их уже имеет.

— Наверняка. Левин имеет все. На самом деле это не так уж неотложно. Но мне нужно иметь их обязательно в своем распоряжении, чтобы в нужный момент они могли бы быть использованы. Пошлите мне их насколько возможно быстрее. Во всяком случае, изготовьте их срочно. Я запрошу вас по телефону. Вы пошлите мне их с Мироновым... Само собой разумеется, что и Миронов не должен знать, в чем тут дело. Скажите ему хотя бы, что это средство от катара, которое я у вас просил...

— А моя семья, товарищ? Могу ли...?

— А! Ваша семья,.. не беспокойтесь. Им хорошо, но я протелеграфирую, чтобы им было оказано полное внимание. Ваше назначение, ваш чек и паспорта будут находиться для

выдачи вам в Посольстве и будут выданы вам в тот момент, когда начнется дело Миллера... Ваша семья выедет туда после того, как опыт закончится удачно.

Он проводил меня до дверей своей приемной и успел еще сказать мне:

— Я дам поручение Миронову, чтобы во время путешествия он снабжал вас необходимыми деньгами, вы сможете удовлетворить все ваши капризы. Хотите еще что-нибудь?

Я вернулся в лабораторию, сопровождаемый неизменным Мироновым.

В пути мы не обменялись ни одним словом. Если физиономия этого чекиста всегда была мрачной, то в этот день она была особенно безрадостна. Я подумал о том, что ему наскучила работа по охране моей особы или же он ощущал тоску после присутствия на пытках. Когда он искоса поглядывал на меня, то мне казалось, что ему доставляет удовольствие вообразить себе, как он меня задушит: так он себе ломал пальцы.

Охваченные такими приятными размышлениями мы прибыли на место. Я спросил о Левине, но его не было. Попросил Миронова, чтобы он помог мне пройти в лабораторию, так как мне нужно было приготовить лекарство для шефа. Хотя я этого и не предполагал, но у него оказался собственный ключ. Он проводил меня наверх и открыл дверь.

Наконец я смог не спеша заняться размышлениями. Я попросил по внутреннему телефону подать мне кофе. Мне хотелось поразмыслить о всех необыкновенных событиях дня в бодром состоянии.

Больше всего занимала мои мысли та перемена, которую я заметил в грозном Ягоде. Он был не похож на себя. Что-то - я не знаю что - переменилось в нем: подавленность, усталость, подозрительность, даже, я бы сказал, боязнь... но ведь это абсурд... Боязнь у него, у человека, которого боятся все больше всего в мире.

Я много раздумывал над странным предложением Ягоды. Все это было чрезвычайно логично, т.е. имея в виду целиком "линию" большевизма. Но исключительное чувство проницательности, которое мне сопутствовало в момент, когда я находился около этого человека, и мое нервное напряжение говорили мне, что тут скрывается что-то непонятное, опасное и трудное. Для того, чтобы рассудить по-порядку, я решил пре-

жде всего ответить себе на вопрос: о чьем убийстве идет речь?

Первая возможность: существует реально генерал-изменник и его нужно удалить без шума. В пользу этого решения говорит тот факт, что жертва находится обычно в помещении, очень похожем на кабинет Ягоды, в чем нет ничего удивительного, поскольку приемные больших начальников похожи одна на другую. Не согласуется с этим положением нервность Ягоды, не свойственная человеку, действующему в согласии с государством и партией, выполняющему свои функции по своей должности в защиту СССР.

Вторая возможность: дело идет об убийстве Сталина. Покушение вполне укладывается в бонапартистские настроения Ягоды. В этом случае вполне правдоподобно, что, если исчезнет Сталин, его место займет комиссар Внутренних Дел или, по крайней мере, у него создадутся для этого наиболее выгодные условия. Этим прекрасно об"ясняется то, что Ягода желает держать все в секрете, включая сюда Левина и Миронова. Об"ясняется также его нервозность. Раз"ясняется и его фраза: "Я выбрал вас потому, что ваша отдаленность от политики гарантирует вашу непричастность к какому-либо заговору." Понятны данные о помещении: я никогда не был в кабинете Сталина, но вполне можно предположить, что он похож на кабинет Ягоды.

Третья возможность: у меня просят средства для реализации убийства - частным порядком, просто из чувства мести. В таком случае поведение Ягоды привыкшего к убийствам, может быть, и своими собственными руками, непонятно, не понятны его требования и его предложения.

Последняя возможность, которая меня беспокоит больше всех остальных: дело идет о проверке моего поведения и моего послушания, если я przygotowю то, что мне поручили, то они доверятся мне в деле похищения. Если я не выполняю...

Этот перечень возможностей меня интересовал в высшей степени. Но кое-что интересовало меня еще больше. Что же должен был делать я?

Я попытался поразмыслить об этом при помощи холодной логики. В качества оплаты за моя работу мне была предложена полная свобода моя и моих близких, а также наш выезд из пределов СССР. Было ли правдоподобно подобное предложение? В случае, если бы я принимал участие в убийстве гене-

рала, правительство СССР ни в коем случае не разрешило бы мне выехать за границу, где я мог бы в любой день почувствовать желание раскрыть этот важный секрет. Если бы жертвой был сам Сталин, и он был бы удален, то я уверен, что Ягода убил бы меня сам лично, чтобы уничтожить единственное возможное доказательство своего преступления. Возможность того, что это было преступление личного характера, а также то, что якобы меня хотели подвергнуть "проверке в верности", я отверг.

Сознаюсь, что только в самый последний момент встали передо мной доводы морального характера. Это значит, что только после того, как я обдумал, "что мне более подходит", я стал раздумывать о том, "что я должен делать". Принятие реального участия в убийстве не улучшало ни в каком смысле моего положения, а также положения моей семьи или России, конечно, было бы приятно содействовать смерти тирана Сталина, но будет ли лучше тирания Ягоды?

Что касается идеи помочь умереть генералу, который рисковал своей жизнью, борясь с Советами, то она меня испугала. Я - защитник коммунизма!

Я решил не изготавливать инструмента смерти, о котором меня просили.

Приняв это решение, я значительно успокоился, благодаря двум следующим рассуждениям: первое - это то, что если Ягода предпринимал проверку меня и проверка дала бы отрицательный результат, то он уничтожил бы меня, моя же семья могла бы остаться на свободе. Второе рассуждение наполняло меня светом надежды и оптимизма: если Ягода предполагал убить Сталина, а я помешал бы этому преступлению, то именно он смог бы выполнить лживое обещание Ягоды: не только из благодарности, но и вследствие того, что мое свидетельство о покушении, подготавливавшемся против него, его бы усилило и подняло бы его престиж среди коммунистов всего мира.

Итак, значит, я изготавливаю свои ампулы из небольшого количества воды...

В помещении для бактериологии я нашел бактерии чумы. Для чего их здесь держали? Это культура, трудно получаемая и опасная при обращении. Для кого предназначало их ГПУ? После разговора с Левиным я был готов на самые невероятные открытия. Также я не знаю, для чего хранились там несколько

склянок с туберкулезными зародышами разных степеней культивации.

С целью замести следы, я попросил несколько морских свинок и сделал им впрыскивание эмульсии с бациллами в область брюшины. В случае необходимости анализ их трупов служил бы доказательством, что я что-то делал для удовлетворения Ягоды.

Наполнил одну пробирку бацилловой эмульсией.

Был удивлен, что во время обеда не появился Левин. Несомненно, его удалили, но я не стал ломать себе над этим голову и почти не разговаривал с Мироновым. Он также не проявлял ни малейшего желания вступать в разговор со мной. Время от времени посматривал на меня с любопытством, как будто бы он открыл во мне что-то новое или вообще видел меня в первый раз. Тем не менее я был уверен, что ничего особенного не было в моем лице. Впрочем, вскоре уже я понял значение этих взглядов.

В тот же самый вечер я наполнил эмульсией шесть ампул до верху и запечатал их на лампе.

Вслед же я их добросовестно тиндализировал, пока не удостоверился, что в них, содержатся только безопасные убитые бактерии. Таким образом, если бы уж до этого дошло дело, я мог бы приписать их недействительность какому-нибудь невольному дефекту при изготовлении их. Кроме этого, я был очень осторожен и оставил в пробирке неиспользованную эмульсию с бациллами вполне действенными.

Также в течение нескольких дней я проводил время, закрывшись в лаборатории. Левин не появлялся нигде, и только время от времени меня бесшумно посещал Миронов, а я притворялся занятым. На третий день мой надзиратель спросил меня от имени Ягоды, не приготовлено ли уже нужное лекарство.

— Невозможно изготовить его за три дня, — сказал я. — Это сложная вещь, и работаю я один.

На самом деле, мне было бы больше по душе отдать все это сразу. Мне нравилось, что Ягода торопил меня, так как это могло бы впоследствии служить мне оправданием. Поскольку дело было слишком спешное, то он должен будет понять, что я не имею времени проверить заразность культуры, что поэтому

она была не в порядке и т.д. Поэтому я обрадовался, когда вечером Миронов передал мне новое поручение от комиссара.

— Сократите, на сколько возможно, товарищ. Товарищу Ягода необходим заказ.

— Буду работать сегодня ночью. Попытаюсь, что бы было готово на завтра. Однако следующий день он меня не беспокоил. И одиннадцать часов вечера, когда я, по обычаю, заперся на ключ и собирался ложиться спать, Миронов вошел в мою комнату.

— Слушайте — сказал он мне грубо. — Необходимо, что бы вы сейчас же вручили мне заказ товарища Ягоды. Он ему нужен, и я должен забрать его без промедления.

Час пробил. Я поднялся, не посмотрев на своего тюремщика, и сказал ему:

— Сопровождайте меня в лабораторию. Я обещал вам, что будет готово на сегодня, поскольку дело очень спешное, оно готово. Знайте, товарищ, что если я что-нибудь обещаю, то имею обыкновение и выполнять.

Я завернул ампулы в вату, поместил их в коробочку, которую закрыл и запечатал сургучом, и передал ее в руки чекиста, стараясь собрать всю свою энергию, что бы сказать ему следующее:

— Обратите внимание тов. Ягоды, что поручения такого типа должны делаться заблаговременно. Наука не всемогуща, и приготовления вроде этих требуют своего времени.

Миронов посмотрел на меня свысока, то ли с иронией, то ли с угрозой, и вышел, что бы вызвать автомашину. Вскоре я услышал жужжание мотора по дороге в Москву.

Было точно одиннадцать часов семнадцать минут вечера.

Я снова сразу же заперся. Уж и не знаю, как об"яснить то, что я заснул моментально. Меня разбудили чьи-то быстрые шаги назад и вперед, я посмотрел через окно, чтобы угадать время. Через плотную проволочную сетку проникал яркий свет. Можно было предположить, что день уже давно наступил. Все время я продолжал слышать тяжелые, то приближающиеся, то удаляющиеся шаги. Никак не мог догадаться, в чем причина такой суеты. Я не пытался выйти, ибо знал, что я заперт. Не зная, что происходит, я решил вставать. Я выкупался и спокойно оделся. Слышна была ходьба назад и вперед

также на верхнем этаже, в лаборатории. Но, казалось, что никто не хотел вспоминать обо мне.

Прошло несколько часов. Наверное, уже было поздно. Мой желудок, пропустивший время завтрака, стал протестовать. Не будем есть ничего сегодня? Уже, как будто пора. Я не хотел нажимать на звонок, так как всегда в случае, когда я запаздывал, управляющий звал меня в пунктуальное время. Я стал ждать, к счастью у меня были папиросы, и я стал курить, что бы облегчить чувство голода и ожидание.

Уже стало вечереть, когда повернулся в замке ключ. Меня не позвали, как обычно. Неожиданно вошли три человека в сопровождении управляющего. Молча посмотрели на меня и на мое помещение, один из них заглянул в соседний кабинет и в ванную. Ушел и скоро вернулся.

— Идите с нами, — сказал он. Мне показалось, будто он был среди них старшим.

Я спустился в их окружении на нижний этаж. Меня провели в помещение, в котором я никогда не был. Это была просторная приемная с камином, украшенная гербом. За столом находился человек, распорядившийся по-видимому всеми остальными, сбоку стоял другой, а третий быстро писал на машинке. Сопровождавшие меня вышли, оставив меня с описанными тремя типами.

Без предисловий просили у меня имя и персональные данные.

— В чем вас обвиняют? — задал мне вопрос сидевший за столом, бывший, несомненно их начальником.

— Я ни в чем не обвиняюсь, товарищ — твердо ответил я.

— Почему вы здесь заперты?

— Я не понимаю вашего вопроса.

— Вы этого не знаете?

— Товарищ комиссар Внутренних Дел может сообщить вам все, касающееся меня.

— Товарищ комиссар ничего не знает. Будьте уверены!

— Как? Товарищ Ягода ничего не знает? Да я только три дня тому назад разговаривал с ним...

— А, да! Товарищ Ягода. Да, конечно, вы ничего не знаете. Он взглянул на того, который писал, что-то говоря про себя, а затем распорядился стоявшему:

— Приведите Миронова.

Посланный поспешно вышел и вернулся назад с моим тюремщиком, который выглядел более серьезным и печальным, чем когда бы то ни было, и похож был на пса, зажатого между дверьми. Шеф властно распорядился:

— Скажите Ландовскому о том, какой приказ получен вами от тов. Ягоды в отношении него.

Миронов глянул на меня и ничего не выражающими глазами и, не повышая ни йоту голоса, ответил:

— Ликвидировать его, ликвидировать сегодня же ночью.

Я остолбенел.

— Можете уйти, Миронов — сказал шеф.

Я остался опять с этими же тремя типами. Я не понимал ни одного слова.

— Вы слышали, товарищ? Теперь хорошенько об этом подумайте, мне необходимо, что бы вы отвечали всю правду, если вам не желательно, что бы приказ тов. Ягоды был приведен в исполнение.

Я подумал, что, может быть, раскрыли мою хитрость, несомненно они проанализировали ампулы.

— Я не знаю, в чем состоит мое преступление, товарищ, — ответил я, — и таким образом, как могу я защищаться?

— Дело не в этом, просто сообщите мне все то, о чем вы говорили с товарищем Ягодой.

— Это невозможно, товарищ, если он вас сам не информирует, то я не смогу сделать этого. Я не понимаю, как вы, будучи, вне сомнения, его подчиненным, решаетесь просить меня о такой вещи... Без разрешения товарища Ягоды не буду говорить.

Опасность пробудила во мне опять ясность сознания. Будь, что будет: я был заинтересован в том, чтобы показать себя человеком верным, способным хранить секрет... Затем я сказал решительно:

— Я могу говорить только перед тов. Сталиным.

Мой собеседник не рассердился, я не заметил в нем неудовольствия от моей манеры действия. Погладил рукой бородку, обрамлявшую его лицо, бородку ala Радек. Поразмыслил минутку.

— Хорошо, думаю, что вы заговорите, когда узнаете следующее, Ягода уже не комиссар внутренних дел. Он назначен комиссаром Почты.

Я пристально на него посмотрел, Хотя он отчеканил эти слова с акцентом правдивости, но я решил, что более безопасно оставаться в своей роли и попытаться расследовать обстоятельства.

— Ваши утверждения, наверное, соответствуют правде. Но что можете подумать вы о каком-либо из своих подчиненных, которого застанет врасплох незнакомый ему человек? Только имея в руках доказательство того, о чем вы говорите, я могу подчиниться вам и говорить... Не кажется ли вам, что это так, товарищ? Предположите, что дело идет о государственной тайне.

— Какое доказательство?

Я подумал немного, и мне пришло в голову попросить доказательство, которое смогло бы хоть сколько-нибудь раз"яснить обстановку. Я так и сказал:

— Товарищ, не мог бы ли я увидеть декрет, который появился в "Правде"?

Шеф был в нерешительности, ибо чувствовал себя, без сомнения, прижатым. Он встал и прошелся по комнате, наполняя машинально табаком свою трубку: он зажег ее, и при свете спички я смог увидеть ужасный шрам, начинавшийся у его уха, у которого не было мочки, и терявшийся в бороде. Он приблизился к столу и взял телефонную трубку. Затем он велел мне выйти в сопровождении пишущего на машинке. Уже за спиной я услышал его голос:

— Соедините меня с Централью...

Дверь за нами закрылась и я больше ничего не смог слышать.

Спустя короткое время он позвал меня снова.

— Вы мне заявили, товарищ о том, что ваши дела с Ягодой имеют важный характер? Смотрите, если вы меня надули!

— Я вам гарантирую это, очень важные.

— Вы за это отвечаете, я это хорошо понял,.. если же вы делаете меня жертвой шутки, меня и,.. хорошо, того, кто распоряжается мною, то я вас уверяю, что это вам так просто не пройдет... Понятно? Еще есть время исправить.

— Я сказал правду, будьте уверены.

— Ну, значит, едем — произнес он, надевая шубу, лежавшую на одном из стульев. Идите с нами, Маклаков.

Мы вышли втроем. У под"езда нас подкидала мощная машина. Мы разместились в ней, и шеф распорядился шоферу:

— В Центр, очень срочно.

Автомобиль пожирал дорогу, очень скоро мы добрались до Москвы.

Прибыли на Лубянку. Мы проделали путь, который я уже ранее проделал дважды. Но в этот раз, несомненно, было дано распоряжение, и мы были освобождены от повторения формальностей при входе.

В секретариате сидел тот же самый тип, который в прошлый раз был занят крестословицей. Мне пришлось только немного подождать.

Вскоре меня пропустили в приемную комиссара. Я ожидал, что увижу грозного Ягоду в его императорском кресле, довольного, может быть, моей верностью, но это предположение рассеялось в одно мгновение ока. Я посмотрел в направлении к столу, освещенному одной низкой лампочкой, которой раньше не было. Я никого не увидел и остановился в полутьме, охватившей меня.

— Проходите... Чего вы ожидаете? — произнес чей-то незнакомый мне пронзительный металлический голос.

Я механически продвинулся вперед, прислушиваясь откуда звучит голос, но не смог различить какой-либо фигуры. Вскоре я понял почему, я смотрел в полутемный угол, откуда раздавался голос, на высоту головы нормального человека, а на этой высоте головы-то и не было. Только ниже, гораздо ниже, я смог различить чью-то неясную фигуру, как будто бы сидящую в кресле, но нет, никто там не сидел, а кто-то сразу двинулся по направлению ко мне. Что за странная манера ходить на коленях? — мелькнуло у меня в голове.

— Это вы, Ландовский? — спросил меня этот странный человек.

— Да, это я.

Он вышел на освещенную часть комнаты, и я смог убедиться, что он не передвигался на коленях, просто у него были дугообразные ноги, ноги скобки, как бывает у рахитичных детей, а рост его был почти что карликовым. В этот момент он повернулся ко мне спиной, подошел к столу, оперся на его край между двумя креслами, и приказал мне:

— Садитесь.

Я не извинился и не стал ждать пока он сядет, этот человек произносил все повелительным тоном и мне не приходило в голову не послушаться его даже из вежливости.

— Можете говорить... Сообщите мне, о чем говорили с Ягодой.

Какой-то момент я сомневался... Уж не фарс ли все это? Что здесь произошло? Почему удалили Ягodu? Надежда на то, что провалилось покушение на Сталина, заставило биться скорее мое сердце. Будь, что будет, я счел подходящим играть свою роль еще некоторое время, хотя он стоял, а я сидел, но его лоб был выше моего только на пол ладони.

Он воспользовался этим преимуществом.

— Вы не знаете меня? — и в его тоне послышались нотки удивления, будто бы он был князь, а я слуга, не узнавший его.

— Не имею чести, товарищ.

— Я комиссар по Внутренним Делах СССР. Вы состоите в партии? Нет? Значит вы меня не знаете. Я Ежов, от Центрального Исполнительного Комитета, от Контрольной Комиссии. Не слышали обо мне? Вам угодно посмотреть мои бумаги?

По-видимому в некоторой степени ему эта вещь нравилась. Он открыл ящик и протянул мне большую бумагу, сложенную вдоль, а также удостоверение-книжечку в кожаной обложке, декрет Президента СССР, скрепленный подписью Молотова, президента Совета Комиссаров, о назначении Николая Ивановича Ежова Народным комиссаром по Внутренним Делах. Я машинально заглянул также и в удостоверение, где была его фотокарточка, и указывалось, что он член Центральной Контрольной Комиссии. Я заявил с большой почтительностью:

— Товарищ комиссар, я в вашем распоряжении. — Затем я попросил у него извинения за выполнение того, что я считал своим долгом, сожалея, что из-за меня ему пришлось потерять несколько минут своего времени, такого драгоценного для дела пролетариата.

Он, наверное не понял хорошо последнюю часть, так как привстал, наклонился над столом и, разъяренный, произнес глухим сконцентрированным голосом:

— Незачем терять время! Вам нечего сказать? — Он намеревался нажать на кнопку звонка, находившегося на столе.

— Нет, нет, товарищ, я должен сообщить вам важные вещи, я просто не сумел хорошо выразиться.

Он уставился на меня глазами с затуманенными зрачками, как будто бы подернутыми легким покровом пепла.

— Говорите без дальнейших предисловий! — Говоря это, он подпрыгивал так, что его ноги казались сделанными из двух согнутых стальных пружин.

В моей голове, как молния, сверкнуло соображение, я встал, положил одну руку на край стола и с жестом человека, только что прозревшего, протянул по направлению к нему мою правую руку с поднятым указательным пальцем...

— Да, Николай Иванович Ежов... это было для вас, было для вас...

Он пошатнулся на несколько сантиметров от моего пальца... и посмотрел на меня, как на сумасшедшего, его рука стала инстинктивно искать что-то под френчем.

— Товарищ, если я не ошибаюсь, то вы подвергались колоссальной опасности - и не давая времени ему передохнуть я продолжал, повернувшись к его креслу:

— Посмотрим-ка, товарищ, предпринято ли было преступное дело? Разрешите мне проверить, пожалуйста, отойдите немного в сторону, да, так, еще немного, пожалуйста.

Он подчинился и отошел от кресла. Я нагнулся и поэтому мог наблюдать за выражением его лица, каковое должно было быть необычным.

Я отодвинул кресло, отдернул ковер до стола и... там обнаружили четыре притоптанных комка ваты со стеклышками, видневшимися там же.

— Я так и думал! Вот они! Смотрите, товарищ комиссар!

Он смотрел на меня и смотрел на комки ваты, которые я ему показывал и не понимал ни одного слова из всей этой сцены.

— Не об"ясните ли, Ландовский? Что значит все это?

Я медленно приподнялся, со всею торжественностью отошел на несколько шагов и начал говорить:

— Комиссар Ежов, для того, чтобы раз"яснить все это дело потребуется время, я раз"ясню со всеми подробностями. Но знайте, что то, что вы здесь видите, эта безвредная вата, и эти кусочки стекла, которые поблескивают на полу, это было приготовлено по приказанию вашего предшественника Ягоды,

который их здесь и положил... миллионы и миллионы коховских палочек... Они должны были убить вас в скором времени.

Его глаза сверкали в паническом ужасе. Он попятился и хотел выйти из-за стола с другого конца, не замечая, что путь преграждала ему стена. Наконец он, как человек, которому надо перешагнуть через спящую гадину, приподнял свою ногу над опасным местом и, не упуская из виду комков ваты, подошел ко мне.

— Идем, идем, товарищ... перейдем в другое помещение. Нужно будет заявить, нужно будет сделать дезинфекцию...

Я сделал успокаивающий жест в сторону человечка, который чуть ли не дрожал. Эту сцену я ни на что бы не променял, видеть перепуганным одно из величайших страшилищ мира - это вещь, которую не каждому удастся видеть, как высоко ценят свою жизнь эти чудовища, которые хладнокровно приносят в жертву тысячи чужих жизней!

— Не беспокойтесь, товарищ. Эти бактерии приготовлены мною, меня знают хорошо. Можете не остерегаться.

— Как вы говорите? А бациллы?

— Да, товарищ, бациллы мертвые, убитые, безвредные.

— Вы в этом уверены? Об"ясните.

— Я уверен. Сейчас ваш предшественник Ягода должен быть доволен тем, о чем он думает в эти часы, а думает он, что я в эти ампулы вложил смерть для вас.

— Сядьте, товарищ, сядем и поговорим. Хотя я и не полагаю таким количеством времени, но думаю выслушать от вас все необходимое.

Я начал свой отчет с того момента, когда я разговаривал с Ягодой в первый раз. Не упустил ни одной детали. Пункт за пунктом сообщил ему, о чем беседовали мы во время второго свидания и что я сделал, и что произошло со мной до этого момента.

Ежов вполне успокоился. Его глаза сделались еще более пепельными. Он смотрел на меня, как бы не видя меня. Только то, что он беспрерывно пощипывал, царапал и скреб свои грязные ногти, указывало на присутствие в нем жизни. Когда я дошел до того момента, к которому я раз"яснял, что решил не снабжать Ягodu бациллами, он сухо прервал меня:

— И вы, зная, что это средство требовалось для наказания одного из изменников, для нужд Советского Государства, отказались способствовать этому?

Если бы он застал меня врасплох, то его наблюдение, по необходимости, должно было бы иметь смертельный исход для меня. Но я был подготовлен наилучшим образом, ибо для ответа у меня имелась настоящая правда.

— Товарищ Ежов, я должен отдать справедливость вашей проницательности и большевицким убеждениям, заключенным в вопросе. В тот момент, когда в моем длинном раз'яснении всплыло что-то, называемое "оппозицией" Советскому Государству, товарищ комиссар подскочил, как стальная пружина, обращая внимание на то, что я его избавил от ужасной смерти.

Он посмотрел на меня более пристально и сказал:

— Если вы не раз'ясните удовлетворительно ваши действия, я вас расстреляю.

Я вполне владел собой, момент был неотложный, и я должен был его использовать. Я не торопился с ответом и даже слегка улыбнулся

— Я исполняю мой долг, тов. Ежов... И разрешите мне предварительно высказать одну мысль, откровенную мысль человека науки, что мы, как таковые, тоже имеем всегда привычку к диалектике без политической страстности, разрешите мне сказать вам, - повторяю еще раз, - что тов. Сталин еще один лишний раз дал доказательство своего ума, передавши в ваши руки, тов. Ежов, дело безопасности всего СССР.

Он задвигался на своем сидении, как будто его кололи булавами, но никаким другим способом не проявил ни своего удовлетворения, ни какого-либо другого чувства и только ответил мне:

— Хорошо, но только отвечайте мне, почему вы не захотели доставить бациллы, зная, что они предназначались для наказания изменника?

— Этот вопрос, это обвинение, товарищ Ежов, мне бы не пришлось выслушивать, если бы я был немного более тщеславным. Товарищ комиссар может думать, что причиной отказа в оказании подобной услуги Советскому Государству, была небрежность. Я должен раз'яснить это, ибо других средств для этого у меня нет. Когда я (как уже рассказывал) добивался у

Ягоды деталей топографии, что официальная приемная генерала имела вид, подобный его кабинету, в котором вот мы сейчас находимся, я верил все еще в существование этого генерала-изменника. Таким образом я попытался придумать средство для его заражения способом, не могущим внушать подозрений и в то же время верным. Я вам уже сказал, как я для этой цели исследовал ковер и т.п, но я упустил из виду сказать, что я совершенно неумышленно спросил у Ягоды, не доходит ли ковер генерала "вот до сих пор?", в это время я указывал на границы вашего ковра. А он мне ответил без промедления, неосознанно – "да", это было для меня проблеском света. Он еще не знал и не мог себе представить даже, какое средство я имел в виду употребить, так как до этого момента мною еще ничего не было сказано. Поэтому мне показалось очень странным, что он знал точно, до каких пор доходит ковер в приемной предполагаемого генерала-изменника. Этот вывод был сделан мною моментально, он мне пригодится для дальнейших рассуждений, которые я мог уточнить не торопясь. Я долго размышлял об этом во время моего вынужденного одиночества и смог найти только одно единственное логическое заключение. Вот оно: странный и бессознательный ответ Ягоды не мог относиться к какому-то другому помещению, занимаемому другой персоной если существовало такое помещение, где должно было реализоваться дело, то он все же не мог бы знать таких мелких деталей, как расположение ковра и до каких пор таковой доходил. Он не мог этого знать и должен бы был в этом сознаться, когда я ему сообщил способ размещения ампул то он должен был дать себе отчет в том, что ковер обязательно должен прикрывать их на этом месте, таким образом он должен бы был дать распоряжение, кому следует, получить информации насчет ковра и уже только тогда сообщить об этом мне. Делая такое заключение, я видел совершенно ясно, что место, куда он хотел положить ампулы, было именно это – в его собственном кабинете, на том месте, где он сидел... "место, где он сидел" было для меня расшифровкой загадки, ибо где он сидел, там никто кроме него не садился: абсурдно было думать, что бы он задумал самоубийство, да еще таким необыкновенным способом. Итак, на том месте, где он сидел, должен был сидеть кто-то другой, и этим другим не мог быть никто другой, кроме его заместителя...

— Великолечно, тов. Ландовский, вы спаслись.

— Ясно, комиссар Ежов. К счастью, я не машина. К счастью для вас. Я обязан был подчиняться Ягоде, как народному комиссару, и не подчиняться ему, когда он уже перестал быть им.

Ежов встал, и я также. Я могу наблюдать следы крови в углах его рта, по-видимому он до крови закусил свои губы... Моему экзальтированному воображению представились его легкие, подточенные инфекцией, приготовленной для него его другом Ягодой. Я счел более осторожным не обратить на это его внимания.

Заканчивая наше свидание, он добавил:

— Под самую строжайшую ответственность никому ни одного слова. Я уже имел возможность наблюдать, что вы умеете хранить секреты, но все таки я вас предупреждаю. Возвращайтесь на то место, где вы были. Думаю, что с вами будет обращение, не стесняйтесь, если вам понадобится попросить у меня что-нибудь. Что касается Парижского дела, то я должен буду его утвердить, предварительно изучив детали, в эти первые дни, когда я должен буду заняться многими делами, я не смогу ничего сделать... Предполагаю, что подготовка будет утверждена и что мне понадобятся ваши услуги. В этом случае вы поедете туда на таких же самых условиях. Надеюсь, что вы вложите весь ваш интерес для счастливого исхода дела,... ибо не менее тверд, чем мой дражайший предшественник. Вы понимаете конечно... будьте таким, тов. Ландовский, и вы не раскаетесь. Думаю, что ваши услуги и ваш ум будут полезны пролетарскому государству.

Без дальнейших излияний он остановился в дверях. Я вышел и остановился на пороге другой двери. Я сделал знак, что бы ко мне подошел сопровождавший меня человек.

— Тов. Ландовский вернется с вами в лабораторию, обращаться с ним должны так же, как и до сих пор, и все его нужды тщательно удовлетворять, так же содействовать ему в деле научных занятий и доставлять то, что он пожелает. В нужный момент я дам распоряжение в отношении его участия в том деле, которое его касается.

РЕНЭ ДУВАЛЬ, МОЙ СИМПАТИЧНЫЙ НАЧАЛЬНИК

Меня опять поместили в доме лаборатории. Казалось, что абсолютно ничего для меня не изменилось. Миронова я не видал уже с тех пор, как он меня покинул. Левин также меня больше не посещал.

Проходили дни. Я имел общение только с молчаливым "мажордомом", который ограничивался исключительно своими функциями. Повторные попытки завязать с ним разговор всегда кончались неудачей.

У меня было много времени для размышлений. Все говорило о том, как мне казалось, что обо мне совершенно забыли. Часто в моей памяти вставала фигура Ягоды. Я предполагал, что его могли "молниеносно" ликвидировать, но я никаким образом не мог удостовериться в этом. Моя изоляция была полной. Мне казалось, что этим домом совершенно не интересуется новое управление ГПУ, ибо, хотя я и очень внимательно прислуживался, но не слышал ни одного автомобиля и не видел ни одного посетителя. Только два раза в день, в определенный час очень рано утром, открывалась дверь. По видимому, это выходил "мажордом" за получением провизии на этот день. Я вызывал его в этот промежуток времени, предварительно приготовив для этого оправдание, чтобы его что-нибудь попросить, но он мне об"яснял, что не может притти сейчас, а только через пару часов, что он и делал, несколько минут спустя я слушал, как опять открывалась и закрывалась дверь. В таких пустяках проходило время, предназначенное для отдыха, кроме этого, я проводил много часов в лаборатории производя опыты и занимаясь чтением.

Ничего интересного за эти дни я не мог отметить.

Прошло довольно времени. Но, наконец, одним поздним утром я смог различить характерный шум приближающегося мотора, через несколько минут я был вызван в помещение, где когда-то происходил мой допрос, предшествовавший моему посещению Ежова. За столом сидел тот же самый человек со шрамом. На этот раз он был один и его обращение со мной, насколько это было возможно, было несравненно более друже-

ским, чем во время первого свидания. Мы поклонились друг другу, не протягивая руки.

— Товарищ Ландовский, — начал он — начальнику желательно, чтобы вы продолжали свою миссию, к которой вас предназначили. Вы имеете в распоряжении все необходимое?

Я сделал утвердительный жест.

— Хорошо, — продолжал он, — я думаю, что нет надобности опять повторять условия, на которых вы должны выполнять поручение... Вы их помните, не так ли?

О некоторых вещах говорить обременительно. Вы должны только знать, что все осталось по-старому. Мы одобрили те же самые меры, которые имел в виду предпринять Ягода. Заложники остаются в наших руках, так или иначе, вы отвечаете за свое поведение... понимаете? Само собой разумеется, что отношение тов. Ежова к вам по вашему возвращении будет гораздо лучшим, чем Ягоды... Это он поручил мне передать вам. Что касается технических подробностей для данной операции, то в данный момент мы об этом ничего говорить не будем. В Париже вы будете прекрасно осведомлены о той роли, которая будет на вас возложена...

Постучали в дверь. Мой собеседник дал разрешение громким голосом. Мажордом возвестил о прибытии "товарища Дуваля". По получении разрешения вошло указанное лицо. Я предположил, что это был француз, но его русский акцент был безупречен. Он был великолепен: молод, - около двадцати шести лет и с первого взгляда казавшийся симпатичным, если бы не частый смех, при котором он открывал свои чудные белые зубы, придававшие его лицу какой-то иронический оттенок и этим его обесценивавший. Одет он был изысканно. Я сразу заметил, что его костюм был западного происхождения и при этом от первоклассного портного.

— Товарищ Ренэ Дуваль — представил чекист. А затем, обращаясь ко мне:

— Доктор, которого ты уже прекрасно знаешь по нашим докладам.

Прибывший приветствовал меня поклоном и одной из своих наилучших улыбок. Человек со шрамом продолжал:

— Это ваш товарищ по путешествию, доктор Ландовский, ваш новый проводник. Как вы видите, у вас компаньон очень милый, надеюсь, что вы станете хорошими друзьями.

Все прекрасно, я в этом уверен, но не обманывайтесь прекрасным внешним видом и тонкими манерами, тов. Дуваль очень хорошо знает свое дело, что он нам великолепно доказал. Измена или просто непослушание... будут обозначать вашу окончательную гибель, доктор...

Дуваль перебил:

— Ради Бога, товарищ! Не обращайтесь внимания, дорогой доктор. Эти предупреждения не для вас. Я считаю себя хорошим психологом, читаю в вашем лице, что вы неспособны ни на что плохое... Мы будем большими друзьями... Поговорим... Не часто удастся иметь компаньоном по миссии человека науки, ученого... Меня интересует химия... Не желаете ли папиросу, дорогой доктор?

Я принял папироску. Он зажег мне ее крошечной зажигалкой. Заметив мое любопытство, дал мне ее рассмотреть.

— Чудесная, не правда ли? Я вам раздобуду такую же, когда мы будем там.

Тип со шрамом поднялся с кресла направляясь взять свою великолепную меховую куртку, сказал на прошение:

— Поздравляю, что ваши отношения начались так замечательно. Доктор знает уже, что тов. Ежов ожидает благополучного выполнения его миссии. У него есть большие проекты в отношении вас, вплоть до того, что он сделал все, чтобы найти заместителя для вашего путешествия, но это ему не удалось. Возвращайтесь скорее и с успехом. Вы ему нужны для другого дела, очень важного для которого вы, конечно, ему пригодитесь.

Воодушевленный такими хорошими, перспективами я осмелился обратиться к нему с просьбой:

— Товарищ, — сказал я — нельзя ли будет мне написать несколько строчек моей семье? Я был бы очень благодарен товарищу Ежову.

Он постоял минутку в нерешительности и смущении, между тем, как я смотрел на него с мучительным беспокойством, но потом сразу ответил:

— Ваша семья? Конечно, конечно. Что вы хотите?

— Только несколько строчек... написать им несколько строчек.

— Да, да... разумеется. Я займусь этим. Препятствий тут нет. Напишите. Товарищ Дуваль, вы мне перешлете это пись-

мо, когда наш доктор его напишет.

Он распрощался, предупредив, что выезд назначен на следующий день.

Я остался с вновь приехавшим. Это был увлекательнейший человек.

Пил он сильно, но не заметно было ни малейшего воздействия на него вина. Он предложил мне поиграть в шахматы. Я - хороший игрок, но он играл гораздо лучше. Он выиграл у меня все партии, кроме одной, которую он, как мне показалось, просто подарил мне.

Он рассказывал мне о Европе. В его разговоре отсутствовали избитые советские выражения. Он не оттенял слово "капиталист" обязательным "негодяй", не добавлял к "фашистам" обязательного "убийцы". По видимому он жил долгое время среди западных народов, а, может быть, где-то там и родился. Часто употребляемые французские слова, которыми он украшал свои переводы, он произносил вполне правильно, будто он родился во Франции, тем не менее по-русски он говорил тоже безукоризненно, как любой прирожденный русский.

Во время завтрака он был переборчив и не хотел есть многих вещей, которые мне казались изысканными. Почти что ничего не ел. Он выбрал среди блюд французскую кухню и французские вина. Был, по-видимому, в этих делах знаток. Папиросы, которыми он меня угощал, были княжеского достоинства, очень длинные и с длинным мундштуком. Когда он курил, его движения были в высшей степени элегантными, тут я обратил внимание на опрятность его полированных розоватых ногтей. Любой аристократ мог бы позавидовать его манере открывать и закрывать свой портсигар.

Этот день был для меня очень занимательным. Ни малейшего намека на наше дело. Мы были похожи на двух туристов, случайно познакомившихся в роскошном отеле и беседующих о всяких банальных вещах с целью убить время.

Мы разошлись только поздно вечером.

Я спал плохо, все время просыпался и так я не смог хорошо заснуть. Меня очень нервировала перспектива завтрашней поездки.

Меня позвали после девяти утра, как раз в тот момент, когда я только заснул. Я выкупался и быстро оделся. Завтракал я с Дувалем, и вскоре прибыла машина для доставки нас в

Москву, откуда уже мы должны были ехать по железной дороге. Мой багаж, приготовленный мной еще несколько дней тому назад, вероятно, был отвезен на вокзал заблаговременно. Я должен заметить, что там были мои препараты и что меня предупредили о том, что я не должен беспокоиться отсутствием багажа, он будет доставлен в Париж более надежным путем.

Все было для меня просто, ибо я не должен был беспокоиться ни о билетах, ни о паспортах. Об этих деталях мне и нечего рассказывать.

Меня провели в купе, резервированное для меня и для Дуваль. Никто к нам не входил в течение всего путешествия. Тем не менее я обратил внимание, что мы ехали не совсем одни и не были забыты. Два типа оберегали нас во время пути. Несомненно, это были подчиненные моего сопровождающего. Мы не выходили из купе ни на завтрак, ни на обед. Дуваль приносил в изобилии продукты, закуски и выпивку в большом деревянном ящике.

Я узнал о прибытии в Негорелое по тому, что это сообщил мне Дуваль. Тут также никто меня не беспокоил: ни таможенные служащие, ни милиция, все было устроено заблаговременно.

После долгой остановки поезд тронулся, затем, спустя немного времени, он снова стал останавливаться. Через окошко я видел, как сходили с поезда солдаты и пограничная стража. Мы были на самой границе СССР, мое сердце забилось более ускоренным темпом перед лицом этого чреватого последствиями факта.

Мы снова тронулись и снова остановились. Я увидел совершенно изолированный домик, вокруг него был расположен отряд солдат, как мне показалось, французских, похожих на тех, что я видел в войну 1914 года. На них были французские каски, знакомые мне по фотографиям в иллюстрированных журналах. Другие типы в форме - определенно офицеры - были в шапках с квадратной "тарелкой" и большим козырьком, что придавало им вид больших птиц. Для меня это были люди как бы с другой планеты. Я видел, как они зашевелились и стали приближаться к окошкам. По-видимому они зашли в поезд, ибо через некоторое время я увидел их в проходе, контролирующими паспорта.

Мне вручили мой паспорт, и я подал его первому из них, потребовавшему его на очень твердом французском языке. Очевидно мы уже вне СССР, мы в Польше.

Снова остановка поезда. Это первая польская станция: Столбцы.

Это очень опрятная станция, совсем не похожая на советские.

В отдалении - избы такого же вида и формы, как и советские. В этом отношении не видно, чтобы Польша на много опередила своего соседа. Грязноватые дороги, ведущие к станции, очень похожи на советские. Если бы не с пол дюжины хорошо одетых, буржуазного вида поляков, действительно видных и элегантных, составлявших контраст с крестьянами, похожими своим внешним видом и лохмотьями на советских, то я подумал бы, что еще нахожусь в России.

Опять продолжительная остановка. Мы должны сойти со своим багажом для ревизии в таможне. Полиция подвергла нас небольшому опросу, гораздо более короткому, чем для других, также приехавших из СССР, ибо по нашему паспорту было видно, что мы в Польшу в"ехали транзитом для проезда в Германию.

Наконец все закончено. Поезд опять трогается, развивая скорость немного большую, чем в СССР, и едем мы скорее. Я не отрываю глаз от пейзажа, в глубине души я думаю, что это моя настоящая страна, и мысленно я ее приветствую. Ведь это моя нация, настоящая моя национальность, веками уже здесь проживающая. Эти мысли вызывают во мне соответствующие эмоции. Где-то, в какой-то точке горизонта, который я наблюдаю, может быть покоятся кости моих предков. Многие из них погибли в борьбе с татарами, русскими и казаками. Если, благодаря царю, с политической стороны, а затем, благодаря узам любви с другой - было достигнуто то, что некоторые из моих ближайших предков чувствовали себя русскими, то, что сегодня ни я, ни моя жена, тоже полька на три четверти, не ощущали никакой близкой привязанности по отношению к СССР. Даже больше: некоторые чувства, приобретенные нами по наследству, умерли под тяжестью молчаливой, но безудержной ненависти к Советской Республике. Благодаря ненависти к слову "нация" этих революционеров-апатридов, которые привязали нас к СССР, как древние римляне когда-то привязыва-

ли к своим повозкам побежденных и плененных на войне, оно опять возродилось.

Бесконечная нежность наполнила все мое существо. Я прикрыл рукой глаза, чтобы сопровождающий меня чекист не смог приметить их влажности. Стало вечереть. Там и сям вырисовывались отдельные крестьянские избушки в надвигающейся темноте. Поблескивали прямоугольники застекленных окон. Пламя очага где-то там внутри в темноте, спокойные человеческие тени, откуда-то издали звучавшая меланхолическая песня, светлая луна, зарождающаяся где-то под голубым балдахином в серебристо-зеленой колыбели - все это я ощущал, как "Родину",.. и я видел себя по мановению волшебной палочки очутившимся в одном из таких изолированных домиков, в уютном тепле около яркого пламени, счастливым, окруженным своими, я со спокойной душой, я как бы чувствовал себя паломником, который после тысячи дней, проведенных в ледяной пустыне, наконец имеет отдых в своей семье, в тепле своего очага.

Я почувствовал себя поляком, и одновременно в моей душе бушевали ненависть и бешенство. Мне хотелось кричать о моей трагедии, хотелось броситься к Дувалю и задушить его за шею... Я вышел в проход, меня била нервная дрожь, я схватился за раму окна своими судорожно сжатыми пальцами и приложился лбом к холодному стеклу, опершись на локти, и так я стоял застывшим, бесчувственным, в состоянии галлюцинации, я не знаю сколько времени.

VI

МОСКВА-ВАРШАВА-БЕРЛИН

Вот мы и в Варшаве.

Сидим на станции, Дуваль и я вместе, но идем мы по отдельности, и за нами следуют два суб"екта, которых я приметил еще в вагоне. Это не те люди, которые провожали нас на русской территории, а двое новых. Вскоре я отдаю себе отчет, что Дуваль идет вслед за другим типом, каковой, как видно, нас здесь поджидал. Он вывел нас со станции и незаметно указал на роскошный "Паккард", в который мы уселись только вдвоем.

Мы сошли у дверей, где нас ожидал кто-то вроде мажордома. Прошли внутрь. Дом довольно элегантный. Никого не видно, а служащий, прекрасно говорящий по-русски, указывает нам наше помещение.

Я не буду писать об этом доме, но и не нужно. Ничего особенного тут со мной не произошло. Дуваль сообщил мне, что мы задержимся в Варшаве на два или три дня, и что этого будет достаточно для моего ознакомления с окружающей обстановкой и жизнью города, поскольку на немецкой границе мне придется переменить свою личность. Он показал мне мой новый паспорт на имя Зелинского из Варшавы. На нескольких четвертушках бумаги были записаны персональные данные последнего, которые он мне и вручил. Он обратил мое внимание на то, что доктор, права которого я узурпирую, женат на русской эмигрантке Жанне. Я буду располагать всеми точными данными о докторе и при небольшой находчивости смогу сойти за доктора Зелинского, тем более, что мой будущий собеседник не знает его по виду и не в столь близких отношениях с ним. Конечно, я говорю по-польски, говорю с колыбели и также всегда говорил по-польски с моей женой. Несомненно люди из ГПУ хорошо знали это.

Неожиданная смена декораций заставила меня заподозрить, что мое участие в деле поимки Миллера будет гораздо полнее, чем я это предполагал. Еще мне не были сообщены детали, но замена моей персоны другой, новой, давала повод

думать, что мне придется иметь предварительно дело с кем-то, имеющим какое-то отношение к заданию.

Дуваль куда-то протелефонировал. После этого он мне сказал, что через несколько минут явится один польский товарищ, который должен будет эти дни сопровождать меня всюду по городу, он совершенно ничего не должен спрашивать по поводу моего путешествия, а я не должен к этому подталкивать. Я должен был только возвращаться в дом на ночевку. Он выдал мне польские деньги, сказав, чтобы я купил себе часы, одежду, чемодан и т.д, то есть весь багаж, с той целью, чтобы фирма и качество его уже сами по себе говорили о моем происхождении.

Еще не успел он закончить свои инструкции, как доложили о приходе одного типа. Это был элегантный человек, лет сорока пяти по виду. Он был представлен мне, как товарищ Владимир Перм, позже я смог сделать вывод, что это имя было фальшивое, ибо несколько раз он не слышал меня, когда я звал его по этому имени, хотя он и не был глухим.

Мы собрались, было, выходить, но Дуваль отозвал меня на один момент в сторону.

— Товарищ, — сказал он мне, — думаю, что не лишним будет еще одно предупреждение. Никаких глупостей! Не думайте, что вы где-нибудь сможете остаться один. Малейшая попытка бегства будет вам стоить пули из наших револьверов с глушителем, конечно, не говоря уже о том, что вы знаете об отношении к вашим.

Я посмотрел ему пристально в глаза. В них не было видно признаков колебания или обмана. Они были у него так же бесстрастны, как и тогда, когда он предлагал мне папиросу. Я ответил ему только успокоительным жестом и повернулся спиной.

Нас поджидал другой автомобиль. В нем поехал я с Владимиром. Спустя некоторое время, я опять заметил, что нас эскортировали.

ГПУ тщательно охраняло мою скромную персону.

Мой компаньон, которого мне послала судьба, болтал без умолку. Очень быстро я приметил, что это был еврей, хотя он старался скрыть это, как мог. Пока я делал свои покупки, он говорил о божественном и о человеческом. По-видимому, мой спутник был очень опытным в этой профессии и уже вперед

знал, что мне нужно приобрести, поэтому мы потратили на дела очень мало времени. Между покупками он приглашал меня пить виски, но, само собой разумеется, платил всегда я.

Он рассказывал мне о политической ситуации, о последнем административном скандале, о театральных премьерах сезона, об интернациональной политике Польши, о военных маневрах и еще о целой куче вещей. Этот человек великолепно выполнял свою роль инструктора.

Так прошло три дня. Я бы смог уже даже написать несколько хроник по разнообразным вопросам варшавской жизни, мой польский внешний лоск получился достаточно безупречным.

Но из всего этого я сделал все-таки про себя одно важное наблюдение. Я не был в Польше с 1912 года, и если я заметил определенный прогресс в отношении материальных благ, то есть то, что можно было наблюдать на улице: автомобили, моды и т.п., то в социальном аспекте Варшава мне показалась нисколько не изменившейся, это был такой же самый город, каким я знал его при царях. Если в то время я видел много людей в форме, то столько же, а, может быть, и больше, было их и теперь, и почти что также анахронично и красиво одетых, как и раньше, аристократия по крови и денежная имела такой же высокомерный вид, как и прежде, и не менее резко отличалась от других классов, бедные безусловно не превышали в своей нужде бедных в России, но даже казались с первого взгляда еще более несчастными, поскольку на каждом шагу бросались в глаза контрасты с роскошью, ведь здесь все это не маскировалось и не скрывалось, как в России, и даже наоборот, как бы выставлялось на показ, на оскорбительный показ. Французские моды, сильно утрированные, приобретали в великолепных польских витринах восточную пышность.

Меня сильно коробили эти контрасты. Я понял, что это буржуазное общество ничему не научилось, даже при наличии возможности наблюдать зрелище, которое представлялось ему по другую сторону его же собственной границы. Оно глупо бросало вызов оборванным рабочим и босоногим крестьянам, каковые тем временем убаюкивались красной пропагандой и мечтали о близком реванше. Они, конечно, не понимали, что произошла бы только смена тиранов и вместо типов в меховых шубах, не желавших на них даже и смотреть, они стали бы

иметь своими хозяевами свору подлых евреев, наводнивших, как зараза, весь город.

-----оооооОООООооооо-----

Обхожу молчанием путь от Варшавы до Берлина. Ехали мы ночью, и я почти все время спал. Не произошло никаких происшествий, кроме того, что я переменил официально свою личность между границами. Я в"ехал в Германию, как безупречный доктор Зелинский.

Мы сошли на вокзале на Фридрихштрассе. Там я пробыл только несколько часов. Как я уже говорил, я был избавлен от хлопот с багажом и всякими прочими вещами. При приезде в Германию Дуваль отстранился от меня, мы вели себя, как два незнакомца, и я предполагаю, что он тоже изменил свое имя.

Он раз"яснил мне еще до выезда в Варшаву, чтобы я к нему не подходил и не завязывал бы с ним разговора, но чтобы я не вздумал, что начинаю путешествовать самостоятельно, меня будут охранять так же, как и раньше, но только в более скромном виде.

Следуя его инструкциям, я вышел с Берлинской станции, взял такси, номер которого у меня был записан, и который под"ехал к самому тротуару, чтобы подобрать меня без каких-либо раз"яснений с моей стороны. Он подвез меня к кофейной на Курфюрстендамм, где и остановился без моих указаний. Я вышел и прошел внутрь кафе. Имея уже опыт в этих делах, я вскоре заметил, что за мной следовали два хорошо одетых представительных молодых человека. Они старались прикрыть свое бандитское положение преувеличенной элегантностью. Не подав виду, что я что-либо заметил, я уселся за столик у окна и отдыхал, наблюдая за открывшимся передо мною зрелищем - великолепную улицу с проходившей мимо публикой.

Я заказал кофе, кофе мокко, как мне предложил официант. У меня были при себе хорошие папиросы, купленные в Варшаве, и я с наслаждением закурил. Комфортабельная обстановка, элегантность, чистота залы и прекрасное качество кофе мокко доставили мне большое удовольствие и счастье.

Я размышлял о том, что никто из публики, окружавшей меня, не мог себе даже вообразить, что этот мирный и довольный гражданин, занятый наблюдением за вьющимся дымком

своей сигары, был пленником, настоящим пленником, которого могли бы изрешетить пулями тут же на месте в случае, если бы он вздумал бежать или заговорить с полицейским, или позволил себе еще что-либо вне программы, и даже неизвестно, с какой стороны грозила мне опасность, ибо парочка разбойников исчезла из вида. Не было ли уж поручено стрелять в меня этому толстому господину со стеклами, годными в качестве перископа для любого моряка, сидевшему визави меня и углубившемуся в чтение "Völkischer Beobachter"? Также мог быть кто-нибудь один из этих двух: худощавый тип аскетического вида или скромная дама в крепких ботинках мужского типа, ласкавшая безобразнейшую собачку. Затем я стал подозревать двух не то англичан, не то американцев, усевшихся за моей спиной так, что я беспрерывно слышал их Yes. Я наблюдал за ними и видел, как они посмеивались над двумя рослыми мужчинами в форме со свастикой на рукаве, проходившими мимо с видом марсиан. Я никак не мог разгадать своих будущих убийц и перестал заниматься расследованиями. Попросил еще одну порцию кофе, на этот раз со сливками. Он был чудесный! В самом деле, в этой нацистской Германии потреблялись бесподобные кофе и сливки. Роскошный зал был прекрасно отоплен и меблирован с большим вкусом. Я наблюдал достаточно времени, но не смог увидеть ни одного оборванца или нищего. Чистые асфальтированные мостовые, на расстоянии, которое мог охватить мой глаз, не видно было ни одной бумажки, ни одного брошенного окурка, казалось, что город "стерилизован". Все это было мне неприятно и неудобно. Малейшая неосторожность, - и я оказался бы нечистоплотным и невежественным человеком. Это стесняло меня, не нравилось мне. Я не особенно много читал советскую прессу, но все-таки в течение многих лет всегда заглядывал в рубрики, посвященные Германии и "Наци". Где же эти, изображавшиеся там, прусские солдафоны с хлыстами в руках, хлещущие рабочего, если он слегка заденет их на тротуаре? А голодные дочери пролетариев, предлагающие себя иностранцу за кусок хлеба?

А рабочие, подбираемые там и сям из сточных канав, умершие от голода? А отряды партийцев, делающих налеты на кофейные и производящие опрос выгнанных оттуда людей?

Я посмотрел на часы. Было около двенадцати. Я подумал о том, что в это время еще не могут появиться на этих цен-

тральных улицах пролетарии. Я читал в русской прессе, что Германия перевооружалась полным ходом, и поэтому рабочие были заняты на фабриках и в мастерских. Дождался двенадцати часов, чтобы увидеть несчастный немецкий пролетариат. Пробыло двенадцать. Действительно, улица сильно оживилась: шло взад и вперед бесконечное число лиц, часто группами, жизнерадостно и оживленно болтавших, но рабочих, тех, кого я бы мог считать за рабочих, я не видел ни одного. А ведь мимо меня за полчаса прошли тысячи. Я никак не мог себе раз"яснить этого чуда?

Мне раз"яснили, что я смогу позавтракать в ближайшем ресторане. Я заплатил на выпитый кофе, заглянул в книжечку с записанным маршрутом, хотя прекрасно запомнил название ресторана и, не спеша поднявшись, медленно направился к дверям. Я не заметил, чтобы кто-нибудь следовал за мной, но когда уже сделал порядочно шагов по террасе, то увидел себя включенным между двумя типами, из которых один шел впереди, а другой сзади. Они не меняли этого порядка, и мне пришлось следовать за передним, чтобы пройти в ресторан. Так и вошли. Людей там было еще немного, я смог выбрать себе столик, а они уселись за двумя соседними столиками около меня.

Я старался не замечать их присутствия. Я намеревался, если это будет возможно, устроить себе маленький банкет. Проходя, я заметил длинную витрину с разнообразными закусками, поистине обильными и ослепительными. Подумал о нормировке продуктов, пожалел, что плохое положение с продовольствием в Германия (экспорт продуктов питания в обмен на сырье для военной индустрии - что мне было известно из "Правды") позволит мне воспользоваться только самым малым их количеством.

Услужливо подошел официант.

Надо сказать, что я по-немецки читаю и могу переводить, но говорю с большим трудом. С немецким языком я имел дело только в научных книгах, в которых я разбираюсь довольно хорошо. Я боялся, что мой язык будет недостаточно понятным для официанта и что моя порция вследствие плохого об"яснения еще уменьшится.

Я спросил у него, не говорит ли он по-французски? Он ответил мне отрицательно и с признаками некоторого смущения.

ния крутил в руках меню. Увидев господина, шедшего со шляпой в руках по проходу между столиками, начинавшемуся у входа, он подошел к нему навстречу и стал с ним говорить, указывая на меня. Оба приблизились ко мне. Прибывший учтиво сказал мне на правильном французском языке:

— Я сейчас подойду к вам.

Я был удивлен. Это, должно быть, несомненно хозяин, подумал я, имея большое желание быть любезным с иностранцами, он придет помочь мне составить меню.

Через две или три минуты он появился снова около меня и начал переводить мне на французский язык. Хозяин переоделся официантом, чтобы мне лично услужить, иначе не могло быть, ибо это был тот самый господин, с которым говорил слуга. Я поблагодарил его за беспокойство, проявленное им, и казавшееся мне исключительным. Он изумленно посмотрел на меня и так и стоял с открытым ртом.

В итоге все раз"яснилось: он тоже был официант.

Я замолчал, не желая выяснять свою ошибку, свойственную только тому русскому, которым я перестал быть. Доктор Зелинский из Варшавы, каковым я числился, не мог бы сделать такого ляпсуса.

Когда же я оправился от этой своей неловкости, то я впал в новую. Могу ли я заказывать блюда, которые мне нравятся? А, да! Теперь-то я видел "ПРАВДУ"

— Я очень голоден, товарищ, извините, сударь. Что вы мне порекомендуете?

Мой официант оказался настоящим гурманом, он составил мне меню, годное для русского князя до времен войны... Он вернулся из Парижа пару месяцев тому назад, но думает опять туда поехать после того, когда его жена сделает его отцом пятого ребенка, так сообщил он мне с некоторой стыдливостью. Я его расспросил, не является ли причиной этого небольшой заработок в Берлине?

Он мне ответил отрицательно, у него в проекте было добиться места в каком-то первоклассном отеле, но он может получить его, только усовершенствовавшись в профессии и научившись обслуживать иностранцев.

Таким образом, этот трудящийся мог в"езжать и выезжать из Германии по своему велению?... Я опять вспомнил "ПРАВДУ"...

Обед у меня получился Лукулловский. Каждый раз, когда я клал очередной кусок в рот, я вспоминал "ПРАВДУ"... И я ел и ел, пил и пил с удовольствием как бы в отместку официальному советскому органу прессы. Какая приятная месть!

Я распрощался с этим приятным и услужливым официантом. Я мысленно дал себе обещание, что в случае, если я когда-нибудь получу свободу, я тут же, в этом ресторане, устрою банкет для своих.

Я вышел и пошел вторично в кофейную. По пути я убедился, что немецкие рабочие блистали своим отсутствием. В толпе, проходившей в тот момент, я не видел ни одного. Случай с официантом, которого я принял за буржуя, внушил мне некоторое подозрение. С этими размышлениями я вошел в кофейную. Выпил две чашки кофе, все еще с желанием отомстить "ПРАВДЕ", и для довершения своей мести заказал себе рюмку французского коньяка, чтобы убедиться в том, что я смогу его получить. Я думал, что "автаркия" не сможет мне предоставить эту роскошь, но я ошибся. Прислуживающий перечислил мне с полудюжины марок на выбор.

В оптимистическом настроении после гальского ликера, которому я отдал честь, повторивши его еще раз, я отдыхал, наблюдая за теснившейся в зале многоликой толпой. В самом деле, тут была целая коллекция элегантных и нарядных женщин, казалось, они были собраны здесь при помощи чудесной организация немецкого туризма, как средства привлечения путешественников со всей Европы. Зная хорошо русский, французский и польский языки, - я в течение нескольких минут слышал разговоры на всех трех языках, большей частью это были элегантные девушки жизнерадостного вида. Ясно видно, подумал я, что варварская тирания нацистов им очень благоприятствует.

Я попросил газету. Официант указал мне на арку в глубине кофейной. Я поднялся и направился туда с некоторой опаской, ибо это не было предусмотрено продиктованной мне программой.

Там, в отдельном салоне, стоял длинный стол, а на нем лежало большое количество газет и журналов. По углам - роскошные кресла вокруг нескольких столиков. Все изящно, солидно, удобно, натертый пол блестел, как зеркало. Я вошел. Кроме газет на немецком языке я увидел целую коллекцию са-

мых крупных и лучших европейских и американских изданий и журналов.

Возможно ли было, чтобы нацистский режим мог допустить свое сравнение с другим миром? Я не мог постигнуть подобную глупость.

Я уселся с тем же удовольствием, с каким сидел в ресторане. Это было для меня как бы новым изысканным банкетом, банкетом для зрения. Я был похож на человека, прогуливающегося по самым роскошным центральным улицам современного города, человека - бывшего пленника, двадцать лет не имевшего никакого общения с остальным миром.

Я не читал, а пожирал глазами фотографии, без конца фотографии...

Без сомнения я потерял ощущение времени, я хотел посмотреть все, что имелось тут в моем распоряжении. Но кому-то было поручено вытянуть меня из моего состояния рассеянности. Чей-то локоть столкнулся с моим, я увидел рукав, манжет и чью-то руку с карандашом между пальцами... рука написала цифру 18.30.

Я встрепнулся, поднялся и очень поспешно вышел. У самого тротуара стояло то же самое такси. Я сел в него. На сидении лежал конверт, заключающий в себе железнодорожный билет.

Начали зажигаться огни. Движение было очень большое: автомобили разного типа кишели, как в муравейнике. Мое "такси" продвигалось медленно, делая много остановок из-за световых сигналов, управляющих движением. Иногда мы проезжали совсем рядом с трамваями. Правда, они были наполнены людьми, но ничего похожего здесь не было на московские трамваи, обвешенные гроздьями людей. Здесь, видно, было больше вагонов. Я продолжал высматривать и определять немецкого рабочего. Пытался найти его среди тех, кто садился и сходил с трамваев, предполагая, что это транспорт для пролетариев, но и мужчины и женщины - все имели резко буржуазный вид. Шляпы, пальто, блестящие ботинки. Я спрашивал себя: "Неужели же ему не хватает его поденной платы на такую недорогую поездку?" Затем я начинал опять наблюдать за тротуарами, получше вглядываясь в толпу в моменты приближения к ней такси: все те же самые буржуи и буржуйки.

С этими размышлениями я прибыл на станцию "Зоологический сад". В этом же самом конверте была и багажная квитанция. С билетами на руках я отправился на вокзал. Пересек просторный зал. "Вот здесь, — подумал я — здесь на станции, я увижу немецких рабочих, по крайней мере в очередях у билетных касс", но не было ни рабочих, ни очередей... А крестьяне? Вот, наконец... Там вдали я увидел группу крестьян. Но... я... не может быть. По всей вероятности это театральное представление для развлечения туристов. Дюжина... (хотел сказать, людей из деревни), разодетая в живописные и богатые костюмы с вышивками, с кружевами, накрахмаленные: все - ярких цветов,.. все новенькое, сверкающее, безупречное! Оперный хор, по заказу немецкого "Интуриста"? Они прошли впереди меня на платформу, я видел затем, как они садились в новый красивый вагон, прыгали и смеялись... Это "представление" для туристов было великолепно.

Как наивны всегда немцы! Кого хотят они обмануть? Я шел следом за молодым человеком в форме, который любезно взял у меня билет и квитанцию. Он был в самом деле великолепен! Я бы мог принять его за советского маршала. Я устроился в купе спального вагона: он ушел, и я понял, что должен его ждать.

Вскоре он доставил на тележке с электрическим двигателем два моих чемодана. После этого появился и Дуваль: один, с рассеянным видом прогуливался он около вагона. Он даже не глянул на меня.

Мои чемоданы были поставлены со всей осторожностью в купе. Я дал две марки молодому человеку, и он поблагодарил меня, отсалютовав по-военному.

Поезд отправился пунктуально. Дуваль сел в тот же самый вагон, Он был в соседнем отделении.

Я оценил несколько излишнюю элегантность, а, главным образом, чистоту в вагоне, ехал по-княжески. А! СССР богат.

Занялся наблюдением за пейзажем. Сначала виднелись трубы, много труб. Несомненно это были фабрики... Ну... а рабочие? Затем дальше трубы стали появляться реже, и благодаря хорошему и своевременному освещению я мог развлекаться видом бесчисленных домиков, обязательно с садами, аккуратных, красиво выкрашенных, будто бы только что законченных. Затем очень часто мелькали населенные места. Вот

здесь я же должен увидеть рабочих и крестьян, Но поезд нигде не останавливался, и я только успевал замечать военизированных станционных служащих.

На полученной от Дуваля записочке было распоряжение пройти в вагон-ресторан. Я очень хорошо поужинал. Я сел за четырехместный стол, и моими соседями по столу была супружеская чета с дочерью, рыжей, как огонь. Сколько здоровья, сколько прелести было во всем ее существе!

Во время моего ужина была остановка поезда. Станция была по виду небольшая. Я выглянул в окошко. "Здесь или нигде, — думал я упорно, — здесь я увижу немецкого рабочего". Невозможное дело! Все время та же толпа буржуазного вида.

— Говорите ли вы по-французски? — спросил я у соседки по столу.

— О, конечно! Вы не знаете немецкого? Могу ли я быть вам в чем-нибудь полезной?

— Посмотрите... Я хотел бы знать, есть ли среди этих людей пролетарии?

— Пролетарии? Хорошо, это значит рабочие. Да, их тут много. Почти что все: которые проходят мимо окошка, это рабочие.

Я глянул несколько скептически, а она указала своим розовым пальцем.

— Все, все эти. Обратите внимание. Это металлурги. Здесь есть поблизости металлургические заводы.

— Я думал, что... Я не отсюда... мне показалось, что это буржуазия.

— Откуда вы едете?

— Из... из Польши.

— В Польше много жидов.

Я стал присматриваться более внимательно, не имели ли эти люди физических признаков своей ручной работы. Взгляд их был прост, черты лица грубоваты, сами они были дородны, а эти жилистые руки и широкие пальцы могли принадлежать тем, кто ими физически работает. Но они были веселы, оживлены, смеялись и смотрели с высоко поднятой головой. Я смотрел на них, и девочка тоже. Вдруг она сказала:

— Пролетарии... Это очень гадкое слово. У нас в Германия нет пролетариев. Это было раньше. А это deutschen arbeiter. Понимаете? Немецкие рабочие.

Этот диалог заставил меня интенсивно думать. В СССР слово "пролетарий" считалось выше других слов. Если о ком-нибудь говорилось, что он "настоящий пролетарий", то это было высшей похвалой. Я, химик и доктор медицины, не достоин того, чтобы меня уважали так, как "пролетария", и был на худшем счету. И наоборот, немецкая девочка находит гадким слово "пролетарий". Рабочие в России живут грязно, беспокойно, голодно, в недостатках и горестях: их чуть ли не единственным утешением, которое им импонирует, является то, что люди нефизического труда имеют еще худшую долю и терпят больше унижений. Чтобы увидеть хорошо одетых рабочих, живущих в чистоте и радостно, нужно удалиться из "родины пролетариата".

Поезд трогается: группа людей остается и исчезает из виду. Я сижу, погруженный в свои мысли, и в моей голове мелькают только что виденные образы, которых я не мог себе никогда вообразить.

Сделав вежливый поклон, я ушел.

По пути к нашему вагону меня догнал Дуваль. Воспользовавшись шумом и моментом перехода между вагонами, он настойчиво спросил меня:

— О чем разговаривали?

Я засмеялся...

— Эти буржуа претендовали на то, чтобы рабочими считать других буржуа.

Он засмеялся. О глупость!

Я улегся в кровать, которая была уже приготовлена. Заперся. Стал припоминать картины жизни советского рабочего зимой, всегда обтрепанного, голодного, приниженного, если он не состоял в партии, или если благодаря лениности или разочарованности не мог соревноваться со Стахановым...

Польский рабочий: крестьянин – босой, рабочий – грязный, с ненавистью в глазах и грязью на лбу враждебно смотрят на советский "Паккард", забрызгавший его.

А немецкий рабочий! Его наружность не соответствует названию "пролетарий". Я уж не так был неосведомлен, чтобы не знать, что этот народ живет на территории, урезанной Версалем, что он перенес экономические зажимы и помехи в коммерческих делах, что он страдал от многомиллионных стачек. Что же произошло? Что же переменялось?

VII

ПАРИЖ. СОВЕТСКОЕ ПОСОЛЬСТВО

Меня разбудил стук в дверь проводника. Я заснул сразу, и меня никто не беспокоил выполнением формальностей при переезде границы, мой паспорт остался на руках у немецкого служащего, а возвратил мне его уже французский. Кстати говоря, при моем выходе из вагона этот служащий подошел ко мне, улыбаясь, с протянутой рукой, я вложил в нее десять франков - он продолжал стоять в таком же положении, я порылся и положил еще десять, и тот те результат, у меня мелькнула мысль, не страдает ли он параличом. Но его болезнь излечилась, когда на ладони у него было уже пятьдесят или шестьдесят франков. После этого он приложил руку к фуражке.

Jare du Nord, прочел я на большой вывеске.

Дуваль подошел поближе, и я последовал за ним. Нас окружал прямо-таки настоящий кортеж. Видно было, что в Париже осмотренность не была так необходима, как в Берлине.

Мы сели в два роскошных автомобиля, поджидавших нас у выхода. Поехали в направлении, мне совершенно неизвестном.

— Вот мы в Париже, — думал я — здесь разыграется заключительный акт драмы, в которой я принимаю участие. Мое любопытство разгоралось, и возрастала нервозность. Здесь я должен начать действовать по плану Ягоды, а о своем плане я пока что не имею никакого понятия.

Здесь меня поджидает неведомая опасность.

По тому, что мне удастся видеть, я не могу узнать Парижа. Когда мне было семнадцать лет, я прошел здесь два курса в Сорбонне. Но времена теперь другие, и я почти что не имею ничего общего с тем, что было в том возрасте. Вижу, что куда-то в"езжаем, вроде туннеля. Сходим. Пересаживаемся в другие машины, стоящие впереди.

На машине развевается советский флажок на штанге у капота.

Перед нами распахивается дверь с противоположной стороны. Нас опять осветил дневной свет. Проезжаем по мно-

гочисленным центральным и аристократическим улицам. Различаю улицу Гренеля, на которую я часто приходил, когда ходил в Императорское Посольство. Через несколько секунд машина въезжает во Двор Посольства, и сзади нее закрываются решетчатые ворота. Я могу даже еще припомнить топографию здания по его коридорам. Я прошел с Дувалем и еще в компании четырех мне неизвестных по направлению вглубь здания.

Для нас была открыта одна дверь. Казалась она деревянной, но ее движение было так тяжеловесно, будто она была из массивного железа.

Новая "советская территория" меня сильно придавила, будто я погрузился в свинцовую атмосферу. Мой сопровождающий продолжал быстро идти, не позволяя мне посвящать слишком много времени на болезненные размышления.

Опять дверь и часовой

— Сообщите тов. Прасолову, что прибыл Дуваль.

Часовой не ответил и как будто и не пошевелился, но дверь вскоре открылась.

По-видимому, была тоже бронированная.

— Добро пожаловать, тов. Дуваль. Шеф вас ожидает.

Проходим через маленькое помещение, что-то вроде канцелярии или секретариата, имеющего сообщение с другими комнатами, поскольку я насчитал там до четырех дверей. Пройдя несколько шагов, я ощутил холодную дрожь. Я чувствовал себя все более и более связанным. Вне сомнения, предыдущие дни, проведенные мною в атмосфере цивилизации, несколько успокоили мои нервы, а сейчас меня сразу почти без передышки переместили в другую, что оказало на мою систему убийственное действие. Я даже не в состоянии был припомнить мимолетные сценки беззаботного милого Парижа, воспринятые мною через окошко автомашины. Ни одна из виденных мною молодых парочек, прижимавшихся на улице друг к другу, шедших рука об руку и упивавшихся взаимным смехом, не имели никакого представления о том, что на расстоянии только нескольких метров от них находится мир преступления и тайн.

Нас принял выложенный человечек с огромными очками в круглой массивной черной оправе. Видно было, что он был хорошо знаком с моим провожатым. Он приветствовал его очень искренно, говоря на русском языке, который я опре-

делил, как украинский. Без сомнения это был маленький жидок, его выдавала мелкая завивка волос, хотя, по-видимому, было приложено все старание, чтобы разгладить их какой-то очень блестящей помадой.

Двери, находившиеся в секретариате, имели соответствующие номера. Я прочитал 80, 81, 82 и 83. Мой сопроводитель был проведен в дверь № 83 после предварительного разрешения, полученного по внутреннему телефону, каковой на ряду с другими аппаратами помещался на столе секретаря.

— Доктор, подождите здесь, сделайте одолжение, — об"яснил мне Дуваль со своей неизменной корректностью.

Он пробыл там три четверти часа, если не больше. Секретарь даже и не смотрел на меня, углубившись в приведение в порядок бумаг на своем столе. Время от времени были слышны телефонные звонки, хотя он говорил или по-русски или по-французски, но неразборчиво, я не мог по его ответам отгадать характер дел, о которых шла речь, наверное он разговаривал со знакомыми и они понимали друг друга с полужизна и по условленным словам.

Наконец появился в дверях Дуваль и пригласил меня знаком пройти. Когда я прошел, он сразу же закрыл дверь. Я очутился в комнате средних размеров. Как и прочие помещения, она была освещена искусственным светом. Там находился только один суб"ект. Я смог различить голову, торчащую над спинкой кресла. Сразу мне показалось, что у него какие-то бесформенные неправильные уши, как у животного. Вскоре я понял в чем тут дело: у этого человека были надеты на ушах наушники от телефонного аппарата или от радио. Обходим кресло и становимся перед ним, по-видимому он очень углублен в передачу, так как в течение нескольких минут даже не пошевелился. Затем, не торопясь, снял свои большие наушники, встал и, подобрав шнур, свешивавшийся с них и тянувшийся по полу, положил их на стол. Наклонился над диктофоном и произнес громким голосом:

— Много внимания. — Он прекратил слушание, закрыл рычажок и повернулся к нам.

— Доктор Ландовский.

Этот человек посмотрел пристально на меня, но я не считал себя обязанным отвечать.

Вид у этого субъекта был обыкновенный без каких бы то ни было характерных черт. Одет он был в серый костюм и черный закрытый свитер.

Уселся на то же самое кожаное кресло, на котором сидел раньше, и знаком пригласил нас тоже сесть.

— Меня информировали, доктор, что ваше поведение во время путешествия было корректным. Только ваш разговор в вагон-ресторане был ошибкой, вы должны были избежать его. Надеюсь, что вы примете это достаточно во внимание, чтобы больше не повторить. Но, в конце концов, сейчас мы не подвергаемся этой опасности. Вы будете нашим гостем до момента действий. — Обращаясь к Дувалю, он добавил:

— Пусть займет комнату рядом с вашей, 37-ю. Она прилегает к лаборатории, предполагаю, что доктор будет ею пользоваться...

— Может быть, — ответил я — я думаю, что мои препараты уже прибыли, нет?

— Да, прибыли. Но если захотите сделать какую-нибудь проверку, какую-нибудь пробу, чтобы убедиться, что все в порядке, то сможете воспользоваться лабораторией. А теперь перейдем к главному делу. Вы считаете себя способным выступить в роли доктора Зелинского?

— Я имею насчет него только устную информацию, полученную в Варшаве: думаю, что это слишком поверхностно, если мне придется пользоваться его личностью перед тем, кто имеет о нем полные справки.

— Безусловно, я это предвидел. В вашей комнате вы найдете большой рапорт об этом польском докторе, полные семейные сведения, подробную памятку о его научной деятельности, копии его писем, как семейных, так и профессиональных, настоящие визитные карточки и т.д. Также найдете коллекцию польской прессы, чтобы вам быть в курсе вопросов внутренней политики. Как медик, он, конечно, читал *Le Temps* там имеется коллекция этой газеты за текущий год, и вы будете получать ее ежедневно. В конце концов можете просить все, что вы считаете необходимым в этом важном аспекте. Когда вы будете считать себя подготовленным, скажете, и мы перейдем ко второй фазе этого дела. На сегодня больше ничего.

Он поднялся, а за ним и мы. Он повернулся к нам спиной и направился к своему столу, чтобы опять взять свои наушники, уже держа их в руках, он обратился к Дувалю и сказал ему просто:

— Приходите затем в пять часов.

Мы немедленно вышли из приемной.

Секретарь попрежнему копошился над столом.

При виде нас справился у Дувалья, продолжает ли шеф слушать, получив утвердительный ответ, сделал красноречивый безнадежный жест рукой, потрясая пригоршней бумаг, и обезкураженно сел.

Мы вернулись той же дорогой. Дуваль шел впереди. Подошли к бронированной двери и после двух звонков нам ее открыли для прохода. Свернули направо. Мой компаньон великолепно знает дорогу. Проходим через длинный, очень слабо освещенный коридор, только несколько светящихся точек, как это бывает в кино во время показа фильма, указывают направление в этой темноте. Дуваль подошел к одной из дверей и нажал кнопку. Дверь открылась наполовину и на фоне освещенного четырехугольника вырисовалось фигура. Ему ничего не пришлось просить у него.

— Вот тут, товарищ, помещения 37 и 38. Добро пожаловать, товарищ, — и он закрыл свою комнатку.

Мы прошли несколько шагов дальше и завернули за другой угол коридора, Дуваль открыл одну из дверей.

Вошли. В этой комнате было только все необходимое. Кровать, умывальник, небольшой стол и пара стульев. Тут не было грязно, но чувствовалась недосмотренность, каковая свойственна всем помещениям, досматриваемым мужчинами. Вентиляция была отвратительная, только через окошко у двери могло входить немного воздуха. Стекло окошка было полуоткрыто, но я заметил, что углубление было украшено железными вертикальными полосами. Кроме этого, дверь была деревянная, но очень крепкая. В общем это была камера для арестованного. Все это я учел с первого взгляда. Дуваль вскоре распрощался, предварительно спросив, нет ли у меня каких-либо неотложных вопросов.

— Тут у вас внутренний телефон, можете вызывать, в случае необходимости, распорядителя, а также и меня. Возможно, что во время вашего вызова меня не будет в доме, то-

гда, сообщите в центральную телефонную, и я являюсь по возвращении. Он простился и ушел. Дверь оказалась запертой после того, как он ее потянул, я заметил, что с внутренней стороны она не могла быть открыта. Вторично я стал заключенным.

С другой стороны стола, прислоненные к стене, лежали колоссальные книжищи, а рядом с ними об"емистые папки. Как мне уже было известно, дело шло о коллекции за год газеты Le Temps, переплетенной по триместрам, а папки были наполнены бумагами, относящимися к моему доктору Зелинскому.

Прошло уже больше часа, который я заполнил просмотром коллекций газет, когда меня отвлек звон ключа в замке. Это был обед. Его принес человек, совершенно не похожий на официанта: чекист. Он не сказал ни слова, а я также не имел намерения начать с ним разговор. Положил кое-как прибор и ушел. К счастью, еда была не плохая. Было вино и кофе. Подкрепив свои силы я почувствовал себя лучше.

Выполняя совет Дувала, я углубился в изучение досье. Мой двойник был польским врачом с довольно большой клиентурой. По внушению своей жены оказывал некоторые услуги "белым" и будучи человеком с порядочным личным состоянием, вносил на поддержку организации "белой армии" достаточно большие суммы. Я восхищался полнотой информации, собранных агентами ГПУ об особе и работах польского медика.

Физически он был похож на меня, а в особенности, если бы исчезли мои седые волосы и увеличились бы усы. Говорилось, что этот человек в своих косметических привычках был прост, и ему нетрудно было подражать: большая шевелюра, очки обыкновенной формы, брови темные и густые, одевался небрежно и просто. Страдал нервным перемежающимся тиком левого глаза и большим беспокойством руки с этой же стороны, пальцами которой он все время перебирал в кармане жилетки или играл со складными ножничками, которые он в нем носил. Я уже обнаружил такие ножнички во всех жилетках, которые у меня были, и целый вечер посвятил упражнению в этой привычке, так детально описанной в информации, а также изучению списка и истории "моих" родственников, о которых буду упоминать в разговорах, если таковые придется мне вести. Было очевидно, что дело шло не о персоне перво-

разрядного порядка, но то внимание, которое было ей уделено, дало мне понятие о том, с какой интенсивностью развивает свою деятельность советская полиция в тех случаях, когда дело касается выдающихся личностей или же случаев, в которых затрагивается собственное существование СССР. Неопытному взору бросалось в глаза, что организация белых была пропитана изменниками. Это было прекрасно видно по характеру подробностей, их точности и интимности. Только люди, которые пользуются доверием белых генералов, могут разузнать такие подробности. В одной из информации меня шокировал характер политических идей, доминировавший среди генералов и аристократов. Никогда я даже не подозревал об этом. В России мы не имеем других источников информации кроме официальной пропаганды: и Гитлер и Муссолини рассматривались там, как враги СССР № 1 и № 2. Было логично предположить, что белые симпатизировали фашистам и что эти режимы их поддерживали и оказывали им необходимую помощь. На белых мы смотрели, как на русский авангард фашистов. Но это все было так далеко от правды! Отрывочные выводы, которые я смог сделать относительно белых, говорили о том, что они питали глубокие симпатии к демократическим государствам, главным образом к Франции и Англии. В этой непреодолимой симпатии можно было убедиться из некоторых писем, полученных польским медиком, изобиловавших сведениями о печальной истории измены, жертвами которой стали белые в своей борьбе против красных. Я не мог себе этого об"яснить. Эти люди продолжали уповать во всем на Францию и Англию, хотя в первой из них одержал триумф Народный фронт. Ввиду того, что у меня не было достаточных данных для суждения обо всем этом и понимания, я уклонился от размышлений и стал продолжать свою работу. У меня было большое желание увидеть солнце и Париж, но, согласно предупреждению Дуваля, я смогу этим воспользоваться только тогда, когда почувствую себя в состоянии изображать своего "двойника".

Весь вечер меня ничто не отвлекало от работы. Ужин мне принесли пунктуально. После ужина я продолжал еще несколько часов свои занятия. Затем я улегся и крепко заснул.

Проснувшись, я подскочил. Незнакомый человек трогал меня за плечо, моя комната была освещена.

Меня не разбудил шум открывавшейся двери: так бесшумно функционировали эти сложные запоры.

— Одевайтесь, доктор. Вам придется посмотреть одного больного.

Я полусознательно выполнил распоряжение и, следуя за ним, спустился по нескольким пролетам лестницы вниз, прежде, чем мы попали на нижний этаж, я должен был пройти через коридор, а затем еще спускаться по другой нескончаемой лестнице. По-видимому мы очутились в подвале. Вновь переходы, освещенные тусклой лампочкой и с видневшимися герметически закрытыми дверями по бокам. Человек открыл одну из дверей и пропустил меня вперед. Это было узкое и продолговатое помещение, разделенное на две части тяжелой занавесью: в глубине открылась дверь с двойными стеклами, сквозь которую виднелось небольшое ярко-освещенное пространство, размерами не более двух на три метра. Там находилось три человека.

В глубине против входа - женщина. Женщина казалась куклой, подвешенной к стене под плечи за два толстых металлических кольца, можно было видеть, что эти кольца могли опускаться и закрепляться на требуемой высоте, в данный момент они были пристроены так, что женщина могла касаться пола только кончиками своих пальцев. Голова свесилась безжизненно на грудь и волосы спадали вниз, подобно крылу мертвой птицы. Плечи, опухшие от давления, виднелись через разорванное платье.

Направо от женщины сидел на табурете человек в нарукавниках. Прислонившись к углу он громко храпел, этот тип имел вид преподавателя высшей школы: он был лысый, толстый, с очками и седоватыми усами и бородой.

С другой стороны стоял Дуваль, раскуривая с обычной элегантностью папиросу. Он приветствовал меня:

— Доброй ночи, доктор. Сожалею, что должен был вас разбудить. Нужно помочь этой бедной девушке, которая, как вы видите, без сознания.

Ничего не ответив, я повернулся к типу с физиономией профессора. Дуваль раз'яснил мне:

— Это тоже медик. Человек умный и способный, умеющий хорошо обслуживать задержанных. Но сегодня ночью он несколько утомлен... и, кроме того упорно воодушевляет себя

БРАНДИ. В данный момент на него совершенно невозможно рассчитывать. Поэтому мне пришлось побеспокоить вас. Вы меня извините...

Какой вкрадчивый голос! В этом помещении ужасов он звучит у Дувалья тепло и любезно, скрадывая другие впечатления. Я представил себе, каким колоссальным успехом должен был он пользоваться среди женщин. Он подошел к несчастному созданию и осторожно приподнял ее голову, чтобы показать мне лицо.

— Изыщная девушка, не правда ли, доктор? Необходимо вам привести ее в сознание. Здесь есть все необходимое.

Движением головы он показал на витрину, стоявшую около двери. Баночки, ампулы, шприцы, кое-что из хирургического материала и свертки марли.

Я взял девушку за руку.

— Смотрите, — сказал я — у нее нет пульса на радиальной кости. Прежде всего надо снять с колец это создание.

— Снять? Нет, доктор, вы меня, кажется, не поняли. В данный момент дело в том, чтобы вы ее разбудили.

— Так вот для этого.

— Извините меня, что я хоть и не профессионал, но скажу вам, что, кажется, это совсем не необходимо. Думаю, что эти больные не имеют радиального пульса потому, что кольца сжимают им плечи. Правильно говорю? По крайней мере я слышал это от вашего коллеги. Он пользуется в некоторых случаях ин"екцией здесь - и он показал на затылок несчастной - в твердую мозговую оболочку, как я слышал. Даже без пульса на радиальной кости больные быстро оживляются.

Я смотрел и выслушивал все это с наивысшим изумлением. Когда Дуваль поднимал поникшую голову, когда он наклонял ее в сторону и отодвигал волосы для того, чтобы показать мне место подзатылочного укола, то он манипулировал с деликатностью, сердечностью и нежностью. Его обращения с ней было похоже на обращение с дорогим существом человека, увлеченного этим существом.

— Я понимаю, на что вы ссылаетесь, друг Дуваль, — сказал я ему, зараженный его холодной любезностью, — но я не решаюсь произвести эту операцию. Я знаю о том, что производятся уколы в четвертый желудочек, но я их никогда не де-

лал. Боюсь, что мой укол в четвертый желудочек приведет к моментальной смерти эту девушку. Было бы... Понимаете?

— Я знаю, что это очень опасно для лица, никогда этого не практиковавшего, но вы должны это сделать. Прошу вас попробовать. Вы отказываетесь?

— Нет. Я предлагаю только, чтобы вы мне разрешили применить к ней средства, которые я знаю.

— Это редкий случай поупражняться для вас. Сделайте укол.

— Нет, ответил я решительно, — не беру на себя подобную ответственность.

— Пусть будет по вашему желанию. Снимем ее.

Он отпустил кольца, и мы положили на пол тело женщины. Несколько инъекций лобелина и средств, возбуждающих сердечную деятельность, а также терпеливое искусственное дыхание понемногу вернули ее к жизни. Когда она полуоткрыла ничего не выражающие глаза, я заметил у нее сужение зрачков: фактически ее зрачки исчезли. Какие яды циркулировали по ее венам? Я добился некоторого усиления ее пульса и более полного дыхания. Слабый голос, как бы из другого мира, вырвался из ее груди. Голос невыразимый, жалкий, грустный, умоляющий:

— *Faites moi mourir... faites moi mourir...*

— Бредит, — сказал Дуваль, похлопывая ее по щекам. — Какая жалость, не правда ли? Как страдала эта девушка!

Я, со своей стороны, сказал тоже пару слов утешения.

— Ну, бедняжка, просыпайтесь! Все уже прошло... Давайте, встряхнитесь!

Я заметил, что ее глаза не видели. Блуждая, они никуда не смотрели. Спавший человек схватился и встал покачиваясь.

— Э? А! Голубка, все еще, хорошо...

Дуваль, глядя вниз, произнес спокойно ледяным тоном:

— Проснулись, доктор? Боюсь, что в следующий раз вы уже не проснетесь. Вы думаете, что вы здесь для того, чтобы напиваться пьяным?

— Я, я...

— Вы не выполняете своих обязанностей. Меня не касается, если вы напиваетесь до бесчувствия вне службы. Это ваше дело. А теперь вы вот видите, что я был вынужден вызвать другого, а это уже дело серьезное. Понимаете?

Мой коллега понимал, по-видимому, очень хорошо. Он вполне проснулся и смотрел на меня с ненавистью.

— Что? Хорошо, это ничего. Я уже здесь. Голубка уже запела?

Молчание Дуваля было ему ответом. Нет, не пела. Медик рассвирепел:

— Раз так, — воскликнул он — должна продолжать! Давайте! Помогите мне!

Он подхватил девушку под мышки и подтянул к стене.

— Давайте накладывайте кольца! Теперь не заснет!

Девушка без движения по-прежнему смотрела невидящими глазами. Я осмелился воспротивиться:

— Нет! Вы ее убьете. Не видите, что она не может сопротивляться?

Медик набросился на меня:

— Вы здесь ничего не представляете собой. Можете уходить. А если остаетесь, то помалкивайте.

Онемев от изумления и стараясь скрыть обиду, которая мне была нанесена, я смотрел, как они опять подвесили девушку на аппарат пытки. Мой коллега с профессиональной лихорадочностью выслушивал пульс, похлопывал по лицу несчастной, вложил ей в ноздри ватку, смоченную чем-то из бутылочки. Через несколько минут жертва совсем пришла в себя, хотя выражение ее лица было неизменно сосредоточенное. Дуваль вздохнул и сморщил лоб, увидев, что она снова владеет своими чувствами. Он положил руки к ней на плечи и заговорил с наибольшей нежностью:

— Вот видите, малышка! Вам лучше, не правда ли? Более бодрая, ясно. Вам нужно спать, вам нужен хороший отдых. Целый день отдыха в вашей кровати с задернутыми занавесками, с небольшим освещением, в полной тишине, никто не будет вас беспокоить. Это то, в чем вы нуждаетесь, поверьте мне. Давайте, скоренько закончим, чтобы вы могли отправляться отдыхать. Скажите мне, где находится Вернер? Быстро!

— Я ничего не скажу, — произнесла она устало. — Можете себе продолжать.

— Значит будем продолжать! — закричал доктор.

— Минуточку, — деликатно попросил Дуваль. — Думаете ли вы, что ваш коллега вам уже не нужен?

— Абсолютно не нужен!

— Хорошо, в этом случае...

По его знаку человек, который со мной сюда спустился, тронул меня за плечо и снова провел меня в мое помещение. При прощании Дуваль любезно сказал мне:

— По моей воле. Вы поймите... Простите еще раз.

Когда я улегся, тишина была абсолютная. Но уже мне было невозможно уснуть. Я раскаивался, что не умертвил эту женщину каким-либо способом: этим я бы только сократил ее дантовскую смерть, которой ее подвергали, сократил бы ее муки. Муки, на которые я не должен смотреть, согласно желанию Дувалья. Как бы это получилось!

Меня мучили кошмары. И когда я уже засыпал, я слышал бы из тысячи уст слова, непрерывно меня умолявшие:

— *Faites moi mourir, docteur... Faites moi mourir.*

Этот момент и эти слова неудачницы повторялись передо мной тысячи раз. Дуваль наклонял голову женщины, чтобы показать мне затылок, и я видел там нарисованный труп моей дочери, которая спокойно говорила: "Нет, папа, без пульса на радиальной кости можно очень хорошо жить, нужно сделать укол в четвертый желудочек"... И снова, подобно качке на океане:

— *Faites moi mourir... Faites moi mourir...*

В таком полусне провел я несколько часов. Затем я встал. Кто-то принес мне завтрак, но я этого не видел.

Я быстро поел, но аппетит был у меня плохой. Чтобы отогнать прочь от себя картины ночи, я углубился в чтение газет. Много курил и выпил две чашки кофе. Утро было уже в самом разгаре, когда я почувствовал усталость. Я помылся и решил не спать до второго завтрака.

Через несколько часов навестил меня Дуваль. Он пришел в шикарном светлом шерстяном костюме, на руке он держал пальто-спорт. Он подарил мне коробку шоколадных конфет и несколько ароматических таблеток, которые надо было жечь в курильнице.

— Очень сожалею, что вам пришлось принимать участие ночью, ваша чувствительность была задета... Не так ли? В общем не будем об этом больше говорить. Вот я вам принес кое-что. Как я помню, вам нравятся шоколадные конфеты, духи и птицы. Также хорошие ликеры, ведь так?

Интересный тип был этот Дуваль. В его намеке на ночную трагедию я не заметил ни малейшего признака протеста или отвращения, его жесты и тон напоминали мне хирургов, беседующих между собой о неудавшейся операции. Казалось, что этот человек сумел как-то добиться абсолютного разделения между своей официальной миссией и своей собственной персональностью. Я еще раньше раздумывал над этим столь странным психологическим случаем. (В России не встречаются подобные типы. В России нет собственной персональности). Я был склонен думать, что привычка или другие не знакомые мне факторы снабдили его своеобразной этикой, похожей на ту, каковой должны обладать палачи в цивилизованных странах, слепые исполнители закона, не задающие себе даже вопроса о том, что этот человек, который с начала нашего знакомства оказывал мне разного рода внимание и обращался со мной по всем правилам самой изысканной учтивости, убил бы меня, не дрогнув мускулом, не нервничая, без содрогания. По его улыбке, которая часто появлялась у него на губах, я видел, что он был уже недосыгаем для сомнений, каковые охватывают любого человека, погружающегося в трагедию. Как он дошел до такого состояния? Какой необыкновенной должна быть его жизнь с психологической точки зрения! Какие жестокие приключения убили в нем его чувствительность?

— Действительно так, — сказал я ему, отвлекаясь от своих мыслей, — вкусы у меня несколько с из"яном, может быть, и нездоровые. Мне нравятся экзотические ликеры и птицы, которые хорошо поют. Я не знаком с этой маркой духов, которую вы мне предлагаете.

— А шоколадные конфеты?

— Сознаюсь, что шоколадные конфеты не являются для меня наслаждением, а слабостью. Это легко перевариваемые углеводы. Понимаете?

— Высшая гигиена?

— Немного страху для моей печени. Когда кому-нибудь нравится остерегаться, то он должен остерегаться. Понимаете?

— Послушайте, доктор Зелинский! Печень не заболевает без предварительных симптомов? Я слышал, что когда что-то подозревается, то уже поздно.

— Господин Дуваль, об этих крайностях мы сможем говорить у меня на консультации или в вашей спальне. Как вы

предпочитаете. У меня на консультации получилось бы более удобно.

— Более удобно?

— Да, на сто франков меньше.

Дуваль улыбаясь высказал мне свое удовлетворение:

— Очень хорошо, доктор Зелинский. Надо отдать честь вашей репутации, как человека изобретательного, циника и расчетливого. Ваши "понимаете" безупречны. Не думайте, я ведь тоже должен был научать фигуру, которую вы должны изображать.

Мы продолжали болтать о пустяках, к чему он был очень склонен и чему бы надо было мне у него поучиться. Он сидел в кресле, сильно отклонявшись назад и заложив ногу на ногу, сохраняя свой неизменно элегантный вид, своими чудными глазами следил он за голубой ленточкой дыма, тянувшейся от его надушенной сигары. Сколько раз вырисовывалась его изящная фигура, окруженная стилизованными силуэтами миллионеров и герцогов, на фоне голубого моря?

— Дорогой доктор Зелинский, как вы находите, если сегодня вечером мы поужинаем в другом месте?

— Чудесно! — ответил я. — Значит... разрешите мне припомнить. - да, этот вечер я свободен.

— Хорошо, я сейчас вернусь.

Вышел. Я начал немедленно бриться. Одел темный костюм. Когда я завязывал узел галстука, снова вошел Дуваль.

— Готовы?

Я взял свое пальто, и мы вышли. В коридорах, по обыкновению, никого не было. Прошли через несколько дверей. Часовые — на своих местах, со своим неизменно неприятным видом. Дошли до официального выхода из "Посольства", какая разница! Великолепные зеркала, когда-то отражавшие князей, министров, посланников, великих герцогов и весь большой свет, теперь, с той же индифферентностью, вмещали в себе отображения низшего советского "света" и агентов ГПУ, не один раз, несомненно, видели они панические лица жертв, ведомых в наводящие ужас подвалы, или "дипломатические сундуки", в которых находились усыпленные троцкисты для переправки их на Лубянку...

Уже почти что в дверях Дуваль посоветовал мне поднять воротник пальто. "Достаточно свежо", об"яснил он.

VIII

МОЙ АНГЕЛ ИСТРЕБИТЕЛЬ

Мы прошли небольшое расстояние по тротуару. Нас опередило несколько прохожих, другие разговаривали между собой стоя. Я не мог различить, кто именно следует за нами или наблюдает, но, несомненно, что эта миссия была, поручена нескольким лицам.

Мой друг пригласил меня сесть в такси, которое тут же стояло. Поехали.

— Сделаем прогулку в Поля? Увидите, как все это выглядит.

И в самом деле, целое сонмище автомобилей неслось, правильнее сказать, очень медленно двигалось по великолепной авениде. Их были тысячи. Это зрелище говорило красноречивейшим образом о богатстве здешней цивилизации. Я не мог сравнивать великолепие этой мощи и роскоши с печальными улицами Москвы: обтрепанные прохожие, очереди (хвосты), голодные и грязные дети и кое-где служебный автомобиль, проворный, надменный и всегда зловещий для граждан с низов. Женщины, сказать по-правде, производили на меня необычайное впечатление они были прелестны, большинство из них было украшено продукцией со всех пяти континентов, начиная от тропических перьев до мехов из северных областей, от бриллиантов, добытых из недр земных, до красок самой сложной химии, шелка, вышивки, кружева, драгоценности, обувь тысячи редких фасонов... Мой склад мыслей, сформировавшийся или деформировавшийся под воздействием советской прозы жизни, уклонялся, без моего соизволения, в сторону для довольно странных размышлений. Сколько дней работы носила на себе каждая из этих женщин?

А эти автомобили - настоящие драгоценные вещицы по своей роскоши и сложности! Шоферы и лакеи сидели впереди с серьезным торжественным видом. Это были слуги, старательно обслуживающие богатую клиентуру. Но... было ли во Франции столько танков, сколько в СССР? Имела ли она столько же орудий и авионов? Влекомый по течению этой волны роскоши я чувствовал, что все мы, двигаясь, скользим на

поверхности к советским домнам, турбинам, зубчатым передачам. Фашизация Парижа - это был предательский покров перед катастрофой, чистый морфин. Кто из здешних жителей мог бы представить себе, например, дефилирование колонн в день первого Мая на Красной Площади в Москве? Серые стройные четырехугольники, огромные и мощные, с моторами, выделяющими газы, и звучащий "Интернационал?" Нет, никоим образом! А тем более еще никто не замечал того, что здесь, т.е. очень близко, на ул. Гренель, в сердце этой самой Метрополии, заряжается мина, которая все взорвет на воздух... в то время, когда Париж распевает на всех своих углах: "Танцуйте, сумасшедшие, танцуйте!"

— Посмотрите сюда, доктор — указал мне Дуваль. — Привыкайте видеть такие вещи!

В этот момент мы как раз остановились, что случилось часто из-за помех, в циркуляции движения, около нас очутилось умопомрачительное авто, освещенное внутри, а в нем чудесная женщина - настоящий шедевр красоты и роскоши, молодая, в золоте, в вечернем туалете и целиком завернутая в горностаевое манто. Она ни на что и ни на кого не смотрела, ясно, что ее миссией не было смотреть, но дать возможность другим восхищаться ею.

— Необыкновенна! — смог я произнести.

Это авто нас опередило. Через заднее окошко нас ослепил еще блеск ее диадемы.

— Что вы скажете, если мы отправимся поужинать? Увидите других, таких же женщин. Может быть, и поговорите с ними.

— Я не чувствую особенно много симпатий к женщинам. - На это я должен специально обратить ваше внимание. Меня радует, что вы это знаете. Зелинский для женщин - людоед.

Он дал распоряжение шоферу. Машина повернула вправо. Я не обратил внимания ни на улицу, ни на название ресторана.

— Это ресторан не очень шикарный, доктор. Имейте ввиду, что это проба. Все сойдет. Но за кухню и вина я отвечаю.

Метр провел нас даже не расспрашивая. Казалось, будто столик был выбран заблаговременно. Низкие колонны отделяли его от остального зала, почти делая его невидным. Невдале-

ке от нас находился монументальный камин и посылал нам свое тепло и домашний уют. Там горело несколько огромных сухих поленьев, оживляя лица сидевших за ближайшими столиками.

Мы уселись. Метр подал нам карту. Дуваль дал мне раз"яснения о самых главных блюдах и заказал то, что нам было нужно, чтобы я с ними познакомился. Я наслаждался яствами и напитками, но не настолько, чтобы забыть понаблюдать за публикой из-за колонн. Не было ни одного свободного столика. Большинство французов можно было различить по их серьезности и сосредоточенности во время еды. Получалось впечатление, что они выполняли ритуал, во время которого они приносили сами себе очень приятное жертвоприношение. Это наблюдение было сделано мною еще в мои студенческие годы, но теперь эта французская сосредоточенность во время еды, как на молитве, сопровождалась еще значительно большим воодушевлением.

Мой спутник ел хорошо, но не совсем на французский манер, он ел так, что мог говорить. Он поддерживал со мной легкий разговор, в котором я участвовал с достаточным тактом и ловкостью. Он направил его главным образом на особенности наших блюд и вин, он оказался сверхцивилизованным знатоком блюд, но в то же время и не был зачарован всеми этими тонкостями.

На десерт он заказал восхитительный коньяк и, наливая вторую рюмку, он проронил:

— Как жаль, доктор, что мы должны вернуться туда, вниз!

Это могло относиться одинаковым образом как к "подвалу", так и к России, ибо жест его был какой-то не вполне определенный. Какой-то момент я оставался в нерешительности и не знал, что отвечать, Но это и не потребовалось. Он продолжал:

— Хотел бы я видеть здесь кого-нибудь из нейтральных главарей. Думаете ли вы, что их идеологическая твердость оказала бы сопротивление соблазнам Парижа? А в особенности вот тому, что здесь на столе?

Его улыбка резанула меня, как разбитое стекло,

— Вы уже знаете, уважаемый Дуваль, что я не принадлежу к вашей партии. Я ненавижу политику. Мне кажется, что

вы, партийцы, хотите освободиться от нее, упорно говоря о ней. Понимаете?

— Можете оставить в стороне свои парадоксы, доктор. Экзамен ваш получился удовлетворительным. В данный момент можете стать опять Ландовским. Я знаю, что Ландовский не принадлежит к "нашим".

— Раз так, то в действительности Ландовский не любит политику. Только какой-то клубок обстоятельств, может быть судьба, толкнули его на временный контакт с ней.

— Временный? Вы верите этому?

— Так я себя уверяю. У меня нет поводов для...

— Не мудрствуйте, доктор. Неужели вы думаете, что, попав однажды "внутрь" вы легко оттуда, выйдете? Да, можно выйти, но совсем не таким образом, как вы думаете.

Моментами его лицо принимало другое выражение, выражение усилия, серьезности. Он выпил одним глотком рюмку, стоявшую перед ним. Я слушал с искренним изумлением его глухой голос:

— Очень трудно, сударь, встретить в моей среде честного человека, честного человека, которого не надо преследовать или убивать. Я очень хорошо знаю, кто вы такой и как вы нас ненавидите, но я твердо уверен в том, что вы честный. Вы, например, не способны изменить своему слову чести. Знаете ли вы, что такое "честное слово"? Вы это помните?

— Помню — ответил я.

— Хорошо — и с какой-то торжественностью добавил после короткого молчания — Находите ли вы возможным дать мне слово чести в том, что не используете ничего из того, что я вам скажу? Само собой разумеется, что вам предоставляется полная свобода действий, вне этого. Как вам кажется?

— Даю вам мое слово чести.

— Я думаю, что я не ошибусь, предполагая, что ваше мнение обо мне очень отличается от того, которое вы составили себе о людях из нашей среды, не так ли? Это не значит, что вы должны считать меня хорошим человеком, ни в коем случае, но вы видели у меня странные вещи, которые не соответствуют тому, что я есть, как вы знаете. Правду я говорю?

— Безусловно.

— Отваживаюсь сказать еще больше вам, как медику. Вы примечали во мне то, что со мной не согласуется... Определенное неизвестное...

— Да, вы интересный человек.

— Насмехайтесь, не важно. Сейчас вы станете серьезным, я дам вам обзор моей жизни. Мне двадцать девять лет, прошло уже двенадцать лет, как я вступил на советскую землю. Я чилиец, жил в Париже с десяти лет. Моя мать, очень молодая и богатая вдова, привезла меня сюда с собой, желая, чтобы я получил наилучшее образование. Для этого она не жалела средств, семнадцати лет я был подготовлен для поступления в Оксфорд. Я не жил никогда в интернате какого-либо закрытого учебного заведения: лицей, частные профессора, книги, предложения. Моя мать не могла и подумать о разлуке с этим сыном. Она намеревалась в начале осени переехать со мною в Англию. Как она была, спокойна и самоуверенна! Но был у меня секрет, который я хранил от нее уже два года: секрет для нее совершенно немыслимый, ибо я себя вел всегда примерно и любил свою мать больше всего на свете. Секрет состоял в том, что я вступил в Комсомол и стал секретарем ячейки в лицее.

— Поразительная скороспелость!

— Да, литературный недуг. Знаете ли вы, какое воздействие оказывает русская литература, на мозг молодого человека, окруженного удобствами? Многие из этих литераторов сосланы в Союзе, сосланы ли они сами, или запрещены их книги, - это все равно, но никогда большевикам не будет известно, что они им всем обязаны, гораздо больше, чем грубому Ленину или безграмотному Сталину, или Троцкому - жиду-сатанисту... В отношении Толстого, Андреева, Достоевского - я себя чувствую, как инквизитор!

Он сделал паузу, налил мне еще коньяку, закурил папиросу, и при свете зажигалочки я увидел его изменившееся лицо, незаметная раньше вена пересекала, как рубец, его всегда белый и гладкий лоб. Не зная, какой области он сейчас коснется, я машинально подражал ему: курил и пил. Он стал продолжать с более твердым акцентом:

— Извините, невозможно сдержать эти вспышки... Знайте, что я был выбран, я удостоился этой огромной чести ехать в Москву продолжать свое образование там в школе. Я не по-

ехал ни в Оксфорд, ни в Кембридж, я поехал в школу преступлений. Но как чудесны были мои мечты! Я чувствовал себя тогда избранным, ни более ни менее, как в освободители Человечества! Как будто бы я не должен был покидать мою мать... Я прошел первый курс, мой фанатизм и моя вера смогли превозмочь все, что было отталкивающего и зверского в этой коммунистической жизни, все, что среди этих сотен "избранных" было наполнено утонченным лицемерием, завистью, обидами, которые, помимо этого, с садистическим вероломством научно культивируются преподавательским персоналом, происходящим непосредственно от Каина, каковому поручено извращать все святое и благородное, что есть в человеке: превращать любовь в ненависть, человечность в зверство, ложь в добродетель, правду в глупость, убийство в героизм. Прощение – там это малодушие, патриотизм – измена, а измена это патриотизм. Никто из детей не состоит у вас в Комсомоле? Знакомы ли вы были хоть с одним молодым коммунистом? Так вот это только отображение того воспитания, которое дается нам "избранным" предназначающимся в герои и в заправилы мировой революции. Моя душа находилась как бы в гнезде из шипов..., но ничто не заставило меня забыть о моей мечте пожертвовать собой для атаки на Бастилию гнилой, несправедливой и избалованной буржуазии, во главе голодных масс...

Пауза, опять пауза. И Дуваль продолжал:

— Первоначально был сделан намек на то, что, мол, труднодостижимо, затем дело стало выкристаллизовываться: ввиду моего энтузиазма и пролетарского поведения мне могут сделать особое исключение, я мог бы повидаться со своей матерью, при желании с моей стороны. Еще теперь припоминаю я ту улыбку "профессора", которую я не смог тогда разгадать, еще теперь холодеет у меня кровь в венах. "Ваша мать, товарищ, может приехать... Конечно, мы не знаем ее идеи, ее воспитание и не хотим, что бы она страдала, видя наше социалистическое общество в строительстве. Все уже обдумано: вы встретитесь, если она хочет, там, в лучшем Крымском курорте, там, где отдыхают комиссары Союза и главари Комитерна. Я был поражен... Какую честь оказывали мне... Я смогу увидеть непосредственно мягких старых большевиков из Смольного, интимных друзей Ленина, тех самых, которых я видал издаലെка на его мавзолее во время продолжительного дефилирова-

ния... и, может быть, смогу представить их моей матери, которую они примут с снисходительной и приветливой улыбкой, бедную сеньеру, полную буржуазных недостатков... В тот вечер я написал ей длинное письмо. Я просил у нее прощения за то, что покинул ее, описывал ей мою жизнь, более точно, врал ей о своей жизни, врал о коммунизме, о России, обо всем том, что могла бы ей рассказать пресса в Союзе. Я верил больше пропаганде, чем опыту. И я это делал без угрызений совести, все мне казалось хорошим для достижения цели: чтобы она пробыла тут, около меня, несколько дней я не имел никаких сомнений в отношении ее приезда. Я отправил письмо в тот же вечер и затем провел много дней в неведении, дни эти казались мне вечностью. Мое "коммунистическое мужество" препятствовало мне в том, чтобы выпытывать сведения от моих шефов.

Дуваль заказал крепкое кофе, казалось, он забыл, кто я такой. Затем он стал продолжать:

— Все приходит в жизни. Однажды после обеда мне об"явили, что моя мать прибудет часам к двум дня. Я подпрыгнул от радости, я нарядился, как мог лучше. Я хотел произвести на нее хорошее впечатление. Я приехал на вокзал на час раньше, поезд прибыл по крайней мере часа на два с опозданием. Лавина пассажиров не дала мне возможности увидеть ее в первое мгновение, затем там, вдали, я увидел ее бледное личико и ее большие черные глаза, тревожно смотревшие на людей в лохмотьях, которыми кишел паром. Я кричал и жестикулировал. Полетели к чорту все ком намерения быть стойком и хладнокровным, ибо я хорошо знал, что эта семейная экспансивность снизит мой кредит, Как "сознательного пролетария", когда она будет сообщена в информации, которую подаст моим начальником очередной шпион. Наконец, она очутилась в моих руках, и я покрывал ее поцелуями.

Я уже не видел ни людей, ни станции, ни Москвы, ни России. Я чуть не нес ее на руках, чтобы защитить ее от грубой и грязной толпы, окружавшей нас. Уже за пределами станции нас догнала служащая "Интуриста", которая проводила нас в отель "Савой", один из отелей, предназначенных для туристов. Я мог оставаться с ней до поздней ночи, ужинали мы вместе. Затем я вернулся в мою казарму-школу. Я нес часть подарков, которая она привезла мне. Большую часть я

должен был оставить в отеле, потому что это были предметы роскоши и вызывали бы насмешки моих товарищей, а с моей стороны некоторую агрессию. Я вернулся в школу с глазами и воображением, наполненными моей матерью. Я встретился только с дежурными служащими, все товарищи уже спали. Когда я был уже в кровати, то вспомнил, что мне не понадобилось воспользоваться ни одной ложью, заготовленного мною длинного перечня. Моя мать не видела ни России, ни коммунизма во времени путешествия, все прошло незамеченным мимо ее глаз, наполненных страстным желанием увидеть меня и наполненных мою, когда она уже смогла меня, наконец, увидеть. За время часов, проведенных со мной, она не спросила меня ничего и ничего не замечала из того, что меня не касалось, но зато, думаю, что не осталось ни одного шва в моей одежде, который бы не был проанализирован и не прощупан ею, о моем питании, о моих занятиях, о холоде, о жаре, обо всем, что меня касалось, она спрашивала и спрашивала с ненасытностью. Пять дней, которые мы провели в Москве, прошли, как одно мгновение. Меня освободили от всех работ в школе и я проводил с ней целые дни, кроме часов сна, так как продолжал ночевать в школе. Через пять дней мы выехали в Крым. Путешествие было для меня восхитительным, нечего говорить о том, что также и для моей матери. Я ни разу не заметил, чтобы она проявила любопытство к людям или к пейзажам. Она все смотрела и смотрела неустанно на меня.

Послушайте, Ландовский, знаете ли вы, что это такое? Давайте, давайте, скажите мне пару наших парадоксов.

Он крепко держал рюмку, и его глаза так сверкали, что я оглянулся вокруг себя.

— Не тревожьтесь, — сказал он мягко, — я очень хорошо знаю, что я себе дам. Теперь вы дослушаете меня до конца и сделайте это так же естественно, как и я.

В самом деле, его поза и поведение были до непостижимости естественны. Кто не слышал того, что он говорит, и не видел вблизи его глаз, тот думал, что Дуваль разговаривает со своей обычной светскостью.

— Нас поместили на частной и простой даче — продолжал он, — там я провел десять дней. Мне казалось, что все исчезло вокруг меня. Мои занятия, мой коммунистический фанатизм и сам Сталин сделали для меня маловажными пустя-

ками. Но это очарование не продолжалось долго. Через десять дней я был вызван в Москву. Меня удивило указание, что я должен совершить путешествие один. "Ваша мать – сказали мне – останется там, вы вернетесь через короткое время". Я явился в Москву. Немедленно посетил я директора школы, он не сказал мне ничего особенного, а только сообщил, чтобы я ждал распоряжений, не выходя из здания. Распоряжение пришло в тот же вечер: автомобиль привез меня на Лубянку. Я был спокоен, но в глубине не мог подавить определенное содрогание при приближении к зданию, название которого заставляет дрожать каждого советского гражданина. Меня успокаивало то, что способ обращения со мной не был таким, каковой практиковался с арестованными. Проделав известные вам формальности, я очутился перед Артузовым, знаменитым начальником Иностранного Отделения ГПУ. С этого момента началась моя трагедия... Сокращу: моя мать была привезена как заложница я должен был с этого момента вступить в Государственную Полицию, будучи прикомандированным к Иностранному Отделению. Не буду вам выкладывать аргументов которые мне приводили, ни говорить о том, какое будущее разрисовывали передо мной. Я был поражен, только позже я смог дать себе реальный отчет в той позорной реальности, в которую меня заставили включиться. Моя мать, как мне тогда сообщили, в"ехала в СССР наравне со мной и со всеми учениками школы, с советским паспортом, с фальшивым именем, т.е. таким образом, что никто не сможет заявить никаких претензий насчет нее. Я принял все, я понял с первого момента, что какое бы то ни было сопротивление будет хуже, и даже у меня хватило выдержки проявить определенную радость в том к любезной мягкости, с которой мне намекали на эти вещи. Вышел я из Лубянки наполовину одуревшим, шатался без цели по улицам и площадям. Только уже спустя много часов я смог рассуждать хладнокровно. Моя вера в коммунизм еще пока не была разрушена, было много пропаганды, которой меня пропитали до мозга костей. Если мысль об отречении мелькала иногда в моей голове, я ее прогонял, так как мне казалось, что она касается краев бездны. Дальше этого для меня ничего не существовало: верования и идеи всякого рода развеялись. Пережила во мне только одна единственная любовь к моей матери, и она меня держала теперь всей своей силой, как на цепи.

Может быть, моя мать должна была оказаться в рядах тех людей, которые предназначены для искупления мира. Они имели основания. По мере того, как я размышлял больше, мысль о моей матери становилась все ужасней и все более противоречивой. Да. Для спасения мира матери должны находиться вместе с детьми. Матери должны быть с пролетариями, с молодыми людьми и девушками, с человечеством, которое хочет сделаться хозяином судьбы, с массами, которые скрежещут зубами сжимают кулаки... И, тем не менее, мое бедное сердце восставало. Во мне бился еще маленький буржуа, предрассудки, века. Но какое дело было до всего этого моей матери, моя мать любила меня. Она никому не сделала зла... В моей груди бурлил вулкан. И только поверх всего этого как бы парило желание, чтобы она ничего не знала и не подозревала. Я ей врал, я использовал все ресурсы своего воображения, чтобы сделать предстоящую ей радикальную перемену ее жизни наиболее безболезненной. Мне разрешили вернуться, чтобы повидать ее. Я снова отправился в Крым и был там так бесконечно счастлив. Проходили дни, а я все еще не мог придумать, как сообщить ей катастрофическое известие. Я сделал усилие над собой, если это можно так назвать, и попросил ее продолжить свое пребывание в России на сколько возможно дальше. Она ласкала мою голову не сделав ни малейшего возражения, не выставляя никаких препятствий, как будто она потеряла счет времени. Средства, которые я употреблял, имели успех. Она приняла решение, что, если мои профессора мне позволят, то она пробудет в России весь год, который, как я ей сказал, нужен для окончания учения. Я добился первого триумфа. Затем мне нужно было преодолеть тяжесть разлуки, это было уж гораздо трудней. Опять я стал выискивать аргументы. Она должна остаться там, климат, заболевания и тысячи неудобств мешали тому, чтобы она могла жить в Москве, куда я должен был вернуться. Тут она была неумолима она упорствовала в том, чтобы жить там, где и я. Я должен ей был сказать, что вскоре мы должны выехать для занятий в Сибирь и что туда она меня не сможет сопровождать... Наконец, доктор, моя мать осталась в Крыму. Я вернулся в Москву и только смог написать ей одно письмо, в котором извещал ее, что "учебная поездка в Сибирь" ускорена и я выезжаю на следующий день. Поехал же я в Берлин, где должен был начать практику моей

новой профессии. Но мы остались одни, доктор, пойдемте! Как вам кажется?

Он уплатил по счету. В тот момент, когда его принесли, я заметил странную манипуляцию. Дуваль извлек стопочку бумажных денег из своего бумажника: когда подошел официант, он положил на поднос американскую кредитку, а остальные кредитки бросил в уголок за колонну. Служащий ушел, вернувшись затем вскоре с толстой пачкой франков. Дуваль покняжески дал на чай, за что получил в благодарность прекрасную улыбку и самый глубокий поклон. Официант сразу ушел. Когда мы встали, то носовой платок моего друга упал точно в тот угол, куда он раньше бросил скомканные билеты, он подобрал обе вещи с ловкостью фокусника.

Уже на улице я осмелился спросить его об этой манипуляции.

— Я не думал, что вы что-нибудь заметили, доктор. Я удовлетворю ваше любопытство, поскольку мы на путях доверия друг к другу. Я уплатил фальшивой кредиткой в сто долларов.

Увидев мой жест непонимания, он добавил:

— Это по инструкции свыше, мой друг. Товарищи, состоящие на службе за границей, должны пускать в ход всюду, где возможно, фальшивые деньги.

— Как? По распоряжению свыше?

— Натурально!

— Может быть, для того, чтобы создать финансовые проблемы в буржуазных нациях?

— Частично, да. Но прежде всего для того, чтобы разрешить наши собственные финансовые проблемы. Вы должны знать, что цари оставили Сталину великолепное машинное оборудование для фабрикации кредиток. Эти машины вырабатывали фантастическое количество рублей. Но дело в том, что котировка советских денег за границей равна нулю.

— Остается золото.

— Да, конечно. СССР, пожалуй, на сегодняшний день является первой страной по производству золота на этой планете. Месторождений золота - хоть отбавляй. Рабочие руки дешевы и неисчерпаемы: ГПУ доставляет столько тысяч каторжников, сколько им нужно. Золото - это традиционная база для международных сделок.

— Следовательно?

— Следовательно... Было бы абсурдно и незаконно, да и противоречило бы интересам рабочего класса, если бы наш великий отец народов стал экспортировать свое золото для усиления вражеского капитализма. Нет. Поскольку нам предоставляется такая возможность, мы живем на фальшивые деньги, т.е. валюту, изготовленную в Россия. Это составляет часть "пятилеток"...

— Поразительно! Но, не преувеличиваете ли вы, Дуваль?

Мой Друг коротко рассмеялся.

— Преувеличил? Более пятидесяти процентов того, что тратит ГПУ за границей, оно уплачивает нелегальными долларами и фунтами. Мы их фабрикуем безупречно: только первоклассные эксперты могут определить фальшивые билеты при помощи соответствующих аппаратов. При операциях текущего обмена, а также в окошках американских банков никто не дает себе отчета в их подложности. А тем более в других государствах. Не скрою, что бывали и неудачи. В 1927 году в Нью-Йорке были задержаны 19.000 долларов нашего производства, переведенных туда одним из берлинских банков, но это была простая случайность: кредитки эти были пересланы с запозданием и когда прибыли в один из больших нью-йоркских банков, то янки пустили в циркуляцию другие - новые, капельку меньшего размера, а старые кредитки быстро из"яли. Наши были переданы на экспертизу и мошенничество было раскрыто. Завязалась целая интрига, ибо американская полиция связалась с немецкой и разузнали траекторию кредиток и их происхождение: Москва. Мог бы вам перечислить еще несколько провалов, но, как я говорил, малозначущих и почти что всегда имевших место именно в Штатах. Бояться нечего, но не надо злоупотреблять и надо соблюдать правила, которые, между прочим, предписывают среди разных указаний и то, чему мы были свидетелем: тот, кто платят нелегальной монетой, должен остерегаться, чтобы в случае обнаружения у него ничего бы не нашли, кроме этого одного фальшивого разменного билета, и чтобы при нем были другие настоящие кредитки безупречного происхождения... При таком способе нечего бояться. Ясно? Ну, а теперь я предлагаю выпить бутылочку в каком-нибудь кабаре за здоровье Молоха. Кроме того, для вас это будет новым зрелищем.

— Не думайте, Дуваль, в мои студенческие годы...

— А, я забыл! Канкан! В Париже все еще скачут канкан. Вы припомните свои лучшие времена. Девочки будут не такие упитанные, как раньше, но, пожалуй, будут еще более жизнерадостными. Такси!

Сели в автомобиль. Дуваль дал адрес и сидя около меня, глядел на меня с неопределенной улыбкой.

— Я не скрою своего удивления, друг Дуваль. То, что вы мне начали рассказывать, - так необыкновенно...

— Что? Это насчет кредиток?

— Это и все прочее... Поразительно все то, что вы мне говорили, и поразительно то, что вы это рассказываете мне. Не считаю вас таким слабохарактерным, чтобы нам нужно было облегчить свою совесть перед незнакомцем. Думаю, что вы сознаете опасность подобных разговоров о некоторых вещах...

— Дорогой мой доктор Ландовский, — сказал он, положив свою руку на мое колено, — я знаю, что могу позволить себе довериться вам и даже немного похвастаться. Не думайте, что я делаю ложный шаг или выпил лишнее и потерял над собой контроль. Сумасшедшие и пьяницы, служащие там, где и мы сейчас... не достигают моих лет. Ведь так?

Я имел намерение перебить его, но он не дал мне возможности это сделать.

— Скажите мне, доктор Ландовский. Помните вы о том, что вы делаете, находясь в кровати перед тем, как заснуть? Я вам советую, начиная с сегодняшнего дня делать это с лицом, прикрытым простыней, а еще лучше и не делать этого, самое большое - мысленно, не шевеля рукой. Понимаете?

Я оторопел. Я крестился перед тем, как лечь...

— Как вы могли.?

— А! Я техник, не забывайте этого. С другой стороны, поразмыслите. Москва, зная вас, как своего противника, держит вас здесь, в этой капиталистической столице, наполненной удовольствиями для того, чтобы вы приняли участие в важном деле. Никто не запрещает вам закричать через это окошко, задержать такси, донести на меня или донести на всех, устроить большой скандал. НО ОНИ ЗНАЮТ, ЧТО ВЫ ЭТОГО НЕ СДЕЛАЕТЕ. Хотите поразмыслить над этим?

Он остановился как бы для того, чтобы дать мне на размышление время, а затем заключил:

— Сударь, можно научиться двигать марионетками, только слегка подергивая небольшое количество тонких, красивых ниток. Вы научитесь этому тоже, когда научитесь скрывать свою прежнюю честность и свое постоянное чистосердечие под подошвой своих ботинок, для большей уверенности я бы вам даже рекомендовал скатать шарик из своего простодушия и порядочности и выбросить его в... понимаете? Затем придется только потянуть за цепочку и... Мы уже прибыли, доктор!

Входим. Великолепный белый с позолотой зал. Читаю надпись: "Просят оставлять верхнюю одежду и печальные настроения в гардеробной". Уже сидя в заказанной Дувалем ложе, я мог наблюдать за залом. Было много людей. Танцы происходили в ярко освещенном кругу, расположенном в центре и освещенном по краям снизу. Свет был направлен таким образом, что женские силуэты вырисовывались сквозь свои вечерние туалеты.

Мы сидели кик бы в ложе, изолированные от толпы, вскоре появился официант, показывая нам бутылку, покрытую пылью. Официант выбил пробку: звон от соприкосновения горлышка бутылки с рюмками и шум от льющегося и переливающегося вина как бы призывал нас к радостному настроению. Выпили.

— Не желают ли, господа, чтобы было еще больше паутины? — спросил он жизнерадостно.

Дуваль угостил меня папиросой и сразу же начал говорить:

— Где мы остановились? А, да, в Берлине. Берлин со своей новоиспеченной Республикой был тогда нашим главным центром действий в центральной и западной Европе. Свойственная республике левизна и пресыщение легальностью - с одной стороны, и вынужденная симпатия военных немецких кругов, которые видели в СССР возможного союзника против Версаля, - с другой, создали для нас климат безнаказанности, которым мы сумели прекрасно воспользоваться. В нашем Берлинском Посольстве сконцентрировалось управление всей нелегальной деятельностью Интернационала. Фактически меня поместили в великолепную школу для обучения. Вскоре я дал себе отчет, почему для этого избрали меня. Кадры ГПУ были в достаточной мере наполнены убийцами и террористами, поль-

зующимися доверием, даже было там и несколько человек идеалистов, готовых на самопожертвование, но за очень редкими исключениями, все эти люди были грубы и малокультурны. Правда, людей с титулами и даже образованных в итоге очень мало таких из них, которые могли бы быть использованы вне России. Хотя вы и очень далеки от партия, но вы, наверное чувствовали то недоверие, граничащее с пренебрежением, с которым мы смотрим на образованных людей, с другой стороны мы их хорошо прикармливаем. Тут играет роль не только классовая ненависть, но дело в том, что мы прекрасно знаем об их "мелко-буржуазном" происхождении, недостаточно замаскированном словесной демагогией. Они никогда не станут революционерами и являются настоящим гнездом измены. Только такие исключения, как Ленин, Троцкий и высокопоставленные партийцы, могут быть приведены в качестве обратного доказательства. Даже Ленин и Троцкий, которые могли управлять с величайшей бесчеловечностью, что не является ни для кого секретом, не могли казнить собственными руками... Сталин это уже другое дело, этот да, этот способен на все. Но я отдалился. Мое назначение было продиктовано абсолютным недостатком лиц с социальным образованием, с манерами, с изысканностью и т.д, но готовых на все. То, что один из сыновей "из хорошего дома", миллионер, как я, вступил в партию, бросив все, чтобы жить в России, - это был случай необыкновенный, правильней сказать - единственный.

— О, Ренэ!

Голос прелестной кошечки зазвучал справа от меня и в этот же момент проскользнула в нашу ложу девушка, почти что ребенок по виду, с большими невинными глазами. Она обвила шею Дувалю своими голыми руками, поцеловала его в висок и затем стала смотреть на меня, прижавши свое личико к лицу моего друга. Я не заметил, чтобы он сделал какой-нибудь знак неудовольствия.

— Доктор Зелинский — произнес он.

Малышка протянула мне руку и разразилась смехом.

— Ха, ха! Вы меня немножко испугали. Показались мне очень серьезным. Страдаете? Я положу в ваш бокал секрет радости.

Она уселась на ручку кресла Дувалю и с ошеломляющей, невероятной грацией сняла с себя одну сережку и уронила ее в

мой бокал. Она зазвенела о стекло, а затем со дна стали подниматься маленькие хорошенькие пузырьки.

— Пейте, пейте, доктор! Пейте скоренько! — воскликнула она с такой озабоченностью, что я сразу выпил.

Ее смех сливался с умной улыбкой Дувалю.

— Пейте до дна! Вот так!

Я вернул ей серьгу, улыбаясь, как мог, со всей светкостью. На это она ответила ужимкой.

— А, доктор! Вы, славяне, очень своеобразные люди. А знаете ли вы, что мне сказал ваш друг, когда я в первый раз бросила в его рюмку секрет радости? А он мне сказал: "mademoiselle разрешите мне оставить себе вашу серьгу? Таким образом я буду счастлив и в остальные дни." Он ее забрал, а на следующий вечер принес мне в самом деле две серьги. Ты помнишь, Ренэ? Не беспокойтесь, доктор. Испанцы - люди другого рода.

Я завидовал от всей души испанцам и чилийцу Ренэ Дувалю. Но его, как будто не трогала живость этой девочки. Не переставая улыбаться он сказал мне по-русски:

— Давайте-ка, доктор, помните, что вы для женщин чуждолице. Распрощайтесь с ней.

— Видите ли, маленькая, не могли бы вы нас покинуть? Нам нужно поговорить о делах.

Она ушла, как оскорбленная королева.

— Итак в Берлине, — спокойно продолжал Дуваль, — не трудно было проникнуть в высшие круги при наличии тех экономических недостатков, которые отражались даже и на высших классах, но добиться того, чтобы удержаться там и добиться их дружбы и доверия - это было предприятие выше способностей тех, кто не умел разрезать на куски фазана или различать марки шампанского. Понимаете?

Он налил мне рюмку до краев. Себе тоже, но ограничился тем, что только пригубил.

В этот момент вышел на круг певец. Зал погрузился в полумрак, а прожекторы проектировали свои снопы света на этого щеголя. Я не разобрал хорошо, что он пел или говорил, только я различил припев, который звучал в аудитории и который был чем-то вроде этого:

Oh, La, la, la... la, la, la

Voici...? Voila!

L'amour...? Partour...?

Voici...? La, la, la...

Певец закончил и ушел. Люди ему аплодировали, а затем снова начались танцы.

— Как я вам говорил — продолжал Дуваль — там распоряжался в это время еврей толстый Гольдштейн. Я имел в нем хорошего учителя. Он принял меня хорошо, я ему свалился, как бы с небес. В его распоряжении имелась только дюжина немецких евреев и поляков, которые умели завязать узел галстука, но они были бесполезны в деле проникновения в военные или аристократические круги. Республика с таким евреем-министром не была способна добиться равенства в обращении со стороны прусских классов к его братьям по расе и даже больше: тогда обострялось пренебрежение немцев к севитам. Я смог прослыть в Германии за испанского аристократа, богатого, ничем не связанного, который приехал учиться в Берлинском Университете, но не учился. Я влюбил в себя старых генеральш. Ухаживал за девушками знатного происхождения, лишенных, благодаря инфляции, своих автомобилей и у которых из всего их бывшего величия сохранились только их пышные дома. Это была еще неисследованная область, мне удалось разузнать секреты военного характера и кое-что из высшей политики. Первым был необычайно доволен Гольдштейн и, кроме него еще другой начальник Ланович, ибо сведения были очень важные и могли причинить вред делу военной службы. Я стал проявлять притворный интерес к авиации попросту для того, чтобы это мне послужило средством для получения информации, а закончил тем, что увлекся до сумасшествия. Научился летать. Много немецких офицеров "тузов" войны, работали в конструкторских учреждениях, на воздушных линиях, а также в качестве преподавателей. Я стал популярен в этом кругу молодых смельчаков, слегка ненормальных и слегка отчаянных, над ними, как и над всем немецким народом, тяготел экономический кризис. Моя расточительность и симпатия, которую я им внушал как испанец (не напрасно Испания была одной из немногих стран, не об"явившей им войны) сделали меня их баловнем. Я научился летать и притом - хорошо летать. Я капитан-пилот Красной Армии, каждый год я принимаю участие в маневрах, если этому не препятствуют какие-нибудь важные дела, и даже позволяю себе читать лек-

ции о последних новостях авиации, которые раздобываю в Европе. Вы, конечно, знаете, что авиация является мечтой советской молодежи. Припоминаю, что одна из моих работ в Берлине была определенно похожа на ту, которая нас сделала сейчас товарищами. Это было в конце 1929 года, дело касалось поимки белого генерала Кутепова, мне дали довольно важное поручение. Я должен был играть роль молодого сына одного русского генерала, его друга, который должен был склонить его к решению приехать в Берлин. Я перебрался в Париж (это была моя первая "служебная" поездка туда) и добился успеха. Кутепов приехал со мной в Берлин. Дурак Гуго Эберлейн испортил дело, генерал стал очень скоро что-то подозревать и вернулся в Париж, не сообразив, кем я был. Припоминаю его глаза и его удивление, когда он увидел меня, спустя один месяц, на углу улиц Руселе и Удино. Я находился там для того, чтобы указать его двум фальшивым агентам полиции, задержавшим его, и фальшивому муниципальному сержанту, помогавшему им. Дело получилось неудачно. Генерал оказался в их руках под хлороформом, который дали ему эти звери и от которого он чуть не задохся, нужно было его моментально доставить в Посольство, привезли его уже умирающим. Гольдштейн, поджидавший его в комнате № 83, не смог даже ни о чем его расспросить, он тут же умер. В СССР предполагали устроить над ним показательный процесс. Должны были раздобыть показания для сенсационных обвинений Французского Генерального Штаба, против Тардье, Шиаппа, Комитета Форжа и т.д, и т.д. Базируясь на показаниях генерала, должны были подвергнуть атаке всех левых во Франции, все было великолепно построено. Произошло всеобщее замешательство... Потерпевшие неудачу боялись гнева Менжинского и Ягоды. Решились отправить труп в Москву. Тогда еще не располагали в Посольстве печкой, которая функционирует теперь. Думаю, что именно тогда им пришло в голову установить ее для надобностей в будущем. Закопать труп в подвале во время войны обозначало бы оставить там в распоряжении врага доказательство преступления.

Для этого построили кислородную печь, которая превращает труп за очень короткое время в горсточку пепла.

Он налил мне рюмочку. Я не переставал наблюдать за тем, как смотрел на меня Дуваль, он безусловно хотел дать се-

бе ясный отчет в том, какое впечатление производили его слова на меня. Мне кажется, что мое лицо не было очень приветливым. К счастью, свет погас. Начался новый номер. На круг выходила испанская балерина под звуки бравурного и быстрого марша.

Я заметил, что длинные пальцы Дувалья отбивали такт на перилах ложи. Танец окончился тем, что женщина осталась на середине круга, как бы подкошенная от усталости. Сделали овацию. Она подпрыгнула, как пружина, и ушла не кланяясь. Дуваль быстро допил рюмку, позвонил в звонок и заказал сигары. Девушка, принеся их, была высокая блондинка, худенькая и не грациозная: ноги у нее были удивительные. Несколько сантиметров ее юбочки казались смешными по сравнению с необычайной испанской юбкой "цыганки". Дуваль бросил ей на поднос кредитку в 100 франков.

— Поймите, доктор, что в деле Миллера сейчас предпринимаются все предосторожности. Вы будете удивлены, если я скажу вам, что уже в течение шести месяцев более двадцати человек занимаются исключительно подготовкой этого дела, но имейте в виду, что никто из них не будет принимать в деле активное участие. Это будет предоставлено нам, например. Работают хорошо, не верите?

— Все это мне кажется... чрезмерным, пожалуй, запутанным. Я не вижу нигде наличия серьезных возможностей для того, чтобы белые могли бы побудить народные массы в СССР к действиям. Как террористы они не заслуживают никакого внимания, советские послы и советские подданные прогуливались и прогуливаются себе беспрепятственно по всей Европе не потому, что они находились под защитой Советского государства. Ведь Троцкий не только не находится под защитой, но, наоборот, преследуется Сталиным. Ни один из десятков тысяч "белых", у которых Сталин убил отца, брата, детей или жену, не имел достаточно мужества, чтобы всадить ему в череп пулю. Думаю, что Сталин не имеет намерения уничтожать их, предоставляя им возможность умирать от старости в своей собственной кровати.

— Вы очень далеки от сущности сталинской политики.

— Но вот дело Кутепова, дело Миллера. Какое значение может это иметь для Сталина или для СССР?

— Какое-нибудь основание уж имеется, хотя и не видно непосредственного его, отношения к тому, что вот уже несколько месяцев тому назад предпринял Комиссариат Юстиции. Знакомы ли вы по меньшей мере, с официальной версией процесса Зиновьева - Каменева? Показательный процесс еще не окончился: перед Вышинским появятся на суде другие важнейшие персонажи... Разве не было бы колоссально эффективным появление генерала Миллера перед Трибуналом с заявлением, что политики, генералы и т.д. были связаны с ним, с Германией и Японией и с кем бы то ни было еще, для разрушения СССР, убийства Сталина и производства апокалипсических катастроф? Не отрицайте, что для театрального эффекта это было бы делом первостепенного порядка.

— Только из любви к сценическому искусству? Мне кажется это излишним.

— Нет не только для этого. Сталин не только желает удовлетворить свою ненависть, он является единственным диктатором, который никогда не станет почивать на лаврах. Все страдания, которые приходится переносить русскому народу, падут на Сталина, если он не будет всегда находить виноватого. Вот уже обвинили Каменева и Зиновьева с их товарищами в ужасных преступлениях, за ними последуют другие, которые тоже будут отвечать за бесконечные зверства. Это бывшие правители СССР, люди, которые присвоили себе право распоряжаться законами и планами выполнения всей политики на сегодняшний день - в конгрессах, министерствах, в прессе и в своих речах... В силу этого народ считает их изменниками и виновными, они сами в этом сознаются, а гениальный отец народов остается незапятнанным.

— Понимаю.

— С другой стороны, Сталин ведет подготовку для участия в большой игре. Уже вот-вот должны произойти решительнейшие события. Вскоре мы все это увидим, постараемся, по возможности, присутствовать при них. Лучше, если мы будем в состоянии их сами вызвать и даже господствовать над ними. Не находите ли вы этого чудесным, доктор? Взметнуть свою мучительную и посредственную жизнь, как стрелу, вверх к вершинам героизма. Для этого я и стал коммунистом! Поэтому я есть то, что я есть!

Его глаза заблестели, и он на момент преобразился. Смотря на меня, он глядел куда-то дальше. Не напился ли этот человек? Думаю, что да, ибо я хотел, было, выпить еще, но бутылка была уже пустая. Он громко позвал официанта. Сознаться, что я был уже где-то вне земного шара.

Нам подали, и мы выпили, на кругу танцевали вальс. Дуваль смотрел туда, но я уверен, что он ничего не видел.

Я размышлял обо всем по мере своих сил. С каждым разом мне казалось все более необыкновенным поведение Дуваля. На что он претендовал? Где он остановится? Я сгорал от беспокойства, тревоги и любопытства.

— Да, вы разговариваете со мной, как с равным, но имейте ввиду, что...

— Не обращайтесь внимания. Я привык пить. Вы тоже должны привыкнуть. Если вы себя не будете отравлять, то вы никогда не станете цивилизованным человеком, доктор. Я не претендую на то, чтобы добиться от вас полного понимания, но верю в то, что ваша интеллигентность, а больше всего сердце восстанавливаются и становятся опять такими, какими были, понимаете? Нам предоставляется возможность, кстати, единственная для обоих,.. быть или не быть. Станем ли мы убийцами своего собственного я?

Кто был этот человек? Какие у него были намерения?

— Быть тем, кем мы есть. Вот цель всей нашей жизни, — изрек я, намериваясь попасть в тон. — Не смотря ни на что и ни на кого? Вот это настоящий героизм.

Но не есть ли это только молниеносная вспышка на один вечер, получившаяся от воздействия вина и молодости? Я ясно догадываюсь, что вы осмеливаетесь начать борьбу против гения зла и его бесчисленной камарильи... И вы, который знаете, как мало кто может знать, неограниченность его власти, осмеливаетесь на это? Поразительно!

— Мой враг не всемогущественен. Он только человек, и я это всегда хорошо помню. В конце концов все сводится к дуэли между человеком и человеком. Если мы выразим это иначе, то тогда, получится перед нами проблема: человек против человека. Но не будем отклоняться. Надвигается ночь, и нам нужно добраться до главного пункта.

— Да, я этого ожидаю, и мне это желательно.

— Сталин, как я вам уже сказал, пускается в большую игру. До сих пор он был боязлив, как лисица, в данный же момент он превращается в волка, если другие продолжают оставаться глупцами, то они увидят, каков он: они увидят тигра...

— Не кажется ли вам, что мы немного пустословим, Дуваль? — позволил я себе сказать.

— А что вы хотите лучшего, доктор? Это удовольствие, которого лишен каждый "сознательный коммунист". Очень мучительно быть всегда настороже с самим собой. А среди людей — какое полнейшее незнакомство с нашим внутренним миром. С каких пор уже я не мог говорить с той искренностью и глубиной, как это я делаю сегодня...

— А со мной почему...?

— Потому что нам нужно будет кое-что выполнить. Вы об этом узнаете сегодня же. До сих пор это была только интродукция к моему плану. Хотите его выслушать?

— Слушаю.

— Прежде всего мы должны поставить себе предварительную проблему. Проблему нашей свободы. Как вы, так и я и еще много разных людей, привязаны к НКВД как бы цепью, благодаря тому, что в руках НКВД находятся заложники из наших семейств. С тех пор, как Троцкий впервые воспользовался этим способом, он превратился теперь в систему. Если мы хотим стать опять людьми, то надо порвать эту цепь. Готовы вы на это?

— Да, готов — твердо ответил я.

— Что касается вопроса о бегстве моей матери и ваших, то я думаю, что имеется много шансов на то, что мы сможем его устроить вскоре после нашего возвращения в Россию. Все зависит от нашей решимости. Если она у вас будет составлять четвертую часть моей, то успех уже будет обеспечен. Вы сможете жить с вашими в Европе или в Америке на абсолютной свободе. Вы сможете посвятить себя вашим исследованиям или делать, что пожелаете. Вы освободитесь от Сталина. Вы будете иметь в изобилии средства для жизни.

Я пытался не поддаваться влиянию этой назойливой надежды, очарованию этой сказки.

— Постойте, Дуваль, вы может быть играете мною, но я вас умоляю не делать этого. Давайте будем говорить о фактах.

— Вы сомневаетесь? Доктор, я богат. Имею все то, чем моя мать владела в Париже и Америке и о чем не знает НКВД. Имею тридцать процентов уже обмененных фальшивых кредиток. В нашей организации и впрямь не трудно обогатиться. Когда проверяется несгораемая масса какого-нибудь консульства с целью розыска деловых бумаг, то часто находится там какая-нибудь пачка кредиток, и даже рекомендуется ее забрать, ибо покража прикрывает политические мотивы проверки. Если теряется дипломатический чемодан, то в нем, обычно, бывают конверты с девизами, путешествующие контрабандным способом, ясно, что в таком случае хозяева не имеют обыкновения об"являться, чтобы не подвергнуться ответственности. Верите ли вы, что такие факты случаются?

— Хорошо. а для чего мне нужно вывезти семью из России?

Он посмотрел на меня с негодованием, но сдержался и ответил мне:

— Вы слышали, несомненно, о кое-каких историях? Да, они несомненны. НКВД имеет много организованных "торговых предприятий" для бегства... Каждый советский гражданин, который заподозрен в том, что он склонен бежать, встречается, более или менее скоро, с верным человеком, с "контрреволюционером", который принадлежит к верной освободительной организации... Здесь же в Париже у нас сооружен сарайчик. Туда обращаются многие, имеющие родственников в СССР, в попытках добиться их освобождения. Это стоит денег, мошенническим способом у них забирается все, что возможно. От них вытягиваются все возможные данные для нахождения разыскиваемой особы. И вот получается, что те лица, которые маскируясь на тысячу ладов сумели остаться незамеченными в течение стольких лет, должны быть теперь выявлены для их освобождения. И "освобождение" приводит их фатальным образом на Лубянку. Эта же секция измышляет ложь о существовании "белых организаций" в СССР для установления с ними связи организаций, функционирующих за границей, она проводит белых связистов в Россию, где они присутствуют на контрреволюционных собраниях, в действительности представляющих собой просто напросто "театр", и многие возвращаются назад с бумагами, информацией, ключами, все люди, участвующие в этих проделках, это агенты НКВД. Дело это

очень важное, начальником всей этой провокаторской механики является никто иной, как Агабеков... Не припоминаете ли вы его имя?

Я припомнил, что Агабеков был называем, как один из убийц Императорской семьи.

— Это он самый. Он подолгу живет в Париже, "коммерция" ему дала большие прибыли. Живет, как князь... вернее, как по его пониманию, живут князья, если мы хотим быть точными. В данный момент он совершает турне по Испании. Думаю, что он хочет там тоже организовать "предприятие для побегов". Предполагаю, что он там занимается реализацией подобного замечательного предприятия. Он даст беглецам гарантии, что они смогут перейти границу со всем своим золотом, титулами, девизами и драгоценностями. Они останутся без ничего, не спасут даже своих золотых зубов, и, что вполне логично, не спасут и свою жизнь. А полиция Мадридского Правительства будет ему очень благодарна. Также и Сталин, поскольку Агабеков является крупным истребителем троцкистов.

— Все это по-дьявольски ужасно.

— Это так, доктор, это так,.. и имейте ввиду, что все это одна и та же область, которая вам совершенно незнакома. Но вернемся к более важному.

Я претендую на то, чтобы человек, которому я смогу довериться, в частности вы, помог мне вытащить мать из территории России. Порядок действий будет такой: моя мать и ваши находятся в Крыму, вернувшись, вы сможете с ними соединиться, в особенности, если у нас выйдет успешно дело с Миллером и мы его заполучим. Сейчас моя мать не живет в отеле. Я раздобыл для нее на берегу домик, маленький, который выстроил для себя какой-то аристократ, проживший много лет в Индии. Не знаю, откуда он раздобыл бамбук, но построен большей частью из толстых стволов бамбука. Это было главной причиной того, что я решил занять этот домик, не говоря уже о его ситуации. В задней части дома вы найдете что-то, вроде изгороди, но если вы всмотритесь, то заметите, что она сможет служить не тонущим плотом. Тогда я не мог знать, что нужно будет транспортировать такую многочисленную семью, но в доме хватает бамбуковых стволов, и вы можете составить плот требуемой под"емной мощности. Я подумал о

том, что для уменьшения точности, а также рельефности над водой хорошо было бы сделать такое остроумное видоизменение. Устроить в центре плота несколько отверстий соответствующего размера с тем, чтобы один или двое могли бы поместиться там на коленях или сидя. Мы приспособим к этим отверстиям несколько непромокаемых мешков, которые имеются в доме, и если будет нужно, то раздобудем еще добавочные, прикрепивши их к верхней части плота. Плот, на котором заместятся все или часть людей, будет передвигаться в зависимости от своего веса, но выиграет в своей устойчивости и безопасности. Понимаете? Человек, по-видимому, хотел иметь здесь жилище, такое как там, что ему служило бы воспоминанием.

Думаю, что для этих деталей больше не понадобится вам раз'яснений. Дело теперь будет заключаться только в том, чтобы предварительно назначить для бегства определенную ночь, имея в виду предсказания о погоде и луну, все должны будут погрузиться на этот плот и плыть около трех миль.

Боже мой, неужели же было возможно, чтобы, имея в виду только одну цель: надуть меня для проверки моей верности, этот человек создал бы в своем воображении целый аппарат с такими сложными деталями? Стрелка моей воли решительно склонялась к доверию по мере того, как он продолжал излагать свой план.

— Предусмотрена утомляемость гребца. Плот будет иметь двигатель.

— Мотор?

— Мотор, хотя и довольно примитивный.

— Не будет шуметь?

— Наоборот, очень тихий. Под плотом можно будет соединить несколько металлических трубок нормальной силы. Вы их найдете закопанными в саду: каждая имеет около трех метров длины и диаметр в шестнадцать сантиметров. Их надо привязать к плоту. Вы их прикрепите таким образом, чтобы концы, на которых имеются запорные краны, находились в той части плота, которая будет служить кормой. Когда плот будет уже на воде. То достаточно будет только повернуть ключи. Трубы наполнены сжатым воздухом: во время бегства они, будучи погруженными в воду, будут в силу реакции толкать плот. Все хорошо рассчитано, без всякой другой помощи мож-

но сделать пробег около трех миль. С этим делом у меня было много трудностей, пока я не добился желаемого. Но тут, на одной определенной части французского побережья, я покажу вам идентичную модель плота, мы сделаем несколько опытов, и я вам дам несколько уроков. У меня все это уже проверено. Как вам кажется?

От всего сердца я мысленно проконтролировал проект.

— Кое-чего еще не хватает. Удалиться на несколько миль от русского берега – это еще не значит выйти на свободу.

— Минуточку. Я вам говорил, что я авиатор. Кто запретит мне раздобыть гидроплан, хотя бы итальянский "Савойл", и сесть на воду вне русской зоны или, если будет достаточно темно, в русских водах?

— Гидроплан? Вы сможете распоряжаться гидропланом?

— Ясно. Дело в том, что НКВД снабжает меня любыми своеобразными вещами. Нужными мне... Для чего-то же имеем мы на улице Гренель прекрасную фабрику паспортов и документов.

— Остается еще береговая советская охрана. Надеюсь, что вы лучше меня знаете, что пункты надзора за побережьем расположены на близких дистанциях друг от друга.

— Конечно. Но не сомневайтесь в том, что я изучил эту местность и этот вопрос очень детально. Место, где я сяду на воду, – это бухта, дугой приблизительно в три мили. Охрана побережья пересекает море по воде дважды каждую ночь из конца в конец вдоль линии дуги, самое надежное будет сесть дальше от линии, идущей от одного конца к другому. Это очень пригодится вам для ориентации: если вы искусны в этом деле и сумеете плыть на судне по прямой линии, придерживаясь компаса, на протяжении трех миль, то будьте уверены, что вы прибудете точно в тот пункт, где буду находиться я. Вы сможете укрепить на плоту компас, который найдете в доме на моем столе. Я вам раз"ясню градус, по которому вам нужно будет следовать, поскольку он у меня уже выверен. Если будете выправлять курс маленьким веслом, которые сможете приспособить к корме плота, то при средней точности, думаю, вы пройдете не дальше, чем на пятьдесят метров от гидро, а на этой дистанции мы должны друг друга разглядеть. Специальные факторы – это направление на час. Если не разойдемся больше, чем на сто метров, и не задержимся больше,

чем на тридцать минут, то я почти что гарантирую успех.

— Прежде, чем я сделаю посадку, они услышат только очень далекий шум мотора, как бы от авиона, пролетающего на довольно далеком расстоянии, я буду летать по возможности выше и опущусь, планируя с выключенным мотором, а затем, когда уже вырвемся, все уже неважно.

— В настоящий момент у меня нет возражений технического порядка. Вижу, что вы обдумали все слишком хорошо.

— Значит... решено?

— Решено... — ответил я твердо, но во мне вспыхнуло еще одно последнее сомнение.

— Послушайте, Дуваль, почему вы избрали меня для этой авантюры?

— Не все сказано, доктор. По мере того, как вы поразмыслите, вы поймете, что вы, как обремененный семьей, - что затрудняет предприятие - не являетесь идеальным соучастником для моего судна. Но то, что я специально от вас ожидаю, можете выполнить только вы, поэтому те затруднения, на которые я вам указал, не послужили препятствием для моего решения рассчитывать на ваше сотрудничество.

— Друг мой, вы были выбраны для дела Миллера в качестве специалиста по анестезии. Не знаю, дали ли вы себе отчет в том, что не было нужды в таких усложнениях для обыкновенного похищения. Кроме этого, ГПУ имеет в своем распоряжении в нужных случаях достаточно анестезистов. В действительности, тот, кому вы были нужны, это был я. Не так легко было мне встретиться с медиком такой редкой специальности и который к тому же не был бы коммунистом, думаю, что вы простите меня за то, что я принял определенное участие в том, чтобы Ягода избрал именно вас, если вам это послужит утешением, то скажу вам, что при вашем избрании у вас имелись пользующиеся доверием соперники. Два медика, определенно евреи, имеющие заслуги перед ГПУ, один из них еще со времен ЧК, я должен был удалить...

— Как же устроилось дело?

— Когда я навел на мысль об анестезистах для этого случая и просматривал картотеку, то появились они, и их назначение было неизбежным. Они не знали, что стали оппозиционерами моему кандидату, т.е. вам. Я не знал, как сделать, чтобы были вызваны вы, но идея "оппозиции", соединенная с их

именами в моей голове, дала мне разрешение вопроса. Оппозиционер? Ну. Значит, пусть будут "оппозиционерами". И через небольшой срок на каждого из них прибыли информации с доказательством их троцкизма. Думаю, что сейчас они уже находятся на Соловках.

— Вы были способны на это? Они были не виновны?

— Не виновны в чем? В троцкизме? Один да, а другой нет. Но что же тут такого? Будьте уверены, что они заслуживали не только высылки, а виселицы. Ясно, что не за дела, осуждаемые по советскому кодексу, а за кое-что, за что дается награда... Военная хитрость.

Какое выражение приняло его лицо. Та перекошенная улыбка, которую я заметил с первого знакомства у него на губах, которая могла казаться и горькой, и иронической, и даже садистической, в этот момент передернула все его лицо, казалось, будто с него спала невидимая маска, и все его лицо осветилось дьявольским светом... Я не удержался от комментариев:

— Восхитительна ваша подготовка... для...

— Для чего? — прервал он меня, упорно глядя мне в глаза. — Для преступления вы хотите сказать?

— Нет, — процедил я с трудом — во всяком случае...

— Да говорите, говорите... Вы не хотите этого сказать? Меня не пугают слова, доктор. По некоторым причинам я не должен менять свою программу, мое предисловие должно было коснуться предусмотренных пунктов. Я считался с наличием в вас моральных предрассудков. Вы не можете понять все за одну только ночь. Ваши свойства не могут быть иными, ибо вы так воспитаны. Вы и миллионы таких как вы, допускаете войну по правилам, в военной форме, с кодексами, человеческими правами и т.д, и т.д. Хорошо, я ничего не могу возразить... Но когда неприятель пренебрегает всеми этими вещами и систематически их топчет, когда неприятель задумал свою стратегию на базе учета того уважения, которое питают остальные к этим заветам... То тогда колебаться — равносильно согласию на поражение и обозначает измену родине или той идее, которую нужно защищать. Это все просто самоубийство.

Не знаю почему, но в этот момент в моей памяти появился образ Дуваля в подвале Посольства, образ садиста-мучителя той женщины, и не совсем сознавая что я делаю, я бросил ему:

— Нет, нет, мои сомнения и совесть наверняка не являются вопросом доктрины, а вопросом чувствительности. Сцена этой ночи. Вы подвергали пыткам ту девушку, вы были так хладнокровны, так корректны, как и всегда... Для меня это было гораздо большим... Застало меня врасплох, как будто бы я нарвался на бесноватого...

Я не смог продолжать. В горле у меня пересохло, я сразу же дал себе отчет в своей смелости... я забыл о своем положении. Ужасное воспоминание, отягченное выпитым шампанским, толкнуло меня на эту смелость. А мой охранитель смотрел теперь на меня сосредоточенно с гневом и презрением, на лбу у него вздулась вена, и он, казалось, раздумывал о том, что должен был мне ответить. Я почувствовал себя встряхнувшимся от чувства тревоги. А он мне выпалил:

— Нет, вы не понимаете. Я не мучил ту девушку, доктор. Это был не я, а очередное ответственное лицо с помощником, вашим коллегой. Я хотел ее только спасти, но не встретил помощи от вас. Вы этого не знаете? Вы этого не видите?

Я ничего не видел кроме грозного силуэта, витающего за сферами всего, поддающегося разумению.

— Меня вызвали в момент опьянения медика (у него ослабели нервы, и он поддерживает их алкоголем и морфием), тогда я прибегнул к вашей помощи. Не помните, что я почти что требовал от вас подзатылочного укола? И помните ли вы, что вы отказались? Вы должны были его сделать, Ландовский, если вы действительно любите ваших близких, если вы действительно обладаете этим чувством сострадания. Ваша игла погрузилась бы глубже необходимого, вы бы прокололи луковичку, и девушка окончила бы свое существование или, иначе, перестала бы страдать. Почему вы не сделали этого, доктор Ландовский, а вместо этого оживили ее, чтобы заставить опять подвергаться пыткам?

— Но вы не приказали мне категорически...

— Я ничего не мог приказать вам! Иначе я оказался бы виноватым в ее смерти, и я подвергся бы каре от НКВД!

— А Вы предпочитаете, чтобы каре подвергся я?

— Нет. Если бы вы ее убили, то ответственность пала бы на медика-пьяницу, который не был в состоянии выполнить свою обязанность. Девушка, умерев, перестала бы страдать. А тот монстр, пожалуй, навсегда лишился бы возможности пы-

тать людей, поскольку я информировал бы о его тяжкой провинности...

— Значит, вы никогда...?

— Что вы хотите сказать? Пытал ли я? Безусловно. Это испытание, которого не может избежать ни один человек, принадлежащий к НКВД это одно из испытаний, знаете? Я пытал типов разного рода, человек пятнадцать или двадцать, а может быть, и больше. Тех, которых мне приказали. Ну что же - необыкновенная вещь: я обращался технически хорошо со старыми коммунистами... Припоминаю известного Риутина и мог бы назвать вам еще гораздо больше, хочу вам сказать, что они сознавались во всем, в чем только можно было признаться... Если бы вы только могли видеть один мой допрос - знаменитого Каменева... Меня пригласили на него кое-какие друзья с Лубянки, и я, будучи только любителем, добился того, чего не могли добиться они за несколько приемов. Но необыкновенным явлением было то, что в тех редких случаях, когда в мои руки попадали настоящие антикоммунисты, то моя ярость или глупость были так велики, что они выживали в моих руках очень короткое время. Прямо неудача... Не верите?

Он переменял тон своего голоса, чтобы раз'яснить мне:

— Это, доктор, есть то, что в этих странах называется "эвтаназия", или, другими словами, это есть сокращение жизни больного, который должен умереть, для того, чтобы уменьшились его страдания. Моралисты этих масштабов много дискутирует по вопросу о том, приемлемо ли или нет сокращать жизнь человека, если это делается с целью освободить его от мучительной болезни. А ВОТ МОЖНО ли сократить жизнь человека, чтобы его не мучил другой человек, - насчет этого не дискутируют!

— А как же женщина ночью...

— Умерла, — ответил он спокойно — но не огорчайтесь слишком, думаю, что она не страдала... Хотел бы располагать в этот момент данными всей науки, чтобы иметь возможность сейчас сказать вам, что я уверен, что она совершенно не страдала...

— Но она говорила? Ответила на то, что ее спрашивали?

— Нет, доктор, не сказала... Хочу дать вам научную консультацию. Припоминаю один необыкновенный случай, это был один из первых, на которых я присутствовал. Дело каса-

лось одного молодого поляка, это был человек, который совершил преступление, скрыл ДВУХ конспираторов, не зная, кто они такие, просто из сострадания и милосердия. Его доставили на Лубянку, хотели, чтобы он сообщил имя и личные приметы одного из них, успевшего убежать, другой был убит выстрелом при взятии в плен. Не было возможности узнать что-нибудь о них, а заинтересованность была большая, предполагалось, что эти два человека были анархисты и организовали важное покушение, некоторые предполагали, что они намеревались убить Сталина или Молотова. Поэтому пустили в ход "последние достижения" ... нечто кошмарное, поверьте мне. У Лубянки большой опыт, эксперты, которые добросовестно изучают все случаи, не помнили, чтобы кто-нибудь сопротивлялся чему-либо подобному и не капитулировал бы. Я в те времена еще плавал в своих сомнениях. Коммунизм еще имел силу надо мной до такой степени, что даже мошенничество, учиненное надо мной и над моей матерью, не заставило меня разорвать с ним последние связи... Я был только наблюдателем. Холодно, как свидетель, я примечал с любопытством все признаки, проявляемые этим человеком. Его лицо то сжималось, как это бывало у преступников: когда боль достигала высшей точки, у него выступал пот и надувались вены, никаких спазм, ни криков, ни судорог. Наводящая ужас кротость. Когда раскрывались его глаза, чтобы посмотреть вверх, казалось, что он никого не замечал. И так и скончался. Бесконечное страдание как бы скользило по нему, как летняя вода, не вызывая движений.

— Я не могу об"яснить себе этого. Не заметили ничего больше?

— Да. Заметил, что этот человек молился.

Варварская музыка прервала разговор. Одновременно зал погрузился в мрак. Только круг для танцев был освещен красным светом. Одним прыжком очутилась в центре пара негров. Казалось, будто они упали с кокосовой пальмы, как две обезьяны. Оркестр заиграл пронзительную мелодию. Не знаю, на какой нотной бумаге можно было записать эту некультурную тарабарщину, вызывавшую в воображении сцены из эпохи людоедства. Два негра, самец и самка, бросились танцевать с диким кривлянием. А затем у меня на глазах возникла психическая эпидемия, ужасная, кажущаяся галлюцинацией. Посетители, находившиеся в полутьме, начали под-

ражать этим обезьянам с жалобными стонами и криками, некоторые парочки выбегали на круг в своих праздничных роскошных платьях, моментами их было много. Все подражали черной паре. Дело закончилось тем, что образовался круг из "цивилизованных", которые взяли друг друга за нижнюю часть спины и замкнули таким образом кольцо. Не теряя ритма, они сгибались и выпрямлялись и были подобны краснокожим, окружающим столб пыток. Не знаю, откуда появилось вдруг большое количество шаров, которые большей частью были переловлены публикой с громкими и радостными криками. Многие шары полопались между кулаками кавалеров или на затылках и головах женщин. Черные музыканты тоже вошли в круг и смешались с танцующими. Развлекались долго... Я приметил, что больше всего веселились старые люди. Подсчет дал мне возможность определить, что лысых было семьдесят пять процентов. Музыка замолкла, и опять зажглись огни. Уважаемые посетители возвращались к своим столикам, вспотевшие от удовольствия.

— Что это такое? — спросил я у своего собеседника.

— Это "черный час", импортированный из Америки. Вижу, что вы не в курсе прогресса цивилизации...

И, увидев мой жест негодующего удивления, предупредил мою реплику:

— О, если бы мир был таков... Он стал рассеянно наблюдать за желтым шаром, раскачивающимся над нашим столом, и небрежно поглядывал на него, - да, если бы мир был таков, то он заслуживал бы...

Он поднес к шару папиросу, и шар моментально лопнул.

-----ooooooooOOOOOoooooooo-----

В два часа ночи вокруг кабаре еще царил некоторое оживление, несколько дальше циркуляция и количество прохожих были значительно меньшими, чем ко времени нашего прибытия. Мы кружили в поисках какого-нибудь места, где бы мы могли с"есть холодный ужин, без которого грешно было бы и ложиться спать. Здесь и там виднелись освещенные окна и двери различных увеселительных учреждений, время от времени прорывалась музыка или песня, которая расплзалась по

земле, подобно каплям начавшего падать мелкого дождя. Париж казался облеченным в блестящее кружево.

Вскоре мы приехали, но куда, я не знаю. Вошли. Заведение это не имело особенного вида, но было солидным, маленьким и комфортабельным. Это был ресторан старого типа. Дуваль поговорил с мэтром, и тот провел нас во внутренний салончик с дубовой панелью, в камине горел веселый огонь. Несколько птичьих грудок со смородиной, икрой, вишнями, да еще Бургундское им были сервированы на двух отдельных столиках. Прислуга обслуживала и быстро исчезала. Скромно. Изысканно. Неожиданно.

— Никто так, как французы, — проиронизировал Дуваль — и все это для того, чтобы протезировать любви. Мы сейчас в мягком гнездышке, господин Ландовский. Нет, не протестуйте. Эти господа не интересуются ничьими частными делами.

Тут — каждый со своими сентиментальными склонностями. Важно то, что здесь мы сможем спокойно разговаривать.

Этот человек излагал самые неприятные вещи в любезном тоне...

— Наша пропагандная литература заставила нас поверить тому, что в подобной роскошной атмосфере произрастают великие революции. Не придавайте этому значения. Здесь мы смогли заполучить только одно доверенное лицо и притом... в кухне: одного судомойку. Официанты неприступны, они настоящие буржуа: они получают огромные доходы, такие, какие мог бы себе пожелать любой французский маршал... Представьте себе, каких мы можем иметь себе среди них друзей? Идеалы этих пролетариев называются — Пуанкарэ и Морра...

Неожиданно он перебил сам себя и сказал мне серьезным тоном:

— Знаете ли, что я что-то отяжелел. Хорошо, дело в том, что вы ни о чем не знаете, и я должен поэтому говорить. Болтаю и болтаю для вас, как будто бы обращаюсь к этому глупому миру, который и слеп, и глуп, и глух, и находится в спячке. Терпеливо слушайте все, о чем я говорю, и молчите. В сторону скромность, я достиг положения на службе. Сверх того, с августа там... Помните, что в августе были вызваны на суд к Вышинскому "шестнадцать"? Я в то время имел возможность

проявить свои способности в деле Каменева, Зиновьева, Смирнова и компании? Хотя это дело вошло в историю под названием "Процесс шестнадцати", но их было гораздо больше...

— Это была конспирация в пользу Германии, как сообщалось официально?

— Нет, никогда! Они занимались конспирацией, но в пользу врагов Германии, Гитлеровской Германии.

— И Сталин знал это?

— Лучше, чем кто-либо другой, но в силу того, что эти враги Германии были официально друзьями и даже союзниками СССР, то они должны были также умереть "официально", как полноценные фашисты... Понимаете?

— Сказать откровенно, ни одного слова.

— Конспирация, руководимая Троцким, имела целью низвергнуть Сталина. Конспираторы достигли власти, а их заграничные союзники получили гарантии от военного Союза, и гарантии эти были такие, каких они никогда не смогли бы получить от Сталина, хотя бы он подписал их целых семь раз.

— Это значит, что эти процессы имеют тесную связь с той Европейской войной о которой говорят?

— Точно, с этой войной, не Европейской, а мировой, которая вспыхнет в какой-то день. Будьте уверены.

— Какие нации стоят за этими конспирациями?

— Нации? Никаких наций, но много партий, правительств и даже сверхправительств... Нации же оплачивают все это деньгами и кровью, ибо это их обязанность... В первую очередь идут правительства Англии и Франция.

— Но разве Блюм не союзник коммунистов? Разве не шли рука об руку социалисты с коммунистами, чтобы разбить правых?

— На выборах произошло об"единение, само собой разумеется, при условии создания честного военного союза. Но и те и другие решились на обман. Англичане и французы жертвуют всем для военной помощи Советам против фашизма: Сталин согласился со всем, но был одинок в организации Европейской революции для своей собственной пользы. В противовес, французы и англичане, связанные с троцкистами-конспираторами в СССР, желали низвергнуть Сталина, как и

он, в свою очередь, мечтал уничтожить их, предварительно спровоцировав европейскую войну.

— Необычайно в этом случае, что Сталин расстреливает шпионов своих союзников, обвиняя их в шпионаже для Гитлера, и Микадо.

— Необычайно в этом деле то, что и те и другие держат это в секрете... Наблюдали ли вы при чтении комментариев к процессу за тем, как протестуют английские и французские политики против оклеветания Каменева, Зиновьева и Троцкого: "Они не являются ни немецкими, ни японскими шпионами" - кричат они. Откуда они знают, что они не с Гитлером? Вывод прост: потому, что они с ними. В конце концов, знать — это обозначает почти что доминировать над этим. Тот, кто боролся под их началом, должен уметь бороться против этих людей. Помните вы дело Довгалева?

— Я как будто припоминаю это имя. Кто он был?

— Один из наших послов здесь. Его труп был перевезен на Родину со всеми почестями, чтобы предать его кремации. Не припоминаете? Довгалева - под видом безразличного интеллигента - на самом деле был фанатиком, имел возможность уклоняться от своей работы, он находил удовольствие в том, что разыскивал очередные жертвы для ГПУ, специально избирая их из персонала, предоставленного в его распоряжение, или из тех, кто по каким-либо делам приходил в Посольство. Я думаю, что его подстрекала к этому его собственная жена, в высшей степени мстительная особа, жестокий враг на всю жизнь тех, кто не льстил ей и не потворствовал. Я хочу вам рассказать, что тогда при помощи санкции, полученной, кажется, от Элмерта, было спровоцировано прибытие в Посольство Ройсмана, старого агента ЧК, который в те времена был инспектором дипломатического персонала за границей. По-видимому, имелось обвинение против первого советника Посольства Беседова, которого запятнали обвинением, будто он имел сношения со вторым Бюро. Не знаю, какие доказательства были представлены против него, но верно то, что было решено депортировать его насильственно в Россию. В тот самый день, в который прибыл "инспектор", советник этот был схвачен при выходе из Посольства четверью швейцарами. Но тот обладал хорошей выдержкой, он дал вести себя спокойно. Сославшись на какую-то причину, он добился того, что его

провели в первый этаж прежде, чем он попал в *el te interdite* "Запретное место", как мы называем известное вам место. Его четверо охранников как-то зазевались, и Беседовский выбросился через окно, упав в сад соседней усадьбы. Не знаю, как он не убился. Произошел, натурально, скандал. Жена советника осталась в руках чекистов. Я находился в восьмидесятой третьей комнате, где меня поместили для "слушания" в тот момент, когда произошел эпизод. Благодаря "слушанию" я смог дать себе отчет в том, что произошло. И мне пришла в голову оригинальная идея изобрести и записать разговор между женскими голосами из аппарата № 1 (частный аппарат посла) с номером из кабинета Шиаппе... знаете префекта? Мне подвезло, что в Посольстве появилась полиция, поставленная в известность, несомненно, бежавшим советником. Я позаботился о том, чтобы все протекало вполне логично.

Я думаю, что когда Аренс производил проверку номеров спустя некоторое время, то он увидел вызов на имя Шиаппе, у которого женский голос просил "несколько букетов цветов спешно"... В результате: дорогая супруга посланника была приглашена ехать в Москву, чтобы получить там орден или еще что-то в этом роде, но она получила пулю в затылок ... Занимательно... Не правда ли?

— Это значит, что вы ликвидировали Довгалеvского?

— Как Вам желательно, господин прокурор. Но я вам рассказывал не о преступлениях, а об университетах двадцатого века, первого века освобождения пролетариата в нашу эру. Если кто-нибудь обладает способностями новеллиста, то в прежние времена новеллы писались, а теперь я их создаю. В этих университетах обучаются воображению и смелости. Мало-помалу приобретается необходимая безошибочность. Дело в том, что надо учитывать около двадцати факторов, а не четыре или шесть только. Когда началась решительная борьба между Сталиным и троцкистами, когда он почувствовал себя в силах ликвидировать "старую гвардию" революции в числе "шестнадцати", то моей технике открылось бесконечное поле деятельности, мои возможности необыкновенно возросли. В чем тут дело?

Дело в том, что происходит борьба не на жизнь, а на смерть между двумя революционными противоположными концепциями, обслуживаемыми людьми одинакового мораль-

ного уровня, с одинаковыми инстинктами и воспитанием, как они сами, так и их цели мне ненавистны, в сущности, "оппозиция" и "сталинизм" одинаково ведут атаку на человечество. Если "оппозиция" хочет, чтобы мировую диктатуру осуществляли определенно только евреи, пользуясь для достижения этой цели коммунистами, то Сталин хочет быть сам диктатором, пользуясь для этого услугами евреев.

— Простое перемещение факторов, а, в действительности, подлая борьба за власть.

— Да, борьба за власть. Но разве вся мировая история не есть то же самое? Конечно, никогда не было таких противоречивых ситуаций и не существовала такая жестокость, соединенная с изворотливостью и лицемерием. Припомните-ка о соглашении, сделанном на седьмом Интернациональном Конгрессе. Одобренные там тезисы принадлежали к самому ортодоксальному "троцкизму"... и одновременно снова был осужден Троцкий. Димитров, будучи "двойным" человеком, заявил, что в капиталистические страны введен "Троянский конь". "Троянским конем" или "политикой протянутой руки" был Народный Фронт, союз с буржуазией... с целью ее же ликвидировать. Наш хозяин и не подозревал, что его союзники, умалчивая об этом, имели собственного "коня" внутри СССР с целью угробить его. И как раз в тот момент, когда он и его союзники бросились в первый крестовый совместный антифашистский, поход в Испании, в это же время открылся троцкистский "троянский конь". Я это хорошо помню... Это было в августе тысяча девятьсот тридцать шестого года. Главные возглавители "коня" или "антиконя", если вам так больше нравится, пали: Зиновьев, Каменев, Смирнов... Предусмотрительно! Нет?

— Это совпадение и в самом деле послужило разоблачению, — сказал я, сознавая где-то в недоверчивых дебрях своего внутреннего я, что этот человек не был пьяницей, и был более умным, чем я. Он продолжал:

— Испуг Сталина был невероятный. Не думайте, что этим все кончится. Колоссальная чистка будет продолжаться. Ежов - это его рука-палач. В течение очень короткого времени начнется другой показательный процесс. Во главе его будет фигурировать Радек... Затем еще много других. Все - первые фигуры революции! Получится великолепное дело! Ничего подобного из области террора человечество до сих пор не знало... По

сравнению с этим все, что происходило во время Французской революции, покажется мелочью. Подсудимые будут разоблачать самые фантастические вещи и будут обвинять себя в самых чудовищных вещах. Увидите! Увидите, как оно получится, что все главари революции, ее герои и "святые" сознаются в том, что они всегда были шпионами, убийцами, саботажниками по приказанию Гитлера и Микадо. Процесс Каменева и Зиновьева покажется мало-показательным и совсем бледным по сравнению с этим. Какие возможности для меня, дорогой друг! Здесь уже во все вложены мои руки, я добьюсь своего собственного рекорда.

— Отсюда? — спросил я его удивленно.

— А откуда же можно лучше? Доказательства их гнусной измены могут иметься в изобилии главным образом за границей. Заметьте себе. Самого ценного триумфа на сегодняшний день я уже добился. Вы знаете, кем был Радек? Кто не знает, что он был главным распорядителем революции в Германии? Это человек, который сам себе сделал огромную пропаганду в СССР: незаменимый, неутомимый, безупречный. Ну а все-таки он пал... Поимка была не легкой, я вас уверяю.

— Был ли он, по крайней мере, троцкистом?

— Даже и не это. Радек был уже не способен быть чем-то, попросту потому, что он был всем. Вот один факт, который обнаружит перед вами его моральные свойства. В Константинополе посетил Троцкого один интимный друг Радека, знаменитый чекист Блюмкин, это еврей, который убил когда-то графа Мирбаха, первого немецкого посла в Москве, и которого Советское Правительство притворно казнило. Как Радек, так и Блюмкин состояли в троцкистской конспирации, и в связи с этим и был сделан Блюмкиным визит изгнаннику - Троцкому. Для передачи инструкций, полученных от главы, тот явился к Радеку. Этот дал ему возможность высказаться, а когда он уже все разузнал, то вполне спокойно заявил своему другу: "Я очень сожалею, но как раз вчера я клятвенно отрекся и ушел из оппозиции". Блюмкин исчез, но ГПУ, оповещенное Радеком, задержало его той же ночью. Блюмкин был расстрелян, на сей раз по-настоящему. Радек распрощался со своим другом и братом по расе со следующими словами: "Теперь рассказывай все, что ты мне рассказал, потому что я буду сейчас же редактировать свое заявление". Не думаете ли вы, что Радек дейст-

вовал просто из чувства раскаяния? Нет, никогда. Он продолжал и дальше состоять в конспирации с доносами на своих товарищей. Попросту, каждый раз, когда он боялся быть раскрытым, он предавал одного из товарищей в руки ГПУ, это было лучшее средство для рассеяния окружающей опасности. Теперь вы поймете, что поймать его было не легкой вещью, поскольку он в нужный момент "страховался" против обвинений по своему адресу... Я должен был много изощряться.

Моя заинтересованность, мое любопытство выходили за пределы всех границ.

— Как вы смогли погубить Радека?

— Просто я сделал так, что он должен был "страховаться" снова доносом на Молотова. В его руки попали "очень серьезные доказательства" об измене Председателя Комиссаров, и он немедленно вручил их Сталину. Но еще раньше прибыли другие "доказательства", указывающие на то, что Седов "сфабриковал" доказательства против Молотова здесь, в Париже, переслав их в Россию с целью погубить его. Неизвестно было, кто будет их получателем, неизвестно было, кто мог быть изменником в России и соучастником Седова, изменника во Франции.

И что же сделал Радек? Он "застраховался" в последний раз... Только уже очутившись с двумя дюжими парнями на Лубянке, он донес и на себя самого. Он сознался во всех своих преступлениях, в тех, которые совершил, и в тех, которые выдумал, и если он сделал это с самим собой, то представьте себе, что изрыгала эта сардоническая жабя пасть, уж нам об этом расскажет высокопарный Бухарин...

— А Бухарин падет тоже?

— Я вам сказал, что это будет неслыханное дело. Дело, о котором никому ничего даже и не снилось! Надеюсь, что все то, что я есть, что я могу стоять, сможет развернуться в грядущие годы с наибольшей эффективностью.

— Минуточку, Дуваль, я вас не понимаю. Вы сказали мне раньше, если мне это не приснилось, что вы просили моей помощи в том, чтобы извлечь из Союза вашу мать и мою семью, чтобы сделать это по возможности скорее.

— Одно с другим, по-видимому, связано.

— В случае, если ваша мать будет освобождена, вы, конечно, бросите вашу службу,.. вашу миссию.

— Наоборот, когда вы меня перебили с вашими сомнениями, я как раз и должен был раз"яснить вам пространно вашу миссию и сказал бы вам об этом там. Помню, что я вам говорил о том, что поводом для привлечения вас к этому делу не было специально наличие ваших морских талантов для управления моим плотом. Коротко говоря, смогли ли бы вы вызвать в одном человеке на определенный необходимый срок явления, подобные натуральной смерти? Эту известную "катаlepsию", когда людей хоронят живыми?

В руках этого необыкновенного чилийца весь мир поворачивался, будто мячик. Он повел меня по лабораториям для западных наслаждений, затем привел в наводящие ужас подвалы на улице Гренель. Затем погрузил в интимности государственного организма и Коминтерна, а теперь одним махом мы очутились в области моей специальности, освещая все это ослепительным светом. Если бы у Сталина было много таких энергичных агентов, с такой блестящей персональностью, как Дуваль, то ничто в мире ему бы не сопротивлялось. Пожалуй, в конце концов, возглавителю нет надобности обладать привлекательной наружностью, располагающими жестами, своевольной приятной речью и человечностью: все это ему нужно иметь в своих подчиненных. И Дуваль был редким образцом среди людей. Я это говорю потому, что мое бедное воображение, подобно покорному и пылкому рабу, устремилось к предложенной мне теме. Я говорил Дувалю о своих опытах и размышлениях, о нервной системе, о жизни, о сознании и сумасшествии, в конце концов - обо всех проблемах, которыми я горел все время. Да, я был в состоянии приостановить все признаки жизни, но при этом не прекращается подспудное сердцебиение, при котором все органы остаются неподвижными и спокойными, но предрасположенными к пробуждению. Я был способен сказать биологическим процессам "стоп" и задержать их силой на некоторое время. Я должен оставить науке великолепное наследство, указав эти новые пути, по которым она сможет идти непостижимо далеко. Все основывается на том, чтобы уметь продвигаться, как на ходулях, передвигая сперва одну ногу - фармакологию, а затем и другую - психическое воздействие, т.е. гипнотическое воздействие путем физическим и психическим. Я говорил с энтузиазмом и,

пожалуй, вышел за пределы дозволенного. Дуваль слушал меня со всем интересом и в результате спокойно заявил мне:

— Хорошо, доктор. Все это вы сделаете с моей матерью.

Это возвратило меня к реальности.

— Но вы сошли с ума!

— "Официальная смерть" моей матери и неведение об ее воскресении абсолютно уничтожат всякие подозрения об ее побеге. Разве это не очевидно?

Так вот при этих обстоятельствах ничто не будет препятствовать мне продолжать (хоть у меня и не будет заложника) быть тем же великолепным агентом Сталина, каковым я являюсь сейчас. Теперь понимаете?

Последние остатки моей способности рассуждать выдохлись в последнем возражении:

— А для чего вы хотите продолжать быть агентом Сталина?

Он встал и кончиком своего указательного пальца уперся в мое плечо, держа в другой бокал.

— Вы все еще меня не знаете? Рассудком вы обладаете с излишком, а воображение у вас отсутствует! Борьба между троцкистами и сталинистами для меня вещь особенная, редкая: низвержение коммунизма, смерть... и чья смерть, самых опасных коммунистов. Я не дезертирую, я буду разрушать, убивать, устраивая так, чтобы коммунисты уничтожали друг друга, я их ученик, они меня воспитали и дали мне образование, пока я живу, я как только сумею буду обращать против них ту бесконечную ненависть, которую они вложили в меня по отношению к другим людям, преступление против преступников, убийство против убийств... Нет ничего более прекрасного... Пусть длится сколько угодно этот жестокий и возвышенный спорт, но то, что меня привлекает и обвораживает, - это финальный апофеоз... Припомните, доктор Ландовский, первое мая в Москве. Сплошная тишина в толпе, когда под жужжание танков и авионов начинали петь "Интернационал", согласованно, выразительно. Машины дефилировали мимо Ленинского мавзолея. А на трибуне советские маршалы, старый комичный Калинин, в полном составе народные комиссары - Молотов, Каганович, Ягода и, наконец, Сталин.

Он остановился, чтобы сделать последний глоток.

— Я-авиатор. Я всегда дефилирую с моим авионом, тяжелым бомбардировщиком. Нет необходимости в том, чтобы мой аппарат был нагружен бомбами. Можете ли вы себе вообразить, что представляет собой авион в небе? Упоение могуществом, бурное безумие, великолепное презрение к планете с ее отвратительными маленькими преступлениями, с ее негритянскими танцами, с ее Советскими республиками. Вообразите себе тяжелый бомбардировщик, парящий там, там, на высоте облаков, устремляющий вверх к солнцу свое рокошущее острие, становящийся на дыбы, а затем пикирующий в направлении центра земли, как стрела, как молния, как что вам угодно,.. по прямой линии в мавзолей Ленина, в тот день, когда там будет также и Сталин.

Руки у него были распростерты, и он "пикировал" на меня. Замерла его улыбка на лице, которое сразу стало резким, напряженным и окаменевшим, как клюв орла. А руки - совсем, как крылья. Мятежный Архангел против Бога, и против Люцифера!

IX

Я ДОНОСЧИК

Надеюсь, что я выполнил свой долг, записав насколько это было возможно точно, мой разговор в ту ночь с Дувалем. Любопытно, что теперь я припоминаю его слова очень хорошо и вполне точно, в то время как вскоре после разговора я не мог их припомнить. Значит они остались где-то в глубине моего сознания, где они затем проросли, как ячмень, выпуская из себя свой характерный горький сок. Это были первые сведения, полученные мною, касательно форм и методов советской мощи и всего того, что за этим скрывается, и услышал я об этом в центре беспорядочного очаровательного Парижа, среди паров от тонких вин.

Вернулись мы в Посольстве пешком. Дождь прекратился, и свежесть развязала мой язык. Я решительно заявил, что предоставляю себя в распоряжение Дуваль, и стал просить инструкций у него. Должен ли я был саботировать дело Миллера или лучше заработать больше доверия у начальства посредством "правильных" действий. Конечно, если бы он от меня опять потребовал выполнения подзатылочного укола для практики, то я был готов сделать его, чтобы прекратить жизнь приговоренного к смерти от пыток. Надо было бы подумать и о том, как пойти на берег, чтобы испробовать плавание на бамбуковых плотках и поупражняться немного, на всякий случай, грести веслом.

Когда начал говорить я, Дуваль, столь красноречивый до этих пор, замолчал. Он, казалось, углубился в свои размышления, что я сообразил несколько позже.

Было четыре часа туманного утра, когда мы дошли до улицы Гренель. С того момента, как я стал угадывать месторасположение здания Посольства, я почувствовал себя плохо и беспокойно, как люди, которым не хватает воздуха. Мы приблизились. Уже можно было различить более темное пятно - дверь. Когда мы прошли через портал, то перемена температуры мне показалась подобной струе плотного липкого и едкого воздуха, хлынувшего на нас из тюремной камеры или общественной уборной и заполнившего мне рот и нос... Прошли

мимо стен *el te interdite* и увидели только караульных на своих постах, бодрствующих там день и ночь. Дошли до моей комнаты. Дуваль попросил у меня огня, чтобы закурить папиросу. Я попытался сказать ему что-нибудь:

— Завтра...

— До свидания, доктор, отдыхайте хорошенько.

— До свидания.

Я закрыл дверь, стало тихо, и я мог слышать шум его удаляющихся шагов, постепенно затихавших и вскоре совсем неслышных.

Я начал раздеваться. Когда я успокоился, в моей голове, подобно бесшумным ночным птицам, стали биться все идеи, мысли и образы, виденные мною или зародившиеся во мне в эту столь решительную для меня ночь. Углубившись в свои мысли, я улегся в кровать и потушил свет. Смутно припомнил, что я не должен был креститься, и я этого не сделал. Против ожидания, я заснул довольно скоро.

Не знаю, спал ли я несколько минут, или несколько часов. Я проснулся внезапно под впечатлением как бы сильного толчка от электрического разряда.

В одно мгновение я был совершенно протрезвившимся и ощущал ясность, которую мы ощущаем всегда, просыпаясь таким образом. Несомненно, что наши идеи приходят и выходят, сплетаются и расплетаются в тот момент, когда мы спим. Подобно молнии резюмировались все пережитые сцены и все выслушанное мною в прошедшую ночь в одну единственную идею. Она появилась внезапно, как бы от удара молотом, но не потревожив моего рассудка: наоборот, подобно искре, она дала возможность пробиться чистой, совершенно абсолютной правде. "Я погиб". Такова была мысль, овладевшая мною, императивная и всеохватывающая настолько, что каждый нерв, каждый мускул, каждая косточка были охвачены этой очевидной убежденностью, этой полнотой очевидности.

Я вскочил с кровати, как рессора. Зажег свет. Я остановился перед зеркалом, отражавшим мой, к моему удивлению, неизменившийся образ, как будто бы я оставался таким же самым. Это озадачило меня на несколько мгновений. Всюду было электричество. Мой взгляд упал на дверку телефонного аппарата. Идея - "я погиб", "я погиб" уже не ощущалась, как толчок, как удар молотком, но как нежность, охватившая все

мое тело подобно тому, как если бы меня осторожно растирали бархатом. Затем моментальная разрядка. Спешная необходимость спастись затрепетала в верхушке моей черепной коробки подобно искрам, перескакивающим между латунными шарами примитивных электрических машин, употребляемых для экспериментов. Я лихорадочно схватил наушники, подошел близко к телефону, почти касаясь губами трубки, в ногах у меня было такое ощущение, будто я стою в спускающемся под"емном лифте. Слабый шнур был единственным средством, могущим поддержать меня в тот момент, когда у меня под ногами начала колебаться почва. Под конец я дал себе отчет в том, что телефон функционировал, но никто не отвечал. Проходили секунды, долгие секунды.

Я закашлял - ничего, закашлял сильнее - тот же результат. Хотел говорить, но горло стало как бы картонным. Я прижал к зубам язык, чтобы набрать слюны. "Алло, алло!" (удалось мне наконец артикулировать голосом, совсем не похожим на мой голос). Ничего. Этот телефон был или испорчен, или выключен. Я хотел отказаться от намерения, но ужасная судорога потрясла всего меня. Стал двигать рычажок. Молчание... Абсолютное молчание. Как одержимый, я не отходил от аппарата. Затаив дыхание, я направил все свои жизненные силы на слушание. Мне показалось, что я услышал тонкий и слабый шум открывающейся невдалеке двери и даже быстрые шаги, как будто бы кто-то шел на цыпочках... "Алло, Алло!" закричал я во весь голос, не сдерживаясь. Я задыхался, мое сердце неритмично колотилось: "Алло! Погиб! Алло! Погиб! Алло! Погиб. ".

Наконец! Резкий звук, но какой приятный, попал на мою барабанную перепонку. Вероятно, неотесанный телефонист вставил штифт, ибо получился в телефоне как бы удар кулаком, нанесенный своему самому ненавистному врагу.

— Алло!

— Минуточку подождите!

Говорили на другой стороне линии:

— Да, товарищ, вручу в тот же момент, когда прибудет.

— Зафиксируйте время, да, так. подпишите...

— Привет, товарищ.

Наконец смог включиться я.

— Начальник? Соедините меня с начальником.

— Невозможно.

— Почему, товарищ? У меня срочное дело...

— Потому что его нет дома.

— Но мне нужно говорить с ним немедленно.

— Так спешно нужно?

— Очень спешно.

— Не имею разрешения вызывать его, если вызов не сделан кем-либо "сверху". Не можете ли договориться с кем-нибудь другим? Здесь был один человек только что.

— Нет, нет, я должен говорить обязательно с ним.

— Значит придется позже, думаю, что он вернется около десяти или одиннадцати часов. Подумайте.

— В таком случае (я не знал, что мне делать) не сможете ли вы известить меня, когда придет... А? Могу ли я рассчитывать на вас, в случае надобности, что вы сообщите, в котором часу я пытался говорить с шефом.

— Разумеется, товарищ...

Повесил трубку. Я был удручен. Должен был присесть на край кровати, колени у меня дрожали настолько, что я должен был придерживать их двумя руками. Думаю, что это был один из самых тяжелых моментов моей жизни, до сих пор опасные события, которые мне пришлось переживать, не препятствовали мне держать себя под контролем. Мне кажется, что, помимо опасности самой по себе, я чувствовал себя совершенно изнеможенным, благодаря резкой перемене моего состояния. Я, говоря чистосердечно, вошел в Посольство возбужденным, почти что в оптимистическом настроении, правда, я был утомлен: неожиданность и неслыханные разоблачения Дуваля потребовали от меня сверх нормы нервного напряжения. И столько вина! Почему меня напоили? Затем - внезапная уверенность в том, что я попался в западню и что я погиб, - все это превосходило запасы моей энергии. Сейчас, в тот момент, когда я записываю это, я могу спокойно проанализировать свое состояние, тогда же это было абсолютно невозможно.

Я сидел и дрожал. Мне было холодно, но я не подумал о том, чтоб накинуть на себя какое-нибудь пальто, и оставался в пижаме. Наоборот, когда передо мной блеснул, кран умывальника напротив меня, мне это показалось чудесным открытием. Я наполнил стакан и выпил его, придерживая зубами, чтобы не отбить от него край стекла. Я почувствовал себя лучше, мои нервы успокоились. Я накинул халат и надел туфли. Я

смог даже закурить сигару. Но это улучшение было только типологическим, моя тревога обострилась еще больше.

До сих пор я только время от времени вызывал в своем, выведшем из орбит, воображении образы своих, как призраки. Теперь они стояли передо мной, ясные с удивительно рельефными и точными лицами. Никто не смог бы описать мою кошмарную тоску по этим любимым лицам или представить себе ту ясность ума, с какой я видел все, сидя на краю своей кровати. Точка, тире, точка, тире, тире, точка, тире, тире, точка, тире, тире... Радиоволны несут в точках и тире сообщение о моей измене. Из шифровальных кабинетов сообщение переходит к Ежову. Вижу окровавленное страшилище, нажимающее на кнопку звонка, вижу, как оно говорит спокойно шефу одной из секций: "Дело Ландовского, провалился, ликвидировать". Отряд закоренелых чекистов. Зловещий грузовик "оттуда", подпрыгивающий по грязным улицам, и плач жертв. Там в темноте смотрят на меня огромные расширенные зрачки: "Нет, папа, ведь можно жить без пульса?" Теперь они забираются в угол в глубине помещения и уже не могут видеть меня. А вот они перебегают в другое место, ибо в углу тоже видны следы преступлений, черноватые пятна, следы от пуль! "Они" входят медленно, стуча подкованными железом ботинками... Мои дочери... Мои дочери...

По-видимому, я потерял сознание и упал. Знаю, что все это продолжало плясать передо мной, неясно, чудовищно, с нарастающей дикостью в деталях, а над всем этим стоял сводящий с ума монотонный ритм точек и тире.

Теперь мне казалось, что кто-то идет среди ночи, прогуливаясь по полям, и с ироническим непониманием собирает, рассматривает и опять бросает на землю куски мяса и платьев, кровавые останки моих дочерей. Он тихонько смеется и прогуливается - высокий, спокойный, элегантный. Это Рене Дуваль.

-----ooooooooOOOOOoooooooo-----

Дуваль положил на мое лицо свою мокрую руку и похлопывает ладонью. Я - в критическом состоянии, где-то между реальностью и кошмаром. Не узнаю ничего конкретно. Чувствую, что в каждый висок вбивается как бы по гвоздю, и все

вокруг меня танцует и кружится. Чувствую, что меня поднимают, как безжизненное тело, с полу. У меня появляется сознание. Да, здесь Дуваль, собственной персоной. Я различал его неясно, в тумане, заволакивающем глаза, улыбка у него очень любезная и отточенная.

— Что с вами, доктор? Вы потеряли сознание? Несомненно от шампанского. Неважно. Нужно вам к этому привыкнуть. Ничего не будет... Правда?

Я бессмысленно смотрел на него.

— Давайте, давайте... принести вам какое-нибудь лекарство? Не знаю, найду ли я в шкафчике что-нибудь соответствующее. Успокойтесь, шеф ожидает вас.

Это слово "шеф" совершило со мной чуть ли не чудо. Мои нервы напряглись. Я выпрямился одним скачком и, не глядя в сторону Дуваля, сказал ему:

— Я оденусь, оденусь моментально...

Дуваль вышел. Окативши голову водой, я поспешно оделся. В этот момент принесли утренний завтрак и я выпил залпом, без передышки, кофе без сахара. Успел еще немного покурить. Дуваль вернулся за мной. Он шел впереди со своим обычным беспечным видом и посвистывал. Нам открыли двери номер 83 после предварительного запроса. Тут он распрощался со мной.

— Не будете сопровождать меня? — спросил я его, чтобы что-нибудь сказать.

— Нет, у меня работа в городе. Кроме того, вызов сделан только вам одному. Удачи, доктор, удачи, это значит, ума! Мы скоро увидимся наверняка. До свидания.

Он повернулся спиной, а я вошел в дверь. Секретарь находился на своем месте. Он посмотрел на меня через свои два стеклянных обрубка. Он был очень смешон.

— Минуточку, — сказал он, — подождите. Он сообщил по телефону мое имя, затем повернул рычажок на свое место и, поглядывая на меня сбоку, добавил:

— Шеф примет вас немедленно. Подождите.

Ожидание показалось мне очень продолжительным. Я хотел подобрать слова, привести их немного в порядок, но не смог скоординировать ни одной фразы со смыслом. Мой взгляд и мое внимание были притянуты неподвижной дверью шефа.

Зазвонил невидимый звонок где-то у стола секретаря, и звук был такой, будто барабанят по дереву.

— Шеф вас ожидает, товарищ. Можете пройти.

Шеф стоял позади своего стола и рассматривал какие-то бумаги... Затем он поднял голову и посмотрел на меня, не сказав ни слова. Он вытащил несколько листков, которые он рассматривал, и направился с ними к своему креслу. Я приблизился по его знаку, но не сел, ибо он мне этого даже и не предложил.

— Как мне сказали, ночью вы хотели со мной спешно говорить... Нечто, без сомнения, весьма важное?

— Да, я звонил, звонил потому, что должен был сделать вам очень важное и спешное сообщение.

— Так чего же вы ждете? — сказал он мне с некоторым нетерпением.

— Я хотел сказать вам, что вечером я вышел...

— Я это знаю, никто не выходит без моего ведома. И что дальше?

— Я вышел с товарищем Дувалем...

— Об этом я тоже знаю. Сократите подробности.

— И что... — я снова запнулся — мы разговаривали.

— Естественно, что разговаривали. Какое мне до этого дело? Говорите, говорите то, что надо. У меня много дел.

Я почувствовал себя уязвленным и сразу бросил свою "бомбу", подобно тому, как бы я бросился в густоту.

— Я должен доложить вам просто, что Дуваль — изменник делу пролетариата. Ночью он мне сказал.

— Что вы измените тоже, да?

— В точности.

— А вы что?

— Я, вы увидите... я, — я чувствовал себя каждый раз все более стесненным — я сделал вид, что принимаю... знаете?, что принимаю, но с целью узнать побольше, кроме того, положение,.. безоружный, в его руках,.. отказываться было бы опасно, поскольку я один. Я хочу вас предупредить. У него будут соучастники.

Шеф встал и, вложив руки и карманы, смотрел в другую сторону. Я хотел продолжать.

— Я вас уверяю, что у меня нет ни малейшего сомнения, он говорил вполне ясно. Я могу...

— Хорошо, хорошо. В другой раз. На сегодня достаточно того, что вы уже мне сказали... Возвращайтесь спокойно в свое помещение. Будьте уверены, что изменить НКВД вещь очень нелегкая... Не забывайте этого ни на одну минуту. До свидания, доктор... Если меня будут интересовать детали, то я потребую у вас письменной информации.

Он сморщил лоб и, дав мне знак уходить, сказал:

— Сегодня или завтра я вас вызову. Ваше дело уже поспело. Чувствуете ли вы себя в состоянии изображать свою роль?

— Думаю, что...

— Хорошо, — перебил он меня, — там мы посмотрим. Имейте вещи наготове. Сегодня или завтра вам придется перебраться в одну гостиницу, совершив, таким образом, свой официальный приезд в Париж. До свидания, доктор.

Когда я закрыл дверь, то я очутился перед секретарем, и, как мне кажется, он улыбался. Он приподнял голову.

— Желаете чего-нибудь? — спросил он меня.

— Нет, ничего. Я закончил... Я должен идти в свое помещение. Могу я это сделать?

— Конечно.

— Кто будет сопровождать меня?

— Кто?... Никто. Можете идти. Дорогу вы уже знаете.

Я вышел сияющий. Проворно, чуть ли не подпрыгивая, дошел я до своей комнаты, дверь была полуоткрыта. Я проник внутрь. Никого там не было, и ничего не изменилось, но мне показалось все радостным, почти что шикарным. Я потирал себе руки. Я чувствовал себя возвратившимся к жизни. А мои там, на крымском пляже, растянувшись на песке под солнышком, играют и выделывают всякие штуки. Я отдыхал, представляя себе эти картины. Затем нечто, о чем я до этого момента не думал, подошло тихонько и осталось, царапая мне лоб, как будто бы по нему ползало какое-то холодное пресмыкающееся. А что, если Дуваль был искренен? Я отбросил с усилием эту гипотезу. Но мысль стала меня преследовать: она стала слишком упорна, хотя и шевелилась в моих потрясенных мозгах с какой-то деликатностью. Я не мог согласиться с ней: дело было слишком очевидное. Дуваль проверял меня. разве это не было техническим и неизбежным правилом в ГПУ? Согласно тому, как мне об"явил и подтвердил шеф, на этих днях,

а может быть и через несколько часов, я должен буду получить относительную свободу своих движений, было логично, что в последний момент меня прощупывали. Правда, они имели моих заложниками, но было ведь не лишним убедиться во мне, хотя заложники и связывали меня нерасторжимо? Это было не так, как в России, где при производстве эксперимента ты находишься далеко от границ, окруженный миллионами людей, на которых подавляюще действует государственный аппарат. Вполне понятно, что уже вне государства, где твои глаза наполнены картинами цивилизованного мира, и где ты чувствуешь, как во все твои поры проникает упоительная атмосфера западной утонченности, усовершенствованная техника советского шпионажа избрала именно этот момент для последней проверки... "прощупала меня". А этот утонченный актер Дуваль был уже почти что готов меня победить. Я гордился собой, я чувствовал себя хитрым, умным, стоящим выше. Мой мозг отдыхал на сотканных в нем точных, сильных, мягких аргументах, и они, как шелковая перчатка, нежно обтягивали мое сердце... Но вот тут опять эта ползающая мысль, которая уже было оставила в покое мой мозг, уколола здесь... в середине моей груди, подобно острому зубу аспиды. И все-таки, кем бы ни был Дуваль, но сам-то я был внутренне несчастным человеком, доносчиком, и больше ничего.

Эта мысль меня мучила и стояла у меня в глотке. А что же, если Дуваль попадет вниз, в комнату пыток, и меня позовут на очную ставку с ним? И что, если я увижу его, настоящего героя, подвергнутого пыткам из-за меня?

Х

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

— Распоряжение шефа: в одиннадцать часов быть в его бюро. Готов ваш багаж?

— Который час?

— Уже девять часов, доктор...

— Хорошо, я буду там в назначенный час.

— Мы оба повесили трубки.

Не могу раз'яснить себе, как провел я время, начиная со вчерашнего дня после обеда и до этого момента, девяти часов следующего дня. Состояние нервной экзальтации исчезло у меня. Я чувствовал себя ослабевшим, но непринужденно. Я заметил на столе две нетронутых порции кушаний и ощутил в желудке голод. Кушания, хотя и холодные, показались мне превосходными. У меня была большая жажда (и я без конца пил бокалами вино. Мне же нужно было привыкать! Мне принесли горячее кофе. Я выкурил папиросу, и мое настроение переменялось. Я почувствовал себя другим. Чудеса питания! Наполненный желудок успокоил мою совесть.

Если бы в моей голове появилась опять хоть одна из мучивших меня мыслей, я бы ее легко отогнал. С другой стороны необходимо было действовать.

Я взялся за укладку своих вещей в чемоданы, помылся и побрился. Посмотрел на часы. Было немного меньше десяти. Я решил пересмотреть листки с моей "ролью", но все время поглядывал на часы. Когда было без пяти одиннадцать, я взял телефон и позвонил.

— Пусть откроют мою дверь, я должен идти к начальнику.

— Дверь? — спросил меня голос с удивлением. — Кто ее запер?

Я положил наушники на стол и подошел к двери, потянул ее: она не была закрыта на ключ. Я попросил извинения у телефониста. Эта подробность с дверью произвела на меня странное впечатление. Я пользовался уже полным доверием со стороны служащих ГПУ.

Я посмотрелся в зеркало. Был несколько бледен, но больше ничего не заметил и отошел. Мои глаза не могли выдерживать взгляд моего изображения.

По коридорам я встречался с неясными фигурами, которые на меня снисходительно смотрели и даже иногда здоровались со мной. Я уже был "свой в доме".

Прибыл в комнату номер 83 и очутился вскоре перед секретарем.

— Это не здесь. Вам надо идти наверх. Собираются в Посольстве.

— Я не знаю хорошо дорогу.

— Минуточку подождите. Пойдем вместе.

Без вызова зашел какой-то человек.

— Алло, дорогой — приветствовал его секретарь, — проходи, я тебя поджидал. Тебе надо сесть слушать. Побольше внимания на семь.

Затем подошел ко мне.

— Если желаете, пойдем.

Мы вышли вместе. На втором этаже мы прошли через несколько зал, где находились различные типы... Вскоре подошли к закрытой двери. Мой провожатый почтительно постучал, но так легко, что ему пришлось повторить стук еще раз. Нам открыл дверь незнакомый человек, и мы вошли. Шеф находился там и разговаривал с двумя незнакомыми мне лицами.

— А вот наш "доктор Зелинский" — обратился начальник к этим людям, смотревшим на меня.

— Что слышно?

Они исследовали меня глазами "знатоков", и один из них заключил:

— Вид у него не плохой... Но более важно другое.

Должен сказать, что я, - как сумел доработал кое-какие штрихи, для своей характеристики.

— Он хорошо подготовлен, — сказал шеф, — думаю, что его, кроме самого Миллера никто не будет видеть, а он знает Зелинского только по рассказам.

— Пораспрашивайте его, пока он прибудет. Сядемте, садитесь, доктор

Мы все уселись на трехместный диванчик, стоявший в углу.

— И ваша супруга, доктор? Спросил меня по-польски тот, который проверял мой вид

— Великолепно, сударь, — отвечал я на том же языке, — вчера говорил с ней по телефону. Привет вашему превосходительству, генерал, сейчас она в Лодзи.

— А наш Вольский? Отдохнул?

(Вольский был один из моих родственников и друг генерала). Я ответил утвердительно и начал излагать со знанием дела сущность его болезни, лечение и выздоровление, вставляя большое количество медицинских терминов, подергивая глазом и пальцами и по возможности часто повторяя "понимаете"?

Я беспрерывно продолжал нить своей болтовни до того момента, когда все трое слушателей встали, глядя поверх меня на дверь, и я немного повернулся и увидел, что кто-то вошел.

По-видимому это была важная особа. Я это заметил сразу. Когда дело касается заправил из Москвы, то обращение "товарищей" становится моментально очень услужливым и приниженным. К нам подходил полнокровный лоснящийся тип с толстой шеей и выпученными похотливыми глазами. Он бросил на кресло свое пальто на собольем меху и изволил благосклонно улыбнуться столь преданным ему подчиненным. Уселся, расставив ноги и похлопывая ладонями по ручкам кожаного кресла. Он был чем-то похож просто на парвеню или на необтесанного, но самодовольного миллионера. Он взглянул на меня, закинул назад свою блестящую голову.

— Наш доктор? — справился он, как бы желая облагодетельствовать меня своим покровительством.

Я поклонился в ответ на это внимание, и, снова взглянув на него, заметил, что моя почтительность задела его сердце. Так же было с Ягодой, так же и с Ежовым.

— Садитесь, товарищи, — пригласил он — подойдите, доктор.

Я моментально подчинился и присел на край стула.

— Нет, здесь, здесь, доктор... — И указал мне место на софе рядом со своим креслом.

Поблагодарил его и сел. Когда я уже сидел около него, он положил на меня свою руку и сказал мне тоном, как будто собирался меня наградить:

— Как дела, доктор? Хорошо в Париже? Вы должны

знать, что вами очень интересуется наш главный шеф Ежов. Хорошо обращаются здесь с вами? Говорите, говорите, потому что если нет, то. (он сделал жест комической угрозы, которая была встречена льстивыми улыбками со стороны остальных прикрывавшими, возможно, настоящий, непритворный страх).

— Благодарю вас, очень благодарю, сударь. Прошу вас передать это также "неподкупному", великому Ежову.

Ко мне опять вернулась та ясность и самообладание, которые были пробуждены во мне Ягодой и Ежовым.

Я чувствовал себя устойчиво и достаточно смелым.

— Но разве здесь не пьют? — сделал выговор с раскатыстым смехом "высокий шеф". — Или все стали сухими в этом глупом посольстве?

— О нет, нет... — сказал местный шеф, вскочивши с кресла. Он открыл шкафчик-бар, достал несколько бутылок и рюмок и проворно расставил их на круглом столике, вокруг которого стояли наши кресла. Тут он проявил такое искусство, что можно было подумать, будто этот человек был когда-то официантом или слугой. Он очень быстро сделался совсем маленьким по сравнению с тем, каким он сюда вошел. Выпили несколько рюмок водки, не позорной "рыковки", а одной из самых отборных.

— Сессия открывается, — сказал шутя московский шеф, — вам дается слово, — и он указал на парижского шефика.

— Программа выполнена пункт за пунктом.

— И что?

— С положительным результатом.

— А что касается доктора?

— В точности.

— В таком случае поговорим...

— Он, — и он указал на того, который меня экзаменовал — должен был проверить степень вашей подготовки, когда вы пришли. Скажите ваше мнение, товарищ.

— Во время короткого экзамена я смог оценить, что ему удалось овладеть... в дальнейшем времени прослежу еще, самое большее, что сможет понадобиться, это лучше изучить какие-нибудь отдельные пункты, но есть достаточно времени. Не сомневаюсь в том, что в настоящий момент он подготовлен.

— Какой способ? — спросил "первый" шеф. Буду так называть прибывшего из Москвы для того, чтобы по невниманию не ускользнула бы как-нибудь ни одна фамилия, ни одно имя.

— С каретой скорой помощи. Вчера мы обсуждали вопрос втроем. Думаем, что это самый верный способ. — Это сказал тот, который еще не принимал участия в разговоре.

— Два немецких офицера придут сегодня вечером, — включился "первый" — я уже изобрел способ... Но если столько надежд возлагается на этот другой, то я очень рад, лучше не губить этих двух человек. Голландец их очень любит и протестует против того, чтобы мне их одолжать, конечно, там, в Германии, они незаменимы.

— Я им резервировал жилище, — заявил "второй" шеф.

— Нет, это не нужно, нечего им ходить по лестнице Посольства, фотографические снимки делаются моментально. На Гренель кишат "лейки", и было бы очень жаль, если бы они по возвращении в "Гитлерландию" попали там под топоры. — "Первый" при этом стукнул себя ребром ладони по толстой шее, и расхохотался:

— Побольше водки, товарищи! — крикнул он.

Мы начали опять пить. Стал говорить "второй", парижский шеф.

— Если вы считаете это подходящим, доктор может отсюда уже выйти.

Я было приподнялся, но он меня задержал.

— Нет, человек, нет: выйти из Посольства, вы поместитесь в намеченной уже нами гостинице, это надо будет сделать ко времени прибытия поезда, и вы поедете туда на машине с вокзала.

— Хорошо, дальше, что еще?

Стали обсуждать все детали. Проверяли со всей тщательностью шаг за шагом все, что я должен буду делать. Спорили и выпивали. Я восхищался беззастенчивостью и апломбом, которые проявлял каждый из них по соответствующему поводу. Были возражения, спорили и рассуждали, пока не устали. За эти часы я прошел курс техники, потому что обсуждались разные приемы. Я почти что ничего не понял, пока, наконец, "первый" шеф не положил конец разговорам и обратился ко мне:

— Доктор, не удивляйтесь, это были дебаты частного характера — и затем, обращаясь ко всем, добавил: — соглашаемся на системе скорой помощи. Теперь будем говорить ясно, — обратился он ко "второму".

Тот пыхнул два раза своей сигарой и, приняв важный вид, об"яснился следующим образом:

— Доктор сегодня же выйдет отсюда для перехода в гостиницу "Шатам", стараясь иметь вид человека, приехавшего сегодня вечером с Северного вокзала. Для этой цели уже есть для него паспорт с соответствующими печатями для в"езда и выезда в Германию и Францию с соответствующими датами. Ему будут вручены польские деньги и несколько марок. По мере надобности он будет их себе менять. Деньги настоящие, — заметил он, обращаясь к шефу.

— Думаю, что с этими двумя главными деталями и багажом, который он имеет при себе, он прекрасно сойдет за польского доктора, нужного нам в этой гостинице, не вызывая ни малейшего подозрения. Завтра к вам зайдет с визитом генерал, может быть, со своей супругой. Мы поджидаем ее с момента на момент. А... Забыл сказать вам имя генерала... — (сейчас он обращался ко мне), — это "белый" генерал Скоблин, не забудьте, Скоблин. С ним вы уточните все детали встречи. Дело в том, что вы вручите Миллеру сто советских рублей. Они вам будут даны прежде, чем вы отсюда выйдете. Они их ждут, ибо имеют намерение послать в Союз двух своих человек, которые должны быть снабжены деньгами: достать эти деньги поручено доктору Зелинскому, не беспокойтесь, эти рубли вернутся в наши руки. Также вы вручите пятьдесят тысяч франков, это личный дар от вас, доктор Зелинский... Эти - .ау! Мы их не возвратим... Они поручат вам, что бы вы по своем возвращении подыскали соучастника, это значит, советского гражданина, который обязался бы передать поручение через границу, вы пообещаете сделать все возможное. Вполне логично, что во время свидания будут вставляться вперемежку личные вопросы в отношении ваших частных дел и т.п. Я предполагаю, что в папках, которые вы изучали, вы нашли достаточно материала для того, чтобы суметь поддерживать легкий разговор по этим случайным вопросам. Большее количество деталей насчет всего этого вы получите от генерала Скоблина. Очень важно, чтоб в течение разговора что-нибудь

пили. Это будет вполне естественно, имея в виду склонность к тостам этих старых генералов. В принципе договорено, что свидание между вами и Миллером произойдет в помещении гостиницы, не думаю, чтобы у него возникли препятствия для этого. Миллер не будет опасаться зайти в известную гостиницу, полную людей. Миллер со Скоблиным придут вместе. Рюмки у вас будут уже приготовлены, будете пить водку, которую вы привезли с собой "оттуда". Если дело дойдет до ликеров, имеющих в гостинице, то будет вполне естественно, если их принесет слуга. В этом случае вы сами возьмете поднос с рюмками и поставите его на столик, позаботившись о том, чтобы приготовленная рюмка стояла против Миллера. Мы решили, что вещество, которое должно вызвать его внезапное недомогание, должно находиться в рюмке, оно должно быть бесцветным, похожим на стекло, и не должно замутить жидкость, приносить уже наполненные рюмки – это очень грубо, никто ничего не заподозрит, если будет видеть, что из этой же бутылки пьют и все остальные. Прежде чем окончится свидание, пообещайте вернуться с результатами переговоров, связанных с возвращением Зелинского в Польшу, как вы об этом условитесь. И уже останется только ждать, когда Миллер почувствует себя плохо. В этот момент доктор позвонит по телефону по указанному ему номеру. Этот номер ближайшего бара. Один наш человек будет стоять около кабины и, будучи вызванным по условленному имени (имя будет вам указано), вызовет скорую помощь, которая будет стоять недалеко наготове. В номер, соседний с вашим, уже в"ехал один больной господин, страдающий флегмоной околоушной железы, и он, имея высокую температуру, ожидает своей отправки в клинику, о чем в гостинице все будут знать. Ясно, что помещения сообщаются одно с другими. В другом помещении "дочь" больного поможет доктору переместить генерала и перевязать его. Когда принесут носилки, нужно будет только поместить его на них, опустить брезент и выйти. "Больной" с забинтованным лицом и пахнувший лекарствами (эти детали поручаются тоже доктору Зелинскому) и его "дочь" пройдут без затруднений перед охранниками генерала, которые будут поджидать его в вестибюле или у дверей. А тогда уж он будет в наших руках.

— А я? — осмелился я спросить.

— Вы, доктор, пойдете себе тоже. Два ваших пригото-

ленных чемодана будут переданы в соседнее помещение. Они исчезнут уже в момент, когда вынесут больного. Вы наденете пальто и спокойно выйдете себе на улицу.... Сэкономите не заплативши по счету. Это уже выгода. Возьмете "такси", которое будет поджидать вас направо от выхода. Пусть везет вас. Вы поедете в то место, где уже будет Миллер. Вы снова должны будете действовать, на сей раз с анестезическими средствами. Затем сразу же отправятся к берегу. Не беспокойтесь, доктор, в этом путешествии вы будете советским дипломатом со всеми привилегиями. Поблизости от Гавра Миллера поместят в заготовленный сундук (дипломатический багаж) со всеми таможенными пломбами и требуемыми условностями. Бедный генерал будет несколько стиснут, но только на несколько часов, необходимых для прохождения таможни в порту и погрузки на борт. Пароход сразу же снимется с якоря. Как только он выйдет из подвластных вод, вы сможете разбудить генерала. И больше вы о нем ничего не будете знать, его возьмут на свое попечение двое людей, которые будут находиться на пароходе. А вы, доктор, будете наслаждаться прелестями моря, пока не получите новых инструкций.

— И получите свидетельство благодарности от товарища Ежова, — закончил "первый" шеф.

Он внимательно посмотрел на меня, чтобы определить выражение моего лица, которое я постарался сделать озабоченным и довольным.

— Как вы видите, — сказал он дальше, — ваша роль более проста, чем вы могли бы себе представить. Более проста также, чем мы сами этого ожидали.

Шесть услужливых рук помогали "первому" одевать пальто. Он весело подал мне на прощание свою руку.

— До скорого свидания, доктор... Нужно вам что-нибудь? Ничего себя не лишайте, хорошая работа должна быть вознаграждена, не скупитесь, — и, изменив тон, сказал: — это приказ Ежова.

— Благодарен, благодарю, сударь

— Наш комиссар желает видеть вас в скором времени для чего-то, по-видимому, ну очень важного, между тем просите, чего желаете.

— Не мог ли бы я раздобыть определенные книги? — осмелился я спросить после такой настойчивости.

— Почему же нет. Книги, газеты, кабаре. Что желаете.

Он уже хотел выходить. Я набрался храбрости и задержал его за локоть.

— Одно одолжение..., если вы разрешите. — Его жест меня подбодрил.

— Могу ли я написать своей семье. Комиссар уже мне позволил. и весточку от них, не доставите ли мне хоть одну, какую-нибудь?

Он обернулся улыбаясь.

— А... да, не знаю, где была моя голова. Им очень хорошо: будьте спокойны. Они чувствуют себя очень хорошо в том климате. Ваша супруга просила кое-какие материи и не помню еще какие вещи, и комиссар ей их немедленно послал.

— Благодарю, больше мне ничего не нужно, я к вашим услугам, сударь. Я очень доволен. Мое почтение и благодарность... его превосходительству Ежову.

— Так, очень хорошо, — подтвердил "второй", между тем, как "первый" исчез энергично шагая и поглядывая на себя искоса в зеркала залы. Я видел, как он там, вдали, закурил сигару, это была чудесная гаванская сигара, дым от которой заволок двери, через который он исчез, подобно как в туалете "Восток-экспреса".

Четверо оставшихся спустились в нижний этаж. Пройдя блиндированные двери, мы расстались. Я направился к своему помещению, а они в комнату номер 83.

Согласно полученным инструкциям я должен был выйти этим же вечером после восьми часов. Меня предупредят в нужный момент.

Я использовал оставшееся время на еду, на писание писем своим, на просмотр кое-каких документов по поводу Зелинского, на чтение всего того материала, насчет СССР, который имелся в коллекции газеты *Le Temps*. В тот момент я прекрасно понял, что эта газета, имевшая ореол серьезности и об"ективности и являвшаяся официальным органом *Qurid`Orsay*, была по-ребячески наивна в отношении России. Без наличия оппозиции и невозможности ее сформировать, при отсутствии вопросов, а следовательно и надобности отвечать на них, имелась полная возможность развернуть всякие махинации и комбинации и распространять ложь. Дуваль продемонстрировал передо мной свои познания, гораздо более обшир-

ные, чем мои, но газета *Je Temps* продемонстрировала то, что она знает еще гораздо меньше, чем я. Я думаю, что все другие газеты на европейском континенте так же, как и эта, усыпляются своей политической и социальной средой и терпят помехи с ее стороны. Они, наверное, считают свои обычаи настолько же непогрешными и универсальными, как и закон притяжения. И это понятно, мы не можем вообразить себе полностью, хотя бы на короткий миг, картину, где бы люди и вещи двигались вверх ногами, да и вообще очень трудно представить себе антипода. Включим сюда и знаменитых ученых, доказывавших невозможность построения аэроплана и локомотива. Думаю, что эти примеры годятся для того, что бы раз"яснить существующие на западе неправильные представления насчет коммунизма в СССР. У европейца абсолютно не хватает способностей, чтобы представить его себе практически. То же самое происходит с последним русским поколением, родившимся после 1917 года, у которого, в свою очередь, отсутствует на 99% способность понимать то, что происходит по ту сторону. Фактически в СССР очень редко случается, чтобы русский человек был знаком прямо или косвенно с каким-нибудь иностранцем, но все же это возможно, более возможно, чем обратное и более возможно, чем знакомство с СССР нерусского человека. В конце концов еще имеется несколько миллионов нас, знакомых с миром до 1917 года, и как невелика была ярость уничтожения, история все еще продолжает жить в обычаях, в знаниях, языке в такой степени, что создаются противоречия между существующими реальностями и бурей пропаганды, вызывая спазмы в нравах инертной критики. Но какой француз, англичанин или немец может в действительности забраться в глубь России и рассказать о своем путешествии? И какое действие оказал бы его отчет на всемирную непроницательность? Да, конечно, существуют другие источники информации: те же коммунисты, выехавшие из СССР с государственной миссией. Предвижу, судя по себе, их психический шок.... и их измену. Тут вполне понятны сталинские заботы: заложники, убийство, грозящее из-за каждого угла. Должно быть, много есть таких Дувалей. Этот образ навел на меня тоску. Может быть, его слова были искренними? И я, враг СССР, его брат по истории и страданиям, я предал его. Чьей властью создаются на земле подобные вещи? Я вдруг

вознегодовал сам на себя. Дуваль, Дуваль. И что с Дувалем? В моей совести шевелилось еще одно сильно чувство: я боялся его.

Немного спустя после семи часов вечера за моим багажом пришел курьер и с ним еще один незнакомец, одновременно известившие меня, что шеф ожидает меня. Свидание с номером "два" длилось всего несколько минут. Он вручил мне рубли и пятьдесят тысяч франков, эти суммы – отдельно, а для меня десять тысяч злотых.

— Полной удачи, доктор. Можете не оберегаться, вам не угрожает никакой опасности со стороны "белых". Во всяком случае, около вас всегда будут наши люди, которые будут наблюдать за вашей безопасностью. Не допускайте неосторожностей, входя и выходя, не создавайте затруднений для того, чтобы они с вами не утеряти связь. Если вам потребуется ТАКСИ, то вы уже знаете, что в те часы, когда вы будете свободны от дела, можете развлечься по своему усмотрению, садитесь всегда в одно и то же — то, которое будет сегодня на станции и которое вам будет показано. Это ТАКСИ всегда будет поджидать вас в том месте, которое вы ему назначите. Я уже вам сказал, что нет никакой опасности от "белых". О других мы не можем сказать...

— Не понимаю, кто еще?

— Никогда не слышали ничего о троцкистах?

— Да, почему же нет? Но не думаю, чтобы я имел интерес для этих убийц.

— Эти вещи неизвестны, друг мой. Вы не можете быть уверены в том, что они вам когда-нибудь не навредят... В результате я могу вам только сказать то, что это распоряжение из Центра. Я отвечаю за вашу безопасность перед нашим комиссаром и думаю, что для вашего и моего благополучия я должен сделать это предостережение. Откровенно говоря, я не знаю, что послужило первым поводом для всего этого. Мне это не было раз"яснено, и Центр извещает... они обычно не ошибаются и не из пугливых. Понимаете?

Я обещал точно выполнять инструкции, тем временем было уже около восьми часов вечера. Выслушав последние советы шефа и его пожелания, чтобы все было выполнено лично, я вышел.

У дверей посольства меня ожидала машина. Меня сопровождал к ней служитель из Посольства. Наконец я остался один. Я почувствовал себя восхитительно. Было очень холодно и сыро, но я жадно вдыхал этот чудный воздух: после долгого сидения под запором он был для меня как изысканное яство.

Мне не потребовалось сообщать адрес. Шофер повез меня на Gare du Jvarol. Остановился поблизости. Через окошко вырисовалась фигура человека, это был один из двух, ассистировавших на собрании. Он пояснил мне, что я должен следовать за ним. Прошли в вестибюль вокзала. Нам не пришлось долго ждать, вскоре мы увидели валившую толпу пассажиров. Мы вышли на улицу. Тут я заметил носильщика, несшего за мной два моих чемодана, которые я очень скоро узнал. Мой сопровождающий прошел мимо длинного ряда такси и затем остановился перед одним из них. Пригласил меня войти. Носильщик поставил чемоданы в шоферское отделение рядом с ним.

— Едем! — обратился шофер к моему сопроводителю с одним только этим словом.

Не спрашивая адреса, ТАКСИ тронулось. Проехали несколько улиц, и машина остановилась.

— Я вас здесь оставляю, ваша гостиница уже недалеко. Это то ТАКСИ, которым вы должны будете обычно пользоваться. Всего хорошего, доктор, до, до Гавра, — закрыл дверцы и исчез. Такси тронулось снова и через несколько минут остановилось перед гостиницей, шофер помог швейцару вынуть чемоданы.

— Где я должен вас ждать, сударь? — просил он меня очень вежливо.

У меня не было никакого плана на этот вечер, и я колебался одно мгновение, потом я ему сказал чтобы он приехал через два часа и ожидал бы меня направо на ближайшем углу. Я вошел в гостиницу.

Обойду молчанием формальности при входе. Они были весьма короткими. Как мне раз"яснили, для меня было резервировано помещение на мое имя с этого вечера. Я сразу же туда и был помещен. Было достаточно хорошее: состояло из кабинета с застекленным балконом в закруглении, спальни и ванной комнаты. Я почувствовал спешную потребность при-

нять горячую ванну. Я погрузился в воду с истинным наслаждением и чуть не заснул в воде. Мне протелефонировал мой шофер и спросил, собираюсь ли я выехать, как хотел.

— Нет — ответил я. — Заезжайте за мной завтра утром.

Я был счастлив, оставшись один, мне нравилось просматривать телефонный путеводитель, открывать и закрывать краны с горячей водой, прогуливаться по моим комнатам, смотреть в зеркала, звать слугу, чтобы спросить который час (мне дали чудные часы, а в России не хватает часов), затем позвать его еще раз, чтобы он принес мне табаку, а затем еще раз, чтобы заказать пиво, устрицы и газеты, зажигать и тушить свет, выкурить на балконе папиросу, писать воображаемые письма, кататься по ковру, ходить босиком и делать всякого рода глупости с тем, чтобы к концу концов утомиться и заснуть. Если за мной наблюдали, то касающаяся меня информация гласила бы:

"Этим вечером путешественник Зелинский вел себя очень странно". Очень странно! Для раз"яснения того, что происходило, мне бы не хватило целой уймы листов, предназначенных для этого, подобно тому, как не хватило бы их и для того, чтобы описать, какова душа пятилетнего ребенка.

В момент пробуждения я не мог сообразить сразу, где я нахожусь и почему я тут нахожусь. Тем не менее физическое самочувствие было очень приятное. Эта благородная, солидная мебель, чистая и содержимая в порядке, тяжелые занавеси и мягкие толстые ковры - все, взятое вместе, вызывало во мне чувство уверенности, спокойствия и доверия. Здесь, в этой обстановке, не было ничего неприятного для меня. Все дышало устойчивым порядком. Чувство удовольствия повышалось еще от непрерывного шума, доносившегося с улицы: шумная циркуляция живого организма, полного бодрости, создающая убаюкивающий шум. Если издалека появлялась во мне мысль о прошедшем, я ее отгонял сразу же дуновением мысли, как будто бы это было назойливое насекомое.

Теперь, когда уже прошло несколько месяцев и я нахожусь в Союзе, эти минуты приходят мне на память, и если я закрою глаза, то ощущаю даже чувство удовольствия. Эта тоска, которая непрерывно давит вас, хотя и не убивает, которая обостряется от всякой мелочи: - от шума, производимого древоточающим червяком, от шуршания платья, от неясного

шума голосов, от далекого шопота. произойдет это сейчас? Вот этот вопрос о смерти стоит перед вами каждый момент. И этот вопрос, как маленькое пресмыкающееся, перебегает по всем нервам, свертывается клубочком в каждом волоске, в"едается во все поры. Научная статистика в СССР указывает на огромный процесс сердечников, а также на ужасный процент самоубийств. Но я не хочу думать об этих вещах и предпочитаю воспоминания.

На меня напала ужасная лень. Я не мог даже вытащить руку, чтобы положить ее поверх одеяла. Кто-то внушил мне мысль, что я мерзну, и она не исчезла, хотя светило солнце. Наконец, я "рискнул". Отопление было хорошее и я даже не почувствовал разницы температуры. Я выставил на солнце ноги и оно облизывало их своей горячей лаской, как любимая маленькая собачка. Я встал и уселся у балкона. Я отодвинул одну занавеску и смог увидеть противоположный тротуар, по которому взад и вперед ходили прохожие. Меня восхищала их одежда и их поведение. Они шли с индифферентным серьезным видом. Некоторые из них, и в особенности женщины, имели очень выхоленный и элегантный вид. Царило бесконечное оживление. Почему это никто не приблизился к этому господину с выхоленной бородой и не потянул его за нее? Может быть ему это понравилось, и он предложил бы в награду конфету или сигару? Непонятно.

Я размышлял о том, что они тоже, наверное, имели свои заботы и свои тяжести и горести, по крайней мере так думали они сами. Пожалуй, многие из них чувствовали себя несчастными... Как я им завидовал! Вот я здесь перед вами: я ученый, доктор Ландовский, и к тому же еще и ученый доктор Зелинский: ну и что же? Без промедления поменялся бы я сейчас вот с этим старым человеком, который проходит мимо, обремененный большим узлом. Да, я поменялся бы. Что произошло бы, если бы он сбросил его в этот же момент на середину сточной канавы? Ничего, абсолютно ничего. Он свободен и может это сделать.

Никто не в состоянии запретить ему идти к себе домой, туда в Монмартр или в Клиши. А что случилось бы со мной, если бы я сбросил с себя ту невидимую тяжесть, которая лежит у меня на плечах и имеет бесконечно большой вес?

И среди вас всех: стариков, женщин, бульварных донжуанов, министров, генералов, таксистов, духовных лиц, пролетариев, аристократов, учащихся - я ваш хозяин! Я - агент ГПУ? Могу! Вы идете, очень довольные иллюзией вашей свободы, как бараны в поле. А я - собака при вашем стаде. Я немного полаю, покажу зубы, и вы пойдете туда, сюда, звоня вашими колокольчиками. Я - пастух! Я верчу пращей, и вы ускоряете шаг, разбегаясь, сами не зная куда. Я - хозяин! Возьму одну из вас, подниму ее за ноги, вонжу нож и буду смотреть, как она блеет и истекает кровью, а затем откину в сторону, чтобы умирала на траве. А тем временем остальные: ораторы, депутаты, журналисты, маркизы, артисты, богатые, туберкулезные, проститутки, охранники, - человечество - будете идти дальше, ничего не зная. Будете идти с опущенной головой, как телята, с опущенными глазами, как овцы, с рылами, опущенными к земле, как у свиней. Я ваш господин! И вы меня никогда не увидите! Я - жалкий человек! Я - раб... и вы все в моих лапах!

Я опять спугнул свои мысли и укрылся от них в горячей и продолжительной ванне. Затем начал делать проекты на счет утреннего завтрака. Заказать ли несколько кусков утиной грудки, покрытой каким-то сладким желтым соусом вроде пушка, как я ел несколько вечеров тому назад в скромном ресторане? Или ветчину с яйцами и грибами? Или язык с мясным желе? Хотя не лучше ли будет познакомиться с чем-нибудь новым? Скажу, чтобы мне подали заячьи сердца с салатом. Разве во французской кухне не имеются всевозможные блюда? А, ножку косули в сиропе! А? Соловьиные яички! Салат из птицы и морских ракушек. Копченый угорь с капустой в уксусе! И если бы то, что я заказывал, показалось странным официанту, у меня бы испортилось настроение, я бы злословил по адресу гостиницы, выкинул бы слугу через окно. "Польский путешественник немного раздражителен", - сказали бы обо мне.

Тем не менее надо что-то попроще. Чашку кофе, чудного кофе, непревзойденного, с каплями мяты.

В конце концов я сообразил, в чем действительно нуждается мое тело - в апельсиновом соке. Хочу получить огромный стакан с апельсиновым соком и хочу его спокойно пить, сидя в кресле около балкона, стакан должен стоять на маленьком

столике, покрытом белоснежной скатертью. Позвонил. Как задержался слуга! Я должен был усесться и приготовиться к вкушению этого божественного ликера... Слуга вежливо осведомился о том, как я спал. Я ответил ему весьма неприветливо, что спал не плохо. Торжественно и почтительно расположил он все необходимое. Он не принес апельсинового сока, а манипулировал передо мной серебряными инструментами, выжимая плоды, пока я не сказал ему - довольно, тут же была сахарница из резного стекла, наполненная белейшим сахарным песком. Я получал удовольствие от каждой вещички, от малюсеньких салфеточек, от ложечки и т.п... Наконец, слуга закончил свою работу. Я ждал, чтобы он ушел. Мне нужно было остаться одному для моего полного удовлетворения. Я должен был сделать над собой неслыханное усилие, чтобы не закричать, особенно, когда я клал ложечку за ложечкой сахар. Мой рот наполнился слюной. Наконец, я поднес стакан к губам и сделал большой глоток: мне показалось, что этот деликатес не дошел до моего желудка, моя жажда была так велика, что мне казалось, будто сок впитывался всеми порами моего рта. Впоследствии я наблюдал с недоумением, с каким безразличием пила публика через соломинку этот несравненный напиток в кофейнях и барах.

Меня отвлек шум, он слышался в соседнем помещении, сообщавшемся дверью с моим. Мои "товарищи" наверное уже там. Забинтованный человек, его "дочь". Я уже не мог чувствовать себя хорошо. Взял пальто и собрался выходить, не вспомнив даже о том, что в вестибюле меня уже поджидали мои "телохранители". Почему не позвонил мне шофер?

Спускаясь по лестнице я развлекался разглядыванием людей, выпивающих в буфете вестибюля. Вспомнил, что приближается час второго завтрака. Мне хотелось позавтракать в другом месте. Я шел не торопясь, чтобы не встревожить своих сыщиков.

На углу различил поджидавшее меня мое авто. Я ему отказал. Предпочитал прогуляться пешком.

Шел без определенного направления, я не знал и не хотел знать, куда я иду. Столь простое дело - чувствовать себя одним из прохожих - доставляло мне удовольствие. Я останавливался перед витринами, заваленными безделушками. Какое-то время, не замечая, как оно шло, рассматривал я мальчика, мыв-

шего стекла бара, следил за автомобилями, пока они не терялись из виду вдаль. Маленькая, блестящая и похожая на обезьянку собачка обратила на себя мое внимание, и я следил за ней долгое время, восхищенный ее пируэтами и всякими вольностями, которые она себе позволяла у подножия фонарей и целого ряда деревьев. Восхитительно! Так шел я не знаю сколько времени в состоянии нирваны на ходу, пока обеденный час не притянул моего внимания. Я зашел в первый попавшийся ресторан. Попросил меню, на которое не обратил особенного внимания. Поел хорошо и много, но не уделил этому особенного внимания. Меня все отвлекало: люди, которые завтракали, официанты, тени с улицы, вырисовывавшиеся на соседнем окне, сложный кофейник, который пыхтел, свистел и содрогался на прилавке, касса с ее сухими металлическими стуками, зеркала, диваны, лампы. Все меня притягивало, и я на все обращал внимание. В тот момент, когда я со вкусом пил кофе, мальчик выкрикнул мой титул и фамилию: кто-то вызывал меня по телефону. Я был немного удивлен и не совсем сознавал в чем дело, будто бы вызов не относился ко мне, так далек был я от всего в этот момент. Мальчик должен был повторить свой вызов. Наконец, я встал и в его сопровождении пошел к телефонной кабинке. Голос на русском языке сказал мне, что после пяти вечера я должен вернуться в гостиницу. Очарование пропало, но я еще долго оставался там. Повторное кофе и настоящая сигара. Посмотрим, "друг мой, сигара", я должен принять сейчас немедленное решение. Не попросим ли рюмочку коньяку? Час тридцать пять минут. Значит остается еще три часа с половиной. Нужно решить: это не дело принимать поспешное решение в последнюю минуту. Не кажется ли тебе, что за нами кто-то смотрит? Да, они, наверное, там! Погляди, мой друг сигара, мой роскошней друг, какой я идиот: я опустил на грудь подбородок, а руку поднял ко лбу, как будто бы в моих чертах лица можно было прочесть мои мысли. Я осмелился немного приподняться, чтобы глянуть на свое лицо в зеркале. Хорошо, выгляжу, не плохо. Но перейдем к делу: что я буду делать с Миллером? За тысячи километров отсюда, там, в доме лаборатории, у меня было принято решение: "Я их обману"! Хорошо, могу выпить еще рюмочку. Что скажешь мой роскошный гаванский друг? Что глупо играть вилкой, переставляя ее кончиками по скатертке? Ну так

слушай: вилкой я делаю то, что мне нравится, и со скатертью тоже то, что мне охота делать. Разве я не агент ГПУ? Ты права: именно поэтому я не могу делать то, что мне нравится. Да, я их обману, но как? Не останусь ли обманутым я? Доказательства, контрдоказательства, вымыслы, видимость, в которых фальшь правдивей, чем сама правда. Посетит ли меня настоящий генерал Скоблин? Не будет ли это переодетый генерал, как я притворный Зелинский? Где реальность, а где фикция? Должен ли я подвергнуться еще одной проверке? Когда и какой?

Сейчас, когда то время уже в прошлом, мне приходит в голову много решений, а тогда ни одного. Я сознавал подавляющее превосходство надо мной аппарата шпионажа, а потому бессознательно чувствовал себя бессильным перед этой силой, которая господствовала надо мной. Стрелки часов передвигались с фантастической быстротой, укорачивая мое драгоценное время. Я безнадежно поднимал глаза и следил за головокружительным бегом минут. Я ничего не решил. Я вышел оттуда, даже не имея пунктов для пробного плана, но, правда, с "очень твердым" решением - надуть в случае похищения. Это решение подкрепляло меня внутренне, казалось, будто я искупал этим вину за "то" перед Дувалем, предполагая, что "это" нужно искупить.

Мое возвращение было совсем другим. Я ничего не видел и меня ничто не отвлекало: я был углублен в себя до такой степени, что меня чуть не переехало авто, когда я намеревался перейти через улицу. Этот инцидент навел меня на мрачную мысль: "это решение" полное. Может ли кто-нибудь поверить, что меня чуть ли не радовала эта воображаемая картина? И даже мне показалось это решение великолепным. Моя случайная смерть решила бы одним взмахом всю проблему. Не было бы репрессий по отношению к моим, и я был бы свободен! Свободен! Что-то вроде самоубийства. О, какое решение! Как это оно не пришло мне в голову раньше? Все стало ясным. Я ускорил шаг, шел, шел. Кто-то опередил меня, чуть ли не бегом, а затем соразмерил свой шаг с моим, и я чуть ли не касался носками моих ботинок его каблучков, затем я услышал голос, не громкий, но очень отчетливый, исходивший, по видимому от той особы, даже не повернувшей ко мне головы: "Следуйте за мной, вы наверное сбились с пути и опоздаете"! Я

осмотрелся, действительно, улица была мне не знакома, она была похожа на все другие улицы. Ничего не отвечая, я последовал за человеком и ускорил шаг. Через несколько минут я узнал уже одну из улиц, которая была видна мне из гостиницы, но еще не соображал, далеко ли мы от нее или близко. Мой провожатый часто посматривал на часы, было видно, как он несколько раз сгибал свой левый локоть и в это время наклонял голову. Наконец, дошли. Было точно пять часов. Я вошел в вестибюль вспотевший, и слегка запыхавшись. Посмотрел застенчиво вокруг себя, как мальчик, что-то напроказивший, и поднялся в свой номер. Я еще не снял пальто, как меня вызвали по телефону. Кто-то просил принять его. Я сразу же дал согласие. По-видимому это был тот визит, о котором меня известили в ресторане. Спустя несколько минут действительно появился передо мной незнакомый мне господин, представившийся мне, как генерал Скоблин. После того, как мы протянули друг другу руки, я предложил ему сесть. Прошло несколько минут неловкого молчания. Я предложил ему табак, которого он не принял. Я предложил ему выпить с тем же результатом. Я говорил с ним, не глядя ему в лицо, какое-то неопределенное чувство наполняло меня стыдом. Я должен был вспомнить о своем честном намерении, чтобы иметь возможность поднять свои глаза к его глазам, но я заметил, что и он не смотрел на меня. Все это не длилось так уж долго, но мне показалось это молчание продолжительным.

— Хорошо, доктор, — прервал он его.

— Мой генерал, ваша супруга здорова? Я надеялся иметь честь познакомиться с ней.

— Она была бы очень рада, но пока что еще не вернулась. Может быть, завтра.

— Очень хорошо, очень хорошо... — Это было немного, но кое-что уже было достигнуто.

Я припомнил о жильцах по соседству со мной, предполагая, что нас подслушивали. Невидимые наблюдатели должны были быть недовольны моей первой попыткой. Это заставило меня сделать над собой усилие.

— Генерал, — начал я, — я имею искреннее желание познакомиться с героическим Миллером, я привез кое-что, что должно интересовать его, и не успокоюсь, пока этого не сделаю, кроме того, моя супруга имеет желание получить посвя-

щенный ей его портрет, ничего не имеете против этого? Вы уже знаете, с каким энтузиазмом я отношусь к нему.

— Хорошо, хорошо, доктор... Не боитесь ли вы, что нас подслушивают? Можем пойти в другое место, если имеются новости.

— Нет, думаю, что никто... Нет, наоборот!

— В таком случае без задержек перейдем к обсуждению дела. Сегодня Миллера нет в Париже. Ожидаю его возвращения завтра. Сделано уже много, я сообщил ему о вашем желании видеть его и о поручениях, которые вы везете с собой из Варшавы, когда он вернется, то я смогу сообщить вам о дне и часе свидания. Я сам провожу его сюда, затем, к сожалению, я должен буду покинуть вас, Миллер пунктуален. Предполагаю, что все ваши приготовления будут закончены? Да?

— Конечно, — подтвердил я.

Он окинул взглядом комнату, как бы анализируя. И затем выпалил фразу, которая меня ошеломила:

— Я думаю, что рюмки будут стоять там... — и он показал на консоль, находящуюся у стенного панно визави него, — следовательно, устройте так, чтобы он занимал то кресло, на котором вы сейчас сидите.

Помещение завертелось у меня в глазах, я не знал, куда мне смотреть и что мне делать. "Таким образом, Скоблин...", — думал я, не заканчивая мысли...

Я повернул голову к консоли и почувствовал, что должен что-то сразу ответить,

— Да, натурально..., там — сказал я, лицо у меня было в высшей степени глупое.

— Лучше, если вы подойдете оттуда, — он встал, прошел до консоли и вернулся к моему месту с протянутой рукой, как бы поддерживающей поднос. — Поставьте рюмки на стол одну за другой, не перепутав, налейте, было бы нежелательно дрожание, какой-нибудь инцидент или движение, заставившее бы его быть настороже. Я много думал об этом моменте, хотел обратить на это ваше внимание. Вы думаете иначе?

— Мне кажется очень удачно, — ответил я, чтобы что-нибудь сказать.

— Это основной момент, — убежденно заключил он, — остальное, хотя и кажется сложным, но оно не трудно и безо-

пасно,... но вот рюмка, рюмка... А? Доктор? Гарантия наркотического средства полная, не правда ли?

— Безусловно, — подтвердил я, — его свойства достаточно проверены. За это не бойтесь.

— Извините за настойчивость... Уже столько времени обсуждается это дело... Не удивляйтесь, что все гарантии кажутся мне недостаточными..., понимаете... Это решительный момент для меня...

Я чувствовал себя почти что больным. Этот несчастный производил на меня такое же впечатление, как прокаженный. У меня появилось непреодолимое желание прекратить свидание. Я уже видел, что Скоблин был расположен к длительному совещанию на русский манер со спорами и бесконечными обсуждениями всех деталей. Невыносимо! Даже чувство любопытства не могло заставить меня продолжить наш разговор, чтобы разузнать что-либо побольше об этом ужасном случае морального падения и моральной нищеты. Я стал искать причину закончить разговор. Мне не хватало воздуха для дыхания, а дышать свободно я мог бы только с его исчезновением. Я ее нашел.

— Я думаю, Скоблин, — заверил я, приняв вид техника, — что целый клубок деталей в вашей голове, заботы обо всем, могут только содействовать созданию неловкости и отсутствия естественности в критический момент. В конце концов, что требуется от вас? Прийти, представить нас друг другу, выпить одну рюмку и оставить нас одних, не так ли? Хорошо, значит не думайте больше об этом и не беспокойтесь больше. Это бесполезно. Внушите себе мысль, что в реальности этот визит и это знакомство вполне нормальны. Зачем говорить больше об этом предприятии?

— Безусловно вы правы, я в этом не сомневался, но поймите... я...

Я понял, что он хочет опять начать сначала. Это был безусловно слабовольный тип, его воля, как выскакивающая пружина, не была в состоянии затормозить его навязчивую мысль. Я подумал, что самое лучшее - это проявить свою волю.

— Хватит уже — сказал я твердо, вроде как бы сделав выговор, — Кое-что еще о кратких моментах, которые должны включиться в сцену? А если нет, то поставим на этом точку.

Он молчал. Его фигура имела в этот момент вялый, как бы смятый вид.

Он мне показался старым, гораздо более старым, чем в тот момент, когда он вошел. Вначале он имел вид и выправку почти военную. Теперь – нет, это был старьевщик. Я понял это явление. Безусловно он рассчитывал бессознательно на длинный интимный разговор о нашем совместном преступлении. В этом нуждалась его совесть, столько времени отягчавшаяся призраком греха наедине с самим собой, иллюзия соучастия с непосредственным участником вызвала в нем другую иллюзию, будто бы он освобождается от половины своей обременительной тяжести и наберется сил, чтобы выдержать ее в эти последние часы, когда она становилась уже невыносимой... Я встал, это же сделал и Скоблин, медленно и с трудом. Он сделал несколько шагов к двери, он шел около меня и немного задерживал шаг. Я заметил, что он дотрагивался до меня дрожащей рукой.

— Извините, доктор... Мне сказали, что вы ученый специалист по наркотикам. Не можете ли дать мне или указать какие-нибудь из них, чтобы я мог спать... Моя бессонница сопротивляется всем снотворным средствам... это ужасно, доктор, это ужасно.

Мутные глаза смотрели на меня с надеждой и тоской в одно и то же время. Благодаря свету, падающему с другой стороны, его веки казались свешивающимися, как мешки. Мне не было жаль его.

— Нет, я не располагаю здесь ничем... Не могу вам ничего и прописать, так как мое звание не дает мне прав заниматься моей профессией в Париже, как вы должны это понимать, и что-нибудь хорошо действующее мог бы вам добыть только парижский врач.

— А это, что у вас есть для Миллера? ... Не могли ли...

— Поймите, что этого здесь нет... — я тихонько подтолкнул его к двери. Положив левую руку на дверь, он сделал над собой усилие. Выпрямился, протянул мне руку и даже мне показалось, что я услышал стук каблуков. Я продолжал смотреть на него, пока он шел по коридорчику. Его осанка исчезала моментами, его голова почти что втягивалась в плечи, но с каждым разом шаги его делались все более решительными. Дойдя до лестницы, он взялся за перила и медленно исчез.

Генерал Скоблин тоже изменник. Как же меня об этом не предупредили! Была ли это одна из оплошностей, которые часто случаются из-за того, что мы постоянно забываем о какой-нибудь важной детали, благодаря чему мы представляем себе очень известные вещи ошибочно и не так, как об этом знают другие. Не было ли это "забытое" еще одной проверкой? Нет, в этом случае Скоблин вел бы себя совсем иначе с самого начала, способствуя обману и выжидая от меня предложения... Ни в коем случае, это не могла быть проверка. Теперь я был вполне уверен, что это был сам генерал Скоблин. Фальшивый генерал имел бы более генеральский вид, а этот - несомненно настоящий - не имел в себе ничего генеральского. Ну хватит уже разбираться в нем. Он был похож скорее на отчаявшегося нищего или на умоляющего самоубийцу, чем на генерала.

Я закрыл дверь и начал прогуливаться по салончику. Этот случай с генералом-изменником с целью нанесения вреда своим же вверг меня в полное оцепенение. Меня интересовал процесс мыслей, который мог довести до подобного беззакония. Не было ли тут шантажа с заложниками, жертвой которого был я и, кроме меня, еще так много людей! Но это было невозможно. Этот человек прожил слишком много лет вне России, по всей вероятности, со времени гражданской войны, в которой он принимал участие. Трудно было предположить, чтобы у него там оставались близкие родственники. Его родители, по-видимому, умерли уже несколько лет тому назад, ибо вряд ли был возможен случай такого необычайного долголетия... Дети, пожалуй дети! Жена - нет, потому что она жила с ним здесь, в Париже. Никого! Я не был в состоянии отгадать причину, и у меня не хватало достаточных сведений для каких-либо выводов. "Белая" эмиграция была испорчена и морально и материально. Какая огромная разница между вот этой реальностью и теми "белыми" террористическими и фантастическими организациями, которые вырисовывались перед нами на показательных процессах, и о которых постоянно говорилось в советской пропаганде? Наличие пламени, которое еще якобы горит в груди у многих русских, переживающих голод, нищету и физическое и моральное оскудение, базируется исключительно на иллюзии: в далекой загранице ничего, абсолютно ничего, что могло бы отважиться на героическую спасательную акцию.

Я отогнал от себя эти столь неприятные размышления. Вернулся к своему делу. Обнаружив в Скоблине изменника, я не впал в уныние, наоборот, у меня чуть ли не прибавилось сил и смелости. Я припомнил то, что произошло со мной в момент угрозы быть раздавленным... свои мысли о самоубийстве. Собственно, это не была идея самоубийства и не она дала мне повод к решению, это была случайность, моя неповоротливость и неожиданность происшедшего. Позже, благодаря Скоблину, эти мои рассуждения подтвердились. Я должен был избежать ошибки и не перепутать рюмки, а также следить за тем, чтобы не получилась какая-нибудь случайная замена, в результате чего генерал Миллер не выпил бы предназначенного для него напитка. Надо будет быть внимательным и осторожным, чтобы этого не произошло. Но, а что, если я буду внимательным и осторожным с целью, чтобы произошло то, что не должно было бы произойти? Поменяю рюмки так, чтобы из рюмки Миллера выпил бы... кто? Я сам. Не было бы ли это чем-то вроде самоубийства? В сущности да, хотя только временного. Важно то, что оно не произвело бы впечатлений умышленного. В моем чемодане было три рюмки. Я видел их завернутыми в бумагу. На ночь я взял их с собой в спальню и прорепетировал "ошибку". Неожиданно мне пришла в голову идея, которая меня развеселила. Это было бы чудесное усыпляющее для Скоблина. Он ведь не мог спать!

И в таком случае... это есть... в таком случае получилось бы самоубийство? Я мог бы увеличить дозу. Наблюдающие из соседней комнаты не могли бы ничего разглядеть, что происходит на столе. Скоблин ушел бы. Пошел бы туда, в какое-нибудь место... умирать. Я бы заявил: "Скоблин выпил из рюмки Миллера, и я не мог этому помешать". Разве этот человек не имел бы вида самоубийцы?

Сыграть тонко игру, подобно тому, как это было с Довгалеvским, о чем рассказывал Дуваль. Вместо того, чтобы схватить Миллера, схватят изменника Скоблина...

Хорошо, хорошо, все это необходимо обдумать более основательно, взвесить и оценить детали. Ах, я не обладал талантом холодного рассудка и "фантазией новеллиста", как сказал мне чилиец.

Оптимизм и беспокойство, вызванные во мне этой идеей, заставили меня подняться и выйти. Было больше семи часов ве-

вчера, уличное освещение было уже зажжено. В моем помещении было темно, и только виднелся освещенный прямоугольник балкона. Чудесно было бы выпить сейчас вермута. Я отправился в ближайшую кофейню, оказавшуюся шикарной и элегантной. Было очень много публики и масса благоухающих, ослепляющих, роскошных женщин. Эта атмосфера с примесью табачного дымка и духов создавала приятное, легкомысленное и расточительное настроение. Я уселся в глубине ресторана, мне подали заказанное, и я пил, облокотившись глубоко на диван в слегка возбужденном состоянии. Я рассеянно курил, но вскоре поймал сам себя на том, что я с восхищением рассматриваю замечательные ноги, вытянутые на показ их обладательницей визави меня, она, видимо, была очень довольна их формой и линией, может быть, ей было важно продемонстрировать только свои дорогие шелковые чулки, но я ясно видел, что она была чрезвычайно удовлетворена моим восхищенным взглядом, который она заметила гораздо раньше, чем я сам дал себе в этом отчет. Она не обтянула юбку, чтобы прикрыть их немного, но, наоборот, получалось так, что с магической изобретательностью юбка поднималась незаметно все выше. В качестве спасительного средства я вызвал в себе печальные образы своих и, кроме этого, попросил вечернюю газету и стал ее читать. Переворачивая страницу я взглянул и увидел особу с ножками, сидящую с оскорбленным видом. Ну, что же, я углубился в рубрики биржи.

Ничего особенного вечером не произошло. Поужинал и пошел в кино. Шел американский фильм на английском языке. Названия я не помню, а только содержание: несколько бандитов, миллионер, его дочь и журналист - он же полицейский. Миллионера похитили, журналист-полицейский спас его и в дальнейшем женился на его дочери. Меня не так заинтересовало содержание, как устрашающая реальность некоторых сцен с пулеметами и фантастической гонкой автомобилей, догоняющих один другой. Гораздо больше интересовала меня в фильме окружающая обстановка, люди, улицы, дома, освещение, роскошь, масса автомобилей, колоссальные здания, огромные пароходы, многие из этих вещей были засняты с натуры. Вот тут-то и развернулось передо мной поражающее зрелище мощи и богатства, гораздо еще более величественное, чем все то, что произвело на меня такое впечатление в Париже.

XI

ПОКУШЕНИЕ НА МЕНЯ

Перед вторым завтраком я получил извещение по телефону о том, что на этот день ничего не предвиделось. Я мог располагать собой на целый день.

Я бросился на улицу с намерением зайти в первое попавшееся место, есть тогда, когда у меня появится аппетит, садиться отдыхать только тогда, когда устану, и гулять столько, сколько у меня будет охоты. Так я и сделал. Я шел, рассматривал книги в общественных ларьках, расположенных по побережью Сены.

Я остановился около собора Парижской Богоматери, боясь надзора, колебался, могу ли войти: что подумают насчет посещения мною храма? Под конец вошел, ведя себя, как турист, без всяких знаков благочестия. Немного помолился. Ничего особенного в течение нескольких часов. Припоминаю, что незаметно для себя самого я вошел в городской сад. Я был уже несколько утомлен. Начали выкрикивать названия некоторых вечерних газет, я купил себе одну и намеревался усесться на какой-нибудь скамейке, чтобы просмотреть ее. Не легко было найти свободное место, но вот, наконец, я устроился на одной из скамеек несколько вдали от шума, позади живой изгороди из сирени. Через просветы среди веток я мог наблюдать за детворой в разноцветных платьицах, с розовыми щечками и с развевающимися на ветру темными и светлыми волосами, скачущей и бегающей взад и вперед, это было что-то вроде калейдоскопа, в котором все время перемещались различные лица и цвета и никогда не повторялись опять в прежней порядке.

Мои мысли полетели к моим, представилась мне Лена, опершаяся подбородком на мое плечо и лукаво посматривавшая на все это, мне почудилось, что оттуда, где стоит статуя мифологического мраморного бога, скрывающегося за растением почти что уже лишенными листьев, зазвучал ее голос. Так я просидел долго, и во мне вперемешку с реальными картинами воскресали мысленные образы, Затем, когда мои воспоминания сделались уже болезненными, я взялся за чтение.

Прошло сколько-то времени, когда меня отвлек звук бубенчиков около моих ног. Это была собачка, которая прыгала близко около меня и несла в зубах маленький мячик. В пятнадцати или двадцати метрах от меня какая-то дама подзывала ее звуком, похожим на долгий поцелуй с присвистом. Песик подчинялся и приносил ей мячик с тысячью ужимок и прыжков. Игра повторялась. Собачка была малюсенькая и черная. Дама - стройная в костюме строгого покроя мужского типа. Она швырнула мячик, который покатился далеко, и собачка бросилась за ним, как стрела. Я снова стал читать. Я не обращал внимания, но, сам того не желая, замечал, как убегала и прибегала собачка, а также, как нагнала ее хозяйка. Женщина и собачка прошли за моей спиной и, наконец, она села рядом со мной. Она как бы плавала в облаке чудных духов. Посмотрев застенчиво украдкой и чуть ли не покраснев, я увидел, как она прикрепила к ошейнику ремень. Но зверек, запутавшись между ножками скамейки, прекратил свою беготню. Она терпеливо распутывала петли, вставая и снова усаживаясь, проходя у меня за спиной. На ней была шляпа мужского фасона, надетая сильно набок на правый глаз так, что почти что совершенно закрывала с этой стороны ее лицо, кроме того, ее подбородок был погружен в роскошный мех из черно-бурой лисицы. Меня тревожили ее духи. Наконец меня оставили в покое. Я видел, как она удалялась, держа свою собачку на руках, и слышал, как она издавала тот же странный звук своими губами. Ее походка была решительная и твердая. Последнее, что я увидел из ее фигуры, это были ноги, крепкие, но худощавые, в чудных шелковых чулках, заканчивающиеся ботинками на низком каблуке, по-видимому из змеиной кожи, судя по чешуе. Мне больше всего запомнилась эта часть ее фигуры, ибо это было то, что я видел в последний момент перед ее исчезновением за кустами на повороте дорожки. Я стал опять читать, но начало быстро смеркаться. Стал затихать и детский гам. Я зажег папиросу и встал. Поблизости никого не было. Я мог только заметить через изгородь нескольких ребят со своими няньками. Я сделал два или три шага, и у меня вывалилась с правой стороны газета, я наклонился, чтобы ее поднять.

В этот самый момент позади меня прозвучал сухой выстрел, как из пистолета.

Я сделал несколько быстрых шагов, как бы намереваясь бежать. Оглянулся вокруг себя, но никого не увидел. Люди, находившиеся по ту сторону изгороди, по-видимому тоже слышали звук, ибо в просвете появилось несколько физиономий, большей частью мальчиков и девочек, а также женщин, а сзади еще двух мужчин, этих я где-то уже видел раньше. Все глаза были уставлены на меня. Меня смутило это сборище любопытных, рассматривающих меня, а особенно эти два человека. Этот звук произвел не я. Может быть, лопнула шина, в автомобиле? Вскоре я почувствовал, будто по моей спине пробежало насекомое. Я сделал восемь-девять шагов. Повторилось то же самое ощущение, я сделал инстинктивное движение. Не забралось ли уж какое-нибудь насекомое с окружающих деревьев под мою рубашку? Но при движении лопаткой я почувствовал боль. Я пошел дальше со страхом и нерешительно. Боль увеличивалась, в это же самое время я почувствовал с левой стороны спины влажность. Прошло еще несколько минут, пока я сообразил и догадался, что я ранен, по-видимому ранен, нет, это не может быть, думал я, отгоняя от себя подобные мысли. Я уже приближался к выходу из парка. Странное ощущение обострялось, оно стало уже неприятным, моментами моя боль локализовалась, и я мог ее определить. Постепенно я уже не стал сомневаться в том, что со мной происходит что-то ненормальное. Чувство мокроты было вполне отчетливое, ткань рубашки приклеивалась к телу. Я попробовал дотронуться до той части моей спины, но боль только обострилась от того. Сомневаться было уже нечего. Я сделал знак проезжавшему такси и задержал его на несколько мгновений, сделав вид, будто припоминаю адрес, который мне нужно указать ему. Я хотел дать время моим наблюдателям, чтобы они не потеряли меня из виду и могли бы следовать за мной. Я осмотрелся кругом как бы в нерешительности, но никто из прохожих не притянул моего внимания. Я сел в машину и дал адрес гостиницы. Путь показался мне очень продолжительным. Теперь я был вполне уверен, что я ранен. При движении автомобиля у меня усиливалась боль и увеличивалось чувство мокроты. Прибыли, дрожа поднялся я в мое помещение. Я снял пальто и бросил его на кресло, в этот же момент глянув инстинктивно в зеркало. Ничего ненормального. Я освободился постепенно от пиджака и жилетки, зажег свет и дотронулся

пальцами до бока — кровь. Повернулся спиной к зеркалу, посмотрел через плечо. Темное пятно, величиной почти в две ладони. Не знаю почему, в этот же момент увеличилась боль, и я почувствовал слабость. Сделал несколько шагов. Мое положение было очень конфузное. Что делать?... Я был в таком месте, что не мог лечиться никоим образом. Но мне же нужно было позвать кого-то на помощь? А что они подумают? При наличии этих сомнений я воздержался, подавив в себе тревогу. Я расстегнул рубашку и сразу же скинул ее. Стал опять рассматривать в зеркало свою обнаженную спину. Я не мог определить хорошо, но ясно видел темно-красное пятно, доходившее до поясницы. Я вытерся чистой частью рубашки, теперь я смог рассмотреть как бы точку под лопаткой, что было похоже на отверстие, просверленное пулей. Я терял много крови, надо было ее задержать. Я направился в ванную комнату, оперся о стену и приложил полотенце, смоченное холодной водой. Я уселся на диван, опершись о спинку. Хотел закрыть рану. Но что же делать? Продолжать так было рискованно. К кому обратиться? Я стал терять сознание. Вдруг я вспомнил о своих соседях. В этот критический момент мне показалось наиболее подходящим прибегнуть к ним. Звонить в Посольство мне показалось абсурдным и опасным. Я уже прихватил руками полотенце, чтобы встать и постучать в дверь, когда послышался легкий стук в мою дверь. Не раздумывая я ответил: "Войдите". Тут я моментально сообразил, какую я сделал глупость, и в два счета оказался в ванной комнате. Если это был слуга, то он мог извинить мне мое отсутствие, я даже не вспомнил, что моя окровавленная рубанка, брошенная на ковре, немедленно привлекла бы внимание вошедшего. Я стал впадать в полуобморочное состояние и, падая, очутился в сидячем положении на полу. Я слышал, как открылась и закрылась дверь, шагов я не слышал, их заглушал ковер. Какой-то голос, как будто бы знакомый, спросил меня по-французски: "Доктор, доктор... где вы, доктор?" Я спросил, кто это? "Вы уже не узнаете меня, доктор?" ответил мне этот голос с иронией. Дуваль?

Я узнал его и был поражен. Я не осмелился высунуть голову. "Минуточку", сказал я, чтобы что-нибудь сказать. Затем я опять услышал его голос, воскликнувший: "Но что это такое? Что произошло, Боже мой?" Я задрожал. Там, в двух шагах, Дуваль, пришедший добить меня. Я оглянулся по сторонам в

поисках несуществующего выхода, но не осмелился кричать. Я оставался инертным в состоянии ужаса, мое сердце билось с ужасающей быстротой, мой высохший рот уже не был в состоянии произнести членораздельный звук. Я отклонился, чтобы осторожно подсмотреть через дверную щель. Дуваль находился недалеко, стоя спиной ко мне, рассматривал мою рубашку, держа ее двумя руками на высоте своей головы. "Что это такое? — повторил он опять. — Да, кажется кровь. Вы хотели себя убить, доктор?" Заметив меня, он повернулся и сделал жест удивления, увидев меня в таком положении. В самом деле, мой вид должен был поразить его: обнаженный до пояса, с повязкой из полотенца, поддерживаемой спереди двумя окровавленными руками, кровь на боку. Дуваль улыбнулся одной из своих улыбок, но сразу же оборвал ее. Он умел придавать своему лицу выражение, соответствующее обстоятельствам.

— Вы и в самом деле ранены?

— Да, кажется ранен — попытался я ответить.

— Уже так быстро? — удивился он.

Я не понял значения этого восклицания.

— Давайте, давайте, посмотрим в чем дело, ложитесь в кровать, идем, идем — подталкивал он меня осторожно к выходу в комнату, он почти нес меня — минуточку, ложитесь. А! Где это? На спине? Нужно раздеться. — Я сделал знак, что не имею для этого сил.

— Я вам помогу, садитесь тут на край, поднимите, — он взял мою ногу и снял ботинок. — Как произошло это? Вы хотели покончить самоубийством? Нет, конечно, в спину. Почему же в спину, а? — Он снял с меня ботинки и носки. — Давайте, обопритесь. — Он расстегнул мои брюки, помог освободиться от них и помог мне лечь. — Нет, не так, ртом вниз... Так, посмотрим, что там такое...

Я подчинился и остался лежать спиной вверх. Никогда бы я этого не сделал. Мной овладел нестерпимый страх, и меня пронзила сумасшедшая мысль, что пришел конец моей жизни. Да, думал я, дрожа всем моим существом, сейчас он вонзит в меня кинжал. Да... сейчас. Не глядя на него, я видел, как он поднял свою руку, медленно, не торопясь, выбирая место лучше, куда нанести смертельный удар, да, он уже забрал полотенце, чтобы оно ему не мешало... Вот теперь. Но нет, захотел еще развлечься наблюдением над своей жертвой. Я заме-

тил, что он убрал полотенце и ощупывал места около раны. "Пуля", произнес он сквозь зубы. "А выход? не вижу, плохо, она застряла". Мне показалось, что я услышал в его голосе досаду по поводу неудачного выстрела. Несомненно, это был он сам и продолжал свое преследование... Он пришел сюда добить меня, и я в его руках, беззащитный, мертвый... Я попытался молиться: невозможно - мои зубы стучали от страха... "Вам холодно?" — спросил он меня, и я почувствовал холодок на спине... "Это кинжал", подумал я, "кинжал, погружающийся в мое тело, да, это его нож, нож этого человека должен быть ледяным, ледяным". Что-то темное заслонило мой взор, мои глаза оставались, по-видимому, открытыми, но я ничего не видел, у меня было чувство, будто бы я провалился куда-то глубоко, и, колеблемый, как сухой осенний лист, я выключился из всех законов этого мира. "Я уже умер", признался я сам себе и сразу успокоился.

УБИЙЦЫ ДЕТЕКТИВЫ

Мое пробуждение было приятным, ибо я пришел я себя, лежа в кровати в полусидящем положении, с подложенными под меня подушками и без ужасного ощущения мокроты на спине. Но было очень неприятно открыть глаза, ибо первое, что я увидел, это было лицо доктора из Посольства, того самого лысого отталкивающего типа.

— Давайте, товарищ, — сказал он мне, — просыпайтесь. Вы уже достаточно отдохнули. Теперь вы уже в порядке.

— Да, я чувствую себя хорошо.

Лоб у него был запотевший, истечения из носа смочили его усы, и даже мне показалось, что от него плохо пахло. С другой стороны виднелась выбритая и симпатичная физиономия чилийца. "В конце концов, — мелькнула у меня мысль — если он меня убьет, то сделает это с приличиями." В состоянии полусознания я почти не заметил присутствия третьей особы. Я смог только различить в темном углу, где она стояла, силуэт женщины. Она стояла и смотрела на меня. Больше я не думал об этой особе.

— Что такое со мной? — спросил я

— У вас застряла пуля, — сказал мне доктор, — проникшая через спину в лопаточную область. Выходного отверстия нет. Она, вероятно, находится в легком.

Мои размышления не были радостными. Я возразил.

— В легких? И не было хотя бы маленького кровохаркания?

— Нет. Ну, может быть, пуля находится в средостении.

Это мне вовсе не понравилось.

— Пуля в средостении? Но что это за счастливый случай, что она не затронула ни одного сосуда, ни бронхов, ни...

— Ну, значит, в позвоночном столбе.

Каждая следующая гипотеза была хуже предыдущей. Попробовал двигать руками и ногами.

— Без паралича, без мозгового шока...

— Хорошо, коллега, сейчас не обсуждайте. Мы разберемся потом, где пуля. Самое существенное, что вам лучше, и что

вы сможете выехать из гостиницы. Разрешите мне выпить немного вашей водки или коньяку.

За меня ответил Дуваль:

— Да, пейте, — сказал он ему весело. — Там вы найдете три рюмки. Пейте из любой, но не разбейте ее.

— Товарищ, — возразил медик обиженно, — я имею обыкновение пить из бутылки.

Через некоторое время в комнату проник еще один новый персонаж: парижский шеф номер "два". Он пришел встревоженный и обеспокоенный. .

— Что случилось? Кто был? Что скажут в Москве? Давайте, об"ясните: что знаете? Кто это сделал?

— Товарищ, — свистнул Дуваль — вы не должны удивляться. Думаю, что вы кое-что знали уже предварительно...

Шеф сдержал свое негодование.

— Да, Дуваль, — согласился он, — вы знали наверняка. Покушение произведено... только гораздо раньше, чем я смог принять свои меры для того, чтобы его избежать. Предполагаю, что вы не имеете ничего против, чтобы уточнить время, когда вы мне передали вашу информацию... Было шесть часов вечера, не так ли?

— Точно пять, — ответил с апломбом Дуваль.

— Хорошо, было пять часов... Произошло же в семь часов...

— В семь с половиной! — снова перебил он с не меньшим апломбом.

— Откуда вы это знаете? — спросил шеф. Как я заметил, он был в очень плохом настроении.

— Я попросту делаю вывод, я прибыл сюда в семь с половиной часов и в этом вполне уверен. Я был здесь раньше, но доктор еще не вернулся... Думаю, что после ранения он не задерживался долго на улице, не так ли доктор? Вы же не ходили ловить форель, правда?

Я сделал бессознательное подтверждение кивком головы.

— Я могу почти что утверждать, что дело произошло после семи с половиной.

— Хорошо, хорошо, было семь с половиной. Даже и в этом случае от пяти до семи с половиной было всего два с половиной часа времени. Я намеревался немедленно узнать местонахождение доктора, но мне это не удалось...

— Ваша охрана? — перебил чилиец с видом строгого прокурора.

— Да, она была у меня: я дал точные распоряжения... я говорил с моими людьми. Они были очень близко, но ничего не видели, абсолютно ничего. Только доктора, и даже не заметили ничего подозрительного.

— И не слышали даже выстрела?

— Да, выстрел они слышали, но ни доктор, ни кто другой не имели вида раненного... Они подумали, что шум был какого-то другого происхождения, без сомнения.

— Непонятно: выстрел может различить даже и тот, кто не часто его слышит. Кто такие ваши люди? может быть, сестры милосердия? жаль, в самом деле жаль. При большей дальновидности и усердии удалось бы задержать автора. Конечно, там, в Центре, очень порадуются. Пока что мы не изловили еще ни одного троцкиста на месте преступления, но двое из наших уже погибли. Представьте себе, какой великолепный повод потерян для "L' Humanite" и для французской прессы... Я воображаю себе, как наш доктор смог бы превратиться в один момент в выдающуюся личность, в русского ученого, направляющегося в Испанию для борьбы с тифом или с какой-нибудь другой болезнью, появившейся в лояльных войсках... благодаря отравлениям, произведенным самими троцкистами... Я не буду излагать эту идею, но не думаю, чтобы в Центре перестали ею интересоваться. Если бы у вас был лучший контакт с вашими людьми, если бы они проявили побольше настойчивости, побольше любви к делу...

Шеф сидел в кресле совсем удрученный. Было ясно видно, что он глубоко озабочен. Казалось, что слова Дуваль звучали, как грозное обвинение прокурора, по своему значению равнявшемуся пуле в затылок. Но, по-видимому, этот человек был теплохладен к борьбе. Упадок духа длился у него не долго, он решительно поднялся, хотя в его лице были еще видны следы прилива крови.

— Я думаю, что вы даете волю своему богатому воображению, товарищ Дуваль, — мягко упрекнул он его, сдерживаясь с видимым усилием. — Рассмотрим, рассмотрим вещи хладнокровно...

Он встал, прошелся взад и вперед. Вошел в салончик и вернулся с моей одеждой в руках. Придвинулся к электриче-

ской лампочке, находящейся около моей кровати, и начал тщательный осмотр.

— Вот отверстие от выстрела, он сделан в спину.

— Интересное открытие. — сыронизировал Дуваль.

— Конечно, — ответил тот, — но что это такое? — он указал своим пальцем на место вокруг отверстия.

— Это порвано, — ответил Дуваль после некоторой задержки.

— Порвано... да, но как это получилось? Он понес пальто ближе к свету и показал мне эту часть, — Как, доктор?

— Я не знаю, — сказав я после того, как осмотрел это место, имевшее вид маленького прямоугольника в семь на четыре сантиметра, — я не знаю, не зацепился ли я где-нибудь раньше или потом.

Шеф отошел. Без сомнения он старался сделать выводы и разыскивал основания.

— Каково ваше мнение, товарищ Дуваль? Что вы об этом думаете?

— Ничего, я ничего не думаю. Ясно, что доктор в спешке и будучи ошеломленным где-нибудь зацепился, в такси, в котором он ехал, или где-нибудь еще почему я знаю...

— Странно, — сказал шеф про себя, — что в этом же месте... это странно, не так легко зацепиться в этом месте, если бы это был рукав или нижняя часть то это было бы другое дело. Не понимаю.

Пользуясь своим состоянием, я не переставал следить за этой иронической сценкой. Эти профессиональные убийцы действовали в данный момент, как опытные полицейские.

— Есть что-нибудь выпить здесь? — спросил шеф, который для пробуждения своих мозговых способностей должен был, без сомнения, прибегнуть к алкоголю. Я указал ему жестом, где он сможет найти бутылку. Он пошел и принес ее затем взял стакан, стоявший на моем столике, и налил его почти полный, он, было, поднес уже его к губам, как вдруг сделал мне странный вопрос:

— Это не то?

Мне стало смешно. Несомненно он боялся, чтоб я не ошибся и не дал бы ему наркотик, предназначенный для Миллера. Я успокоил его с улыбкой, и он выпил почти что все содержимое. Затем он подошел к креслу и уселся, держа на ко-

леньях мое пальто. Он углубился в свои размышления. Дуваль все время курил, прохаживаясь взад и вперед, медик бросал алчные взоры на бутылку коньяка, но, как я понимал, он не осмеливался дотронуться до него, конечно, из почтения к шефу, каковой не изволил его пригласить. По-видимому, он очень страдал, ибо можно было наблюдать, как он беспрестанно облизывал языком губы. Молчание затянулось, и я почувствовал, что меня начинает одолевает сон. Не знаю точно, сколько времени продолжалось молчание. Я лежал почти что без сознания, когда меня разбудил голос шефа. Он обратился к медику с какой-то просьбой. Этот наклонился над своим чемоданчиком с инструментами и стал там что-то искать. Положение персонажей переменилось. Мое пальто держала на руке женщина, которую я видел раньше в полумраке, и внимательно рассматривала его в простреленном месте. Медик подошел к ней, шеф смотрел с большим вниманием. Незнакомка взяла то, что ей подал доктор, она немного поперхнулась, приподняла руки к свету и в один прием вдела, нитку в иголку. Мне показалось все это глупым, столько серьезности и чуть ли не торжественности для того, чтобы эта барышня заштопала мое порванное пальто. Но оказалось что дело шло не о штопке, а совсем наоборот. Она согнула иголку - русской стали, конечно, - в форме крючка и вручила конец нитки шефу.

— Потяните — распорядилась она по-русски.

Шеф потянул, крючок оторвался, сделав новую семерку в моем бедном пальто. Она внимательно на нее посмотрела, сравнила порванное место со старым и торжественно заявила:

— Действительно, точно такое же.

— Что скажете на это? — спросил озабоченно шеф.

Дуваль и медик, некоторое время не обращавшие внимания на манипуляции с пальто, приблизились с намерением внимательно рассмотреть получившуюся прореху. Она положила пальто на кресле и повернулась к шефу, не произнеся ни слова.

— Ну и что? — спросил Дуваль.

Она посмотрела на него очень пристально, воцарилось молчание, во время которого я рассмотрел внимательней особу, игравшую главную роль в этой сцене. Она была безупречна, да, это точное определение. В тот момент я не мог анализировать линию за линией, оттенок за оттенком. Сквозь ее фи-

зическое совершенство, бросавшееся в глаза с первого взгляда, выступало и поражало что-то личное, необыкновенно своеобразное, ее взгляд, голос, жесты, движения, невозможно было выразить общее впечатление... Я не знаю почему, я не мог ни на кого смотреть, кроме нее. Все это сложное явление я воспринял, как бы при блеске голубоватой молнии невидимой бури, нереальная, но жизненная, близкая, но недоступная, ангел, но женщина, то есть в результате значит демон.

Она говорила, оттеняя каждое слово

— Не понимаете? Вам это ничего не говорит?

В этот момент она была похожа на изваяние сибиллы. Она снова показала мое пальто, указывая на два разорванных места, а затем обращаясь к Дувалю сказала:

— Да, дело совершенно ясное. Меня удивляет, что ты, именно ты, не видишь этого. Нет, не улыбайся

Дуваль перестал улыбаться и скрестил свой взгляд с ее, взгляды встретились, но не один из них не уступил и не отвернулся. Казалось только, что они взаимно пронизывали друг друга взглядами, как пулей. Он заговорил первый, но это было только одно слово:

— Скажи.

— Доктора "поймали на удочку", это очевидно.

Полный контраст между напряжением и чуть ли не драматизмом поз и моим нелепым положением, когда я превратился в рыбу, подстрекнул меня расхохотаться, и уж не знаю как мне удалось удержаться.

— Это значит, товарищ, что они были с крючком? — включился шеф, — считаю это разумным, откровенно говоря, мне это не пришло в голову.

— Какая проницательность! — польстил доктор, мне тоже это не пришло в голову, а теперь вот кажется вполне очевидным. Хорошо обдумано.

Шеф казался удовлетворенным.

— Думаю, что еще есть время найти доказательства. Да, сегодня же пошлю моих людей. Они должны хорошо узнать это место, даже и вечером. Не думаю, чтобы могли убрать "аппарат". Не осмелятся пойти туда, они уже нас знают, и, обращаясь ко мне, спросил: — Не видели никого поблизости себя? Припомните хорошенько.

— Нет, я не видел никого, — возразил я — и это я хорошо разглядел после выстрела. Разве что убийца спрятался за каким-нибудь деревом или растением.

— Нет, вы не понимаете меня достаточно хорошо, — поправил он — Я хотел узнать не заметили ли вы кого-нибудь, кто приближался к вам до выстрела? Припомните хорошенько.

— Я был все время один, правильнее сказать, не совсем так: одна дама с собачкой села на эту же скамейку на одну минутку, но это произошло задолго до того, как грянул выстрел, когда стреляли, то она находилась вероятно, уже далеко.

— Ну значит это была она, — подтвердил шеф с апломбом.

— Но я же сказал вам, — пытался доказать я, — что она ушла, что я не видел больше ни ее, ни ее избалованную собачку. Я бы обратил внимание, если бы увидел ее вторично после ранения. Извините, но мне это кажется абсурдным.

— Но это не так, доктор, будьте уверены, что это была она. Не заметили ли вы, чтобы она дотрагивалась до вашей спины?

— Никоим образом, — отрицал я — она меня не трогала. Но какое это может иметь значение?

— Какие она имела приметы? Какова была она?

— Ну, я хорошо не знаю, столько их, высокая, да, была высокая, крепкая, но не толстая.

— Блондинка, шатенка? Какого цвета ее глаза? — перебил меня с поспешностью шеф.

— А я не знаю. Я не видел глаз вблизи: волос не помню, пожалуй были темные... Была сильно надушена.

— Как одета?

— На ней был роскошный мех на плечах с хвостами на спине, и он ей несколько закрывал лицо.

— Само собой разумеется! — перебил он меня. — Дальше, дальше...

— Шляпа набок, шляпа, каких ввиду много, похожая на мужскую с опущенным полем.

— Которая ее тоже хорошо прикрывала, конечно?

Я признал эту деталь.

— Женщина северного типа... — намекнул Дуваль.

— Да, конечно — добавил шеф, — и что вы еще о ней помните?

— Да, ее духи, что-то особенное, я вас уверяю. Я хотел два или три раза запомнить тем же, — детализировал я, — но наверное это мне показалось, это невозможно, с запахом йода. А. ботинки ее были из специальной кожи, как будто бы из змеиной, так как была там серая и черная чешуя. Собачка была маленькая, очень некрасивая, черная, вроде как бы с бородкой на мордочке. Не спрашивайте меня больше, это все, что я помню. Но... что может это помочь выяснению? Я уже вам сказал, что эта дама должна была находиться на расстоянии нескольких километров.

— И была, тут вы вполне правы, но это она вас ранила.

— Абсурд, — не мог я удержаться от восклицания, но я заметил, что никто из них не обратил на это внимания.

— Хорошо, хорошо. Я еду и попытаюсь заполучить это оружие... Раз"ясните вы, Дуваль.

Сказав это, он взял свое пальто и вышел. Я почувствовал себя усталым, но любопытство заставило меня обратиться к чилийцу, в тот момент, когда он уже приготовился удовлетворить его, медик, не спрашивая разрешения, овладел бутылкой и вышел со своей добычей в салончик, видно у него была огромная жажда. Он не возвратился до тех пор, пока Дуваль не пошел его позвать. Тем временем Дуваль мне все раз"яснил. Способ, который употребил для того, что бы меня ранить, был хорошо известен ГПУ, и он мне его детально раз"яснил. Надеюсь, что мне удастся воспроизвести его изложение.

— Не удивляйтесь, доктор — начал он, — что, признавая отсутствие вашего врага-женщины, мы все-таки говорим, что это именно она ранила вас. Эта женщина не приближалась к вам, да? Ну и так: в эти моменты, когда она находилась около вас, она постаралась зацепить за вашу спину крючок, что-то вроде рыболовного крючка. Вот поэтому мы и говорим, как вы слышали, что вас "поймали на удочку". Крючок был соединен с сильной лесой. Не знаю, обратили ли вы внимание на то, что она раньше чем усесться рядом с вами, проходила за вашей спиной, поскольку там имелся свободный проход. Ясно, что собачка со своей беготней облегчила ей это маневрирование. Ей нужно было укрепить револьвер (назовем его так, что бы вам было понятно) позади вас, прикрепив его куда-нибудь к

растению или к спинке скамейки, на которой вы сидели, например. Затем она ушла. А затем вы сами произвели выстрел в самого себя. Все еще не понимаете?

Стал продолжать:

— Имейте в виду, что крючок потянул нитку, а нитка потянула оружие, которое при этом выстрелило. Это специальное оружие. Сложный револьвер: в нем имеется только один ствол, и он имеет рукоятку и обойму, но выпускает только один снаряд, похожий на тубик от аспирина, тубик имеет в своей "казенной части" крючок, каковой заменяет спуск и который должен быть прикреплен в каком-нибудь устойчивом месте. Леска привязана в том месте, где оружие обычно имеет мушку. Как я вам уже говорил, леска заканчивается рыболовным крючком, каковой прицепляется к платью жертвы. Когда это сделано, то убийца поспешно исчезает, ему уже нечего тут больше делать. Жертва, как в данном случае вы, встает и тянет нитку, нитка натягивается и начинает двигать "револьвер", который, раскачиваясь на своем спуске, но еще не стреляя, занимает то положение, в котором направление выстрела совпадает с натянутой леской, в тот самый момент, когда линия лесы и выстрела оружия совпадает, т.е. когда сила тяги действующая на мушку, передается крючку-спуску, оружие стреляет. Пуля, следуя по траектории, совпадающей с линией натяжения нити, имеет мишенью место, за которое прицеплен крючок. Таким образом жертва сама направляет оружие и стреляет в себя. Это изобретение, очень талантливое... Ясно, что оно еще не совершенно, поскольку вы остались живым. Тут тот недостаток, что мишень колеблется, и плоскость ее, образующая прямой угол с линией нити и пули, не устанавливается вполне точно, это значит что она несколько вращается и пуля проходит косо, что и произошло с вами... Правильно было бы суметь зацепить крючок за голову, вот здесь на затылке (он указал место), выстрел был бы безошибочен и смертелен, мы проводили там очень любопытные опыты: из десяти девять умирали почти что мгновенно. На женщин можно было бы покушаться, цепляя крючок за их волосы, когда они у них длинные или завязаны узлом, но процент таковых, подлежащих казни, очень незначителен, и поэтому этот способ мало полезен, не говоря уже о большом риске "выуживания".

Этим он закончил свое научное раз"яснение. Вел он себя точно так же, как если бы он мне об"яснил действие механизма в машинке для бритья. Он вытащил свой золотой портсигар с эмалированной монограммой и открыв его, предложил мне папиросу. Я отказался, и он, взял одну папироску, закурил ее, он курил с наслаждением и пускал дым вверх с видом тщеславного сноба.

— А! Извини, товарищ... папироску? — и он предложил свой портсигар ей с такой церемонностью, будто бы она была княгиней, она молча взяла одну: Дуваль заботливо зажег ей ее и опять стал извиняться — я тебя не заметил, мне показалось, что ты вышла с шефом

— Нет, товарищ, я тебя слушала.

— Слушала? Для тебя тут нет ничего нового, ты одна из редких женщин, умеющих слушать.

Я не смог различить в словах Дувалья иронию от восхваления. Он обладал редким даром оттенять речь, и даже одно только слово, двумя и даже тремя различными оттенками. Нечто трудно описуемое, но очень ощутимое для слушающего.

— Вы себя чувствуете нехорошо? — спросил он меня (готов поклясться, что с насмешкой). — Вам что-нибудь нужно?

— Термометр, вот там, — попросил я. Когда она мне его поставила, он возобновил свою болтовню.

— Вы задаете себе вопрос, доктор, как смогла товарищ раскрыть способ...

Нет ничего более легкого: жертва, ранена ли она смертельно или нет, делает натяжение с силой достаточной, чтобы материал на ее одежде разорвался и свободил ей крючок, это выгодно, ибо после неожиданного прекращения силы тяги нить отскакивает и ее кончик падает в нескольких метрах от того места, где может упасть раненный. В случае, если позволят обстоятельства, один из ваших, но никогда не тот же самый, который действовал перед этим, может забрать оружие, не вызывая подозрения. Остается только порванная одежда, но и тут разорванное место может совпасть с отверстием пули таким образом, что остается почти что незаметным. Согласны вы, доктор, что способ очень изобретательный и достаточно действенный? Сверх всего, совершенно исключается возможность пойматься с поличным, нет возможности доказать. Это очень важно в этих странах с "буржуазной юстицией", где в

судах требуется для осуждения наличие вещественных доказательств. Не сомневаюсь в том, что эта идея будет усовершенствована. Я надеюсь, что настанет день, когда можно будет заставить оружие произвести выстрел "ультракороткими волнами", фотографическим или каким-нибудь другим способом, более современным, который будет обладать еще большими возможностями действия наверняка и безнаказанно. Я несколько более скептически отношусь к неизбежности смертельного исхода, но — перебил он сам себя — посмотрим температуру.

Я достал термометр, и он забрал его с поспешностью, подошел к свету и произнес:

— Тридцать восемь и три... Что вы скажете?

— Сейчас это уже не имеет значения — ответил я.

— Поздравляю вас... Предполагаю, что ваша болезнь не продлится долгое время. Радуюсь за вас и за себя, я отдался очень увлекательной работе. (извините, доктор, это не потому, что не в вашей компании), как вдруг произошел инцидент с вами, и мне приказали взять на себя охрану вас. Ваша жизнь, по-видимому, драгоценна для какой-то высокой особы, как я догадываюсь. Нет, ничего мне не говорите. Я воздерживаюсь от вопросов, я попросту рассуждаю.

Он говорил как-то машинально, и казалось, что в это время он думал о других вещах, вдруг его лицо зажглось энергией и радостью.

— А, я уже знаю! Как это мне не пришло в голову раньше? Правильно говорится в нашем одном испанском рефрене: "Испанец думает хорошо, но думает с запозданием"...

Несколько моментов он как бы рассуждал сам с собой, и это было видно по тому, что он "рассуждал" пальцами, держащими папиросу.

— Что либо насчет автора? — любопытствовал я.

— Нет, вы об этом... И вы сами навели меня на эту мысль, вернее говоря, ваша теперешняя прогрессия: "Химик на службе у НКВД". Понимаете? Нет? Вы химик на службе у НКВД, "Химия" так же на службе у него, и теперь остается только дедуктивный переход от абстрактного к конкретному, от общего к частному: "химия на службе оружию"... Почему бы не отравить пулю? Почему бы не стрелять более маленьким снарядом, отравленной стрелочкой? Если рана будет и незна-

чительна, то небольшая доза яду будет достаточна. Вы верите, что смертельный исход будет неизбежен? Представьте себе, что бы было с вами, если бы внутри раны стал бы медленно, но определенно расходиться яд и таким образом, что никто ничего не мог бы заподозрить? Не верите? Ясно, что вам уже пришло в голову с полдюжины названий ядовитых и действенных веществ. Ведь да? Доктор, подскажите мне одно из них.

Он смотрел на меня странными глазами, зрачки у него были серые и блестящие, как стальные, они были похожи на две пули, готовые просверлить мой лоб, на две "отравленные стрелочки". Я не смог выдержать, я повернул голову и приподнял рукой одеяло, чтобы скрыть лицо.

— Вы чувствуете себя хуже? — Он быстро и заботливо приблизился ко мне, хоть мне показалось, что я уловил легкий оттенок иронической радости в его вопросе, он как бы развлекался. Я должен был ответить отрицательно.

Он поправил на мне теплое одеяло, которое соскользнуло с кровати от моего движения. "Но этот медик, куда он делся?", спросил он вслух и подошел к дверям следующей комнаты, он сразу же вернулся. "Спит, как дитя, а бутылка наверное совсем пустая."

— Вам мешает мой разговор. Если вы хотите спать или отдохнуть некоторое время, то я могу выйти в другую комнату, само собой разумеется, нарушая приказ, ведь я отвечаю за вашу жизнь... а кто его знает, убийцы просачиваются через стены.

— Я прошу вас не уходить, мне более или менее хорошо. Если я в этот момент и в самом деле боялся его, то мне было еще гораздо страшнее не видеть его, не слышать его голоса, и мне даже казалось гораздо более опасным, не знаю почему, его отсутствие, когда я бы уже не мог знать, чем он занимается

— Я помолчу, если я вам мешаю — заключил он.

— Говорите, говорите, прошу вас, я не хочу спать, я не устал.

— Хорошо, я возвращаюсь к тому, о чем говорил, большое дело... А! Я вас просил, что бы вы мне подсказали какое-нибудь вещество. Не приходит вам что-нибудь в голову? Мне нужно сделать информацию в Центр с предложениями усовершенствования, было бы лучше, если бы также были предложены подходящие вещества для отравления... Лучше, чтобы

они были оригинальными и мало известными... Согласны? Чем менее известен продукт, тем больше работы для судебных буржуазных врачей, интересней новелла. Я новеллист, как вам это видно. Я понимаю, что не имею права пользоваться вашими научными знаниями, но, извините, благодаря этому я обладал бы средством для удовлетворения моего тщеславия перед людьми оттуда. Химиков в Москве сколько угодно, конечно, но я бы хотел сам, без помощи, все представить в законченном и отличном виде... Профессиональное тщеславие! И вы можете это прекрасно понять, да? В конце концов, в случае, если вы мне не дадите указаний, другие - оттуда окажут мне техническую помощь, а может быть, и вы, если вам это прикажут. само собой разумеется... если у вас тоже имеется свое профессиональное тщеславие или же вы захотите выслужиться перед своим начальством. Я это прекрасно понимаю и воздержусь просить об этом одолжении... Оставайтесь себе со своим ядом.

Этот человек меня унижал. Только учитывая состояние: глухое, но острое возбуждение от раны и от него, я смог найти ответ:

— Оружие моей науки это мое оружие, но только до известного пункта, ибо только пролетарское государство имеет право мобилизовать меня с ним вместе. Не считаете ли вы это правильным?

— Безусловно, с пролетарской точки зрения совершенно правильно. Поздравляю вас, доктор. Вы уже доказали и даете мне еще одно лишнее доказательство в том, что, несмотря на свое контрреволюционное происхождение, вы достигли неожиданного усовершенствования в своем сознании... скажем, пролетарском, поздравляю вас, доктор, искренно поздравляю вас, я даже осмеливаюсь предсказать вам большое будущее при НКВД, не слишком много людей вашей науки, которые в состоянии продолжать мелкобуржуазные технические пред-рассудки для защиты Советской родины, как вы. Эти два об"единенные качества дадут вам возможность построить прекрасное будущее. Разве что... разве что какая-нибудь пуля, возможно что на сей раз отравленная, оборвет вашу блестящую карьеру... Все возможно: я не знаю, в силу каких собственно причин вас так сильно ненавидят троцкистские змееныши. Я узнал еще сегодня о том, что они решили кое-что

предпринять против вас, и поспешил сообщить об этом тем, кто должен следить за вашей безопасностью, т.е. здешнему шефу, к несчастью он ничего не сделал или не мог ничего сделать... — Тут он прервал свою речь, "Ничего не смог сделать" — задал он сам себе вопрос глухим голосом. — А пожалуй он тоже"... — и больше он не говорил. Затем он начал молча прогуливаться. Поскольку я не мог выносить его молчания, я спросил его:

— А вы считаете очень серьезной угрозу мне?

— Не хочу скрывать, да, очень серьезная... Как недавно сказал тов. Сталин весь советский аппарат заражен троцкистами, шпионами, саботажниками и преступниками. Кто сообщил, что вы в Париже? Кто следил за вами? Кто использовал первый подходящий момент, чтобы вас ранить? Кроме того, это оружие изготавливаем только мы там, мы очень хорошо знаем, сколько его имеется в употреблении и кому оно выдано, посмотрим уж, каково его происхождение, было бы совсем необычайно, чтобы оно было пущено в ход кем-нибудь, кому оно было бы выдано и кого считали верным человеком. Думаю, что это дело можно было бы провернуть. Посмотрим, что вам скажут в дальнейшем из Центра.

— Значит, — перебил я, — опасность у меня постоянная и большая?

— Пока что да, я не скрываю этого. Но вы должны сотрудничать с нами, чтобы избежать ее: я вас уверяю, что пока я буду вас охранять, вряд ли сможет что-нибудь случиться с вами. Думаю, что вы можете быть спокойным. С другой стороны, я хочу сделать предложение удалиться вам на некоторый срок от места наибольшей опасности. Я должен отвезти вас из Франции, из этого троцкистского гнезда, даже наши союзники из Народного Фронта - этот Блюм, этот Доркуа и много других - близки к Садову, Сухарину и к этой троцкистской сволочи. У них удачное местоположение для действия, им достаточно только, как вот в нашем случае, сохранить вид с вашей стороны, чтобы никто не мог доказать их вину. И даже, если бы вы остались на месте, то, опираясь на расследование дела полицией, они смогли бы предпринять кампанию с целью убедить, что убийство было делом "улицы Гренель". Теперь я ожидаю только прибытия шефа, которого вы видели в Посольстве, чтобы сделать ему это предложение. Его поджидали се-

годня. Надеюсь, что он будет со мной одного мнения насчет нашего путешествия, потому что какая же теперь в вас необходимость в Париже? Сейчас вы не имеете возможности действовать: дело Миллера должно быть отложено до того времени, когда вы поправитесь. С другой стороны, вас надо просветить лучами X, надо извлечь пулю. И все это не должно происходить здесь, ибо даст повод подозревать вас и других также. У меня есть идея, благодаря которой будут разрешены все эти вопросы, я желаю только, чтобы это произошло поскорее.

— Вернуться в Россию? — спросил я почти с радостью, так как мысль увидеть моих пронизала меня сверху до низу.

— Не совсем в Россию, но в результате, почти, почти. — и так он меня и оставил еще в большем сомнении, чем раньше.

Он опять замолчал. Я наблюдал за ним, желая разгадать мысли, кипевшие под этим гладким, красным лбом. Ни одной морщинкой он не выдавал того, о чем думал, но в его мозговых извилинах как бы проскальзывали электрические искры и временами некоторые из них - с голубоватым отблеском - выскальзывали через его магнетические зрачки. Был ли это он тем человеком, который хотел убить меня? Теперь он мучил меня своей иронией и тем не менее очаровывал меня. Я чувствовал себя охваченным вроде как бы кружащим голову нежным неврозом: меня ласково притягивала пропасть, что было по-видимому навеяно сказкой о сиренах. Воспоминание о той ночи "признаний", со всей его фальшивостью вероломного циника, не выходило из моей памяти. Почему он хотел убить меня? Почему он ненавидел меня? Потому, что я не попался в его ловушку?

Мои размышления были прерваны его восклицанием: — Э, довольно уже храпеть — кричал он медику, который лежал в соседней комнате. Я слышал, как тот зашевелился, как за скрипел диван, как он стал зевать, откашливаясь. Затем чилиец приказал ему что-то и вернулся в мою комнату.

— Уже десять часов, — сказал он мне. — Наш человек не возвращается, и я остаюсь без ужина. Я умираю от голода. Если бы он уже вернулся, я мог бы уйти хотя на короткий момент, я послал вашего коллегу, чтобы он раздобыл нам что-нибудь. Но ужинаем здесь же, если вы в состоянии есть, о чем вы должны знать.

Вскоре вернулся медик, и некоторого времени спустя прибыл ужин, который слуга оставил в кабинете. Никто меня в гостинице не видел, я был изолирован среди товарищей из ГПУ, и окружающий мир снова как бы умер для меня. Пододвинули маленький столик к дверям моей комнаты, и я слышал, как они ели, не произнося ни слова. Меня одолел сон, и когда меня разбудили, то уже начинался новый день.

Около моей кровати находилось три человека: Дуваль, разбудивший меня, и два шефа. Номер "первый" - мрачный и нахмуренный, я теперь не заметил в нем ничего от той приподнятости и безграничного оптимизма, который я наблюдал в нем в первый день знакомства, хотя он и пытался говорить ласковым голосом.

— Очень сожалею, товарищ, о покушении на вас, это все равно, что ранение на войне, я уверен, что на это так и посмотрят, и вы будете награждены. Там, ими! Это честь для пролетария быть мишенью для троцкистских пуль, но также важно разгромить банду изменников убийц. Они за это поплатятся. Я знаю, кто это, он произнес эти слова с такой силой, будто бы вонзил в них кинжал.

— Наш товарищ, сумевший почти что догадаться об угрозе, будет охранять вас, не теряя вас из виду ни на один момент, но в настоящий момент надо позаботиться, чтобы ликвидировать последствия ранения. Будьте уверены, что будет сделано все, что находится в человеческих возможностях.

Думаете ли вы, что сможете обождать десять или двенадцать часов, до момента пока вам извлекут пулю без риска осложнения?

Я ответил, что не знаю и что вернее было бы действовать немедленно, но если уж нужно будет обождать, то надо было бы проверить меня рентгеном, чтобы, по крайней мере, хоть знать местонахождение пули. Проснувшись, я ощутил левую часть моей шеи почти что парализованной, оцепеневшей и болезненной.

— В состоянии ли вы сделать маленькое путешествие? Шесть или семь часов со всеми удобствами... В клинику, снабженную всем необходимым и с хорошим врачом... и даже с красивыми медицинскими сестрами. Э, доктор?

Я поразмыслил. Моя пуля должна была находиться где-то в межреберном пространстве. Она не затронула ничего жиз-

ненно-важного. Признаков инфекции не имеется. И путешествие со всеми удобствами в хорошую клинику.

— Да, надеюсь, что смогу его перенести. Но хотел бы получить для путешествия несколько ампул: кофеина и чего-нибудь коагулирующего.

— Вы возьмете мою дорожную аптечку, — предложил медик.

— И так давайте будем действовать — сказал номер "первый". — Вы забинтуете ему лицо, — приказал он медику, — пройдите в соседнее помещение и скажите товарищу, чтобы он ушел незабинтованным, предположим, и чтобы больше сюда не возвращался.

Номер "два" вышел из моей комнаты.

— Вы, товарищ, распорядитесь, чтобы приготовили счет для доктора и уплатите по нему... А! Найдите телефон вне гостиницы и распорядитесь, чтобы амбулансия под"ехала в назначенное место.

Дуваль вышел, сделав прыжок. Я, не понимая загадки, смотрел на этого человека, который походил в данный момент на Наполеона под Аустерлицем. Тем временем медик из ЧК забинтовал мне голову и часть лица, сделав такую маску он оставил меня в покое.

— Если меня должны куда-то повезти, — заявил я, — то было бы кстати переменить мою повязку и хорошо ее приладить.

— Великолепно — согласился щёф, — разумеется путешествие будет быстрым и удобным: вы полетите на аэроплане.

— В Союз?

— В Испанию.

Я растерялся, но больше не стал спрашивать. Шеф вышел в салончик, чтобы там выкурить свою настоящую сигару, тем временем медик приготовил бинты со свойственной ему неуклюжестью и переменял мою перевязку. Движение не было для меня очень болезненным, пульс продолжал биться правильно, по словам этого варвара края раны имели нормальный вид, только левая половина моей грудной клетки была более чувствительной и менее подвижной, чем должна бы была быть. Я ни разу не кашлянул. Все это меня успокоило. Он наложил мне тампон, прижал его бинтом, и я был готов перенести путешествие. Этот убийца, заменявший мне "интересную медицинскую сестру", действующую по моим личным указаниям, продолжал интересоваться мной. Мы закончили все в тот момент, когда открылась настежь про-

межуточная дверь. Вошли два человека в санитарной одежде, держа носилки. Еще один молодой человек в чистом белом халате вошел вслед за ними с самым невинным видом и что-то спросил у шефа. Я слышал, как тот ему ответил: "Нет, это один из товарищей, наибольшая деликатность и внимание, кроме того, он медик". Он и еще один из санитаров взяли меня со всей осторожностью на руки. Я благословил то обстоятельство, что меня называли медиком и товарищем. Меня уложили на носилки, и прежде, чем они двинулись, шеф взял меня сердечно за руку.

— Что-нибудь вам нужно, товарищ? Мужайтесь, еще до ночи вам произведут операцию в наилучших условиях. До скорого свидания, товарищ.

Он пожал мне крепче руку и сам опустил занавеску. Затем я услышал его голос: "Давайте, пошли". Я почувствовал, как меня приподняли, а затем понесли. Двери открывались и закрывались. Затем я услышал голос моей дочери около меня. Было забавно, что я попал в положение, резервированное для Миллера. Уличный шум на короткое мгновение. Меня поднимают, открывается и закрывается у моих ног дверка и авто трогается. Чья-то рука приподняла занавеску. "Как чувствуете себя, доктор?" Это была она, изображавшая со всей пунктуальностью "дочь". Спустя некоторое время она же мне сказала: "Уже прибыли." Машина остановилась. Шум голосов снаружи, затем мы катим бесшумно небольшое расстояние. Опять открываются двери, и вскоре слышится глухое и мощное жужжание, где-то очень близко. Носилки вытаскивают, поднимают еще раз, что-то прикрепляют и оставляют меня в покое. Но жужжание превращается теперь в шквал и гудение великолепных моторов. Слышны гулкие шаги людей, ходящих взад и вперед. Я должен лететь впервые в жизни и чувствую некоторое волнение. Шквал усиливается еще больше, и все начинает двигаться. Снова сотрясение при пробеге авиона на колесах, а затем спокойствие, неподвижность и колоссальный грохот, начинающий становиться монотонным. Поднимают занавесочку, и Дуваль кричит мне:

— Летим, доктор. Мы уже в небе. Да здравствует атмосферное давление!

Я со своей стороны думаю:

— На что ж тогда и существуют X-лучи в Испании!

Голод, шум, слабость, беспокойство нагнали на меня сон... Я потерял ощущение времени.

ХІІІ

МАДРИД

Очень неприятный шум в ушах. Я приподнял занавеску носилок и вытянул свободную руку. Она немедленно подошла, но не успела ничего спросить. Аппарат дал сильную встряску, а вслед затем еще несколько более слабых. Дуваль крикнул мне: "Барселона" и что-то еще, чего я не разобрал, шум моторов, казалось, усилился и стал более ровным, наконец, после встрясок и подпрыгиваний он прекратился. Чувство облегчения стало явно заметным. Но боль в ушах еще не прекращалась.

Это не был конечный пункт нашего путешествия. Для предосторожности попросили по радио присутствовать на аэродроме хирургическую походную команду. Он посоветовался со мной, не нужно ли осмотреть мою рану, поскольку я не чувствовал ничего тревожного, он предпочел продолжить путь до Мадрида, где врачебное вмешательство было бы более надежным. Таково было его распоряжение, и я, по мере возможности, желал его выполнить. "Это часть Испании — сказал он мне текстуально, — представляет собой троцкистское гнездо." Он отошел от меня на несколько минут, по-видимому он сошел с аппарата и вернулся в сопровождении других, говоривших на отвратительном, твердом, небрежном французском языке. Меня понесли на станцию аэропорта. Вытащили с большой осторожностью санитарные носилки, и я почувствовал, что меня несут. Около меня шла группа людей. Когда раздвинули занавески, я увидел себя в маленькой побеленной комнате с обстановкой конторы, с авиационными трофеями и фотографиями и... с портретами Ленина - Сталина, столь мне известными. Надо мной склонялось два человека, по-видимому это были медики. Одни из них взял меня за пульс, другой вложил мне под мышку термометр. Дуваль находился совсем близко и не отрывал от меня глаз. Вошел еще один, по-видимому третий, медик, позади его я разглядел еще одного своеобразного типа: сильного, коренастого плохо выбритого, в чем-то вроде жакета из коричневой кожи, очень короткого и схваченного поясом, с которого свешивались страшные пистолеты, его рвение воина

дополняла папка из черной кожи, заканчивающаяся с передней и задней стороны головы острием с красной советской звездой, его ботинки с толстыми подошвами неприятно скрипели. Он громко говорил Дувалю, уверяя его, по-видимому, о мире в этой области.

Медики нашли мое состояние достаточно нормальным и не считали необходимым срочное хирургическое вмешательство. Можно было, не подвергаясь опасности, обождать еще несколько часов. Они ограничились тем, что осмотрели рану и переменили повязку. После этого я почувствовал себя удобнее.

Я чувствовал себя лучше и, кроме того более удобно. Дуваль попрежнему был занят человеком с пистолетами. Он не обращал на меня никакого внимания и не проявлял заботливости. Я предполагал, но предполагал ошибочно, что как только будет окончен мой осмотр, мы полетим дальше. Меня не беспокоили больше на моих носилках, но я не примечал никаких приготовлений для отлета. Само собой разумеется, что меня охватило нетерпение узнать окончательное суждение относительно моей раны. Иметь внутри себя пулю с не установленным местом нахождения было подобно тому, как если бы я отправился на прогулку с бомбой которая может взорваться в тот момент, когда это меньше всего ожидается. Подталкиваемый своими опасениями я решился спросить Дувалю: но он находился далеко и не услышал меня. Тогда та девушка, по виду такая чужая и отсутствующая, поднялась к Дувалю, перебив человека с пистолетами, тот отступил на несколько шагов, не отрывая ошеломленного взора от русской девушки. Она что-то спросила у Дувалю, а затем сразу же вернулась ко мне и немного нагнувшись сказала мне по-русски, что до шести вечера мы отсюда не вылетим.

Мне предстояло ожидать несколько томительных и докучливых часов. Дуваль даже не взглянул на меня. Я не мог заснуть потому, что этому препятствовало сильное освещение и голос наемного вояки. Девушка, - имя каковой мне до сих пор было неизвестно, и которая до разговора со мной находилась вне поля моего зрения, подошла теперь к окну с намерением просмотреть или прочитать журнал, ею где-то найденный. Теперь я видел ее хорошо и целиком, лежа на носилках, я мог видеть ее в плане снизу вверх, как мы это часто видим в советском кино, где очень злоупотребляют способом опускания

камеры, благодаря этому (не знаю, изучен ли этот эффект) изображению удастся войти в зрителя, создавая в нем бессознательный комплекс подчиненности, ибо приходится смотреть на персонажи и на пейзажи так, как смотрело бы пресмыкающееся, жаба или коленопреклоненный раб, т.е. вполне по-русски. Тем не менее я сказал бы, что в тот момент это было самое лучшее положение для наблюдения за девушкой. Не рассуждая, я считал естественным и правильным наблюдать за ней снизу, как мы смотрим на икону.

Дуваль стоял недалеко от входных дверей и очень оживленно разговаривал с типом с револьверами. Они разговаривали, без сомнения, по-испански. Мой охранитель угостил человека папиросой, которую тот принял с жестом почтительной благодарности, как будто бы его наградили красным знаменем. Хотя он и отказывался садиться, как подчиненный и по уставу, но наконец сделал это в очень почтительной форме. Они увлеклись очень оживленным разговором, из которого я не понял на одного слова, кроме слов "España", "insurgentes", "leales", "tanques", "policia", которые они часто повторяли, ясно было, что они разговаривали о войне. Помимо того, что Дуваль дал человеку закурить, он подпоил его и достаточно сильно. Разговор с каждым разом оживлялся все больше и больше: человек с пистолетами стал беспрестанно колотить себя кулаками в грудь или по столу. Видно было, что он рассказывает о своих геройских подвигах, так как все время повторялся жест, изображавший, будто он стреляет из воображаемого пистолета в своих невидимых врагов, иногда он похлопывал ладонью по кобурам своих револьверов. Теперь уж Дуваль не был импонирующим начальником, как вначале, а увлекшимся слушателем. Два или три раза этот тип подходил к дверям, чтобы дать распоряжение или сделать окрик, неизменно сразу же появлялся другой тип, так же вооруженный и такой же беспокойный, как и он, с новой бутылкой, сигарой и папиросами, кофе (которое пили из стаканов) и другими вещами в этом роде. Он старался все время быть любезным с Дувалем, отдавая ему дань преувеличенного почтения.

Так прошло несколько часов. Мне опять принесли что-то поесть. В шесть часов, когда тип с пистолетами ушел, у Дувала опять появилась ироническая улыбка. Вскоре меня опять поместили в авион с уже заведенными моторами, и мы трону-

лись. Путешествие было очень монотонным, так как я не имел возможности развлечься, глядя в окно. Мне показалось, что уже на втором часу полета уменьшился свет. Она мне сообщила, что мы запоздаем часа на три, так как не имеем возможности лететь по прямой линии, чтобы не лететь над территорией противника или близко от нее, я рассчитал, что мы приземлимся часов в девять. Там уже поджидали нас, чтобы оперировать меня сразу по прибытии.

Когда наступила глубокая ночь, то внутри аппарата не зажегся ни один огонек. Время тянулось для меня долго. Наверное, мы летели на большой высоте, потому что я почувствовал холод на лице и тяжесть в ране. Она поставила мне под мышку термометр, что она проделывала с хронометрической регулярностью каждые полчаса. Меня покрыли великолепным пуховым шелковым одеялом. Когда она записывала температуру, пользуясь маленьким электрическим фонариком, я смог рассмотреть на одном из углов одеяла вышитый герб с соответствующей короной. Я попытался заметить фигуры в его квадратах: львы, полосы, литавры и несколько лилий. Но потом снова сделалась темно, и я не смог ничего разглядеть.

Эта вещь для покрывания навела на меня мысли другого порядка. Она должна была быть революционного происхождения: из"ята. Что-то вроде того, как это происходило в России в 1917 году. Мое воображение по своей прихоти представило передо мной принцессу, которая, лежа в мягком гнездышке своей кровати под теплой лаской гагачьего пуха с гербом, видела разные сны. Что случилось с ней? Никогда она и не подозревала, что это одеяло будет давать свое тепло несчастному доктору Ландовскому, рабу Ежова, "хозяина мира", лежащему с пулей в грудной клетке.

Дуваль несколько раз поинтересовался моим состоянием. Я чувствовал себя лучше, чем утром, но несколько усталым и с головной болью. Под конец начал ощущать неприятную боль в ушах. Стали спускаться. Вскоре почувствовал, что авион приземлился. Меня поспешно вытащили из машины и пронесли мимо кучки людей. Ни одного огонька, только время от времени освещал что-нибудь фокус электрического фонаря. Амбулаторный автомобиль. Спустя мгновение - звук колокола, сильно звонившего через регулярные интервалы: самый неприятный в мире звук. Вскоре остановились, и меня вытащили из ма-

шины. Я услышал вокруг себя торопливые шаги, меня понесли. Занавеска была закрыта, и я ничего не видел. По изменившемуся уровню определил, что поднимались по нескольким ступенькам, затем еще раз по нескольким и завернули налево, через занавески проникал все время усиливающийся свет. Меня поставили на пол и открыли занавески. Дуваль, как всегда, около меня, четверо или шестеро человек в белых халатах и шапках по ритуалу. Один из них любезно спросил меня по-французски, могу ли я стоять на ногах. Потребовалась помощь двух других, чтобы поставить меня около экрана. Быстро просмотрели меня спереди и в профиль. Тот, который говорил со мной раньше, был так любезен, что сообщил мне о том, что пуля находится между двумя связками трапецевидной мышцы. Как было видно, пуля поднялась почти что параллельно с кожей между позвоночником и лопаткой. Если бы пуля имела больший импульс, или же мои околопозвоночные мускулы были более проницаемыми, то она вышла бы через плечо. Хорошее ранение. Нечего опасаться. Хорошее артериальное давление, хороший пульс, хороший цвет, хорошее телосложение, хорошее настроение. Меня понесли в операционную и поместили на чрезвычайно неудобном операционном столе.

Дуваль, находившийся, как всегда, около меня, спросил меня по-русски: "Не перекреститесь ли сейчас, доктор?" Я готов был бы его задушить, но струя этилового хлорида холодит мои усы.

Несомненно день был уже в разгаре, когда я заканчивал борьбу с этилом: его действие прекратилось. Дневной свет освещал соседнюю комнату, часть которой я видел, а в моей был полумрак. Бросив свой первый беспокойный взгляд вокруг себя, я оценил обстановку, как очень хорошую, даже, я бы сказал, роскошную. По-видимому, я находился в первоклассном отеле. Я продолжал лежать молча, раздумывая о своем новом положении. Но я даже не смог сконцентрировать своих мыслей. В соседнем помещении находился Дуваль. Я услышал звук открывшейся и закрывшейся двери. Чилиец встал и исчез из поля моего зрения. Слышен был его разговор с другим лицом. Вскоре я увидел их уже вдвоем. Новое лицо было маленького роста с чрезмерно большим задом, по виду ему было лет пятьдесят или меньше, но его вьющиеся, несколько растрепанные волосы, тронутые сединой, старили его своим серым цветом.

Это был классический тип мирного и приспособившегося торговца еврея. Поэтому я был чрезвычайно удивлен, когда моего слуха ясно достигло приглашение сесть со стороны Дувалья с обращением: "генерал Кельцев", сделанное серьезным тоном, подчеркивающим почтительность с добавлением некоторой церемонности. Свидание длилось несколько минут, и целью его было, по-видимому, только установление контакта.

До меня донеслись отдельные слова без связи, я уловил жест, указывающий на меня, и был сделан какой-то намек в отношении меня, но не знаю, в связи с чем.

Когда Дуваль остался один, я его позвал, я хотел узнать кое-что о себе. Я проявил достаточно покорности, проведя в полном одиночестве первое время после операции, когда меня рвало и мне все время приходилось выплевывать обезболивающее средство. Извлекли из меня пулю? Он появился быстро и предупредил меня, чтобы я не звал его Дувалем в дальнейшем, его новое имя было Габриель, Габриель Бонин. Он успокоил меня насчет моего состояния и подарил мне пулю. Это была хорошенькая штучка из блиндированного свинца девяти миллиметров в диаметре, и была она извлечена, как он рассказал, очень быстро и очень ловко, она не засела очень глубоко, и достаточно было обыкновенного надреза, чтобы пуля перекочевала в карманчик его жилетки.

— Если не будет осложнений, каковые не предвидятся, то через несколько дней можно будет встать с кровати. Медики вполне удовлетворены, поскольку у вас не обнаружилось заражения. Говорят, что славяне имеют кровь медведя.

Эти впечатления я воспринял, как похвалу, хотя до Мадрида мне не было известно, что медведи обладают особенно сильной реактивной способностью против инфекции. Мне было приятно узнать, что для медведя не имеет значения потеря веществ из их левой передней лапы, ибо я чувствовал в своей руке как бы болезненный паралич, будто бы там, в том боку, были раскаленные угли. Я попросил у Дувалья ин"екцию хлорморфия. К счастью через несколько минут вошел медик, и я смог повторить просьбу, которую он сейчас же любезно выполнял.

— Сворачивание крови у вас прошло прекрасно, — сказал он мне, — хотя вы и не медведь.

У меня нет достаточного количества испанских впечатлений, чтобы иметь суждение об этой стране, но одна из ее живучих черт - это энтузиазм в отношении к стопоходящим. Думаю, что если бы им позволили климатические условия, то видом национального спорта у них бы стали "медвежьи бои". Если я не умер от заражения или от кровоизлияния, то мадридские медики приписывали это моему родству с полярными медведями.

Когда доктор ушел, я осмелился спросить у Дуваль о молодой русской девушке.

— Она пойдет туда, — сказал он мне угрюмо — предполагаю, что в вашей квартире, там сбоку.

— Можно ли мне узнать, кто она такая?

— Относительно, доктор, знать о лице, состоящем на службе, всегда является вещью нелегкой, это между нами, представьте себе ее новобранцем, каковым являетесь сейчас и вы, в результате, для вашей ориентировки и для представления ей знайте, что товарищ зовется, говорю, что вы будете ее звать Еленой, Еленой.

При этих словах я услышал шум с другой стороны салончика. "Войдите" — громко сказал Дуваль. Дверь открылась и вошла, так называемая, Елена.

— Кстати, товарищ, я представлял вас доктору, поинтересовавшемуся вашей интересной персональностью. Я не дал себе отчета среди волнений за это время, что вы еще не знакомы, извините...

И с определенно комической торжественностью представил:

— Елена Николаевна Пономаренко — затем, указывая на меня, добавил — доктор Иосиф Максимович Ландовский, вот, товарищи, вы уже и знакомы, надеюсь и желаю, чтобы вы стали очень хорошими друзьями.

Она даже не пошевелила губами, и на ее лице не было заметно ни малейшего признака реакции. Жест ее не выражал ни недовольства, ни презрения, а скорее чрезмерно сосредоточенное внимание. Но получалось впечатление, что то, что обычно отражается на лицах у большинства людей, нельзя было прочесть в ее чертах лица, как будто они были восковыми. В то же время эта непроницаемость для выражения эмоций в ее лице не препятствовали тону, чтобы нельзя было различать

бьющуюся и сверкающую в ней крайнюю жизнеспособность. Должен сказать, что эта женщина, о которой до сих пор я ничего не знал, оказывала на меня редкое, исключительное воздействие.

Обо всем этом, о чем так долго приходится рассказывать, я передумал за несколько секунд, пока длился разговор, правильной сказать, я даже и не думал об этом, а скорее это было воспоминание, уже отчетливо сложившееся у меня, которое вновь воскресло в моей памяти.

Дуваль сделал несколько шагов по направлению алькова и заговорил снова:

— Я считаю необходимым, товарищ, — сказал он, обращаясь к Елене, — раз'яснить тебе несколько предшествовавших событий в отношении доктора и дело, с которым он связан.

— Я думаю, товарищ, что уже пора узнать мне что-нибудь... Я бы могла сделать какую-нибудь ошибку из-за недостатка информации, и тогда мы бы уж посмотрели, кто стал бы отвечать.

— Конечно я, товарищ... что касается кавалера и дамы... кто может сомневаться.

— Товарищ Габриель: моментами мне кажется, что в тебе оживает твоё прошлое буржуазное воспитание, честь, галантность, самопожертвование, наконец, новеллы овладевают твоими мозгами, только так я могу об'яснить себе твою, достойную сожаления забывчивость, твои фальшивые пояснения. К чему теперь эта "дама" и этот "кавалер"... Мы же не на сцене, не на буржуазной сцене для выполнения фарса, который возлагает на нас наша служба. Я так думаю.

— Извини, товарищ, ты вполне права. Я рассеянный человек, достойный сожаления, но смягчающим обстоятельством является мое долгое и специальное пребывание, лучше сказать, мое погружение в удушливое море капиталистической лжи, мое продолжительное и достойное сожаления отсутствие в мире правды, в советском мире, вызывает во мне что-то вроде ослабления памяти, с другой стороны, товарищ, твой наружный вид имеет точное подобие с прекрасной женщиной.

Я, не упускавший ни одного слова из разговора, был поражен. Не была ли Елена тщеславна? Но нет, она сама же меня разочаровала.

— Ну, а кто же я такая? — спросила она с резким ударением. Дуваль сделал вид, будто он смущен и приведен в замешательство.

— Кто ты такая? — повторил он. — Разумеется, женщина - это очевидная истина, но суб"ективная, истина, которая заставила тебя даже подпрыгнуть, когда я высказал эту об"ективную правду, диалектически самое важное то, что... в отношении к делу нашей миссии ты таковой не являешься, тут ты только товарищ, вернее, агент, который должен мне подчиняться, формироваться и учиться, запомни, товарищ, что наряду с этим совсем неважно, женщина ли ты суб"ективно или существо какого-то пола об"ективно. Кстати, не помнишь ли ты моего тезиса, удостоенного премии, который вы должны были изучать в школе, где он постоянно употребляется в качестве образца?

— Не помню...

— Очень жаль, ибо в противном случае мне бы не пришлось читать тебе эту лекцию. Припомни тему, где говорилось о коммунистическом обществе, в котором суб"ективная правда примирится с об"ективной правдой в силу исчезновения противоречий в капиталистическом обществе.

— Теперь да, теперь вспомнила это великолепно. Должна поздравить тебя, товарищ, я считала этот твой тезис, как нечто в высшей степени совершенное в области высшей диалектики...

Теперь, когда Дуваль мог бы торжествовать, он, казалось, совсем не гордился, скорее он казался рассеянным и думающим о другом: водворилось короткое молчание.

— Что ты сказала, товарищ? А, да! диалектическая. но необходимость.

— Диалектическая необходимость

— Да, конечно, диалектическая, это жизненная необходимость борьбы за то, чтобы стать тем, кем ты есть, за такую элементарную вещь, как тебе оставаться женщиной, а мне мужчиной и правда, правда...

— Да — подтвердила она очень серьезно, — необходимо разрушить одним махом мир капиталистических фикций, развращающих все, вплоть до личности, и иметь возможность когда-то закричать о своей личной правде, идентичной с общей, ибо человеческая правда, диалектическая,

свободная от капиталистических противоречий, должна быть только ЕДИНСТВЕННОЙ ПРАВДОЙ.

Дуваль наблюдал за ней с неопределенным жестом и вскоре перебил ее.

— Товарищ, пожалуйста! Здесь же больной, больной, которого очень любит Ежов, а твой разговор, хотя и умный, может причинить вред его здоровью. Не так ли, доктор?

Я отрицательно покачал головой, но Дуваль настоял и они вышли из моей спальни, закрыв за собой стеклянную дверь. Я видел их сидящими в салончике, но не слышал их разговора. Несомненно, что Дуваль давал ей прерванные, было, раз"яснения об этих абстрактных вещах.

Остаток дня прошел без происшествий, доктор приходил наведывать меня три или четыре раза, а сиделка еще чаще. Она кое-что знала по-русски, это была ловкая девушка, я бы сказал даже ослепительная, она не была похожа на испанку или, вернее сказать, похожа только частично в отношении линий, живости движений, чрезмерной порывистости прекрасной испанки, но как будто бы все это было заключено в образ северянки, в частности германской. Ее лицо окаймлялось золотисто-светлыми волосами, что прекрасно гармонировало с ее чисто голубыми глазами, только радужная оболочка отражала в себе надменность "Кармен".

Я немножко злоупотреблял морфином и попросил ее впрыснуть мне еще два других центиграмма. Также попросил я коньяку и для того, чтобы мне его разрешили, нужно было раз"яснить доктору, что небольшое количество калорий не предрасполагает к острому заболеванию печени... Дело в том, что эта девушка воодушевила меня. Мне бы хотелось, чтобы она когда-нибудь прочитала эти мои воспоминания.

Ее русский язык был очень недостаточен, но она понимала почти что все: думаю, что больше по интуиции, чем по знанию языка. Я заметил, что когда она встречалась в моей комнате с Дувалем, то проявляла к нему интерес и ловко пользовалась своей очаровательностью в отношении к моему другу, но также я убедился и в том, что он не увлекался или не хотел увлечься ею. Это ее беспокоило вдвойне. Елена всегда избегала встречи с ней, не знаю почему.

Не знаю, входил ли Дуваль-Бонин в то время, когда я засыпал, но предполагаю, что нет, так как казалось, что он принял решение не выпускать меня из вида.

Ночь тянулась для меня долго, я спал урывками. Дуваль отправился спать на рассвете, предупредив меня, что он будет отдыхать в соседнем помещении, сообщавшемся с моим. Его заменила Елена, которая провела остаток ночи в салончике за чтением, но пунктуально каждый час она заглядывала ко мне, чтобы убедиться, не чувствую ли я чего-нибудь нового или не желаю ли чего-нибудь.

Ночью царила почти что полная тишина, за исключением какого-то отдаленного шума, слышавшегося в некоторые моменты. Елена мне об"яснила, что он исходил из окопов, вырытых в окрестностях Мадрида, я также различал отдельные более близкие выстрелы, патрули лояльных охотились за фашистами, проявившими активность внутри города при приближении повстанцев. При благоприятном ветре до меня вполне отчетливо долетали порывами раскаты взрывов с фронта. Можно было ясно различить пулеметы, бомбы и ружейные выстрелы.

Девушка не проявляла ни малейшего страха от этого неспокойного и неприятного соседства. Когда воздух в комнате сделался таким тяжелым, что я попросил проветрить его немного, то она открыла окно, предварительно потушив огни. Мне показалось, что огоньки из окопов сверкали не дальше, чем на расстоянии ста метров. Глубокой ночью я слышал свист снарядов, явно пролетавших через наши головы, Я обратил внимание на устрашающую отчетливость пушечной пальбы и взрыва гранат, удлиняющуюся эхом разрушений. Бомбардировали город. Пользуясь своим пульсом вместо часов, я подсчитал, сколько времени проходило между выстрелом и взрывами. Двадцать секунд. Эти пушки находились на расстоянии шести километров по четыре орудия в батарее. Артиллерийский огонь противника был сильный, но мало действительный, поскольку я мог судить только по затихающему шуму, производимому каждый раз четырьмя орудиями. Меня увлекло это несложное изучение процесса борьбы. Иногда пулемет давал регулярные ритмические музыкальные очереди, бойцы развлекались.

Когда я проснулся, боли утихли благодаря морфину, умиротворенный, в компании приятной девушки, с мыслями, рассеивавшимися войной, которую я мог воспринимать и проверять слухом, удобно укрытый одеялом, я всегда вспоминаю те ночи, как счастливое время, целых семь дней, проведенных под аккомпанемент стрельбы.

Хотя я и не имел продолжительного разговора с хирургом, который произвел мне операцию, (мне было сказано, чтобы я избегал разговоров), я прекрасно видел, что я попал в руки специалиста первого ранга. Твердость его руки и определенность его распоряжений, его пронизательный и спокойный взгляд говорили каждому профану о его мастерстве и его ценности. Это был человек...

Дуваль информировал меня, что я имею дело с знаменитым испанским военным медиком. Он определенно симпатизировал повстанцам, но ему спасла жизнь его определенная слава хирурга. Он был под хорошим надзором, чуть ли не пленником, и оказывал услуги в этом госпитале для "избранных", куда прежде всего доставлялись немногие русские, получившие ранения, а затем уже тяжело раненные люди других национальностей, в течение дня прибывало около двухсот раненных, но та часть здания, где помещался я, была вне санитарного трафика. Я позволил себе задать один вопрос Дувалю:

— Вы говорите, что мой доктор мятежник, т.е. антикоммунист. Как же наши начальники находят возможным передавать в его руки жизнь наших людей?

— Ну так что же?

— Я не узнаю вас. Вы свидетель, имевший исключительные возможности видеть, что может сделать медик... и тем более при производстве операций: небольшое уклонения инструмента в сторону, невидимая инфекция, тысячи вещей - кроме этих, могут служить ему верным оружием против врага, падающего под удар.

— Безусловно такая возможность есть, этого нельзя отрицать, но вы забываете один фактор, действующий на нашу пользу и более действительный, чем весь наш надзор и вся наша угроза: буржуазная мораль, религиозная, если вы хотите и если мы будем выражаться по западной терминологии. Его мораль запрещает этому медику убивать раненного врага, лежащего в кровати. Имеется более приметный парадокс: бур-

жуазная мораль более строга в отношении социально-отличных. И таким образом она связывает ноги и руки именно тех, которые должны были бы ее защищать.

Чилиец неопределенно улыбался, так же, как это было в некоторые моменты той ночи "признаний" в Париже. Затем он стал продолжать:

— После всего этого дело уже легкое. На общество, воспитанное в буржуазной морали, мы налагаем марксистскую мораль, и дело закончено. Марксистская мораль есть искусство наносить удар ножом. Буржуазная мораль - есть искусство вытягивать шею. В страшной борьбе мяса против стали, кто должен победить, доктор? Как вы думаете?

Он улыбнулся по поводу своего собственного красноречия, и не дожидаясь моего ответа, стал говорить дальше:

— Иногда бывает, что старый нож ломается о шею молодого и крепкого быка. Но знаете что? У нас ножи новые и наилучшего качества, а что касается буржуазной морали на практике, то это такой невежественный комплекс лицемерия, цинизма и рутины, что они совершенно не напоминают собой быков, а скорее улиток.

— Следовательно, медик,

— Медик работает для нас, очень просто. Его личная и профессиональная мораль является нашей невольной союзницей, союзницей его врагов, А разве вы не работаете тоже для нас?

— Скажите искренно, Дуваль, или Бонин, или как хотите, вас не восхищала никогда мораль этих людей?

— Пожалуй, что и да. Я восхищаюсь всем нелогичным. Этот человек сердцем с теми, которые сражаются, чтобы войти в Мадрид, с фашистами, я уверен, что он вздрагивает при каждом шуме, при каждом слухе, думая, что это прибывают уже его сторонники. Пожалуй, он и молится за свое освобождение. Но придет оно или нет, он здесь, пока что спасает жизни тем, которые завтра пойдут убивать его единомышленников, он со своей стороны делает все, чтобы обеспечить нашу победу, победу, которая наверняка повлечет за собой его собственную смерть. Меня приводит в энтузиазм отсутствие логики в этом случае. Мысль о самоубийстве так далека от них, что приводит нас в восхищение.

— Очевидно, очевидно, — подзадорил я его.

— Ясно, что чрезмерный восторг, получающийся в результате логики, несколько опасен — улыбнулся он злобно, — недавно авиация повстанцев сбила наш авион, и он упал сразу же за нашими линиями, лояльные, понятно, стреляли в пилота, когда он спускался на парашюте. Они стреляют довольно плохо и не убили его.

Он попал живым в их руки, к несчастью он был блондин, высокий, атлетического сложения и, кроме этого, говорил на языке, которого они не понимали,

Они решили, что такой человек может быть только немцем. Они стали его избивать, сдирать кожу и вырывать пучки волос. Кто-то более просвещенный вступился за него предлагая отправить в главную квартиру для опроса на случай получения от него интересующих их сведений. Так и сделали. Его повезли в автомобиле, ибо человек уже почти что не имел признаков жизни. Знаете ли, кто это был? В главной квартире он был узнан нашими связными офицерами. Это был генерал... какое у него теперь имя? А, да. Генерал Сергей Тарков, здешний шеф нашей авиации. Он имел семь прострелов в области живота, летал в Абиссинию и спасся от итальянцев, здесь пал вследствие чрезмерной логики у лояльных, — он сделал передышку, чтобы узнать мое мнение.

— Да — сказал я, — в самом деле излишек.

— Это был очень высокого роста атлет, я его знал, как страстного любителя спорта и силача, в действительности он интересовался только этим, его необыкновенное телосложение позволило ему остаться в живых и попасть сюда, ну и вот этот самый медик, который видел здесь этого высокого русского начальника здоровым и хорошо знал, кем тот был, проделал с ним чудесное лечение, так что он с семью прострелами кишечника и одним двенадцатиперстной кишки, жил еще семнадцать дней... С подобной моралью - наша победа несомненна...

Дуваль встал, он был в очень нервном состоянии, как бы негодуя на кого-то, и сильно курил. Я ответил утвердительным жестом на его последнее заключение. В самом деле, это неразумная мораль — подумал я — это нелепость, за которую стоит жить и умереть... О, если бы землей управляла, исключительно диалектика силы... то вселенная не существовала бы уже. Она

бы даже, пожалуй, и не родилась, сразу же бы разрушилась... Ну, а я? Эгоист, утилитарист малодушный.

Я себя ненавижу.

В последнее время зачастили с визитами супруги Кельнеры, как они называли себя. Некоторая неосторожность, проявленная ими в разговоре, указывала на то, что это имя фальшивое, я сам за собой замечал подобную рассеянность. Коли, так называемый, генерал Кельцов был обыкновенный тип, то его жена совсем наоборот обладала ярко выраженной персональностью, которую она и выявляла. Динамичная, живая, изобретательная и быстрая, она пыталась словами и жестами навязать свою волю. Почти что всегда она была одета в мужской костюм, но носила его с исключительной женственной утонченностью. Предпочитала темные цвета, главным образом, синий, брюки были длинные и выше косточки были прихвачены достаточно высокими сапожками, из которых были видны отвернутые шерстяные носки, общий вид был изящный. Супруги проявляли ко мне все нарастающее внимание. Она проводила большую часть дня на фронте под предлогом пропаганды. На самом деле, я думаю, что ее официальной миссией был шпионаж. Она ни на один момент не оставляла свой великолепный фотографический аппарат, она показала мне большое количество снимков, сделанных ею: все сценки из военной и революционной жизни. Из них можно было почти что составить фильм о гражданской войне в Испании. Министры, братающиеся с солдатами, женские батальоны, поселения и холмы, захваченные лояльными войсками, фашисты, повешенные на деревьях. Без этих последних деталей все имело вид прямо-таки праздничный. Испанские революционеры, как в свое время русские, проявляли решительную склонность к церковным делам, к священным одеждам и украшениям, к литургическим церемониям, но также наблюдалась странная и порочная любовь к мертвецам: они выкапывали трупы и общались с ними, заставляя их пить, обнимая их, устанавливая в смешных позах. Не знаю, выкапывали ли в Венгрии столько мертвецов, сколько в Испании. Я мог наблюдать, что они не обращали внимания на скелеты, но забавлялись исключительно с мумиями или теми, у которых еще сохранились куски мягких частей, умершими, возможно, недавно или же набальзамированными.

Дуваль тоже очень интересовался этими фотографиями. Его обращение с еврейской четой (ее красота имела типичнейшие расовые признаки) было утонченно вежливым, он часто преподносил генеральше цветы. Она всегда очень благодарила его, хотя цветы не соответствовали ее шикарному мужскому, почти что военному костюму. При ее сорока годах, на которые она выглядела, несмотря на старания скрыть это, молодость чилийца должна была волновать ее, как женщину. Она показала моему другу, как надо управлять аппаратом, он проявил поразительную неуклюжесть. Однажды, желая попрактиковаться, он сделал с супругов несколько снимков в различных позах и меняя места. Мне показалось, что он манипулирует, охраняясь ножками моей кровати якобы для закладки нового ролика с пленками. Затем он предоставил им возможность сфотографировать его самого. Весело выпивали и распрощались, как лучшие в мире друзья.

Когда супруги ушли, он поразил меня, дав мне категорический приказ:

— Осторожнее с Кельцовыми, это два опаснейших троцкиста, не принимайте от них ничего съестного или для питья, сохраняйте величайшую скрытность в наших делах, вы сможете из-за этого потерять жизнь.

Спустя немного времени, я увидел его орудующим с другим фотографическим аппаратом в полуоборот и спиной ко мне.

Чтобы кое-что разузнать, я спросил его, нельзя ли мне сфотографироваться и послать фото своей семье? Он ничего не ответил на мою просьбу.

— Это аппарат Кельцовой? — продолжал я смело настаивать..

— Кельцовы не должны знать, что у меня есть аппарат. Понимаете? Не должны знать этого. Будьте осторожны.

Я обещал ему это, не догадываясь в чем тут было дело.

На следующий день, когда Дуваль спросил у Кельцовых свое фото, они сказали, что весь ролик целиком завуалирован, они шутили над ним, как над ловким фотографом. Они не приходили больше, и я их больше не видел.

Спустя несколько дней, когда я мог уже подниматься без посторонней помощи, я спросил об их местонахождении. "Наверное, они сейчас в Москве", ответил Дуваль. Если кто-

нибудь спросит вас о них, то вы должны рассказать то, чему были свидетелем, со всей точностью и больше ничего". Я захотел узнать, чему же это я был свидетелем, так как ничего особенного я не запомнил, и он ответил, что я должен буду рассказать о всем, что имело отношение к Кельцовым: их визиты, его разговоры, его вопросы и, сверх того, сцена фотографирования.

— Должен я также сказать, что вы подменили ролик в аппарате?

— Я не думал, что вы сделали такие успехи в профессии, — комментировал он со своей знаменитой иронией. — Видели меня? Значит, да, вы должны сказать все, что видели. Не ожидайте от меня указания о том, чтобы вы что-нибудь замалчивали перед начальниками, ни об этом, ни о чем другом... Перед ними можете говорить о всем, о чем хотите, в отношении других и в отношении меня самого...

Он повернулся ко мне спиной, оставив меня еще раз в замешательстве.

ЖИВОПИСНЫЕ ИСПАНСКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

Однажды утром было об"явлено по телефону о визите весьма странной человеческой группы. Сейчас я не помню, каким громким официальным названием именovala себя эта организация, которая заявила о своем появлении. Если моя память мне не изменяет, дело шло об организации Политического Контроля при госпитале. Дуваль пытался воспрепятствовать по телефону этому утомительному посещению. Прибегнул к русскому командованию, но в этот самый момент в здании были только одни бойцы из посольского отдела, прикрытого тогда наименованием Пропагандной секции, шеф которой генерал Кельцов был в от"езде, а его подчиненный, принявший временно на себя ответственность, отсутствовал.

И таким образом в тот момент не нашлось лица, могучего воспрепятствовать этому посещению. Не оставалось другого выхода, как согласиться на визит.

— Вы будете, как глухонемой, — предупредил меня Дуваль.

Прошло только несколько минут, как уже постучали в дверь. Они вошли по получении разрешения, и нашим глазам представились самые необыкновенные типы какие только можно было себе вообразить. Их было пятеро, четверо мужчин и одна женщина. Двое из них были в одежде санитаров и притом не первой чистоты. Один из них, лет сорока, высокий и худой, носил в добавление к своей простой блузе необыкновенный пистолет и отзывался на имя из двух букв "П П" (пэпэ), предполагаю, что по своему капризу он пожелал назвать себя своими инициалами. Другой был молодой, с определенным изяществом, он считал себя красавцем, а в действительности имел вид великолепного идиота, на нем не было видно никакого оружия. Третьего, судя по характеру одежды - повара или еще чего-то в этом роде, каждый посредственный френолог определил бы как великолепный экземпляр соответственного типа: впалый лоб, глаза размером меньше отверстий носовых ноздрей и отстоящие друг от друга на таком же расстоянии, кожа влажная и грязная с дурным запахом, кривоногий, в зу-

бах держал маленькую деревянную зубочистку, которую беспрестанно грыз и обсасывал, под его одеждой угадывались скрытые подозрительные предметы: оружие или продукты, или и то и другое вместе. Мужскую группу дополнял четвертый вульгарный тип, маленький, толстый с густыми, но коротко под ежика остриженными волосами, плохо выбритый, страдавший заболеванием лицевого нерва и с большим количеством перхоти на плечах. Она - была почти что молодая женщина, высокая, крепкая и недурного вида, хотя и вульгарная, тип служанки в ослепительно чистом халате сиделки.

Почти что все сразу начали говорить с Дувалем. Я понимал очень мало слов. Потом овладел разговором человек с перхотью. Так как конференция грозила затянуться, Дуваль сел и остальные также. Одному не хватило стула, и он взобрался на столик. Они были заняты мной и, по-видимому, у них не было согласия. Меня удивило, как мог выносить их Дуваль: он предложил им выпить несколько рюмок коньяка и обдарил их английскими папиросами, которые они курили, неуклюже стараясь подражать манерам моего друга, не теряя при этом вида своего достоинства и важности. При помощи рюмок и папирос дело смягчилось, они явно оживились и время от времени разражались смехом. Они разговаривали, перебрасываясь словами, как будто бы рассказывали обыкновенные вещи, забыв о вежливости и утратив свой вид величия, человек с патологическим черепом показал Дувалю засаленный картон, который он затем передал с торжествующей улыбкой мне: это была фотография маленьких размеров, хотя она была и помятая, но он был виден на ней вполне отчетливо с огромным ножом мясника в правой руке и человеческой головой в левой, туловище человека, которому, по-видимому, принадлежала эта голова, лежало на земле, почти что оголенное с остатками рубашки или пижамы. Вокруг виднелась толпа, бряцающая оружием, в странных нарядах, с фигурами на первом плане, принявшими самые комично-кошмарные позы, какие можно было только себе представить.

Человек занялся раз'яснением фотографии, дополняя его повышением голоса и акцентируя по слогам, учитывая мои недостаточные познания по языку. Обезглавленный был фашистский генерал. Экзекутор - был он сам. Он совершил подвиг вот этими самыми руками пролетария, которые он разре-

шил мне осмотреть и заставил пощупать, и если бы не определенные причины, то эти руки прикончили бы фашизм в короткий промежуток времени, применяя эту же самую технику. Кажется, что "определенные причины" сводились к необыкновенной боязливости буржуев, составляющих часть "Народного фронта".

Так как этот герой не обнаружил на моем лице энтузиазма, который он надеялся вызвать, то он должен был смело заключить, что я, помимо того, что не понимал по-испански, да еще разговора громким голосом, был еще и чем-то вроде идиота. Тут сострадательно пришел на помощь его товарищ с перхотью, говоря мне латинскими словами. Сначала он меня дезориентировал, заявив, что он также, как и ТОВАРИЧ Сталин, был слугой Бога. В дальнейшем я понял, что он также, как и Сталин, был семинаристом. Подбодренный моими *utique*, он сказал мне, что его теологические познания позволяют ему сделать заключение без всякого рода сомнений, что ТОВАРИЧ Иисус Христос не был анархистом, как думают об этом некоторые неучи, наоборот, если бы он жил в наши дни, то он работал бы для III-го Интернационала, как испытанный сталинист. Иисуса Христа убила кучка иудеев. Что касается его самого, раба Божьего, то он всюду ходит в сопровождении этого товарища (девушки), что доказывает, что он с большим уважением относится к полу, - чем кастраты-священники буржуазной религии.

Этот красочный тип был очень забавен, так как при нехватке латинских слов, он пытался жестиковать на латинский манер, подражая манерам духовенства.

Его друзья слушали его с приметным уважением, пока не почувствовали скуку и, повернувшись к нам спиной, начали разговаривать и чуть ли не петь вокруг Дуваля. Их желанием было, по-видимому, обращаться как с равными с нами русскими большевиками, покрытыми ореолом, перед которыми они старались выявить себя нестигаемыми революционерами.

В конце концов они ушли очень довольные, с об"ятиями и весьма странным приветствием: поднимали сжатый кулак над головой, как бы поднимая булаву. Было очень странно видеть их выходящими с этим угрожающим жестом и в то же время улыбающимися и даже смеющимися.

Когда, они ушли, Дуваль в четырех словах раз"яснил мне происшедшее. Это была комиссия, управляющая зданием, бывшим раньше большим отелем, а теперь ставшим наполовину госпиталем и наполовину квартирой и центром русского командования, хотя и достаточно закамуфлированного. Ее полномочия начались с первых дней революции и еще продолжались в административной области, ее вмешательство доходило и до врачебного обслуживания госпиталя, потому что по закону знаменитые врачи, служившие здесь, находились под их контролем. Нечто непонятное для нас, как привыкших к совершенно другим советским порядкам. Дуваль не совсем ясно понял причину их посещения: дело касалось распоряжения неизвестных нам профсоюзных организация и регламента, составленного ими для дома, все это, кажется, было нарушено нами по нескольким (не знаю скольким) пунктам. Но все это столь важное послужило темой для разговоров только в первые несколько минут, остальное время прошло в рассказах о героических поступках. Человек, "похожий на Сталина", семинарист, угрожал вернуться ко мне еще раз с визитом, желая рассеять мои часы скуки, как больного, своей латынью, что было его пролетарским долгом.

-----ooooooooOooooOoooo-----

Я сидел, удобно расположившись в кресле, и читал французскую книгу, которую любезно получил от "семинариста" из "Контрольной комиссии". Это была книжка английского автора против испанской инквизиции. Дуваль нервно прогуливался по комнате. Его, несомненно, тяготило заточение. Затрещал телефон и он моментально подошел к нему. Разговор длился всего лишь несколько минут, причем он ответил только парой односложных слов. Он повесил трубку и сразу же подошел ко мне, раз"яснив, что нас сию минуту посетит одна важная особа. Он не знает, по какому поводу явится визитер, ибо он желает видеть нас обоих, он успел еще напомнить мне, чтобы я был воздержан в словах. Он будет становиться ко мне в профиль и постарается этим указать мне те случаи когда я должен буду отвечать утвердительно, если мне будут задаваться

конкретные вопросы. Без его указания я ни в коем случае не должен этого делать.

Все это он сказал мне очень торопливо, но так твердо и уверенно, что мне и в голову не пришло послушаться.

Без предварительного стука повернулась ручка двери и вошла особа, о которой мы были извещены немного раньше. В этом не было никакого сомнения. Только он, как имеющий власть, мог зайти с такой дерзкой уверенностью. Это был высокий человек, ростом в 1,85 метра, если не больше, на вид он имел лет пятьдесят, лицо было продолговатое, нос прямой и заостренный, выдающийся над верхней губой, черты лица были энергичные и хотя непропорциональные, но не плохие, большой лоб был увенчан густыми, хорошо причесанными волосами с сединой на висках, что придавало некоторую величественность верхней части его лица, беспокойное впечатление производили его глаза темно-зеленого цвета и тонкий, подвижной рот, он говорил, почти что не раскрывая губ, как бы оттачивал слова, которые, тем не менее, произносил тембром голоса необыкновенно приятным, с мягким металлическим оттенком. Одет он был в темный костюм. Впечатление, которое производил этот человек, было двойственное: его можно было охарактеризовать следующими словами: исключительная талантливость, жестокость, амбиция и чувственность, уточняя еще, - властность и садизм. Они поздоровались в середине комнаты с необычайной корректностью. Я хорошо наблюдал за ними, но не смог проследить, как они друг на друга посмотрели. Затем они направились в ту часть комнаты где сидел я, при этом Дуваль постарался стать в соответствующее положение. Он представил меня, и мы протянули друг другу руки, рука у него была холодная и сухая. Он уселся почти что на середине дивана, положив руку на подлокотник, он скрестил ноги в косом направлении и занял почти что весь диван, как будто бы это почетное место предназначалось только для него одного. Дуваль уселся визави него на низкое кресло, повернувшись ко мне своей левой стороной, и сразу же предложил гостю папиросы.

Разговор был беспредметный. Визитер интересовался моим состоянием: обращаясь ко мне, он на минутку запнулся, как бы припоминая мое имя, которое, несмотря на это, он делал вид будто знал.

— Доктор?

— Зелинский, — подсказал я.

— Зелинский — повторил он неуверенно, — да, это так, Зелинский, я спутал с Ландовским, или...

— Со мной произошло то же самое — сказал я, не подумав, затем я бросил молниеносный взгляд на Дувалю. Повидимому я впал в серьезную ошибку.

— Да, перемена имени требует сложной памяти. Остальные запоминают наше имя раньше, чем мы сами. Мое — Килинов — мне кажется тоже несколько широким. — Это он сказал со снисходительной улыбкой, выражающей удовлетворение. Я был очень смущен его любезностью, с одной стороны и недовольством Дувалю — с другой.

— Генерал — раз"яснил мой друг, — я не называл настоящего имени доктора, у меня есть точные приказания. Если вы это знали, а он по рассеянности подтвердил это, то я снимаю с себя всякую ответственность. Надеюсь, что инцидент останется между нами тремя.

— Я думаю так же, товарищ, великолепно понимаю, доктор Зелинский является лицом, которое мы должны охранять со всей тщательностью, он должен тоже и сам беречься, ясно. Что касается меня, то я выехал из Барселоны при получении первого же известия из Центра, я уже осведомлен об инциденте с этой глупой Контрольной Комиссией, бывшей здесь на днях, больше это не повторится, я дал распоряжение, нельзя не обращать на нее внимания, уклониться от нее обозначало бы предать дело гласности, а вы уже знаете о распоряжениях, полученных нами в отношении нашего вмешательства здесь, все должно проводиться через посредство тех, кто нам подчиняется в Правительстве и в военном командовании, это и создает иногда положения, когда к начальникам надо применить акт насилия. Нужно еще немного потерпеть.

— Да, я был осведомлен об инструкциях, не зная их, я бы сразу впутался, в неприятность с этим дурацким патрулем.

Генерал Килинов зажег папироску и моментально переменял свой тон и манеру держать себя.

— Что вы знаете о Кольцове? — спросил он, обращаясь к Дувалю.

— Ничего, я узнал об его отъезде только два дня спустя, предполагаю, что он находится где-нибудь в другом месте фронта. Он даже не попрощался, ни он, ни его жена.

— Я думал, что вам известно о его поездке в Москву.

— Как? С тех пор, как я нахожусь здесь, мне ничего неизвестно. Я ни на минуточку не оставляю доктора.

— Итак, вы наверное также не знаете автора покушения на доктора Зелинского?

— Где? Как? Но, возможно ли это?

— Абсолютно точно, он сознался.

— Что же это? — спросил я, не удержавшись. Но Килинов не обратил на меня внимания и даже не посмотрел на меня.

— Не знаете? — спросил он у Дуваль, глядя на него в упор.

— Откуда же я могу знать? Мы выехали из Парижа на следующий же день, я даже не имел времени ознакомиться со всеми деталями, хотя технику дела мы разгадали, поймали на "удочку", не так ли?

— Да, правильно.

— Ну и дальше что?

— Вам знаком автор, он находится очень близко от вас, уверяю вас.

— Возможно ли это?

— Вполне, это...

Диалог был обрывистый и проводился холодным тоном.

Отчеканивая свои слова, Дуваль спросил:

— Кто-либо из охраны доктора?

— Нет, вы уже знаете, что действовала женщина.

— Я имею ввиду организатора.

— Нет, никто из подчиненных, это был заместитель шефа в Париже.

— Тот, который в этот момент был шефом?

— Он самый.

— Поразительно! — воскликнул Дуваль, в его тоне я заметил неискренность.

— Да, поразительно... Никто не мог бы заподозрить, что товарищ с его биографией, с его революционными порывами и его качествами был бы способен выродиться в троцкиста. Хорошенькое открытие!

— Я удручен, поверьте мне, генерал... А женщина, его со-
участница?

— Ее не нашли, он дал ее имя и адрес, но или он соврал,
или она успела бежать. Не нашли даже и следов.

— Очень жаль! Женщин не имеется в изобилии, и, устра-
нивши ее, мы бы лишили негодяя-троцкиста очень ценной
помощницы. Как вы думаете, генерал?

Они обсуждали мотивы, по которым могли действовать
против меня троцкисты

Они приписали мне столько значения, что сперва я был
удивлен, а потом, сам себе задав вопрос, не был ли уж и в са-
мом деле я гораздо более достойным внимания, чем я сам о
себе думал. Но их слова явно противоречили их намерениям в
отношении моей персоны.

В дальнейшем я сообразил, что как генерал Килинов, так
и Дуваль, пытались обмануть друг друга, но это, разумеется,
им не удалось.

Генерал вскоре уклонился в сторону абсурдных гипотез:

— Дело троцкистов... А почему не белых??

— Троцкизм и белогвардейцы, что это дает? В конце кон-
цов, разве это не одно и то же?

— Не путайте "белых" с "бланкистами".

— Я имел в виду "белых".

— Эти да, они имеют явную связь между собой. Я заме-
тил, что он сказал это совсем неубедительно, а, несомненно,
согласуя с официальным тезисом.

Когда разговор дошел до этого пункта, Дуваль попытался
прекратить его и предложил выпить вермут. Предложение бы-
ло принято, я воздержался, и они пили сами. Я обратил вни-
мание на то, что на лице Дуваля отражались некоторые при-
знаки удовлетворения или, вернее, ослабления напряжения.
Но несколько слов, произнесенных Килиновым, опять встре-
вожили его:

— По сведениям, имеющимся у меня, с вами прибыла
еще третья особа, которую я не знаю... Я надеюсь, что вы не
будете иметь ничего против того, чтобы мне ее представить,
ведь я же являюсь ответственным за безопасность всех вас.

— Ничего против не имею, генерал!... Это то, чего не дос-
тавало.

Дуваль направился к двери, слегка постучал, и вскоре появилась Елена.

Я не мог уточнить в деталях, в чем заключалась ее изысканность, но, право, она мне показалась сверкающей. Она произвела такое впечатление не только на меня одного, вопреки социальным нормам советских заправил, он встал, явно пораженный. Надо думать, что он был хорошим "экспертом" в отношении женщин, ибо прежде чем перемолвиться парой слов с Еленой, он окинул ее с ног до головы взглядом, как бы мысленно раздевая ее. Она продолжала стоять, не устранившись, как будто генерал смотрел не на нее, а на кого-то другого. Дуваль представил:

— Елена Николаевна Пономаренко из Заграничного Отдела. Генерал Килинов, шеф... шеф всего этого.

— Русская? — ограничился одним вопросом генерал, явно пораженный.

Елена подтвердила простым движением головы, а затем дал раз'яснения Дуваль

— Русская, советская поданная, "красное знамя", пользуется предпочтением в Отделе и любимый агент Ежова.

— Товарищ, не кажется ли тебе, что ты преувеличиваешь?

— О нет, товарищ, я говорю об этом потому, что генерал не знаком с твоей особой... Несомненно, что в полученных здесь приказах не было упомянуто о тебе, поскольку, как ты знаешь, твое путешествие было решено в последний момент. Я не считаю поэтому, что я что-либо преувеличиваю, ставя в известность шефа о том, кто ты такая, ибо Москва не близко и не всегда легко с ней снестись в случае необходимости принять какие-нибудь решения относительно тебя.

— Я очень вам благодарен, товарищ, я и в самом деле не имел специальных сведений.

— Но вам известно, что вы должны протезировать мне и тем, кто меня сопровождает... не так ли?

— В точности, товарищ.

— Нужно ли, чтобы Центр повторил или уточнил свои распоряжения?

— Нет, нет, разумеется, — закончил диалог генерал, и, переменив разговор, предложил всем выпить. Я и Елена отка-

зались, они вышли вместе с Дувалем и генерал очень корректно распрощался.

— Как он тебе показался? — спросил Дуваль у Елены.

— Кто?

— Ясно, что генерал.

— Ничего не могу сказать.

— Ты его не знаешь?

— Абсолютно не знаю.

— Ну, а я верно не ошибусь, если посоветую тебе быть с ним осторожной.

— В каком смысле?

— В смысле личном. На расстоянии тысяч верст от Москвы эти товарищи военные чувствуют себя несколько независимыми, пользуясь определенной безнаказанностью...

— На что это ты намекаешь?

— Нет надобности намекать... Разве тебе не было видно, что ты произвела на него сильное впечатление?

— Хорошо... и что из этого?

— Очень просто: мы в Испании, где происходит гражданская война и постоянный хаос, в отношении Килинова ходят определенные слухи, рисующие его полу-Дон Жуаном, полусадистом... Если они верны, то внимание:... Здесь для всего найдется средство, освобождающее от ответственности. т.е. можно приписать все лицам, не состоящим под контролем.

— Кто же это?

— Официально это троцкисты, анархисты, фашисты и закамуфлированное духовенство... Они здесь существуют и в большом количестве. Они стремятся воспользоваться войной и революцией на свой счет: но не все то, что случается из того, что не должно случаться, является делом их рук... Во всяком случае я должен был тебя предупредить и ты предупреждена. А если ты не понимаешь или не хочешь понимать, то тебе запрещается выходить отсюда.

— Это приказ?

— Да, приказ, который должен выполняться, начиная с этого момента,

— Значит, я арестована?

— Нет, ты остаешься сторожем доктору и самой себе.

Она, даже не простившись, ушла опять в свою комнату, закрыв за собой дверь. Когда мы остались вдвоем, то я ожидал

получить нагоняй, по вопросу о моем имени. Но он ничего мне не сказал, налил себе еще одну рюмку и выпил ее, повернувшись ко мне спиной, он потирал себе руки и, отойдя от меня засвистел на мотив из "Хора героев" из оперы "Трубадур". Что с ним происходило? Вскоре принесли обед. Мы обедали втроем. Дуваль ел с большим аппетитом, но продолжал хранить молчание. Он даже не поинтересовался взрывом гранаты, происшедшим где-то очень близко. Он пил кофе и курил, полулежа на диване. Мысли его были где-то далеко и казалось, что он спит с открытыми глазами.

Он встал с дивана только с наступлением вечера, по-видимому он был одурманен никотином, кофе и коньяком, но этого нельзя было в нем приметить: только глаза его блестели странным блеском. Прежде, чем уходить, он позвал Елену: она быстро появилась на зов, и он обратился к нам обоим:

— Я должен сейчас же уходить и оставляю вас одних, я дал конкретные распоряжения о том, чтобы за время моего ОТСУТСТВИЯ никто к вам не приходил, ясно, что вы также не должны возыметь намерение куда-либо выходить. Понятно?

Она обещала исполнить распоряжение. Он одел габардиновое пальто и хорошо подтянулся поясом, затем он вытащил из подмышки левой руки пистолет, внимательно его проверил, вытащил обойму, испробовал пружину и засунул ее опять назад, вложивши в углубление для пороха патрон. Он спрятал снова пистолет и вышел.

Я остался один и почувствовал себя свободным. Желая воспользоваться этим, я встал и подошел к окну. До этого момента я мог только мельком наблюдать панораму, открывавшуюся из окна. Теперь я мог доставить себе удовольствие оценить великолепную перспективу. Окно выходило на большую площадь, получившуюся в результате расширения большой авениды, идущей параллельно фасаду здания, в центре находился огромный бассейн с Нептуном, держащим в руке классический трезубец, напротив - большой отель с наименованием "РИЦ", выведенным большими буквами на крыше здания. Масса деревьев в то время стоявших без листьев, окаймляли центральную артерию авениды, визави отеля, немного влево - монолит, еще дальше классический портик здания с колоннами. Движение небольшое: несколько легковых автомобилей и грузовиков, по-видимому военных, также видел я еще две или

три машины темного цвета с беспорядочными буквами, нама-
леванными на кузове. Я глянул перед собой вдоль, и мой взор
был привлечен острыми готическими башнями храма, постро-
енного на возвышенном месте, и еще другим зданием, распо-
ложенным в нижнем плане, с портиками из колонн и статуями
вокруг него, конца которого я не мог рассмотреть, ибо оно те-
рялось где-то в правой стороне, оно должно было быть очень
большим, но его значительную часть закрывали от меня дере-
вья, часть которых еще не потеряла своей темно-зеленой лист-
вы. Я бы продолжал смотреть еще, если бы не слышался
шум у дверей. Я повернул голову. Я подумал, что это вернулся
Дуваль. Но нет, это был генерал Килинов, входивший в комна-
ту. Я был удивлен, имея в виду предупреждение, сделанное
мне моим компаньоном и охранителем. Мое удивление длилось
недолго, поскольку генерал подошел ко мне с одной из своих
любезнейших улыбок и протянул руку, задержав ее на момент.

— Вам гораздо лучше, доктор?

— Да, мне кажется, что лучше — ответил я.

— Он уселся, приняв позу, очень похожую на утреннюю,
и я сел также.

— А ваш друг? Спит? Он здесь?

— Бонин? — я не знал, что отвечать. — Да он вошел туда,
думаю, что он наверное там.

— Бонин... Товарищ Бонин! — позвал он громким голо-
сом.

Ясно, что никто не отозвался

— Странно, — сказал я, чтобы что-нибудь сказать. Гене-
рал встал, прошел в мою спальню, и я слышал, как он открыл
дверь к Бонину, а также, как он звал его. Вернулся и с порога
моей комнаты заявил:

— Его нет... Вы не заметили, как он вышел?

— Нет, ничего не заметил, вероятно, он вышел, когда я
дремал в кресле. Я не видел, как он вышел, и не подозревал
даже того, ибо с момента нашего прибытия в Мадрид он меня
не оставлял ни на один момент.

— А товарищ Елена?

— Недавно она вошла в свою комнату, вон туда. Вы зва-
ли ее?

— Нет, я ее не звал, — и тут Килинов уклонился. — Вы
должны гордиться (в этот момент он угостил меня папиросой

из золотого портсигара), что вам назначили, в качестве привилегии, человека такой высокой квалификации, как Бонин.

— Вы так думаете, генерал?

— Предполагаю, что вы это знаете так же хорошо, как и я, доктор.

— Поверьте, что нет, я очень далек от всего этого... Моя жизнь ... Мое призвание...

— Ваш компаньон по путешествию не говорил вам, что я здесь делаю?

— О, нет. Если вы его знаете, то уж и знаете, какой он скрытный.

— Доктор Ландовский, — перебил он меня, — я - шеф Военной Информации в Испании. Воздержитесь от того, чтобы что-нибудь скрывать от меня. Хотя Москва и далеко, но я имею непрерывный контакт с Центром,

— Вы меня удивляете, генерал, я...

— Я хорошо знаю, я не претендую на то, чтобы узнавать от вас еще что-нибудь, но у меня имеются определенные распоряжения в отношении вашей безопасности, не подвергающиеся никаким сомнениям, они даны из самой высокой инстанции, понятно? А это не бывает часто, я это хорошо знаю.

— Не думаю, чтобы распоряжения касались моей персоны, слишком скромной для этого, разве что моей миссии...

— Да, так, пожалуй, вашей миссии... Ваша миссия - такая важная и решающая. Рискованная, я это знаю... и когда вас избрал для нее шеф...

— Извините, шеф меня не избрал, вернее сказать, теперешний шеф...

— А... Ягода!

— Точно... Ягода...

— Да, он ведь не имел обыкновения ошибаться... Вы знаете его близко?

— До известной степени, очень короткое время...

— По моим сведениям, он вернется на свой прежний пост... Говорят об очень серьезном заболевании Ежова.

Я вздрогнул и заметил, что зеленые зрачки этого человека уставились на меня. Я с усилием овладел собой.

— Возможно ли? — возразил я с пересохшим ртом.

Генерал Килинов в этот момент вычерчивал воздушные линии дымом своей папиросы, его рот улыбался с тонким, но

непонятым намерением. Он посмотрел на меня и подойдя ближе, произнес конфиденциально следующие слова:

— И вы именно удивляетесь?

Мой мозг пронизало сверху до низу холодное дуновение... Что же это такое, Боже Милостивый? Я не смог сдержать себя. Я поднял палец к губам и почувствовал, что дрожу, я почувствовал себя в роли персонажей Александра Дюма. Он сделал красноречивый знак осмотрительности и сказал тихим свистящим голосом:

— Хорошо, хорошо, доктор... Понятно? Понятно, да?

Он сделал какой-то жест, который я мог комментировать как угодно, и я почувствовал растерянность. Он добавил:

— Будьте спокойны. В любой момент можете обратиться ко мне, но пока что осторожно... Как мы это сделаем? Напишите мне, что хотите, и всуньте вот сюда - тут он показал мне место соединения обивки диванчика с обивкой его локотника и засунул туда свои пальцы, я буду приходить каждый день и забирать бумажку, если она будет, если будет что-либо спешное, то дайте два легких удара в дверь этой самой комнаты в тот момент, когда этого никто не будет видеть... Договорились? .

Затем он усилил голос, как будто бы хотел, чтобы он был слышен в соседнем помещении, и сказал: "Я должен совершить путешествие на несколько часов. Вам ничего не надо?"

— Ничего, генерал.

Он поднялся, и я намеревался сделать то же, но он решительно протянул мне руку и быстро ушел, сделав легкий прощальный жест рукой в дверях.

У меня не было другого средства для успокоения, как выпить рюмку коньяку. Мне вскоре стало ясно, что Ягода и его соучастники надеялись, что я выполнил их приказ и что Ежов уже заражен коховскими палочками. Но как же? Был ли в действительности болен Ежов? Или он притворялся, чтобы придать духу и смелости конспираторам с целью лучше раскрыть их заговор? Теперь меня это уже не так занимало, а самым главным делом было решить, как же я должен вести себя в моем новом положении. Я был для здешних конспираторов тоже конспиратором... А Дуваль? Как мне нужно было поступить с ним? Сказать ему или нет? С кем надо считаться? На чью сторону должен я встать в этой сложной игре?

Пока я таким образом размышлял, я услышал разговор у дверей, затем повернулась ручка, и вошел Дуваль.

Он подошел ко мне, потирая руки с признаками полного удовлетворения.

Я наблюдал за ним, чувствуя внутри мучительный неразрешенный вопрос. Сказать или нет?

— Дуваль, — позвал я его.

— Бонин, доктор, Бонин... — поправил он меня. — Если же предпочитаете, то Габриель.

— Послушайте, пожалуйста, меня, — Он почти что не пошевелинулся, будто бы разговор со мной его утруждал. — Слушайте, — настаивал я — Я должен рассказать вам нечто очень важное...

— О вашей ране? О курсе лечения? Мне сказали, что уже почти что все прошло и нет никакой опасности насчет осложнения.

— Нет, дело не в ране, послушайте, — сказал я, понизив голос — это генерал Килинов...

— В чем дело? — спросил он, даже не приподнявшись.

— Поверьте мне, очень серьезнее дело...

— Не заболел ли Килинов?

— Прежде всего, могу ли я говорить с вами вполне безопасно? — осведомился я, еще больше понизив голос.

— Вы хотите меня встревожить? Говорите, пока что здесь еще нет микрофонов.

Я без малейших колебаний передал ему мой разговор с генералом.

Он слушал меня, не проявляя признаков волнения. Наблюдая за ним, я невольно задал вслух вопрос:

— Может быть, это новая проверка? Это было бы глупо, а?

Он стал хохотать довольно громко и чуть ли не хлопал в ладоши.

— Какая у вас удача, доктор... Из всех проверок выходите целым и невредимым: как из официальных, так и из всяких других. Поздравляю вас. Все это я знаю. Лучше сказать, почти что все, ибо кое-что из слышанного ускользнуло от меня, когда я лежал под вашей кроватью... Это очень просто, но ему не пришло в голову заглянуть туда. В действительности, разыскивая меня в другой комнате, он только разыгрывал панто-

миму, ибо он был уверен, что я нахожусь на улице, и потому-то и зашел к вам. Его часовые не видели моего возвращения, а не видели потому, что стояли на часах в тех же самых дверях.

— Как же вы устроились?

— Очень просто: я прошел по коридорчику, прикрытый ширмой, которую несли два санитар... два хороших парня, которые, будучи очень уставши, остановились, чтобы поплевать себе на руки, как раз точно против двери в мою собственную комнату. Вы должны понимать, что я здесь, в Мадриде, не одинок. Наше великолепное учреждение не так уж непредусмотрительно!

Он встал с живостью и стал ходить взад и вперед по комнате. Я видел его в нервном состоянии, оживленным, как будто бы он был в своей стихии: он казался породистым волкодавом, перед глазами которого находилась великолепная добыча.

Я осмелился рассеять его внимание вопросом:

— Значит, Бонин, кто же меня ранил?

— Почему, доктор?

— Тогда все говорили, что троцкисты, не так ли? Только один генерал в том сомневается, Ягода троцкист, также, как и его последователи. Как же они, считая меня за соучастника, могли убить меня?

Дуваль смутился на один момент и сразу же ответил:

— Вас удивляет? А разве Ягода не распорядился о том, чтобы вас убить? Как я слышал, да?

— Да, так сказал тот Миронов

— Я не сомневаюсь в этом. Пока вы живы, их конспирация в опасности.

— Кое-что противоречит вашему выводу, если я не ошибаюсь... Если дело обстоит так, как вы говорите, то зачем же приходить Килинову, раскрывать себя и передаваться мне в руки?... Тут противоречие. Как вы находите?

— Отдавать себя в ваши руки, он? Не будьте наивным, доктор, у вас всегда остается средство "испытание", не забудьте технику, сударь!, я его проверю, ты его проверишь, он его проверит, мы его проверим... Если он троцкист, то я это должен знать, ваш разговор с ним я считаю только началом для выводов.

— Но случай со мной, мое ранение,.. — настаивал я, желая повернуть разговор опять на эту же тему

— Случай с вами, доктор, полностью троцкистский, это официальное и неизменное решение. Вы - разве не слышали от генерала, что его автор сознался?

— Да, но...

— Как же вы смеете, доктор? Сознался перед Трибуналом, никто в целом Союзе не может сомневаться в искренности и добровольности признания, а вы тем более, доктор. — Его глаза блестели от злобы.

И так разговор был прекращен. А я остался в самом глубоком сомнении, смущенный и потерянный в темном лабиринте стольких преступлений и измен. Хорош же этот мир, созданный дуновением марксизма...

ЗАГАДОЧНАЯ ДУЭЛЬ МЕЖДУ КИЛИНОВЫМ
И ДУВАЛЕМ

Настал час ужина. Любезный медик был более снисходительным, чем я сам, и разрешил мне есть все. В сущности я уже был вылечен. Мы ужинали вместе: Дуваль был очень воздержан в словах, хотя настроение у него было и неплохое.

Сразу же после ужина он стал читать разные испанские газеты, а затем углубился в чтение нескольких номеров "Правды", которые он раздобыл не знаю откуда. Она занялась тем же. Я чувствовал себя несколько неважно из-за пищеварения и предался сну там же, где сидел.

Меня разбудил звонок телефона. Дуваль подскочил к нему одним прыжком, зайдя в мою спальню. Меня удивило, что он не произнес ни одного слова, а только слушал. Через несколько минут он повесил наушники и вернулся на свое место, но не брался за чтение, видно было, что он размышлял, пристально глядя на потолок, туда, где расплывались круги дыма от его папиросы.

Телефонные звонки повторялись, и он проделывал те же манипуляции: не говорил ни слова, а только слушал.

Два или три раза он делал краткие заметки после разговора. Я глянул мельком на страницы книжки, в которой он писал. Но запись была сделана или стенографически или при помощи шифра, вероятнее всего посредством шифра.

Елена увлеклась чтением "Правды" и с безразличием наблюдала за поведением Дувалю.

Дуваль спрятал маленький блокнот, в котором он делал заметки, и обращаясь к Елене дал ей распоряжение:

— Думаю, что тебе хорошо было бы сейчас заснуть, если не будет перемен, то завтра, тебе придется уехать.

Она не потребовала никаких раз'яснений, положила газету и распрощавшись вышла. У меня было удивленное лицо, но Дуваль не заметил этого или не захотел заметить.

Было уже около часу ночи, когда он опросил меня, не хочу ли я уже спать.

Я ему заявил, что не хочу, так было и на самом деле, ибо я, вздремнув немного после ужина, совсем разошелся. Он же, наоборот, зевал.

— Хорошо, — сказал он мне, — в этом случае, я вас оставлю на дежурстве: я видел, что вы смотрели на меня с удивлением, когда, я несколько раз подходил к телефону... Ясно, что мое молчание вас заинтересовало, не так ли? Наш телефон несколько часов тому назад был присоединен к отводу, сделанному от другой линии... Не угадываете ли чьей? Генерала Килинова. — Он сделал паузу. — Эта вещь - продолжал он — технически не была трудной: это сделал один мой сообщник, но он не знал, какой телефон он отводил, ясно, что с другой точки зрения это может быть опасным, ибо я не располагаю явной властью над Килиновым, я просил полномочий, но в Мадриде ГПУ не имеет собственного радио ближайшее - находится на порядочном расстоянии от Мадрида, ибо в городской зоне или в зоне фронта нас бы быстро обнаружили, это означает то, что распоряжения об охране, если и придут, то запоздадут на два или три дня...

Может случиться, что и не придут, поскольку интернациональное положение Килинова в данный момент может быть настолько интересно им, что Центр не захочет нести официальную ответственность за контроль над ним, хотя его уже контролируют и желают этот контроль расширить еще больше, но такова ситуация, в которой мы должны действовать, разумеется, я беру на себя всю ответственность, начиная с этого момента, и если нас раскроют, то буду отвечать я. Понимаете.

Ну хорошо, доктор: у меня нет под рукой подходящего лица, которое было бы в курсе дела и смогло бы заместить меня, пока я буду спать, этим должны будете заняться вы, ибо другого выхода у нас нет, пока Центр не организует это дело другим порядком... Надеюсь, что вы ничего не имеете против, да? Ясно, что как я вам сказал, нет выбора. Ваша работа легкая, телефонная трубка заткнута ватой, когда вы услышите вызов - снимите ее и слушайте, позовите меня тогда громким голосом. Моя дверь останется открытой, и я сейчас же подойду к телефону, до момента, пока я не возьму у вас наушники, слушайте сами и пытайтесь запомнить, в особенности имена. Понятно?

Поскольку у меня не было выбора, я решился взяться за эту роль. Он отправился в свою спальню, а я остался бодрствовать, прислушиваясь к вызовам. Чтобы чувствовать себя удобнее, я улегся на кровати и взялся за чтение. Прошло несколько часов. Было приблизительно около четырех часов утра, когда зазвонил телефонный звонок, я моментально снял наушник, так что телефон не успел прозвонить вторично. Стал слушать: русский голос пытался быть услышанным своим собеседником, но не мог этого добиться. Он повторял: "Крымов, Крымов". Вызывающий сильно кричал и одновременно говорил с кем-то другим: Затем я услышал шум шагов. Наступила пауза: наверное пошли искать Крымова.

Я вспомнил о приказе Дувалья и позвал его, но в этот самый момент говорили по телефону по-русски, я понимал прекрасно. "Здесь Крымов, кто вызывает?".

"Это я, знаете меня?"... "Да, генерал." "Послушайте — ответил тот — Почему так запаздываете с возвращением? Дело только просто в одной подписи." "Это потому — ответил другой, — что он читает ее". Послышалось сердитое восклицание лица, названного генералом. "Как? Читает? Для чего? Он должен только подписать... Однако, этот "сыр" умеет читать? Идите немедленно, и пусть подпишет, я не жду больше ни минуты. Если будет сопротивляться, то повесьте его на красной подпруге, которой он подтягивает свое брюхо. Через пять минут вы должны быть здесь". Затем я услышал ужасный треск, который прекратил переговоры, Крымов продолжал еще звать его, повторяя: "Генерал, генерал".

Разговор произошел молниеносно: он продолжался меньше времени, чем я употребил на его пересказ. Когда я вешал наушники, то заметил, что Дуваль был уже на ногах и смотрел на меня, опираясь на спинку кровати. Вероятно, он зашел без ботинок и поэтому я не смог его услышать, он был в пижаме, но вполне проснувшись. Не ожидая его вопроса я ему точно передал то, что только что услышал. Он был доволен и даже пояснил мне:

— Дело идет об одной из многих стычек между нашим командованием и республиканским, которое хочет сохранить свою фигуру... Он сказал "сыр"? А, это один испанский генералишка, который участвует в командовании на мадридском фронте, как нам известно, его голова похожа на головку сы-

ра... и, кроме того, его рассуждения таковы, будто бы она у него и в самом деле из сыра... Это не важно. Крымовым может быть Горев, Скоблевский, Вольф... Наша человеческая терминология сверхдемонична, Крымов, Крымов...

Он повернулся, чтобы вернуться в кровать, а я спросил его, должен ли я звать его в дальнейшем. Он высунул голову из-за двери:

— Слушайте дальше, и если будет говорить Килинов, то тогда позовите меня если будет говорить не он, но, по вашему, о важном деле, то тоже зовите.

— А если будут говорить на испанском, или на каком другом непонятном языке?

— Да, да, в этом случае обязательно.

Он исчез, и сразу же послышался скрип его кровати.

В течение всей ночи я слушал только два раза. Это были вызовы извне: но, видимо, дело шло не об очень важных особах, так как один голос ответил чтобы позвонили после десяти часов утра. Я ограничился, тем, что записал услышанные имена, которые помню даже и сейчас.

После восьми за слушание взялся Дуваль, а я сразу же стал спать, я устал и не слышал телефонных звонков. Я проснулся ко второму завтраку, позавтракав в кровати, я заснул опять. Я хотел хорошенько выспаться на случай, если мне придется бодрствовать ночью. В полусне слышал звонки, но не отдавал себе в этом отчета: я хотел спать. Проснулся я уже, когда наступил вечер, вошла санитарка, чтобы поправить мою кровать. Дуваль торопил ее, чтобы она управлялась скорее и отказался, чтобы она поправляла его кровать. Было ясно, что он хотел избежать присутствия посторонней особы в случае телефонного вызова.

В течение вечера, почти что до десяти часов, вызовы были очень частые. Все их выслушивал Дуваль, я не мог разобраться в том, какого рода эффект производили они.

Елена не появлялась весь вечер. Когда мы сели ужинать, я позволил себе спросить о ней.

— Она уехала этим утром, вы не слышали разве? — ответил мне Дуваль.

Мы ужинали вместе, уже после ужина, когда со стола было убрано, я попытался получить от него кое-какие сведения. Я был очень заинтересован всем этим и хотел бы хоть что-

нибудь знать. Самым подходящим был всегда момент, когда мы пили кофе, выпивали и курили, и я решил использовать его.

— Будет это продолжаться еще долго? — отважился я.

— Не думаю, согласно распоряжениям - наоборот.

— Предполагаете ли вы, что они скоро придут?

— Я вам говорил, что точно не знаю, срок зависит от того, придут ли инструкции из Центра или из Парижа, в последнем случае, должны прибыть сегодня или завтра, самое позднее, и это возможно, так как заместитель начальника Отделения находился в Париже в тот момент, когда мы вылетели, и я думаю, что он, возможно, уже распорядился. Я понимаю, что вам скучно. Вы сказали, что уже хорошо себя чувствуете.

— Это не простое любопытство, поймите, дело в том, что если мне придется обслуживать здесь дело порядочно времени, я боюсь, что сделаю какую-нибудь серьезную ошибку... и это не удивительно, ибо для меня все это, ведь, китайская грамота, с другой стороны, говоря откровенно, мой страх возрастает с каждым часом, поскольку, как вы мне раз"яснили, мы не имеем никакой опоры или защиты в отношении Килинова.

— Вас защищает ваша "дружба"... Вы оба "важные" троцкисты — тут он сделал очень своеобразную ужимку, — вы сможете придумать любую глупую отговорку: что вы ничего не знали, что слушали только два или три раза, что думали, будто дело в какой-то ошибке или скрещении на распределительном щите. Что же касается меня, то я должен буду всадить пулю или себе или ему. Предпочтительно второе. Разумеется, я не допустил бы, чтобы меня могло захватить одно из начинающих ЧК, функционирующих здесь, в Мадриде, они еще не работают достаточно тонко, но могут избить так, что разломают череп. Эти испанцы очень простоваты и элементарны. В общем получается панорама не очень утешительная...

— Конечно, доктор, и это вам будет поставлено в заслугу. Вас это не компенсирует?

Я был очень огорчен. Я пил с чувством покорности и склонил голову, так как мое уныние было так же велико, как и скука. Может быть в скором времени я смогу прогуливаться по столице Испании или Франции, а то и Англии. Но знать, я никогда ничего не знал. Дуваль прохаживался вдоль комнаты.

Он подходил два раза к телефону, во второй раз разговор тянулся долго, и я видел, как он делал какие-то заметки. Он продолжал прогуливаться еще некоторое время, погруженный в свои мысли и очень сосредоточенный. Под конец он уселся, как бы принял определенное решение, он налил мне и себе по рюмке.

— Припоминаете вы, доктор — начал он — знаменитую ночь вашей проверки?

Я смог выдержать его взгляд только несколько секунд, он был безразличен и вполне спокоен, вспоминая об этом, я же покраснел до корня волос и вынужден был опустить веки. Я попытался сделать утвердительный жест, но не знаю, удалось ли мне это. А он продолжал:

— Вы хорошо помните, о чем мы говорили? Я имею ввиду то, что касалось Испании, поскольку эта часть разговора, даже будучи включенной в проверку, не была ложью, ради эффективности техника принуждает окружить основную ложь частично правильными сведениями. Теперь я рад, что я это уже сделал, так как, таким образом, я смогу избежать продолжительных раз"яснений. Припомните, что я говорил о битве теней, которая произойдет здесь, мы сейчас участвуем в первой битве, которую дает, так называемый троцкизм, вместе с своими союзниками Сталину, мы здесь не случайно и не думаю, чтобы вы были настолько наивным, чтобы думать, что вашу рану можно лечить только в Мадриде, это был только предлог, которым я воспользовался для того, чтобы появиться в том месте, которое меня притягивало... и я не раскаиваюсь.

Я подозревал, что враги Сталина воспользуются авантюрой в Испании в целях установления контакта с международными Правительствами и элементами, которые к ним расположены. Не напрасно они, являясь самыми старыми революционерами из тех, которые большую часть времени провели за границей, представляли собой самых способных и талантливых людей для участия в испанской войне, являющейся делом очень сложным. Даже тем, которые не знакомы с мотивами, по которым были расстреляны в августе Зиновьев и Каменев, ясно, что Сталин задел нерв... Я думаю, что скоро уже появятся данные, из которых это станет еще яснее. Конкретно же - две банды: Сталин с одной стороны и Англия со своими союзниками с другой - ведут сейчас глухую, но ожесточенную

борьбу на арене Испании. Англии вторит Франция, а этим обеим - троцкисты: это представляет собой опасность. Думаю, что сами того не зная, люди, посланные в Испанию, являются самыми деятельными врагами Сталина. Само собой разумеется, что они ревностно работают для торжества лояльных, и этого нельзя отрицать, но необходимо одно условие: нужно, чтобы в среде лояльных не должно получиться так, чтобы правительство, которое будет управлять, было бы буржуазным, анархистским или троцкистским или смешанным и в своей политике подчинялось бы Англии, это есть условие *Sine qua non*. Поняли хорошо? Это дело возможное, и им кажется очень легким, ибо силы, которыми они располагают внутри страны, гораздо более мощны, чем наши и, кроме того, они рассчитывают на измену. Получается забавно: Москва защищает только одну сторону в Испании, а Англия работает для обеих сторон.

— В таком случае троцкисты...

— Политика троцкистов - это политика империалистическая. Английская политика - это политика империалистическая. Но на сегодняшний день англичане и троцкисты являются союзниками, как будто их империализмы могут быть совместимы, пока что можно рассматривать англичан и троцкистов, как "волков одной и той же генерации", как говорят испанцы.

— А испанцы в этой войне?

— Испанцы? А Испанцы стреляют друг другу в лоб.

Я помню почти что текстуально эти фразы Дуваля. И в самом деле у меня в памяти сохранились все его фразы. Я их забывал иногда сразу после того, как слышал, но они как бы прорастали в моей памяти, подобно посеянному семенам. Я забывал их, может быть тогда, их и не понимал, но сейчас их помню и понимаю.

Он продолжал дальше:

— На нашей стороне есть одно преимущество: вооружение, только Сталин располагает достаточными резервами, это его главная карта для того, чтобы пред"являть требования на право оказывать влияние, подводить итоги и вооружать, и это под него сейчас подкапываются изменники... Поверьте, что подслушивание дало результаты. Кто-нибудь другой на моем месте, не составивший себе суждения по этому вопросу (а я думаю, что немногие сумели бы это сделать), ничего бы не су-

мел разузнать. Никого, ведь, не беспокоило то, какие давались распоряжения, куда рекомендовалось направлять все, посылаемое из Советского Союза - туда или сюда, в зависимости от военных потребностей и строго стратегических норм, а вот меня это беспокоило. Мне кажется, что вот на этом самом столе я смог бы начертить точную карту тех пунктов, куда было направлено наше вооружение, мог бы начертить еще другую, указывающую на группировку враждебных нам сил, их состав и командование, и вот, если мы сопоставим эти обе карты, то увидим безошибочно некое странное совпадение... И если к этому я добавлю еще кое-какие приказания по телефону великого генерала Килинова, то будет раскрыт источник, откуда издаются приказы. Что вы скажете на это доктор?

Он выглядел сияющим, довольным и гордым, я воодушевил его своим молчанием, полным внимания. И он стал продолжать:

— Я не говорю об этом, чтобы похвастаться. Я не имею этой привычки, будьте в этом уверены. Я ведь прекрасно знаю, чему я подвергаюсь в данный момент. А вы не подвергаетесь такой опасности и опасность эта еще уменьшится, что я вам и раз"ясню: я стараюсь раскрыть вам сущность дела с целью иметь верную почту, зафиксируйте все это хорошо в своей памяти и, если я исчезну, попытайтесь вернуться в Москву и там расскажете все, что я вам передал. Только в этом случае вы разрешите все свои маленькие проблемы. Я не взываю к идеалам, в которых вы испытываете недостаток, я взываю к вашей собственной пользе и пользе для семьи, и я уверен, что этого будет достаточно. Нечего мне не обещайте, на счет ваших обещаний я имею достаточный опыт...

В его взгляде сверкнула не то ненависть, не то бешенство или презрение, а то, пожалуй, и все три вещи вместе, ослепив меня на мгновение, я должен был вытереть пот, выступивший, как слезы, из всех моих пор.

Я выпил стаканчик воды, что меня несколько успокоило, я закурил, чтобы снова скрыть волнение и краску стыда.

— Мы договорились, доктор, что вы будете служить мне почтой, это очень существенно, запомните это ясно. Теперь перейдем к другой фазе дела, я должен удалиться с раннего утра, слушание будет поручено вам, приложите все внимание, делайте заметки по-своему, как умеете, но старайтесь быть, по

возможности, точным... затем вы должны будете донести на меня, и именно Килинову...

— Как, что вы говорите?

— Успокойтесь... не смотрите на меня таким образом, я вам раз"ясню: я уйду после пяти утра, это время, когда я буду ожидать сигнал, высуньтесь на минуточку — и он подвел меня к окну. — Можете ли вы различить там бассейн, находящийся на середине площади? Хорошо, вот если я случайно в это время должен буду слушать, то вы должны будете, не отрываясь, смотреть в этом направлении, будете наблюдать, не остановится ли там машина, которая три раза подряд зажжет и потушит фары. Тогда известите меня, я тоже буду начеку уже с четырех часов. Понятно? Возможно, что, как это уже было, вас посетит Килинов, как только он узнает об моем уходе. Разговаривайте с ним, как с лицом, к которому вы имеете полное доверие, но пока что ничего ему не говорите, как только он уйдет, продолжайте слушать... А! Было бы хорошо, чтобы вы в момент моего ухода находились бы около телефона в моей комнате, если услышите, что он входит, то я предусмотрительно запасся небольшим количеством ваты и этой ватой вы заглушите телефонный звонок, чтобы он не услышал вызова по аппарату, пока он будет находиться здесь, я думаю, что он не появится раньше наступления утра, а ночью его наверняка здесь не будет, на десять часов у него назначено свидание для совместного ужина с этой красивой фельдшерицей блондинкой, которую вы знаете... этой, со сладострастными движениями, Килинов большой любитель женщин и не упустит случая. Он считает себя непобедимым со своими демоническими глазами, своим многозначительным подмигиванием и своим разбрасыванием денег. Если он зайдет к вам до трех часов дня, то ничего ему не говорите, после трех часов, как только вы поймаете один из его вызовов откуда-нибудь, дайте в дверь условленный сигнал, предварительно спрятав свои заметки, еще лучше, если вы постараетесь удержать их в памяти, измените в них свой почерк и вложите их сюда — он показал на окно — в косяк с наружной стороны, между рамой и окном, это верное место, когда придет Килинов, вы скажите ему, что вы его позвали потому, что заметили уклонение в телефоне. Вы думали, что это дефект в линии, но увидели вату, которой была заткнута трубка. Он моментально поймет, в чем

тут дело, когда он это дело проверит и обнаружит внизу, что контролируется его собственный аппарат, он задаст вам вопросы, отвечайте, что я всегда внимательно выслушивал вызовы, что делал заметки, и что вы больше ничего не знаете. Остальное я не могу предвидеть и не знаю конкретно, как он будет реагировать, но догадываюсь, что он бросится разыскивать меня, захочет ликвидировать меня, скрыв свое вмешательство в это дело, разумеется, он попытается, чтобы меня захватили "бесконтрольные", контролируемые им самим, в конце концов это неважно, и будет для него слишком поздно. Я сделаю все возможное, чтобы ускорить ваш выезд отсюда, не знаю куда, но будьте уверены, что мы соединимся очень скоро и что я не буду находиться вдали от вас продолжительное время.

Ничего не произошло во время вахты. Дуваль спал до четырех часов утра и, встав, стал наблюдать за окном, телефон не звонил, что обозначало, что Килинов находился еще не в городе.

Уже было около пяти часов, когда Дуваль отошел от своего наблюдательного поста. "Они уже там", сказал он просто: он быстро надел на себя габардиновое пальто, подпоясался и нахлобучил маленький берет, он ощупал себя под левой мышкой, наскоро проглотил две рюмки коньяку, захватил две или три пачки папирос и распрощался со мной с полным доверием и со словами "до завтра".

Я остался один. Как это было уже когда-то раз, в подобный, же момент, ощущение свободы подвело меня к двери. Она выходила в просторный плохо освещенный корридор, который заканчивался где-то далеко. С другой стороны стоял мой часовой и, как мне показалось, без оружия, он спросил меня по-русски: "Что вам угодно?" Я сказал, что ничего, и он не пошевелился, я уверен в том, что он бы воспрепятствовал мне идти, если бы я сделал хоть один шаг из своей комнаты, но я не захотел делать эту попытку. Удовлетворив свой каприз, я вернулся в комнату и закрыл дверь. Я не спал ни минуточки и, не чувствовал в этом потребности, все происшедшее совсем лишило меня сна.

Я не торопясь восстанавливал происшедшее в своей памяти, желая что-нибудь понять, бесполезно. С каждым разом все казалось мне все более запутанным.

Звонков не было до десяти часов утра. После десяти я слышал голос Килинова и чей-то женский, разговаривающие по-французски. На один момент он прервал разговор, прося извинения у своей собеседницы, и я слышал только ее голос. Затем стал говорить опять он и я прекрасно слышал следующие слова: "Даю распоряжение, чтобы вернулись и жили в Бильбао". Я записал это и, кроме этого, записал еще два или три разговора. Поскольку мое беспокойство моментами возрастало, я приглушил телефонный звонок и отправился на диван в соседнюю комнату. Я хорошо сделал. Правда, я мог бы упустить телефонный разговор, но зато я смог спокойно принять Килинова, который и появился в этот момент.

Он вошел со своими изысканными манерами и важностью, поздоровался со мной очень приветливо.

— Ваш охранник ушел, а? После пяти, мне сказали.

— Да, так, в пять — подтвердил я.

— И что? Приметили что-нибудь особенное?

— Ничего, если не считать особенным его уход, я думал, что он не мог оставлять меня одного.

— Может быть, он получил обратное распоряжение.

— От вас лично? — спросил я с самым безобидным видом.

— Нет, пока что: я не имею над ним прямой власти. Он сказал вам, когда вернется?

— Пока что нет, просто сказал мне: "до вечера", а так как были еще только 5 часов, то не знаю, относилось ли это к сегодняшнему дню или к завтрашнему.

— Мне уже известно, что у вас не было посетителей.

— Да, никого, кроме тех, кто меня обслуживает. Даже доктор не приходил, правда, на вчерашний день не было назначено лечения, моя рана уже совсем хорошо заживает.

— Следовательно, как я думаю, вы нас скоро покинете. Мне это желательно, так как я не хочу брать на себя ответственность за то, что может произойти, поймите, что здесь обстоятельства не очень подходящие для того, чтобы можно было принять необходимые предосторожности.

— Да если все зависит только от состояния моей раны, то мое путешествие можно предпринять немедленно.

— Кстати, доктор, есть у вас семья? Мальчики, девочки?

— Да, генерал, у меня есть сын и дочери.

— Очень хорошо, я хочу сделать вам подарок для вашей семьи, кое-что, что было бы им памятью из Мадрида и Испании... Надеюсь, что у вас не будет недоразумений в таможне...

— При в"езде у меня их не было, думаю, что при возвращении тоже не будет.

— Прекрасно. Я им пошлю кое-какие вещи, сегодня же, потому что, если вы уедете во время моего отсутствия, то мне будет невозможно передать их вам в последний момент.

Он поговорил еще немного о разных обыденных вещах и вскоре ушел.

Я опять остался один, посмотрел на часы, было одиннадцать часов. Я не освободил от ваты телефонный звонок, я пыривался сделать это несколько раз, но страх помешал мне. Я считал минуты, пока стрелки часов дойдут до трех.

Чтобы рассеяться, я снова стал наблюдать за площадью и широкой авенидой из моего окна. Движение было совсем небольшое. С прибытием мятежников под стены Мадрида многие жители, верные Правительству, как мне было сказано, уехали из столицы. Конечно самые главные. Люди, которых я мог разглядеть с моего наблюдательного пункта, имели очень плохой вид, они не были такие обтрепанные, как население в России, но достаточно хорошо подражали ему в своей одежде. Ясно, что испанский климат не вызывал необходимости появляться на улицах передвигающимся тюкам из лохмотьев, каковые можно наблюдать на московских улицах особенно в то время года, когда мы пользуемся всем, что только можно на себя нацепить для защиты от холода. Что меня очень сместило, так это вид лояльных нам солдат, марширующих неизменно со своими огромными пистолетами или ружьями, но одетых всегда настолько разношерстно, что не будь на них оружия, никто не смог бы определить их профессию. Разумеется, они не были похожи на обыкновенных граждан, но никто не считал их и солдатами, на каждом из них было надето то, что ему больше нравилось.

Если и можно было заметить в них что-то общее, то это их пристрастие к красным платкам, обросшим лицам и длинным волосам, подстриженным и причесанным самым необыкновенным образом. Во Франции и Германии ни у кого нет бороды, а в Испании едва можно найти бритое лицо. Помимо этого их движения были развязны, даже слегка обезьяноподобны.

добны. В противовес гражданам, многие из которых мне казались связанными в движениях, эти солдаты почти что всегда были жизнерадостны, граждане оглядывались во все стороны, когда шли, как бы опасаясь, что на них может наехать автомобиль. Возможно, что причиной проявления их страха и недоверия были пушечные выстрелы, которые беспрестанное были слышны то вблизи, то в отдалении, я видел несколько взорвавшихся на недалеком расстоянии гранат. По-видимому, они также боялись воздушных бомбардировок со стороны восставших, во время моего пребывания там - их было несколько, я не предпринимал особых осторожностей, так как наше здание имело хорошо видные знаки Красного Креста и могло пострадать только вследствие ошибки. Это не очень меня успокаивало, правда, ибо я знал, что тут находился не один только госпиталь: мятежники могли иметь сведения о русском командовании, которое тут обосновалось, и действовать в соответствии с этим. Более успокоительным было то, что, как я знал, подо мной находится еще несколько этажей, который могут быть с трудом пробиты бомбами.

Под конец, в тот момент, когда я развлекался наблюдением над группой солдат, окруживших двух прохожих и ощупывающих их с театрально направленными на них ружьями и с сильной жестикуляцией, я глянул на часы и увидел, что они показывали три часа и пять минут. Это заставило меня отойти от окна. Некоторое время я не знал, что мне делать, я проверял вкратце ситуацию и припоминал полученные инструкции. Когда я увидел, что я не забыл ни одной, я подошел к телефону, вынул вату, которая мешала функционировать звонку и стал ждать.

Прошло порядочно времени прежде, чем звонок зазвонил. Наконец, я услышал его дробь. Разговор начался, говорил Килинов, как я вспоминаю, этот последний разговор велся на французском языке и касался каких-то артиллерийских планов. Когда он кончил, я вышел из спальни. Мгновение я стоял в нерешительности. Я поборол свою неуверенность, выпив рюмку коньяка. Тогда я решился, я подошел к двери и постучал условленным образом. Я услышал удаляющиеся шаги часового, я немного подождал и услышал, как они приближаются.

Я ждал не долго. Генерал Килинов появился быстро.

— Вы меня звали, доктор?

— Да, я хочу вам кое-что сообщить, хотя это, может быть и чепуха, а может быть и что-либо важное.

— Что же это такое?

Я изложил ему дело с телефоном, согласно инструкциям Дуваля. Тем временем я внимательно наблюдал за выражением его лица. Надо думать, что этот человек был непроницаем или же я был плохим наблюдателем, ибо я не заметил в нем признаков беспокойства. Он дал мне закончить, затем направился в спальню и осмотрел аппарат, взял наушники, заглянул внутрь трубки, вложил в нее мизинец, вытащил вату, послушал немного и снова повесил. "Подождем, пока кто-нибудь позвонит". Мы уселись оба в соседней комнате. Он молчал, блуждая взглядом, размышлял, припоминая что-то по всей вероятности.

Мы успели выкурить по две папиросы, но звонок все еще не звонил: наконец, мы его услышали. Килинов быстро подошел и стал слушать. Он только прикрыл свои веки, как бы сосредоточившись внутри себя. Затем он положил трубку и сказал просто:

— Он присоединен к одному из моих.

Он вышел я опять сел, я уселся против него с вопросительным выражением лица. Но он ничего мне не отвечал, наоборот, он в свою очередь стал расспрашивать меня, он хотел знать о манипуляциях Дуваля за последние дни со всеми деталями. Он спрашивал меня холодно и настойчиво. Мое положение было трудное, я ограничился тем, что выявил свое полное неведение, я только указал ему на одну деталь, которую я случайно заметил в какой-то момент, что заметки моего компаньона были сделаны не то шифром, не то стенографически. Он хотел знать, не видел ли я, чтобы он передавал какие-нибудь вещи кому-либо: санитару, доктору, часовому, так как ему было известно, что посторонние лица нас не посещали. Я ответил отрицательно, разве что он это сделал, остерегаясь меня. Я не хотел ни на что отвечать категорически, а он требовал точных ответов.

Наконец он закончил свой длительный допрос и встал. Он протянул мне руку довольно радушно.

— Я вернусь, товарищ — сказал он. Это было в первый раз, что он обратился ко мне со словом "товарищ". Я об"яснил

себе это, как благодарность и награду и почувствовал радость, благодарность и награда обозначали для меня пока что - безопасность.

Прошло несколько часов без всяких происшествий. Телефон уже больше не звонил. Я нервно прогуливался по комнате. После шести появился медик, которого я не видел уже несколько дней. Мой шов был в порядке.

Через пол-часа пришел опять Килинов. За ним следовал русский солдат, неся в руках большой поднос.

— Выпьем вместе чай, товарищ. Чай настоящий.

Солдат поставил свою ношу и ушел, громко щелкнув каблуками на прощание, у меня появилось некоторое чувство гордости. Между "НАШИМИ" солдатами и добровольцами большевистской Испании была колоссальная разница. Мы пили глотками чай из наших чашек. Килинов сказал мне:

— Я сообщил об исчезновении Бонина и просил инструкций относительно вас: ожидаю их с момента на момент. Париж обещал мне прислать их еще до ночи так что ждать их осталось уже недолго. В отношении вашей и его безопасности у меня не имелось никаких инструкций. Его исчезновение меняет дело, и я решил запросить о распоряжении. Если мне ответят, что вам надо еще ждать, то я постараюсь, чтобы ваше пребывание здесь было по мере возможности приятным. Как вам кажется, не лучше ли перебраться в другое место, более спокойное? Разумеется, подальше от фронта, ну, например, в один из хороших домов отдыха на западе... испанские аристократы имели великолепные усадьбы, и некоторые из них сохранились еще со всем своим комфортом.

Я поблагодарил его и выразил свой восторг, затем я позволил себе задать ему вопрос,

— Имеют ли важное значение все маневры Бонина, а также его бегство, если это бегство?

— Пока я этого еще не знаю, доктор, данные, имеющиеся в настоящий момент, его компрометируют, его деятельность похожа на действия шпиона... Но вот в чью пользу?

— До сих пор, во время моего длительного контакта с ним, он производил на меня впечатление коммуниста-фанатика... Если же это было комедией, то очень хорошей комедией.

— Да, еще бы, до сих пор он был в моем распоряжении, в распоряжении секретного военного отдела: за короткий срок он оказал нам очень важные услуги. Он очень быстрый, смелый и обладает необыкновенным воображением. Теперь я не знаю, он испанец, знаете?

— Чилиец.

— Да, что-то в этом роде, но это все равно. Я не могу ускорить дела. Мои агенты работают по этому делу, думаю, что вскоре буду что-нибудь знать. Разве что...

Он перебил сам себя, чтобы налить мне вторую чашку, и неожиданно спросил меня:

— Считаете ли вы возможным сообщить мне о причине нашего путешествия? Если Бонин бежал, то думаю, что вы...

— Это нечто непредвиденное в полученных мною указаниях — уклонился я — прежде чем это может произойти, генерал, я должен поступить так же, как и вы: дожидаться инструкций.

— Разумеется, это ясно, но... не смогли ли бы мы сориентироваться как-то взаимно. Например, было ли у вас какое-нибудь специальное дело в Мадриде?

— Нет, конечно, и в этом я могу вас уверить, если бы я не был ранен, то продолжал бы пребывать в Париже, в случае окончания моей миссии я вернулся бы в Москву...

— А Ваша миссия было конкретно в Париже?

— Да, в Париже — не оставалось у меня другого выхода, как подтвердить вопрос, хотя я и боялся поскользнуться.

— А помимо ранения вам не было необходимости ехать сюда?

— Не было.

— Кому пришло в голову привезти вас сюда?

— Я не знаю точно, но, как я припоминаю, это предложил Бонин другому шефу, бывшему в Париже.

— Этим уже несколько раз"ясняется дело... Не скажете-ли вы мне, где был Бонин, когда вас ранили?

— В Париже, разумеется.

— Я имею ввиду не это. Я хочу знать точно его местопребывание в момент нападения.

— А, этого я не знаю... Мне кажется, как я припоминаю, что он пришел в тот отель, где я проживал, немного раньше,

чем пришел я, будучи уже раненым, верно то, что он вошел в мой номер немного времени спустя после меня.

— Не припоминаете ли еще каких-нибудь деталей?

— Да, помню, что он спорил с Парижским шефом о часах и минутах.

— Интересовался ли шеф, где он был во время покушения?

— Нет, определенно нет, наоборот, Бонин упрекал, что не были приняты быстрые меры для лучшей охраны меня, поскольку он сам лично донес о том, что троцкисты намереваются устроить на меня покушение.

Некоторое время он сидел в раздумье.

— И вы верите, что троцкисты?

— Говоря откровенно, генерал, я не совсем хорошо знаю, что это такое троцкисты... Я совершенно не увлекаюсь политикой, меня не интересует внутренняя политика партии, чистосердечно признаваясь, я никогда, не слышал этого слова. Я ограничиваюсь тем, что принимаю и следую инструкции. Выполняю и не спорю.

— Хорошо, но ваша пассивность не может быть велика настолько, чтобы он был вам безразличен даже в том случае, если он имеет отношение к вашему делу.

— Для этого мне нужно было бы знать, что такое троцкизм и кто такие троцкисты, а это, по-моему, довольно затруднительно об"яснить, троцкистский фронт очень обширен, судя по тому, что я слышал, троцкисты это те, которые служат Гитлеру, а также Муссолини или Чемберлену, или Пуанкаре. Как я припоминаю, все эти имена были слышны и вплетались во все самые шумные процессы в Советском Союзе.

— Да — улыбнулся он, — это маленькая путаница... для многих техников... но его персональная деятельность?

— Он не имеет никакого отношения к троцкистам.

— Следовательно... правая?

— Да, говоря по секрету, правая, ультраправая.

— Великолечно, доктор, не остерегайтесь... Наличие этой крайности сокращает поле моих подозрений... Посмотрим. Коли это дело не троцкистское, то вы согласитесь со мной, что у троцкистов не могло быть логически никакого интереса в том, чтобы упразднить вас... не так ли?

— Кажется довольно очевидно, но тогда, кто же?

— Не легко ответить на это категорически, пожалуй, этот вопрос сможет раз"яснить здешнее дело, или же наоборот, дело с покушением выяснится при помощи здешнего шпионажа. Гипотеза об их связи кажется рациональной.

— Может быть. Хотя я и не претендую на умение делать выводы так тонко, как вы, генерал.

— Одна подробность: когда было поручено вам дело? Помните вы это точно

— Да конечно, в первых числах сентября.

— Еще одна: кто поручил вам дело?

— Я должен сказать это?

— Это деталь, которая ничего не говорит о сущности дела, раздумайте. В частности, какой начальник это сделал, Шпигельглас?

— Я никогда не слышал этого имени.

— Но вы знаете, кто распорядился о деле?

— Разумеется, я знаю, кто.

— Оставьте колебания... Вы видите, что дело касается вашей личной безопасности

— Хорошо, генерал, это был Комиссар Внутренних Дел лично.

— Ежов?

— Нет.

— Ягода?

— В точности.

— И вы не получали позже контрприказа или распоряжения о каком-либо изменении в деле, в Союзе или вне Союза? Ничего не изменилось в плане, который он вам наметил?

— Абсолютно ничего, дело оставалось в точности таким же самым, все шло с учетом обстоятельств, им предусмотренных, кроме, разве, незначительных деталей, нет сомнения в том, что они не подверглись бы никаким изменениям, если бы не мое ранение, то уже на следующий день или через пару дней моя миссия была бы выполнена. Я не получил ни одного распоряжения, которое отклонялось бы хоть на один палец от плана, намеченного Ягодой.

— Очень хорошо, прекрасно... Хотя и с трудом, но, кажется, приближаюсь к правде.

В этот момент позвонили по телефону. Он стал слушать сам: я слышал только несколько отдельных слогов. Он прервал

сообщение и затребовал другой номер. Его слова, сказанные по-русски, были приблизительно таковы:

"Можете возвращаться в любой момент... Побольше осмотрительности в портах... Вес нормально. Доставить его сюда, но на такую дистанцию, чтобы не обратили внимания... Да, на 112... Как раз туда."

Килинов сел опять около меня очень довольный.

— Кажется, что вернется... Кто-то его вызывал, мне дали для него поручение, сказав, чтобы он ожидал известий к двенадцати часам. Кажется, что он дал распоряжение этой персоне, чтобы его вызвали здесь сегодня ночью.

Теперь в его фигуре явно светилось удовлетворение.

— Я все таки думаю — продолжал он, закуривая сигару, — что он придет, как это видно из сообщения по телефону. Придет он сам.

В его глазах зажглись искорки и глаза его были похожи на кошачьи глаза в темноте. Он сморщил лоб, что служило признаком радости. Затем он позвонил по телефону и появился опять прежний солдат с небольшими бутылками и посудой для коктейля. Все принесенное он поставил на столик и соорудил нам смесь, не помню как называвшуюся, из ликеров, вишневки и имбирного лимонада.

— Вам понравится — заверил он меня, наливая мне рюмку.

— Уже восемь с половиной — сказал он, — думаю, что могу уделить вам еще немного времени... Ягода поручил вам дело, по которому не было получено приказов, отменяющих его, и к моменту его выполнения с вами случилась напасть так я говорю?

— В итоге так, так оно и есть.

— Значит, покушение на вас... не кажется ли вам, что вернее приписать его тому, кто был заинтересован в том, чтобы помешать вам в выполнении вашей миссии?

— Согласен с тем, что это подозрение имеет вполне логичное основание.

— Скажите мне: не подозревали ли вы кого-нибудь из известных вам лиц по интуиции или, скажем, по предчувствию?

— Абсолютно никого, кроме того, вскоре я узнал, кто был виновен в этом, по его же собственному признанию, поскольку он был уже раскрыт, то мне не нужно было решать вопроса.

— Вы имеете ввиду Парижского шефа?

— Да, ведь вы же сами сообщили нам о его признании...

— Да, я вам это сказал, но проделайте опыт, забудьте на момент о моем сообщении, предположите, что я мог ошибиться или солгать... затем обратитесь опять к вашим воспоминаниям, переместитесь, в частности, к моменту ранения и не торопясь вернитесь к настоящему моменту, присмотритесь хорошо, припомните свои самые мимолетные мысли в те первые моменты, когда уже наступило некоторое успокоение? Кто появлялся в вашем воображении, как подозреваемый?

В этот момент Килинов был похож на улыбающегося Мефистофеля. Я почти что догадывался, куда он клонил меня. После непроизвольного с моей стороны жеста непонимания - он продолжал:

— Это очень важно, поверьте мне, мой личный опыт, изучение мною этого вопроса, дали возможность мне понять, какое важное значение имеют мимолетные мысли жертв в первые моменты, значительный процент отгадывает агрессора, если это лицо было ему предварительно знакомо, происходит то, что образ почти что всегда стирается путем вольного или невольного внушения лицами, которых жертва, благодаря чуждым влияниям, считает более способными к раскрытию дела, но будьте уверены, что в момент нападения у жертвы появляется чувство интуиции и способность отгадывания, конечно, если она не лишается в момент нападения своих умственных способностей. Я думаю, что психологическое напряжение агрессора переходит в очень сильное телепатическое излучение, которое "обмывает" нападаемого и проникает в его сознание одновременно с пулей или с оружием, погружающимися в тело. Убийца является передатчиком излучений. Жертва - это приемник, чувствительность которого увеличивается от ранения.

— С научной точки зрения ваша теория кажется мне очень интересной, генерал... Но в моем случае, при способе, употребленном со мною, момент обострения моей восприимчивости не синхронизировался с действием преступника, собиравшимся меня ранить... Я предполагаю, что вы знаете, как это произошло, не так ли?

— Да, я это знаю и даже знаю изобретателя. А вы нет?

— Не имею сведений.

— Да ведь изобретатель-то именно этот Габриель...

— Он мне этого не сказал, а он то сам и описывал мне аппарат. Я сейчас определенно вспоминаю, что ему пришла в голову мысль усовершенствовать это оружие, ввиду того, что оно не может точно попадать в жизненно важные органы... Вы знаете уже, что я спасся от смертельной раны каким-то своим движением, благодаря которому мое сердце отклонилось от линии выстрела...

— Это очень любопытно... И какое же это было усовершенствование?

— Очень простое..., отравить пулю — сознался я по инерции, не раздумывая долго, хотя в тот же момент я раскаялся в этом.

— Любопытно, — сказал он сосредоточившись. — Бонин, удостоверившись, что вы спаслись от смерти, обдумывает все время усовершенствование, которое, будучи применено к вам, убило бы вас наверняка...

— Да это так...

— Любопытно, не правда ли?... Сейчас пока что ничего существенного в области материальных доказательств... Но много материала для предположений. Как вы считаете?

— Какой же вы делаете вывод?

— Ничего, ничего пока что... Но Бонин, выходит, изменник...

— Троцкист?

— Фашист, если вы хотите делать разницу между фашистами и троцкистами

— И вы сказали?

— Что он является фашистским шпионом, и дело с телефоном - это обвинение против него, мы должны обратить больше внимания на происхождение и автора покушения... Тут уж слишком много троцкизма, чтобы все это можно было бы раз"яснить...

Я предпочел уточнить это дословно так:

— Вы хотите сказать, что если Бонин оказался изменником, то он был автором покушения на меня?

— Допустим.

Я осмелился иронизировать:

— А если он не изменник, то нет?

Он опять посмотрел на часы, я тоже. Мои часы были

очень большие, с крышками серебряными, мне дали их в Посольстве вместе с моей одеждой и принадлежностями, несомненно, что-то вроде этого аппарата имелось у доктора Зелинского.

— Что это такое, доктор? — спросил меня генерал, показывая на мой хронометр — Это же допотопная вещь... Вам нравятся золотые часы? У нас есть разнообразная коллекция. Я пришлю вам хорошие.

Уже в дверях он сообщил мне, что вернется после ужина. "Выпьем по бокалу шампанского, между тем, как вернется ваш друг".

Я остался один, раздумывая о том, что этот человек тоже был, по-видимому, не совсем обыкновенным. Его личность не уступала его манере держать себя. Мимики у него было слишком много, но она была точная, его жесты были всегда тонкие и закругленные, манера говорить и акцент — очень своеобразные, странные и с очень резким оттенком. Одна вещь была совершенно ясна и очевидна: он питал смертельную ненависть по отношению к Дувалю, каковой должен был чувствовать по отношению к нему — то же самое. Действительно, соперники достойные! Если бы я был просто зрителем, то какое великолепное зрелище представляла для меня борьба между ними обоими!

Килинов снова пришел после одиннадцати, я уже поужинав и с удовольствием попивал кофе. Немного спустя пришел ординарец с бутылкой шампанского. Мы беседовали, когда шампанское было достаточно холодное, мы его выпили.

Он не углублялся ни в такие темы, а говорил о происшествиях и рассказывал анекдоты из испанской войны. Но я заметил, что он наблюдал за мной, подстрекая меня на выпивку.

— Пейте, пейте, есть еще...

Я решил, что он имеет намерение заставить меня говорить этим вечером. Но кое-что помешало его намерению. Ординарец появился опять и принес пакет с печатями. Килинов вскрыл его и тут же прочитал. Он отпустил ординарца.

— Это касается вас — сказал он.

— Нельзя ли мне узнать?

— Приказ о выезде.

— Куда?

— Назначение не указано. Несомненно вы выедете из Испании. Если бы вам нужно было переехать в другое место зоны лояльных, то мне бы это было сказано, так как в этом случае вы остались бы в моем распоряжении. Вы полетите самолетом, ясно, что вам придется ехать через Францию, но я не знаю, останетесь ли вы там или поедете дальше.

— А о Бонине ничего неизвестно?

— Пока что ничего.

— В таком случае, не знаете ли вы, кто будет моим сопровождающим?

— Абсолютно, до тех пор, пока он мне не представится.

— Вы можете понять, что я несколько обеспокоен... Это бегство - я думаю, что могу назвать это бегством - моего охранителя, меня тревожит.

— Поверьте, что мы употребили все усилия, чтобы найти его. Но это не Советский Союз, обслуживание здесь очень недостаточное, затем надо расширить следствие, с тем, что раскрыто, я не могу еще уточнить организацию, на пользу которой он работает...

— Не фашистская ли? Я хотел сделать вывод на основании фактов... Кого может интересовать шпионаж за вами, генерал? Как вам кажется?

— Гипотеза эта имеет смысл, доктор, но если вы поразмыслите, то поймете, что дело может оказаться гораздо более сложным. Вы уже знаете "дела" Союза. Кое-что вам известно непосредственно...

Килинов намеренно подчеркивал свои слова. Но я не мог догадаться, к чему это относилось: или к покушению на меня, или к моему путешествию... - эти "дела" Москвы. Тем не менее, я сделал умное лицо, как будто бы мне все стало ясным. Генерал стал продолжать:

— Для фашиста это было бы слишком отважно. Этого не может быть, я достаточно хорошо знаю историю Габриеля, в ней фигурирует достаточно фактов, достаточных для того, чтобы его повесили...

В этот момент позвонили по телефону. Килинов сам подошел слушать и несколько минут спустя сказал: "пришлите его сюда". Я почувствовал ускоренное биение моего сердца. Не Дуваль ли это? Но Килинов, вернувшись в мою комнату, ничего не сказал.

— Что-нибудь насчет Бонина — решился я спросить.

— Нет, думаю, что нет, это спешное известие.

Кто-то постучал в дверь. Килинов дал разрешение, и вошел солдат, по чертам лица — русский, он встал смирно и протянул пакет. Генерал отправил его, вскрыл конверт и достал маленький лист бумаги. Он отошел немного в сторону и углубился в чтение. Вытащил из кармана, малюсенькую книжечку с заметками и справился в ней два или три раза. Затем он спрятал бумажку и книжечку и снова подошел ко мне.

— Кое-что относительно вашего "друга".

Это, насчет "друга", встряхнуло меня, но, думаю, что он не заметил перемены во мне, так как я сильно закашлялся в этот момент, хотя и не нарочно.

— Кое-какие следы, генерал?

— По крайней мере кое-что на это похожее... Это меняет дело, нет, этот человек не фашист, так я думаю.

— А что тогда? — опросил я с хорошо сыгранным удивлением.

— Я ожидал этих деталей, чтобы поговорить с вами, товарищ — ответил Килинов, приняв серьезный вид, — но, давайте, выйдем, идите со мной в мое помещение.

Он сделал несколько шагов по направлению к двери, взявшись за ручку, чтобы ее открыть.

— Это обязательно нужно? — спросил я с плохо скрытой тревогой. — А если он вернется и не найдет меня?

— Идите, доктор, не вернется, а если вернется... — он не закончил, но очень странно оттенил последнее слово.

Мы вышли вместе в длинный коридор. Он дал часовому распоряжение, которого я не расслышал. Моментами моя тревога возрастала. Я уже видел себя "допрашиваемым" шайкой агентов ГПУ. Я уже не считал себя человеком с сильным и здоровым сердцем, и если бы мне пришлось в дальнейшем продолжать жизнь такого рода, то я был уверен, что сделаюсь сердечным больным. Мне показалось, что прошло только несколько секунд, пока мы шли в помещение генерала, я не заметил, было ли оно на том же этаже, ибо я почти что ничего не видел: об этом я узнал потом.

Вошли. В первой комнате было около двух или трех человек, но мы прошли так быстро, что я этого не заметил, кроме этого мне было не до подробностей. Затем мы пошли в сле-

дующую комнату, которая служила ему собственным кабинетом. Он предложил мне сесть. Пока что, до сих пор, его обращение было корректным и даже учтивым. Но меня это не успокаивало, этот человек был ловок и тонок в умении задавать вопросы, несмотря на то, что был жесток. Я был в этом уверен и был в очень плохом настроении, мне казалось, будто я прошел пять верст, прежде чем перешел из своего помещения в это. Прежде чем что-либо сказать, Килинов предложил мне какой-то напиток. Я согласился с тревогой, во рту у меня пересохло, и я пил, чтобы утолить жажду. Закурили по папиросе, и после короткого молчания он заговорил тихо, но отчетливо и значительно.

— Доктор, у меня есть кое-какие информации о вас, не такие обстоятельные, как мне бы хотелось, но это было невозможно. Состояние Ежова ухудшается... — он сделал паузу, и в его глазах, смотревших на меня, сконцентрировалось все его внимание, я почувствовал себя так, как будто бы я вздохнул целый баллон кислорода. — Этот факт гарантирует мне вашу персону... Понимаете?

— Ясно — согласился я, разведя руками.

— Я знаю, что вы не из наших, правильнее сказать, что вы им не были... Теперь уже другое дело. Ваша сдержанность, Ваше слово..., очень хорошо, доктор. Думаю, что вскоре будете очень довольны, что так поступали, а, тем более еще ваши разоблачения и ваше донесение, тоже дело очень важное: пожалуй, вы в данный момент даже не можете измерить его значительность, но не скрою, что оно может иметь очень большое значение.

— Итак, Бонин изменник?

— Пожалуй хуже... в данный момент. Во всяком случае, он не фашист. Из полученных мною извещений видно, что не получено приказаний из Центра относительно его АППАРАТА по Франции, до этого часа ничего не изменилось. Я немедленно сообщил в Москву о его бегстве, если бы он был фашистским шпионом, то было бы понятно, что моментально произошли бы перемены во всем, что ему известно за границей, как это всегда бывает в случае раскрытия измены. Это делается всегда молниеносно. Теперь же уже прошло более, чем достаточно времени и нет никаких распоряжений относительно перемен. Бонин не является изменником, подосланным в

НКВД.

— Ну, значит, нечего и опасаться?

— Нечего? А может быть, надо опасаться всего.

Моя борьба была очень неравная, и мне показалось лучшим сделать опять удивленный вид. Килинов любезно улыбнулся, как мне показалось.

— Мне ясно, что вы не понимаете этого, доктор, сейчас не время анализировать это дело... Пожалуй, будет лучше для вашего спокойствия, чтобы вы оставались в неведении.

— Разумеется, я не из любопытства. Я имел ввиду, что если Бонин изменник, то чтобы у меня там в Москве не было осложнений...

— Ясно, ясно, но мне кажется, что ваша безопасность не может быть гарантирована при этом человеке. Очень досадно, что я здесь в Испании связан в своих передвижениях. Это дело меня интригует. Что-то мне говорит, что оно имеет гораздо больше значения, чем простое подслушивание по телефону, в конце концов, на службе, как это бывает в любом государственном аппарате, мы все шпионим, все подслушиваем друг друга, но этот случай... кроме того, покушение на вас, доктор... здесь есть что-то странное и необыкновенное во всем этом...

— Покушение на меня? — перебил я, не удержавшись.

— Да, покушение на вас, поверьте мне, это что-то необъяснимое. У меня имеются начальные сведения... Если бы я мог выехать, хотя бы только на двадцать четыре часа в Париж, то я бы тогда сказал...

— Поймите, генерал, что я не понимаю.

— Меня это не удивляет, существуют трудные дела для высокоопытных техников и даже для нас, если обстоятельства не дают возможности действовать соответственными методами и в соответствующих местах.

— Если бы я мог быть вам полезным, генерал — осмелился я намекнуть.

— Разумеется, доктор, для этого я вас сюда и привел. Вы мне изложили дело честно и с достаточной дальновидностью, я в свою очередь могу вам гарантировать безопасность как здесь, так и там, где вы будете. Пока что еще мне ничего не известно о ваших врагах, но надеюсь, что вскоре мне удастся узнать, откуда исходит ваша угроза, будьте спокойны. Теперь

я прошу вас для взаимной пользы о маленьком одолжении...

— С большим удовольствием, генерал. Чем могу...?

— Послушайте — и он понизил свой голос — Я считаю наиболее вероятным, что вас доставят в Париж... Судя по месту и по обстоятельствам вашего положения, вы пользуетесь относительной свободой. Не могли ли бы протелефонировать одному приятелю?

— Думаю, что да, в предыдущее свое пребывание я мог это делать.

— Хорошо, заметьте это число, напишите на бумаге — и он продиктовал мне несколько цифр, которые я и записал. — Добавьте "ellic". Позвоните по этому номеру и опросите Гольдсмита. А имени не записывайте, переведите его себе в уме. Можете его запомнить, а? "Золото" - это то, чего много на западе, особенно во Франции.

— И что еще?

— Еще остается немного, договоритесь о свидании с тем, кто будет вам отвечать, о деталях вы договоритесь уже, смотря по обстоятельствам. Когда, вы с ним увидите, то вручите ему письмо, которое я вам дам. Оно будет вложено за подкладку дна чемоданчика, который я для вас приготовил. Можете не остерегаться, оно должно быть передано во Франции, и, хотя не содержит в себе ничего особенного, но если у вас не будет возможности повидаться с господином, о котором я вам говорю, то, прежде чем ехать в СССР, уничтожьте конверт с содержимым.

— И только и всего, что надо передать это?

— Это - главное, но можете говорить вполне свободно о происшедшем здесь с вашим сопровождающим в случае, если он будет спрашивать вас о деталях: кроме этого, доктор, если захотите, то расскажите ему обо всем, что произошло с вами.

— Насчет покушения на меня?

— Да, конечно, о покушении..., но также и об остальном, о вашей миссии, о событиях.

— А самое главное?

— Главное? Что вы имеете в виду?

— Например... болезнь Ежова.

— Да, да, разумеется, об этом он знает..., знает очень хорошо..., гораздо больше того, что вы можете предположить. Скажите ему, говорите с ним с полным доверием. Настанет

день, что вы себе дадите в этом отчет и будете очень рады тому, что были вполне откровенны. Знайте, что после этого свидания вы сможете рассчитывать на протекцию и помощь во всех уголках земли, будьте уверены. Я нисколько не шучу и не преувеличиваю. Рассчитывайте на это покровительство и эту помощь с такою же уверенностью, как уже можете рассчитывать на мою дружбу.

Я поблагодарил его. Мы выпили по паре рюмок. Затем мы распрощались, и он подошел к двери. По его распоряжению меня провожал один из его ад"ютантов.

— До свидания, доктор. Сейчас вам принесут это поручение.

Действительно, через полчаса ординарец принес мне чемоданчик длиной в полметра и кожаный футлярчик с моими часами. Они были в самом деле очень хороши: золотые, тяжелые и не очень большие, на обеих крышках имелось украшение или эмблема, сделанные малюсенькими зелеными камнями: хорошенький кожаный мешочек был вышит. Затем я осмотрел чемоданчик, при котором висел на шнурке ключик, прикрепленный к кольцу замка. Там было только женское белье: легкие прозрачные вещи и шелковые чулки. Я представлял себе восторг моих дочерей. Я развлекался тем, что представлял себе их в своей московской квартире одетыми, как парижские дамы. Для выхода на улицу они надевали бы опять свое тряпье. В Москве, у меня в доме, был бы зал для праздников.

В предвидении завтрашнего путешествия я немедленно же улегся спать, но я не был в состоянии уснуть, тем не менее я не вставал с кровати, так как это все таки был отдых.

Килинов позвонил мне по телефону. "Вы должны приготовиться" — сказал он мне. Я уже заканчивал укладку вещей в чемодан, когда он появился.

— Приехал Бонин?

— Нет, мне дали несколько его следов, кое-что мне кажется верным, но пока что его еще не обнаружили.

— Не ждали ли вы, что он явится этой ночью?

— Да, но он не пришел, и особа, которая вызывала, его по телефону, не подает признаков жизни.

— И как же я?

— Что?

— Кто будет меня сопровождать?

— Я этого еще не знаю, мне сказали только, что явятся люди, чтобы вас сопровождать.

— Само собой разумеется — догадался я, улыбаясь

— Несомненно. А... А ваши часы?

— Все восхитительно, генерал. Премного благодарен. Не хотите ли дать мне какие-нибудь поручения на родине?

— Нет, ничего, большое спасибо. Только, чтобы вы всегда сохраняли эти часы, как воспоминание обо мне.

— Я это вам обещаю.

— Все уже готово у вас?

— Все в порядке, генерал.

Он сразу же ушел.

Было четыре часа утра, когда я услышал громкие шаги в коридоре. Вошел Килинов в сопровождении двух человек. Он не представил мне их. Это были два человека в форме цвета хаки и оба были вооружены пистолетами. Судя по словам, которыми они обменялись, это были русские. На них не было знаков отличия, или их не было видно, только на воротничках были какие-то крылатые эмблемы. Они обращались к Килинову почтительно, но без какого бы то ни было низкопоклонства. Я снова сравнил их с бедной испанской милицией.

Так как я уже был готов, то мне предложили выйти. Затем вошло два солдата, которые забрали мой багаж. Мы пошли по просторному и длинному коридору. Пройдя немного Килинов остановился, а вслед за нами и мы. Он приоткрыл одну из дверей и распростился с двумя военными, я заметил на его лице тень озабоченности. Двое моих провожатых отсалютовали ему по-военному навтыяжку, и мы пошли дальше. Этот коридор казался мне нескончаемым, навстречу нам попало несколько санитаров и два или три военных. Дошли до лестницы. Через некоторое время передо мной мелькнула значительная часть освещенной залы. Когда мы дошли до последнего пролета лестницы, я увидел, что это был большой просторный великолепный вестибюль с арками для входных и выходных дверей, с лампами, спустились еще по нескольким ступенькам. У самой выходной двери стояло еще два или три человека в форме, которые присоединились к нам. Один из них заговорил по-русски с одним из двух первых, когда мы уже были у двери, выходящей на улицу. Он был одет иначе: на

шапке у него была звезда не советского образца - белая и блестящая с большим количеством концов. Испанская звезда. На нем были очки с толстыми стеклами в черной оправе. Усы у него рыжие и лицо несколько дней небритое, рыжеватая борода закрывала его щеки. На нем красовались два огромных пистолета.

Меня поджидал крытый автомобиль: черный, просторный, модный, его окружало несколько солдат, несомненно испанских, они были вооружены чем-то вроде коротких ружей с очень толстыми, как бы заостренными стволами.

Я сел в машину, рядом со мной сел человек со звездой, двое первых заняли передние скамьи внутри машины. В кабине шофера поместился шофер и еще один - всего шестеро. Через стекло левого окошка я видел выходящих и прыгающих в две больших открытых машины испанских солдат, там уже были другие люди. Тронулись, одна из этих машин шла впереди нас и зажгла яркие фары, другая шла сзади и тоже бросала сноп света через заднее стекло на нашу машину. Мы ехали по склону горы. Мне не хотелось упускать деталей. Мы, по-видимому, об"езжали тот бассейн, который я наблюдал столько раз из окна моей комнаты, а затем направились влево. Спустя немного времени я заметил еще одну статую около шоссе, по которому мы ехали, освещенную фарами. Улицы Мадрида были очень широкие, пустынные, обсаженные деревьями, как призраками. В какой-то момент фары осветили колоссальный портрет Сталина, великолепную афишу, нарисованную большими штрихами. Ленина не было видно рядышком. По-видимому, испанцам не было понятно, что эти два революционера являются как бы сиамскими близнецами.

Внутри машины царило полное молчание. Я глянул на сопровождавших меня людей и встревожился. Эти три человека держали в своих руках пистолеты наготове и смотрели - один в одну сторону улицы, другие - в другую со сосредоточенным вниманием. Было видно, что они опасались какого-то нападения, ибо для обыкновенного случая это выглядело слишком театральным. В дальнейшем мне раз"яснили, что мы ехали в такой машине, в каких ездят министры, анархисты были несколько экспансивными, они имели мало симпатий к роскоши и никаких в отношении Советского Союза.

Вскоре я заметил, что силуэты зданий уменьшились,

стали ниже и затем стали прерываться, спустя некоторое время мы очутились в почти что безлюдном месте. Мы были уже в предместьях Мадрида.

Я погрузился в свои собственные мысли, пытаюсь определить свое собственное положение и прекратил свои наблюдения. Вдруг остановка. Рассеянный свет освещал густой туман. Я глянул вперед, где остановилась также и машина, следовавшая впереди нас. Сидевшие в ней люди размахивали вооруженными руками, они, как видно, спорили с другими, фигуры которых были видны около машины.

Сидевший около меня провожатый со звездой проявил нетерпение, он опустил стекло и, высунув голову, пытался выяснить причину задержки, в этот момент я смог разглядеть большой грузовик, загородивший нам путь, он стоял поперек дороги и своей передней частью был повернут налево. Испанец со звездой вылез из машины и направился к грузовику. Я спросил по-русски у своих сопровождающих, что произошло.

— Расстрелы — ответил один из них. — Расстрелы фашистов — пояснил он вслед.

Мое внимание обострилось. То, что мне удалось увидеть в тот момент, врезалось в мою память на всю мою жизнь. Из стоящего грузовика начали выходить, вернее, выпадать и вываливаться порядочное количество мужчин. Их неясные фигуры рассыпались около малины. Подталкиваемая вооруженными людьми, эта человеческая толпа пересекала промежуток местности, освещенный нашими фарами. Это имело подантовски мрачный вид. Ночной туман, желтоватый свет огней, поблескивающие время от времени орудия, гортанные проклятия и сверх всего этого мертвенная бледность лиц этих передвигающихся мертвецов с руками, связанными на спине — это была незабываемая картина ужаса. Я не писатель и не в состоянии описать этого, и даже никогда мне не приходилось читать о чем-либо похожем на эту группу МЕРТВЕЦОВ, которых должны были убить. Как стадо подталкивали стрелки приговоренных черными стволами своих ружей. Они устанавливали их в неровную линию, растянувшуюся как раз с левой стороны против наших машин, сильные фары задней машины освещали некоторых из них, стоявших на расстоянии метра около нас. Меня привело в трепет то, что их руки были связаны за спиной колючей проволокой, и из них сочилась кровь.

Вооруженные наемные убийцы со своими красными платками на шее, в куртках из блестящей кожи и в шапках с острыми углами толкали их и раздавали пинки направо и налево. Там были люди всех возрастов: были старики с белыми бородами, другие были молодые, с черными горящими глазами и двое или трое совсем юные. Видел двух женщин тоже с руками, связанными колючей проволокой. Затем подогнали еще больше людей, построив двойной ряд. От ужаса и от холода я сидел, как застывший.

Дверь от моей машины была почти что совсем раскрыта, и к ней прислонилось несколько арестованных. Два безбородых юноши с вьющимися волосами повернулись и, увидев меня, что-то оказали друг другу, а затем, глядя мне прямо в лицо, улыбнулись, не знаю, было ли это знаком стоической отваги или презрения, на них была надета только одна рубашка с порванными засученными рукавами, и в тот момент, когда они повернулись ко мне спиной, я увидел их окровавленные руки, поцарапанные колючками от проволоки. Слышны были громкие крики, проклятия и удары. Поле с левой стороны осветилось еще больше: снопы света, от нескольких грузовиков прорезали туман, и обширное пространство наполнилось резким желтым светом, как будто бы оно было освещено мертвым солнцем.

Люди в черных куртках встали между машиной, в который я сидел, и обреченными, но тем не менее я смог увидеть, как тот юноша, который смеялся около меня, ответил на удар ружьем плевком в лицо палача. Вся масса подвигалась вперед, спускаясь по откосу дороги, и медленно удалялась. Не знаю, была ли это иллюзия, но мне послышалось героическое похоронное пение. Там, в метрах двадцати, передние ряды остановились, черные люди с ружьями на изготовку отступали, пятясь спиной, и остановились около следующего откоса. Жертвы повернулись к нам лицами. Я не мог хорошо видеть их физиономии, я уже не улавливал тех строф, которые я, как мне казалось, слышал. Царило жуткое молчание. Я напряженно смотрел, вложив в свой взгляд всю свою жизнь.

Человек со звездой подошел, встал против меня и наблюдал за сценой, стоя неподвижно с расставленными ногами и руками за спиной, сжатыми в кулаки. Он закрывал от меня часть трагической сцены.

Дикий голос. Взрыв сухих выстрелов, затрещали яростно безжалостные где-то спрятанные пулеметы. Черные люди, стоявшие на откосе, тоже неистово стреляли из своих ружей... а там трагическая линия теряла местами свою высоту, в некоторые моменты крики доминировала над непрерывным треском и детонацией. И вдруг что-то необычное: из ряда, почти что уже выбитого, вынырнула человеческая фигура, она не убегала, а двигалась вперед, это был мужчина, руки у него развязались, и он двигался выпрямившись, напряженный, как бы невесомый, с руками, поднятыми вверх - по направлению к ружьям: он продвинулся на десять или больше шагов, остановился и под конец упал, как сраженный молнией.

— Браво, фашист, — комментировал тихонько русский впереди.

Я не мог уже больше ни слышать, ни видеть, я потерял сознание и был в обморочном состоянии. Когда я очнулся, мы уже ехали дальше. Мрачные зарницы экзекуции загасли. Никого не было видно ни по одну, ни по другую сторону дороги. Испанец со звездой сидел около меня. Я посмотрел на него и только разглядел в полутьме его два блестящих и зловещих зрачка.

Мы ехали в том же порядке, мы посередине, а две открытых машины, прикрывавших нас, одна спереди и одна сзади. Темнота в чистом поле была еще более непроницаемой, находившиеся внутри машины люди могли видеть свои фигуры только тогда, когда мимолетно и с перерывами падали на нас лучи от фар заднего автомобиля.

Я не знаю, как долго продолжалась езда, мое состояние духа было таково, что я не мог сообразить этого. Жуткое зверство пережитой сцены погрузило меня в такую депрессию, что я только с трудом и очень смутно мог ощущать внешний мир.

Наконец машина сделала резкий поворот и с"ехала с дороги, на некоторое время дорога стала хуже, и машина отчаянно подпрыгивала, но это продолжалось недолго. Мы остановились, фары уменьшили свет, и при скудном освещении я увидел неясные фигуры, двигавшиеся вокруг нас. Мы вылезли, я вылез последним. Не знаю, от холода или от страха меня охватила страшная дрожь, и зубы у меня стучали. Ступив на землю, я мгновенно почувствовал чудовищный испуг. У меня появилось предчувствие, чуть ли не уверенность, что меня вы-

садили из машины, чтобы здесь расстрелять. По мере того, как мы продвигались в молчании, и я не видел ничего вокруг, кроме неясных фигур, очевидность того, что меня расстреляют, стала совершенно ясной в моем сознании. Все усилия отбросить эту мысль были бесполезны, наоборот, появлялись доводы, подтверждающие ее, все это было подготовлено Килиновым или кем-то, как я даже подумал, самим Дувалем - с целью убить меня.

Невдалеке я заметил слабый свет. "Это должно быть там" — сказал я себе с абсолютной убежденностью, я хотел, было, помолиться, но смог произнести только три слова. За светом я разглядел темный дом, внимательно вглядываясь в просвет между окружавшими меня фигурами, я разглядел что-то вроде навеса под крышей. Нас поджидала другая группа из нескольких человек. Вдруг произошло какое-то движение. Я ничего не мог понять. Мое состояние было таково, что я хотел, чтобы то, что должно было случиться, хотя бы и фатальное, случилось бы немедленно. Кажется, я сделал прыжок, поднялся странный шум, и в тот же самый момент нас обдала струя сильного воздуха. Я сделал несколько шагов, как бы собираясь бежать. Остальные поступили так же. Только уже на расстоянии нескольких метров от того места я дал себе отчет в том, что эта масса была - авион, и его заводили для полета. Тут я вспомнил, что Килинов говорил мне о том, что я отправлюсь в авионе. Я успокоился, но еще долгое время чувствовал слабость в ногах, ставших, как тряпки. Нам пришлось еще подождать по меньшей мере около часу. Один из русских офицеров пригласил меня на посадку, сам он шел впереди меня и поднялся по ступенькам лесенки. Я последовал за ним, ничего не спрашивая и ничего не разглядывая. Уже постепенно начинало светать.

За спиной у меня разговаривали двое очень громким голосом, чтобы перекричать шум от моторов, но я не мог их понять, я только мог разобрать, что они говорили по-русски.

Авион поднялся в воздух. Налево от меня оказалось маленькое окошко, закрытое толстым стеклом, я попытался посмотреть в него, чтобы увидеть землю или вообще то, что было видно, но мы летели в облаках и винты разбивали в лохмотья туман.

Только спустя уже целый час начало ясно вырисовываться небо в том направлении, куда мы летели. После долгих со-

ображений я удостоверился, что мы летим по направлению на восток, это возродило во мне необъяснимое доверие. Восток - это могла быть Россия: мир, дом, нищета, но, во всяком случае, реальность.

Еще прошел целый час, прежде чем наступил день, когда совсем рассвело, я успел заметить зарю, мелькнувшую через разрыв и облаках. Несомненно, это был солнечный свет, вынырнувший из серой массы облаков или из моря.

В скором времени я увидел, что восход солнца происходил с правой стороны аппарата, что говорило о том, что мы изменили направление полета к северу. "Во Францию", подумал я.

Я уже не прислушивался к разговору между моими компаньонами. Взглянув тайком, я разглядел только трех пассажиров, хотя двое, сидевших ко мне спиной, закрывали от меня третьего. Эти двое были русские, а третий был, по моему, тот испанский шеф со звездой.

Я не припоминаю ничего больше, стоящего внимания, знаю только, что я совершенно успокоился и даже очень хорошо позавтракал. Мой желудок уже обуржуазился, в Советском Союзе он умел извлекать столько прекрасных и полезных вещей из нескольких граммов жира, а теперь он уподобился тяжелой индустрии и требовал работы в крупном стиле.

День был в разгаре, когда мы приземлились. Уже в течение некоторого времени можно было различить справа от нас море, мы приземлились недалеко от него, стаи чаек разлетались перед нами в стороны. Когда аппарат остановился и уменьшился рев от моторов, то русские предложили мне выйти. По направлению, в котором бегом приближалось несколько человек в одежде механиков, а также большой грузовик с огромным крытым кузовом для груза. Еще одна группа в восемь или десять человек, вооруженная и с военной выправкой, не торопясь приближалась к нам. Впереди них шел человек, одетый в штатское. Они подошли к нам. Мои два компаньона приветствовали человека в штатском. Он им еле ответил, сделал вопросительный жест и, не останавливаясь, поднялся в авион.

Тем временем перед нами стал навтыяжку странный человек. Где же я видел его раньше? Мой компаньон разговаривал с ним знаками, он отвечал энергичными жестами, при-

глашая нас следовать за ним. Мы пошли по направлению к нескольким низким белым зданиям, окаймлявшим поле. Этот человек был вооружен парой иберийских пистолетов. Мы вошли в просторный зал с современными линиями архитектуры, но очень грязный: плевки, окурки и прочие свидетельства марксистской культуры украшали каждую пядь пола.

Наш проводник открыл дверь с правой стороны этого вестибюля, охраняемую двумя часовыми, и пропустил туда нас. Тут только я сообразил то, что мог бы уже отгадать раньше. Это был тот самый аэродром, на котором мы с Дувалем задержались на несколько часов при полете вперед, а этот тип с пистолетами был товарищ шеф над всем этим, как я теперь полагал.

Они, по-видимому, знали о нашем прибытии, ибо в этой комнате был накрыт небольшой стол, обставленный четырьмя стульями, на столе был приготовлен вкусный, обильный и питательный завтрак: яйца, птичьи ножки и рыбные котлеты. Они как будто бы отгадали, что аппетит у меня был зверский и угостили нас пищей, представлявшей смесь из продуктов, добытых в северных морях и средиземноморских воздушных просторах. Мы уселись без особых церемоний и принялись за еду, гостеприимный хозяин, наблюдавший за нами стоя, был несколько удивлен, он поджидал четвертого приглашенного и жестами спрашивал нас о том, для кого был резервирован стул. Мои компаньоны и я хорошо набили свои желудки. Когда мы собирались пить кофе, вошел без предупреждения человек в штатском, остававшийся в авионе. Двое русских почтительно встали и я также, предполагая, что дело идет о важной персоне.

Он отдал приказ по-русски. Они должны были остаться в Барселоне, а я должен был продолжать полет до Парижа. Это я ясно расслышал. Едва я успел закурить настоящую сигару, которой меня угостил гостеприимный вояка, как подошло время продолжать полет. Все провожали меня до аппарата, включая и вооруженную охрану. Я поднялся к авиньону, распрощавшись с русскими только легким жестом, испанец же, узнавший меня, поинтересовался моей раной и пощупал меня ласково и искренно за спину. Я пробрался во внутрь машины. Через дверь, сообщавшуюся с носовой частью, я увидел пилотов, манипулирующих с управлением, и винты, набивавшие

скорость. В конце кабины в плетеном кресле находился другой человек в штатской одежде, отвороты огромного пальто были подняты, и между ними скрывалась голова, он проверял документы и даже не повернулся при моем входе. Было похоже, что это капитан воздушного корабля. Корабль оторвался от земли и полетел над большим современным и очень белым городом с прямыми улицами, имевшими очень красивый вид. Вскоре он исчез из поля моего зрения, и я предался наблюдениям из окошка, отдыхая взглядом на пейзажах освещенного моря, облаков и гор. Неожиданно для меня я почувствовал на своем плече руку, другая рука указывала на какую-то точку на берегу, и в это время юношеский голос кричал мне в уши.

— Вот опять граница! Да здравствует свобода!

Передо мной был Дуваль. В руке его, которой он опирался на меня, он держал еще документы, которые недавно просматривая. Непомерно большое пальто делало бесформенными очертания его фигуры, увеличивая ее размеры. Всмотревшись в него, я убедился, что это был также тот военный с белой звездой, который сопровождал меня от самого Мадрида. Казалось, будто бы у него было мало ресниц, а между бровями, как и на необыкновенных, усах, наоборот, были накладные волосы. Его единственный золотой зуб сделался белым. Усы, нахмуренный вид, очки и пара полосок липкого пластыря, которые, скрываясь у висков под шапкой, натягивали кожу на лбу и на скулах и т.о. изменяли направление бровей, очень просто и удивительно удачно преобразили его лицо.

Дуваль был весел. Он уселся передо мной, много шутил и все время царапал себе лицо, всегда опрятное, а сейчас непривычно заросшее. Затем он начал зевать и крикнул мне:

— Извините, доктор, что я еще раз оставляю вас одного. Я буду спать.

Он моментально заснул. Шум моторов оглушал меня.

Мы опоздали с прибытием в Париж на пять часов. На аэродроме нас поджидали два человека. С паспортами не было никаких формальностей. Служащие в форме, возможно, это полицейские, а не служащие, смотрели на нас обыкновенно и ни во что не вмешивались. Ожидавшие нас люди принадлежали, по-видимому, только к охране, так как Дуваль, ставший опять Дувалем, не разговаривал с ними. Мы ехали порядочное время по дороге, опоясывающей Париж. Деревья, богатые

особняки с садами. Наконец, мы попали в район небольших и не очень шикарных отелей, мы вошли в один из них, решетка перед входом поддерживала густые заросли ползучих растений, мы пересекли маленький кусочек сада, разбитого перед зданием, и прошли вовнутрь. Любовно обставленный вестибюль и небольшой зал направо. Женщина, открывшая нам дверь, оставила нас одних, после того, как мы вошли. Дуваль, беспрестанно царапавший свои щеки, побежал мыться. Я принялся за рассмотрение окружающей обстановки, но все было на удивление нормально. Пара кресел, несколько стульев, столик, маленький шкаф с книгами, несколько картин. В части, противоположной окну, снабженному решетками (это была деталь, которая никогда не ускользала от меня), находилась дверь с тщательно вымытыми стеклами.

Немного спустя пришла та же женщина и сказала мне по-французски, что, если мне угодно, то я могу помыться в соседнем помещении, она принесла один из моих чемоданов, затем еще другой и маленький, подаренный мне генералом Килиновым. Увидев его, я подумал о том, что надо будет сообщить Дувалю эту подробность и передать разговор, связанный с этим подарком.

Я еще мылся, когда он вернулся. Мы прошли в столовую, вид которой был подчеркнуто более буржуазный. Мебель была старая, но в хорошем состоянии, все прибрано и чисто. Мы стали завтракать, и я спросил Дувалья, могу ли я с ним говорить, но он ответил, что потом. После завтрака мы вернулись в кабинет, где нам было подано кофе и коньяк.

При первом же глотке Дуваль откинулся на спинку маленького кресла и сказал мне:

— Рассказывайте, рассказывайте, доктор.

Насколько мог правдиво, я передал все происшедшее и все сказанное и слышанное мною. Он перебил меня только несколько раз, желая узнать некоторые детали. Когда я ему сообщил номер телефона, то он попросил меня подождать, чтобы записать его. Когда же я дошел до эпизода с письмом, которое я должен был передать, то он подскочил и воскликнул:

— С этого-то вы и должны были начать. Давайте, давайте, где оно?

Я принес чемоданчик из номера, открыл его и предложил ему извлечь письмо, предупредив предварительно, что оно бы-

ло запрятано в дно.

Дуваль пощупал пальцами, но я видел, что он не обнаружил письма. Он взял чемоданчик и подошел с ним к окну, чтобы лучше видеть, стал опять ощупывать дно, но с тем же результатом. Я заметил, что он нервничал и был несколько возбужден. Под конец он поставил чемоданчик на подоконник, засунул свою руку под левую мышку и извлек длинный и тонкий стилет. Нагнувшись, он стал им орудовать, и я услышал, как он им что-то развязал. В результате он показал мне конверт. Это был конверт обычного размера, и он был заклеен.

Он осмотрел его и внимательно расследовал, как бы надеясь отгадать его содержание, не вскрывая его. Я, несведущий в этом деле, попрекнул его:

— Что вы делаете и почему не открываете?

Он глянул на меня, не произнеся ни слова, и я догадался по его взгляду, что он посчитал меня идиотом. Тогда я посмотрел внимательней и заметил, что в руке у него был платочек, которым были обернуты большой и указательный пальцы, т.е. именно те пальцы, в которых он держал письмо. Мне это было непонятно, так как не думал же он, что в этом конверте находился знаменитый яд Борджиев, я воздержался от того, чтобы произнести эту гипотезу вслух, ибо не хотел сделаться опять мишенью для его повторного взгляда. Он не вскрыл конверта, а взял кусок бумаги и завернув его, тщательно запрятал во внутренний карман пиджака, а затем удостоверился, хорошо ли застегнута пуговица карманчика и тогда уже спрятал кинжал.

— Хорошо, доктор, я посмотрю, что там внутри. Я уйду сейчас, постараюсь вернуться пораньше.

Он сделал несколько шагов по направлению к двери, но не дойдя до нее, вернулся:

— А, доктор! Ваша работа довольно хорошая, я и не ожидал столько, знайте, что вы обманули не более и не менее, как человека, который в течение долгих лет был шефом Военного Советского шпионажа... Поздравляю вас... Я сообщу об этом в Центр... Это крупное сообщение для списка ваших услуг...

Закрывшаяся дверь скрыла от меня его лицо с промелькнувшей на нем тонкой улыбкой.

ВЫЯВЛЕНИЕ ТРОЦКИЗМА

Я был бы очень рад, если бы вместе с этим солнечным лучом вошли мои дочери и приветствовали меня. Я сам себе сказал: "Добрый день, папа".

Вслед за этим я поднялся и, не dokonчив еще одеваться, потребовал завтрак. Что за странная прожорливость появилась у меня! Ну раз так, то пусть уж она и не покидает меня!

Я почувствовал себя сильным и почти что оптимистом. Чувство опасности проследовавшее меня в предыдущий промежуток времени, рассеялось совершенно в данный момент и уступило место ощущению "хозяина мира", которое я уже испытывал раньше во Франции. Пожалуй, любой агент Сталина чувствовал себя в стране III-й республики, как настоящий Юпитер на настоящем Олимпе. Пожалуй, Дуваль казался мне хозяином Парижа. Я вернулся в свой кабинет и высунулся из окна, но зеленая вьющаяся стена ограничивала панораму и из-за нее я только и мог видеть эти несколько квадратных метров садика. Через занавески я смог рассмотреть человека, вошедшего в дом, и затем услышал его шаги в вестибюле. Он довольно долго прогуливался взад и вперед, затем, видно, уселся, так как я слышал его кашель и скрип кресла. Я предположил, что это прислали для меня персональную охрану.

Чтобы убить время, я выбрал себе книгу в маленьком шкафу. Мне не понравилось, что все книги были коммунистические. Наверное, владелец дома был активистом, но несомненно и то, что партийная дисциплина за границей не была такой строгой: так имелось несколько еретических книг, вроде творений Троцкого, Каутского, Прудона и т.д. Само собой разумеется, что преобладала ортодоксальная литература, полное собрание сочинений Ленина заполняло две полки, и в обязательном порядке тут было три или четыре тома Сталина, эти последние, наряду с классиками Марксом, Энгельсом и Розой Люксембург - составляли ортодоксальное целое, ибо советский каталог осудил на сожжение очень многие произведения одного за другим выявленных главарей из числа: Зиновьева, Каменева, Радека и др. Таким образом, из живущих еще авторов

только эти четыре тома Сталина составляли красную библиографию, а остальные книги были исключительно творения умерших, умерших натуральной смертью, думаю, что они сохранялись именно потому, что, как умершие, они не могли уже использовать свою литературу с целью оспаривать власть у ее незаконного захватчика - Сталина.

Ясно, что имелось еще около сорока или пятидесяти книг, рассматриваемых, как ортодоксальные, но это были авторы, гораздо менее значительные с политической точки зрения. Одни - русские, другие - иностранцы, но все это люди незаметные для истории и не имевшие личного влияния ни в партии, ни в массах. Это все были писатели, подвергавшиеся цензуре и писавшие, вероятно, за плату.

Я выбрал из всего этого книгу Троцкого. Меня интриговало то, что я очень много слышал в последнее время о троцкизме, и то, что как мне сказали, он имел даже влияние на мою жизнь, подвергая ее опасности, я хотел использовать эту единственную оказию, чтобы что-нибудь узнать, ибо в России мне бы было невозможно читать подлинники на эту тему. В этом издании было небольшое предисловие в шесть или восемь страниц, предназначавшееся для французского издания. Там же было другое предисловие из оригинального русского издания. Его заголовок: "Куда идет Англия?" представлял для меня большой интерес после того, как я слышал об этом - правду или же неправду - от Дувалья. Я не сомневался в том, что если он говорил правду, то здесь я найду подтверждение этому.

Мое разочарование было велико. С первых же слов Троцкий начал производить безжалостную вивисекцию Англии. Где же был союзник, о котором мне говорил Дуваль?

Я не имел возможности делать заметки, и поэтому, может быть, буду неточен при попытке воспроизвести некоторые фразы Троцкого... У меня, тем не менее, хорошая память на слова, и еще лучше на суждения - смысл. Некоторые фразы я не запомнил точно, но отвечаю за верность смысла.

В первых же строчках Троцкий повествует о том, что книга его о будущем Английской Империи была, квалифицирована британской прессой, как сумасшедшая советская фантазия. "А затем - думал я - какая общность или близость может быть между Англией и Троцким?

Затем в следующем параграфе он взывает к интернацио-

нальной поддержке для облегчения победы английских забастовщиков. Что это такое? Было бы вполне логичным, в случае, если Троцкий был союзником империализма, чтобы он старался саботировать революцию в Англии всеми мерами. "Революционное движение в Англии сделает скачок вперед". Это, как мне кажется, я запомнил буквально, еще и следующее: "Британский пролетариат колоссально отстал в идеологическом отношении благодаря надувательству буржуазии и фабианцев. Теперь он сильно продвинется вперед. Англия поспела для капитализма уже давно".

Если согласиться с тезисом Дуваль, то все это абсурдно.

Хотя русское предисловие было короче, но я считал его гораздо более содержательным. Не знаю, удастся ли мне высказать полностью проводимые там мысли, ибо это написано достаточно неясно.

В нем чувствуется предпосылка, утверждающая ту мысль, что Соединенные Штаты и Англия - это как бы две звезды, взаимно похищающие друг у друга блеск.

"В Англии же начинается революция, ибо капитализм дожил в ней до своих сумерек".

Но самое необыкновенное, почти что единственное, нашел я главным образом в следующих словах, которые я перечитал несколько раз, чтобы удержать их в своей памяти: "Кто толкает Англию к революции? Не Москва, а Нью-Йорк. Соединенные Штаты могут расширить свою империю только за счет Англии."

А затем дальше слова, поразительные в устах Троцкого: "На, сегодняшний день Коминтерн является делом почти что реакционным по сравнению с огромной Нью-Йоркской биржей, вот где, говоря по правде, куется европейская революция."

Дойдя до этих пор, я остановился, охваченный полной растерянностью. Искренность коммуниста Троцкого была очевидной. Его революционной целью было разрушение последней цитадели капитализма, разрушение Америки. Почему же Дуваль обвинял его в союзе и сообщничестве с этим капитализмом, главным образом с Англией? Это была только политическая уловка, оправдание борьбы и своего поведения. В итоге - услуга Сталину, помогающая ему на сегодняшний день удерживать силу и власть.

Во время этих размышлений я услышал, что под"ехал автомобиль и остановился около решетки. Я стал у окна, наблюдая, как тот человек, которого я видел раньше, быстро направился к решетке, глянул в глазок и сразу же открыл ее. Это был Дуваль. Я видел, как он шел по каменной дорожке садика. Затем он исчез из моих глаз затем непосредственно вошел в мою комнату.

Он весело и живо приветствовал меня.

— Отдохнули после дороги? Я был здесь ночью, но заметив, что вы крепко спите, не хотел будить вас. Да и ничего, в сущности, особенного у меня и не было для сообщения вам... А что это такое? — взял он в руки книгу Троцкого. — Наслаждаетесь этим бандитом?

— Я взял его случайно — извинился я. — Вы знакомы с ним? Не кажется ли вам это интересным?

— Конечно, знаком, доктор, я читал Троцкого сразу по выходе его из печати, имея разрешение партии. Мы, сражающиеся в передних рядах, должны знать врага. Что же вы прочитали? — спросил он, перелистывая том.

— Очень мало, кое-что из предисловий.

— Это самое лучшее в книге, лучшее - буквально. Здесь Троцкий в своей силе, мессианизм приобретает библейский акцент под его пером. После Дизраэли никто не ударял по этим струнам с большим талантом, чем он.

— Вы удивляете меня, Дуваль — осмелился я сказать. — Это ведь элегия врагу номер первый!

— Элегия? Справедливость, не более не менее, как справедливость, в политической борьбе всегда будет ошибкой недооценивание значения и силы противника, во-первых, потому, что могут быть предприняты усилия, недостаточные для его поражения, во-вторых, потому что, если победим, то будем считать наш триумф средним, а если будем побеждены, то всегда будут считать нас трусами и глупцами. Справедливое суждение о враге - это всегда есть также и суд над собой.

— Я нашел его теорию великолепной. Ну а теперь, если вы разрешите мне говорить об этих вещах, то я должен вам сказать, что в этом небольшом прочитанном мною кусочке, я нахожу явное противоречие между тем троцкизмом, который здесь выявляется, и тем, который нарисовали мне вы... Не думаю, чтобы многие высказывались с такой яростью, так апо-

калиптично, против Англии. Как это об"яснить?

Дуваль посмотрел на меня полу-иронически, полу-удивленно, как бы желая измерить досягаемость моего вопроса, и затем сказал:

— Доктор, избегайте головолomных задач. Не вдавайтесь умом в эти вещи: достаточно тяжело уже вам быть включенным в эти дела практически. У вас нет никакой подготовки, но все-таки я рассею ваши сомнения несколькими словами или, по крайней мере, уничтожу навсегда ту веру, которую вызвали в вас несколько фраз Троцкого. Я очень хорошо знаю, какой дьявольский эффект производит в мозгах людей мало-подготовленных этот "король полемиков", как его назвал Шоу. Только один вопрос: "Когда была написана эта книга?"...

Он дал мне ее, и я посмотрел дату французского пролога:

— Май, 1926 года.

— Май 1926 года во французском издании? А русское было, конечно, гораздо раньше. Говорят ли вам что-нибудь эти даты? Вы так наивны, что не имеете ввиду даты в политической книге? Эта книга была написана Троцким, когда он был у власти: был председателем Верховного Военного Совета, генералиссимусом Красной Армии, Военным Комиссаром, определенным наследником Ленина. И это для вас ничего не значит? Это низвержение Англии, которое он предсказывал и подтверждал в то время, кому оно было на пользу в то время? Скажите-ка, доктор?

— Коммунизму, СССР, не так-ли?

— Доктор, видите ли, что у вас нет даже самой элементарной подготовки? Такой точно ответ дал бы любой колхозный работник. Это вот насчет "коммунизма", а также "СССР" - какое значение может это иметь для Троцкого? Голые формы, голые средства. Я не отрицаю важности политических форм, не отрицаю важности средств, ибо я не недооцениваю их значения, поскольку они соответствуют цели, но спасая этот аспект, надо сказать, что формы и средства - это только инструменты для искусного политического маневрирования, чтобы добиться цели. Какова цель Троцкого? Одна, одна единственная: он сам ворочает теперь всей существующей политикой - причем Божественное вмешательство исключается навсегда, цель одна: власть, господство. Мог ли Троцкий действовать в то время, тогда он был хозяином этой власти в ее значитель-

ной части и рассчитывал завладеть ею целиком, так же, как и теперь, когда он оскорблен, преследуем и находится в постоянной конспирации, чтобы вернуть себе власть? Нет, ясно, что нет. Кому нужна теперь революция в Англии? Коммунизму, СССР? Очевидно: для Троцкого коммунизм и СССР - это только "форма" и только "средство", и в реальности это было бы на руку только Сталину. А вы считаете этого недостаточным, чтобы он изменил свою политику? И больше ни слова, доктор, мы зашли слишком далеко.

Я замолчал. Слова Дувалья кружились в моем мозгу и не укладывались никак: но я не мог отрицать того, что его "диалектика" соперничала с диалектикой Троцкого. "Как запутана политика! — подумал я. — Гораздо больше, бесконечно больше, чем вся органическая химия, я это отлично вижу..."

Дуваль говорил все это стоя. Теперь он сел и, закулив папиросу, сказал мне совсем другим тоном:

— Давайте поговорим о разумных вещах.

— Хорошо, станем разумными — согласился я.

— Натурально, доктор, что вы желали бы продолжать? В данный момент вы незаменимы в другом деле.

Я ответил только неопределенным жестом.

— Я вскрыл конверт. мало интересного, в нем была только небольшая белая бумажка. Вы не видели, как ее вкладывали?

— Нет, вы уже знаете, вам я рассказывал. Я не видел даже и конверта: генерал об"яснил только мне, что он спрятал на дне чемоданчика.

— Там ничего не написано, разве что там написано что-нибудь какими-то симпатическими особыми чернилами, но в этом случае его нельзя обрабатывать кислотами, оно бы испортилось и стало негодным... Мы нашли только одну вещь, рассматривая бумагу под микроскопом: следы пальцев...

— Наверное, самого генерала? — спросил я.

— Вы не сможете угадать... Я себе этого не мог представить, следы мои, представьте себе!

— Необыкновенно!

— Мое внимание привлекло то, что бумага, находившаяся в конверте, была заключена в другую целлофановую бумажку, очень тонкую и по размерам точно такую же. Это обычно делают так техники в том случае, если они хотят убе-

речь что-нибудь от контакта, и это навело меня на мысль, что тут могут быть отпечатки, проявлять их было невозможно, ибо в этом случае бумажка стала бы негодной, и мы воспользовались нашей лабораторией.

— А как же вы узнали, что это были ваши?

— Совершенно случайно. Я их тщательно проверял, и в этот момент один из моих помощников мне что-то сказал, я отвел свои глаза от объекта, а затем сразу же стал опять наблюдать, я не увидел отпечатка и, думая, что бумажка выпала из аппарата, стал инстинктивно шарить рукой по столу, нашел какую-то и положил в аппарат, я нашел там отпечаток и воскликнул: "Этот гораздо лучше". Другой мой помощник спросил: "Какой отпечаток?"... Я поднял опять глаза и увидел, что он держит бумажку пинцетом и изучает ее на свету, поскольку он был специалистом по "махинациям" с бумагами. "Какой же отпечаток рассматривал в таком случае я? - подумал я, я подумал о том, что в момент, когда, я отвлекся, я изучал очень характерный рисунок на бумаге Берзина и что я обратил на него особое внимание.

— Что за бумага Берзина? — спросил я с удивлением.

— Да генерала Берзина — машинально пояснил Дуваль и стал рассказывать дальше: — Я опять стал рассматривать бумажку, положенную по ошибке и эта ошибка дала мне ключ, ибо я сделал вывод, что оба отпечатка имели несомненно одинаковую характеристику, мы втроем устроили консультацию, эта бумажка была из лаборатории, конечно, только кто-то из нас троих мог ее трогать, мы стали изучать наши собственные следы от пальцев, сомнения не было: это был один из моих, отпечаток от моего указательного пальца, который я ошибочно положил в аппарат, соответствовал в точности тому, который был на бумажке, переданной вам Килиновым. В первый раз я подумал, что я по неосторожности сам тронул бумажку, это беспокоило меня порядочное время, но нет, когда я дал себе отчет в том, что там был отпечаток моего указательного пальца на левой руке, то я отказался от этой мысли, я дотрагивался до конверта только моей правой рукой, заворачивая пальцы в платок, а содержимое брал только пинцетом, я удостоверился в этом еще больше, когда определил, как свои, до восьми отпечатков: шесть с одной стороны и два с другой стороны бумажки, я не смог бы этого сделать даже во сне, и для этого

надо было бы ее все время щупать, ну и так не оставалось сомнения в том, что следы были мои, а я никогда не имел в руках такой бумажки. Что вы на это скажете, доктор?

— Я не знаю даже, что и думать, что это именно та бумажка, которую вложил генерал в чемоданчик, это несомненно, она там была, и соответственно он дал мне пояснения что это за сорт бумаги?

— Это бумага не простая и не употребляемая для писем, имеет точно двенадцать сантиметров ширины и девятнадцать сантиметров длины, она не характерна и не употребляется в учреждениях, если уж и похожа, то больше всего на ту бумагу, которая употребляется для копий на машинке... Я не знаю, какого типа бумага употребляется теперь в Испании, пожалуй, идет в ход любая: но я не держал в руках этой желтоватой бумажки, я в этом уверен, это бумага с одной стороны более шелковистая, а с другой более шероховатая, для чернил вряд ли она годится... Не припоминаете ли вы, чтобы где-нибудь в наших помещениях вы видели подобную бумагу?

— Не помню совершенно — отвечал я. — Я там видел только русские газеты и книгу, которую дал мне этот человек из "комитета".

— Но следы на самом деле мои, один из моих помощников - первоклассный эксперт, и сомнения тут нет... Дуваль сделал жест, как бы отряхиваясь от навязчивой мысли, ну, перейдем к другим делам... Поймите, доктор, что только следя за дальнейшим, мы сможем узнать намерения генерала.

— Ясно — подтвердил я, — уж поглядим, для чего это Гольдсмиту понадобилась эта бумажка.

— Другого средства нет, и кроме этого надо узнать, кто он такой, это, по-видимому, интересный тип.

— Кто же он такой?

— Вероятно, его имя, данное вам, фальшивое. Но это не важно, думаю, что опознать его будет не трудно. Ясно, что надо потрудиться, например, телефон, данный вам, принадлежит общественному учреждению, как я проверил это по нашей картотеке. Но перед вами-то он появится сам персонально.

— Значит — заметил я, — надо решительно идти вперед? Центр согласен на это?

Дуваль посмотрел на меня снизу вверх и сухо ответил:

— Это вне вашей компетенции, за ваши действия отвечаю я, имейте это в виду, и я думаю, что не было нужды вспоминать вам об этих верхах. Мне кажется, что вы бы себе не позволили вопросов подобного рода, если бы имели дело, скажем, с Мироновым. Вы находитесь в таком положении - и должны были бы уже это хорошо знать, - в котором вашей обязанностью является только послушание, само собой разумеется, не просто пассивное послушание, но со вложением в ваши действия всего внимания и желания. Я был вполне удовлетворен вашим поведением в Мадриде, но сейчас... Не думаете ли, что я должен сообщить в Центр эти ваши мысленные оговорки, которые отражают ваши слова.

Он продолжал бы еще, но я прервал его своими протестами покорности. Какой другой путь мне оставался? Он остановился, сосредоточился на один момент и опять вернулся к прежнему положению, стараясь подобрать нить прерванных размышлений. И, как бы говоря про себя, продолжал:

— Нет сомнения в том, что он имеет намерение в качестве первой предосторожности навести мне удар. Это кажется мне вполне логичным, и я этого ожидал. Я дал для этого добросовестный повод. Мое саморазоблачение и мой автодонос при помощи вас, как шпиона генерала, должны были вызвать две реакции, удаление меня, используя для достижения этого вас, как сообщника. До этого момента факты соответствуют моим предположениям. Но тут появляются два неизвестных: какое средство хотят употребить они для моего удаления? и до какой степени они вам доверяют? Для вывода в отношении первого — обладаю только этой бумажкой с отпечатками, которую вы привезли сюда. В отношении второго - я более оптимистичен. Предположение или реальное заболевание Ежова подняли доверие к вам, как к человеку, по крайней мере, осмотрительному: быть может, дистанция и понятное отсутствие деталей со стороны Берзина...

— Берзин? — перебил я. — Я уже вторично слышу от вас эту фамилию. К кому она относится?

— Хорошо — ответил он мне, несколько недовольный — это у меня вырвалось! Берзин — это настоящая фамилия генерала Килинова, знайте уж, раз вас это интересует, но как я говорил, он, кажется, принял вас за человека, включенного и действующего с полной сознательностью в конспирации, этот

вывод я делаю на основании его поведения с вами во время вашего первого разговора вдвоем, для этого имелась только одна возможность, которую я и попытался реализовать, распорядившись вам насчет доноса на меня. Кажется это дело удалось довольно хорошо, при наличии вашей некомпетентности в этих делах и при наличии проницательности и изворотливости у генерала, что я за ним признаю. Вот какова ситуация. Надо ее использовать! Их положение более выгодное. Завтра вы позвоните по этому телефону, и согласно ответу мы будем решать.

Он встал и, забрав свое пальто, вышел.

На следующий день я проснулся очень поздно. Я уже успел позавтракать, когда пришел Дуваль, и мы снова заперлись в кабинете. Но конференция не затянулась надолго. Он ограничился тем, что посоветовал мне надеть галстук и приобрести немного более приличный вид, так как мы должны выйти. А в действительности, как раз ему надо было бы провести себя в порядок. Он был небрит в течение семи или восьми дней, и волосы были у него плохо причесаны. Я заметил, что он подогнал одинаковый рыжеватый тон для бороды и для волос и казался натуральным блондином, на нем были очки с слегка синеватыми стеклами, и трудно было точно установить цвет его глаз.

Кроме того он, всегда так утонченно одетый, сейчас имел на себе костюм если не плохой, то очень заношенный, по отворотам было видно, что утюг не касался его с давних пор, его наряд дополнялся очень запятнанным галстуком. В тот момент, когда он открыл рот, меня ослепили два его верхних резца своим золотым отблеском, это придавало ему во время разговора очень своеобразный вид. Только тот, кто его хорошо знал и наблюдал вблизи, мог бы его узнать. Я сообразил все это, приводя в порядок свою внешность. Когда я окончил, он дал мне спрятать конверт Килинова, который, по моим наблюдениям, не имел никаких признаков того, что он был вскрыт. Когда мы приготовились выходить, то он сказал мне:

— Вы позвоните по этому номеру из указанного мною учреждения, смотря по тому, что ответят, я буду решать. Если вас пригласят на свидание немедленно, придумайте какой-нибудь предлог и не соглашайтесь на него раньше завтрашнего дня, а самое скорое можете согласиться на сегодняшний

вечер. Понятно?

Его распоряжения были несложны, и не было необходимости повторять их еще раз.

Мы вышли. Охрана осталась в садике. У ворот стояло ТАКСИ, и мы сели в него. Во время пути мы не обменялись ни одним словом. Не знаю, на какой улице - мы вышли с Дувалем и прошли в бар под предлогом выпить кофе. Было очень мало людей. Мы выпили у прилавка две рюмки коньяку и направились к телефонной будке, расположенной внизу, наконец, сняли трубку, и я спросил Гольдсмита, на некоторое время воцарилось молчание, во время которого до меня долетал шум посуды и разговоров, а затем мне сказали:

— Будьте добры позвонить точно через пять минут. От чьего имени должен я доложить?

— От одного из друзей Килинова — ответил я.

— Хорошо, кладите трубку.

Я положил и сообщил Дувалю о том, что мне было сказано. Он ограничился тем, что стал смотреть на свои часы, чтобы следить за временем. Когда прошло пять минут, он велел мне опять позвонить. Мне ответил тот-же самый голос. Я опять назвал фамилию Гольдсмита.

— Это тот господин, который говорил раньше, да? — Я подтвердил, и мне ответили: — Доктор мне сообщил, что будет иметь удовольствие принять вас завтра: вас встретят у главного входа в Собор Парижской Богоматери в три часа вечера. Вы должны будете держать в правой руке номер газеты ПРАВДА, а в левой носовой платок. Договорились?

Я подтвердил и слышал, как повесили трубку. То же сделал и я.

— До завтрашнего дня в три часа, у входа в Собор Парижской Богоматери — пояснил я Дувалю. Он ничего не ответил, и мы вышли. День был очень плохой. Нас поджидало ТАКСИ, и мы уселись в него.

— Мы располагаем целым вечером — сказал Дуваль. — Я ничего не проектировал на сегодня, так как не знал, потребуется ли мне действовать немедленно. Я в вашем распоряжении, имеете ли вы что-нибудь в виду?

Я заметил, что Дуваль намеревался развлечь меня. Я не ожидал того обстоятельства, чтобы предоставилась возможность располагать всем этим временем, и чтобы принять ка-

кое-нибудь решение, предложил пройтись пешком по центральным улицам, так как парижские магазины представляли собой для меня необычайное зрелище после долгих лет, прожитых в России. Он не согласился.

— Мы не выйдем из такси. — Показывая на себя, он добавил: — Не видите разве, какой у меня вид? Я согласен на какое-нибудь скромное заведение, где мы сможем что-нибудь выпить, затем - хотя бы зайти в какое-нибудь кино.

Поскольку у меня не было выбора, а план его мне понравился, я с удовольствием присоединился к его мнению. Во всяком случае, не нужно было возвращаться в мое жилище, напоминавшее мне тюрьму.

XVII

ГОСПОДИН ГОЛЬДСМИТ

Я появился в условленном месте с хронометрической пунктуальностью, держа на виду ПРАВДУ и платок. Так же пунктуально под"ехало ТАКСИ к этому же самому краю тротуара. Изнутри высунулась рука, подзывавшая меня. Я влез в такси без колебаний. Не дожидаясь моего распоряжения, машина тронулась. Мой спутник сделал мне легкий поклон, но не заводил со мной разговора. Мы ехали минут пятнадцать или двадцать, и машина остановилась перед скромным баром, расположенным на улице второстепенного значения. Мы зашли в заведение, не останавливаясь для выпивки, быстро прошли внутрь помещения через дверь, находившуюся с левой стороны за длинным прилавком. Я думал, что тут где-нибудь в заказанном месте состоится наша беседа. Но было не так. Этот человек открыл какую-то дверь, и мы вышли через нее. Мы очутились в вестибюле невдалеке от под"емника, на котором и поднялись на несколько этажей вверх, он позвонил, и нам немедленно открыли. Я думал, что уже прибыл на место свидания. Я ошибся вторично. Мы прошли через коридорчик, небольшой зал, столовую и еще один коридорчик, человек, открывший нам дверь, остался сзади, и мы больше никого не видели. В конце другого коридорчика он открыл дверь и пригласил меня пройти, затем мы вместе вышли и спустились по лестнице — как я решил, по черной лестнице, спустившись на три этажа вниз, мы вышли на другую улицу. Там поджидало нас другое ТАКСИ, мы уселись в него и оно сразу же тронулось. Я был поражен всем этим. Маневр для сокрытия следа от преследователей был великолепно. Человек продолжал молчать. Я дал себе отчет, что мы выехали на окраину Парижа: дома были уже низкие и моментами прерывались, а в пережку с ними попадались постройки типа шале. Перед одним из таких и остановилась машина. Тип вылез раньше и позвал меня к себе жестом. По-видимому, нас поджидали, ибо дверь решетки открылась сама и звонить не понадобилось. Мы прошли, и обойдя изгородь, скрывавшую дверь шале, вошли в него. Дверь была полуоткрыта, и я должен был пройти первым.

Горничная, встретившая нас, оставила на короткое время нас одних в вестибюле и затем вернулась, чтобы сказать мне священное: "Господин вас ожидает". Я пошел вслед за ней, и она ввела меня в помещение, расположенное напротив. Свет был скудный, так как его задерживали плотные портьеры и занавеси. Я хорошо различил силуэт стоящей мужской фигуры, подходившей ко мне с протянутой рукой. Он приветствовал меня обыкновенным мягким и слабым голосом. Я ответил ему и уселся по его приглашению. Это был человек, на вид лет пятидесяти: одет он был хорошо, но без изыска, на нем были очки без оправы, скрепленные двумя тонкими проволочками. Это был довольно характерный русский тип. На столике, стоявшем между нашими двумя креслами, лежало несколько журналов по экономии, что видно было из заголовков.

— По поручению от генерала? — намекнул он мне слегка.

— Да, я выполняю поручение генерала Килинова, — подтвердил я. — Я не мог посетить вас раньше в силу естественных затруднений.

— Хорошо, хорошо... — Пробормотал он с легкой улыбкой — Ну и как там идет все это?

Я но знал, к чему относилось "все это" и ограничился неопределенным ответом. Не стоит труда записывать то, о чем мы говорили в течение первых пятнадцати или более минут. Я был разочарован, после интригующей подготовки к свиданию я ожидал чего-то необыкновенного, из ряда вон выходящего, а этот человек скользил по просторному полю неясностей с видом блаженного и с такой естественностью, что могло казаться, будто он выполняет обязанность, принимая обычного посетителя. Он не впал в глупую ошибку и не заводил разговора о погоде, но о произношении буквы "J" в испанском языке разговор был. Я начинал терять терпение. У меня были инструкции Дувала в том смысле, чтобы занять выжидательную позицию, или как он, кажется, выразился, "боксировать в обратном направлении", но этот господин вел себя так, будто бы он ничего не хотел сообщить мне и будто бы я для него ничего собой не представлял, не было никакого распорядка, его близорукие глазки смотрели на меня с усиленным интересом, желая быть приятными и вкрадчивыми, только время от времени он бросал косой, беглый взгляд на какую-либо часть моей фигуры: это было для

него типично, так же, как и его личная манера приближать свое лицо со спокойным видом к собеседнику, воодушевляя его таким образом на дальнейший разговор, хотя бы и безобидный. Можно было хорошо заметить, что жест этот был вполне натурален и не был явлением временным, на его очень большом и закругленном лбу я не мог приметить даже самой легкой неестественности в его усилиях. Все же эти наблюдения, на которые у меня было времени более чем достаточно, не утешали меня за отсутствие волнения в том момент, момент, которого я так ждал, и для которого должен был сосредоточить всю свою умственную энергию в течение всего утра.

Довольно резким движением и без словесной подготовки, для которой я не подобрал момента, я засунул руку во внутренний карман и без дальнейших рассуждений вытащил конверт.

— В сущности — сказал я одновременно, — это моя миссия: вручить вам это письмо.

— Премного благодарен, сударь — поблагодарил он меня с любезнейшей улыбкой и взял его в руки.

Я думал, что он его немедленно вскроет, но нет. Он взял его очень деликатно и играл им, держа в руках. Так продолжал он делать и дальше, как бы побуждая меня к дальнейшему разговору, а сам в это время постукивал краем письма о свой большой палец левой руки. Мои нервы больше не выдерживали.

Так продолжалось еще некоторое время. Затем он встал не торопясь, попросив у меня на это разрешение. Он подошел к письменному столу повернувшись ко мне спиной, думаю, что он взял разрезной нож и вскрыл конверт, он зажег настольную электрическую лампочку, чтобы проверить содержимое, он хорошо осмотрел его и затем повернулся ко мне со вторым целлофановым конвертом в одной руке и с разрезным ножом в другой. "Что все?" — спросил он меня без комментариев. Я подтвердил наклоном головы, которого он, видно, не заметил, и задал мне вопрос вторично. Затем он подошел ко мне.

— Вы давно уже знакомы с генералом? Может быть еще из Москвы?

— Нет — отвечал я, — я познакомился с ним в Испании,

раньше я его никогда не видел.

— Кто вас представил?

— Один человек из НКВД.

— Обоюдный друг, несомненно?

— О, нет...

— Интересно... А как же, значит?

— Очень сложное дело, сударь.

Я не могу вспомнить сейчас, как я выкрутился, рассказывая историю этих последних месяцев, историю реальную, настоящую, со всякими правдивыми обстоятельствами, такую, чтобы при возможной проверке ей можно было бы доверять. Естественно, что я пропустил в ней все распоряжения Дувалья, хотя и короткие, но красноречивые. Ничего не было сказано о моем признании Ежову и о махинациях Ягоды, также о том, что сообщая Килинову о шпионаже Дувалья, я выполнял распоряжения последнего. Ничего о незаконном лишении свободы моей семьи: это должно было быть делом Ежова. Ничего о том, что Дуваль вернулся со мной из Мадрида. Ничего о его полном изменении своей наружности в настоящий момент. Ничего о месте своего пребывания, в случае вопроса о моей квартире, я должен был назвать Посольство.

Хотя я и пытался сократить свой доклад, но он был довольно длинным: я ни разу не заметил признаков усталости или скуки на лице моего слушателя. Наоборот, по его поведению я видел, что интерес не угасал в нем ни на одну минуту. Правда, он не проявлял чрезмерно своих чувств, но выражение его лица было неизменно радужным, любезным и заинтересованным, каким оно было с самого момента моего прихода. Он не перебивал меня. Он раскрыл свой рот только тогда, когда уже хорошо понял, что я довел свой рассказ до конца.

— А вы, доктор, думаете, что болезнь Ежова смертельна?
— был его первый вопрос.

— Невозможно дать обоснованный ответ — уклонился я, — я не видел "пациента" и у меня не имеется сведений по этому вопросу. А вам известны какие-нибудь конкретные детали?

— А этот Дуваль, — начал он опять расспрашивать меня, — какие распоряжения дал он вам по своему прибытии

— Он посетил меня только пару раз, он просто сказал мне, что нам нужно выждать время.

— Время, для чего?

— Предполагаю, что для дела Миллера.

— Но предпринималось ли что-нибудь по этому делу, а также по другому?

— Абсолютно ничего.

— И даже по поводу покушения на вас?

— Об этом тоже не говорил, я уже вам говорил, что, по-видимому, официально, дело считается законченным.

— А что вы скажете, доктор, если я буду утверждать, что автор покушения не троцкист?

— Значит, кто-то из "белых".

— Белых? Почему?

— Если бы они знали, что я...

— Они бы знали... о чем?

— О проекте похищения.

— А как же могли бы они об этом узнать?

— Пожалуй, при помощи своего шпионажа.

— Шпионаж у белых? Бедные неудачники. Что они могут знать?

— Ну так... кто же хотел убить меня?

— А как вам кажется, кто?

— Я не знаю, кого подозревать. Может быть, фашистов? Как вы думаете?

— Кто? Наци? Какое им до этого дело?

— А Миллер не в союзе с ними?

— И вы тоже верите измышлениям советской прессы? Разве не легендарна ненависть этих белых генералов ко всем немцам? Не наследовали ли они ее от своего царя? Разве они не обвиняют их в помощи большевикам, победившим благодаря заплombированному вагону? Где же Кутепов? А где находится Миллер: в Берлине или в Париже? скажите-ка, и, заканчивая, он сделал жест, как бы подчеркивая очевидность сказанного.

— В таком случае... вы, как видно, знаете об этом, скажите мне, пожалуйста. — В этот момент я был вполне искренен.

— Я знаю? Я только могу быть уверен в том, что правильно разбираю предположения. Разве я еще что-нибудь делал кроме этого?

— Да, конечно, — должен был я согласиться.

— Самое худшее в делах этого рода, что они не удаются

из-за французской поговорки "cherche la femme", не правда ли? Все это гораздо сложнее,

— Остается гипотеза насчет Москвы... нет?

— Москва? ГПУ? Почему? Разве они не могут заставить вас вернуться? и там... там... любят, что бы люди говорили. так ведь?

— Какое же ваше мнение?

— Личные враги, нет, перед нами история, о которой можно думать что угодно. Помешать тому делу, которое вы должны были реализовать с Миллером... Логично это? Но помимо логики существует нечто большее: кто-то предупредил Миллера... В точности с этого же самого числа он перестал доверять Скоблину.

Не красноречиво ли это? Мне ничего не было сказано и даже Дуваль не мог об знать... вы уверены?

— Тут полная очевидность и даже больше: Миллера предупредил генерал Добровольский. Но кто предупредил Добровольского? Это старикашка, стоящий вдалеке от дел, связанных со шпионажем, он сказал то, что сказали ему, и больше ничего.

— А если дело обстоит так, то не откажетесь ли вы от гипотезы насчет "белых"?

— Да, теперь да. Сообщение было сделано после покушения на вас, через один или два дня. Миллер был доверчив, как всегда, вплоть до того момента, когда он получил его. Он имел намерение сделать визит и даже был очень заинтригован, не зная причины отсутствия указанного польского доктора, от которого он чего-то ожидал.

— Итак, в итоге, вы не открыли той силы или партии, которая имела бы повод для совершения преступления?

— Совершение верно.

— По-видимому, это дело рук одинокого нигилиста — сказал я, как бы подшучивая.

— Нигилист? — повторил он — не находите ли вы эту идею хорошей?

Я подумал, что Гольдсмит тоже шутит, но он закрыл глаза, как бы сосредоточившись на этой мысли, и мне показалось удобным спросить его:

— Вы приняли всерьез эту идею... но она глупа...

— Глупа? — сказал он, углубившись в себя. — Нигилизм

это нечто абсурдное, но реальное... Знаете ли вы все его виды? Почему это не может быть делом какого-нибудь редкостного типа?

Я посмотрел на свои часы. Было уже восемь с четвертью. Разговор продолжался уже больше трех часов, и не было признаков того, что он скоро закончится. Такая манера разговаривать без конца и без цели встречается только среди русских. Он предупредил меня, сказав, что располагает целиком нужным временем и даже предложил поужинать у него же для продолжения разговора.

Я уклонился от приглашения, обратив его внимание на то, что это было бы неосторожно, ибо я должен буду об"яснять свое долгое отсутствие, а в данный момент я мог бы еще оправдаться тем, что был в кино.

Он отказался от предложения. Я предложил ему позвонить к нему на следующее утро. Он сказал мне, что в этом нет необходимости. Машина будет ожидать меня в том же самом месте и в том же часу, а тем временем он ознакомится с этим - и он показал мне на конвертик, поблескивающий на столе. - Он проводил меня до выходной двери. Там находился человек, который меня привез, он не проявлял признаков нетерпения. Я простился и сел в ТАКСИ. У меня спросили адрес. Я сказал, чтобы меня подвезли до улицы Аустерлица. Так и было сделано. На всякий случай я сделал несколько кругов, выпил рюмочку на ближайшей улице, вышел и позвал такси, проезжавшее мимо, которое доставило меня на Вандомскую площадь к Рицу. Я побыл там: заплатил, не ожидая сдачи и тогда уже сел в дипломатический автомобиль. Там сидел Дуваль, почесывая себе подбородок, как человек, потерявший надежду.

В пути мы не обменялись ни одним словом. Советская машина шла с большой скоростью, делая все время повороты. Было видно, что шофер пытался скрыть следы в случае преследования. Не знаю, где мы вышли, чтобы пересест в другую машину, поджидавшую нас за углом, и в которой мы прибыли к нашему жилищу.

Мы быстро поужинали и перешли в кабинет, так как у нас уже установилась привычка проводить наши конференции во время кофе. Дуваль, не проявлявший до сих пор совершенно никаких признаков нетерпения, потребовал, чтобы я шаг за шагом рассказал ему обо всем, что произошло, начи-

ная с того момента, как мы расстались.

Я изложил ему, как мы доехали до какого-то бара, а затем, к моему удивлению, оказались опять на улице.

— Хорошо — сказал он мне — я следовал за вами до этого места, но тут и потерял вас из виду, этот способ, хотя и не новый, но помог им избавиться от своих преследователей.

Я подумал, что он мне ответил так, чтобы выразить доверие и затем узнать, точно ли я ему буду рассказывать о последовавшем дальше. Я согласился с его полицейскими соображениями по поводу этого метода. Я ему рассказал, как мы сели в другой автомобиль, поджидавший нас, и тут он меня перебил, спросив, не могу ли я ему сказать, ориентируясь инстинктом, была ли это улица задняя или боковая. Я припомнил с минутку и ответил, что задняя, но параллельная входу. Он меня больше не перебивал, и я продолжал рассказывать о своем свидании с Гольдсмитом я передал первую часть нашего диалога.

— Разговор шел на русском или на французском языке? — спросил он меня.

— По русски — ответил я.

Он поинтересовался национальностью хозяина, его акцентом, персональными приметами и т.д. Я отвечал ему, что по—моему, принимая во внимание все эти детали, я имел дело с русским.

— Русский, не еврей? - пораздумаем! — настаивал он.

— Русский со всеми характеристиками — подтвердил я.

Без дальнейших разговоров я сообщил ему о вручении конверта, на этом моменте интерес Дувалья обострился, когда я высказал ему мое впечатление, будто этот человек был несколько смущен тем, что не получил большого количества деталей, Дуваль был разочарован. Тут я уже дошел до пункта, который представлял наибольший интерес для него лично, осведомив его о всех подсказываниях и высказываниях, сделанных по поводу покушения на меня. Я поглядывал тайком и с большим любопытством на лицо Дувалья каждый раз, как с моих губ слетали новые интересные детали, но я не смог сделать никаких заключений, абсолютно ничего, он имел рассеянный вид, как будто раздумывал о других вещах, и его взгляд терялся в облаках дыма от его папиросы.

— Великолепно — комментировал он, — надеюсь, что

завтра у вас будет больше удачи, но один только вопрос: каково ваше суждение об этой особе?

— Личность значительная, — ответил я, — очень значительная, если меня не обманывает мое небольшое знание людей. Большой психолог, это человек, который всегда спрашивает, даже свои немногочисленные утверждения он делает в вопросительной форме. Я уверен, что он способен беседовать в течение десяти часов, и в результате его собеседник ничего не сможет вспомнить из того, о чем он говорил, он же - наоборот, он разузнает все, что хочет узнать и даже еще больше. Человек культурный, большой культуры несомненно. Его жесты и его поведение говорят о нем, как о человеке, побывавшем в самых трудных положениях, но сумевшем преодолеть их благодаря своим неисчерпаемым ресурсам. Видно, что он человек с положением. Одет он не утонченно и без особого изящества, но в манере обращаться со своей одеждой, одеждой несомненно хорошего качества, заметна определенная естественность. Я могу вполне заверить, что это русский, который с давних пор не одевался в советскую одежду.

— Никакого намека насчет того, что говорил вам Берзин, а именно то, что после разговора с ним вы сможете найти друзей по всему свету?

— Ни малейшего — отвечал я, под конец Дуваль задал мне еще один вопрос:

— И что вы об этом думаете?

— Не имею ни малейшего понятия — ответил я вполне искренно.

— Наверное дело идет о масонстве, как вам кажется?

— Судя по тем небольшим сведениям, которые я имею об этом деле, это глупо — ответил я.

— Не настолько, как вы думаете, доктор.

На этом наш длинный разговор был окончен. Он ушел, а я стал укладываться спать.

XVIII

СМЕРТЬ РЕНЭ ДУВАЛЯ

На следующий день Ренэ прибыл после десяти часов утра. Я окончил мыться, и он, не дав мне одеть костюм, повел меня в кабинет в халате. Он напомнил мне, конечно, о том, чтобы я явился на свидание. Сказал, что он установил надзор на улице, параллельной бару и в том же самом квартале в случае, если опять повторится операция заметания следов, ибо он желал удостовериться личность таинственного Гольдсмита. Затем он вручил мне очень красивую сумочку, которую раскрыл перед моими глазами, там не было ценных вещей, только несколько фотографических карточек с очень элегантной дамой, очень хорошенькой девочкой, несколькими визитными карточками и несколькими интимными письмами. Он об"яснил мне, что это сумочка предполагаемой дамы, очень богатой американки, как можно было видеть из ее документов и по ее фамилии. И что у меня подворачивается случай потерять эту сумочку этим вечером напротив того дома, где у меня будет происходить беседа с Гольдсмитом. Я понял, о чем шла речь, но он раз"яснил мне со всеми деталями, как должен я уронить ее на землю при выходе. Можно быть вполне уверенным, что тот, кто найдет сумочку, вернет ее, в надежде на хорошее вознаграждение, отдав взамен то, что не имело материальной ценности, а на расспросы о том, где найдена сумочка, наверное расскажет совершенно точно об этом доме, если же никто не появится, то о потере будет об"явлено в прессе и будет обещано высокое вознаграждение.

Затем около часу он толковал мне, как я должен буду вести разговор на интересные темы, он сделал тысячу предположений насчет возможных тем, но в конце концов признался, что все это может оказаться бесполезным и что нужно постараться главным образом раздобыть побольше информации. Под конец добавил, что появилась возможность вернуться в скором времени в Москву.

Дуваль ушел. Я завтракал один, без аппетита и рассеянно. Я был озабочен предстоявшим свиданием. Точно к моменту выхода Дуваль прибыл вторично. Он оставил меня недалеко

от собора Богоматери, и я пошел на условленное место. Автомобиль под"ехал пунктуально, но это был уже не тот, в котором я ехал вчера, и внутри никого не было, шофер сделал мне знак, чтобы я сел, как будто бы я нанял ТАКСИ. Поехали. Не знаю, в каком это было месте, но шофер, в котором я узнал человека, меня сопровождающего накануне, попросил меня выйти и купить папиросы, с целью удостовериться, следят ли за нами. Я купил и вернулся к такси.

— Если я не ошибаюсь, за нами следят — сказал он мне, — но не беспокойтесь, они останутся позади.

Я глянул в заднее окошечко, и в действительности другое такси, соразмеряя свой ход с нашим, все время находилось на одинаковой дистанции от нас. Возможно, что оно то и выслеживало нас. Машина везла меня по разным местам, где уличное движение было совсем незначительным, но это ТАКСИ было все время у нас на виду. Преследование было очевидно. Тогда наше ТАКСИ повернуло и поехало по улицам с большим движением. Полицейские регулировали движение, заставляя нас делать частые остановки. Не знаю, в каком месте это было, но наше ТАКСИ сманеврировало таким образом, что оказалось в передних рядах и очень близко от полицейского. Все машины остановились и наша также, но неожиданно мой шофер вырвался и пересек переход по световому сигналу для пешеходов. Я думал, что полицейский запротестует, но этого не случилось, мне даже показалось, что я заметил на его лице понимающий взгляд, обращенный на моего шофера. Когда движение опять остановилось, шофер бросил мне многозначительный взгляд и, проехав немного, завернул вправо. Мы стали ехать опять по уединенным улицам, конечно с целью убедиться в том, что никто уже не ехал вслед за нами. Так оно и вышло: не было видно ничего подозрительного. Затем он остановился. Дверь открылась, и в автомобиль вошел незнакомый человек. Он очень вежливо поздоровался со мной по-французски, поднял стекла, и когда я машинально хотел в них посмотреть, то дал себе отчет в том, что я ничего не увидел, так как они были матовые настолько, что через них ничего нельзя было разглядеть. Спустя несколько минут мы остановились, и мне предложили выйти. Мы вышли и прошли в дом. Дом был элегантный в типе hall. Гольдсмит вышел ко мне навстречу и подошел ко мне с самым радушным видом.

— Я поджидаю вас уже некоторое время — сказал он мне. — Какие-либо затруднения?

— Мой шофер думал, что за нами следят, и мне кажется, что оно так и было. Но он сумел великолепно сбить их с толку, захватив врасплох полицейского.

— Захватив врасплох? Вы в этом уверены? Вы не подумали о том, что это был, возможно, приятель?

— А! — ограничился я возгласом.

— Были расспросы, когда вернулись вчера? Что-нибудь подозревают в Посольстве?

— Нет, пока что ничего. Подозрение? Там подозревают постоянно и систематически. Думаю, что вчера за мной не следили, если бы следили, то расспросили бы меня, это неизменный обычай, только форма, может быть лучшая или худшая, смотря по категории допрашиваемого. Вы этого не знаете?

— Вы думаете, что я этого не знаю? — сказал он мне, улыбаясь.

— Это была, прекрасная идея выслать сегодня для меня ТАКСИ без пассажиров и обыкновенного вида, ибо мне пришлось бы об"яснять, кто был мой сопроводитель... Таким образом, если предположить, что за мной следили, я скажу, что взял такси, чтобы осмотреть весь Париж без определенного направления.

— Прекрасно — одобрил он. И как будто бы говоря о самой простой вещи в мире, он спросил меня: "Видели ли вы Диаса?"

— Диаса? — переспросил я, не догадываясь, о ком он меня спрашивал.

— Да, доктор, этого Дуваля.

— Короткое время сегодня утром... он мне сказал только, что в скором времени вернемся в Москву.

— Это он сказал? Какая досада! Мы сможем воспользоваться только на несколько считанных дней вашим приятным обществом, доктор?

— Как будто бы так.

— В таком случае, — он задумался на один момент, — не смогли ли бы вы сделать нам одно одолжение?

— Благодарю вас, доктор. Не смогли ли бы вы нам указать точное местонахождение Дуваля в какой-либо момент?

Разумеется, вне Посольства.

— Великолепно. Запишите себе этот телефон — и он дал мне его номер, — когда вам будет известно какое-либо место, будет ли оно днем или ночью, сообщите по этому номеру и больше можете ни о чем не беспокоиться. Скажете это по-французски.

Я обратил внимание с самого первого момента на то, что, хотя мое поведение было очень предупредительным, мы не подвинулись ни на один шаг вперед. Я предпринял один из диалектических маневров, указанных мне Дувалем, который я счел самым подходящим для данного момента. Я размыслил: пока что я уже выполнил поручение генерала, кроме этого мне задавались вопросы, и я отвечал на них удовлетворительно и, наконец, мне была предложена вещь, об опасности и значительности которой мне ничего не было известно. Я должен был тут проявить предусмотрительность.

— Очень хорошо — сказал я, прикрываясь самой безобидной улыбкой — Мы уговорились, что я должен позвонить, указав место, где будет находиться Дуваль. не так ли?

— В точности.

— Я ничего не имею против, но извините меня, сударь, если я позволю себе высказать некоторые замечания. Генерал Берзин — я подчеркнул фамилию — попросил меня передать вам документ. Я это выполнил, но я больше ничего не обещал. Имейте ввиду, что в тот момент он не знал, является ли Дуваль фашистом или сталинистом, хотя я не буду отрицать того, что он подозревал его в последнем. Подчиняясь ему, я прикрывал свою ответственность его рангом. Понятно? Хорошо. Уже будучи опять в Париже, я могу утверждать, что Дуваль остался на своем посту и пользуется полным доверием, его присутствие в Посольстве, его власть и свобода передвижения вполне это доказывают, также, как и то, что я нахожусь в его распоряжении. Все это достаточно серьезно. Я должен буду вернуться в Союз в тот самый момент, когда мне это будет приказано, и об этом мне уже заявлено, я не смею не вернуться, я вам уже говорил, что моя семья находится по власти Ежова. Это не шутка.

— Меня раздражает нетерпение, доктор — перебил он меня, — чтобы услышать ваше заключение.

— Вот я до него уже дошел. Вы просите меня, чтобы я

указал вам Дувалю. Я не знаю, для какой цели, но самое главное то, что я не могу разгадать, какие последствия будет иметь этот факт для меня.

Этот человек проявил явное замешательство, хотя почти что неприметное, но сразу же оправился и постарался успокоить меня самыми убедительными жестами. Движения его рук были очень выразительны, он как бы хотел приласкать меня ими, он был похож на магнетизера, желавшего воздействовать на своего Медиума.

— Чрезвычайно благоразумно! — признал он. — Вполне правильно! Неотложно я вам раз"ясню. Извините, извините, я предполагал, что секретные сообщения от Берзина...

— Да, генерал мне говорил о вас, ссылаясь определенно на вас, он высказывался с большой похвалой о вашей персоне и говорил мне об очень важном значении... как это он говорил? О важном значении вашего поста и о вашей всемирной миссии.

Он склонил голову и закрыл веки в знак благоговения, но уж не знаю, было ли это сделано с целью сконцентрировать мысли или еще с какой-нибудь другой. Вслед за этим он подвинулся ко мне всем своим корпусом, его глаза, которые я видел теперь вблизи, имели вид двух блестящих черточек и были похожи на кошачьи глаза со светящимися зрачками, он говорил очень спокойно и тихо.

— Генерал — это необыкновенный человек, он знал, что делает, пожалуй, его похвалы, касающиеся меня, были преувеличены, но в отношении моей собственной миссии. то только удачные дела, которые, как я надеюсь, свершатся в скором времени, смогут выявить ее значительность, если бы я был способен этим гордиться и приписать себе их выполнение, но меня это не соблазняет, популярность меня связывает, накладывает цепи, а я в сущности человек, любящий свободу, свободу!

В свое восклицание он вложил огонь с мрачным оттенком, если такая антитеза правильна. И затем продолжал:

— Вы, доктор, интеллигентный человек... Ваше образование и культура создали из вас человека, любящего свободу, в чем я уверен, это высшее благо, которое может любить не только русский высокообразованный человек, а еще особенно потому, что вы в частности были лишены его в течение столь-

ких лет: я не знаю, почему такой исключительный человек, как Ягода, доверился вам. Одно это является уже гарантией для всех нас и особенно ваша услуга... участие в обезврежении одного из величайших палачей свободы. И в этот наивысший час! Когда-нибудь вы узнаете, какое значение имело это для человечества... Сейчас настало для мира ужасное время. Или он погрузится во мрак рабства на тысячелетие, или мы добьемся решительного триумфа. В России, по несчастью, благодаря господству зловещего человека, рушится наиболее заманчивая мечта человечества, та мечта, которая лелеется уже с раннего возраста. Я не говорю о терроре, террор бывает необходим в великих революциях, когда приходится искоренять пережитки атавизма в людях. Террор со времен французской революции уже освящен на политических алтарях мира, но террор инквизиции будет вечно проклинаться, что случится также когда-то и со сталинским террором, который приносит позорную смерть лучшим людям, самым чистым идеалистам, тем, которые посвятили всю свою жизнь для достижения экономической свободы, за которую боролись и жертвовали собой самые великие гении и герои человечества, а этот роковой человек, этот изменник великим идеалам не только внушает отвращение своими неслыханными преступлениями, но и вызвал мировую реакцию, ибо то, что называется фашизмом и нацизмом, представляет собой что? Только карикатуру сталинизма, тот же самый тип диктатуры, тот же тип государства, тот же тип рабства с одной только разницей: эти западные диктаторы воскрешают все атавистические инстинкты и поддерживают их, а там, в России, хочет ли этого тиран или нет, он должен, для того чтобы выжить, взывать к эре экономической свободы и симулировать ее, хотя она захвачена уже не возвратно, он вынужден провозглашать наши вечные принципы, хотя на самом деле они ущемлены. Разница очень приметная, огромная в основном, но в материальном отношении, в своей актуальной зловещей проекции, - это два одинаковых факта. Ужас перед Сталиным дал возможность торжествовать Гитлеру и Муссолини, он поддерживает диктатуры в Венгрии, Греции, Турции, в Австрии, диктатуры, которые сделаются фашистскими, если не принять меры. Сталинский террор вызвал войну в Испании, благодаря ему испанский фашизм имеет уже своих приверженцев... Но... достаточно. Здесь мы по-

ставим точку. Ожидать еще год, это означало бы превращение континентальной Европы в Европу фашистскую, и эта чума начинает уже проникать в Америку, ничего не говоря уж об Азии, где Япония, являющаяся натуральным продуктом фашизма, ринулась вперед для победы над всем Востоком и с целью его фашизации. Нет, точка. Силы свободы встали на ноги. Организация - мать свободы, - к которой я имею честь принадлежать в качестве скромного труженика, сказала: баста... Антифашистский крестовый поход начался в Испании: он будет продолжаться. Дело будет делаться со Сталиным или без Сталина. Разумеется, нам желательно довершить его со Сталиным, но это не должно послужить для упрочения его личной диктатуры или для увеличения его империи. Мы бы приняли его, как маленького Наполеона, чтобы он нес на своих знаменах дыхание экономической свободы, но как тиран, как диктатор, он должен погибнуть так же, как и тот.

Он сделал паузу, которой я воспользовался, чтобы включиться в разговор. Мне были интересны эти странные разглашательства, но они ни на шаг не подвигали к практическим результатам. Я надумался сказать ему:

— Великолепно, сударь! Я выслушал чудесный синтез политической философии. Поверьте мне, что я поражен, но скажу еще, что я не могу угадать, какую миссию или роль я могу иметь в этом чудном взлете моей мыслительной способности, получившемся в результате ваших рассуждений...

Он не дал мне закончить.

— Одну минуточку только, доктор... Я вам сказал о том, что мы хотели предпринять крестовый поход со Сталиным. Так вот мы его и начали в Испании, теперь хорошо, происходят вещи и произошло много важных вещей. Припомните процесс шестнадцати, вы будете иметь понятие о настоящем, это важно.

— Я все-таки не понимаю... Сталин расстрелял Каменева и Зиновьева, обвиняя их, как германских шпионов, кажется, Радек и другие обвиняются в том же: и в то же время он помогает испанским антифашистам больше, чем кто-либо другой.

— Я полагаю, что вы не верите тому, что эти люди были германскими шпионами.

— Ясно, что нет, — сказал я с наибольшей убедительно-

стью — я не это хотел сказать, я хотел только намекнуть на то, что поскольку Сталин является на практике антифашистом, то главное находится вне опасности. так ведь?

— Частично так, но кому известны тайные мысли этого человека? Кто знает, что говорили его жертвы на самом деле? Если он был способен заставить их делать чудовищные ложные заявления против самих себя путем пыток и террора, то разве он не сможет вырвать от них правду?

— Какую правду? — спросил я с величайшей наивностью.

— Не ту ли правду, о которой я вам говорил? Что они и мы делаем все возможное для сохранения и очищения коммунизма, для свободы экономики, торжествующей в России только теоретически, боремся всеми нашими силами против термидора и бонапартизма, которые временно развалили великую победу человечества.

— Вы считаете очень опасным, если он будет знать это?

— Тогда развалился бы общий антифашистский фронт. Мы, силы Запада, должны будем бороться сами.

— Или будет бороться он один, как вам кажется?

— Ну и что же? И в первом и во втором случае мы можем быть разбиты. И тогда восторжествует фашизм, а с его торжеством человечество задержится в развитии на тысячу лет.

— Точно, подтвердил я — но Дуваль, какую роль играет он во всем этом?

— Сейчас вы это поймете. Дело идет об особенном типе, я бы сказал, почти что экстраординарном. В обоих процессах он оказался замечательным мастером своего дела. Его ярость и искусство против этих людей достигли большой высоты. Этот человек был и является на сегодняшний день лицом, пользующимся наибольшим доверием Ежова, мы думаем даже, что он видится с самим Сталиным. Какие намерения имел он в Испании? Завладел ли он там нашим секретом? Мы этого пока не знаем, его шпионаж против Берзина, нашего основного человека, опасен. Будет ли он в состоянии расшифровать там наши манипуляции? Начали происходить странные вещи. Это опаснейший человек. У него нет ни сожаления, ни колебания, он посылает кого-нибудь или убивает сам только по одному подозрению, он не ожидает доказательств, для него достаточно подозрения, если он не получает доказательств, то он их искусно и ловко изобретает.

В своей горячности, что для нас очевидно, он добился смерти настоящих сталинистов. Кажется, что он получает наслаждение в диковинном спорте, охотясь на человеческих индивидуумов. Избавиться от такого опасного типа можно только, поступив так, как он. Понимаете теперь, доктор? Понимаете? Это человек, который в состоянии сломать антифашистский фронт.

— Понимаю всю его врожденную опасность, если бы я был человек действия...

— Итак, я думаю, что достаточно будет указать нам место, где он будет находиться. Его разыскивают уже с момента его прибытия, но безуспешно.

— Чтобы его ликвидировать? Покушение? О. Это нет, я не согласен. Вы должны иметь ввиду мое опасное положение.

— Ничего, не бойтесь, доктор, я беру это на себя. Уже дело закончилось, мы даже знаем, для чего нужна эта бумажка, которую вы нам передали.

— Да? — сделал я попытку разузнать что-нибудь больше.

— Да, доктор, мы должны защищаться. Наши лучшие товарищи ликвидированы путем "легального убийства". Дуваль тоже будет ликвидирован вполне "легально", очень легально. Сам Сталин не сможет спасти его.

Я согласился с очень сокрушенным видом, а он добавил:

— Таким образом вы будете отомщены. Ваш агрессор исчезнет. — Я не смог подавить своего испуга.

— Это невозможно! — воскликнул я.

— Человек, совершивший на вас покушение, был Габриель Диаз, тот, которого вы называете Дувалем.

Я не раздумывал. Я поверил сразу. Меня охватило волнение и оно отразилось на моем лице.

— Не волнуйтесь — успокоил он меня, кладя свои руки на мои плечи.

— Вы уже не одиноки. Вы наш брат, здесь в Париже, или в России, где бы вы не находились, вы будете пользоваться нашей братской помощью, вы вступили в большую семью, в ней есть короли, президенты, миллионеры, ученые, профессора, скромные ремесленники, нас миллионы, и мы все собираемся под тремя девизами, свобода, равенство, братство. Есть ли что-нибудь более прекрасное или более гуманное? Идите, доктор, выполните ваше обещание и затем возвращайтесь. Мы

вам дадим пароль и знак, по которым вы сможете получать и оказывать братскую помощь.

Мы распростились чуть ли не в обнимку.

Я вышел. Уже настала ночь. Я почувствовал холод и застегнул свое пальто, засунув руки в карманы, правая рука наткнулась на странный предмет: я вспомнил, что это была дамская сумочка. Я уже был на тротуаре, мой сопровождающий открыл передо мной дверку налево, я колебался один миг, но затем освободил сумочку, прикрепленную к моему пальто, и она упала у края тротуара. Я вошел, и мы поехали. Я колебался, но воспоминание о моих заставляло постоянно меня слушаться Дувалю, моего убийцу.

Меня подвезли туда, куда я хотел. Я сел в другое ТАКСИ и направился на то же место, как и накануне. Меня поджидала дипломатическая машина, но не Дуваль. Шофер сказал мне по-русски: "Мы поедem к вашему дому".

Вскоре я прибыл туда, но Дувалю и тут не было. Я поужинал с аппетитом, но с нетерпением ожидал его прибытия, мне хотелось поскорее рассказать ему о моем свидании. Подали десерт. У меня было достаточно времени для того, чтобы поразмыслить и совладать с эмоциями, пережитыми во время свидания, так что, когда он приветствовал меня своим неприкрытым "ну как дела, доктор?" у меня появилось настроение отпустить ему шутку.

— Чудесный вечер — ответил я. — Нелегкое это удовольствие для бедного доктора, полупленника, броситься с головой в Парижское море, чтобы выплыть на свободе.

— Как, доктор — удивился он.

— Да, мой дорогой друг, я позволил себе удовольствие нанять хорошее ТАКСИ и имея в своем распоряжении время, я смог об"ехать город и, притом, благодаря провидению, воплощенному в полицейского, регулировавшего движение, освободиться от очень неприятного преследования кое-какими сыщиками, предпринятого с целью проверить мой план.

— Великолeпно, доктор, я вижу, что вы преуспеваете в иронии. Как же оно было? Но я обращаю ваше внимание на то, что ваши преследователи имели распоряжение потерять вас из вида в нужный момент, когда они заметят, что там дали себе отчет в наличии преследователей.

— Правда? Но они не обнаружили этого. А. Не хотите ли

узнать, какая техника была пущена в ход, чтобы сбить их с толку? Очень простая и в то же время хитроумная, по-видимому была сделана предварительная договоренность с: полицейским, регулирующим движение, чтобы он нас пропустил. Судя по этому вы можете оценить их, как людей изобретательных, поверьте мне.

— И опасных, не так ли?

— Да, очень опасных, но на основании того, что мне было сказано, не настолько, как вы.

— Да? Давайте, давайте, посмотрим...

Он смотрел на меня, вращая глазами из стороны в сторону, с великолепным видом удивленного человека. и разразился самым искренним смехом.

— Браво, доктор... Учителю удар ножом — снова расхохотался он от всего сердца и наконец закончил выговором мне с лайковым жестом, — Давайте будем говорить серьезно. Да или нет?

— Поверьте мне, что я говорю серьезно.

— Формальность, доктор! Начинайте рассказывать сначала, а если нет — он погрозил мне длинной папиросой, которую вслед же мне и предложил.

Я изложил пункт за пунктом наш разговор. Он слушал молча, выпивая иногда по рюмочке и куря папиросу за папиросой. Когда я дошел до упоминания о бумажке, он проявил больше внимания, но тут он должен был ограничиться сведениями, что она должна была послужить для его "легального убийства". Казалось, что он, как артист, оценивал хитрость противника и, как фехтовальщик, любовался великолепными ударами шпаги, забывая тем временем, что смертоносное острие искало его сердца, чтобы проколоть его. Я закончил. Он налил мне рюмку до краев и одобрил меня:

— Очень хорошо, доктор: великолепно, учитывал, что вы только любитель. Почти что ничего нового, как я вижу, припомните хорошо ночь вашей проверки, в сущности то же самое, если исключим дешевую анархистскую литературу. не правда ли? В результате вы должны указать меня, затем в качестве вознаграждения вы вступите в "братство". Опасно, доктор, возвращаться в Союз с такими "семейными" связями. Но до этого не дойдет. Подождем, пока какой-нибудь счастливый прохожий найдет сегодня вечером или завтра утром сум-

ку и таким образом мы сможем узнать, где живет столь важная персона, и вместо того, чтобы указывать, где буду я, вы же укажете мне этого таинственного Гольдсмита. Мне достаточно будет знать его, чтобы избежать моего "легального убийства".

На этом он прервал свою речь и замолчал на долгое время.

— Но как же это? — задал он себе самому вопрос. — "Легальное устранение". Это значит, что я должен предстать перед судом, а также и попасть в полицию... Если так, то во французскую, а это дело плохое!

Несколько минут он прогуливался молча. Затем стал продолжать, как бы размышляя вслух.

— Мое положение менее выгодное. В данный момент инициатива в их руках, а власти их покрывают. Бумажка понадобилась им для фабрикации фальшивого доказательства, это несомненно, но для чего? Ясно, что для обвинения в преступлении, но в каком? В конце концов безразлично, фактом является то, что они могут задержать меня в любой момент, хотя бы и сегодня же. Если они следили за вами, то это может случиться уже сейчас.

Это заключение не изменило выражения его лица, но я видел, как он поворачивался торсом то в одну, то в другую сторону, не двигая ногами, как бы желал отгадать направление, откуда будет идти атака. Затем быстрым движением он поднял руку и ощупал что-то под левой мышкой... вышел из кабинета.

Я услышал за дверью шушукание, несомненно он давал инструкции двум людям, которые охраняли меня. Он вернулся и ограничился только тем, что сказал мне:

— Не ложитесь. Возможно, что вы будете мне нужны этой ночью. В этом случае я пришлю за вами автомашину. Который сейчас час?

Он посмотрел на свои часы. Было десять часов. Он ушел.

После двенадцати с половиной я услышал, что перед входом остановился автомобиль. Немного времени спустя вошла хозяйка и сказала, что меня ожидают. Я одел пальто и вышел.

Один из моих телохранителей стоял около машины и зашел туда вслед за мной, усевшись рядышком. Как и всегда, не было произнесено ни одного слова.

Ехали мы минут пятнадцать и остановились. Вошел Дуваль и мы поехали дальше. Через короткий промежуток времени он дал распоряжение опять остановиться. Он предложил мне выйти и уже наедине сказал мне:

— Зайдем в какое-нибудь ближайшее заведение. Вы позвоните по номеру, который вам дал вам друг по "братству", это телефон Посольства Испанской Республики. Скажите им, что Дуваль после трех часов будет стоять около третьего фонаря справа на Pont de l'Alma, если войти на него с площади Альма и будет поджидать вас. Запомните, вы должны сделать это сообщение на французском языке.

Так я немедленно и сделал, а Дуваль стоял около меня, пока я говорил.

Там в Посольстве, если это было Посольство, видно были начеку. Взявший телефонную трубку говорил со мной очень любезно и попросил меня подождать для того, чтобы повторить эти слова другой персоне, которая сейчас же подойдет к телефону. Со мной заговорил другой голос, он сделал запись, как он мне сказал, и прочитал мне ее, я подтвердил, он очень любезно поблагодарил меня. Я повесил трубку и вышел с Дувалем.

Как только мы ступили ногой на улицу, я поторопился спросить его:

— Но неужели вы будете ждать у фонаря на мосту?

— Да, сударь, там будет ожидать Дуваль.

И он стал посвистывать по дороге к авто. Уже внутри он глянул на часы.

— Остается еще два часа времени — сказал он с жестом, выражающим отвращение. — Где же их провести? — спросил он сам себя. Он поскреб свой небритый рыжеватый подбородок. — С такой физиономией только в какой-нибудь грязный притон можно зайти, а грязь мне не нравится — и он дал распоряжение ехать без определенного направления.

Спустя некоторое время он сказал шоферу, чтобы тот повез нас на Монмартр, куда мы вскоре и прибыли. Мы оба вышли. Наш телохранитель пошел вслед за нами. Мы зашли в какое-то заведение скромного вида, мы вдвоем уселись за один и тот же столик, а "охранитель тыла" за другой. Это было что-то вроде таверны-ресторана.

— Не с"едем ли мы чего-нибудь? — предложил мне Ду-

валь.

Я согласился. Мой советский желудок решительно сделался вполне западным.

Нам подали холодные блюда: цыпленка, ветчину и очень вкусную закуску из рыбы, все это было хорошо запито превосходным французским вином.

Мы говорили о необходимых вещах. Итак пробежало время. Когда до трех часов оставалось полчаса, мы вышли из таверны вполне насытившись. Мы уселись опять в наше авто и не торопясь направились к Pont de l'Alma.

Я думал, что Дуваль сойдет не доезжая до назначенного места, но он этого не сделал. Авто проехало мост во всю его длину и остановилось Невдалеке от его конца. Никто из нас не выходил. Дуваль снова глянул на свои часы.

— Еще не хватает нескольких минут до трех часов — сказал он, как бы для себя самого.

Я смотрел, и чтобы сказать что-нибудь, спросил какой фонарь был нами указан.

— Третий справа, считая от места, где мы находимся.

Я инстинктивно глянул туда и увидел какого-то человека, который шел по мосту по направлению к выходу, около которого мы находились, но когда он дошел до третьего фонаря, он остановился, как бы поджидая кого-то.

— Уже вас поджидают, — обратил я внимание Дувалья.

Он посмотрел и, ничего не говоря, улыбнулся.

Наше ожидание не затянулось на долгое время. Я было думал, судя по тому, что он мне сказал, что Дуваль выйдет и займет свое место, но еще раньше чем он это предпринял, мы увидели двух людей, маршировавших с двух противоположных сторон по правой стороне, и встретившихся вместе около человека, остановившегося под третьим фонарем. Сцена была быстрая. Они подхватили его одновременно под руки, видно было, как все трое делали усилия, но беззвучно. Вслед подошел автомобиль, остановившийся около боровшихся людей, оттуда вышли еще два человека и втащили того типа во внутрь, после чего машина стремительно умчалась.

Все это произошло меньше, чем в одну минуту.

Я повернулся к Дувалю и спросил его:

— Чего же вы ждете?

— Я? Уже больше ничего. Едем.

— А свидание?
— Оно уже состоялось.
— Как? — удивился я.
— Да, доктор, да, Дуваль был точен. Он ожидал, разве вы его не видели?
— Но ведь вы?
— Я уже не Дуваль, Дуваль умер или умрет. Одним Дувалем меньше во Франции, подумаешь, какая важность! Едемте. И наша машина тронулась.
Дуваль, или как его теперь иначе звали, вскоре сошел, а меня здоровым и невредимым доставили домой.

ХІХ

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ УБИЙЦА

Еще не наступило и десяти часов следующего утра, как прибыл Дуваль и как водяной смерч влетел без разрешения в мою комнату. Он попросил меня поскорее одеться, а сам нетерпеливо поджидал меня в кабинете. Мы вышли. Нас поджидало ТАКСИ, и мы поспешно в него уселись.

— Я уже знаю этого нашего человека — сказал он с очень довольным видом. — Появился счастливец, нашедший сумочку, получил обещанную премию и сообщил на какой улице и приблизительно около которого номера дома он ее нашел. Я сам лично исследовал вопрос о жителях в этой местности, может быть только один дом, но мы это проверим.

ТАКСИ продолжало свой путь с достаточной быстротой, затем оно остановилось, но мы остались внутри.

— Примечайте, примечайте, доктор — сказал Дуваль с сильным нетерпением — получше всматривайтесь в тех, кто входит, а главным образом, кто выходит из этого дома... Посмотрите на вход, не похоже ли это на то, что вы видели вчера?

— В самом деле, я бы сказал, что это был тот самый вход, во всяком случае очень похожий, учтите, что я должен был очень быстро пересечь тротуар — ответил я.

— Хорошо, хорошо, будьте внимательны сейчас и не рассеивайтесь, если это тот, кого я подозреваю, то он еще находится в доме.

Прошло сколько-то времени, я не знаю сколько. Как я думаю, прошло не более часу, хотя время тянулось для меня очень долго. Наконец в полутьме дверной рамы вырисовалась фигура мужчины.

— Это он — сигнализировал я.

Дуваль глянул, и я смог заметить, как его лицо осветилось удовлетворением с оттенком жестокости, не раздумывая долго, он вышел из автомобиля.

Я окликнул его, но он слушал меня неохотно.

— Что же мне сейчас надо делать? — спросил я.

— Делайте все, что вам угодно, — проворчав это, он уда-

лился. Я еще видел из автомобиля, как он пересек улицу, легко, как борзая собака, я не знал, что мне думать. Не знаю, почему-то мне стало страшно. Я тоже вышел из машины.

— Поезжайте — сказал я шоферу ТАКСИ, делая вид, будто плачу ему, но тот вопросительно посмотрел на меня:

— Где я должен вас поджидать?

Я на мгновение был озадачен и не знал, что отвечать.

— На улице Магдалины — ответил я.

Я глянул вперед. Еще виден был Дуваль, шедший потихоньку позади указанного человека, который тоже шел не торопясь, задерживаясь чуть ли не у каждого фонаря или косяка по капризу и настроению двух полицейских собак, которых он вел за собой, это были безусловно два чудесных экземпляра.

Я, как зачарованный, шел в этом же самом направлении. Я был углублен в наблюдение за двумя врагами, я почувствовал, что мое сердце бешено заколотилось без всякой видимой причины. Я не могу сказать, какой дорогой я шел, я не в состоянии указать ни направления, ни времени или сколько длилось это преследование. Знаю только, что мы вошли в просторный парк. Впереди перед собой я видел только Дувалю, курившего папиросу с видом рассеянного прохожего, углубившегося в чтение газеты, еще дальше был виден тот человек, все время задерживаемый своими собаками. Мне хорошо запомнилась эта сцена. Дуваль шел с левой стороны, а человек продвигался зигзагами, в какой-то момент он повернулся и пошел назад наискось. Дуваль продолжал идти, как бы не обращая на это внимания. Они приближались друг у другу: один, подчиняясь желанию своих собак, другой - явно углубленный в чтение. Враг Дувалю нагнулся над одной из своих собак в тот момент, как до него дошел его преследователь, на которого он не обратил внимания и которого не приметил. Дуваль почти что коснулся его, когда он выпрямился. Все произошло молниеносно: я увидел, как вытянулась рука Дувалю, затем движение назад, вперед, и блеснувшая в его руке голубая молния потухла в шее того человека. Гольдсмит раскрыл руки, споткнулся и упал. Больше я не видел Дувалю, вспоминается мне, будто я видел его кошачью тень, делающую прыжки и преследуемую собакой. Я прирос к земле, мне показалось, что я утратил способность ходить. Я был загипнотизирован, смотрел, как одержимый, на другого волкодава, крутящегося

и воющего около своего хозяина. Наконец, я получил способность двигаться: и бегом вышел через боковой вход. Мне пришлось сдерживать свой подсознательный импульс, мне хотелось бежать и кричать. Я шел и шел, сам не знаю куда.

С трудом я дал себе отчет, что уже не было видно около меня деревьев, а только дома и люди. Чуть-чуть я не попал под автомобиль. Я уже был не в состоянии мыслить, импульсивное желание бежать уже прошло у меня. Я почувствовал бесконечную жажду. Я шел и искал место, где бы я мог ее удовлетворить. Там же невдалеке я различил бар. Я попросил пива и выпил его стоя, не переводя дыхания, я заплатил и очень поспешно вышел. Мне показалось, что я совершил глупость, задержавшись на короткое время в месте, которое, как мне казалось, находилось совсем недалеко от места убийства. Кроме того, в силу воздействия на меня окружающей обстановки, я со страхом сообразил, что оставил отпечатки своих пальцев на стекле пивной кружки, это было влияние полицейской новеллы, которую я переживал, Мимо меня проходило много такси, но только одно, очень старое, с починенным верхом и всякими подправками, показалось мне как бы якорем моего спасения.

Я остановил его, забился в угол и дал ему распоряжение трогаться, не указав адреса. Я вспомнил, что Дуваль в спешке забыл дать мне указание, где мы должны встретиться. Пока я был охвачен этими сомнениями, мой усатый шофер повез меня вдоль Сены, где мне сейчас нечего было делать. Вскоре я где-то вышел. Шел я долго, выпил две рюмки виски в каком-то элегантном месте. Это, видно, пошло мне впрок, ибо ко мне вернулось спокойствие и силы. Вскоре я почувствовал голод. Я нащупал бумажник, он был со мной и я нежно прижал его к груди. Я зашел в ресторан довольно приличного вида. Почти что все посетители ели молча. Навстречу мне вышел официант и провел меня к столику. Женщина, уже немолодая и шикарно одетая, посмотрела на меня томным взглядом. Я сунул свой нос в карту. Я намеревался провести возможно больше времени за десертом. Я выпил много и из дорогих сортов. Даже, приняв во внимание присутствие той дамы, я закурил большую гаванскую сигару.

Я почувствовал себя легко, потеряв чувство реальности, но меня вывела из моего возбужденного состояния собачка, я припомнил ту, которая ласкалась к безжизненному телу своего

хозяина, я резко встал, сделал шаг и чуть не вышел, забыв о счете, который был подан мне очень услужливым официантом. Я заплатил и вышел. Я опять нанял такси и дал распоряжение отвезти меня к Магдалене. Я вошел в первую попавшуюся кофейную. Я уселся и заказал выпивку. Вскоре послышались выкрики газетных продавцов. В первый момент я не обратил внимания на это. До меня только дошло что-то о "Булонском лесе". Близ сидящий посетитель вышел и вернулся с газетой, он сел, а я украдкой прочитал несколько больших заголовков, гласивших: "Убийство в Булонском лесу".

"М. Навачин убит ударом кинжала". Больше я ничего не смог прочитать, так как тот господин перевернул газету. Я заказал, чтобы мне принесли газету и мне ее моментально подали, я не смог узнать ничего особенно нового. В информации повторялось почти что то же самое, что и в заголовке, с добавлением нескольких слов. Вполне понятно, что за короткий срок, прошедший с момента убийства, репортеры не смогли раздобыть больше деталей в отношении преступления.

Я был отвлечен этими мыслями, и время пролетело для меня совершенно незаметно. Когда подошло условленное время я поспешно вышел и отправился к подножию ступенек лестницы, которая вела к церкви, имевшей вид Парфенона.

Авто появилось пунктуально, шофер поздравил меня знаком. Это был тот самый, который вел ТАКСИ утром, но сейчас он был в форме, и машина была элегантная, обтекаемая. Он вышел с очень корректным видом и с низким поклоном раскрыл передо мной дверку.

Он очень быстро доставил меня домой. Дома я почувствовал себя в безопасности и вздохнул с облегчением. Я спросил у хозяйки о Дувале и узнал, что он не приходил. Я почувствовал себя очень уставшим и не раздеваясь повалился на кровать. Я проснулся от нервной встряски. В один миг уже я был в бодром состоянии. Мои глаза уставились на фигуру, вырисовывающуюся в дверях и освещенную светом, падающим на нее из моей спальни. Я не совсем хорошо различил черты его лица, но моментально узнал Дувала. Он приветствовал меня бесхитростной улыбкой, показывая белый ряд своих великолепных зубов. Я быстро встал и одновременно нажал кнопку электрической лампочки у своего изголовья.

Я рассматривал этого человека во всех деталях. Он был

очень натурален и спокоен более, чем когда бы то ни было. Если он всегда был элегантным, за исключением периода маскировки, но без напыщенности и изощренности, то в тот вечер - так как дворе уже стемнело - он был одет в высшей степени утонченно. На нем был двубортный смокинг, облегавший его, как перчатка, но нигде не обуженный сверх меры, его движения были свободны настолько, что казалось, будто на нем надета не крахмальная рубашка, а голубой комбинезон механика. Все это я припомнил уже позже, ибо в тот момент я направил свое главное внимание на его физиономию. Исчезла его борода, небритая дней двадцать и подкрашенная химическими препаратами под рыжеватый оттенок. Он был тщательно выбрит и уж не знаю какими туалетными и парикмахерскими махинациями он вернул себе настоящий цвет своей кожи, несколько бледного оттенка, темноватый загар, о которым он вернулся из Испании, исчез бесследно, ясно, что это не был загар от воздействия зимнего солнца. Одним словом, в этом денди никто не смог бы узнать того типа, который кошачьими шагами шел сегодня утром следом за г-ном Гольдсмитом, т.е. Навачиным...

Если никто не смог бы узнать его по внешнему виду, то тем более нельзя было найти в его лице ни тени беспокойства, ни угрызения совести. Наоборот: его глаза блестели еще больше и черты его лица как бы освещались отблеском юношеской веселости.

Ясно, что такой подробный анализ я сделал значительно позже того момента, когда я проснулся. Я его проделал позже наедине, но очень легко, так как его фигура и его поведение врезались в мою память довольно рельефно.

Я быстро вскочил с кровати. Он прошел в кабинет, и я последовал за ним. Я молча и вопросительно смотрел на него, ожидая от него хотя бы одного слова, которое связало бы настоящий момент с тем, когда мы расстались. Но все было бесполезно. Я покрутился около него, вернулся в спальню, промыл себе глаза, я не решился начинать разговор вопросом, я очень хорошо знал, когда ему не нравились мои вопросы.

Я счел более приличным предложить ему папиросу, которую он принял от меня, в этот момент я обратился к нему со словами, достаточно определенно подчеркнутыми: "Ну, хорошо?". Он не ответил сразу, только посмотрел на свои ручные

часы, я же осмелился произнести:

— Гольдсмит?

— Пусть вас это не беспокоит, доктор. Это дело решено и закончено.

— Значит я?

— Я заглянул только посмотреть, вернулись ли вы и нет ли новостей.

Он попрощался и ушел.

Я еще слышал, как он насвистывал какую-то фривольную песенку, и затем дверь на улицу за ним захлопнулась. Получилось впечатление, что вместе с ним удалилось воплощенное в нем счастье.

ПОЭЗИЯ ОТЦЕУБИЙСТВА

Прошло много дней. Дуваль не появлялся. Наступила уже середина января, погода была неприятная, хотя французская зима мне напоминала русскую весну. Я попросил несколько книг по химии и достаточное количество французских новелл и таким образом за чтением и за занятиями я убивал время. Марксистские книги в шкафу были мне необыкновенно противны. Я не смог даже закончить тот том Троцкого, который я начал читать. Я был настроен скептически. Слишком чудовищна была ложь апологетов коммунизма и очень уж жесток был контраст с реальной жизнью, как у меня, так и у миллионов русских. Сколько раз мне хотелось выйти на улицу и кричать правду, и не только тогда, когда я читал коммунистическую или новокоммунистическую прессу, но и когда читал буржуазную... сколько глупости, сколько неведения. или же измены.

Дни казались мне длинными и нескончаемыми.

В середине февраля появился Дуваль. Я ничего не смог прочесть на его лице. Он пришел уже когда стемнело. Одет был в темный безупречный костюм.

— Возвращаемся, доктор.

— Куда? — спросил я озабоченно. — Не выполнивши дела с Миллером?

— Не выполнивши.

— И так оно и останется?

— Нет, просто оно отодвигается. Сейчас его выполнить невозможно.

— Я буду за это ответственен? — спросил я его с некоторой тревогой.

— Абсолютно нет. Я не знаю, кто тут виноват, но, во всяком случае, не вы.

Я успокоился. — Вы что-нибудь подозреваете?

— Я подозреваю? Я всегда подозреваю, доктор, берите с меня пример. Это наша профессия - подозревать. Но, откровенно говоря, сейчас не догадываюсь, кто смог испортить это дело.

— Дело испорчено?

— Оно не испортилось само по себе, но кто-то ему повредил, что, в сущности, одно и то же.

— А как же это случилось? — спросил я с беспокойством, радуясь, что своим фальшивым тоном я скрыл противоположные чувства.

— Потому что Миллер знает о том, что Скоблин изменник. У него нет доказательств! Это точно, но он не доверяет ему. Сейчас Скоблин нам бесполезен. Он должен реабилитировать себя перед "белыми", если только он сумеет это сделать, ему придется употребить на это много времени, чтобы доказать свою невиновность и опять втереться в доверие, впрочем ему не очень трудно будет добиться этого, учитывал, что русские аристократы чрезвычайно недалёковидны. Но пока что важно то, что вам здесь нечего делать, Центр распорядился о вашем возвращении.

— Вы будете сопровождать меня?

— Разумеется, на моей обязанности лежит возвратить вас Ежову живым и здоровым.

— Когда же мы едем?

— Это зависит, думаю, что скоро, авионы ходят часто, полетим первым, который здесь появится. Предполагаю, что завтра или послезавтра.

Больше я его не видел до отлета. Прошло два дня, прежде чем меня доставили на аэродром и мы погрузились. В этом же авионе находились три испанца и два русских, но мы не заводили разговора ни с одним из них, правильнее сказать, я не разговаривал, а Дуваль делал это и за себя и за меня, я не мог слышать всего из-за шума моторов и под"ема, но он врал с поразительной легкостью.

Мы приземлялись два раза. Второй раз уже, вероятно, в России, первый раз не знаю где, так как никто не сходил на землю. Остановки были кратковременные для пополнения запасов газаolina. Прибыли в Москву, я узнал ее еще издали, хотя благодаря снегу ее очертания были деформированы, но вид сверху, на Кремлевские башни и стены был слишком своеобразен, чтобы можно было ее не узнать. Должен сознаться, что я содрогнулся, меня опять окутала тяжелая атмосфера террора и неуверенности, которую я переносил столько лет.

Нас поджидал автомобиль. В сопровождении Дуваля мы

отправились в лабораторию.

Наружно в доме ничего не изменилось. Только лица. Прежний мажордом (не знаю, как называлась его профессия по-советски) был заменен другим, по виду не худшим и не лучшим. Обыкновенный рядовой человек, которых так много видим в сегодняшней России. В остальном ничего не изменилось, мне отвели то же самое помещение, и я получил те же самые наставления и предостережения. Я спросил у Дуваля, буду ли я находиться здесь еще долгое время и когда я смогу соединиться со своей семьей.

— Все это зависит от Ежова — сказал он мне. — Думаю, что он вас вызовет, он распорядится через меня, но для вашего спокойствия знайте, что я постараюсь сделать все возможное для удовлетворения ваших желаний, будьте спокойны. Живите, живите как можно лучше... Вам ничего не стоит наслаждаться утонченными папиросами НКВД и пользоваться протекцией Ежова! Я вернусь с известиями для вас, как только это будет возможно, здешние люди имеют приказ обращаться с вами как можно приветливее и с уважением и должны удовлетворять все ваши благоразумные желания.

Он собрался уходить, и я обратился к нему с просьбой оказать мне еще одно последнее одолжение и передать моим привезенные мною подарки: все, что мне передал генерал Килинов и кое-что, что я приобрел сам, вещи практичные: крепкая обувь для каждого и нательное белье.

Первый день я провел, как в одурении. Не знаю, что со мной происходило, но мне было не по себе. Я с нетерпением ожидал возвращения Дуваля, но прошел день и другой, а я ничего о нем не слышал.

Я должен установить, что именно в эти дни у меня появилась идея записать все, что со мной произошло. Это желание сделалось во мне очень настойчивым. Каким-то образом мне хотелось сломить мое заключение. Еще в Париже я купил несколько тетрадей с очень тонкой, но прекрасного качества бумагой, с намерением переписать туда начисто мои формулы и мысли по химии, я думал об их использовании, думал много. Лаборатория была открыта для меня с первых же дней: я вошел туда и увидел, что мне не легко будет найти потайное место для моих записок, я искал его с настойчивостью, напрягал свой мозг, чтобы его найти. В поисках места для тетрадей я

облюбовал самый большой автоклав, там я и нашел место: аппарат стоял на четырех круглых толстых ножках, я засунул снизу руку внутрь ножки и оказалось, ножки были полыми, они были прикреплены к основанию, но окружность, по которой они были припаяны, оставалась открытой. Я сделал усилие и удостоверился, что та часть, которой ножка, опиралась на пол, наоборот, была закрыта кружком, составлявшим с ней одно целое.

Я решил сделать там свое хранилище.

Затем я избрал себе местечко наиболее отдаленное от дверей в противоположном конце лаборатории, где бы я мог заниматься записями, когда все было найдено и выбрано, я занялся исследованием и розысками всех отверстий, всяких уголочков, в целях обнаружения глазка или дырки, через которое могли бы за мной шпионить. Я не нашел ничего подозрительного. Для предосторожности я опустил вниз доску, которая должна была служить мне столом и поставил сосуд с несколькими литрами серной кислоты, если бы меня застали врасплох, то я бросил бы туда неприметно тетрадь, чтобы она исчезла, таким образом, да еще располагая целой батареей аппаратов, реторт и трубок для опытов на столе, чтобы притвориться, будто я делаю опыты, я считал себя почти что в безопасности.

Все это меня очень утомило. Я не начал своих записок в тот день. Когда я был уже в кровати, то все это показалось мне сумасшествием. Зачем мне записывать все это? Это повлекло бы за собой только больше опасностей. Я решил ничего не писать.

Проснулся поздно. Идея о записках вернулась ко мне со всей своей настойчивостью. Но я уверен, что я никогда не решился бы взяться за перо, если бы не подействовал могучий импульс, вызванный во мне случайно, но оказавшийся решающим: я искал в ванной комнате кусочек бумаги, чтобы обтереть о него свою бритву. Я не нашел его сразу, так как гигиеническая бумага вся вышла, я открыл небольшой шкафчик и взял лист газеты, которым была накрыта одна из полок, я оторвал кусок, но когда я бросил на пол оставшийся большой кусок, то мое внимание было привлечено чем-то вроде стихов, вставленных в повествовательный материал. Машинально я поднял листок и прочитал следующее поэтическое произве-

дение:

Ты была злостной саботажницей в колхозе, мать,
ты была, его завзятым врагом,
а так как ты не любишь колхоз,
я не могу жить с тобой.

Одной зимней, холодной темной ночью,
когда тебе было поручено караулить колхозное зерно,
ты сама забралась в амбар,
чтобы украсть колхозное зерно.

Пол-лета ты провела в бездельи.

А зимой, при наступлении ночи,
меняла украденное зерно на фураж.

И таким образом ты саботировала план посева.

("Правда", 21 - 5 - 1934) Проня Кобылин.

Я был поражен. Этот зверек, изуродованный сатанинским воспитанием, доносил в своих проклятых стишках на свою мать, чтобы она была расстреляна.

А Советское государство награждало убийцу своей собственной матери, как лицо, достойное подражания... Моя чувствительность была взвинчена, как бы подстегнутая раскаленным кнутом.

— Нет — сказал я себе, — ни мои дети, ни дети моих детей никогда не будут легальными убийцами своих родителей. Я напишу, я попытаюсь, чтобы когда-нибудь они смогли узнать, на что был способен отец ради спасения жизни своих детей. Напишу, напишу! Желание начать записки стало для меня непреодолимым, и меня не отпугнула даже опасность смерти.

В результате всего этого я в скором времени забрался в лабораторию и писал в течение нескольких часов. Я почувствовал инстинктивно, что уже настал час второго завтрака и прекратил свое писание, я запрятал свой манускрипт и спустился вниз, когда на стол уже было подано. Я ел рассеянно, я напрягал все способности своей памяти, чтобы припомнить сцену за сценой, все происшедшее, начиная с того момента, как агенты ГПУ появились в моем доме.

Мне доставляло удовольствие добавлять детали к деталям, моим детям не наскучит мое многословие, наоборот, зная их, я был уверен в том, что самые мельчайшие детали приведут их в восторг, потому что для них каждая деталь, каждый пустяк

были бы столь же важны, как и те драматические моменты, которые я переживал, исключением бы были моменты, когда моя жизнь подвергалась опасности, политические интриги, в которые я оказался впутанным, помимо того, что я сам не был в состоянии их расшифровать, их интересовали бы очень мало, самое большее для них - это сыграло бы роль сказочного мира, почти что мифического, фантастического, где борются мифические чудовища, люди из других миров и апокалиптические звери.

Не знаю, откажет ли мне моя память в какой-либо момент, но я ей доверяю. Пожалуй какое-нибудь имя, дату, порядок следования в незначительных сценах я и изменю в силу ускользнувших воспоминаний, но не думаю, чтобы это случилось часто. В своих общих линиях, в логической последовательности событий, я надеюсь, что мне удастся сохранить большую близость к правде, и я ее отражу с достаточной точностью. А это, как я думаю, самое существенное.

Впредь, начиная с этого момента, я буду делать конспективные заметки обо всем, что по своей важности будет этого заслуживать, эти лаконические заметки помогут мне разгрузить память, чтобы в дальнейшем отредактировать со всеми подробностями и в окончательной форме факты и все необходимые детали.

Знай, мой сын, что все это я говорю главным образом для тебя. Это свидетельство большой любви твоего отца к тебе и твоим сестрам, а особенно к твоей матери. Люби их, как я их любил.

ЛИЧНЫЙ ВРАЧ ЕЖОВА

На следующий день пришел Дуваль. Он послал за мной, и мы поболтали до завтрака, он имел намерение позавтракать со мной вместе. Он не рассказывал ничего интересного. Только намекнул на процесс, недавно закончившийся, главной фигурой которого был Радек. Этот еврей был одной из первейших фигур в революции. Дуваль передал мне забавные анекдоты об этом суб"екте. Мне он был знаком по его портретам, которые появлялись в прессе в лучшие для него времена. Надо сказать, что его образ соответствовал его поступкам. Этот его рот, похожий на тонкий и огромный поперечный разрез ножом, приобретал, постепенно новую линию искривления, но всегда сардоническую, характерным для него было то, что его обезьяноподобное лицо находилось как бы в рамке его вьющихся волос и бакенбардов, что составляло в целом трагикомический вид. Дуваль сообщил мне, что он был революционером уже с детства, но революционером, оперировавшим с трюками и кознями. Он пользовался своими познаниями по химии для устройства взрывов и играл в террористических и конспиративных кругах роль алхимика, хранящего свои страшные тайны. Сталин знал его очень хорошо и часто эксплуатировал его ореолом "ужасного" человека, хотя он также знал, что тот был труслив, как лисица. Когда Сталин сомневался в победе своих предложений на каком-нибудь секретном собрании, на котором должны были быть приняты окончательные решения, то он всегда брал с собой Радека, каковой ассистировал на дискуссии молча, герметически замкнутым, представляя собой полную загадку, со своими огромными очками и завернутый в свое просторное пальто на меховой подкладке. В решающий момент, после соответствующего сигнала Сталина, поднимался Радек со своими растрепанными волосами, страшный, со своей жестокой улыбкой, которой он пользовался, как оружием, глухим голосом он угрожал конклаву, требуя голосовать за Сталина, при малейшем признаке оппозиции он отходил на пару шагов, открывал полу своего пальто и показывал весь свой арсенал террористических снарядов, он брал самый

большой в свою правую руку и, подняв вверх, потрясал драматически своей гривой, затем, после некоторого перерыва, подносил с неумолимым видом трубку к дымящемуся фитилю... Голосование получалось единодушное. Сопровождаемый мрачной тенью Карла Радека Сталин выходил победителем. Уже в своей комнате он с грохотом выбрасывал в угол "ужасные" приборы, бросался в кресло и смеялся своим безобразным ртом: "Если бы вы знали, как они глупы." Сталину казалось все это очень остроумным, и он давал здоровые тумаки по плечам еврея, вздымая на них облака перхоти.

— Но не все у Радека театр и фарс — добавил Дуваль. — У него личность раздвоена. Он провел много времени в эмиграции, следуя, как тень за главарями революции. Он всегда совмещал свою деятельность профессионального революционера с масонской. Как еврей он мог принадлежать к Bhai Brith (кажется, он так произнес), исключительно еврейскому масонскому обществу, позволявшему своим членам входить одновременно в обыкновенные масонские общества. Радек дошел до самых высоких степеней и в одном и в другом. Благодаря этому у него были огромные и высокие братские связи в некоммунистическом мире. Возможно, что его настоящая персональность была только масонская, а неизменные фарс и цинизм были только прикрытием для того, что было единственно серьезным и важным в его жизни. В конце концов это очень сложно. Верно то, что он спас свою жизнь. Им интересовались интернациональные очень высокие и находящиеся вне подозрения персоны. Даже налицо какой-то шантаж со стороны финансовых и журналистических кругов. Все это очень странно и интересно одновременно.

На этом нас позвали к завтраку.

Мы уселись за стол.

Вероятно, в доме были извещены о приглашении Дувалья к столу, ибо с меню поусердствовали. Пока подавали разные блюда, я сам себе задал вопрос, по какому поводу посетил меня Дуваль, так как, откровенно говоря, мне казалось, что ему никогда не нравилось мое общество.

Во время кофе он удовлетворил мое любопытство.

— Вы будете очень удивлены, доктор, если я вам сообщу, что привез вам лучшие пожелания от Ежова?

— По какой причине столько чести, Дуваль?

— Частично, если не быть скромным, кое-чему содействовал я. Я сделал устный доклад о нашем путешествии, я отдал полную справедливость вашему поведению, что вы заслужили.

— Благодарю вас...

— И еще кое-что, доктор. Он советовался насчет вас, и я поручился за ваше поведение. Знайте, что с сегодняшнего дня - вы личный медик комиссара...

— Как! — воскликнул я с удивлением.

— Да, Левину дана отставка. Это не значит, что вы займете его пост, как врача, при Центральном Комитете, просто вы будете частным врачом Ежова.

— Спасибо, Дуваль за ваши намерения и за вашу гарантию, но я не могу этого принять. Вы же знаете, что врач я посредственный, что мои склонности привели меня к химии, откровенно говоря я не могу отвечать со спокойной совестью за свои успехи в медицине или в хирургии.

— Уже все это принято во внимание, доктор, но дело не в диагнозах, а от вас потребуются вещи гораздо более простые. Как вы делаете ин"екции?

— Думаю, что сохраняю мой пульс довольно твердым.

— Ну, этого и достаточно.

— Какой болезнью страдает Ежов?

— Официально, уже знаете: скоротечная чахотка, а на самом деле обыкновенный сифилис, не знаю в какой степени, но, во всяком случае, в одной из высших... Его большевизм настолько ортодоксален, что он захотел даже и в этом подражать нашему оплакиваемому шефу - Ленину. Сегодня же вечером. у него появились очень тревожные симптомы, ему уже давно надо было лечиться, но не знаю, то ли в силу колоссальной занятости, то ли из-за недоверия ко всем врачам, но до сих пор он на это еще не решился, как раз, когда я ему докладывал о вашем поведении и о покушении троцкистов...

— Хорошо, в таком случае я в вашем распоряжении.

— Я ему уже сказал, что вы будете делать ему ин"екции всегда, на ночь, он желает, чтобы это было сохранено в полном секрете, как в отношении его настоящей болезни, так и в отношении того, что вы его обслуживаете. Мы войдем к нему через его запасную дверь, здесь вот я принес вам темные очки, которые вас изменят в достаточной степени, а в соедине-

нии с вашим европейским гардеробом вас примут за заграничного медика, вызванного для исследования легких и бацилл очень важной особы.

— Хорошо, мне кажется, что все хорошо...

— Я не скрою, доктор, что вы должны вложить в это дело, хотя и простое, все свои пять чувств... вы понимаете, что неудачи в отношении жизни Народного Комиссара его ранга, могут посчитаться за измену и саботаж вместе совершенные вашей персоной... Ну, вот так: есть зато и выгоды, не сомневаюсь, что все врачи в России будут завидовать вам, узнав это. Обладать доверием Ежова, особенно в тот период, который приближается сейчас, это чуть ли не небесная привилегия. Уж вы увидите, увидите.

Больше он мне ничего важного не сказал и вскоре уехал. Уже в дверях он мне сказал, чтобы я не беспокоился насчет его возвращения, что он вернется обязательно, но что час зависит от работы шефа и будет назначен, учитывая всякие прочие обстоятельства.

Я остался один и был доволен, я поднялся вверх по лестнице в направлении к лаборатории, на лестнице я столкнулся с непроницаемым мажордомом, и, необыкновенная вещь, он чуть ли не улыбнулся мне и даже больше: спросил меня, не желаю ли я еще выпить чаю. Никогда он этого не делал, и я предположил, что он получил распоряжение усилить ко мне свое внимание. Я отказался от его услуг, сказав, что я уже пил чай в столовой, а он освободил мне проход со слишком необыкновенной почтительностью.

Большую часть вечера я провел за записками, я исписал порядочное количество страничек в моей тетради.

Пужинал я в свое обычное время и затем после одиннадцати часов вечера приехал Дуваль для сопровождения меня.

Он приехал в великолепном большом и мощном автомобиле. Мы уселись в него и поехали.

Мы ехали в темноте. Габриель - я звал его Габриель, так как Дуваль умер - молчал, я посмотрел машинально через окошечко два или три раза, затем я сделал это более настойчиво и только уже тогда, взглядевшись еще раз, дал себе отчет в том, что я ничего не видел через молочное стекло, несомненно оно было матовое, Это меня немного заинтересовало и заставляло меня спросить, куда же мы едем.

— На свидание к товарищу Ежову — ответил он мне.

— На Лубянку? — снова спросил я.

— Не знаю, дорогой доктор, думаю, что нет. Не думаю, чтобы нам завязали глаза, если бы мы ехали туда.

— Как! — воскликнул я, пораженный такой нелепостью.

— А вы себе не дали отчета, что через эти стекла нельзя ничего разглядеть? Это все равно, что завязать нам глаза, не так ли?

— В самом деле так — согласился я.

Мне показалось, что наше путешествие продолжалось приблизительно часа полтора. За последние двадцать минут машина останавливалась пять раз: на последней остановке открылась дверца и проник более яркий свет. По-видимому, мы прибыли. Так доложил нам человек, открывший дверцу, тот самый, который сидел рядом с шофером.

Мы находились перед дверью, до которой надо было подняться по трем ступенькам. Автомобиль стоял в под"езде, из-за чего нельзя было разглядеть совершенно контуров, так как под"езд был закрыт со стороны, расположенной против двери. Два страшных солдата ГПУ стояли на часах, вид их был великолепен как по выправке, так и по тщательно пригнанной форме.

Кто-то наблюдал за нами через окошечко в двери. Габриель приблизил к нему свое лицо и оказал несколько слов, которых я не расслышал, наверное это был пароль, так как дверь открылась. Мы вошли, он впереди. Мы очутились в зале, не очень большом по размерам, но новом и чистом с большим количеством соответствующей роскошной мебели. Больше я ничего не смог приметить, так как мы прошли не задерживаясь в следующее помещение: салончик для ожидания, тоже комфортабельно и роскошно меблированный. Сопровождавший нас человек оставил нас одних. Габриель молчал, и я также. Но мы не успели еще соскучиться, как вскоре вошел тот же самый тип и попросил нас следовать за ним.

Мы поднялись по двум пролетам лестницы, начинавшейся в конце зала, а затем разветвлявшейся. Можно было догадаться, что в доме было только два этажа. На лестничной площадке опять стоял часовой, вооруженный только большим револьвером. Несколько дальше, в конце правого коридорчика, в который выходило две двери, у вторых дверей стоял другой

часовой. К тем дверям мы и направились. Наш провожатый вошел без предупреждения, и мы последовали за ним. Комната была маленькая, в ней находился только трехместный диванчик и еще какая-то мебель. Мы в ней не задержались. Пошли в следующую, тоже не очень большую. Это была очень хорошо обставленная спальня, но я не смог рассмотреть ее получше, так как заметил Ежова, лежащего в постели.

Он мне показался более осунувшимся, чем тогда, когда я видел его в последний раз. Я остановился недалеко от входа. Габриель прошел вперед и поклонился шефу. Тот сделал мне знак приблизиться, и когда я подошел к нему, протянул мне свою руку, которую я пожал. Я почувствовал общее легкое беспокойство.

— Если угодно, доктор, там есть все необходимое — предложил мне Ежов.

Я увидел в ногах кровати столик, накрытый белой скатеркой. Я подошел к нему и убедился, что там имелось все необходимое, шприц, иглы, марля, вата, и непочатая коробочка с ампулами цианистой ртути, я осмотрел ее: на каждой ампуле была указана доза, и все вместе они составляли предписанный курс лечения. Я взял самую малюсенькую дозу, простерилизовал иглу и шприц, наполнил его и подошел к комиссару. С некоторым смущением открыл свою руку этот диктатор, виновник стольких смертей, она вся состояла из сухожилий и вен. К счастью они были очень толстые и рельефные. Я перевязал руку: его вены надулись, но прежде чем сделать укол я инстинктивно глянул в глаза Ежову, они в самом деле утратили свой звериный и дерзкий оттенок: человек, которого боялись больше всего на земле, смотрел убегающим тревожным взглядом человека, испытывающего настоящий страх. Я приблизил к вене кончик иглы, и моя левая рука, державшая его предплечье, ощутила, что он дрожал. Я сделал уверенно укол, потянул назад поршень и инъекционная жидкость окрасилась в красный цвет. Попавши в цель я тоже вздохнул. Я снял перевязку и начал медленно, очень медленно вводить инъекцию. Окончивши, вытащил иглу и когда прижимал красную точку вены ваткой, смоченной в спирте, глаза Ежова вышли из орбит и глядели на меня с настоящим ужасом, он прерывисто дышал, и голова его свалилась на подушку. Страшный Ежов переживал очень неприятный момент от

сильного сердцебиения, появившегося в результате натурального воздействия от ин"екции.

— Это ничего, это ничего — поторопился я успокоить его. — Это небольшое нарушение сердечной деятельности, которое всегда вызывается этой ин"екцией: чтобы уменьшить его, я и делал ин"екцию очень медленно.

Ежов был, видно, благодарен за раз"яснение, его взгляд стал серьезным, но он ничего не сказал. Он спрятал обе руки под одеяло, и мы с Gabrielem попрощались с ним, пожелав ему отдохнуть.

Он только односложно ответил нам, и мы вышли.

Тот же самый автомобиль ожидал нас у дверей. С теми же самыми остановками, но с той только разницей, что теперь мы их делали в начале пути, вернулись мы в мое жилище.

Габриель вошел со мной. Он провел меня в какое-то помещение, в котором я еще ни разу не был. Это было его личное, как он мне об"яснил, хотя оно было хорошо обставлено, но там не было полного порядка. Он предложил мне сесть и позвонил. Прибыл шеф дома, которому он заказал ужин, как он мне сказал, у него не было до сих пор для этого времени. Принесли икру, жаренного цыпленка, консервированные фрукты и вино. Он предложил мне, но у меня не было аппетита и я отказался. Я только выпил кофе.

Как только он покончил со своими яствами, он начал говорить мне со своей обычной манерой расплывчатости.

— В дальнейшем мы должны будем предпринимать подобную экскурсию два раза в неделю, так ведь?

— Если не будет осложнений — заметил я.

— Да, конечно, за исключением физических осложнений у шефа... Думаю, что другого типа осложнений не предвидится. Надеюсь, что ваша скромность хорошо обеспечена материально в этом доме, но сверх этого не будет излишним указать вам, что ваше добровольное молчание должно быть образцовым.

Тут его прервал телефонный звонок.

Габриель моментально взял трубку. Ответил пару слов и с трубкой в руке сказал мне:

— Шеф страдает от очень неприятного состояния во рту. Спрашивает, не можете ли вы это чем-нибудь смягчить или уничтожить.

Я понял, о чем тут была речь, мне надо было подумать об этом раньше. Это было ртутное выделение через рот, о чем я не вспомнил своевременно. Я раз"яснил Габриелю, что нужно полоскать рот раствором калиевого хлора.

Он передал эту вещь по телефону, но затем опять спросил:

— А не можете ли вы приготовить эту вещь лично?

Я ответил, что не думаю, чтобы эти элементы имелись в лаборатории, и что самое быстрое было бы спросить раствор в аптеке.

Он так и сказал и повесил трубку.

— Он говорил со мной сам лично. Думаю, что завтра вы должны попытаться приготовить сами нужный раствор. Не знаю, осмелится ли Ежов воспользоваться лекарством, не будучи уверенным в том, что оно не отравлено и что его поставщик не находится в его руках, чтобы за него отвечать. А как вы думаете, долго будет продолжаться это неприятное состояние?

— Пару часов, а может быть и немного дольше, как я думаю. Когда увеличим дозу, то оно будет гораздо дольше, но мы постараемся его предупредить по возможности самым лучшим образом.

— Хорошо, постараетесь завтра же приготовить полоскание, лучше переслать его, если можно, пораньше. Вы должны будете сделать предварительно анализ в двух или трех разных лабораториях и так, чтобы не знали, для кого оно предназначается. Я уверен, что он распорядился бы также, так что предпримите все предосторожности при приготовлении, ибо он пожелает иметь полную информацию насчет этого. Ампула, которой вы делали ин"екцию, доставлена, по-видимому из за-границы так, что ни продавец, ни человек, ее доставивший, не могли знать, для кого она предназначается, но, кроме этого, я уверен, что другая ампула из подобной же серии и того же происхождения была предварительно впрыснута какому-нибудь индивидууму, и уже только тогда, когда было сказано, что она безвредная, он решился пустить их в употребление.

— Я вижу, что предосторожности доходят до крайности.

— И это не является исключением — возразил Габриель, — Вы не имеете понятия о той безжалостной борьбе, которая там завязалось... Имейте ввиду, что непосредственные акты

насилия сейчас почти что невозможны. Крепость советского аппарата непреодолима, его врагам остается, как средство, только коварство... и, поверьте мне, делают чудеса, но в конце концов, разве вы не являетесь исключительным свидетелем?

— Да правда — согласился я, — то, чему я был свидетелем, превращает те полицейские новеллы, к которым я был очень пристрастен в юности, в детские игрушки, очевидно, все эти книги написаны не преступниками, что было бы несравненно интересней, а созданы воображением людей, мыслящих так же, как и жертвы, это значит людей с посредственным воображением. К несчастью - и это является большой утратой для всемирной литературы - ни настоящие конспираторы, враги Союза, а еще тем менее мы, которые его защищаем, не пишем наших воспоминаний.

— Почему же, — спросил я наивно.

— Есть много очень важных причин. Одна из них, вполне нормальная, это недостаточно у нас времени для того, чтобы предаваться подобной работе. Вы представляете себе нашего великого Сталина, посвящающего один час в день на писание мемуаров? а Ежова? Если бы имели возможность вникнуть в нашу внутреннюю механику, то вам бы стало ясно, что проблемой из проблем для наших шефов является проблема времени. Имейте ввиду, что мы, как государство, не имеем начала, у нас нет истории, ее надо создавать, мы не являемся продолжателями какого-то режима, прошедшее не годится нам и является только препятствием для нас. Всюду необходим персональный стиль. Мы должны быть инженерами, наводящими мосты в мрак неизвестности, не располагая ничем, кроме первой ступеньки... Арка должна, упереться своим концом на пустоту.

— Несомненно, что были и изменники — аргументировал я, — изменники, бежавшие за границу. Ну, а они?

— Некоторые, конечно немногие. Нелегко, как вам известно, порвать гарантии, которые мы берем от тех, каковые имеют возможность бежать, но ясно, что некоторые остались за границей, к счастью, как правило, это все люди посредственные, люди, которые знали только свое и очень мало чего больше. Все, что они понаписали, не стоит труда. Они смогли рассказать только о своей собственной деятельности, но, естественно, что тут им приходится сокращать самое интересное, т.е. свои личные дела.

Стыдливость - это вещь, которая необходима в буржуазной среде. Никто не рассказал о том, как он украл, как он убил. Это он рассказывает о других, но о себе - никогда... Это вполне понятно, в буржуазной среде, их действия таковы: убийства, кражи, они смогли бы описать эти факты только в том случае, если бы они могли переменить образ мыслей буржуазии, и она бы рассматривала их поступки, как поступки на войне, каковыми они и являются... Теперь хорошо, поскольку для буржуазии война не считается начавшейся до момента, пока она не об"явлена королем, парламентом или, как этого многие желают, плебисцитом, то им очень трудно постигнуть или предположить нашу настоящую правду, что война перманентна, что война есть в итоге единственный аргумент Государства, если это Государство. Ибо война - это борьба и история, это жизнь человека и перманентная борьба за существование. Это сказал Маркс, и эта фундаментальная истина марксизма, изложенная еще раньше Дарвином, является для нас догмой, и Советское Государство верно ей.

— Я не думаю, чтобы эта блестящая теория смогла бы служить в качестве подходящей пропаганды по радио или в буржуазной прессе — заметил я не без иронии.

— Почему же нет? Это было бы все равно, что говорить на неизвестном языке. Они бы поняли грамматическое значение слов, но больше ничего. Постигнуть же никогда не смогли бы. Постигнуть эту истину в ее настоящем значении - нет, определено нет. Никто не понимает того, что выше его способностей: образ мыслей у буржуазии не обладает соответствующими измерениями. Она не может постигнуть того, что выше ее собственного содержания.

Его убежденность казалась непреодолимой, он защищал, как аксиому то, что для меня было только парадоксом, изобретательным, но парадоксом. И я привел довод:

— Все это изобретательно, но невозможно доказать. Никто не противостоял буржуазному образу мыслей такими словами, какие вы сейчас произнесли, и я сомневаюсь, чтобы еще кто-нибудь...

— До известной степени. С такой лаконичностью, пожалуй нет. Но согласитесь, что я не сказал вам ничего нового, мой синтез чисто ортодоксальный.

Он тысячи раз повторяется в марксистских текстах, в тех самых, которые мы экспортируем каждый день тоннами. Вы

не знали этого? А если это так и если признать у них наличие снисходительности, прекрасно проявленной им по отношению к другим наукам, то почему они этого не понимают? Признайте, что их знаниям не хватает протяженности, еще правильнее сказать, что эта доктрина имеет протяженность шире их интеллекта.

— А может быть они не верят в искренность текстов.

— Возможно, что этими словами: "что они не верят" - вы приблизились больше к раз"яснению данного феномена, да, пожалуй те размеры, которых им не хватает именно и заключаются в том, чтобы верить. Они уже не верят: универсальной подпоркой для их веры был Бог, но уже с давних пор она у них сломалась. Теперь они не верят в Бога и, в силу последовательности, ни во что вообще. И так как они не верят, то невозможно, чтобы поверили кому-нибудь, или способны были верить. Мне кажется, что они дошли до того, что не верят в самих себя. А мы, мы верим в борьбу за существование и считаем, что она имеет конец и сроки: разрушение враждебных классов, разрушение буржуазии.

— Нет, — сказал я, — нет, вы принимаете свои суб"ективные абстракции за аксиомы, распространенные по всему миру, в то время, как, в общем, буржуазия их перед собой даже и не ставила...

Но он меня прервал:

— Она их перед собой не ставила, это верно. Но мы то их себе ставим, мы их истолковываем, как аксиомы. Даже больше, чем аксиомы, не сделалась ли эта правда, записываемая человеческой кровью во всех уголках планеты в течение девятнадцати лет мировой деятельности более очевидной, чем все аксиомы? Согласитесь, доктор, в основе буржуазия обладает способностью понимания. Поверьте этому, и вы сможете достигнуть известности, посвятите себя поискам той клеточки, которая то ли излишествует, то ли отсутствует в их буржуазных мозгах. Эта клетка является причиной их более низкого качества... это было бы поразительное научное открытие... поверьте.

И таким почти что комическим сводом он закончил разговор.

Мы встали.

— Уже для меня поздно — сказал он, чуть ли не зевая. — Буду спать здесь. Спокойной ночи, доктор.

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ

Так как вечером мы долго засиделись, то встал я поздно. Я припомнил, что на сегодняшний день мне не было дано никаких поручений и приказаний и предполагал, что я буду располагать временем целиком лично для себя. Я имел ввиду провести значительную часть времени за писанием там, в лаборатории.

Я спустился в столовую и позавтракал сам. Я спросил, не оставлены ли для меня какие-нибудь распоряжения, на что мне ответили отрицательно. Я уже было уселся и пристроился, чтобы начать писать, как меня позвали из дверей. Я, конечно, очень испугался. Это был Габриель, но он не вошел, а ограничился только тем, что настойчиво попросил меня побыстрее сойти вниз. Я спрятал свою тетрадку и спустился, как мог скорее.⁴

Голос Габриеля руководил мною снизу. Я вошел в вестибюль и там он мне сделал знак, приглашая войти в свое помещение.

— Вам придется очень спешно заняться лечением — сказал он мне торопливо.

— Где? Кого? — спросил я.

— Там, мы доставили пациента, но поторопитесь... Идите, возьмите все необходимое.

Я уже знал, что недалеко в другой комнате имелся чемоданчик с большим количеством инструментов. Я вышел, чтобы взять его. Габриель пошел вслед за мной, поторапливая меня. Я забрал чемоданчик, и он велел мне следовать за собой. Мы поднялись на первый этаж и вошли в одну из комнат. При входе я увидел человека, лежащего на кровати. Ему было око-

⁴ То, что я напишу дальше, сын мой, рекомендую тебе скрыть от твоих сестер. Я не хочу никоим образом выпустить это описание, так как я раскрываю тут кое-что из деятельности ГПУ, чего мы не знаем и что настолько необычно и настолько утонченно и в то же время столь характерно, что я хочу тебе об этом сообщить. Это дьявольская и отталкивающая вещь, да; но то, о чем я узнал в тот вечер, может служить ключем для многих слишком важных вещей. Постараюсь записать все по возможности в корректных выражениях.

ло тридцати пяти лет, он был бледен. Черты его лица были правильные. Глаза его были открыты, но достаточно тусклы, почти как стеклянные. Меня встревожил его вид.

— Вы сказали, что он ранен — спросил я у Габриеля. — Пулей? Ударом?

— Нет, нет. — Я заметил, что он как-то смутился. — Дело в большом кровоизлиянии, но посмотрите, посмотрите сами.

Быстрым движением я стянул одежду, оставив тело пациента раскрытым. С первого взгляда мне бросилась в глаза странная вещь, на которую я обратил внимание, хотя она не имела ничего общего с медициной. На этом человеке была надетая женская рубашка и очень элегантная, одну из таких я видел в парижских витринах, также на нем был один шелковый чулок, а другая нога была голая: мне показалось, что я увидел на кончиках пальцев кровь, я нагнул голову и тогда заметил, что ногти на ногах были окрашены в красный цвет. Я сделал жест непонимания и повернулся к Габриелю. Этот иронически улыбнулся и энергично и стремительно перевернул этого человека. Теперь он лежал ртом вниз. Огромный пук ваты и марли, прикрепленный липким пластырем, покрывал область ягодиц, кровь просачивалась.

Я воздержусь говорить о способе лечения. Скажу только, что повреждение было в сфинктере и причинило сильное кровотечение. Поскольку его нужно было спешно остановить, у меня не было возможности произвести расследования о наличии разрывов внутри, что было вполне возможно, учитывая происхождение "несчастливого случая", содержание которого было раскрыто Габриелем при помощи одного единственного, очень образного слова.

Мы оставили пострадавшего под действием анестезических средств и ушли.

— Об этом ни одного слова — предупредил меня Габриель.

— Договорено — согласился я.

Мы спустились с лестницы. Придя в зал я сделал движение, чтобы уйти, но Габриель пригласил меня пройти с ним в маленький боковой кабинет. Мы оба сели.

— Я думаю, что вы несколько удивлены вашим вызовом и также думаю, что вы мне не простили бы этого, если бы я не

дал вам раз"яснений.

Я ничего не ответил, ограничившись только жестом, подтверждавшим мое желание узнать об этом.

— Прежде всего что дело служебное, как вы можете понять — обратился он ко мне — в такие отвратительные дела не вмешиваются по своему собственному вкусу.

— Я так тоже полагаю — согласился я. — Наверное дело касается какого-нибудь высокого начальника, который страдает сексуальной извращенностью?

— Нет, это иностранец: уважаемый, из семьи знатного происхождения.

— Даже в этом случае, я не могу понять, почему он не отослан в общественную клинику? Зачем беспокоить его и беспокоить меня?

— Я уже обратил ваше внимание на то, что это дело служебное. Знайте, доктор, — и на его лице появилась улыбка, — что на войне, на нашей войне, мы пользуемся добродетелями и моралью противника. В случае с вами, доктор, вашей родительской любовью. Мы превращаем в сильное оружие эти буржуазные предрассудки. Но буржуазия обладает не только добродетелями, а также и недостатками и гнусными пороками, что делает ее уязвимой для нападения со всех сторон и, как в данном случае, с тылу...

Он глубоко вдохнул дым от папиросы и выпустил целый клуб, затуманивший его улыбку, а затем продолжал:

— Это не советское изобретение. Тот крупный полицейский (не помню немецкой фамилии, которую он произнес), который в действительности создал великолепного Бисмарка, использовал и систематизировал порок, как политическое оружие. Не часто вы найдете человека, а в особенности, если он родовит или занимает высокое положение, у которого бы отсутствовали пороки или дефекты. Все это нужно проверить, удостовериться, получить доказательства и воспользоваться этим, как оружием. Там, где не подействует угроза смерти, всегда будет иметь успех шантаж, которым надо уметь искусно воспользоваться. История и опыт подтверждают это. И наш закон войны диктует нам право использования оружия для морального убийства, ибо мы при помощи этого оружия превращаем индифферентного человека или противника в раба.

— Но это же по сатанински — вырвалось у меня.

— Это война! Это война, доктор. Кроме того, мы не единственные, которые его употребляем, это оружие употребляется также в странах с буржуазной моралью, организациями, считающими себя благородными, гуманитарными, уважаемыми... Если бы вы знали!

Меня разобрало любопытство, и я захотел воспользоваться тем, что Габриель был в этот момент в хорошем настроении.

— Это трудно — намекнул я — проверить и добыть доказательства в таких деликатных вопросах.

— Нет — ответил он мне: — все это дело надо немного организовать. Здесь, в СССР, нам это очень легко сделать. Соответственная секция имеет у себя на службе определенное количество порочных профессионалов... Вы понимаете меня? Выявился факт, продемонстрированный тысячи раз, что профессионалы в этом извращении — гомосексуалисты — так же, как и разбойники, умеющие различить среди тысяч — другого разбойника, совершенно точно определяют другого гомосексуалиста, остается только предоставить ему возможность обманчивой тайны и безнаказанности.

— Но как же — настаивал я, огорошенный.

— Чистая техника. Их затягивают (так, чтобы они ничего не заподозрили) в соответствующее место, где во всех уголках функционируют фотографические аппараты и фильмы... и мы уже тут имеем убедительные доказательства. Сцена прощания с почетным приглашенным (и с каким почетным!) или с иностранным дипломатом очень забавна. Им показывают фотографии и даже заставляют присутствовать на показе фильма... Затем человек отправляется в свою страну. Он должен молчать или расхваливать, смотря по надобности. Если это политик, то он должен служить нам. Если военный или дипломат, то должен стать изменником. В некоторых редких случаях был раскрываем банкир или князь, аристократ или политик, ученый, литератор, духовное лицо, генерал, дипломат или лицо подобного ранга, положения или воспитания, они находятся у нас на службе. Получается всеобщее оцепенение. Никто не догадывается о причине. Расследуют, не играют ли тут роль деньги, но проверка говорит, что нет. И никто не знает, чем об"яснить тот факт, что люди, которые по своему рангу, воспитанию и положению должны были бы быть врагами

коммунизма, на самом деле служат ему. Никому не приходит в голову произвести расследование в области пороков и дефектов, если бы это было сделано, то была бы обнаружена та мертвая петля, которая навсегда привязывает их к нам и притом гораздо сильнее и полней, чем если бы мы держали за их спиной пистолет. Если бы было известно это оружие, которым мы оперируем, то уж никто бы не удивлялся такому количеству неожиданных измен, которые совершаются в нашу пользу, никто бы не удивлялся тому, что столько уважаемых и выдающихся особ фигурируют в качестве наших попутчиков... Потому что мы никогда не обязываем их делать политические заявления или клятвенные отречения, если они находятся в нашей власти, нет. Они продолжают жить так, как будто бы в их жизни ничего не изменилось. Они продолжают свою прежнюю деятельность и остаются в своей собственной среде. Они саботируют, смягчают и воздействуют на мнения в секторах, наиболее враждебно настроенных к нам, Это необъяснимый факт, а также необъяснимо то, что мы располагали и располагаем большими симпатиями в высших кругах немецкой армии и даже внутри самой нацистской партии, преимущества, которые мы выиграли в прошлом году и которые еще выиграем - очевидны. Сотрудничество между Рейхсвером и Красной Армией с самого первого момента должно было бы ошеломить мир, если в своем слабоумии он еще способен на удивление. Если сыграли роль злоба и разочарования Версаля, то также играл роль в этом факте и интимный хаос, царящий во всех внутренних органах Германии. Да, сыграли роль эти факторы, но участвовавшие в этой игре люди, если их можно называть людьми, были те, которые попали к нам в руки, благодаря своей дегенеративности. Реальность этого факта доказывается предшествовавшими событиями и к тому же очень показательными. Во время войны 1914 года раскрылось, что шеф военного шпионажа в Австрии, безупречный полковник, состоял целиком на службе шпионажа для царя. Причиной была его гомосексуальность. Это общеизвестный факт, записанный во всех историях шпионажа.

— Тем не менее — возразил я ему — сотрудничество немецких юнкеров с Красной Армией происходило, главным образом, в первые годы существования Советской республики. Вы же не сможете утверждать, что уже тогда партия обладала

такой прекрасной организацией.

— В действительности она ее не имела, но вы не должны забывать, что мы главным образом в первые годы имели также и союзников, в те времена Троцкий со всем своим иудейским племенем и масонами надеялся наследовать Ленину. При посредстве их, работавших столько лет в Германии, мы получали обильную информацию, и даже больше: люди, которых они держали в своих руках еще со времен конспирации, перешли на службу к Советскому Государству. Когда мы выбросили Троцкого, то само собой разумеется, мы сохранили их в нашем ведении и договорились с ними. Я кое-что знаю об этой истории, не даром я приобретал свой первый опыт в Германии.

— А мой пациент?

— Этот уже наш, посмотрите — и, сказав это, он вытащил из портфеля, лежавшего на диване, несколько фотографий большого размера, которые он и показал мне с торжествующим видом.

Я просмотрел их. Сцены были самые грубые, реальные. Фотоаппарат двигался с такой ловкостью, что в заснятом фазе за фазой позорном акте всегда можно было различить суб"екта по его лицу. Я думаю, что эти непристойные фотографии, вызывавшие чувство отвращения и демонстрировавшие типов в столь скотском и комичном виде, могли бы служить для них средством для излечения их от порока, если заставлять их пару раз в день рассматривать таковые. Ясно, что думая так, я предполагал, что у них еще осталась капля стыда или нормальности.

Габриель поднялся и собрал свои фотографии, собираясь выходить. Я спросил об инструкциях в отношении пациента.

— Сейчас вам надо заняться его лечением. А когда, по вашему, наступит подходящий момент, то вы мне сообщите. Вы сможете подлечить его скоро?

— Думаю, что да — машинально ответил я.

— Сделайте это, это важный тип и этого заслуживает.

Не говоря больше ничего, он распрощался. Еще один раз я был снова поражен и ошеломлен, затем я удивился сам себе и тому, с какой легкостью и естественностью пользовался Габриель моей помощью и соучастием.

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ДОПРОС

Мне были даны инструкции, чтобы лечение моего пациента двигалось поскорее. Дело было в том, как мне об"яснил Дуваль, чтобы он был в состоянии выходить и чтобы его могли увидеть его московские знакомые, хотя он и лежал в кровати под предлогом болезни, конечно совершенно отличной от реальной. По возвращении его в свою среду я должен буду продолжать его лечение. Таким образом у меня увеличивалась "клиентура". У меня было два "пациента": Ежов – главный комиссар и этот тип, иностранец, занимавший большой пост, как мне было сказано.

В силу этической "асептики" я не сообщаю деталей лечения. Этот человек говорил по-французки, но мне было запрещено говорить с ним о чем бы то ни было, кроме его повреждения. Ввиду поспешности, уже через три дня я согласился на его перевозку.

Было девять часов утра, когда меня разбудили от имени Габриеля.

Он поджидал меня к завтраку и спросил меня, сколько времени еще нужно моему пациенту для поправки, чтобы он был в состоянии выдержать продолжительный разговор. Я ответил, что для этого понадобится еще два-три дня. До конца завтрака Габриель сидел молча. По окончании завтрака он просил меня проводить его в комнату, служившую ему кабинетом.

— Вы счастливый человек, доктор. Если, как я надеюсь, у меня будет успех в разговоре с этим человеком, с вашим пациентом, то вы будете в курсе значительной игры в советской политике и почти что мировой. Вас это не воодушевляет, доктор?

Я был повергнут в молчаливое ожидание, но придя в себя ответил:

— Меня это не соблазняет и не приводит в восторг. Я только хочу быть тем, чем я был, соединиться опять с моей семьей и стать опять никем...

— Я это знаю, знаю, Доктор, но это вопрос абсолютно

имеющий ничего общего с тем положением, в котором вы сейчас находитесь. Целая серия обстоятельств, назовем их нечаянными, ввергнули вас помимо вашего желания и совершенно непредвиденным образом в головокружительные события, выходящие за рамки всего предусмотренного. Вы не имеете права выбора, вы должны согласиться своей охотой на то, чтобы идти по течению, отказавшись – не знаю на сколько времени – от своей психологии, своей этики и, в конце концов, от своей собственной персоны... Только так вы можете спасти, если хотите, свою жизнь, свою семью...

— А душа? — готов был закричать я, но апломб, естественность и сверх всего отблеск радости жизни в лице Габриеля сдавили мне горло и я не смог ответить ни одного слова. Он продолжал, сделав переход:

— Если этот человек подчинится и будет подчиняться, то это вам придется с ним договариваться. Я не смогу иметь с ним постоянного контакта, в особенности здесь, меня знают слишком многие, и так как в этот наивысший момент для режима невозможно знать, кто является врагом...

— Неужели же и ГПУ даже не знает?

— ГПУ – это весьма действенная превосходная политическая полиция, как вы знаете, но есть политика, не только об"ективная, каковыми являются буржуазные полицейские, но – и это ее особенность – также и суб"ективная. Вы понимаете?

— Не все, правду сказать. — И я говорил правду

— Говорю, что суб"ективно, потому что все и каждый из нас в отдельности – мы политики и коммунисты.

— Ну, значит, чего же бояться? Враг будет находиться вне полицейских кадров, было бы другое дело, если бы люди были только техниками и профессионалами.

— Да конечно, вы были правы, если бы борьба шла между коммунистами и антикоммунистами... Против фашизма мы можем посылать людей без предварительного отбора, я это наблюдал уже в Испании, все одинаково борются против фашистов, но здесь дело не в фашизме, дело в разновидности коммунизма: правильно сказать в фальсифицированном коммунизме, который может показаться многим более совершенным, чем реальный и законный сталинский коммунизм. Понимаете ли вы, что бывают моменты, когда даже самые проверенные люди не заслуживают доверия? И что какой-нибудь

"белый" аполитичный человек, как вы, достоин больше доверия и менее опасен и более полезен, чем какой-нибудь фанатик? Человек в вашем положении, доктор, является автоматом, и сейчас нам нужны главным образом автоматы, это значит солдаты, ибо лучший солдат – это автомат, например немец...

— Я не согласен — доказывал я. — Личная инициатива, индивидуальный героизм...

— Не смешивайте, доктор, вы мне даете портрет не солдата, а воина. И между обоими есть основательная разница. Сейчас, в решительный момент политической битвы, только один человек должен знать стратегический план, один только Сталин, если он хочет добиться победы на двух вражеских фронтах: демократически-троцкистском и фашистском... Над всем человечеством, ибо знайте, что один из них, будь то фашистский фронт или демократический, может нас победить.

— И что же в этом случае получится? — спросил я, очень заинтересованный будущим.

— В этом случае — начал он улыбаться — а что это вам больше даст? Для вас важно ваше лично будущее и семейное. Ну и так в обоих случаях плохо, очень плохо, вы уже являетесь, хотите ли вы этого или нет, сталинистом в действии, ни фашисты, ни троцкисты вам не простят... Таким образом, доктор, служите честно, умно и исполнительно. Потом я поговорю с вами о деталях после моего разговора с этим человеком.

Он начал перебирать документы и я понял, что разговор окончен. Я простился, чтобы запереться в лаборатории, но я не дотронулся до своих тетрадей, — боялся писать, зная, что он находится в доме.

За следующие три дня не произошло ничего важного, кроме того, что мне надо было ездить всегда на инъекцию к Ежову в сопровождении Габриеля. На третий день Габриель напомнил мне о моем обещании относительно пациента в том отношении, что он желал бы уже устроить с ним свидание. Я ответил утвердительно, но указал, что лучше было бы подождать еще несколько дней. Он согласился с условием не отодвигать встречу на большой срок, он инструктировал меня, что я должен дать распоряжение мистеру Гаррису — ибо так его звали — о необходимости посещения им в следующий вечер моей лаборатории, поскольку мне необходимо будет подробно ис-

следовать его в соответствующих условиях, в целях избежания каких-либо осложнений. Я должен буду привести его прям в лабораторию и там произвести исследование, но в его присутствии.

— Не подумайте, доктор, — об"яснил он мне иронически, — что мне доставит удовольствие это зрелище, я должен буду сдерживать себя, чтобы не дать ему пинок ногой, но я должен буду присутствовать при ваших манипуляциях, чтобы у этого человека появился комплекс подчиненности, очень необходимый для моего последующего разговора с ним.

Как всегда, я дал свое согласие.

Был уже час дня, когда я прибыл со своим пациентом в лабораторию. Меня сопровождал один из санитаров, находившихся в амбулансии, доставившей его сюда. Мы перевели больного в комнату на нижнем этаже, где в тот же день мы установили операционный стол и инструменты, принесенные из подвала, где, не знаю почему, держал их мой предшественник, доктор Левин. Габриель раз"яснил мне, что сцене надо придать вид и поэтому санитар и я надели наши халаты и белые колпаки, резиновые перчатки и т.п.

Когда санитар начал раздевать мистера Гарриса, открылась дверь и без разрешения вошел Габриель.

Больной сделал движение, чтобы прикрыть пугливым жестом свою наготу.

— Это другой доктор? — спросил он меня с тревогой.

— Продолжайте — приказал сухо Габриель.

Его металлический голос, не относившийся ко мне, и его краткий, но повелительный жест должны были убедить мистера Гарриса, что тот, кто находится здесь, имел право приказывать.

Санитар продолжал раздевать больного и тот подчинялся.

Габриель остановился и стал метрах в двух, он стоял неподвижно и только с необычайной пристальностью смотрел на англичанина, смущенного и обеспокоенного, как будто бы глаза Габриеля прокалывали его неприкрытую кожу.

В этот вечер Габриель был одет во все черное, вплоть до джемпера, тоже черного, закрытого, с воротником, подходящим под подбородок.

Бледно-белый цвет его лица выделялся гораздо более рельефно, чем обычно.

Я без остановок произвел свой профессиональный осмотр, процесс залечивания проходил быстро и хорошо и не было заметно признаков осложнений.

Когда мистер Гаррис начал одеваться, Габриель вышел, не произнеся ни слова. Немного позже я вышел вслед за ним, с целью спросить о распоряжениях. Он сидел в комнате на стуле за столом. Он мне только сказал:

— Приведите его!

Я вошел с тем человеком. Габриель оставил зажженной только одну единственную лампу сильную, освещавшую стол и его очертания и оставлявшую в тени все остальное, его фигура не была спрятана в полумраке, как это бывает в технике кинематографической полиции, но совсем наоборот: его черный силуэт, увенчанный сильно освещенным лицом, резко выделялся. Думаю, что все это было устроено в соответствии с декоративным искусством. Когда после предварительного разрешения я вошел с Гаррисом, он ничего не сказал, ограничившись указанием на два стула, один визави него для англичанина и другого – по правую сторону стола – для меня. Гаррис сел с трудом, опираясь руками на стол, но не отводя взора от глаз Габриеля. Я тоже сел, приготовившись стать немым свидетелем.

Сказать откровенно, я должен признаться, что мне трудно воспроизвести ту сцену, свидетелем которой я был и то, что я слышал. У меня не хватает литературных способностей для изображения бесчеловечной свирепости его слов, а тем более манеры держать себя, его жестов, а главное, особого тона его голоса с металлическим оттенком и режущего, как бритва. У меня не хватает средств для передачи сильного впечатления от этой сцены, которая, казалось, просверлила даже и мой мозг.

Воцарилось краткое молчание, длившееся столько времени, сколько продолжался скрип стульев, на которые мы усаживались, но мне оно показалось очень продолжительным. Габриель нарушил его, сказав:

— Ну, прекрасно, фон Крамер.⁵

Выражение лица этого человека мгновенно изменилось. Он широко открыл свои большие голубые глаза и его нижняя

⁵ Имена и фамилии лиц, могущих быть обеспеченными (в случае, если они реальны) заменены здесь другими, не имеющими ничего общего с фактами.

губа опустилась и дыхательное горло сделало глотательное движение, но он не произнес ни одного слова

— Крамер — повторил он. — Знаешь ли ты, в чьей власти находишься?

Выражение лица у человека было неопределенным. Габриель сидел неподвижно и сконцентрировал всю свою энергию в зрачках, казалось, что лицо его заострилось. Он повторил:

— Знаешь ли ты, в чьей ты власти? Нет? Хорошо, ты во власти ГПУ.

Фон Крамер не изменился, несомненно, он не мог уже измениться еще больше. Под конец он произнес как-то глухо, не знаю, как-то уж процедил сквозь зубы "почему?"

— А уж узнаешь... Сейчас посмотри на это — и сказав, положил перед его глазами один снимок.

Крамер сначала захлопал глазами и отбросил карточку.

— Нет, Крамер, нет, рассмотри хорошенько эту сценку — приказал Габриель, и показывая на свои часы добавил: — Я даю тебе две минуты на рассмотрение каждой художественной позы, их пять, десять минут развлечения.

— Нет! — воспротивился Крамер.

— Да! — приказал повелительным голосом Габриель.

С садистическим хладнокровием и хронометрической точностью выкладывал Габриель перед Крамером фотографию за фотографией, покрасневший лоб немца начал блестеть от пота.

Прошло десять минут, изучение кончилось. Габриель забрал одну за другой все фотографии. Когда он держал перед собой опять каждую из них, то он иронически, бесстыдно на французском языке подонков общества, сурово и с подчеркиванием делал едкие, острые, убийственные, но удачные комментарии к каждой похотливой позе изображенного там сексуального акта. Я должен воздержаться от повторения этих фраз, которые были бы оскорбительные даже и для публичного дома.

Конечно, в подобной моей передаче, никто не сможет себе представить, какая психологическая травма была нанесена человеку, подверженному подобной вивисекции. Чтобы это можно было раз"яснить, необходимо было бы быть самому свидетелем этого, слышать Габриеля и кроме того видеть те

пять дьявольских снимков, на которых были изображены двое мужчин в бесстыдной наготе, с жестами и действиями самого лихорадочного животного эротизма, грубого и комичного в высшей степени. Нечто, в конце, концов, чего никто не может себе вообразить, не видя этого.

Свои оскорбления и образные выражения из своего парижского АРГО Габриель закончил следующим грубым вопросом:

— Что бы ты сказал, Крамер, по поводу популярного издания твоих эллинских поз и бесплатного распространения их в Берлине?

Крамер задержался на несколько секунд, не будучи в состоянии произнести ни слова, и наконец сказал:

— Есть только один выход.

— Какой?

— Пуля — ответил придушенным голосом немец.

— Решение слишком простое. Ты должен знать, Крамер, что самоубийство это роскошь, которую не признает пролетарское государство, самоубийство это буржуазная роскошь, да будет тебе известно, что если этой ночью мы не сможем договориться и ты останешься на своей позиции, то выход из положения продиктую только я... Несомненно ты читал и слышал кое-что из того, что изобрекло в отношении наших пыток горячее воображение антисоветских элементов. Так? Ну, и все это ложь, никто из тех, кто испытал это на собственном опыте, не смог об этом рассказать, все это ложь, преувеличено воображением, ибо наши способы пыток это нечто поразительное, чего никто даже не способен вообразить себе, и так как ты не можешь себе этого вообразить, то я не буду больше упоминать о них до момента, когда ты испытываешь их на себе сам.

Габриель сделал паузу, чтобы зажечь папиросу, он сразу изменил свою позу и жесты и облокотясь на спинку кресла отвлек на минуту свой взгляд, рассматривая клубы дыма, которые он выпускал с напускной живостью.

— В данный момент — продолжал он — я тебе сообщу что-то: твой дорогой товарищ Фриц получил извещение о серьезном состоянии твоего здоровья: это ты его известил телеграммой, ясно, что его тревога была большая, не даром он тебя так любит... Во второй телеграмме ты его вызвал к себе и имел

удачу в том, что с нашей стороны были сделаны большие облегчения в деле получения им визы..., и вот тут результат.

Сказав это, он протянул ему телеграмму.

— Как ты видишь, твой возлюбленный Фриц в данное время спит уже в Ленинграде. Я человек гуманный, понимаю твое намерение увидеть его. — и он снял телефонную трубку. — Мы вызовем его, нам дадут моментально возможность поговорить.

Но Крамер, привстав, задержал его умоляющим жестом.

— Я прошу вас не делать этого — попросил он, падая на свой стул.

Габриель повесил трубку и продолжал:

— Как хочешь, завтра Фриц приедет в Москву и ты его увидишь. Что вполне естественно, я извещу его о месте и характере твоего повреждения и, кроме этого, он увидит по фотографиям, как происходило дело.

— Нет!! — воскликнул Крамер — Вы не сделаете этого! Это несправедливо эксплуатировать удобным образом врожденный дефект, болезнь. У вас же есть культура, вы должны поэтому иметь и мораль, вы должны быть знакомы с суждениями о науке, высказанными Фрейдом.

— Г....! — плюнул в него Габриель. — Болезнь? Нет! Это вершина вашей нечистоплотной западной цивилизации. Болезнь? Почему ее нет среди неграмотных крестьян и среди рабочих, которые работают до истощения? Это ваша монополия, специальность привилегированных классов, а если она захватывает иногда и индивидуумов из низов, то это потому, что вы добились их падения.

— Нет, вы в заблуждении, разрешите мне иллюстрировать это, большая часть гомосексуалистов находится в вашем революционном классе... Есть статические данные знаменитых ученых, еще до-Гитлеровские.

— В чем они хотят убедить?

— Просто напросто, что наша болезнь не является пороком нашей цивилизации и не является определяющей ее или вершиной гениальности. Революционер по меньшей мере должен быть для нас гением.

Я не думал, что Крамер, учитывая свое положение, будет способен на такую реплику, сделанную с несомненным диалектическим искусством. Если бы Габриель стал отрицать его

закключение, то он мог бы впасть в противоречие.

— Видно, Крамер, что ты взялся спорить на выгодной позиции по твоей собственной специальности... Не напрасно искал ты с тревогой научных доказательств для вашей нечистой, плотной психологии, и так как вас миллионы в вашем высококультурном буржуазном мире, то вы находите и услужливых ученых, которые об"ясняют и оправдывают вашу добровольную сексуальную извращенность. Так, я знаю и без научных исследований об этой пропорции гомосексуалистов в рядах марксистов, да они существовали и существуют среди отдельных индивидуумов, среди так называемых шефов, среди марксисткой аристократии, как их назвал великий Сталин..., но это не есть настоящий марксизм. Марксизм — это масса, но никогда не индивидуум. А что касается этих индивидуальных псевдомарксистов, этих выдающихся деятелей, на которых построена твоя статистика, то не видишь разве, как ликвидированы и извержены? Ну, конечно, Крамер, ставим точку и прекратим это академическое расчленение. Мы остановились на том, что Фриц должен все узнать. И даже больше: никто нам не запретит переслать в Берлин твоим братьям и другим членам семьи или твоим товарищам по Генеральному Штабу экземпляры из этой коллекции... И еще кое-что: ты прибыл под предлогом, продать изобретение, связанное с противоздушной артиллерией, не так ли? Хорошо, мы могли бы устроить так будто это предложение есть результат преступного шпионажа там, в твоей стране.

— Это уже не так: это изобретение не является собственностью Вермахта, и, кроме того, это чешское изобретение.

— Да, я это знаю, но в течении сорока восьми часов оно смогло бы фигурировать в архивах Геринга, а несколько дней спустя на тебя был бы сделан донос одним из немецких шпионов с приложением к допросу твоих предложения. Ну и так, как же?

Видно было, что Крамер упал духом и чувствовал себя сломленным и запутавшимся, ибо он осмелился только на один аргумент:

— И что выигрываете тут со всем этим вы или Советское Государство?

— Это наше дело, Крамер. Давайте не будет опережать событий! А кстати, доктор, уже почти что четыре часа. Не по-

есть ли нам и не выпить что-нибудь?

Я согласился с удовольствием, я много курил и чувствовал себя ослабевшим. Я вышел на момент и заказал закуску и вино. Когда я вернулся и подошел к столу, Габриель быстро говорил:

— ...Полное бесчестие в обществе и семье, разрыв с Фрицем... Нечто непоправимое, не так ли? Отправка в Райх, нормальное путешествие в советском самолете. Вас будут ждать, приговор за шпионаж и затем расстрел или топор? Я уже не говорю вам о том, чтобы оставаться здесь, ибо вы не имеете понятие о нашем обхождении, но имеется другая возможность.

В этот момент вошли с заказанной закуской на подносе и бутылкой русского вина.

— Но что это такое? — воскликнул Габриель, обращаясь к человеку, подававшему на стол. — Разве в этом доме не найдется двух несчастных бутылок шампанского?

Человек быстро вышел и моментально вернулся, принес бутылки. Габриель взял одну из них и посмотрел на марку. "Не плохо", подтвердил он. К нам пододвинули круглый столик и поместили его между мной и им. Прежде чем приняться за еду он обратился к Крамеру!

— Обдумайте мои последние слова, пока мы тут перекусим. Воспользуйтесь этим временем, позже уже нельзя будет исправить. Отвернувшись от него он начал с удовольствием есть, он взял одну бутылку и откупорил ее так, что пробка с шумом вылетела, налил мне и себе с такой же ловкостью и искусством, как он проделывал это в парижском кабаре. На Крамера он не обращал никакого внимания, как будто бы его не существовало, даже и не подумал его пригласить.

Должен признаться, что редко в моей жизни я ел и пил с таким удовольствием, как тогда. Удивительна человеческая природа! Рядом со мной, чуть ли не соприкасаясь со мной, находился тот человек, это был живой труп, как я это понимал после всего слышанного, если бы у него под руками был револьвер или яд, то он безусловно покончил бы самоубийством, тут же находился и я, и хотя мне было стыдно, да, но я не мог сдержать своего аппетита и жажды, наслаждаясь и смакуя икру и шампанское с неудержимым аппетитом и удовольствием. Я хотел об"яснить себе это или, пожалуй, оправдать себя,

выискав какую-то причину, и мне думается, что я ее нашел или, по крайней мере, мне так казалось, поскольку она успокоила упреки моей совести. Я заключил, что тот факт, что я будучи в течении продолжительного времени свидетелем внутреннего мучения этого несчастного, истощил настолько сильно мою нервную систему, что мое физическое состояние требовало немедленного надлежащего восстановления. Было ли верным или нет мое рассуждение, но мне оно показалось аксиоматическим и оно меня ободрило перед лицом обвинявшей меня совести... Что касается Габриеля, то я не знаю, мне казалось, что он пробовал шампанское и все блюда со странным удовольствием, выставляя напоказ свою неизменную элегантность, для этого я так и не нашел ни об"яснения, ни причины. В самом деле, этот почти что похоронный банкет граничил с чем то ужасным, адским.

Мы закончили все минут за десять. Крамер даже не пошевелился. Габриель повернул свое кресло, чтобы усесться за столом в правильном положении. Он спокойно закурил папиросу и после первой затяжки посмотрел в глаза немцу.

— Вы хорошо все обдумали? — спросил он его

— Что я могу обдумывать! — ответил Крамер

— Попросту, расположен ли ты подчиняться?

— В чем?

— Спрашиваешь в чем? Может быть ты думаешь, что я стал бы терять время с таким отбросом человечества, каким являешься ты, ради удовольствия видеть тебя, имеющего вид подобного пугала вместе с этим монгольским варваром. — и он показал на фотографии.

— Нет, Крамер, нет! Дело касается твоей миссии, о которой мне известно. И, сверх этого, согласен ли ты продолжать ее под моим контролем и руководством. Это все.

Крамер молчал несколько мгновений, а затем спросил:

— Я предлагаю одно условие

— Нет, условия диктую я — отказал ему Габриель

— Оно абсолютно не касается дела.

— Сейчас ты признал, что есть дело... Ну начнем с чего-нибудь определенного. В чем состоит условие?

— Чтобы Фриц ничего не знал и чтобы он мог беспрепятственно выехать из СССР.

— А, дело касается твоего товарища, это для тебя самое

важное. Мог бы сказать об этом еще раньше, согласен, согласен, говори.

— Я капитан О.К.В.⁶, цель моего путешествия завязать контакт с определенной советской особой.

— С какой?

— Я еще пока что не знаю.

— Невозможно, ты хочешь скрыть его имя. Но это глупо!

— Нет, поверьте мне, я еще даже не знаю, с кем буду иметь дело. Эта особа представится мне в тот момент, когда она найдет это подходящим, дав мне об этом знать.

— Каким образом?

— Через условленное слово.

— Какое?

— "Набор", тот, кто произнесет мне его, став смирно по-немецки и щелкнув каблуками, это и будет то лицо, с которым я буду иметь дело.

— Это миссия О.К.В?

— Частично да, но в сущности – нет.

— От Партии?

— О нет... никоим образом.

— Я должен терять время на вопросы? Говори. Сделай устную информацию. Так будет лучше всех.

— Хорошо, но имейте ввиду, что я физически себя чувствую очень слабо, нельзя ли было отложить это? Я обещаю...

— Нет, ты мне пока что не сказал ничего существенного... А для своего подкрепления давай вот... — и сказав это, Габриель достал неоткупоренную бутылку шампанского и быстро откупорил ее, немец смотрел на него с томлением, видно, у него была огромная жажда, получив бокал, он жадно его выпил: после этого Габриель дал ему папиросу и зажег ее ему, немец сразу оживился.

— Я слушаю — последовало повелительное приглашение со стороны Габриеля.

— Для того, чтобы вам было понятно, я должен рассказать кое-что предшествующее. Дело имеет свое начало в 1934 году, во время "чистки" Гитлера. Я был интимным сотрудником генерала Бредова, вы знаете, кем он был, а также о его казни вместе со Шлейхером и другими, хотя я тоже участвовал в заговоре, но я спасся, а также спаслись и многие другие.

⁶ Генеральный штаб немецкой армии

Конспирация была очень обширная. Гитлеру пришлось бы обезглавить немецкую Армию в том случае, о котором я рассказываю. Благодаря целому ряду обстоятельств я оказался помещенным в центре конспиративного общества, и не напрасно, ибо после исчезновения Бредова, у которого я был для связи с высшим верховным командованием, у меня в руках остались внутренние связи, это было очень важно, ибо даже при развале общества оставались уцелевшими большие и важные его секторы. Чтобы сократить время, я не буду детально касаться этого плана, который вам будет, конечно, известен. В итоге дело шло об удалении Гитлера и партии путем установления военной диктатуры, базирующейся на передовой социальной политике. Это вещь - более или менее известная. Теперь интересно коснуться того, в чем заключалось интернациональное вмешательство в заговор, поскольку от этой внешней интервенции проистекает моя теперешняя миссия. Как вы знаете, конспирация против Гитлера была двойная, со стороны военных и со стороны С.А, под руководством Röhm'a. Между этими двумя сторонами не было непосредственного контакта. Так должно было быть, ибо наши идеи и политические цели были диаметрально противоположны. Röhm хотел развалить Райхсвер, а мы разрушить Партию. Связь между обеими сторонами, координация действий этих двух противоположных и враждебных сил имела свой корень за границей, то, что мы можем назвать главным штабом путча - организовали не немцы, это была недопустимая, но неизбежная тактика, учитывая наличие того парадокса, что те, которые должны были вести борьбу, являлись одновременно врагами и союзниками. Если каждый из нас имел различные стремления во внутренней политике, то в интернациональной - мы единодушно поддерживали те директивы, которые нас поддерживали и руководили нами извне.

— И чьи же были эти иностранные директивы? — спросил Габриель.

— Это очень большой фронт, в первую очередь была Англия и Франция, более точно: Intelligence и Second Bureau. Как вам должно быть известно, не оставлялись доказательства, мы имели контакт через Чехословакию.

— Масонерия?

— Да, судя по применяемой тактике, можно так думать.

Говоря коротко: главной нашей уступкой интернационального характера было создание серьезной военной угрозы против СССР, вы можете понять, что это требование прекрасно согласовалось с идеологией одного и другого крыла конспирации.

— И с какой целью надо было создавать такую угрозу?

— Тогда я этого не знал, и думаю, что никто не знал, но теперь могу сделать выводы о плане вполне уверенно. Кроме того, я не должен прерывать ход дела... Разрешите мне немного шампанского?

Габриель налил ему второй бокал и предложил ему курить по своему усмотрению. Крамер возобновил свой отчет.

— После провала (провала, которой надо отнести за счет того, что управление находилось очень далеко) прошло более одного года вне контакта с нашими внешними союзниками. Во время моей поездки в Испанию, спустя несколько месяцев после начала там войны, ко мне подошел в Париже незнакомец. Это был англичанин, по виду военный. Он доказал мне, что все знает, в частности, о моей собственной роли в путче.

— Они также знали о ваших гнусных наклонностях? — вставил Габриель.

— Да знали. Его подослали те самые элементы, которые руководили в 1934 году провалившимся путчем из-за границы, он изложил мне такие подробности, что после этого у меня не оставалось никаких сомнений в истинности его слов. Он предложил мне возобновить связи с высшими начальниками О.К.В, которые не были выявлены, и я это обещал. Я очень утомлен... Не сможем продолжить разговор потом? — спросил Крамер, который и в самом деле был чуть ли не в обморочном состоянии.

— Это невозможно — отказал ему Габриель, — я должен, по крайней мере, знать о вашей миссии в Москве, чтобы получился синтез. Выпейте еще бокал и закончим.

Он налил, и Крамер выпил.

— У меня нет сил. Вы, доктор, должны знать, что я не вру, но я сделаю над собой усилие и в немногих словах изложу проект. Дело в том, что я должен возобновить контакт с антисталинскими элементами в советской Армии, каковых, как мне было сказано, там много среди высоких чинов, и притом, через посредство личности, которая мне представится сама. План таков: ввиду наличия оппозиции и политических протес-

тов Гитлеру будет разрешено сильно увеличить свою власть. Европейской войны, мотивированной положением в Испании, как этого желает Сталин, не будет. Когда Гитлер будет достаточно сильным, то он получит заверения в том, что ему предоставят свободу действий на востоке, вспыхнет война между Германией и СССР, война вызовет в обеих нациях одинаковое положение: власть, военная власть, как это вполне нормально, перейдет тогда в руки генералов. Произойдет двойной государственный военный переворот в Берлине и в Москве, и Гитлера и Сталина расстреляют. Будет заключен мир вничью между двумя новыми правительствами России и Германии... Поверьте мне, я не могу больше — сказал Крамер слабым голосом и его голова упала на стол.

— Займитесь им — дал мне распоряжение Габриель, и начал ходить взад и вперед.

Я оживил его, сделав ему инъекцию. При помощи интенданта я снес его в его комнату и положил на кровати.

Габриель не отходил от нас.

— Не отходите от Крамера, досматривайте за ним со всем вниманием — а затем, обратившись к санитару и к "мажордому", приказал им повелительным тоном:

— Чтобы один из вас не отлучался отсюда ни на один момент, караульте этого человека... а вы, Крамер, не пытайтесь делать никаких глупостей: например, покончить самоубийством, не забывайте, что Фриц пока что еще в моей власти, он сделал несколько шагов к выходу, но прежде чем открыть дверь пригласил меня: — На минуточку, доктор.

Мы вышли в коридорчик и он, притянув меня к себе, сказал приглушенным голосом:

— Вы ничего этого не слышали, вы ничего не знаете, понятно?

Я согласился, ибо его тон не оставлял места для каких-либо сомнений, редко я видел, чтобы Габриель вел себя так значительно и говорил бы так серьезно.

— Я буду работать, если будет что-нибудь новое у Крамера, то позовите меня, но досмотр за ним должен быть превосходным и тщательным.

Я видел, как он исчез за дверью своей комнаты и слышал, как он оттуда крикнул: "Кофе, горячего кофе".

Я вернулся к Крамеру, он спал глубоким сном, я позави-

довал его сну, но не положению. Я оставил его на попечении санитары и сам ушел выпить кофе, я смертельно хотел спать.

-----оооооОООООооооо-----

Было девять часов утра, когда меня вызвал Габриель. Я застал его пишущим на машинке, он не заговорил со мной, пока не закончил свою работу.

— Я уйду сейчас же, возможно, что задержусь на несколько часов с возвращением. Присматривайте за Крамером, предлагаю вам повторно полное молчание. Никому, что он здесь находится, никому — подтвердил он, — это важно.

— Если вы увидите сегодня комиссара, то напомните, что мы должны сегодня делать инфекцию.

— Сегодня я его не увижу. — И сказав это он сделал вызов по телефону.

— Слушаю... Могу я говорить с товарищем Целюкидзе? — Воцарилось молчание минуты на две — Товарищ Целюкидзе? Могу ли я видеть тебя немедленно? Да, чрезвычайно важная информация... хорошо, да, но пусть он уж сам скажет, если захочет, чтобы я его увидел. Нет, нет, по телефону ни одного слова.

А? Если тебе угодно, товарищ, пошли мне пару машин с твоими людьми: соответствующая предосторожность, потом ты поймешь, товарищ... Лучше, если ты проверишь непосредственно место.

Не прошло и часу, как я услышал звук автомобильного сигнала и скрипение тормозов перед дверьми. Я сидел в кресле и слегка вздремнул. Меня разбудили, я прошел в вестибюль, но смог только увидеть Габриеля, выходящего на двор. За этот краткий момент я успел рассмотреть через открытую дверь стоящий перед дверьми большой черный автомобиль и двух или трех человек в форме НКВД, затем я услышал шум моторов.

ПОХИЩЕНИЕ ОДНОГО МАРШАЛА

Габриель вернулся после трех часов дня в тот же день. Вошел быстро и динамично и потребовал нетерпеливо и громким голосом поест.

Ел и пил Габриель с огромным аппетитом, по окончании он признался, что не прочь бы поспать, напомнил мне еще раз об охране Крамера, и ушел отдыхать, поручив разбудить его в шесть часов.

После шести часов Габриель распорядился, чтобы его провели к Крамеру. Он заперся с ним наедине. Я воспользовался своим отпуском, чтобы предаться безмятежно сну.

Меня разбудили к ужину, я поужинал сам и с пару часов поджидал, пока не вернулся Габриель, с которым мы вместе отправились делать ин"екцию. Ничего особенного не произошло. Габриель был мало разговорчив.

Когда мы вернулись в лабораторию, было уже два часа ночи. Габриель провел меня в кабинет.

— Вы будете пользоваться некоторое время свободой — сказал он мне, оттеняя слово "свобода" шутливым акцентом... — Да, вы нам нужны на несколько дней в качестве обыкновенного врача, нормально работающего и посещающего своих больных, все улажено. Вы будете сейчас представлять собой врача, имеющего назначение на Урал, тут, в ваших личных документах — и он показал несколько бумажек — вы ознакомьтесь с подробностями, а также с историей, которую вы должны будете излагать в случае, если вас спросят и т.д. Как увидите, вы находитесь в Москве в ожидании распоряжения на выезд, и везете с собой медицинские инструменты и дорожную аптечку для клиники, которой будете управлять. В конце концов вы понимаете, что все это камуфляж: дело в Крамере, мы решили, что именно вы будете поддерживать общение с ним в течение всего того времени, пока он будет находиться в Москве. Вы присутствовали на моем разговоре с Крамером две ночи тому назад, не нужно вам и говорить об огромной важности того, что им было раскрыто. Чтобы дать вам понять ту колоссальную ответственность, которую вы

здесь также несете, вам достаточно будет знать, что ничто из всего того, что вам до сих пор было известно, не сможет сравниться с этим делом, ни дело Ягоды, ни Миллера, ни Берзина, ни дело с Навачиным, ни здоровье самого Ежова не достигают того значения, которое имеет дело, выданное Крамером. Чтобы вы смогли понять это хоть частично, знайте, что все они являются, как это я сказал? только факторами, которые, если их сложить вместе, все об"единяются в один заговор, цель которого спровоцировать войну и инвазию в СССР.

— Это тоже троцкизм? — спросил я, стремясь что-нибудь узнать.

— Да, троцкизм, таково, по крайней мере, популярное название, хотя ему соответствует одна только фракция, и оно не является настоящим названием для настоящих действующих лиц. Но не будем отклоняться в сторону, вы берете на себя часть колоссальной ответственности и должны понимать, что может повлечь за собой ваша нескромность или ошибка. Вложите сюда все свои пять чувств.

— И это абсолютно необходимо здесь мое вмешательство? Разве вы не располагаете опытными людьми?

— Ваш выбор это мое дело, я знаю, почему я даю вам поручение, не напрягайте своих мозгов в поисках моих мотивов и причин. Сконцентрируйте весь свой ум для верного и точного выполнения своей миссии, которая хотя и очень важна, но совсем не трудная, как вы увидите.

— Ожидаю ваших раз"яснений — просил я.

В общем он мне рассказал и растолковал на сто ладов, что моя роль сводилась только к посещению Крамера для лечения его от его ранений, которые он получил, "попав под грузовик", и что я его лечу потому, что я случайно находился близко от места катастрофы и оказал ему врачебную помощь в первый момент. Что официальное имя его в отеле было Джон Гаррис, о чем я уже знал. Существенно было то, о чем он повторил мне два раза, что мой контакт с Крамером имел случайное происхождение и имел серьезную причину: его излечение, это должно было сбить со следа и устранить всякое подозрение о моей связи с ГПУ, малейший признак полицейского вмешательства причинил бы полный крах делу, поскольку его сообщники, будучи людьми, занимающими самые высокие посты в государственном аппарате, конечно обладали средства-

ми, чтобы знать, не имел ли Крамер над собой кроме обычного надзора, полагающегося для иностранцев и являющегося неизбежной и естественной вещью, еще и другого, особого, и сверх того, не имел ли он общения с людьми, подозреваемыми в связи с полицией. Что детали и видимость были самым важным делом для успеха, так как от этого зависело, чтобы Крамер был вне подозрения, и в таком случае ему представится и будет говорить с ним та важная особа, появления которой он ожидал, если бы она появилась, то моей единственной миссией было бы передать ее имя, данное Крамером.

Пока что я должен был приготовить свой багаж, "советский" багаж, это значит, из"яв абсолютно все мои заграничные вещи, самое большее - я мог сохранить нижнее белье, ибо его не было видно. Я не должен был особенно отличаться от прежнего доктора Ландовского.

Когда прибыл таксомотор - мы отправились. Было нормально холодно, соответственно времени года, но мне казалось, что я чувствую особенный холод, мое тело, обуржуазившееся от моей "западной" одежды, дрожало, и я не мог совладать с этой дрожью.

Мы прибыли в отель "Савой". Я помог войти Крамеру, что он сделал с большим трудом, в скором времени мы сделали первый ляпсус, так как мы пошли себе, забыв уплатить. Но шофер не забыл об"явить нам сумму, и заплатил Крамер, как это ему полагалось. Предполагаю, что ТАКСИ было служебное, но играло свою роль с наибольшей естественностью. Про себя я подумал, что это должно будет послужить мне уроком.

Мы вошли и, попросив ключ от комнаты Крамера, поднялись наверх. Мы провели вместе только время, необходимое для того, чтобы помочь ему раздеться и улечься. Мы договорились, что я вернусь после семи часов вечера, и распрощались.

Спускаясь по лестнице, я припоминал свои слова и движения, анализируя не были ли они подозрительными. Мне показалось, что нет, и я спокойно переступил порог двери отеля, со своим старым чемоданом в руке я отправился на ту улицу, на которой мне было указано мое пристанище.

-----оооооООООооооо-----

Прошло пять дней с момента моего прибытия в этот дом.

Часы проходили очень монотонно. Я скучал. Этот сложный аппарат, которым является человек, должен во многом подчиняться инерции, получилось, что теперь, когда функции мои были, относительно, спокойными, я страдал от состояния скрытой и усиливающейся неудовлетворенности, я много раздумывал, чтобы найти причину и, в конце концов, должен был признаться себе, что у меня отсутствует то постоянное напряжение, которому я был подвержен несколько месяцев подряд. То, что я не видел Габриеля, не присутствовал при нем, не жил в ожидании чего-то необыкновенного, все это меня пугало и нагоняло страх, ибо превратилось для меня как бы в наркотик, без которого я не мог обходиться. Несколько повлияло также изменение режима питания и отсутствие алкоголя, он был упразднен, а что касается еды, то я получал питание советского низшего служащего, хотя это и не самый плохой вид питания, который должен получать гражданин, но я почувствовал безутешную пустоту в своем желудке, привыкшему к обильному столу ГПУ.

Дом, в котором меня поместили, был значительно лучше того свинарника, где жил я со своей семьей, но он показался мне нестерпимо неудобным. Хотя я располагал отдельным помещением для себя одного, но оно было настолько узким, что раздеваясь я должен был проделать акробатику на кровати: кровать была старая, и не хватало одеял, но была чистая, ночью мне было холодно даже и тогда, когда я накладывал всю свою одежду поверх двух легких и стареньких одеял. Все эти неудобства я мог переносить, но нестерпимым для меня был со всех точек зрения постоянный шум. Дом, который в свое время был большим и удобным, был так поделен и переделен, что помещения его превратились в клетки, количество проживающих там людей было так значительно, что выходило на двор, в коридоры и на лестницы, для того, чтобы выйти или зайти, нужно было проделывать эквилибристику, чтобы не оттоптать ноги куче ребятишек, поднимающихся и спускавшихся по лестнице, многие из них были нагружены пакетами, свертками и корзинами. Зрелище это было для меня не ново и не должно было бы беспокоить меня, я прожил так много лет, даже еще и хуже, но теперь, после месяцев, проведенных в удобстве и по-сибаритски, все это стало для меня мучением. "Чистка была в своем апогее: я наблюдал ее воздействие на

этот социальный слой, состоящий целиком из мелких служащих, и думал о том, что все мои неприятности были мелкими по сравнению с тем террором, который переживают все эти люди. Будучи помещенным во внутрь террористической машины в течение нескольких месяцев, я не мог видеть того эффекта, который производил террор в социальных массах. В конце концов и я был террористом, да, это так: терроризованный террорист: мое зрение было ограничено зубчатым сцеплением аппарата террора, и я не видел людей, раздробляемых машиной.

По внешнему виду ничего не происходило. Дом был похож на настоящий человеческий улей, наполненный движением и шумом, но движения и шумы были нормальными. Только по беглым взглядам, по коротким незначительным разговорам, прерываемым под ничтожным предлогом, можно было заметить что-то необъяснимое, как будто бы в атмосфере носилось что-то странное, тяжелое, угнетающее. Родоначальником террора было Советское Государство, конкретно действовавшее через свою полицию, но как ни колоссален был репрессивный аппарат, как не были многочисленны и огромны его щупальцы, они не были в состоянии заключить в свои смертельные объятия столько миллионов и миллионов существ, из которых состоит русский народ. Эта машина могла убивать, переселять, держать в голоде и безнадежном состоянии один, десять, двадцать миллионов людей, но ведь граждан было почти двести миллионов: поэтому возможности избавиться от этого были, относительно большие. Но это подсчет умственный, а ум теряет всю свою законность перед лицом ужаса, потому что страх имеет чисто жизненное происхождение. Это головокружительное бытие на краю пропасти небытия.

Я сознаюсь, что я не способен изобразить картину советского террора.

Его предшественник, французский террор, обладал пластичностью, жестом и даже величием с его аудиенциями перед революционными Трибуналами и публичными казнями. Советский террор мудро зажал все, что могло бы возвеличить и возвысить его жертву. Если и были дозволены считанные публичные процессы, то с целью убить обвиняемого морально его собственной низостью, прежде чем убить физически в каком-то неизвестном подвале. Совсем другим был террор языч-

ников по отношению к христианам. Императорский палач, сенат и народ появлялись со всей своей пышностью при свете солнечного дня, выставляя беззастенчиво, не стыдясь и не лицемеря, свое преступление перед толпами народа, они демонстрировали перед лицом вселенной пышность и величие своего Римского Государства, которое претендовало на величие во всем, вплоть до совершаемых им преступлений. Нет сходства между той языческой империей и теперешней советской бюрократией, состоящей из лицемеров, подлых пресмыкающихся безличных людей, прячущихся всегда подобно хищным зверям в ночи. Еще меньше основания для сравнения жертв современного террора с христианскими мучениками. Заметьте, что в истории вы никогда не найдете слова "террор" для обозначения намерения их ликвидации. Слово "террор" не употреблялось ни в хрониках, ни в христианских или языческих антологиях. И если такое выражение появлялось, то именно потому, что на безоружный христианский народ никогда не нападали, на лица мучеников, подвергаемых мучениям и разрезаемых на куски при ярком свете солнца, даже не видно было признаков этого террора. Я хочу найти кое-какую параллель только вспоминая отдельные страницы классической литературы, описывающей города, терпевшие огромную смертность из-за чумы, там царила невообразимая паника среди людских масс перед невидимой смертью, которая косила и косила людей..., но даже и эта картина не может дать понятия о советском терроре, в тех городах с их улицами, усеянными непогребенными гниющими трупами, оставались еще живые люди, которые могли предаваться своим истерическим или благоговейным настроениям, проклиная или умаяя небо, но в СССР не так, террор здесь настолько единодушен и усовершенствован, что парализовал всякую душевную и физическую реакцию, нет воплей, истерик, жалоб, протестов. Террор продолжается уже столько времени, так им все насыщены, что нервы у людей атрофировались. Получается так, что когда, наступает момент, которого ожидали и боялись, и появляются наемные убийцы чекисты, то их принимают не как вестников смерти, но как тех, которые, наконец, открыли дверь для освобождения.

За короткое время моего пребывания в этом доме, агенты ГГУ посещали его три раза, забрав с собой пять арестованных

человек: четырех мужчин и одну женщину. Об арестах мы узнавали днем, почти что всегда в тот момент, когда соседи видели членов семьи арестованного выносящими свои вещи и утварь, ибо почти что всегда вслед за арестом следовало выселение. Арест производился всегда перед рассветом, бесшумно, без лишних людей и с такой натуральностью, что дать себе в этом отчет могли только люди, живущие в этой же самой комнате. Не было криков, никто из членов семьи не плакал, не повышал голоса и не жаловался. За слабой перегородкой рядом с моей комнатой жил служащий лет пятидесяти, семья которого состояла из жены и трех дочерей, старшей из которых было около двадцати лет. Ну и вот: его забрали, и я не слышал ни одного голоса, ни одной жалобы, хотя спал я плохо.

О всех этих событиях я узнавал от хозяйки дома, женщины лет тридцати, высокой и худой, как она мне рассказала, она была замужем за служащим, который временно имел дела в Баку. Она все время входила и выходила и обо всем узнавала. В качестве гостя в этом доме находился еще один тип, тоже служащий, по ее словам, но он совершенно не выходил ни на одну минуту, ссылаясь на заболевание острым ревматизмом. Просиживая целые дни дома, он углублялся в чтение Правды целыми часами, как будто бы хотел выучить ее наизусть. Я предполагал, и думаю небезосновательно, что этот "инвалид" - служащий не был ни инвалидом, ни служащим, а обыкновенным чекистом, которому был поручен надзор за моей персоной.

За эти дни я сделал только два единственных выхода к Крамеру, на что я имел распоряжение. Также один раз вечером, после согласования вопроса с Габриелем, я уходил на ин"екцию к Ежову, само собой, что он инструктировал меня, как надо проделать определенные маневры назад и вперед с целью сбить со следа возможный надзор со стороны участников заговора, прежде чем сесть в автомобиль, в котором он поджидал меня для поездки на виллу Ежова.

Наконец я дождался ожидаемого. Было уже после семи часов вечера, когда я явился в отель, чтобы сделать свой вторичный визит в этот день. Крамер уже не лежал в кровати, его повреждения почти что не беспокоили его, и я разрешил ему с"есть что-нибудь более основательное, чем та жидкая диета, на которой он до сих пор находился. Он был бледен и хотел ка-

заться отважным, но я заметил у него дрожь. Он не говорил мне ни о чем особенном, и мой визит не отличался от других, я ограничился, как обычно, лечебной помощью. Когда он подавал мне руку для прощания, я заметил, что он передавал мне из руки в руку в несколько раз сложенную бумажку. Я задержал ее в своей руке с самым невозмутимым видом и ушел, обещая прийти на следующий день.

После ряда намерений соединиться по телефону с Габриелем я, наконец, смог говорить с ним. Он мне сказал, что подберет меня автомобилем при выезде из Москвы, и чтобы я отправился по направлению к лаборатории, а там меня нагонят.

Так и было. Прибыли мы очень скоро. Габриель уже поджидал меня. Я передал ему конверт, и он стал читать листик, содержащийся в нем. Он остановился на минутку, чтобы спросить меня, ужинал ли я, и узнав, что нет, позвонил, чтобы накрыли на стол. Я бесконечно обрадовался, и мой рот наполнился слюной, я взял без разрешения папиросу, ибо в эти дни я курил отвратительный обыкновенный табак, я почувствовал себя счастливым, облокотившись на мягкую спинку кресла.

Через несколько минут нас позвали к ужину. Я ел, как настоящий голодающий, Габриель почти что ничего не ел, он ушел в себя и как бы отсутствовал.

По окончании ужина он распрощался, проинструктировав меня, что я должен продолжать жить в моем помещении еще четыре дня, посещая, как обычно, Крамера, и стараясь вылечить его по возможности быстрее и лучше и когда спустя три дня на четвертый я уйду, то должен буду проделать тот же маневр, который я уже раз проделал, возвращаясь в лабораторию.

Автомобиль доставил меня опять к предместьям Москвы, и я в трамвае и пешком возвратился в свою комнату. Хозяйка дома на тысячу ладов разузнавала причину моего позднего возвращения, а служащий - инвалид посматривал на меня несколько раз украдкой из-за своей ПРАВДЫ. Я приводил в доказательство свои профессиональные обязанности, долгое ожидание в Комиссариате, а кроме этого, желудочное заболевание, по причине которого я не мог ужинать. Это мое воздержание от еды, нечто необычное для нормального советского гражданина, умерило желание худой, как скелет, граждан-

ки разузнавать что-либо больше обо мне, так как в перспективе у нее было некоторое увеличение витаминов. Я отправился в кровать и не мерз так, как в предыдущие ночи, несомненно, что этому содействовали обильные калории моего чекистского ужина.

Я снова вернулся в лабораторию, отбыв свои три дня и выполнив полученные инструкции.

Не хочу говорить, сколько раз я вспоминал о своих, за месяцы разлуки их образы не побледнели и не потускнели. Но сказать одно, а чувствовать - другое. Я изобретал себе и воображал тысячу предлогов, чтобы добиться разрешения увидеться с ними, но попытки и намеки, которые я делал Габриелю, были бесполезны, он всегда избегал этого вопроса, и если я осмеливался настаивать, то он баррикадировался за "приказание сверху", я не мог также добиться разрешения на переписку с ними. Единственное, чего я смог добиться, это обещание, что я получу просимое разрешение после того, когда будут благополучно закончены начатые дела, только никак не могу я угадать, когда они закончатся, ибо они все нагромождаются и усложняются и я не могу предвидеть их развязки и их окончания.

Думаю, что прошло дней десять, когда появился без предварительного извещения Габриель. Он вызвал меня по прибытии и без предисловий спросил меня имею ли я наготове то, что мы намеревались использовать в Париже для дела с Миллером.

— Ин"екции или наркотики? — Я хорошо помню, что договорились сначала использовать наркотик в парижском отеле.

— Ин"екцию — раз"яснил он.

— Обе вещи не тронуты и готовы к употреблению.

— В таком случае, имейте наготове свой личный багаж, так как вы должны быть готовы к выезду в любой момент.

— Мы вернемся в Париж для продолжения дела Миллера? — спросил я с беспокойством

— Не будьте так любопытны, доктор, — ответил он мне без строгости — Поедем ли мы в Париж или в Пекин. Что это вам даст? Существенно то, что мы начинаем действовать, вступаем в акцию, и в какую акцию, доктор!

Прошло еще три дня. На третий день вечером Габриель

меня вызвал, он сказал мне в коротких словах, чтобы я был готов к выезду в любой момент.

Мне не нужно было готовиться, так как я уложил все еще после его первого предупреждения о путешествии. Спал я плохо и был несколько возбужден, мне были неизвестны место назначения моего путешествия и моя миссия, при каждой новой перемене моего положения меня всегда охватывал страх. Все это вместе взятое вызвало у меня довольно обостренное нервное состояние. Меня вызвали очень рано утром, я помылся, оделся и позавтракал перед выходом. Я только что еще заканчивал свой завтрак, как услышал шум от мотора автомобиля, остановившегося у дверей дома. Позвонив предварительно, ко мне вошли два человека, забрали мой багаж и отнесли его в машину, я вышел вслед за ними, занял свое место, и когда они уселись рядом со мной, машина тронулась. Путешествие длилось около трех часов, но точно я этого не знаю, ибо выходя из лаборатории я не обратил внимания на время. Уже поздним утром мы прибыли к месту. Задержались около больших ворот, сделанных из перекрещивающихся деревянных перекладин, и закрывавших доступ в местность, окруженную проволокой. Один из сопровождавших меня вышел из машины и подошел к офицеру, прогуливавшемуся перед воротами с наружной стороны, тут я еще заметил и двух часовых. После краткого разговора офицер сказал что-то солдатам и ворота раскрылись: человек, ведущий разговоры, опять сел в автомобиль, нас пропустили и проехав еще с пол-версты, мы остановились. Я сошел и в нескольких метрах от нас увидел трехмоторный авион и стоявших вокруг него трех или четырех человек, двое из которых подошли к автомашине, забрали мой багаж и занесли внутрь большой птицы. Когда они вошли туда через боковую дверь, то я увидел еще одного человека в форме военного летчика, спускавшегося оттуда, он сделал несколько шагов по направлению ко мне и подозвал меня, я подошел к нему и узнал Габриеля. Он взял меня под руку и подвел меня к авиону, приглашая подняться по короткой лестнице, доходившей до дверей. Мы вошли вместе, три человека заканчивали размещать и подвязывать мой багаж, рядом с моими были еще другие чемоданы и большой черный сундук с оковкой из желтого металла. Габриель распорядился, чтобы все сошли и когда мы остались одни, он предложил мне сесть, он проин-

структурировал меня, как надеть предохранительный пояс, и помог мне проделать эту операцию.

— А теперь снимите его — сказал он мне

Я попытался это сделать, но не сумел. Он улыбнулся.

— Хорошо, не делайте больше усилий, вы его не откроете.

Затем, не знаю как, он отстегнул пряжку предохранительного пояса, и я оказался освобожденным. Я встал, а Габриель давал мне инструкции с самым непринужденным видом.

— Вы, доктор, сядете в это другое кресло, вот смотрите - пояс, — и он начал играть пряжкой, легко открывавшейся и закрывавшейся, хотя она и была точно такой же, это место должен будет занять пассажир, который будет путешествовать с нами, нас будет только трое: он, вы, мой механик и я в качестве пилота, когда мы уже пробудем с час в воздухе, мой механик оглушит приемом джиу-джитсу по шее этого пассажира, он будет без движения, когда вы увидите его уже парализованным, то вот тут ваш чемоданчик, приготовьте совершенно спокойно свою ин"екцию, дайте ему укол и усыпите. Когда он спокойно уснет, вы его освободите от пояса и вдвоем вложите его в тот большой сундук, который вы видите там, его завяжут, так как сундук имеет соответствующее устройство и механик его уже испробовал. Что касается вас, то это все, после этого можете заняться наблюдением за пейзажами до тех пор, пока мы не приземлимся.

— Где же я должен сделать ему ин"екцию? — спросил я его. Он ведь будет одет и открытых мест будет мало.

— Это ваше дело. Сделайте укол, где хотите.

Я сел, а он сошел с авиона на землю. Я направил взгляд через ближайшее боковое окошко, через которое было видно крыло аэроплана и поле. Там, вдали, находилось несколько аппаратов и вокруг них шевелились солдаты. Габриель вернулся опять и в этот момент один за другим начали действовать моторы. Все эти события: путешествие, план и инструкции, произошли с такой быстротой, что у меня не было даже времени обдумать случившееся, но за время ожидания во мне зашевелились мысли, вернее недоуменные вопросы, подозрения и страхи. Я думал о том, был ли этот захват и это путешествие легальными, т.е. по распоряжению Государства, или дело шло об отважной, роковой и самостоятельной вылазке этого Габ-

риеля, линия поведения которого столько уже раз не совпадала с таковой полицейского агента и имела характер смелого гангстерства. Когда я его слышал, а главное видел в действии, динамичным, живым, увлеченным, то я не мог различить, где кончалось официальное и где начиналось его персональное. Дьявольская, исключительная, утонченная техника воспитания в партии случайно создала чудо, сплавив в этом самом индивидууме дух профессионала, техника, агента с духом страстного и изобретательного фанатика. Я был свидетелем этого необыкновенного сочетания в Габриеле и с трудом верил этому. Он проявлял себя с такой страстностью и так индивидуально, что мысль о подчинении, о послушании в нем совершенно исчезала, его решительность, мужество и жестокость, а одновременно и опьянение опасностью, были так необычайны, интимны и жизненны, что только тот, кто ощущал все это, как нечто интимное и абсолютно свое, мог жить в подобном состоянии.

Конечно я не мог так глубоко разобраться в этом вопросе, будучи оглушаем ужасным ревом моторов, это я пишу теперь в тишине зала, разглядывая крошечную радугу, получившуюся от преломления солнечного луча в стеклянной колбе.

Тогда же я делал тысячи стремительных догадок, каждый раз все более безрассудных, я думал, что мы, может быть, похищаем крупную советскую персону, а затем отвезем ее куда-то очень далеко, на пустынный остров, и за нее Габриель будет требовать баснословный выкуп, не знаю почему, но мое воображение представило себе этот выкуп в виде драгоценных камней... Я видел уже каскад рубинов, топазов, изумрудов, перемешанных с бриллиантами и жемчугом.

Когда я был наполнен такими несуразными мыслями, около меня прошел Габриель, не задерживаясь, он сказал мне: "он уже здесь", и спустился с авиона.

Я посмотрел через дверь и увидел автомобиль, из которого выходил человек хорошего вида, его персональной особенностью была большая борода, его осанка и одежда говорили о важности его особы, в руках у него был большой портфель. По-видимому, его поджидало несколько военных начальников, которые окружали его и провожали с признаками почтения, видел и Габриеля, поджидавшего его у авиона недалеко от крыла и приветствовавшего прибывшего навтыжку по-

военному. Затем в авион вошел незнакомец, одетый в военную форму воздушного флота, он сделал мне жест приветствия и прошел в кабину управления, я догадался, что это был пилот или механик, вслед зашли также другие солдаты с двумя кожаными чемоданами, которые они поставили в задней части аэроплана и вернулись к выходу.

Моторы ускорили свою работу, увеличивая шум. Вошел Габриель и сразу же за ним тот, кого я видел приехавшим на автомобиле. Габриель показал ему очень почтительно и очень учтиво его сидение. Прежде чем сесть, этот человек бросил на меня искоса взгляд, вроде как бы приметив насекомое, а этим насекомым был я. Меня оскорбил этот взгляд, и я, усаживаясь, подумал про себя: "Ну, уж потом ты поглядишь!" Габриель помог ему застегнуть пояс с улыбкой и деликатной любезностью, затем он подошел к боковой двери и распорядился закрыть ее, когда это сделали, он вытянулся перед этим типом и, отдав корректно по-военному честь, сказал ему:

— Когда прикажете, товарищ маршал.

Получив согласие, Габриель, не торопясь, сделал полуоборот и начал одевать огромные перчатки с такой щепетильностью и с таким видом, как будто бы он собирался обнять за талию какую-нибудь княжну, чтобы протанцевать с ней вальс. Затем сразу вошел в кабину, и в тот же момент я почувствовал, как, вздрогнув, авион покатился по длинной дорожке, а затем мягко оторвался. Мы быстро поднялись на высоту, и авион стал разрывать облака на куски своими крыльями. Я был несколько захвачен этим торжественным моментом подъема и тем фактом, что мы повисли в воздухе, и из моей головы исчезли мысли о том, что должно будет здесь произойти в этом тесном пространстве с этим генералом. Я смотрел на него, не поворачивая головы, и видел его спокойным и довольным самым собой, поглаживающим с торжественным видом свою великолепную бороду и разглядывающим панораму, открывавшуюся через окно. Поскольку он показался мне антипатичным при входе, я все время повторял про себя: "Уж увидишь, маршал, уж увидишь, как жалит это насекомое"... Но моя совесть устыдилась этой несправедливой мысли, и стал думать об этом деле с точки зрения послушного и принуждаемого "технического агента". Так как он на меня не смотрел, то я тайком бросал на него взгляды с целью исследования, куда

мне надо будет сделать ему ин"екцию. На нем были надеты толстые перчатки, просторное пальто на собольей подкладке, мех которой у шеи переходил в высокий воротник, в сущности, открытым было только одно лицо, мне казалось, что пальто его было такое толстое, что вряд ли можно будет поднять рукав вверх: можно было бы сделать укол в мускул ляжки через материю, но я отказался от этой мысли, я хорошо помнил, что его ноги оставались свободными, и он, что вполне естественно, стал бы защищаться. Я очень торопился, видя, что с каждым разом дело все осложняется. Не знаю, сколько времени я так раздумывал, все не находя подходящего места. Мои мудрствования были прерваны появлением так называемого механика в дверях кабины. Я глянул на него, он был очень спокоен и его монгольское лицо не отражало ничего особенного. Я дал себе отчет, что настал момент действовать, я отстегнул свой пояс. Монгол подошел к нам и, проходя между генералом и мной, сделал поворот с быстротой обезьяны, хватил маршала за шею, проведя рукой под его челюстью, все произошло в один момент: маршал почти что не пошевелинулся и сделался неподвижным. Я направился к чемоданчику с инструментами, меня бросило в дрожь и я никак не мог его открыть. Даже на небольшом расстоянии от генерала я не мог слышать из-за шума моторов что-то вроде глухого хрипения, исходившего из его горла. Наконец я открыл свой чемоданчик, из-за дрожи и поспешности я пролил жидкость из первой ампулы и справился уже только со второй, зарядив ею шприц, затем два раза упала у меня игла на пол, и я подумал о том, что она стала асептической, так как я смог укрепить ее только при третьей попытке. Я взял в руку свое оружие и почти что машинально направился к креслу. Мне было по настоящему страшно и я не знал что делать, держа в руке шприц я смертельно боялся встретиться с взглядом маршала. Я снял с него перчатку и попытался поднять рукав, но не смог. Я взял его руку и сделал укол в область большого пальца. Сделал укол не без дрожи. Окончил, но мне казалось, что ин"екция продолжалась вечность. Окончив, я пошел, чтобы спрятать иглу. Я немножко задержался, так как мои руки были очень связаны в движениях затем я запер чемоданчик и выпрямился. Я глянул на генерала, там был монгол, все еще державший его голову с тем же упорством и серьезностью, как тогда, когда я

его оставил. Я показал ему знаком, чтобы он его уже оставил, но он меня не понял и я сам должен был отвести его руки. Генерал уже не говорил, действие наркотика начало чувствоваться и он открыл веки с большим усилием. У меня мелькнула мысль о том, что могло происходить в помутневшем сознании этого человека. Монгол смотрел на меня вопросительно и с уважением. Я подошел к кабине пилота, просунул голову и увидел Габриеля с руками и ногами занятыми управлением машины, спокойно смотревшего вперед, как будто бы он вел аппарат с мирными туристами, он почти что не повернул головы на мое сообщение, что генерал уже спит, которое я сделал, крича во весь голос. "Хорошо, доктор!" — как будто бы расслышал я. Я вернулся к генералу: он был уже погружен в глубокий сон. Я посмотрел на большой черный сундук и достаточно было этого взгляда для того, чтобы монгол решительно подошел к нему, вытащил его и открыл, тут я понял, что этот сундук был приспособлен для определенной цели: внутри он был обшит подушками и был похож на футляр, устроенный таким образом, чтобы смягчать удары содержимого внутри. Я окликнул монгола для того, чтобы он освободил безжизненное тело генерала, он расстегнул пояс при помощи маленького ключика и затем мы вдвоем с усилиями и эквилибрирую потянули генерала к сундуку-гробу, куда его и уложили: ноги его оставались снаружи, но монгол согнул их без долгих размышлений, как будто он проделывал эту операцию уже не в первый раз, затем он с большой ловкостью застегнул несколько поперечных очень крепких ремней и, наконец, связал руки и ноги генерала. Монгол выпрямился, потирая свои руки, и жестом дал мне знать, что он закончил упаковку и собирается закрыть крышку сундука, но я его задержал. Хотя я и предполагал, что в сундуке должны были быть отверстия для дыхания, но я хотел в этом удостовериться, они там были, но поскольку я не знал, сколько времени будет длиться полет, я подошел спросить об этом Габриеля, он мне сказал, что мы приземлимся через полтора часа. Мне показалось преждевременным закрывать сундук и его закрыли только через час. Я пытался размышлять за это время, но не мог, несомненно, что затрата моей нервной энергии была колоссальная. Я только теперь пришел к заключению, что я фактически вступил в официальные функции профессионального истязателя. Несмотря на то,

что меня взволновала мое личное участие, я счел сам себя достаточно спокойным и в нормальном состоянии. Я подумал о том, что человек-животное несомненно обладает непредвиденными способностями приспособления.

Мои соображения о том, где же мы находимся, прервались болью в ушах, извещавшей о начавшемся спуске. Авион вскоре приземлился и я увидел бегущих по направлению к нам нескольких солдат. Мы остановились и через некоторое время появился Габриель. Монгол открыл боковую дверь, а на борт поднялось несколько солдат, но не летчиков, а энкаведистов под командой офицера, приветствовавшего Габриеля. Офицер дал распоряжение сгрузить весь багаж, с трудом вынесли большой сундук. Мы сошли все, невдалеке я увидел несколько летчиков в летной форме, которые вошли в наш авион вслед за тем, как мы вылезли. Моторы снова были пущены в ход, и еще мы не дошли до конца поля, как я увидел наш самолет в воздухе.

Там, около нескольких низеньких зданий - аэродромных построек - поджидало нас три автомобиля. В одном, которым управлял монгол, был положен багаж и в задней его части был помещен сундук, в другой вошли Габриель и я, а в третьем ехали офицер и солдаты НКВД.

Весь караван двинулся. Я, как это не парадоксально, успокоился, увидев себя под охраной НКВД, у меня уже не было сомнений относительно официального характера похищения нашего генерала. Автомобили продвигались по плохой дороге, на которой было много грязи и снега, местами растаявшего.

— Как прошла ваша операция, доктор? — спросил меня жизнерадостно Габриель.

Я смог ответить только неопределенным жестом и в свою очередь спросил его:

— Куда же мы везем "больного"?

— Сколько времени будет длиться действие? — вместо ответа спросил он меня

— Около шести часов.

Он посмотрел на свои часы.

— Уже прошло полтора часа, не так ли? Нам остается около четырех с половиной часов? Это мало. Не понадобится ли еще продолжить его сон одной инъекцией?

— Можно сделать, но где?

— Ну так в другом самолете — ответил он мне.

ПЫТКА

Опять в полете. Целью нашей поездки в автомобиле был переезд на другой аэродром, куда мы прибыли часа через два. Там нас уже ожидал авион с моторами в действии. Не было никаких лишних задержек, кроме необходимых для поднятия на борт багажа и нашей посадки, а затем мы опять полетели и пилотировал опять Габриель.

Я не знаю точно, над какой областью мы пролетали, но по виду некоторых крестьян, которых я видел на дороге, и по крестьянским постройкам я мог заключить, что это была Украина.

В пути не произошло никаких инцидентов. Согласно уговору я впрыснул все еще спящему генералу новую дозу.

Приблизительно через три часа я смог разглядеть через свое окошко большой город, хотя он был еще далеко и расплывался из-за тумана, но я узнал Москву, я не мог ошибиться: во время полета я мог разглядеть два или три города, но ни один из них не имел типичной архитектуры Москвы, которую я мог различить на большом расстоянии.

Вскоре мы приземлились, но не на том аэродроме, с которого вылетели. Нас опять поджидал отряд НКВД с тремя автомобилями. Офицер представился, здороваясь с Габриелем.

— Капитан Гавриил Гаврилович Кузьмин?

Габриель ответил на приветствие и подтвердил свою личность, затем они отошли на несколько шагов и стали говорить между собой. Все поспешно было погружено на три автомобиля и мы быстро поехали. Прибыли в лабораторию, чем и закончилось наше круговое путешествие, заставившее мое воображение пережить приключения в экзотических странах. Все было сгружено и энкаведисты ушли, остался только один механик монгол. Когда дверь закрылась, то Габриель распорядился, чтобы большой сундук был снесен в подвал. Я собирался остаться наверху, но Габриель пригласил меня спуститься с ним. Я спускался здесь впервые. Не знаю почему, мной овладело чувство страха перед дверью, всегда закрытой, которая мне напоминала о темной власти исчезнувшего Левина. Образ

доктора-садиста и подвал, не знаю почему, всегда ассоциировались в моем воображении.

Вопреки моему страху я не заметил ничего пугающего. Подвал был нормально освещен. У конца лестницы начинался корридор с четырьмя или тремя дверьми по бокам, заканчивавшийся затем довольно просторным помещением, окруженным другими шестью дверями, двери эти были крепкие, нормальные, но только с глазками. Открыта была только одна, из которой исходил сильный свет. Монгол, мажордом и еще один из служащих дома стояли около сундука, поставленного на пол перед открытой освещенной дверью и смотрели на нас, как бы ожидая наших приказаний.

— Откройте — сказал Габриель монголу.

Тот выполнил, поднял крышку и перед нами появился генерал в смешной позе с согнутыми и связанными ногами. Я взглянул на двоих присутствовавших которым не было известно содержимое сундука и, странная вещь, на их лицах не отразилось ни малейшего признака удивления или волнения, хотя для них это тело имело вид мертвеца.

— Развязать его и запереть тут — начал опять распоряжаться Габриель, бесстрастно глядя на спящего генерала. Он вытащил свой портсигар, предложил мне папиросу и стал прогуливаться.

Тело перенесли в камеру и я подошел, чтобы осмотреть ее, она вся была обита подушками и там вместо кровати была только одна доска, которая будучи положена горизонтально, покрывала половину площади. В то время, как я отвлекся осмотром, я услышал позади себя повелительный голос Габриеля:

— Снимите с него пальто, осмотрите его и принесите все, что на нем есть: но осмотрите хорошо.

Начался обыск, опаражничивались один за другим все карманы, затем были прощупаны и перещупаны все швы, подкладка, прокладка всех частей одежды по всем направлениям в шесть рук, как будто бы они искали блоху. Это продолжалось долго, но Габриель не проявлял признаков нетерпения и ни на минуту не отводил взгляда от этой кропотливой операции.

— Хорошо — сказал он наконец — теперь можете связать его.

В один момент у генерала были связаны руки и ноги, ибо к кровати-доске были прикреплены крепкие плетеные ремни,

застегивавшиеся на пряжки.

— Один остается все время на карауле — опять распорядился Габриель. Закройте — и взяв меня под руку, повел меня с собой.

— Как вам кажется, доктор, насчет завтрака? Не считаете ли вы, что уже пора позавтракать?

В самом деле, за весь день мы ничего не ели, но за всеми этими полетами и волнениями я даже не заметил этого.

-----ooooooooOOOOOoooooooo-----

Если бы я в данный момент захотел проверить свою совесть, как профессионального чекиста, то я не мог бы обвинить себя ни в убийстве, ни в пытках. Фактически, моя непосредственная деятельность до сегодняшнего дня сводилась к тому, что я спас от смерти Ежова и сделал несколько уколов этому советскому генералу и то (как парадокс) не для мучения, а для приятного сна. Если кто-либо подвергся мучению, так это я сам, мучитель, ибо получил пулю в спину и эта рана причинила мне физические и моральные страдания. Никто не смог бы поверить, что я, мучитель, доставлял удовольствие, а меня мучили. Но, в сущности, эти рассуждения слишком элементарны. Я только зубчик в сложном зубчатом сцеплении аппарата террора, если я до сегодняшнего дня не пытал никого лично, то я внес свою долю и оказал помощь по мере того, как это мне приказывалось. Я виноват. К этому заключению меня привела моя совесть, моя совесть, всегда живущая и бодрствующая там, внутри меня, я не мог себе представить ее исчезновения или усыпления. "Как это возможно — задавал я себе тысячу раз вопрос, — что совесть умерла у множества людей, которые меня окружают?"

Я наблюдаю, как они мучают друг друга и убивают. Верно и то, что пытая и убивая они проявляют редкую изобретательность. Homo sapiens показывается во всем блеске своего разума. И ничего больше, человек мучает и убивает человека так же бессознательно, как животное убивает животное.

Я этого не постигаю, не понимаю этого, даже оценивая желание убивать и пытать этих людей, как естественное и нормальное. Признать исчезновение всякого намека на угрызения совести в их душах — это выше, моих способностей по-

нимания. А кстати, имеют ли они душу? Не являются ли они уже просто только рациональными, чувственными и действующими существами? Не вырвали ли у них с корнем все чисто метафизическое? Я считаю, что это невозможно: я не могу поверить этому, хотя это "советское существо" и появляется с очевидностью в жизни. Это большая проблема, это надо признать. Я много размышлял о ней в своем вынужденном одиночестве. Пока что, я смог установить то что причиной полного уничтожения или каталепсии чувствительности и морали является эта всем очевидная гипертрофия рационализма и инстинкта в *homo seritico* вызванная диалектическим фатализмом марксизма. Наличие подобного "человеческого" типа мы имеем уже налицо. При самом внимательном наблюдении я не смог найти в нем ни малейших признаков чувствительной реакции метафизического порядка. Нормы и законы у него марксистские, т.е, значит, дарвинистические. Не стоим ли мы перед лицом новой разновидности? Новой разновидности, полученной не в результате эволюции, а в результате революции. Это тип, освобожденный от давления на него добра и зла. Я рассуждал так: эволюционизм Дарвина, а также фатализм Маркса имеют в себе скрытую и определенную идею прогресса, усовершенствования. Ведь так? Этот тип "советского человека" стоящего выше добра и зла, и есть сверхчеловек Ницше, диалектический зверь, а не результат прогресса или усовершенствования по Дарвину. Попытка создать более совершенного человека, сверхчеловека, свелась к тому, что был создан более озверелый зверь. Вот я и наблюдаю такого человека: хищного зверя, действующего не в силу своих темных слепых инстинктов, а в силу инстинктов ясных, освещенных разумом... Этот зверь – бесконечно более могущественный благодаря диалектике. Да, так оно и есть, марксизм уже добился того, что отодвинул соприкосновение с Божеством. Если марксизму удалось достигнуть такого огромного чуда, перед лицом которого все другие планетарные изобретения – ничто, то мы должны признать его сатанински-гениальным.

На четвертый день после того, как генералу продолжали делать уколы морфия, Габриель захотел, чтобы я прекратил их, желая увидеть, какова будет реакция.

Через десять часов после прекращения действия наркотика, состояние "пациента" было очень возбужденное.

Габриель решил больше не ждать и начать допрос. Он велел привести генерала в свой кабинет. Я видел затем, что он распорядился привязать его к креслу так, что бы тот не мог двигаться. Я не присутствовал на его допросе в течении первых двух часов и поэтому не знаю, что там происходило. По видимому Габриелю не удалось заставить его говорить. Думаю, что он вызвал меня для содействия. Когда я вошел, то сразу же дал себе отчет в ситуации, генерал, будучи связанным, делал отчаянные усилия чтобы освободиться, и был близок к нервному припадку, но веревки и кресло были очень крепкие и не поддавались его усилиям.

— Принесите ин"екцию — указал мне Габриель

Я поспешно вышел и моментально вернулся с заряженным шприцем. Когда генерал увидел меня, то сразу же успокоился. Он смотрел на меня с тревогой, взглядом, каким смотрит бродячая голодная собака на хлеб, который есть ребенок. Я подошел, имея искренние намерения сделать ему укол, думая, что этого хочет Габриель, но он меня задержал.

— Нет, доктор, нет. Маршал, вернее сказать, бывший маршал Гамарник, не хочет договориться со мной. Эта ин"екция будет сделана только, если он надумает переменить свое мнение. Сядьте, сядьте, доктор.

Я сел со шприцем в руке, не зная что делать. Габриель повернулся к генералу, в наш момент уставшему и неподвижному, чтобы сказать ему:

— До сих пор я не желал пускать в ход сильных средств, если бы дело касалось человека, незнакомого с системой, то мы бы начали испытание быстро, быстрым способом, но вы великолепно знаете действенность нашей обработки, не давайте себе иллюзий, что вы будете исключением в физическом и психологическом сопротивлении, победить их — это только дело времени. Вам известны люди очень мужественные, с довольно крепкими нервами во время всяких опасностей, и мы их сломили. Вы думаете, что превосходите их и обладаете большей сопротивляемостью и отвагой?

Генерал молчал некоторое время, а затем ответил с видимым усилием:

— Я не выше их ни по отваге, ни по силе сопротивляемости, но только добьюсь этого, чтобы доказать, что вы лжете, нет ни атома правды в моем участии в этом военном заговоре.

— Ничего! А ваше сознание о контакте с Крамером? Это ничего?

— Это ничего! Это только технический контакт в интересах Красной Армии, к которому я был вынужден и уполномочен в силу своей должности Комиссара, связанной с обороной, никто не может сочинять, базируясь только на этом, фантастического военного заговора.

— Это ваше окончательно решение? Обдумайте, прежде чем отвечать. У меня здесь имеется детальное и конкретное признание Крамера. Не вздумайте что-то сочинять или фантазировать, ваше признание должно точно совпасть с признанием немца. Не посылайте за мной до тех пор, пока не решитесь говорить мне правду. Я начну испытывать вашу сопротивляемость уже сейчас. Но предварительно хочу заявить вам: наступит момент, когда вы захотите говорить, возможно, что в этот момент меня здесь не будет и я не смогу выслушать вас. Не надейтесь на то, что если вы вызовете меня для разговора — уж не знаю, будет ли это для сообщения лживых или правдивых сведений — то будет изменено обращение с вами. Может случиться, что я приеду с запозданием на несколько часов и ваши бесполезные страдания покажутся вам вечностью, но я не смогу вас от них освободить... Что решаете? Я должен уже уходить.

Габриель обождал несколько минут, оставаясь сидеть, но генерал не произнес ни слова. Он встал и позвонил. Вошел монгол и с ним другой служащий дома, которым он приказал забрать генерала. Пока его развязывали, Габриель прохаживался и возмущался вслух: "Как это уже надоело, все одинаковы. Первые часы или дни отрицают, сопротивляются, а затем кончают тем, что начинают говорить. Человеческая глупость невообразима. Это скучно до тошноты!"

Тем временем генерала увели эти два человека, взяв его под руки с двух сторон и заложив ему руки за спину.

Когда он исчез, я так и оставался сидеть, как раньше, с наполненным шприцом и недоуменно глядя во все стороны. Габриель продолжал прогуливаться, не обращая на меня никакого внимания, затем он вышел, и я слышал его шаги, спускающиеся по ступенькам лестницы. Наступила тишина, а затем я услышал крик, исходивший снизу, затем еще несколько раз через некоторые промежутки времени. Несомненно нача-

ли пытаться генерала. Эти крики, хотя и приглушенные благодаря расстоянию, доходили до меня отчетливо и производили на меня странное угнетающее впечатление, я как бы чувствовал давление какого-то комка в конце пищевода. Вскоре я услышал, как кто-то поднялся по лестнице и с шумом захлопнул дверь. Это вернулся Габриель, теперь он заметил меня и сказал:

— У вас плохой вид, доктор. Вы, наверное, слышали что-нибудь?

— Да — ответил я с большим усилием, — мне кажется, что я и сейчас слышу.

— Нет, сейчас ничего не слышно, это у вас иллюзия, но я не думал, что это подействует на вас, доктор. Вы, наверное, делали операции и также делали вскрытия и поэтому должны были бы привыкнуть к крови и крикам, а?

— Нет, не так. С живым и здоровым человеком, нет.

— Ну так вообразите себе, что это уже труп.

— Его уже убили? — спросил я не думая.

— Нет, что за глупость! Он еще не умер, но умрет, в результате, что это вам даст? Ну, в конце концов, уж вы свыкнитесь с этим. Послушайте: я долго не спал и должен выспаться, вам нужно будет спуститься в подвал, чтобы проверить состояние генерала, возможно, что он ослабеет. Если это произойдет, то верните ему силы, а если он потеряет сознание, то приведите его в чувство. Его здоровье и чувства в ваших руках, доктор, и вы за это целиком отвечаете. Вы уже знаете, что его жизнь драгоценна в высшей степени, пока он не заговорит.

Он сделал несколько шагов по направлению к двери и повернувшись добавил:

— А! Если он захочет звать меня по той причине, что пожелает говорить, то пусть мне об этом сообщат, но не надо торопиться и, конечно, что они уже знают, не прекращая пытки. Понятно?

Я не ответил, ибо не смог, он вышел. Я смог реагировать только тогда, когда нажав сильно на поршень шприца, увидел струю морфия, аркой выскочившую из него. Я вышел неуверенным шагом из кабинета и зашел, сам не зная зачем, в столовую, инстинктивно схватил бутылку, не помню с чем, и выпил что-то довольно крепкое, так как я в этом нуждался. За-

тем я стал прогуливаться по вестибюлю, куря папиросу, и не удержался, чтобы не посмотреть несколько раз на дверь, ведущую в подвал, я не осмелился дотронуться до нее, но прикладывал ухо и прислушивался, я ничего не слышал...

Не знаю, сколько раз я имел намерение совладать со своим страхом и отвращением и спуститься вниз, но не мог решиться, пока мое воображение не представило мне самого себя в положении генерала в руках монгола в том случае, если бы я из-за страха спуститься оказался бы виноватым в его смерти во время пытки, и тогда уж пришлось бы мне самому подвергнуться пыткам. Меня охватил панический ужас и он придал мне мужества.

Я спустился по ступенькам лестницы, шагая через две ступеньки, двинулся вперед, вооружившись всем стоицизмом, готовый предстать перед ужасной сценой. В таком настроении дошел я до освещенного прямоугольника двери одной из камер, но к величайшему моему удивлению я не увидел ничего, наводящего ужас. Генерал стоял лицом к стене, а монгол, сидя неподвижно на доске, служащей при надобности кроватью, терпеливо курил, как будто бы он сидел на солнышке. Я остановился неподвижно, не переступая порога двери, ощущая что то вроде стыда за свой страх. В этой сцене не было ничего драматического, не было никаких признаков мучения, генерал был похож на непокорного ученика, наказанного учителем. "Да" - подумал я, он должен устать, но боль не будет настолько сильна, чтобы заставить его сознаться. Я заметил только, что он все время двигает ногами. Видя его в нормальном состоянии я сделал шаг назад с намерением уйти, но в этот же момент генерал согнулся и я чуть-чуть не уселся на пол. Монгол вскочил, как обезьяна, схватив его руку и загнул ее за спину, хрустнул сустав, генерал крикнул и снова продолжал стоять, как приклеенный у стены, монгол уселся в прежнем положении, не переставая курить.

Чтобы что-нибудь делать я, не зная, как об"яснить эту сцену, подошел к нему и взял за пульс, я заметил только возбуждение, неровность и замедленное биение сердца, он еще имел силы, но я решил проверять его почаще.

Я ушел и поднялся наверх, заметив время на своих часах, чтобы через час спуститься снова. Я имел намерение читать и прогуливаться, но каждые три или четыре минуты я посмат-

ривал на часы и мне казалось, что стрелки двигаются так медленно, будто они остановились. Я инстинктивно думал о том, каким бесконечным казалось это время генералу, вынужденному пребывать в неподвижности.

Я спускался каждый час, когда прошло три часа, то я стал спускаться каждые тридцать минут, ибо я заметил, что возбудимость у генерала возрастает. Я не мог себе этого об"яснить, разве что ему не хватало морфия? Ведь его стояние продолжалось только около четырех часов, а мне казалось, что его физическая конструкция была достаточно сильна для сопротивления утомляемости и за такой короткий срок он не должен был дойти до такого состояния. Его попытки садиться повторялись все чаще и он уже не сгибался, а просто валился, как будто бы падал в обморок. Его падения участились настолько, что монгол, не утративший своей бесстрастности, должен был стать около него, держа его за один палец, таким образом, когда начиналось отклонение, он искусным поворотом возвращал ему опять равновесие. Очевидно он терпел сильную боль, ибо из его пересохшего горла вырвалось жалобное хрипение.

Это зрелище угнетало меня. Я попытался уйти и не видеть его, но меня тянуло сюда и я вернулся опять. Я потерял счет тому, сколько раз валился генерал. Когда он повалился в последний раз, монгол вытащил его из камеры и оставил распростертым на полу. Он зажег свет и снял с крючка на стене веревку, тогда я увидел, что с потолка спускался другой конец, скользивший на ноги, его ноги имели опору на полу и выдерживали всю тяжесть его тела, если он хотел дать им отдых, то должен был выдержать свой вес на руках, в которые врезывалась веревка. Вскоре руки его опухли и посинели. Тогда монгол стал спокойно и серьезно прогуливаться, даже не глядя на генерала. Проверивши опять его пульс, я стал прогуливаться, настал час ужина, о чем мне сообщил управляющий. Я попытался есть, поскольку чувствовал упадок сил, но с трудом проглатывал куски, зато пил я много, больше, чем надо. Габриель к ужину не появился, видно спал беззаботным сном.

Я еще раз спустился в подвал, монгола сменил другой человек, служащий этого дома, который спокойно себе сидел и читал "ИЗВЕСТИЯ".

Впервые генерала обратился ко мне попросив воды, он

произнес это хриплым голосом, во рту у него пересохло и воздух при дыхании звучал в полости рта, как предсмертное хрипение.

— Я не могу — ответил я ему, — не имею права, к сожалению — и я опустил мой взор, не в состоянии выдержать взгляда его, вышедших из орбит глаз.

Остатки энергии жестоко сотрясли тело генерала. Я отвернулся со стыдом и грустью и не знал что мне делать. Мысль о том, что я должен провести так всю ночь, делала меня больным. Я ушел и уже в вестибюле услышал стук тарелок в столовой, я заглянул туда и увидел там Габриеля за ужином.

— Вы уже поужинали, доктор? — спросил он, заметивши меня. — Ничего нового?

— Ничего — сухо ответил я.

— Садитесь. Не хотите выпить? Но как у нас сегодня плохое настроение, доктор!

Габриель продолжал ужинать, но как и всегда, во время еды он не заговаривал о деле, которое нас касалось. Только уже за чашкой кофе он спросил:

— Как генерал, еще выдерживает? Не имел желания вызывать меня?

— Нет — ответил я.

— Ну, это было бы слишком скоро, меня это не удивляет. Дело нормальное. Я сочувствую вам, ибо мне нечем сменить вас.

Если бы мучение было жестоким, если бы возбужденные чекисты наносили удары и кричали, то не думаю чтобы подобное зрелище удручало меня сильнее чем это — монотонное, утомительно, удручающее, я совсем потерял нервы и сделался, как расслабленный, ибо, сверх ожидания, не было ни бешенства, ни драматизма, ни крови. Все казалось до ужаса нормальным, я бы сказал, бюрократичным, несомненно все было рассчитано и не один раз проверено на опыте, Габриель, которого видел нервничавшим и возбужденным во время опасности или в разговоре теперь ограничивался одним выжиданием, он, видно, был уверен, что ранее или позже сопротивление генерала будет сломлено.

После двенадцати управляющий позвал меня, чтобы я спустился в подвал. Я велел сообщить Габриелю, который заперся в своем кабинете. Я спустился как можно быстрее и

увидел генерала, безжизненно повисшего на веревке, как человеческая туша.

Я распорядился отвязать его. У него были все признаки обморока. Я спешно занялся им и вскоре добился того, что он стал реагировать. Что бы заставить Габриеля дать ему отдых, я сказал, что не отвечаю за жизнь генерала. Его это не встревожило, и я даже думаю, что он не поверил моему пессимистическому диагнозу.

— Особой спешки нет, вы можете дать ему отдых и даже доставить удовольствие своими инъекциями до завтрашнего дня, ибо я вижу, что и вы упадете в обморок, доктор... Надо, что бы профессионал отдохнул нервами.

Он ушел. Я воспользовался разрешением и дал выпить генералу крепкого горячего кофе. Затем я дал ему сильную дозу морфия. Поскольку я заметил, что он очень часто двигал ногами, я распорядился, чтобы его разули. Он лежал и я мог видеть его в положении ступни его ног. Я был удивлен, они у него были очень красные, почти фиолетовые и из трех точек, образующих треугольник, шла кровь, было похоже на то, что у него было шесть язв. Я не мог себе этого объяснить, но монгол молча показал мне ботинки, которые были одеты на генерала. Внутри их были видны круглые головки гвоздей, торчащих почти что на сантиметр. Теперь мне стало понятным, почему генерал, немного постояв на ногах, стал падать так часто. Я продезинфицировал язвы и забинтовал. Мне казалось, что затуманенные глаза подвергнуто пытке вспыхивали благодарностью. Веки его закрылись и он моментально уснул.

ПРИЗНАНИЕ

Три раза прекращалась пытка Гамарника и снова давалась ему ин"екция. Его физическое сопротивление шло на убыль, если сначала он вынес около двадцати часов, стоял на ногах и будучи подвешенным, то на третий раз – только немного более шести. Он явственно истощался, я боялся, что он может умереть. Любой медик, не знающий причины его лихорадочного состояния, его истощения и слабости, должен был сделать диагноз серьезного положения. Я сообщил мои опасения Габриелю, ибо он не напрасно сделал меня ответственным за жизнь генерала.

Он абсолютно не встревожился, хотя я хорошо знал, насколько важны были для него разоблачения пытаемого генерала.

— Попробуйте поддержать его — ответил он мне — в состоянии нормального самочувствия, я надеюсь, что для этого найдутся средства в вашей науке, доктор. То, что он находится уже в смертельной опасности, я это уже предполагал: это и есть именно то, что нужно. Когда человек доходит до этой грани, которая отделяет жизнь от смерти, бытие от небытия, то его всегда охватывает чувство чего-то таинственного. Мне трудно об"яснить это, но только я это замечал во многих случаях и пользовался результатом. Не знаю, правильно ли я выражаюсь, но этот момент страха перед смертью, когда человек находится еще в полном сознании, и есть та драгоценная кон"юнктура, при которой можно добиться от него, всего, что нужно, если он видит возможность отдалить от себя этот фатальный момент, когда он настанет, то он заговорит.

Мне захотелось оспаривать его теорию, с целью проникнуть вглубь этой пропасти, этих вопросов.

— Я не сомневаюсь, что опыт привел вас к такому заключению, но разрешите мне сослаться на противоречивый факт: желание самоубийства. Вы не станете отрицать, что если бы Гамарник имел средства и возможность покончить жизнь самоубийством, то сделал бы это не задумываясь.

— Да, конечно, доктор, он покончил бы жизнь самоубий-

ством.

— Ну и так? То, что заставляет его говорить, это не страх смерти.

— Я вижу, что вы хотите уточнить, но надо различать, доктор, я не имел ввиду страха перед воображаемой смертью, а перед реальной, между смертью воображаемой у самоубийцы и смертью реальной разница такая же, как между живым и нарисованным, ни один самоубийца в желании умереть не прекращает борьбы за жизнь, это факт, не имеющий исключений. Вот именно на этом основывается безошибочность нашего метода.

— Я ничего не понимаю

— Очень просто, доктор, стараются довести человека до грани смерти, но всегда оставляют ему какой-то кончик, за который он может ухватиться: признание.

— Но если сознание, то это тоже смерть.

— Даже и тогда, когда признание является смертным приговором. Тот, кто чувствует, что он умирает, хочет только жить и ему все равно выиграет ли он годы, дни или минуты. Решающим в смертный час является желание не умереть.

— Но боль при пытках вызывает безнадежность, желание умереть. Это же очень видно — настаивал я.

— Точно, вызывает желание смерти, чтобы этим путем избавиться от боли, вызывает желание, но только желание умереть. Не напрасно никто не может обладать собственным опытом смерти и хоть таковая ему и желательна, но все же человеческая природа отступает от нее и отталкивается в свой последний, смертный час.

— Ну а как же самоубийство?

— Это факт, да, но, как я вам уже сказал, не было ни одного самоубийцы, который, если мог бы, не захотел спасти свою жизнь в последний момент. Теперь так: неудержимое желание смерти, к которому приводит продолжительное и нарастающее страдание, тоже эксплуатируется нашим методом.

— И как?

— Когда вы располагаете неограниченным временем, то страдания дозируются так, чтобы обвиняемый никогда не был доведен до опасного состояния угрозы смерти, у обвиняемого получается ощущение, что он может жить все время, но при условии постоянных физических и моральных муче-

ний. Есть много разных способов, вы можете себе их представить. Перед лицом пыток, затрагивающих одно за другим - все чувства и функции обвиняемого, и конца которых он не видит, неизбежно его отчаяние и желание умереть превращается в настоящую одержимость, и если он находит средства для самоубийства, то он не раздумывая убивает себя. Когда имеются доказательства касательно такого состояния обвиняемого, когда он видит, что лишен всяких возможностей самоубийства, то признание - это для него единственный способ добиться смерти, потому что наверняка ведет к казни. К несчастью, доктор, в случае с Гамарником у нас не имеется необходимого времени, его сознание необходимо нам очень и очень спешно, его ожидают с большим нетерпением там, на самых верхах. Мы должны употребить, здесь такой метод, при котором возбуждение превышало бы боль, при этом существует еще одна помеха, заключающаяся в том, что при пытках он не должен претерпеть деформации своего вида, он не должен иметь на себе никаких внешних следов, чтобы иметь возможность быть представленным немедленно перед трибуналам, если будет решено, что это необходимо.

Я не хотел возражать. Я уже был насыщен этой научной эрудицией по вопросам садизма и террора.

Габриель стал прогуливаться, углубившись в себя. И так он прогуливался довольно долго. Вдруг он остановился передо мной. "Ни в чем тут нет риска и ничего не может быть испорчено" сказал он, как бы говоря самому себе.

— Послушайте, доктор: я думал кое-что предпринять, чтобы сократить время, но мне нужна ваша помощь. Посмотрим, способны ли вы на это. Уделите мне внимание.

Было бы долго записывать все то, что он мне говорил. Все это он мне об"яснил и детализировал один и другой раз пока не убедился, что я могу точно реализовать то, что он желает.

Следуя полученным инструкциям я спустился в подвал. Прошло уже около двух часов, как генерал снова был подвержен пытке, он еще сопротивлялся относительно хорошо, когда вошел я его собирались подвесить за руки. Я распорядился, чтобы его перенесли в камеру, что и было немедленно сделано. Его привязали к доске-кровати и я произвел расследование состояния его здоровья более подробное, чем обычно. Гамарник смотрел на меня своими остекляневшими глазами, боль,

жажда и желание спать держали его в полусознательном состоянии, но этот неожиданный перерыв в пытке, которая до сих пор прекращалась только после потери сознания, заставил его быть настороже и он делал усилия, чтобы следить взглядом за моими движениями. Он попросил выпить воды, которую ему принесли в большом стеклянном кувшине. При виде ее взор генерала оживился, он зашевелил губами и языком, и слышался шероховатый звук, будто терлось дерево о дерево. Он выпил большой стакан, когда хотели унести воду, я распорядился, чтобы ее оставили здесь поблизости, на виду у связанного генерала. Он смотрел на меня неопределимым взглядом, которого я не мог переносить, находясь вблизи от него.

Следуя плану я приготовил ин"екцию, но не сделал ее, а снова стал проверять пульс. Тогда, согласно предварительному распоряжению Габриеля, я сказал обоим служащим, чтобы они удалились, что они срази же и выполнили, оставив меня с генералом наедине. Исчезновение палачей и то обстоятельство что он остался наедине со мной одним, самым безобидным в отношении причинения ему страданий, должно было немного успокоить этого человека, я заметил у него определенное расслабление мускулов и тогда, как бы располагаясь отбыть свою очередь на карауле около него, я вытащил из кармана книжку и сделал вид, что занялся чтением. Прошло несколько минут, я не читал: не глядя на него я все свое внимание сосредоточил на движениях генерала, я слышал неприятный звук, исходивший из его пересохшей гортани, но не оборачивался - я приметил две его неудавшиеся попытки заговорить и даже смог различить неясно произнесенное: "Доктор, доктор". Я обернулся, вся его жизнь сконцентрировалась в его расширенных зрачках, устремленных на меня. "Воды", попросил он хриплым и безнадежным голосом. Это был предусмотренный момент: я встал, затем я сел на кончик доски, оперся обеими руками на дверную раму камеры и высунул голову за дверь, чтобы посмотреть, я повернулся к генералу, сделав ему успокаивающий жест рукой, затем взял со стула стакан и наполнил его водой, я подошел, держа его в руке, а другую подложил под затылок и приподнял голову, я поднес стакан к его губам, а он, пытаясь пить только разливал жидкость, я должен был крепко держать его голову, ибо его чисто животные движения мешали ему пить, а опухшие губы, будучи сухими и нечувствительными,

неспособны были втягивать жидкость, я, как смог, постарался влить небольшое количество в его рот, он не мог глотать ее, но пропускал через соединявшиеся губы, частично разливая. Я отстранил стакан. "Еще, еще" попросил он меня уже более ясным голосом. Я позволил ему выпить еще небольшое количество, при его состоянии больше пить не следовало. Я сел и опять начал читать. Не прошло еще и пять минут, как он опять попросил у меня воды, я дал ему выпить полстакана, я сделал это опять после того, как выглянул за дверь камеры, притворяясь, что опасаюсь быть застигнутым врасплох.

Эта сцена повторилась еще два или три раза, ибо жажда у него была неутолимая, палач превратился в санитар и его защитника. В определенный момент я встал с намерением пройтись по коридору, но генерал позвал меня взволнованным от страха голосом:

— Доктор, доктор! Вы уже уходите?

— Нет, — ответил я ему — я хочу только пройтись.

— Вы долго здесь пробудете?

— Я не знаю, это зависит от того, на сколько времени понадобились шефу его люди для другого дела, час или два, я не знаю.

Генерал замолчал на некоторое время. Я заметил в его лице ясные признаки внутренней борьбы. Он сказал мне что-то, но так тихо, что я не смог разобрать.

— Что вы говорите? — спросил я его.

Он опять сконцентрировался, напрягая губы и веки, и сделал большое умственное усилие.

— Доктор — сказал он, — хотите спасти меня?

Я на него очень пристально посмотрел. Хотя я и ожидал этого спровоцированного предложения, но меня заинтересовали его слова.

— Что вы хотите сказать? — спросил я вместо ответа.

— Я говорю, что вы можете спасти меня, если захотите. Что вы мне скажете? — и бесконечная тревога отразилась в его расширенных зрачках.

— Я вам должен ответить, генерал, что у меня есть жена и дети.

— В этом случае, доктор, ни вы, ни ваши дети не подвергаются опасности, наоборот, спасая меня вы получите большую выгоду, поскольку окажете услугу своему высшему на-

чальнику. Поймите, доктор, я готов признаться в том, что хотят от меня узнать, я раскрою то, что хотят и даже больше. Дело тут не в том, чтобы вы, спасая меня, сделали измену и подверглись опасности смерти.

— Я не могу понять, если вы склонны признаться...

— Дайте мне об"яснить вам. Почему я смог выдержать? Поверьте мне, это дело не легкое. Я не хочу делать признание, вынужденное пыткой, это моя окончательная гибель. Если вы хотите и сможете помочь мне, то я сделаю полное признание, и сделаю его теперь, но вы его представите, как сделанное гораздо раньше моего ареста.

— Я все же не понимаю. Как может ваше теперешнее признание сделаться написанным раньше?

— О, легко, это вопрос простой техники. Еще немного воды, доктор?

Я ему дал и он продолжал:

— Представьте себе, доктор, что я вступил в конспирацию против Сталина с мысленным намерением получать информацию здесь и за границей, чтобы донести о заговоре в тот момент, когда он достигнет наибольшей опасности. Если кроме того, что я вступил в конспирацию с целью ее расстроить, я в определенном месте буду иметь полную информацию, настолько полную, что никто другой не сможет ничего больше добавить, и вы, доктор, вы заберете ее из того места, которое я укажу для того, чтобы ее доставить самому Сталину, то вы понимаете, что я тогда уже перестаю быть заговорщиком, я превращаюсь в самоотверженного слугу.

— Мне это кажется до известной степени приемлемым — ответил я. — Но только я вижу один недостаток в плане вашего спасения. Как об"яснить ваше сопротивление дать признание, вплоть до применения пыток?

— Я предвидел это возражение. Предположим, что у меня была информации, настоящие или фальшивые, о том, что тов. Кузьмин тоже является участником конспирации. У меня не будет недостатка в сообщениях от службы Военной Разведки, сигнализирующих о его контакте с немецким Генеральным Штабом. Тогда вы поймете, что мое сопротивление, зависело от моего молчания, а если бы я заговорил, то смерть моя бы была мгновенна. Вы понимаете это, доктор?

— Да, разумеется — подтвердил я, хотя я и не мог охва-

тить целиком всех тонкостей.

— В таком случае, расположены ли вы забрать и вручить информацию?

— Если я буду иметь возможность сделать это, то я выполняю, генерал.

Мой ответ был быстрым, пожалуй слишком быстрым, но на лице генерала появилось выражение удовлетворения.

— Могу ли я рассчитывать на вас окончательно? — повторил он.

— Можете рассчитывать. Где находится документ?

Гамарник попытался улыбнуться и с некоторым смущением сказал мне:

— Документа нигде нету. Я его никогда не писал. Поймите, что не хватает человеческих сил, способных вынести все это, если существует какая-то возможность спастись. Не удивляйтесь, доктор. Если вы мне нужны теперь, то только для того, что теперешнее признание имело необходимую спасающую давность. Нет, дайте мне докурить. Я напишу его здесь, вы только положите его в соответствующее место там, где я укажу, чтобы вы могли забрать его. Теперь вам уже ясно?

Я сделал вид, что раздумываю и не отвечал. Я погрузился в глубокое раздумье. Генерал смотрел на меня с тревогой, сосредоточившейся в его глазах. На самом деле я думал о том, что бы прервать разговор и быстро подняться к Габриелю, чтобы ему его передать. Я ощущал в себе "горькое удовольствие" от хорошо выполненного плана, солгав в совершенстве еще один лишний раз под диктовку утонченного чекиста, который полностью распоряжался мною и который вознаградит меня иронической похвалой, насыщенной сарказмом. Я должен был дать ответ и я его дал.

— То, что вы мне предлагаете, рискованно. Я не знаю, будет ли у меня свобода и возможность для того, чтобы поместить эти документы там, где вы желаете, так же я не знаю, будет ли у вас время написать их. В конце концов, я бы очень хотел помочь, но...

— Если вы хотите, то это можно сделать..., вы сможете прекратить все это на несколько часов или дней... — он говорил быстро, лихорадочно, — скажите, что я не могу сейчас выдерживать больше и это ведь правда, остается поездка в Москву, там за два или три часа я смогу все сделать. Сделаете

это вы, доктор, сделаете?

Я встал.

— Сделаю, что возможно в человеческих силах.

— Спасибо, доктор, спасибо.

Глаза у этого человека были влажные.

Я вышел в коридорчик и крикнул громким голосом. Вскоре появились два палача и я ушел.

Габриель работал в своем кабинете. Он прочитал у меня на лице об успехе.

Я пересказал ему предложение Гамарника

— Гениально — одобрил он, — это для меня новая возможность. Подходит, подходит. Реализуем, и он сможет остаться на свободе после своего "инспекционного полета в Испанию", конечно, если его информация — признание будет безупречна и он сообщит нам все, что знает.

Мы закурили. Он попросил меня, чтобы я рассказал ему пункт за пунктом, деталь за деталью мою сцену с Гамарником, как бы желая вникнуть в квинтэссенцию его фраз и жестов.

После этого он пребывал несколько минут в молчании.

— Где же он укажет вам место для помещения информации? — Задал он вопрос, как бы самому себе. — Это важная деталь, положить ее, а затем забрать — это даст возможность впутаться в дело и узнать об этих манипуляциях одной или даже несколькими личностями, не имеющих касательства к делу, будь то агенты или родственники, смотря по случаю. Это было бы нежелательно...

Он снова стал размышлять.

Наконец он решил: — Лучше всего мы посмотрим, как решит он и куда укажет вам положить документы. Теперь подумаем, как дать ему возможность написать их.

— Оставьте нас с ним вдвоем — раз"яснил я.

— Да, конечно, но не так уже сразу, что было бы подозрительно. Необходимо будет, что бы он еще один или два раза перенес пытку и еще даже один новый допрос, сделанный мной. А после этого уже сможете вы выполнить ваше обещание.

— Хорошо ли будет злоупотреблять пыткой — намекнул я из жалости, — если в дальнейшем он должен будет предстать перед публикой, и кроме того, он очень ослабел...

— Хорошо, хорошо, милосердный защитник! Вы будете

иметь возможность вмешиваться когда захотите, чтобы парни дали ему отдых при малейшем признаке обморочного состояния, вы уж увидите, увидите, как без предварительного словора он его будет симулировать и как будет вам благодарен протежируемый вами маршал.

После этого мы больше не говорили. Его программа точно выполнялась на следующий день. Согласно тому, как предсказал Габриель, Гамарник проявлял каждый раз все меньше физической выносливости, дав мне возможность вмешаться пять раз в его пользу. Когда настала ночь, я "назначил" перерыв, насчет которого было договорено, и остался с ним на страже один я.

Габриель отправился в Москву, дав предварительно необходимые распоряжение.

Я дал Гамарнику немного попить и поесть. Спустя два часа дал ему умеренную ин"екцию, достаточную для того, чтобы вызвать у него возбуждение, но чтобы он не погрузился в сон. Затем я вытащил из кармана свое вечное перо и бумагу. Я развязал Гамарника, дав ему возможность посидеть на доске, опираясь на обитую как бы подушками стену. Когда он начал писать, я стал прогуливаться по коридору, перед дверью, не теряя его из виду и как бы наблюдая. Он написал первый лист, останавливаясь много раз как бы для того, чтобы сконцентрировать мысли и что-то припомнить. Когда он отложил его в сторону, чтобы продолжать писать на втором листе, я подошел и забрал его. Он ничего не сказал, но попросил у меня папироску, которую я ему и дал. На моем посту "часового", спрятавшись как бы от невидимого врага, готового к внезапному нападению, я решился тайком прочесть информацию Гамарника.

Я прочитал ее всю по мере того, как он заканчивал очередные листы. Размышлять обо всем этом у меня не было времени.

Гамарник написал еще особое письмо своему секретарю, написано оно было образным языком, и он задержался с ним на порядочное время. Как он мне сказал, это было распоряжение для его секретаря, заключавшееся в том, чтобы он допустил меня пройти в его кабинет. Он проинструктировал меня, что когда я туда попаду, то должен буду обнаружить в верхнем углу ящика с правой стороны его стола отверстие, которое

заложено и замаскировано темным воском, скрутив информацию в трубочку я должен буду опустить ее туда, предварительно сняв бумагу в которую она будет завернута. Затем надо будет опять закрыть это отверстие уже с этим письмом... После окончания этой операции я должен буду увидаться с самим Ежовым и от его имени сообщить тому, что он задержан и что нужно забрать его информацию оттуда, где она положена.

Я пообещал выполнить его желание в первые же утренние часы завтрашнего дня.

Он благодарил меня самым искренним образом и был по настоящему взволнован. Выпил воды, попросил у меня папиросу, а затем ин"екцию. Он хотел спать. Несомненно, что его состояние при продолжительной интоксикации требовало большей дозы, чем та, которую я ему дал. Я выполнил его желание. Он высказал мне свою благодарность в горячих словах, пожимая мне душевно руку. Он даже пообещал мне, что после того, как он опять приобретет благосклонность Сталина, а с ней и свой прежний ранг и власть, он выполнит все, чего я только не пожелаю. Он признавал, что он мне всем обязан.

Было уже очень поздно. Гамарник засыпал под действием наркотика. Я извинился и привязал его снова.

Позвонил. Вниз спустился монгол, а я поднялся.

Я справился о Габриеле. Мне сказали, что он еще не вернулся.

Я ушел в свою комнату, предварительно наказав, чтобы об этом было сообщено Габриелю по его возвращении.

Когда я остался один, то почувствовал желание скопировать информацию.

Я постарался сделать это как можно скорее. Вот, что там говорилось:

"Товарищи:

Необычайно серьезен тот момент, в котором я пишу эту информацию. Ленинский режим, возглавляемый нашим гениальным Сталиным, находится в опасности... Само существование СССР находится под небывалой угрозой.

Казалось бы логичным, чтобы я, как Комиссар Обороны, немедленно и непосредственно донес на изменников. Это было бы нормальным явлением в случае если бы дело шло об обыкновенных изменниках, количество и могущество которых не

было бы так огромно. Все материальные силы советского государства находятся сейчас в их руках. И я должен задать себе вопрос: кто наделил их этой силой и кто смог обмануть самого Сталина в такой степени, что принудил его вложить в руки своих самых яростных врагов петлю, предназначенную для того чтобы задушить его? Дело в том, что эти советники сверхизменники мне не известны. Очевидно то обстоятельство, что они находятся где-то на самых командных высотах. Они, конечно, пользуются политической властью, имеют влияние и пользуются таким доверием, что могли бы уничтожить каждого, кто бы донес об их измене. Из людей, имеющих отношение к Кремлю, я никого не могу исключить, как непричастного к заговору. Исключение составляет только Сталин, приговоренный к смерти, но если бы я выдал имена виновников, которые мне известны сейчас, то не превратилось бы абсолютное доверие людей ко мне в мой приговор? Не пришлось бы мне умереть, как изменнику, а с моей жизнью исчезла бы единственная возможность разгромить великую измену?

Эти вопросы заставляют меня задержать мое разоблачение до момента, когда я добьюсь того, что мне будет известен высший Генеральный Штаб государственного переворота. Когда у меня будут налицо все имена и доказательства, то только тогда я осмелюсь разоблачить все перед самим Сталиным.

Я решил притвориться, что согласен войти в конспирацию, с целью добиться наилучшей и наибольшей информации. По мотивам предосторожности, накануне моего вылета в Испанию, где я смогу разузнать вещи, мне еще неизвестные, делаю я эти записи, где излагаю все, что я знаю. Если, по причине моей деятельности в конспирации возникнут подозрения и меня будут считать настоящим изменником, то пусть эта моя заблаговременная декларация послужит лучшим доказательством того, что я не изменял. И если я буду убит членами заговора за то, что они раскроют мое фальшивое участие в нем, то я найду способ, что бы моя декларация попала к Сталину. Надо понять, что только высшие соображения о Партии и верность ее гениальному вождю заставили меня хранить молчание вплоть до решающего момента и подвергаться опасности быть заподозренным в измене.

Так я истолковал свой долг большевика-марксиста в честь моего шефа Сталина, полярной звезды мирового проле-

тариата.

Я должен напомнить, что я участвовал впервые в революционной борьбе, будучи еще совсем молодым под руководством оплакиваемого тов. Троцкого.

Я учел своим рассудком выгоду от включения в конспирацию в пользу Троцкого, Зиновьева и Каменева. Но факт моего подчинения моему учителю Урицкому предостерег их против меня, Урицкого они квалифицировали, как изменника. Доказательством того, что я не имел с ним общения, является тот факт, что моему продвижению в партии я обязан Кагановичам, по их мнению, также изменникам и вырожденцам. Вот почему после ликвидации Зиновьева, Каменева, Радека и ряда других, они не делали попытки втянуть меня в число участников заговора до самого последнего момента. Если же меня и пригласили теперь, то по необходимости. Моя высокая должность в Красной Армии была жизненно существенна для заговора военного характера.

Изложенного достаточно для раз'яснения моих личных соображений, предшествовавших вступлению в заговор.

Я могу утверждать, что конспирация очень сложна и имеет поддержку очень могущественных интернациональных сил. В первую очередь это финансовые круги из Wall Street, самые значительные в Соединенных Штатах, власть каковых над всей северо-американской и европейской экономикой колоссальна и которой подчиняются правительства и политики большего числа государств в мире. Я не знаю, кто эти крупные финансисты, но мне сказали, хотя я этому и не верю, что они оказывали чрезвычайно важные услуги и помощь для поддержки марксистских революций уже с давних пор.

По мнению главарей оппозиции, правительства демократических государств в особенности Англии, Франции, Чехословакии, и, сверх всего, Соединенных Штатов, под нажимом этих крупных финансистов желают добиться торжества оппозиции в СССР, они облегчают это дело, направляя в этих целях свою интернациональную политику против Сталина. Непосредственным важным результатом этой политики является то, что демократические государства определенно косвенно помогают немецкому перевооружению, одновременно они терпят возвеличение 3-го Рейха, имея ввиду, что Гитлер должен обладать достаточной военной мощью, для того чтобы осме-

литься об"явить войну СССР.

Вот в общих чертах то, что мне известно в отношении интернационального положения, конспиративная работа требует строгого распределения между различными секторами. Поэтому мне было сообщены только эти общие пояснения.

Теперь я должен перейти к специфическим вопросам, касающимся непосредственно моего участия в заговоре. Прежде всего хочу изложить их техническую характеристику в военной области:

1) Организован заговор среди высшего командования Красной Армии. Были созданы кадры, в которые включены генералы, занимающие наиболее существенно-важные посты в случае мобилизации и войны. Запрещена вербовка начальников и офицеров на низших должностях. Не желательно, чтобы заговор был классического типа, при котором включаются люди, находящиеся на всех ступенях командных должностей. Эта система диктуется необходимостью избежать того, чтобы НКВД могло узнать о существовании заговора, что было бы фатально неизбежно в том случае, если бы об этом секрете знали многие лица. Разумеется, что среди кадров низшего командования была проделана большая работа. Хотя со стороны генералов, руководящих военным заговором, не делалось никогда никаких предложений или внушений офицерам, но старались систематически разместить на соответствующих командных постах тех офицеров, которые имели антисталинские настроения, благоприятные для оппозиции, или которые, по какой-либо причине было лично привязаны к какому-либо генералу, участвующему в заговоре. Я играл тут большую роль. По своей должности я получал указания и личные рекомендации от скомпрометированных генералов в целях облегчений назначений, награждений и повышений для бесконечного числа офицеров. Хотя в рекомендациях ссылались на технические соображения, но я знал, что причина коренилась в том, что продвигаемые люди являлись потенциальными конспираторами. По этой причине, каждый рекомендованный генералом заговорщик имеет красную точку в верхнем правом углу своего личного свидетельства. Картотека находится в моем собственном кабинете. Таким образом, каждый из отмеченных может быть рассматриваем, как конспиратор.

Причиной того, что НКВД, не смотря на свою осведомленность и старания не смогло до этого момента ничего раскрыть, является то, что условия ознакомления с заговором было сильно ограничены и затем было приказано полное бездействие при одновременных открытых заявлениях верности Сталину.

2) Подобные действенные предосторожности возможно было поддерживать в силу особого характера нашего плана, совершенно отличающегося от классического военного государственного переворота или переворота с гражданской войной. Сущность и характер конспирации заключается в слове: ПОРАЖЕНЧЕСТВО. Успех конспирации ограничивается организацией поражения СССР, не полного поражения, а целой серии частичных поражений, которые смогут вызвать падение Сталина – будут ли это мятежи на фронтах, восстания в резиденции правительства или оба факта сразу. Организация поражений и непосредственное командование крупными военными частями, находящееся сейчас в наших руках, дадут конспираторам более чем достаточно возможностей и сил для удаления Сталина. Организация техники поражения поручена Тухачевскому и мне. Ему на фронте, а мне в тылу. С этой целью я должен завязать контакт с одним человеком, посланным от О.К.В, который должен прибыть в ближайшие дни.

3) Согласно тому, что мне сказали, на Wall Street договорено, что война окончится в тот момент, когда будет расстрелян Сталин, Политбюро и его самые верные люди. Главарей конспирации заверили, что великая коалиция, состоящая из Англии, Франции, Соединенных Штатов и всех остальных государств, составляющих Об"единенные Нации, об"явит войну Гитлеру, квалифицируя его, как агрессора. Это будет сигналом к тому, чтобы немецкие генералы-заговорщики, которые так же желают ликвидировать Гитлера, совершили государственный военный переворот. Вслед за этим будет подписан мир. "Мир вничью" в территориальном отношении, но с разоружением Германии, которая снова будет подчинена Версальскому договору, отягченному ее новой агрессией.

Теперь перехожу к перечислению деталей заговора и указанию главных руководителей.

Система, принятая для организации заговора, требует чтобы каждый заговорщик знал имена только трех других. Это

классическая система "трое". Поэтому с полной уверенностью могу назвать три имени: Якир, Фельдман и Тухачевский.

Двое первых входят в тройку со мной, а я связан с Тухачевским. Приглашение вступить в заговор я получил от Якира. Он, Фельдман и я составляли так называемую "жидовскую тройку", как нас иронически называли. Тухачевскому не была предназначена какая-либо специальная миссия, кроме той, что он обязан во что бы то ни было сохранять за собой пост начальника Военного Генерального Штаба. Заинтересованы в том, чтобы этот решающий участок власти находился в руках генерала-заговорщика. Его делом является "организация поражения" на поле битвы... Это абсолютно необходимо для успеха. С другой стороны – его ближайшее путешествие в Лондон даст ему возможность договориться с каким-то важным генералом, который там с ним встретится. Основную роль получил так же Якир в качестве шефа Украинского фронта, где произойдут первые и самые важные бои.

Моя "официальная" связь с заговором, как я уже говорил, осуществлялась через трех вышеперечисленных генералов. Конечно я знаю, что их участвует гораздо больше. Я знаю определенно некоторых из них, а несколько предположительно, заключал об этом по их связям.

Корк открыто признал себя передо мной заговорщиком, когда просил моей протекции для одного профессора Военной Академии, известного ему, как анти-сталинца.

Уборевич хотя мне лично сам ничего не говорил о том, что он состоит в заговоре, но его назначение на командный военный пост в Белорусской области было сделано благодаря рекомендации, полученной через Фельдмана, и я был хорошо информирован о политической стороне дела. Путна и Пятаков составляют тройку с Фельдманом. С Якиром – Эндеман и Каширин.

Сказанного достаточно, что бы в любой момент расчленить конспирацию.

Каждый из вызванных генералов сможет сообщить большое количество имен в своей армии, центре или отделении.

Должен добавить, что Тухачевский, Дыбенко и Блюхер, благодаря своему поведению в первые годы революции и благодаря тому, что они русские все трое, будут людьми, которые будут подписываться воззвания и будут фигурировать в каче-

стве высшего военного командования. При них, как политическая власть, станут Рыков, Бухарин и еще один, имя которого мне неизвестно, кажется, кто-то из тех, кто еще сейчас обладает высшей политической властью.

Само собой разумеется, что хотя эти шесть человек будут фигурировать в будущем на первом плане, но настоящая власть будет в руках у других.

Троцкий будет Генеральным Секретарем Партии, председателем Совета Комиссаров, председателем Военно-революционного Совета и председателем Коминтерна. Он хочет быть еще выше, чем Сталин на сегодняшний день.

Для Тухачевского предполагается должность начальника Генерального Советского штаба и первого маршала СССР. Он надеется, что сравняется с Наполеоном. Не сомневаются насчет него, что его колоссальное честолюбие влечет его к мечте стать царем. Они позволяют ему мечтать, но готовят ему очень печальное пробуждение.

Ягода будет Комиссаром Внутренних дел.

Раковский – Иностранных дел.

Бухарин желает быть чем-то новым, чем-то вроде высшего и секретного начальника всемирной революции.

Рыков будет Комиссаром Советского Хозяйства.

Я буду Комиссаром Обороны.

Список будущих правителей нескончаем, но, как я уведомляю, абсолютно и настоящей властью будет обладать Троцкий, Ягода и я. Раковский будет играть большую интернациональную роль.

Считаю излишним говорить о том, что должны быть физически уничтожены Сталин, Молотов, Калинин, Ворошилов, Ежов и все остальное Политбюро и что будет проведена в Партии огромная чистка.

Я сказал о самом существенном. Может случиться, что я умру от руки заговорщиков, если они раскроют, что я продолжаю хранить верность нашему великому вождю Сталину, в таком случае, сказанного будет достаточно для разгрома заговора. Я оставляю распоряжение лицу, пользующемуся моим полным доверием (которому неизвестно содержание этой информации) доставить эту информацию Сталину в случае если он узнает, что я убит или задержан.

Если не произойдет ни одного из этих событий, то я сам

вручу ее, когда буду обладать всеми необходимыми доказательствами. А главным образом тогда, когда сумею раскрыть эту высокую персону, имени которой я пока что еще не знаю, но насчет которой мне известно, что она обладает очень большими авторитетом в Политбюро и пользуется настолько большим доверием Сталина, что сможет добиться моего устранения от должности и моего расстрела, если я буду обвинен без возможности доказать тот факт, что обвиняемы мною тут лица были конспираторами.

Пусть эта информация послужит для спасения СССР и его горячо любимого вождя Сталина.

Привет.

"ГАМАРНИК"

ГИПОТЕЗЫ ЧЕКИСТОВ

До утра завтрашнего дня я не видел Габриеля, он поторопился приехать на мой вызов. Прочитал без комментариев.

— Очень хорошо, доктор — одобрил он лаконически и стал прогуливаться, размышляя. — Сейчас, доктор, не появляйтесь у Гамарника до двух часов дня, пока вас не начнут опять беспокоить. В подходящий момент дайте ему знать, что вы выполнили его поручение.

Я так и сделал. Гамарник очень стремился узнать подробности, но я дал ему их очень скупое. Я занялся тщательно лечением его ног и согласился сделать ему умеренную инъекцию, поскольку он был очень взволнован. Так как мне было нестерпимо оставаться вместе с маршалом, то я сократил, насколько мог, свое пребывание там и оставил его под стражей.

Габриель не вернулся до самого позднего вечера, пока уже чуть ли не наступила ночь.

Он спросил меня еще в вестибюле, все ли было выполнено согласно его инструкциям. Узнав, что так, распорядился, чтобы привели Гамарника в его кабинет несвязанного и с осторожностью.

Ничего не говоря больше, он привел в свою комнату и спустя немного времени вошел туда Гамарник. Проходил мимо меня, ступая с большим трудом, он посмотрел на меня, и я прочитал в его глазах благодарность ко мне, несомненно, судя по деталям, он мог сделать вывод, что положение переменялось в его пользу. Я чувствовал себя внутренне достаточно пристыженным и удалился оттуда.

Я не знаю, сколько прошло времени после его вызова Габриелем. Когда я вошел в кабинет, Гамарник еще был там.

— Я получил приказ прекратить арест маршала. Мы договорились, что он будет оставаться здесь, пока не восстановит своего здоровья, но так же секретно. Вам поручается медицинская помощь, постарайтесь любыми средствами сократить курс, чтобы он мог опять вернуться на свой высокий пост. О том, что здесь произошло, не нужно распространять

никаких сведений. Наш маршал был в Испании... Понятно, товарищ?

Я подтвердил, сцена закончилась.

Я не видел Габриеля вплоть до ужина. Когда я вошел в столовую, то для меня было сюрпризом застать там так же и Лидию. Я, кажется, не сказал, что настоящее ее имя было Лидия, или по крайней мере, она носила его в России. Я приветствовал свою прежнюю сиделку, а она ответила мне с той же своей загадочной серьезностью и отсутствующим видом. Так как во время ужина мы все втроем перебрасывались только отдельными словами, то я решил тайком понаблюдать за Лидией. Я до сих пор даже не попытался описать ее наружность, хотя она по различным поводам появлялась уже раньше в качестве участницы протекших событий. Я думал и даже имел намерение сделать это. Но это невозможно. Описать ее словами – это выше моих литературных способностей. Нет средств найти в ней что либо похожее или равное известным образцам классической красоты. В ней ни одним штрихом совершенно не отражалась эллинская скульптура и я не могу найти ничего похожего в известных мне художественных школах. Джиоконда, классическое зеркало загадки, отражала ее в своей улыбке, для меня же ее загадка находилась вне ее, странная была любовь Леонардо, написавшего ее портрет. Ничего подобного в лице Лидии, если в ней есть загадка, то она может быть видна в ее улыбке, я никогда не видел ее улыбающейся и даже не могу себе представить ее улыбающейся. И это-то и было необыкновенно, неподвижность черт ее лица и отсутствующий взгляд вовсе не производили впечатления жестокости или мечтательности. Наоборот, в ней, во всей, чувствовалась самая высокая напряженность ума, духа и пола, излучающаяся из нее. Но это об"яснение недостаточно. В Лидии все своеобразно.

И теперь, когда я перечитываю то, что я сказал о Лидии и что хотел сказать, я вижу, что я ничего не сказал. Это моя последняя попытка.

После ужина Габриель пригласил нас пройти в свой кабинет.

Габриель встал и принес несколько листов, напечатанных на машинке, которые он взял со своего стола и вручил Лидии.

— Прочитай это, товарищ, думаю, что лишнее предупредить тебя, что все это конфиденциально и совершенно секрет-

но. В настоящий момент об этом не знает еще даже наш собственный аппарат НКВД, сам Ежов даже еще не знает...

— Значит... кто? Только ты? ...

— Нет, товарищ Лидия, об этом знают на самом верху. Но читай.

Без дальнейших разговоров Лидия начала читать. Габриель налил мне еще рюмку. Затем мы оба замолчали. Лидия закончила чтение и, держа в своей руке прочитанные листы, спросила у него:

— Могу ли я говорить?... — и незаметным жестом наметнула на мое присутствие.

— Да, разумеется, товарищ, доктор по случайной причине первый ознакомился со всем этим. Ведь так, дорогой доктор?

— Я... — попытался я извиниться.

— Нет, это все нормально. Это доктору удалось собственной персоной добиться такого важного признания. Говори, товарищ Лидия, можешь говорить вполне откровенно.

— Я предполагаю, товарищ, что согласно твоей привычке, ты мне разрешил прочитать это для того, чтобы затем знать мое суждение.

— Да, конечно, и даже еще больше....

— Да, разумеется, для того, чтобы я приняла участие.

— В точности. Когда мне приходится включать в работу человека умного — а это твое качество, Лидия, то я всегда знаколю его с делом в целом, со всеми деталями, со всем тем, что уже известно, и желаю знать его мнение, хотя бы и противоположное моему. Полемика с умными людьми всегда была для меня полезна.

— Даже если первым остаешься всегда ты, — бросила ему Лидия.

— О, не делай мне столько чести, или не бросай насмешливых упреков. В совокупности, и каково твое мнение?

— Прежде всего, я должна знать, как получено признание маршала: в результате насилия или это было добровольное донесение?

— Это комбинация обоих методов.

— Как?... Комбинация насилия и добровольности? Это несовместимо, разве что твое горячее южное воображение изобрело новый метод. Потом ты мне его раз"яснишь. В дан-

ный момент я хочу только знать, сделал ли Гамарник свое признание, зная, что должен умереть или жить.

Габриель в кратких словах ознакомил Лидию со всем, что произошло с Гамарником.

Она молчала несколько минут, а затем заговорила:

— Как ты хорошо знаешь, когда говорит тот, который знает, что он приговорен к смерти, то он не заслуживает большого доверия, в общем, он только стремится к тому, чтобы поскорее окончилась его пытка, и покорно подчиняется, повторяя продиктованное ему признание. Когда же, наоборот, признание добывается обещание спасти жизнь, то оно бывает более искренним, а особенно в случае, если надо добиться заявлений, имеющих только политическую важность. Мы не можем включить Гамарника точно ни в один из этих случаев. Поэтому рискованно делать вывод о правдивости и искренности его разоблачения. Придется проверять факт за фактом и доискиваться планировок у одного человека за другим, прежде чем действовать.

— Я во всем согласен с тобой, товарищ.

— Необычайная важность обвинений Гамарника несравненно выше всех тех, которые фигурировали в предшествующих процессах и в тех, которые ожидаются в настоящее время. Все предыдущие и настоящие обвиняемые были люди, лишенные перед этим своей власти. В заговоре, который раскрывает Гамарник, совсем наоборот. В его обвинениях указываются люди, которые на сегодняшний день держат в своих руках почти что всю военную власть, эта сила так велика, что если она будет обращена против государства, то нет другой силы, способной ее победить.

— Нет другой материальной силы, — подчеркнул Габриель, — наш Сталин может противопоставить не только материальную силу.

— Разумеется, — согласилась Лидия. — но не нужно ли подумать о том, что разоблачение Гамарника само по себе является решающим фактором в заговоре?

— На что ты намекаешь?

— Что Гамарник не обвинил генералов, действительно участвующих в заговоре, а верных Сталину, пытаясь этим путем исключить тех, которые смогли бы, в случае государственного переворота ликвидировать его.

— Это гипотеза, которую надо иметь в виду, но это только гипотеза. Папки с делами обвиненных генералов помогут разоблачениям в свете разоблачений Гамарника. Первые расследования пока что еще совсем недостаточны по причине того, что мы располагали временем, выявили конспиративное направление в общей линии политической и технической деятельности.

— И конкретно больше ничего.

— Но имел ли ты ввиду, что всегда на следователя оказывает влияние обвинение?... Не яснее ли всего будет проверка по отдельности дела каждого из них?

— Пойми, что это уже сделано.

— Я понимаю это, но я говорю в отношении нашего обсуждения. Посмотрим, что представляет собой Тухачевский, который, согласно признанию Гамарника, должен играть решающую роль в перевороте?

— Как ты знаешь, он считается нашим лучшим военным, то, что он, не будучи фаворитом Сталина, назначен на пост начальника Генерального Штаба, говорит о том, что его считают первым стратегом.

— Он не фаворит Сталина? Почему?

— Это старая история. Уже давно Тухачевский обвинил Сталина в разгроме под Варшавой.

— И почему?

— Сталин был в то время политическим комиссаром Южной Армии, которой командовал Ворошилов и Буденный. Тухачевский даже заставил принять в качестве официального текста в Военной Академии свой тезис о том, что Сталин сыграл в битве под Варшавой ту самую роль, что и Ренненкампф под Танненбергом.

— Нет! — воскликнула Лидия.

— Да, товарищ. Ты должна иметь ввиду, что все это происходило в 1923 году, и Троцкий тогда был еще всесилен.

— Я вижу, что есть фундамент для подозрения Тухачевского в троцкизме.

— Есть и еще кое-что. Это Троцкий сделал его Главнокомандующим Армией в возрасте двадцати пяти лет.

— Но также является правдой и то, что это именно армия Тухачевского разгромила под Симбирском Колчака, когда мы владели только шестой частью России и окончательно разбила

его под Красноярском, и еще больше: вслед за этим за каких-то два месяца, он разгромил Деникина. Я хорошо знаю эти тексты.

— А кто же этого не знает, товарищ? Но мы, именно мы, люди из НКВД, должны и можем глубже проникать во внутрень фактов, чем советские учебники истории. В частности тут мы должны исследовать эти молниеносные победы Тухачевского. Пожалуй, есть что-то таинственное в том, что Тухачевский стал таким ослепительным явлением на войне.

— Не догадываюсь. В результате его победы ведь спасли Революцию.

— Минуточку. Начнем с первой даты. Имелось несколько тысяч профессиональных офицеров, которые предлагали себя на службу в ряды Красной Армии, когда она была создана. Организатором был Троцкий. Очень странно то, что имея для выбора большое количество людей в более высоких чинах и проявивших гораздо больше свои способности, Комиссар Обороны Троцкий имел вдохновение избрать неизвестного субалтерна Тухачевского, бежавшего из немецкой тюрьмы и с мало проверенными военными способностями.

— Это похоже на случай с Наполеоном — вмешался я, прервав свое молчание.

— Нет доктор: Наполеон был уже генералом в месяце Брюмере, и тайна его назначения уже хорошо раз'яснена в истории, он был обязан им вдохновению Жозефины, но какая же Жозефина вдохновила Троцкого? Неизвестно никого, кто бы лично оказывал влияние в пользу Тухачевского, правильней сказать, известно одно: Тухачевский с восемнадцати лет был масоном. Благодаря этому, кажется, ему удалось бежать.

— И какой вывод из всего этого? — спросила Лидия.

— Мы хорошо знаем, что глупые белые генералы были марионетками в руках союзников. Они приняли обязательство насадить демократические правительства и должны были дать посты левой буржуазии, кадетам, социалистам, меньшевикам и анархистам: Спиридоновой, Савинкову, Керенскому, Гучкову...

— Это все старая и известная история! — воскликнула Лидия.

— Да, старая, но не разрешенная и имеющая связь с сегодняшней. Известно, что масонерия господствовала среди

буржуазии и социалистов и контролировала анархистов. Таким образом, когда оказалось, что оппозиция твердо овладела советской властью через Троцкого, ставшего хозяином военного аппарата, то высшее командование его, по-видимому масонско-финансово-расовое, заставляет Вильсона принудить союзников не вмешиваться в гражданскую войну и, одновременно, распоряжается, чтобы их масонские агенты изменили белым генералам.

— Если вы мне разрешите, Габриель, я должен сделать возражение не политического характера, где у меня не хватает полномочий, но чисто человеческого.

— Я полагаю, доктор, сделанное вами, оно должно быть очень удачным.

— По человечески невозможно допустить, чтобы эти масоны со стороны белых изменили бы просто по приказу далекой и невидимой власти, разве что они все были загипнотизированными автоматами.

— Почему?

— Они были или не были автоматами?

— Нет, разумеется.

— В таком случае оказывается совершенно абсурдным, чтобы они изменили белым в пользу красных, поскольку триумф большевиков обозначал для них потерю жизни или подвергал опасности их головы.

— Ваш аргумент — быстро возрастил он — служит только для того, чтобы подтвердить ваше предположение. Именно потому, что они не были автоматами, было необходимо, чтобы генерал, который нанесет поражение белым, был бы масоном, это было гарантией того, что поражение революционных генералов произошло не в пользу коммунизма, а в пользу масонерии.

— Разве можно было поверить такой странной глупости?

— Почему же нет?... Эта массовая тупость проявляется уже во времена французской революции и во всех последующих. Получается так, что масонам предназначено умереть от руки революции, ими же спровоцированной или же обслуживаемой ими.

Я вмешался опять:

— Понимаете ли, Габриель, что все, что я сказал до этого момента. Это только гипотеза.

— Мы не занимаемся сейчас составлением учебника истории, доктор, или полицейской информации, которая была бы нужна, как база для производства арестов. Нет, мы только пытаемся найти резоны для подтверждения или опровержения обвинений Гамарника, учитывая категорию обвиняемых и, сверх всего этого, опасность атаковать вместо врага верных людей, как очень правильно сигнализировала товарищ Лидия.

— Вы понимаете, что я профан... - извините меня.

— Не относитесь к этому с недоверием, доктор, если я поблагодарю вас за ваше вмешательство. Для чего-то вы здесь, все-таки находитесь..., мне желательно, и я прошу вас приводить ваши аргументы и именно потому, что вы профан. Я не могу не знать, что как Лидия, так и я можем впасть в ошибку по причине нашей, понятной нам, профессиональной деформации... Вы понимаете меня, доктор?

И как бы для того, чтоб меня успокоить, Габриель налил мне рюмку до краев и угостил меня папиросой.

— Ну и так, Габриель — возобновил я, — мне бы было нужно услышать несколько имен, изменников белым, они получают подтверждение для ваших блестящих гипотез.

— Хорошо, доктор, назову вам имя, стоящее вне сомнений. Вот вам Майский, наш пламенный посланник в Лондоне и... меньшевистский министр в Самаре, один из тех, один из тех, которые дали абсолютную власть Колчаку.

— Превратился в коммуниста?

— Он еврей меньшевик, изменивший белым, но по этой причине он сделался фигурой, он также изменил Троцкому и очень вовремя....

— Да — протестовал я, отступая, — но это только единственный случай.

— А вы не помните второго?

— Я?... — удивился я.

— Да, доктор, Скоблин. Не кажется ли Вам это очень красноречивым?

— Тоже в результате той же причины?

— Вначале да, теперь нет, теперь, как вам это ясно, он подчиняется нам, благодаря своей жене, прежней нашей сотруднице при Колчаке... но, в результате, доктор — закончил он с улыбкой — вы не должны представляться таким

незнающим. Не помните ли вы ту большую речь, с которой обратился к вам Навачин?... Припомните ее. Тот человек только этим и был: масоном, а раз масоном – то и троцкистом. Можете вы представить себе его заядлым спартаковцем в Германии вместе с Куртом Эйзером?

Можете ли вы представить себе верхом на лошади в районе границы, финансирующим и организующим революции? Но так было... хотя он и не был финансистом. Я хотел бы иметь возможность показать вам сейчас его досье...: он никогда не был коммунистом, это был типичный человек из инфильтрации по масонской линии в большевистскую революцию, проведенную Троцким и им управляемую, он служил, пока у Троцкого были перспективы царствовать, но он был человеком умным, почувствовал его поражение и не захотел снова пересечь советские границы. Но, в результате, поскольку он сам не вернулся к границе, граница добралась до него.

Я ощутил озноб при этой свирепой иронии Габриеля, инстинктивно глянул я на эту руку-убийцу, которая в данный момент элегантно покручивала папирсой с длинным мундштуком. Я не заметил даже ни малейшего изменения в тембре его голоса, ни малейшего волнения, когда он иронически намекнул на убийство... Я видел эту жестокую сцену: его, убивающего Навачина, и воющую около труп собаки.

Разговор продолжался, и Лидия сказала:

— Я считаю необходимым, за отсутствием достаточных оснований, учредить особый надзор за Тухачевским.

— В точности. Я предполагал, что ты так подумаешь. Я должен средактировать сегодня же план действий. Я думал насчет тебя, чтобы поместить тебя очень близко к маршалу, хочу только знать, согласна ли ты принять на себя эту миссию?

— А с каких это пор советуются с тем, кто обязан подчиняться?

— Миссия эта слишком необыкновенна, товарищ. Не только по причине личной опасности, но и по ответственности, которую может повлечь за собой заблуждение или предполагаемая неверность. Поскольку мне позволено выбирать лиц, я не хотел просить у тебя ответа раньше, чем ты не познакомишься с делом в рамках, известных и мне, а если я тебе предоставляю свободу, то делаю это с целью, чтобы ты могла из-

мерить риск и ответственность. Прежде чем отвечать, ты должна знать, что в случае, если Тухачевский заподозрит, что его подозревают, то придется пожертвовать персоной, ответственной за свою неловкость, ибо если он узнает об этом раньше нужного срока, то надзор над ним будет об"явлен "неофициальным", и придется пожертвовать тем, кто будет раскрыт, чтобы его успокоить и утихомирить.

Лидия размышляла несколько мгновений.

— Я принимаю — сказала она холодно.

— Я так и ожидал, товарищ, а так как я еще должен работать, то если вы желаете, можете отправляться спать.

Лидия и я поднялись, и когда мы были у дверей, Габриель обратился ко мне:

— Доктор, не забудьте пройти навестить своего друга Гамарника. Займитесь его лечением, я не знаю, но вскоре может прийти распоряжение о том, чтобы он был выпущен и смог бы включиться в свою официальную жизнь.

ДВА ПИСЬМА

Я смог присутствовать только на очень короткое время уже при конце разговора между Габриелем и Лидией, который происходил у них на следующий день. Оба вели все утро тайные разговоры. Меня позвали, чтобы сообщить мне об их договоренности в отношении меня. Я должен был взять на себя роль почтового ящика и почты. Лидия будет звонить мне в случае надобности в лабораторию и сообщать название станции метро, на которой мы должны будем вместе появиться. Когда мы увидим друг друга на платформе, то сядем в первый прибывший поезд обязательно вместе. Затем она, вставши около меня, опустит в мой карман свои информации.

Габриель вышел, чтобы посетить Гамарника, я остался наедине с Лидией. Она не обратилась ко мне ни с единой фразой. Я наблюдал за ней тайком. В обычной простоте ее одежды я заметил особую утонченность, прическа была великолепна, ее волосы были заплетены в две косы и имели вид диадемы из черного золота, ни один волосок не выделялся, будто бы это была каска воина. На ней была белая блузка окаймленная тонкой, почти что незаметной синей с красным вышивкой на воротничке и на груди. Чулки были шелковые, а ботинки с каблуками средней высоты были, без сомнения, не советские. Все в целом имело очень приятный вид, дистанция с парижскими модами была огромная, по меньшей мере такая же, как и разница с одеждой обычной советской женщины.

Так как Габриель запаздывал, а я должен был его ожидать, то я продолжал свои наблюдения, теперь это было более легко, поскольку Лидия принялась за чтение. Я задал себе вопрос, была ли она худа? Да была, но под ее кожей не было видно ни одной выступающей косточки, ни одного выступа. Линии ее были продолговатые, но изящные и очень утонченные. Во время отдыха она казалась хрупкой и слабой, но в движении чувствовались мускулы изящные и упругие, невероятно жизнеспособные. Я думал о том, что если бы она была в состоянии чувствовать или притвориться, что чувствует страсть, то ни один мужчина не смог бы устоять перед ней. Но

никто не мог бы представить себе Лидию в порыве страсти: в ней как бы просвечивалось что-то гермофродическое, но без оттенка мужеподобности, я бы сказал, скорее, с оттенком ангелоподобным, но без святости. Не знаю, что-то тонкое, неопределимое. Я задумался, желая определить это, неподдающееся определению. Я прогуливался, покуривая, вдоль комнаты. Сделав один из своих поворотов, я опять стал смотреть на нее сквозь облако дыма от моей сигары. В этот момент Лидия откинула свою голову назад и немножко прикусила нижнюю губу. Линия зубов, как белая молния, разделила ее красные губы. Этот контраст вдохновил меня. То, что излучалось из всего существа Лидии - это была девственность.

Я все еще был занят этими мыслями, когда вернулся Габриель.

— Все хорошо — сказал он, обращаясь к Лидии, — а вы, доктор, что думаете относительно того, когда Гамарник окончательно восстановится?

— Я думаю — отвечал я, — что пройдет еще десять или двенадцать дней, разрешите мне спросить, должен ли я продолжать давать ему ин"екции морфия?

— Я думаю, что для этого нет никаких возражений?

— Он приобрел дурную привычку и без больших усилий не сможет вылечиться.

-----ooooooooOOOOOoooooooo-----

Когда прошло двенадцать дней, назначенных мной для поправки Гамарника, то прибыл Габриель и увез его. Он прибыл в сопровождении конвоя НКВД, и Габриель симулировал перед прочими учтивость и большое уважение в отношении маршала.

Лидия меня еще не вызывала, ясно, что она пока не имела информации о Тухачевском, стоящих того, чтобы их переправить.

Прошло три или четыре дня после последнего визита Габриеля, когда Лидия вызвала меня в первый раз. Она назначила мне свидание на четыре часа на станции "Киевская". Я сообщил управляющему, что мне надо выехать, и машина была подана мне до трех часов дня.

Не знаю, говорил ли я, что лаборатория находилась вер-

стах в сорока на юго-запад от Москвы, в ее пригородах.

Когда я спустился на платформу, Лидия уже поджидала меня. Мы проделали условленную операцию, и я вышел из вагона, проехав две станции дальше. Моя рука держала в глубине кармана моего пальто конверт, положенный туда Лидией.

Я прошел порядочно улиц пешком, чтобы дойти до площади Пушкина, где, по договоренности, должна была дожидаться меня машина. Я сел и вернулся в лабораторию. Я немедленно протелефонировал Габриелю, и тот распорядился, чтобы я переслал письмо с человеком, который сопровождал меня в машине.

Когда я передал письмо, и машина ушла, я раскаялся в том, что действовал так поспешно. Мне было очень любопытно узнать, о чем сообщала Лидия Габриелю, я подумал даже о том, чтобы его переписать, как я это сделал с признанием Гамарника. Я также подумал о том, что мне полезно было бы иметь в своем распоряжении некоторые документы, проходившие через мои руки и представлявшие собой значительный интерес, ибо всегда полезно владеть секретами других. Ясно, что я понимал рискованность этого дела в случае, если бы оно было раскрыто. Но возможность того, что я мог бы воспользоваться их тайной для получения свободы и возможности снова соединиться с моей семьей, придавала мне мужества. Признаюсь, что я не раздумывал с тем, что поступал недостойно, вскрывая чужие письма. Окружающая атмосфера, которой я уже дышал столько месяцев, совсем не была подходящей для культивирования подобных элементарных сомнений. Я дал себе обещание читать в удобных случаях то, что проходило через мои руки и делать копии со всего, что представляло интерес.

Это намерение, как и много других, было выполнимо теоретически. Когда я решался мысленно на какую-нибудь дерзость, то между моими намерениями и действиями становилась тень моего коварства.

Так оно и было. Через два или три дня опять вызвала меня Лидия. Мы опять проделали уже известный маневр, и я вернулся в лабораторию с другим письмом. Я мог бы не вызывать так быстро Габриеля, заставив ждать автомашину, пока я распечатаю и запечатаю письмо. Но я не осмелился поступить так, мне казалось, что Габриель вдруг появится за моей спиной в тот момент, когда я буду открывать на пару конверт,

и так, что я его не увижу и не услышу. Нервничая, как будто это письмо жгло мне руки, я отдал его чекисту и вздохнул. Тем не менее, в течение целого дня я упрекал себя в своем коварстве.

Но в конце концов, однажды, когда я вернулся с письмом в лабораторию, я не мог поймать Габриеля ни по одному из телефонов, которые он мне записал. Машина должна была ждать. Я ходил, как дурной, взад и вперед и во мне происходила внутренняя борьба с намерением вскрыть это письмо. Не знаю, уж как я попал в лабораторию, я почувствовал прилив храбрости и, наконец, открыл письмо. Оно было напечатано на машинке и не имело ни обращения, ни подписи. Вон оно:

"Г. выполнил то, что обещал. Он посетил Т. Встреча продолжалась ровно шестьдесят семь минут. Когда вошел, то прервал мое упражнение на французском языке. Кстати говоря, Т. продолжал намекать мне об определенных затруднениях во французском языке. Был немного смешон. РР у него не получались, и он делал гримасы, как будто бы ему не подчинялся рекрут. Когда ушел Г, он снова попросил меня зайти. Я заметила кусочек "микро-фильма" на полу и наступила на него ногой. Затем во время разговора со своей сумочкой так, что у меня выпало несколько предметов в том месте, где находился "микро", и я его подобрала. Сегодня Т. был очень возбужден. Он не мог координировать мои фразы по-французски. Я ему об этом сказала, поинтересовавшись состоянием его здоровья. Он согласился с тем, что он расстроен, и мы договорились прервать урок.

Я вернулась после обеда, чтобы возвратить ему "микро". Я ему об"яснила, что после того, как вышел Г. и мы возобновили урок, то, как я помню, у меня выпало несколько вещей на пол, и что я, не заметив этого, по-видимому захватила и его. Сделав такое предположение, я принесла его ему, как ему принадлежащее.

Он не ответил мне, взял "микро-фильм" между пальцев, проверил его на свет, нашел лупу и начал опять через нее его рассматривать. Долгое время молча прогуливался. Я оставалась индифферентной и сделала самое невинное выражение лица. Наконец, он заговорил, задав мне вопрос:

— Товарищ, вы прочитали... то, что там написано?

— Да, — ответила я ему просто.

— Говорите по-немецки?
— Да, — опять ответила я.
— Тут кое-что касательно одного военного атташе, который вскоре поедет в Лондон.
— Измена или шпионаж? — спросила я с наивным видом.
— Пока мы еще не знаем — ответил он мне, видимо затрудняясь.

Я решила, что это подходящий момент нанести ему удар:
— Товарищ маршал, вы забыли, что я работаю в Наркоминделе?... Там нас учат кое-чему о таких вещах.
— Товарищ, на что вы хотите намекнуть?..
— Просто только, чтобы об этом никому не сообщалось.
— Нет! — воскликнул он.
— Никому, кроме вас: по крайней мере подумавши так, я решила принести его вам, в противном случае я отнесла бы его в НКВД, а там бы занялись и прочим.

— Очень благодарен за ваше намерение, товарищ Лидия, но...

— Это дело по своей сути не важно для вас, маршал?... Значит, я могу говорить о нем в НКВД..., мне будут благодарны, а мы никогда не знаем того, не понадобятся ли нам дружеские отношения Лубянки...

— А мое не подойдет ли больше?... — спросил он меня не то с угрозой, не то с намеком.

— Сделайте вывод, я пришла сюда, а не на Лубянку.

— Вы в этом не раскаетесь, товарищ... — и сказав это, он взял мою руку своими двумя и искренне ее пожал. Попросил разрешения войти генерал Корк, и наша встреча закончилась.

Считаю, что мне удалось уже сделать первый шаг для вступления на твердую почву".

Когда я прочитал это сообщение, то я его быстро списал. Я снова заклеил конверт и положил его в карман. А, я дотрагивался до бумаги только своими руками в перчатках. Это была излишняя предосторожность, но она меня успокоила. Я спустился через две ступеньки по лестнице из лаборатории. Мне казалось, что я провозился с перепиской очень долгое время. Я снова позвонил Габриелю, но к моему большому удовольствию я его не нашел, он ответил мне только спустя более, чем через полчаса при третьей попытке связаться с ним. По обыкновению, он дал мне указание, переслать письмо с чело-

веком из автомобиля.

Я осмелился вскрыть еще только два письма кроме этого. Их содержание не было важным. Единственно только то, что Лидия подчеркивала факт влюбленности Тухачевского и его определенных приставаний. Что касается расследования, то тут дело, как будто бы, не особенно продвигалось вперед. Лидия не смогла проникнуть пока что еще ни коим образом в группу заговорщиков, ни в помощницы маршала, что она, по-видимому, добивалась.

-----ooooooooOooooOoooo-----

Прошло первое мая. Я хорошо помню эту дату. С раннего утра начали пролетать самолеты в направлении к Москве, затем они возвращались, встречаясь один с другим. Рокот моторов был подобен отдаленной грозе. Я никогда не бывал в этот день на Красной площади. Я мог себе представить это великолепное зрелище только по отчетам в прессе и по рассказам соседей из моего дома. Дефилирование наземных и воздушных сил Красной Армии и народа в колоссальных геометрических человеческих формах, развертывающихся, как "священный" ритуал живой и мертвой большевистской мифологии: Ленин, знамена, девизы Политбюро, маршалы и сверх этого обожествленный Сталин..., но одновременно также все насыщающий, дышащий, но маскирующийся Террор.

Я вперил свои глаза в пролетающие мимо, подобные старым стервятников, авионы, перед лицом этой картины, захватившей все мое воображение, мои губы шевелились, как бы шепча проклятие:

— До каких пор, Боже мой!

-----ooooooooOooooOoooo-----

Прошло два или три дня, когда меня снова вызвала Лидия. Но при свидании она добавила: "Доктор, вы должны передать это письмо лично, никому не вручайте его для передачи". Я обещал ей так сделать.

Я вернулся, имея в своем распоряжении письмо. Ясно, что меня разбирало нетерпение прочесть его содержание. Я сказал, что машину можно отпустить. После этого я позвонил

Габриелю и через две ступеньки поднялся в лабораторию.

Как всегда, сначала я убедился в том, что за мной не наблюдают: на этот раз я уделил еще больше внимания своим манипуляциям. Мне казалось, вода долго не закипала, но, наконец, мне удалось вытащить листы, и я, держа их в руках, стал с жадностью читать:

"Товарищ:

По моим предыдущим информациям можешь удостовериться, что дело у меня не продвинулось вперед, так как подтверждения того, что Т. замешан в дело, недостаточны.

Но есть одно средство, одно единственное, чтобы допытаться до всего. Одно средство...

Ты знаешь, как и я, что Т. имеет славу страстного, как мужчина, любителя женщин, он "Дон Жуан". В предыдущих информациях я указывала, что он не дает мне прохода с приставаниями... Мне кажется, что сейчас им овладела страсть и командует им. Понятно?

Мне кажется, что я вижу на твоём лице обычную твою ироническую улыбку, появившуюся при мысли о том, что я хвастаюсь, объясняя тебе состояние сентиментальной самоотверженности Т. по отношению ко мне. Нет ни малейшего признака тщеславия в этом сообщении. В моих "служебных целях" я вызывала столько пылких желаний, что нечего мне похвастаться еще одним.

Т. таков, как и все мужчины. Мне не пришлось пускать в ход никакого оружия (женского), о котором пишут в новеллах, чтобы соблазнить его. Достаточно мне было сопротивляться и ответить: нет. Это безошибочный способ. Каждое НЕТ действует, как подбрасывание соломы в огонь. Теперь можно сыронизировать: целомудрие есть самый сильный способ полового влечения. Я была обязана информировать тебя об этих "деталях", товарищ, тебя, который интересуется только Революцией. Чтобы ты понял то, о чем я буду говорить, и принял решение.

Мне кажется, что Т, привыкший к тому, что ему всю жизнь подчинялись – он командующий армией с двадцати пяти лет, - страдает манией власти. Подчинение мужчин его решениям для него естественно, и чувство это у него врожденное. Отсюда же вытекает и подчинение женщин.

В отношении таковых надо предположить, что все они капитулировали перед ним. С самого первого момента я про-

читала это в его глазах, в его улыбке (его глаза пожирают меня) и, кроме того, в его самодовольном виде, когда он заносчиво поднимает свой заостренный подбородок.

Очень комично получается, что этот Наполеон превращается в бульварного победителя. Типов этого рода я видела только в Париже.

Я предупреждаю. Этот маньяк власти готов "взорваться" по той причине, что какая-то малозначащая бюрократка не пала к его ногам. Но если кто пал, то это он!

Он мне предлагал все. Я обрисовала ему в одном из разговоров (которые называются во французских новеллах *risques*) мой идеал мужчины, единственный – который только мог бы меня покорить. Я не называла имен, но я думаю, что было ясно, что это был определенно тип повелителя... Такому человеку я бы отдалась, а не каждому, который дрожит, когда его имя произносится Ежовым...

Достаточно этой детали, чтобы ты понял мой маневр, товарищ.

Был такой момент, что я думала, что он заговорит. Его руки лихорадочно пожимали мои. Я думала, что он признается мне в том, что он не боится Ежова, и что тот император, о котором я мечтаю, это и есть он... Это длилось секунду... Но страх его остановил.

Я могу стать лицом, заслуживающим его доверия, советницей и сотрудницей. Могу... если из желанной превращусь в обладаемую. Ключ: любовь. Он будет мне верить. Я бы сделала с ним одним целым, абсолютно интимным. Он бы воображал себе, что его амбиция – это моя амбиция, его мечта о власти – это мое страстное стремление и мечта. При таком взаимном проникновении ощущений легко мужчину заставить верить. Даже не пытаюсь этого делать. В любви это существенно: кто любит, тот видит в любимом существе себе подобное.

Вывод: чтобы победить его, я должна сама сдаться.

Это и есть проблема, которую ты должен разрешить, Габриель.

В течение долгого времени мы бывали вместе и знаем массу вещей о других, но ничего не знаем о самих себе. Поэтому-то я и должна сказать то, что сейчас скажу. Не думаю, чтобы тебя это удивило. Я видела тебя перед лицом многих за-

гадок и непредвиденных случаев. И ты никогда не удивлялся. Не думаю, чтобы тебя могло что-нибудь удивить.

Но, пожалуй, когда ты будешь уже знать то, что я хочу изложить, то задашь себе вопрос: и почему говорится об этом мне, именно мне? А кому же тогда, если не тебе?

Я не знаю своего возраста, ни где я родилась и не знаю своих родителей. Я вижу только туман там, откуда я появилась. Ни одного лица, ни одного места. Ничего личного. Мое первое воспоминание — это ощущение света и жары, вроде колоссальной стеклянной лампы, которая расплывается и испаряется, когда я хочу что-нибудь уточнить. Затем холод, сырость, что-то липкое. Наконец, я вижу себя и других. Это предместья Ленинграда, я живу с двумя стариками, которые носят меня на руках. Голод, холод и снег. Эти старики меня любят. Мне было, по-видимому, шесть или семь лет. Однажды пришло несколько человек, старуха охает, обнимая старика, я удираю, пробираясь между соседями, столпившимися в дверях. Когда я возвращаюсь, то нахожу ее одну: его увели. Мы молимся вместе перед иконой, которая была у нее спрятана. Проходит время, однажды утром моя старуха, с которой я спала, не двигается. Тело у нее холодное. На мои крики прибежали соседи. Она умерла. Ее забрали в тот же вечер. На следующий день в хижину вселилась другая семья. Меня колотили четверо сыновей, но в дальнейшем человек сделал нас друзьями. Мы проводили дни и частично вечера, занимаясь мародерством в Ленинграде. Однажды я потерялась на пристани и не знала, как вернуться. Я подошла к костру, окруженному несколькими мальчиками и девочками, бандой беспризорников. Я присоединилась к ним. Мы воровали то, что было на виду, иногда неудачно: приходилось убегать и терпеть побои... То, что добывали, проедали, все шло только на еду. Банда разрасталась. Прибыло несколько старших парней. Эти не занимались воровством, они отправляли нас, приказывали нам воровать, а затем крали у нас. Мне было уже лет десять или двенадцать, не знаю точно, и я представляла собой скелет, обвернутый тряпками. Был странный холод. Одной какой-то ночью, Никита - один из старших - приказал мне следовать за ним и я послушалась. Он повел меня далеко в темные места. Он остановился у двери какого-то темного погреба, вошел в него и осветил, сильно раскурив свою папиросу. Я без страха

последовала за ним. При вспышке папиросы я заметила что-то странное в его лице, глаза его блестели из под черной всклокоченной шевелюры. Я разгадала смысл его улыбки, когда он сделал последнюю затяжку. Он сел на кучу соломы и, взяв меня за руку, сказал: "Ложись здесь". Я не шевельнулась. Он потянул меня, но я попятилась назад, он схватил меня за талию, мы начали бороться и он повалил меня. Я кусала его руки, а он бил меня по лицу. Я устала и начала терять силы, но продолжала защищаться. Он рвал одной рукой мои лохмотья, а другой сжимал меня за горло. Я уже задыхалась. Я почувствовала, что мои ляжки оголены и скрутила и зажала свои ноги, он срывал последние лохмотья с моего живота. Его рука разжала немного горло, и я попыталась вздохнуть, но его вес придавил меня. Я знала, что он будет делать со мной. В наших смешанных шайках половые отношения не были ни для кого секретом... и я вспомнила: половые органы моих товарок были гноящимися, а также у мальчиков - раз"еденные и гноеточивые... Какой ужас! От отвращения я сделалась, как сумасшедшая, кусалась, царапалась, но хоть я была вне себя, а все таки не потеряла ясности ума: я на какой-то момент прекратила борьбу и затихла, а он решил, что я сдалась... Я почувствовала его дыхание на своих губах, мои руки нащупали его лоб, я нажала свои большие пальцы... и мои ногти выцарапали его зрачки. Он взревел, а я освободилась от него и полуголая выскочила на снег. Однажды я его увидела издали с руками, протянутыми вперед и ощупывающими пространство. Он прошел около меня, но не видел меня. На месте глаз были две язвы. Я ему их выдавила и он остался слепым. Я не вернулась к своей банде. Я бежала на другой конец Ленинграда, а через несколько дней забралась с двумя мальчиками в поезд, и мы приехали в Москву. Я провела еще два года с беспризорниками и об"ехала весь юг. По мере того, как шло время, нападения парней и мужчин делались все чаще, но мои силы и ловкость тоже все нарастали. У меня был бритвенный ножичек, обернутый в платок, и я не один раз пускала его в ход. Моя дикость внушила уважение. Ко мне на помощь пришел паренек, несколько старший, чем я, и он защищал меня с кошачьей ловкостью и жестокостью, никогда ничего от меня не требуя. Я верила его самоотверженной дружбе, но нет: он был педерастом.

Однажды задержали всю банду. Нас отправили в тюрьму, где уже находилось бесчисленное количество парней-бродяг. Это был период ликвидации беспризорников. Среди этой скученности мои компаньоны умирали, как насекомые. Многие главари банд были казнены. Меньшинство, оставшееся в живых, должно было быть выслано. (Среди будущих ссыльных находилась и я). Одна женщина, часто посещавшая тюрьму, обратила на меня внимание, добилась моего освобождения и забрала меня к себе домой. Они жили вдвоем, ты их знаешь: это были сестры Прагер, две жидовки коммунистки-чекистки, работавшие для ГПУ. Они освободили меня не из сострадания. Я была нужна им для их работы. Я научилась подслушивать под их суровым руководством, следить, шпионить и врать. Никто не мог заподозрить меня, когда я приближалась, чтобы посмотреть и слушать, ведь я была такая тощая и обтрепанная. Они говорили в доме по-немецки, и я тоже научилась говорить. По вечерам они обучали меня читать и писать. Они почти что не давали мне есть, а так как они не выпускали меня и не давали возможности воровать, то я голодала ужасно. Спала я на куче бумаг в нише для угля. Так провела я почти что три года, пока в какой-то день не появился ты для разговора с ними. Спустя несколько дней ты подошел ко мне и дал мне несколько рублей, а также расспросил меня об отношении жидовок-чекисток. Я тебе сказала все, что знала. Этой ночью их обеих задержали. Они были троцкистками. Я узнала об этом от тебя спустя час, когда ты приехал на рассвете. Какой стыд почувствовала я перед тобой, таким молодым и элегантным, видя себя грязной и покрытой лохмотьями. Ты меня уверил, что "Они никогда больше не вернутся". Ты положил еще несколько рублей на столе и ушел. Я не спала в ту ночь, от твоих папирос остался в жилище редкий аромат, которым я наслаждалась. Я исследовала содержимое гардероба обеих жидовок. Там не имелось много вещей, но для меня это было богатство. Я омыла холодной водой с мылом свое тело, перемеряла одно за другим все платья. В каждом из них могло поместиться две таких, как я, настолько я была худа. Какое огорчение: я не умела шить. Твои рубли я отдала на следующий же день за переделку платьев. Впервые в жизни меня причесала одна соседка. Когда я оделась, то я страдала оттого, что не могла себя увидеть. Я прохаживалась около своего маленького зеркала, но ничего

не получалось. Я побежала к берегу Москва-реки и там смогла разглядеть свое отображение почти во весь рост. Я прыгала и смеялась, как маленькая девочка, каковой я и была... В этот же день я стала женщиной.

Остальное ты знаешь, как ты определил меня в школу. Поводом для этого послужил для тебя мой бедный немецкий язык. Даже при железной дисциплине и в строгом послушании, царившем там, я узнала, что значит чувствовать себя личностью. И даже узнала, что такое свобода. Никто больше уже не нападал на меня, за мной только ухаживали, и мой отказ не вызывал необходимости бороться за спасение своей девственности. Мне не нужно было уже выдерживать ту жестокую борьбу, которой было наполнено мое детство. Я не знала религии и не чувствовала какого-либо уважения к лицемерным буржуазным добродетелям, и жизнь и наука показали мне в неприкрытом виде физиологию полов... И - заметь это - я предполагаю, что я ненормальна. Я не знаю, являюсь ли я жертвой отклонения от нормы или психического атавизма. Я консультировалась по секрету с крупными европейскими и русскими врачами, изучала старательно Фрейда и его школу. Я нигде не нашла ответа на случай со мной...

Мое внутреннее отталкивание против этой фазы любви - бесконечно.

Если я принуждена буду отдаться или подвергнусь насилию, то это будет для меня равносильно смерти.

Сделай усилие, чтобы понять, Габриель, и кроме этого прошу тебя, не улыбайся...

И вот, когда теперь тебе все это известно, я тебя спрашиваю:

— Должна ли я отдаться Т. для услуги Партии?

Товарищ, я ожидаю твоего ответа. А."

Письмо Лидии поразило меня. Человеку свойственно при наблюдении чужих трагедий прилагать их прежде всего к себе. Вот так сделал и я и почувствовал себя почти что счастливым по сравнению с Лидией. Мои дочери, столь несчастные на мой взгляд, казались мне находящимися чуть ли не в привилегированном положении, они всегда были при своих родителях, им никогда не приходилось переживать того ужасного состояния, когда надо было защищать зубами и ногтями свою девственность, подвергающуюся нападению. Это было мимолетное

утешение, но это было в прошлом, а что я знал о настоящем? Повелительное чувство необходимости сделать копию с письма (да, это чувство абсолютной необходимости овладело мной), запечатать его и сдать вернуло меня к реальности.

Все это я сделал торопливо и нервно. Когда я закончил, то позвонил Габриелю. Он ответил на первый же звонок, и я ему сообщил, что имею письмо с поручением передать его лично ему в руки. Он известил меня, что приедет в тот же день вечером.

Я поджидал его, раздумывая о жизни Лидии. Хотя я был и плохим психологом, но я не ошибся, поставив диагноз о необычайности ее личности. Несмотря на огромную духовную дистанцию, разделявшую нас обоих, на меня колоссально подействовал ее "случай" вплоть до того, что он вызвал во мне странную родительскую нежность. Я всегда видел ее простой, стойкой, несколько суровой, но теперь, когда я увидел в ее письме ее душу - ибо она имела душу, хотя и не знала об этом - я увидел ее слабой, трепетной и тоскующей, как беззащитная девочка, совсем так, как бы это была моя дочь.

Я представлял себе, как бы я мог спасти ее смелым воображаемым поступком. Но что же мог я сделать? Я был раб, безгласный и лишенный свободы. Может быть решение было в руках у Габриеля? Что я мог знать? Имел ли свободу распоряжений Габриель? Имел ли реальную свободу вообще кто-либо внутри СССР?

Я терялся в этих мудрствованиях, когда услышал прибытие автомобиля. Вскоре вошел Габриель. Я смотрел на него вопрошающим несоображающим взглядом, как бы желая попросить у него разрешения вопроса, я даже не сообразил, что содержание письма было ему еще неизвестно. Настолько далеки были мои мысли, что ему пришлось спросить меня про письмо. Я ему отдал его, не осмеливаясь взглянуть на него. Держа его он прошел в свой кабинет и дверь за ним закрылась.

Настал час ужина. На столе поставили два прибора. Я не садился, ожидая, когда придет Габриель, но время проходило, а он не появлялся. Я обождал еще час, что делать? вытерпел еще некоторое время. Наконец я решился поужинать, но почти что ничего не закусил. Мой рот отказывался жевать, я встал из-за стола и начал прогуливаться с большой нервностью, куря

папиросу за папирсой.

-----оооооОООООооооо-----

Габриель вышел из своего кабинета только на рассвете. Я сидел в столовой в кресле и был очень утомлен, так как, не давая себе в этом отчета, я прогуливаясь взад и вперед, проделал много верст.

Он не заговорил со мной и не удивился, увидев меня здесь. Он даже не посмотрел на стол, где еще стоял его прибор. Он принес в руках письмо, вручил его мне и ограничился словами,

— Отдайте его ей по возможности раньше.

Шофер автомобиля и другой человек, сопровождавший его, дремали на креслах в вестибюле. Габриель растряс их и распорядился открыть двери. Он задержался на одно мгновение в дверях и посмотрел вдаль на небо, где уже сияла Венера.

Он сел в автомобиль, вздрогнув и резко заскрипев тормозами — машина рванула.

Габриель не попрощался со мной.

Управляющий закрыл дверь, и прозвучал звук тройного запора.

Я отправился в свою комнату и стал ощупывать письмо. Мною овладело желание, страстное до сумасшествия, узнать, что там написал Габриель. Я заметил, что в одном уголке клей был еще мокрый, я ввел туда карандаш и легким круговым движением вокруг краев смог легко и без повреждений открыть конверт. Я испугался, когда мне это удалось, Я спрятал письмо под подушку и стал раздеваться, чуть не дрожа. Малейший шум, который я слышал, я приписывал тому, что вернулся Габриель. Я лег, потушил свет и накрыл одеялом голову. Прошло порядочно времени, прежде чем я овладел своими нервами, затем я уже смог размышлять.

"Да — подумал я — я его прочитаю, но с предосторожностями, недалеко от меня лежал один старый номер ПРАВДЫ, я взял его, предварительно зажегши свет, я извлек письмо, шелевшее под тяжестью моей головы, и прикрыв его газетой смог безопасно читать. Устроившись таким образом, я стал нетерпеливо читать:

"Товарищ!

Благодарю тебя за письмо. Разумеется, что я не смеялся над ним. Моя жизнь, не является, собственно говоря, жизнью, имеющей привязанности или болезненную чувствительность, но поскольку ты открываешься передо мной доверчиво и открыто, как настоящий товарищ, то я почувствовал себя очень близким к тебе. Не напрасно написала ты в своем письме то, что может написать женщина только своей матери, которой ты не знала.

Ну теперь уже ты спокойна, что я не буду смеяться?

Теперь перейдем к реальности. Ты считаешь, что единственным возможным средством является твоя полная сдача? Я не могу этому поверить. Обостри твою тонкую изобретательность. Я верю в то, что ты сможешь добиться триумфа без этой жертвы, которая приводит тебя в ужас. Если бы изменники знали, что им достается такая очаровательная женщина, как ты, то никакая угроза казни не могла бы удержать от измены даже самых правоверных.

Теперь я говорю серьезно. Поищи, придумай, попробуй покорить этого человека каким-либо другим способом. Каким именно образом удастся тебе добиться триумфа, я этого не могу знать.

В твоих словах отражается несвойственное тебе состояние духа, я усмотрел в тоне твоего письма нечто настолько обостренное и жизненно важное, что-то похожее на сдерживаемый пароксизм, что опасаюсь за состояние твоего ума.

Ты сама себя спрашиваешь, нормальна ли ты? Только ты одна можешь разрешить эту загадку твоего предполагаемого полового или умственного комплекса. Твоя сексуальность или твой мозг отталкиваются от другого пола? Да? И отталкивание это полное? Ответ себе на этот вопрос, если можешь и если сможешь его разрешить.

Мои поверхностные знания о "вечно женственном" заставляют меня сказать тебе со всей откровенностью, что я считаю тебя вполне нормальной и даже я не уверен в твоей неспособности любить мужчину, ни ты, никто не сможет квалифицировать твое отталкивание, как полное и непреодолимое. Любовь в состоянии преодолеть все. Через любовь женщина может оставаться всегда девственницей и через любовь же она может перестать ею быть.

Я употребляю термин "любовь", совершенно не затрагивая ее интимной стороны. Все же это слово лучше других - выражает определенное значение, поэтому я его и употребляю, вне его возможного антимарксистского содержания.

Я говорю тебе о любви старым языком уже протекших столетий, чтобы убедить тебя в твоём заблуждении. Познавать друг друга или желать друг друга - это в принципе совершенно нормально. Я хочу и надеюсь, что смогу тебя убедить.

Все твоё существо трепещет и все внутри тебя восстает при мысли, что тобой могут овладеть, здесь затрагивается и решается сама твоя жизнь. Ибо в проблеме пола как бы заключается высший смысл жизни. Если бы таковая идея была бы странной и абсурдной, то все цивилизации, которые предшествовали нам в течение многих веков, являлись бы так же аномальными, как и ты... ибо начиная с самых древних поколений все сосредотачивалось именно на проблеме пола: высший смысл жизни и смерти. Что же такое, в сущности, история человечества? Об этом единодушно говорит мировая литература. В прозе, в стихах, картинах и в музыке изображает она эту единственную и вечную тему: любовь, благодаря которой живет, умирает, убивает и рождается мужчина и женщина. И на чем это основано? На абсолютном абсурде для разума, экономики и физиологии, на этом абсурде девственности. Если гордая наука, видя себя побежденной, предоставила безумству поэта дело расшифровки вечной загадки женственности, то ты такая же безумная, как и все мировая поэзия.

И - я скажу еще больше, гораздо больше. Даже безумная поэзия почувствовала себя беспомощной и потерпевшей поражение. В силу этого тайна девственности стала одной из тайн религии. Я не могу тебе сказать, каким образом получилось, что благодаря непреодолимому желанию всех земных народов, все мифологии оказались насыщенными проблемой полов. Ни в этом письме, ни в тысячах книг я не мог бы тебе этого раз"яснить.

Ты родилась почти что вне религии, я родился и жил, будучи связан с одной из них, а именно с христианской католической. Как ты знаешь, я отказался от нее и сейчас, как сознательный коммунист, я ее враг. Это для тебя не ново. Но имея категорическое желание добиться того, чтобы рассеять в тебе твоё опасное подозрение в патологической ненормально-

сти и помочь тебе восстановить контроль над своей волей, я опишу тебе мой собственный "комплекс" и "ненормальность".

Но знаю, знаешь ли ты о том, что католическая религия, будучи мистической и метафизической, как никакая другая, проповедует догму о девственности. Для каждого католика является законом вера в девственность Марии, матери Иисуса, под страхом быть отрешенным от церкви. Вдумайся хорошенько: ВЕРИТЬ В ДЕВСТВЕННОСТЬ МАТЕРИ. Такого очевидного и полного абсурда нигде не было слышно. Ну хорошо, как ты мне открыла свое сердце, так и я тебе открываю свое: я нахожу настолько свойственной человеку эту тайну христианской матери-девственницы, что мое сердце покоряет мой рассудок, и я приемлю этот абсолютный абсурд. Обрати внимание на следующее: у меня есть мать, ты знакома с ней, ни я, ни любой другой сын, не в состоянии представить себе свою мать в воплощении, во мне, а также и в других, восстает и бунтуется наше я по поводу зоологии, это прыжок или полет, и если бы я достиг неба и был бы Богом, господствующим над природой, то я тоже родился бы от матери-девственницы. И ты будешь считать меня за это ненормальным? Ненормален сам маленький еврей Фрейд, развлекавшийся своим комплексом Эдипа. Не правда ли?

Я не вижу больше лучших аргументов, чтобы убедить тебя в твоей нормальности. Если в твоем комплексе имеется ненормальность, то также и в моем. Но твоя ненормальность - явление всеобщее. В какой-то форме она бывает у всякого человека. Может быть, если это комплекс - я этого не знаю - то человечество сумеет освободиться от него, но тогда эволюция вида обязана быть настолько медленной, что судить о его прогрессе мы не сможем.

Как ты видишь, я уклонялся в сторону для того, чтобы дать тебе ответ, и вдохновился романтизмом буржуазного типа и религиозным мифом. Это получилось легко я даже буквально прекрасно: откажись, не отдавайся. Так говорят поэзия и религия в порядке высшего уважения к своему я. Для меня это было бы особенно чрезвычайно легко. Во мне еще имеется кое-что из расового атавизма, а в моем родном языке, не знаю в силу какой тайны языка воля и любовь выражаются одним я тем же словом: *querer*. Для испанца *querer* - желать и любить - это нечто равнозначное. И поэтому, я бы тебе ска-

зал: если не любишь, то не отдавайся. Только будучи животным, у которого отсутствует свобода, и которое не может любить (ведь нет любви без свободы), ты сможешь отдаться. А ты же не дошла до животного состояния.

Красиво и легко, не так ли?

Я не взывал к легкому, но к тебе самой, только к твоему "я". Решение находится в твоём интимном "я", потому что там находится его воля и свобода

Никакие ни божеские, ни гражданские законы в идолопоклоннических или обожествляемых государствах прошлых веков не могли бы требовать от тебя принесения в жертву на своих алтарях твоей девственности. Разве только, что какая-нибудь богиня могла бы потребовать от тебя стать весталкой.

Пролетарское государство, да. Оно не диктует распоряжения, но оно дало тебе свою материалистическую диалектику. Ты большевичка-коммунистка. Если всемирный враг пролетариата в данный момент более силен, чем Советское Государство, которое поручило своим людям и своим вооружённым людям защищать себя, то что же делать? Неужели ничего?

Неизвестно кто это и сколько их. Мы не знаем, где они находятся. Нам неизвестны их заграничные соучастники. Мы знаем только то, что крупные силы Красной Армии и все силы самой мощной европейской армии будут брошены в атаку. И мы не знаем даже ни дня, ни часа.

Удастся ли нам узнать это или нет - от этого зависит судьба всемирного пролетариата на многие века. Если бы мы знали, что можем уже сейчас подрезать голову заговора молниеносным ударом, пока ещё не совершен государственный переворот, о мощи которого и времени совершения мы ничего не знаем, то мы могли бы, подобно молнии, захватить врасплох тех изменников, которые будут нам известны. Но слишком важно будет предстоящее решение, чтобы можно было подвергаться риску поражения прежде, чем мы не испробуем всего, вплоть до невозможного.

Только ты сможешь узнать кто и когда. Я могу сказать тебе только одно, как ты говоришь, он признаётся тебе только в том случае, если ты отдашься ему.

Сравни: с одной стороны - жизнь СССР и мирового пролетариата, с другой - ты, которая, как я это видел, столько раз

рисковала жизнью для Партии.

А он не просит от тебя жизни, он просит от тебя...

Выслушай эти стихи одного испанского классика:

Королю должны отдать жизнь и Имуущество,

Но честь получается в наследство от души,

Душа же дается Богом.

Мы, большевики, не имеем ни короля, ни Бога. Честь этого испанца коренилась также в девственности какой-то женщины.

Если тирану-королю полагались жизнь и богатство... то не заслуживает ли гораздо большего пролетарское Государство-Освободитель? В этом письме нет ни малейшей нотки иронии, которой ты так опасалась. Слишком трагичен политический и личный момент, чтобы иронизировать. Если бы разыгрывалась моя собственная жизнь, то это было бы даже элегантно, но сейчас, поверь мне, разыгрывается несравненно большее...

И самое серьезное для меня это то, что я не могу ничего ни сделать, ни решить...

Решение можешь продиктовать только ты одна.

Привет, товарищ. Габриель".

Я был очень смущен. Я опустил на колени газету, в которую было вложено письмо, и углубился в себя, мои мысли терялись в сонме противоречивых идей и чувств, которые беспорядочно зарождались во мне.

Я закурил, чтобы успокоиться и привести в порядок свои мозги. Я снова стал перечитывать письмо Габриеля и попытался противопоставить его мысли мыслям Лидии, письмо которой я очень хорошо помнил.

Мне казалось, будто передо мной лежит хаотическая гнилая масса, и я должен исследовать ее асептическим пинцетом своего суждения..., как искатель жемчуга. Ибо жемчуг сверкал, как слеза, в этом марксистском зачумленном месиве. Особенно ослепляло меня в Лидии ее мучительное беспокойство о девственности. Не сопротивление бесчестию было непреодолимо в ней... Но, а каково его происхождение?... Любовь, любовь, в которой она, кажется, и самой себе не призналась. Но любовь немыслима без любимого. Кто же это мог бы быть? Габриель, Габриель, неспособный любить, я мог видеть его только ненавидящим. Не была ли первой причиной этой дра-

мы антитеза: любовь – ненависть? Но был ли Габриель неспособен любить? В абсолютном смысле – нет. В его письме горит ярким пламенем среди черной ночи его преступлений любовь к его матери. Любовь, граничащая с сверхчеловеческим, под ее воздействием он, убийца и материалист, хулил свои марксистские божества и поднимался на вершины мистики. У него, ярого врага Христа, я обнаружил человеческие доводы мистерии, наиболее оспариваемой людьми, смысл, который будучи чисто человеческим, как происходящий от своего я, возвышался до абсолютного смысла Богочеловечества. Откуда происходило все это такое сложное и поразительное?... Логика, если логика существует, непосредственно доказывала мне, что Габриель влюблен в Лидию (но я этому не верил). Нить логики тут же обрывалась. Письмо Габриеля было наполнено противоречиями, его конечный выбор молниеносен: если в какой-то момент он касается божественного, то тут же вслед он прямо вертикально падает в пропасть зла. Создается дуализм, благодаря которому марксизм терпит крушение и подвергается насмешкам, но так получается у меня, учитывая мою культуру и мое воспитание... А как же для Лидии? Для Лидии, абсолютно лишенной какого-либо рационального познания Бога, представленного в ней только через ее женственность и девственность? Партию она осуществляла в Габриеле как в единственном воплощении божества, наиболее абсолютного и страшного из всех других, вымышленных в самых невежественных мифологиях... Сможет ли он разглядеть эту жестокую иронию? И не было ли в этой напыщенной марксистской риторике "метафизики", так ему несвойственной и поучительной иронии, как единственного средства дать ответ Лидии? Ибо, разве свободен он в своем мнении? Ни он, никто не является иммунным от террора, над его жизнью тоже нависла суровая угроза...

А как же должны дрожать такие палачи, как он! Они обладают колоссальным опытом в применении ужасных пыток к своим жертвам. Всем телом должны дрожать эти палачи, как никто другой – ибо и они имеют человеческую плоть когда они видят над собой нависшую угрозу самим перейти в разряд жертв. Так, балансируя в своем воображении противоречивыми гипотезами провел я время, пока не проник через оконные щели утренний свет. Я не спал, я встал. Письмо Габриеля жгло мне руки, и я хотел скорее передать его.

До трех часов пополудни Лидия не вызывала меня. Я ей назначил свидание на пять часов по принятому методу и в назначенный час неуклюже вложил письмо в карман ее непромокаемого плаща. Я сошел на первой же станции, компактно заполненной людьми. Я видел ее еще в тот момент, когда тронулся поезд, черты ее лица ничего не выражали, но я догадывался о том, как сжимала она письмо в своей руке.

ТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Лидия не подавала признаков жизни посла того, как я вручил ей письмо. Она не вызывала меня до 6-го мая. Вызов был сделан в 8 часов вечера, она поручила мне известить Габриеля с возможной поспешностью о том, что она хочет видеться с ним в лаборатории и чтобы за ней был выслан автомобиль на площадь Пушкина.

Насчет автомобиля я сообщил управляющему, обещавшему мне его. Затем я стал разыскивать Габриеля, но потерпел неудачу и нигде не смог его найти. Поскольку я не должен был называть свое имя и не смел оставлять никаких поручений, то в моем распоряжении оставалось только одно средство: повторять вызовы.

Было уже почти что десять часов вечера, когда прибыла Лидия. Я известил ее о том, что пока что нигде не нашел Габриеля. Она не сделала никаких возражений. Она попросила у интенданта ключ от кабинета и вошла туда. В скором времени я услышал стук пишущей машинки. Я продолжал делать бесполезные вызовы. Я сообщил об этом Лидии и спросил также ее, не желает ли она поужинать в моем обществе. Она подняла на один момент от машинки глаза и, поблагодарив меня, отказалась.

Я быстро поужинал и взялся опять за телефон. На сей раз мне посчастливилось, Габриель ответил и я сообщил ему о том, что Лидия ожидает его.

Он обещал приехать, как можно скорее, но до его прибытия прошло более двух часов.

Я поджидал его, прогуливаясь по вестибюлю. Войдя, он слегка мне поклонился, спросив:

— Где она?

Я указал ему на его кабинет и направился туда.

— Я вам буду нужен? — спросил я его.

— Нет, думаю, что нет, можете ложиться, доктор.

Он закрыл дверь, и я отправился в свою комнату. Ясно, что мне совсем не хотелось спать, поскольку я знал, что в данный момент Габриель и Лидия находятся здесь, и я знал их

проблему, все это сообщало мне определенную нервозность и, кроме того, - почему же не признаться – меня разбирало колоссальное любопытство.

Я раздевался не торопясь и одновременно представлял себе мысленно их лица такими, какими я их видел этим вечером. Лицо Лидии было неизменно, если что-нибудь я и заметил в нем, так это несколько больший блеск в ее удивительных глазах, так мне показалось, когда я приглашал ее на ужин, но, пожалуй, это могло быть и иллюзией или показаться мне в силу контраста, получившемуся от того, что она оказалась одетой во все белое, снявши с себя темный плащ. Кто имел изменившийся вид, так это Габриель, он показался мне более осунувшимся и в нем были видны как бы следы от бессонницы, это меня не удивило, ибо за эти дни он должен был провести огромную работу.

Я надел пижаму и только было раскрыл кровать с целью улечься спать, как услышал глухой шум. Я оторопел на момент, но потом опять ничего не стало слышно, я уже, было, успокоился, когда снова до моих ушей достиг шум от голосов и гул от шагов. Я подошел к двери и не успел еще взяться за ручку, как она раскрылась и появился интендант.

— Идите, идите, доктор, поторопитесь... — поспешно выпалил он мне. — Нет, так, так как есть, доктор. Очень спешно.

Я не раздумывал больше и бросился из комнаты вслед за этим человеком. Едва я успел вступить в вестибюль, как в дверях кабинета мелькнул Габриель и закричал:

— Идите, идите сюда, доктор!

Я бросился чуть ли не бегом и вошел.

Лидия лежала на полу, прислонившись к дивану. У нее на груди виднелось красное пятно.

Габриель, стоя на коленях, пытался помочь ей.

— Она выстрелила в себя! Давайте, доктор, сделайте все, что можете,

Я быстро наклонился. Мои руки дрожали, но я одним рывком разорвал платье. Показалась рана, отверстие для входа пули виднелось между грудьми у основания левой груди. В ее сильно раскрытых глазах не было жизни, я попытался найти у нее пульс своей правой рукой, одновременно пытаюсь придержать кровотечение левой рукой, приложив к ране часть ее одежды, но пульс ее не бился. Я попытался найти его еще

раз, но бесполезно. Мне было совершенно ясно, что Лидия была мертва. Я ничего не сказал Габриелю, взгляд которого я на себе чувствовал. Чтобы что-нибудь сделать, я взял Лидию за спину и предложил ему помочь мне положить ее на диван. Мы сделали это со всей осторожностью, я приложил свое ухо к ее обнаженной груди, и как ожидал, не уловил ни малейшего биения.

Я выпрямился, мой взгляд встретился со взглядом Габриеля. Я воскликнул обескуражено:

— Ничего нельзя уже сделать!

— Мертва — прошептал он чуждым для него голосом.

— Умерла — подтвердил я.

Я посмотрел на нее, потом опять на него и не узнал его. Это не был тот Габриель, которого я видел перед тем. Его глаза были теперь так человечески, и в них отражалось столько страдания, что я не мог бы себе даже вообразить такой вещи в том человеке, в глазах которого я видел всегда мерцающий блеск дьявольской радости в то время, когда он убивал, пытал или посылал на смерть.

Это наблюдение продолжалось один момент, ибо он повернулся кругом и стал ко мне спиной.

Он отошел в другой конец кабинета и там стоял спокойно, неподвижно, с руками, напряженно сжатыми в кулаки. Я опять повернулся к неподвижному телу Лидии. Снова как-то машинально исследовал его, но в нем не было жизни. Я прикрыл, как сумел ее обнаженную грудь и опустил ей веки. В ее лице не было сжатия мускулов и следов страдания, смерть была моментальная.

Позднее, когда мне удалось добиться того, чтобы Габриель вышел на некоторое время, я принес инструменты и решил прозондировать рану, траектория затронула сердце Лидии.

Я был глубоко огорчен. Я прикрыл это лицо вдвое сложенной марлей и мое сердце сжалось.

Я вышел в вестибюль, Габриель был там, он стоял с широко раскрытыми глазами, но я думаю, что он ничего не видел. Интендант и его помощник, онемевшие и пораженные, смотрели на него, стоя у подножия лестницы. Я сам не зная зачем, прошел в столовую и вышел, думаю, что вид у меня был довольно бессмысленный. Привыкши в течении стольких ме-

сяцев не проявлять никакой инициативы, особенно в присутствии Габриеля, я не знал что думать в отношении этой трагедии. Наконец, чтобы реагировать, я осмелился кое-что предпринять, я не знал что, но несомненно я должен был что-то делать.

Я начал с того, что подошел к Габриелю.

— Товарищ, товарищ Габриель... — произнес я неуверенным голосом.

Он глянул на меня блуждающими глазами, не раскрывая губ.

— Идите, идите сюда... — добавил я.

С удивлением я увидел, что он сделал несколько шагов, как бы желал следовать за мной. Я не знал куда его вести и зачем. Не знаю как, мы оба очутились в столовой и я закрыл дверь.

— Габриель — сказал я ему с искренним чувством, — что я должен делать? Как я могу помочь вам?

Несколько минут продолжалось молчание, и затем с огромным усилием он ответил:

— Делайте, что хотите.

— Можете ли вы меня ориентировать? Это самоубийство? Да?

После моего вопроса Габриель колебался несколько мгновений.

— Да. Она покончила с собой передо мной. Ну, а что вы думаете?

— Нет — оправдывался я. — Я нет. Но вы были ведь одни?

— Да, одни. Ну так что же? Оставьте меня сейчас, доктор. Идите туда, я думаю, что имеется ее письмо, идите, идите... — и он повалился в кресло.

Я вышел и направился в кабинет. Я уже успел как-то овладеть собой. Я вошел и оглядел панораму. Первое, что мне бросилось в глаза, было оружие: черный пистолет небольшого размера, упавший недалеко от правый ножки дивана. Первым моим импульсом было подойти и взять его, но я удержался. Мной овладел полицейский страх, внушивший мне мысль, что на этом оружии могут остаться следы и указать на то, кто из него стрелял. Раздумывая таким образом я вспомнил, что Габриель что-то указывал мне насчет письма. Я подошел к столу,

и первое, что я увидел, это было восемь листов бумаги, исписанных на машинке и лежавших на папке Габриеля. Я стал пожирать глазами написанное там, перескакивая фразы, строчки и даже целые параграфы, я понял, что это была длинная информация. Тухачевский признался. Он аннулировал свое путешествие в Англию, которое считал опасным для себя и изменил свои планы, теперь конспираторы собрались сделать государственный переворот, не ожидая начала войны. В принципе срок был назначен на 15-е мая. Лидия должна была выехать в Лондон в качестве прикомандированной к свите нового представителя от СССР для участия в коронации короля. Она должна была везти с собой несколько "микрофильмов", каковые нужно будет передать одному немцу, который представится ей, произнеся пароль. Если государственный переворот удастся, то Лидия вернется в СССР, а если провалится, то Тухачевский соединится с ней в Лондоне, в случае, если останется в живых.

Это было самое существенное в информации, хотя было гораздо больше подробностей и большое количество имен. Но я ничего больше не мог запомнить, так как употребил на чтение только две или три минуты. Она была подписана Лидией и адресована Габриелю.

Я внимательно смотрел, ища письмо. Но я его не нашел, так как на столе не было других бумаг, кроме информации. Только когда я уже отошел, думая, что не найду его, я приметил на полу смятую бумажку. Когда я ее поднял, то увидел, что она написана от руки. Она была подписана Лидией и в ней говорилось следующее:

"Товарищ Гавриил Гаврилович:

Тут имеется для тебя информация об измене Тухачевского. Думаю, что ты должен быть удовлетворен. Никому больше маршал не говорил.

По выполнении тобой данного приказа и моего долга перед Партией, не нахожу больше никакого смысла в жизни и решила лишиться себя таковой после того, как вручу тебе информацию, столь тебе желанную.

Настоящее пусть послужит тебе для оправдания в том, что я хочу выполнить по своей собственной воле.

Прощай навсегда, товарищ. "ЛИДИЯ".

Конечно это не были точные слова письма, но они и не

отличались особенно от этих. Также я уверен, что правильно отобразил, хотя и в общих чертах смысл информации, прочитанной мной с такой поспешностью.

Прежде чем покинуть комнату, я не смог воспротивиться желанию посмотреть на лицо Лидии. Я приподнял марлю и стоял в восхищении несколько мгновений. Смерть еще совершенно не наложила своей печати окоченелости на ее прекрасные черты лица, даже пожалуй сейчас они стали еще изящней и тоньше, выделяясь благодаря своей сплошной белизне. Рот ее был чуть приоткрыт, как будто она собиралась еще вздохнуть, слегка виднелись между ее фиолетовыми губами белые как снег зубы и на один из них, отраженное электричество ложило искорку света.

Лицо осталось неприкрытым. И что могло делать здесь человеческое существо кроме того, чтобы молиться и умолять? И я молился, да, молился от всего сердца и не знаю почему, но в этом лице я видел как бы лица своих дочерей, тоже бледные и нереальные. К моему горлу подступил клубом и я не мог вздохнуть. Я опустил марлю и вышел бегом.

Я обождал несколько минут, чтобы успокоиться, а затем вошел и подошел к Габриелю. Он оставался в том же самом положении, в каком я его оставил.

Я постарался обратить на себя его внимание, показывая ему письмо. Он его даже не прочитал и отвел глаза.

— Должен я сейчас что-нибудь сделать? — спросил я его.

— Ничего, доктор, сейчас ничего. Должны дожидаться утра.

Он поднялся, повернулся ко мне спиной и неуверенным шагом пошел к Лидии, закрыв за собой дверь кабинета.

Я остался сам, не зная ни что думать, ни что говорить. Теперь только я увидел, что я был в пижаме, я почувствовал себя смерзшим и вернулся в вестибюль, где прогуливаясь и куря сигару за сигарой, я провел часы, оставшиеся до рассвета. Они показались мне очень долгими.

Двое служащих дома тоже не ложились, они несколько раз проходили мимо меня, но не осмелились заговорить со мной. Когда через решетчатые окна проник утренний свет, я попросил кофе и когда его принесли, то я решился войти сам с чашкой для Габриеля.

Я нашел его сидящим и глядящим в лицо Лидии, с кото-

рого он снял марлю. Он не слышал, как я вошел, мне пришлось положить свою руку ему на плечо, чтобы привлечь его внимание. Он посмотрел на меня, но увидев чашку, отказался движением головы. Я настаивал, но он поднялся и ушел. Я следовал за ним до вестибюля и опять стал просить его, чтобы он выпил, я не думал успеть в этом, но приход интенданта повлиял на него, он взял чашку и выпил ее одним залпом. Одновременно, видя дневной свет, он получил ощущение времени и распорядился интенданту заказать машину.

Автомобиль прибыл с опозданием на один час или даже больше. Габриель приготовился выходить. "Ждите меня здесь". Сказал он мне из дверей и ушел. "Ждать его?" — подумал я. А что я еще могу делать другое, находясь здесь в качестве пленника? Несомненно, рассуждал я, это столько трагическое происшествие заставило Габриеля забыть о моем почетном положении я сделался для него человеческим существом, с которым он обращался на равных правах.

Габриель возвратился только поздним утром около одиннадцати часов, он восстановил свое спокойствие, но мрачная тень покрыла черты его лица, придав ему необыкновенную суровость.

Он сообщил мне, что после беда прибудет карета скорой помощи и затем больше не произнес ни слова. Он ничего не ел и провел почти что все время, запершись в кабинете около тела Лидии. Заходя в кабинет, чтобы уговорить его что-нибудь с"есть, я обратил внимание на то, что информация не лежала больше на столе, вероятно Габриель отвез ее в Москву.

Уже наступил вечер, когда прибыла скорая помощь. Когда положили тело на носилки, то мне показалось, что нужно его чем-то прикрыть. Я вышел, что бы попросить простыню, и интендант дал мне ее, я сам покрыл ею труп и когда выпрямился, то заметил благодарность в глазах Габриеля, которые на один миг перестали быть суровыми.

Два человека подняли носилки и направились к двери. Габриель, двое служащих и я, как будто сговорившись, последовали за ними. Это было как бы краткое погребение.

Скорая помощь тронулась и мы молча и неподвижно стояли перед дверью, пока машине не скрылась из вида. Затем, один вслед за другим, опять вошли в дом, Габриель вошел последним. Уже в доме он провел меня в свой кабинет и ска-

зал мне разбитым голосом:

— Ее повезли на Лубянку, должно быть выполнены определенные бюрократические формальности, одна из них – это вскрытие... Я думаю, что вы могли бы сделать для меня большую любезность.

— Конечно — поспешно согласился я.

— С официальной стороны все в порядке, возможно...

— Я бы хотел, чтобы вы были одним из назначенных медиков, с другим я уже говорил, и он согласен. Я хочу, чтобы по возможности, вы не трогали тела своими инструментами и не резали бы его на куски, ограничившись только тем, чтобы удостоверить причину смерти.

— С моей стороны я согласен — ответил я, — я мог бы удостоверить даже отсюда.

— Мы должны выполнить регламент. Я вас доставляю теперь же, машина должна прибыть и немедленно забрать нас.

Вскоре мы оба ехали по направлению к Москве. Мы остановились не перед главным зданием НКВД, а перед каким-то другим, расположенным, поскольку я мог ориентироваться, недалеко от главного. Мы вошли вместе, Габриель оставил на долгое время меня одного в помещении, куда нас ввел человек в форме предварительно проверив наши личности. Затем он вернулся в сопровождении другого врача из этого дома, как он мне его представил. Разговор был короткий, врач, видимо, торопился, ибо сразу же пригласил меня следовать за собой. Габриель остался ждать.

Мы прошли через несколько коридоров, двери которых все имели надписи. Спустились на пару лестничных пролетов и после того, как прошли еще несколько новых коридоров, медик, имя которого я не могу припомнить, открыл одну из дверей и предложил мне пройти. В комнате находилась только одна фельдшерица в форме. Медик попросил у нее два халата, один из них он дал мне и мы их сразу надели. Мы вышли и он опять повел меня по лабиринту, пока мы не дошли до двери, охраняемой вооруженным солдатом НКВД. Медику не пришлось выполнять никаких формальностей для входа, и я пошел вслед за ним.

Это была небольшая комната. Я не мог рассмотреть ее детально, но в общем мне показалось, что это исследовательский кабинет частного врача. В центре стоял операционный

стол, на нем лежало тело, прикрытое белой простыней.

Мой сопроводитель быстро и естественно стянул простыню и открыл обнаженный труп Лидии. Я подошел и увидел, что совсем не было видно следов крови, конечно, предварительно ее обмыли. Только между двумя грудьми и основания левой виднелось отверстие от пули, как черная точка, окруженная синеватым пятном, это было похоже на распутившийся цветок ириса на ее молодой груди. Не в силах помочь ей я остановился, углубленный в мысли. Моя профессия сделала меня мало впечатлительным, и в свои студенческие годы я производил обычные непочтительные операции над человеческими останками в анатомических залах, затем война сделала меня безразличным в отношении трупов. Тем не менее в тот момент, мое собственное положение, знакомство с трагической причиной драмы, а затем мысль об необходимости этому несравнимому телу отдаться при абсолютном его отталкивании от этого акта, вызвали во мне чудовищный шок. Увидев себя вынужденным производить анатомирование этого тела, я стал сомневаться в том, хватит ли у меня на это сил.

Все эти мысли промелькнули в моем мозгу со скоростью молнии, за время пока мой спутник складывал в угол простыню.

— Я в вашем распоряжении, товарищ — сказал он мне, став рядом со мной.

— Договорено, что — отвечал я нерешительно, еще не успев восстановить своих сил полностью.

— Да, да, разумеется — ответил он с любезным жестом, — не повредить ее, но, по меньшей мере, мы должны извлечь пулю. Это основное. Мы должны приложить ее к акту, и так как нет выходного отверстия.

— Да, да, конечно, согласен, мы это и сделаем. — Он отошел, что бы взять все необходимое с ближайшего столика, где находился инструмент. Он, несомненно думал расширить отверстие, чтобы найти пулю, но когда он повернулся ко мне со скальпелем в руке, я подсказал.

— Пожалуй, товарищ, было бы достаточно длинного пинцета. Поскольку выстрел был сделан из оружия, приставленного к ее грудной клетке, нужно предположить, что пуля не проникла глубоко. Это даст намного больше работы, но я думаю будет более подходящим. Как вам кажется, товарищ?

— Вполне согласен, товарищ, да, по моему это подходит, поймите, что я только хочу вам угодить, помимо этого, приказ свыше.

Он опять стал искать между инструментами, но нашел только короткий и довольно широкий пинцет, который он показал мне с неуверенным видом.

— Годится? — спросил он меня смущенно.

— Не думаю, хотя пуля находится и недалеко, но мы ее не ухватим. Но если хотите, попробуем.

— Подождите, подождите. Возможно, что мой коллега Иевлев имеет. Подождете здесь? Я не задержусь долго.

Он вышел и я услышал его удаляющиеся шаги. Оставшись один я почувствовал себя в неприятном положении. Если бы не мысль о часовом, то я бы вышел погулять в коридор. Я попробовал закурить и машинальным движением зажег папиросу, но тут же бросил ее на пол, почувствовав досаду на себя за то, что чуть не совершил профанацию. После того, как моей коллега раскрыл безжизненное тело Лидии, мною овладело странное чувство: мне было тяжело смотреть на нее и мой взор невольно соскальзывал в сторону. Но когда я остался неожиданно наедине с ним, то мою память наводнила толпа разных мыслей. Передо мной впопыхах проходили картины из прошлого, связанные с ней, дольше всего задержалась на моей вообразительной сетчатке сцена в авионе, когда меня везли раненного в Испанию, а она, невидимая для меня, проникла своей рукой под занавески носилок и представлялась моему ослабевшему рассудку доброй феей. Но вдруг вырвалась наружу вся ее трагедия, отразившиеся в ее письме, высшим пунктом которой была ее вынужденная отдача маршалу и принесение ею в жертву жестокому Делу своей девственности. Я согласовывал одно с другим, раздумывал с тревогой, делал лихорадочно выводы, "Таинственно, да, но разве не поддается расшифровке?" — задал я себе вопрос. И вот я стал вне себя, я стал уже другим. Я недоверчиво оглянулся вокруг себя, обострил свой слух. Абсолютная тишина. Я приблизился к трупу осторожным шагом, но без страха, спокойно и с удивительным решением. Исследую.

Я отошел с мыслями клопочущими в моем мозгу. Если всегда при виде живой Лидии меня охватывало необыкновенное чувство восхищения и в глубине души я видел загадку в ее

недюжинной личности, то я об"яснял себе это тем, что ее безупречная, единственная в своей роде красота имела могущественное излучение, но теперь, зная то, что я узнал в тот момент, я был приведен в замешательство. Если это охладелое тело было высшим воплощением красоты, которую никто не мог себе вообразить, то ее душа, которая была заключена в это тело и в нем мучилась, предстала перед моим взором, как ангел. Я отошел назад и коснулся своей спиной стены, я благоговейно опустил глаза и мысленная молитва, творимая в моем сердце, поднялась к Богу. Я обращался к Нему без слов в этом притоне ГПУ.

"Ты, только Ты, Бесконечный, можешь понять и судить это творение, а также и простить."

Только эта мысленная молитва приблизила меня к человеческому постижению этой неслыханной выдающейся личности, воплощенной в женщине.

КОНЕЦ ОДНОГО МАРШАЛА

Я хочу только сказать, что пуля была извлечена, что я подписал, не читая бумагу и что, сопровождаемый врачом НКВД, я опять очутился вместе с Габриелем. Мы молча вышли, молча приехали в лабораторию. Когда я увидел его в освещенном вестибюле, то мне показалось, что я прочитал вопрос в его глазах и я посчитал своим долгом сказать ему:

— Все было сделано так, как вы желали. Она осталась нетронутой. — Я собирался еще добавить: "Мы не доставили ей страданий", но сам не знаю почему, я этого не сказал.

Мы расстались и он уехал. Я лег, но не мог уснуть. Я много размышлял и раздумывал. То, что произошло в предыдущие часы, повергло меня в состояние сильной духовной напряженности. Странно было то, что ведь произошедшее ни в какой мере не касалось моего личного положения и не затрагивало ни моей жизни, ни моей свободы, тем не менее оно затронуло меня и потрясло целиком до самого основания совершенно искренно в той же мере, если, пожалуй, еще не больше, как и тогда, когда я чувствовал опасность потерять жизнь, когда терял всякую надежду снова увидиться со своими, когда видел пытки над человеческими существами или о том, что я сам могу быть подвержен ужасным мучениям. Мой рассудок не находил тут психологического оправдания и моя логика отказывалась действовать. Еще один лишний раз у меня появилось доказательство решительного господства исключительно одного только чувства над всем, что есть значительного у человека: над разумом, инстинктом, чувством вынужденной интересом и волей. Циклопические блоки, которые пошли на постройку гигантского здания общества и государства, с бессмысленным устремлением, подобно вавилонам, добраться до неба, превратились в пыль, будучи уничтоженными пламенем человеческих страстей и человеческих чувств. Таким образом инстинкт, вынужденность, интерес, желание, воля – все это только способности человека, самое же главное – это сам человек – он, единственная тайна всего творения – наука, ни разум никогда его не поймут. Ничто и никто не постигает самого себя. Так же

как никто не может перепрыгнуть через свою собственную тень. Для меня в каждом человеке существует "смысл разума", так называемый "разум неразумия", это нечто сверхнатуральное, что дает нам силу побеждать смерть и жизнь, и в этом нечто раскрывается наша бессмертность.

К этому прямому заключению меня привела пережитая мною реальность.

Лидия и Габриель были двумя единственными людьми, общество которых было навязано мне в том советском кругу, где меня держали взаперти. Опасаясь их великолепными сверхтипами "по сущности советскими", утратившими страстность и чувства и обладающими только рассудком и инстинктом. Для меня они были теми новыми зоологическими типами "прекрасного разумного животного", в которых удалось свести любовь к физиологии. И вот вдруг здесь, подобно ослепительной молнии, которая раздирает холодное зловещее облако, сверкнула любовь в своем несокращенном виде перед мужчиной и женщиной и поразила их. А я думал, что женщина эта – лед, а мужчина – сталь. Как пылал лед и как согнулась сталь. Теперь они выявились в своей настоящей реальности, только как женщина и только как мужчина в своей извечной натуральности. В своей невинности.

Несомненно, что я почувствовал в них таких же людей, как и я, почувствовал себя с ними об"единенными в их трагедии и страдании.

-----ooooooooOoooo-----

Я не видел Габриеля много дней и никто не приходил в лабораторию. Наступало лето, прерываемое иногда небольшими дождями. Я тоскливо проводил долгие дни, не в силах ни за что взяться, находясь в каком-то состоянии расслабления. Я даже и не писал, хотя пытался несколько раз это делать, перо не подчинялось мне, и когда я перечитывал написанный мною лист, он мне казался беспорядочным, холодным, расплывчатым и свершено не отражающим пережитую мною реальность. Все это я записал гораздо позже, когда протекло некоторое время и я смог увидеть вещи более ясно и в правильной перспективе.

Однажды вечером, когда я собирался уже отправляться спать, я услышал скрип тормозов автомобиля, прибывшего из города.

Вскоре вошел Габриель и приветствовал меня, пригласив знаком итти за собой в свой кабинет. Он предложил мне сесть, а сам остался стоять на ногах. Пока он мне говорил, я наблюдал за чертами его лица, желая угадать его состояние. Я не нашел ни следа той слабости, которая отражалась в его лице в момент смерти Лидии. Наоборот, если даже из его глаз исчезла его прежняя радость жизни, то неподвижность его черт в данный момент придавала ему суровое выражение силы и жестокости, он мне показался воплощением ненависти, бесконечной чудовищной ненависти, окрашенной грустью и разочарованием.

Он заговорил со мной резким голосом без всяких оттенков и не меняя тона.

— Доктор Ландовский, вы мне будете нужны сегодня же ночью. Я бы предпочел избавить вас от тяжелого переживания ввиду вашей чувствительности, но мне это не удалось. В целой Лубянке я не нашел доктора, который не говорил бы по-русски, а мне нужен такой, который не понимал бы меня, когда я буду говорить другому.

— Но я же говорю по-русски, товарищ, — возразил я, думая в то мгновение, что Габриель бредит.

— Я знаю это, доктор, я вполне в своем уме. Да, вы говорите по-русски, кроме того вы поймете не только язык, но и все то, что я скажу, вы поймете это, как никто другой, но если это будете вы, то мне не важно, что вы будете видеть, слышать и понимать, имея ввиду то, что вы знаете и что вам известно. Вас ничего уже не сможет удивить, вы не будете иметь намерения злословить, а если бы и захотели, то воздержитесь.

После этой запоздалой угрозы я ответил, как будто бы не поняв намека.

— Хотя я и не могу понять сущность ваших рассуждений, мне это и не нужно, благодарю за раз'яснения. Вы уже знаете, что можете распоряжаться мною... О чем идет речь... если можно узнать?

— Об одной казни — ответил он не меняя тона.

— Официальной? — спросил я очень глупо.

— Официальная? Что это значит? Какая казнь не официально?

Я понял свою глупую ошибку и извинился:

— Извините, я не так выразился. Я хотел сказать, будут ли обстоятельства казни официальными, а не то, что утверждена ли она легально? Я имел ввиду что-то в этом роде, когда спрашивал.

— Хорошо, хорошо. Казнь произойдет на самой Лубянке.

— А я?

— Должны будете удостоверить смерть, после окончания казни, на которой вы будете присутствовать.

— Кого будут убивать? — спросил я не удержавшись.

— Это не важно, кто бы он ни был! Это человек. Ну, идем уже?

Он повернулся ко мне спиной и я вышел за ним, как автомат.

Машина тронулась. Ночь была прекрасная, светили яркие, далекие и покойные звезды.

Я, придавленный и инертный, не в состоянии скоординировать свои мысли, сидел в машине, которая несла нас по прямой желтой дороге.

Подъехали к району Лубянки. Мне бросилось в глаза большое количество солдат НКВД, вооруженных ружьями и с ручными гранатами на поясах. Нас задержали три раза за короткий срок. Габриель должен был показывать каких-то три карточки, которые строжайшие проверялись офицерами. На последней остановке я увидел у входа в одну из улиц, слева, громаду танка и затем уже дал себе отчет в том, что не видел проходящим ни одного человека в штатском платье. Повидимому, были приняты необычайные меры предосторожности.

Наконец мы сошли перед дверью, охраняемой двумя солдатами. В портале их было видно еще гораздо больше с одним офицером возглавлявшим этот эшелон. Ему Габриель вручил две карточки, он посмотрел на них, посмотрел на нас и мы прошли вперед. Снова дверь и снова контроль. Мы пошли по длинному коридору, охраняемому на небольших расстояниях вооруженными и неподвижными часовыми, и вошли в какое-то помещение, это была комната, переделенная деревянной перегородкой с несколькими окошечками, из которых в дан-

ный момент было открыто только одно. Минуту спустя офицер открыл дверь перегородки и подошел к нам. Он поздоровался с Габриелем и возвращая карточки повел нас опять по тому же коридору.

Мы прошли еще через несколько контролей, прежде чем спустились вниз по нескольким лестницам. По-видимому мы спустились в подвал, я это заметил по особому запаху и даже, я бы сказал вкусу, который имеют погреба. Еще солдаты. Габриель вошел с офицерами в комнату начальника охраны, а я ожидал его, стоя в коридоре, прошло несколько минут и Габриель, вернувшись, держал в руках бумагу. Позади него я увидел человека с пистолетом на поясе, который нес в руке несколько ключей на одной связке. Офицер простился, и мы последовали за тем человеком, который был, по-видимому, старшиной. Мы прошли мимо новых часовых, и человек открыл какую-то тяжелую дверь. С этой стороны двери и с другой опять часовые.

Пройдя через эту дверь, тюремщик запер ее опять. Я сообразил, что мы, собственно говоря, находимся в тюрьме. Перед нами простиралась довольно хорошо освещенная галерея с часто расположенными закрытыми дверьми по бокам. С одного боку и с другого двигалось несколько человек, все время поглядывавших в камеры через глазки.

Мы не задерживаясь следовали за тюремщиком, который шел индифферентно, позванивая ключами, как звоночком. Время от времени прерывались параллельно шедшие стены и начинались новые галереи, конца которых я не видел. Тысячи мыслей вихрем проносились у меня в мозгу, видя себя здесь, в этом подвале, наводящем ужас на каждого русского, как днем, так и ночью во сне я мучительно переживал всю его мифологию и страшные легенды. О чем могли говорить эти немые стены? Каким ужасом и террору они были свидетелями?

Образы прошлого будоражили мою нервную систему, я не могу удержаться, что бы не поглядывать то на одну, то на другую сторону. Но, несомненно, легенда была более ужасающей, чем эта реальность. Ни шума, ни одного крика: все было нормально, тихо и в порядке. Шум слышался только тот, который производили мы. Надсмотрщики двигались так, что их шагов не было слышно. Из-за дверей закрытых камер не доно-

силось ни одного признака жизни, казалось, что они были пустыми или что там заперты трупы. Только два или три раза мне померещилось, что я услышал за дверями кашель. Кроме этого я слышал только свои собственные шаги, да Габриеля и позвякивание ключами шедшего впереди человека.

Мы завернули в одну из боковых галерей направо, затем спустились еще по новым лестницам и снова прошли по другим коридорчикам с камерами. Дошли до круглой площадки. Охранник пригласил нас знаком обождать здесь. Габриель подошел к нему и что-то ему сказал. Тюремщик ушел и Габриель подошел ко мне. Воздух показался мне более тяжелым и густым и с еще более сильным характерным запахом.

Габриель предложил мне молча папиросу, которую я не взял. Он курил торопливо, как бы желая спалить при вдыхании ту атмосферу.

Мне казалось, что тюремщик задержался, и я сделал несколько шагов, но вдруг что-то прервало эту кладбищенскую тишину. Издали послышался шум, он был похож на далекий и слабый топот копыт... Я приписал это вибрации моих барабанных перепонки или ослаблению своего мозга, но нет, я понял, что это не было моей иллюзией или воображением, грохот возрастал, приближался почти что с определенным ритмом... Я отошел и стал около Габриеля. Мне было страшно, наверное, я смотрел на него испуганными глазами, но он не видел меня. Он внимательно смотрел, устремив свой взор туда, в конец галереи, он был похож на шакала, чующего добычу, ноздри у него вибрировали..., а резонанс с каждым моментом усиливался. Наконец там, в конце галереи, обозначилась группа. Станный шум увеличился, он был похож на дробь, выбиваемую берцовыми костями по черепам, настойчивый, сухой, имеющий какую-то согласованность. Я бы сказал, что эта нарастающая страшная погребальная симфония казалась героической. Но откуда она происходила? Группа приближалась: и ее можно было уже различить: в ней было четыре человека - три спереди и один сзади. Этот мрачный резонанс двигался с ними и возникал при их приближении, укрепляя их шаг, каждая дверь камеры была "там-там".

Когда группа подошла и остановилась в нескольких метрах от нас, то эхо достигло всей своей интенсивности. Я смог ее рассмотреть. Из первых трех человек тот, который был в

центре, был обыкновенного роста, немного выше меня и немного ниже Габриеля. На нем была надета порванная блуза вроде пижамы и военные брюки, но без высоких сапог, на нем была какая-то грубая обувь, осанка у него была надменная с чувством собственного достоинства, - его взгляд, брошенный вокруг себя, говорил о его происхождении... То сухое ритмическое постукивание заставило его своей однообразной повторяемой манерой поднять голову и выпрямиться. Даже без формы и в несколько смешной одежде можно было угадать в нем военного. Встретившись своим взглядом со взглядом Габриеля он приподнял свой острый подбородок с особенной личной манерой и этот его жест напомнил мне фразу из письма Лидии относительно Тухачевского. Я решил, что это должен был быть маршал. Он и Габриель - оба выдерживали взгляд друг друга. В профиле Габриеля я прочитал всю его лютую ненависть, его ноздри были расширены, губы сжаты и подбородок дрожал от напряжения. Все произошло очень быстро. Габриель отступил на шаг, когда тюремщик, шагавший позади, открыл тяжелую дверь, вперед прошел маршал, ведомый двумя маленькими мужчинами с бритыми головами, по виду китайцами или монголами. Когда они проходили, то я видел, как Тухачевский выпятил грудь и ступил уверенным и решительным шагом на ступеньку, эхо не утихало и все время сопровождало его. На расстоянии двух шагов следовал за ним Габриель, а я за ним. Когда мы прошли через крепкие двери, тюремщик запер их за спиной. Шум, столь меня удручавший, уменьшился и затих, я почувствовал себя освободившимся от этого мучительного ритма. Я приблизился к Габриелю с правого бока и смог разглядеть место, в котором мы находились. Это была сводчатая галерея без дверей по бокам, с электрическими лампочками в потолке на расстоянии каждых пяти или шести метров, освещавших промежутки с неодинаковой интенсивностью. Я глянул на Тухачевского, которого видел в спину и слегка в профиль, оба монгола подхватили его теперь, каждый под одну руку, заломив их ему за спину. Я почувствовал на своем лбу холодный пот, я задрожал так, как будто бы вдруг на меня напала лихорадка, когда увидел, что Габриель вытащил из под левой мышки большой черный пистолет...

У меня потемнело в глазах, как будто бы галерея наполнилась туманом. Я услышал глухой сухой голос и кучка из че-

тырех человек двинулась, я тоже. Снова остановились, я хотел рассмотреть происходящее, но услышал чей-то резкий мрачный и твердый голос, произнесший:

— Лидия.

Выстрел оглушил мои барабанные перепонки.

Я думал, что все кончено и открыл глаза. Нет, все четверо двинулись опять. Я почувствовал на себе как бы ледяное дуновение и ощутил сильный страх. Я одним прыжком продвинулся вперед и был близок к тому, что бы упасть.

Новая остановка. Теперь я хорошо расслышал, что это имя произнес Габриель.

— Лидия.

Я видел, как произнося его, он приставил револьвер к затылку маршала и выстрелил.

Я был оглушен, мой мозг оставался инертным и я сконцентрировал свое внимание на том, что я мог видеть, но я задал себе вопрос: почему не умирает маршал? Я слышал уже два выстрела, а он все еще мог идти, моему утомленному мозгу он казался бессмертным.

Мы опять остановились. Послышался опять голос:

— Лидия.

Маршал держался твердо, как и в прошлый раз, мне слышался треск костей в руке, которую держал монгол.

Габриель выстрелил третий раз, теперь я хорошо видел, что он, прикладывая пистолет к затылку, скашивал его и пуля должна была только задевать ткани, я увидел там кровь.

Спустя несколько шагов опять остановка.

— Лидия — повторил он и выстрелил.

Маршал поник, как тряпка, но не упал. Монголы поддерживали его так, что слышен был хруст костей. Я думал, что он уже мертв.

Но нет. Снова Габриель издал гортанный звук и монголы тронулись вперед, ведя маршала, почти что повалившегося на них. Его моральное и физическое сопротивление было сломлено, и я заметил, что он уже перестал владеть своей кишечной физиологией. С трепетом увидел я на полу красное пятно, покрывавшее большой промежуток, мы уже его топтали. Я почувствовал, как мои ноги скользили по чему-то липкому, жирному и моментами мне казалось, что в подошвы моих ботинок вбиты гвозди и поэтому я не могу их оторвать... Мною овладе-

ла дрожь отвращения и страха при мысли о том, отчего это происходило, несомненно мы шли по крови, мозговой массе и осколкам черепных костей.

Остановка на луже крови, поблескивающей под нашими ногами.

Маршал уже не мог держаться на ногах.

— Лидия!

Туловище маршала как бы сделало прыжок вперед и рухнуло. Монголы, не отпуская его, оттащили назад и оно инертно упало на спину. Кровь била через простреленный лоб и залила ему один глаз и часть лица.

Я отступил назад и оперся на стену рукой, я чувствовал, как почва уходила из под моих ног, а стены колебались, будто бы происходило бесшумное землетрясение.

Габриель все еще продолжал держать в руке нагретый револьвер, он сделал пару шагов, чтобы посмотреть на маршала, распростертого у его ног, так он стоял, не двигаясь, со взглядом одержимого...

Монголы подошли друг к другу, один из них присел на корточки и с полной серьезностью вложил свой указательный палец в рот маршала, раздвинув губы с левой стороны рта, затем он его немного потянул и, согнув палец крючком, растянул и перекосил рот у мертвеца, передо мной желтым блеском сверкнуло несколько золотых зубов... Монгол повернул голову к своему товарищу, не переставая держать губы открытыми, взгляды обоих скрестились в немом понимании и даже мне показалось, что в их маленьких глазках-полосочках сверкнул сдерживаемый смех.

Я глянул опять на Габриеля. Не знаю, что с ним случилось, но я увидел, как он весь вздрогнул, будто бы его посадили на электрический стул... Может быть его возбужденному мозгу померещилось, что Тухачевский скривил ему свой рот в насмешливую гримасу...

Он сжал пистолет обеими руками и быстро разрядил все оставшиеся пули в бездушный труп маршала.

Затем он повернулся, как автомат, и пошел к выходу из галереи. Он шел очень быстро, я следовал за ним, как мог. Уже когда мы дошли до двери, я осмелился повернуть голову и увидел там монголов, склонившихся над трупом. Они мне показались двумя отвратительными гиенами.

Тюремщик ожидал нас у самых дверей, бесстрастно покуривая свою трубку. Габриель не остановился, он продолжал быстро идти, и я догнал его, запыхавшись. Позади шел человек с ключами, звон которых меня как бы преследовал. Мне пришло в голову, что я перестал владеть своими чувствами. Мне казалось, что я снова слышу далекие удары погребального ТАМ-ТАМ, которые были инструментованы заключенными в честь преступника Тухачевского. Но также, как и первый раз, они усиливались и приближались, приобретая отчетливость и интенсивность, это было похоже на кошмарный сон, повторившийся при пробуждении. Правда, я не страдал мозговыми иллюзиями. В тот момент, когда мы поворачивали за угол галереи, мы почти что столкнулись с группой людей, идущей в обратном направлении, они шли туда, откуда мы пришли. Их было тоже пятеро: три впереди и два сзади. Вид человека, шедшего посередине, был, как у мертвеца. Взгляд его был блуждающий, поблекший, незабываемый.

Выражению его лица соответствовал похоронный темп шествия, монотонный, настойчивый, нескончаемый, он воздавал ему почести и хотел вселить в него отвагу перед лицом смерти.

Я припоминаю все это так, как будто бы мое собственное воображение сделалось, как тусклое зеркало, все расплывчато, неточно, и когда я хочу уточнить и установить все в целом, то оно движется и как бы плавает в волнах тумана.

Я не знаю, как я увидел себя потом в какой-то канцелярии вместе с Габриелем. Кто-то спросил у меня мое имя и другие подробности обо мне: затем мне пред"явили бумагу, которую я не стал читать. "Подпишите", сказал мне человек, сидевший за столом передо мной, я подписал дрожащим почерком.

Затем я очутился на улице. Мы прошли пешком кусок дороги и сели в машину, так же, как и при прибытии, нас задерживали и проверяли, но под конец мы помчались по пустынным улицам Москвы. Время от времени я различал солдатские патрули.

Уже только в чистом поле я начал нормально владеть своими чувствами. По обеим сторонам машины легли тени, а сзади было совсем темно, только впереди виднелась освещенная фарами желтая дорога. Свежий воздух ласкал мне лицо и

оживлял меня. Вверху, на чистом небе, сверкали, как никогда, звезды. Жизнь существовала, жизнь продолжалась... Габриель сидел рядом со мной молча, неподвижно, не замечая ни неба, ни земли и, видимо, страдал, как осужденный в аду. Я не посмел посмотреть на него, для меня он был сейчас человеческим существом, а вся его фигура казалась мне демоничной.

До того момента, пока он не убил и не отомстил, я видел в нем такую печаль и безнадежность, что это внушало мне не ужас, а бесконечное сострадание. Теперь он предстал передо мной, как демон, отчаявшийся в намерении найти свое благополучие в радости зла.

Я потерял ощущение времени и пространства и не заметил, как мы прибыли домой. Мы сошли вместе, Габриель посмотрел мне прямо в лицо и, по-видимому, увидал на нем такие ясные следы пережитых в эту ночь мучений, что он провел меня в свою комнату и дал мне выпить налитую до верха рюмку коньяку, он выпил свою рюмку залпом, но не сказал мне ни слова, как будто слова завязли у него в горле. Реакция, происшедшая после глотка была такова, что я заметил усилия, которые производил Габриель, чтобы заговорить со мной, но у него ничего не получилось, и он повернулся ко мне спиной. Машинально, никуда не глядя, он зажег сигару и молча прогуливался несколько минут. И, наконец, постояв немного передо мной, он смог произнести с большим усилием:

— Доктор, можете идти спать, и спасибо.

Я поднялся с трудом, ноги у меня были, как тряпки, и, когда я уже встал, и взоры наши скрестились, я снова увидел в его черных глазах что-то человеческое.

Сочувствие - неожиданный для меня импульс - толкнуло меня, я сам не знаю как, на отвагу. Я взял его обеими руками за оба плеча и сжал их с искренним чувством, я уставился своими глазами в его глаза лицом к лицу и сказал ему:

— Знайте Габриель, что Лидия умерла девственницей, как мать произвела ее на свет. Знайте это.

В самой глубине его черных глаз я увидел нечто, сверхчеловеческое.

Это был, сверкнувший, как белая молния, радостный блеск... Его сморщенный лоб разошелся, и его руки судорожно до боли сжали мои предплечья.

Он ничего не сказал и стал отходить, не сводя с меня

глаз, а затем повернулся, открыл одним рывком дверь и задержавшись в дверях, стоя с сжатыми кулаками, он – большевик – призвал Бога на испанском языке. Не сомневаюсь в том, что это не было богохульством.

Повернувшись лицом ко мне, держась за косяк двери, он воскликнул уже на русском языке:

— Не отдалась! Да, для такой, как она, это было невозможно... А я, зверь думал! Нет, я ее не заслуживал!

Он ничего больше не сказал мне и направился к выходной двери: дверь открыли, и я увидел его исчезнувшим в темноте ночи. Его силуэт расплылся. А там, где его тень слилась с темнотой, блестела утренняя звезда, возвещавшая новый день.

ПОЛЕМИКА

Моя жизнь была своеобразна, большую часть дня я проводил, как настоящий узник, без какого то бы ни было контакта с внешним миром, узник, который пользовался свободой на пространстве, ограниченном стенами дома-лаборатории, а внутри их я наслаждался гастрономическими привилегиями и значительно большими удобствами, чем те, которые предназначались для советских народных масс. Согласно моим справкам, уровень моей жизни достигал степени жизни высокого государственного служащего в Совнарком. Я не знаю, как это оно получилось так, ибо для меня была очевидна сложность бюрократических обстоятельств, каковые должны были преодолевать даже самые высокопоставленные служащие, чтобы суметь запастись многими вещами, которыми я пользовался здесь в любом количестве и без труда. Несомненно, что НКВД предоставило лаборатории нечто вроде привилегии экстерриториальности уже с давних пор и снабжало ее блестяще. Это дало мне понятие о той важной роли, которую она должна была играть в полицейских событиях в СССР. Инсталляция этой лаборатории, надо думать, была сделана по инициативе Ягоды, я это чувствовал, так как этот экс-комиссар был в предреволюционные времена служащим в скромном аптекарском магазине, и эта его первая профессия должна была ему внушить мысль об использовании химии, науки о лекарствах и медицинских наук в качестве политического оружия, а также, что я знал по личному опыту, как оружия для пыток и преступлений. Я никогда не мог забыть своего предшественника Левина, с которым познакомился здесь, и его садистических теорий пыток. Кстати говоря, что случилось с этим странным типом? Его исчезновение не говорило ничего хорошего о его настоящем. Он был, наверное, в интимных отношениях с Ягодой, а насколько я мог знать, то нельзя было особенно завидовать ни в настоящем ни в будущем этому бывшему начальнику НКВД, внушавшему в свое время страх людям.

Но мое воображение увлеклось вслед за призраками -

ставшими уже, возможно, только пугающими призраками - Левина и Ягоды, я начал говорить, что моя жизнь была своеобразна, ибо хотя я и был настоящим заключенным, но иногда, вдруг, стены, ограничивающие мою жизнь строгим четырехугольником, раскрывались, подобно занавесу гигантской сцены, и я выбрасывался невидимой пружиной, как марионетка, на сцену, где разворачивалась наводящая ужас драма террора. Я проделывал свой трагический пируэт, как это диктовала мне моя роль, и вслед за этим, как бы вытолкнутый каким-то механическим приспособлением, я снова возвращался во мрак своей тюрьмы. Драма же должна была продолжаться, хотя до меня уже не мог достигнуть ни единый страдальческий крик, ни даже отдаленное эхо. Я сказал, что драма должна была продолжаться, разумеется, она продолжалась. Газета "Правда" доходила до меня с перерывами, и в одном из экземпляров, изданном три дня спустя после того, как я присутствовал на казни Тухачевского, я прочел сообщение о том, что были арестованы Тухачевский, Примаков, Якир, Фельдман, Уборевич, Путна, Корк и Эйдеман. В "Правде" от следующего числа сообщалось о расстреле восьми генералов.

Что случилось с Гамарником - подумал я, прочитав этот список трупов. Он тоже мог числиться Комиссаром Обороны, будучи трупом, как и его коллега маршал Тухачевский. Чудная же жизнь также и у представителей власти в Советском Союзе...

Что касается "официальной правды", то это была чистая иллюзия, я видел это из сообщений. Расстрел, военный суд, законные формальности... Судя по тому, чему я был свидетелем, и по датам - все это было басней. Если был сформирован Трибунал, то Тухачевский должен был бы появиться там для суда над ним, положенным в гробу.

Это то, что я мог знать о событиях, в которых я принимал активное участие в какие-то моменты. До середины месяца июля я больше ничего не знал. Я был все время один без всякого контакта с внешним миром.

Это было счастьем для моих нервов. Если бы мне пришлось принимать участие в событиях с тою же интенсивностью и ритмом, как в последние дни, то я не смог бы выдержать. Я был один, не имея никакого дела и ничего не зная. Этот период времени был для моей нервной системы прекрас-

ным успокаивающим средством, кроме того, солнце, ставшее уже ярким и раскаленным, оказывало на меня свое благотворное влияние.

Под вечер одного жаркого дня я услышал звук остановившегося автомобиля. В этот самый момент я как раз писал: я спешно стал запрятывать свою тетрадь. "Кто бы это мог приехать после такого порядочного перерыва?" — подумал я.

Кто-то поднимался по лестнице быстрым и крепким шагом. Неожиданная вещь: постучали в дверь залы, стучать перед тем, как войти, не было правилом вежливости, очень соблюдаемым в советском воспитании: принято было, чтобы визитер проникал бесшумно, застав врасплох посещаемого и обследовав взглядом все вокруг.

Я открыл дверь, и там стоял Габриель, ожидавший, когда я его впущу.

— Добрый день, доктор. Я вам помешал?

— Нет, никоим образом.

— Работаете и скучаете, доктор?

— Немного работаю. При этой жаре хорошо бы быть на пляже или в горах. Скучать, немного скучаю...

— Хотите деятельности?

— Смотря какой, предпочитаю быть в тюрьме, чем видеть себя... — и я запнулся, пораженный сам своей смелостью.

— Да, вы предпочитаете не видеть крови. Не так ли, доктор?

— Да, конечно.

Я рассматривал Габриеля, пока он мне отвечал. Он загорел на солнце, несомненно, на южном солнце. Я не мог увидеть, был ли он бледен. Выражение его лица было теперь просто серьезное. Он не улыбнулся ни одного разу, взгляд был у него неподвижный, режущий, и казалось, он утратил способность радоваться.

— Я согласен с вами, если это кровь любимой особы, но если кровь врага...

— Меня тоже отталкивает...

— Но есть ли у вас какой-нибудь враг?

— У меня? — усомнился я.

— Нет, доктор, у вас нет никаких врагов. Не потому, что нет поводов для их приобретения, а достаточно уже вашего личного и семейного положения...

— Я не совсем понимаю.

— Да, это натурально, что вы не понимаете. Я хотел вам сказать, что если нет суб"ективной способности реагировать по-вражески против врага, потому что он опасен и злобен, то нет врага, и в обратном порядке: если не обладаете качеством, чтобы вызывать существование и постоянную деятельность врага, то тоже нет врага. Прирожденный враг, за исключением об"ективного и суб"ективного состояния, очень редок и встречается нечасто.

— Теперь я вас понимаю. Дело в том, что я по природе неспособен ненавидеть или подвергаться ненависти.

— Точно.

— Вопрос сводится абстрактно к тому, что в персональности моей отсутствует какое-то измерение, не так ли?

— Да, конечно, — подтвердил он.

— Ну так, поверьте мне, Габриель, я не жалею и не чувствую себя униженным из-за того, что я обладаю неполноценной персональностью.

— Я это великолепно понимаю, доктор, при наличии вашей формации все в вас логично и натурально.

Его сочувственный тон воодушевил меня, и я стал приводить доводы:

— Вы все ссылаетесь на формацию, на внешнее. Но, по-видимому, единственный императив находится вне нас и забирает нас в свои клещи, как будто бы мы всего лишь несчастные насекомые, с целью принудить нас желать, думать, чувствовать и действовать. Для меня это нечто высшее и стоящее на переднем плане, более решающее и основное.

— Что? — осведомился он без видимого интереса.

— Свобода.

— А, Свобода... Ваше романтическое воспитание, доктор. Да, была эмоция - необходимый этап революции - но она уже преодолена сейчас...

— Ну, извините. Мы говорим на разных языках, хотя и разговариваем на одном и том же языке.

— Это сильный парадокс, доктор.

— Могу ли я говорить в "неофициальной" форме?

— Разумеется, доктор.

— Даже если я впаду в ересь? Конечно, какую-нибудь марксистскую ересь?

— Если это не будет ересь личного характера - можете, говорите, доктор. Для таких людей, как я, служащих в НКВД, нелегко упражняться в буржуазной диалектике, находясь в СССР, и, поверьте мне, бывает полезно побывать на западе. Говорите вполне откровенно, доктор, пожалуйста, я вас прошу.

Для меня было сенсацией то, что Габриель заговорил со мной, освободив меня от пут и проявив свое доверие.

— Я вам сказал, Габриель, что мы разговаривали на разных языках, хотя фонетически и одинаковых. Я об"яснюсь. В библейском рассказе о Вавилоне говорится о том, что люди перестали понимать друг друга потому, что были наказаны и стали одни и те же вещи выражать разными словами. Сейчас с людьми происходит то же самое, только в обратном порядке: одним и тем же словом выражают разные мысли. Ясно, что они тоже не могут понять друг друга. И вот так получается и у нас.

— Я слушаю вас с любопытством.

— Мы оба произнесли одно и то же слово "свобода", звучащее фонетически одинаково, но каждый из нас выражал различную мысль, даже больше - противоположную.

— Об"ясните, доктор, мне очень хочется узнать, куда вы клоните.

— Для вас свобода - это что-то историческое, политическое, нечто, раздобытое человеком за счет его усилий и крови, ведь так?

— Так, это переход, состояние эволюции масс в его постоянном прогрессе.

— По Дарвину и Марксу, не так ли?

— Это они так выразились, каждый в своей собственной области. А разве это не так?

— Предоставьте мне только право, Габриель, опереться на догматы вашей собственной диалектики.

— Догматы? Вы так думаете?

— Да, догматы, хотя опять таки еще один лишний раз одно и то же слово может выражать различные понятия. Догматы, Габриель, и разрешите мне сказать вам, Габриель, что вы защищали их чистоту с чрезвычайной последовательностью, вы сами уже знаете, что я имею ввиду.

— Мы договорились, что вы не должны касаться собст-

венных еретических мыслей.

— Да, правда, я уклонился, но больше не повторю этой ошибки. Вы не сможете отрицать, что догмат эволюции, точнее - эволюции-революции - является догматом, его имманентность, реальность, истинность... и вечность базируются на абсолютной вере.

— Вере? Если она рациональна, то это не вера.

— Согласитесь по крайней мере со мной, что это вера в разум. Вера в его диалектику, именно в его диалектику, которая создает из материализма, из материи бога - определяющего, но не определяемого.

— Метафизика, доктор, голая метафизика.

— Не моя, я только ограничиваюсь тем, что описываю вам факты из марксистской реальности.

— Какой конкретно?

— Той, которую принимаете вы лично и которую вы проповедуете другим, что эволюция-революция является чисто диалектическим производным. Вы понимаете, что для того, чтобы утверждать это диалектически, надо только доказать непогрешимость разума, а тогда уже приписывать свойства непогрешимости эволюции. Вы должны признать это, чтобы не впасть в антитезис.

— Уточните это.

— Существует вопрос о взаимоотношении между разумом и эволюцией. Определяет ли разум эволюцию или эволюция определяет разум? Если эволюция определяет разум, то это уже не диалектика, потому что определяющее не может быть одновременно определяемым, если же разум определяет эволюцию, то она не является всеобщей и универсальной, и разум остается независимым. Если есть эволюция, то нет разума, а если имеется разум, то нет эволюции.

— Имеется универсальная диалектика, определяющая все феномены.

— Конечно, при условии, что диалектический разум не является феноменом.

— Если хотите - протофеноменом.

— Метафизика. Каждый раз, когда вы пытаетесь согласовать ваши противоречия, вы впадаете в ненавистную вам метафизику путем многообразного жонглирования словами. Доходите до первичной детерминанты, будь то разум или эво-

люция, как вам угодно, но или одна или другая должны быть абсолютными.

Мне более интересно слушать вас, чем возражать. Ваша аргументация построена хорошо, и поэтому ваша софистика проходит незамеченной... Как это говорится в вашей старой логике? А, да: *petitio principia*. В ваших аргументах имеется это *petitio principia*, а не софистика, хотя само оно является софистическим.

— Какое *petition*? — спросил я.

— Абсолюта.

— Нет, никоим образом. У меня нет никакого *petitio principia*. Я просто беру из реальности, из практики - эту непогрешимость и неизменность диалектического абсолютизма, уже провозглашенную и утвержденную. Эта диалектика - Бог, всемогущий, справедливый, начало и конец всех вещей...

Вы не видите, как согласуются атрибуты, существующие во всех религиях, в Божестве?

— Все, доктор?

— Думаю, что все, да.

— Разрешите мне поправить вас... Как я помню с тех пор, когда я был христианином, Бог обладал еще одним атрибутом, которого вы не упомянули.

— Каким же, Габриель? — спросил я в замешательстве.

— Главный Его атрибут - любовь.

Слово это было для меня неожиданным, и я не нашел сразу ответа. Куда он клонит? А он на мое немое удивление повторил опять:

— Любовь, разве это не так? Разве для христиан не является воплощение Бога, Христа этой любовью?

— Да, вы говорите правду. Только любовь была действенной причиной того, что Бог сделался человеком и умер для искупления, да, любовь...

— Любовь к человеку? — спросил он, глядя на меня, как инквизитор.

— К людям — подтвердил я.

Я хотел бы быть великим художником, в этот момент я увидел в лице Габриеля нечто настолько неподдающееся изображению словами, что только краски смогли бы отобразить точно его образ. Я бы сказал, что это была как бы сорвавшаяся попытка рассмеяться, как будто бы его лицевые мускулы,

получив приказ от нервной системы, не смогли ей подчиниться и их пронизала мментальная сильная боль. Ни страдание, ни смех не могли изменить его неподвижного лица, и только из его глаз излучалось что-то похожее одновременно на смех, богохульство и проклятие. Таким он мне казался, и было похоже, будто из твердого искаленного кремня вырвался сноп искр, и я подумал о том, что Габриель атеист, а если он верит в Бога, то только для того, чтобы его ненавидеть.

— Любовь к людям — повторил он. — В таком случае, почему Бог, будучи Богом, сделал нас злыми животными, кровавыми и ненавидящими? Что вы можете на это ответить?

Я был поражен не столько словами, сколько той решительностью и сдержанной яростью, с которой он их произнес.

— Я повторяю вам, Габриель — ответил я ему с кротостью — что мы говорим на разных языках. Бог создал нас, но он не сделал нас такими, какими мы являемся, ибо каждый человек таков, каким он хочет быть.

— А разве ваш Бог не всемогущ?

— Разумеется, да.

— Значит, почему Он не сотворил нас такими, какими хотел и должен был хотеть?

— Нас сотворил Он, как желал и как должен был желать животным, и нас сотворил, как желал и как должен был нас сотворить с умственным и одухотворенным превосходством.

— Бесконечно любя нас, он причинил нам зло, это очень странная любовь. Не так ли?

— Попросту, Габриель, Он сотворил нас существами, одаренными свободой...

— Свобода, чтобы убивать и ненавидеть друг друга?

— Да, мы пользуемся свободой, чтобы убивать.

— Так пусть будет проклята божественная свобода, которая убивает.

— Благословенна свобода, которая любит.

— Мы должны исправить творение ваше, доктор, должны исправить творение, создав мир, в котором не будет существовать свободы для зла.

— Да, сделайте это... Вы уже пытаетесь сделать это и убиваете при этом и ненавидите, как никогда.

— Этого заслуживает предприятие... На вашем языке, доктор, не кажется ли вам наше предприятие в некоторой ме-

ре делом Божиим?

— Божиим? Габриель, не богохульствуйте. Есть другое существо в творении, чьи дела кажутся мне гораздо более похожими на ваши...

— Какое, доктор?

— Вы не рассердитесь на меня?

— Разумеется, нет, говорите.

— Демон...

— Это хорошее изобретение для детей и старух... Говорите серьезно...

— Да я говорю серьезно, поверьте мне. Литературное изображение - грубое, все литературная демонология не сумела создать понятия о такой колоссальной и сверхчеловеческой личности. Он тоже хотел исправить сотворенное: его мятеж имел целью против Бога добиться того же совершенства, которое он видел у своего Творца и которому завидовал, а именно: неспособности ко злу...

Так же и вы продолжаете выполнять это безнадежное намерение, бросаясь, как этого хотел Дантон, на штурм неба.

— Мятеж ангелов (первый - миф, а другой - реальный) справедливы и необходимы, они обладают наивысшим величием, на вашем языке, доктор, вы бы их назвали святыми... Ничего более святого вы не можете сделать, как сделать человека неспособным ко злу.

— И каким образом? Переменив его сущность? Это возможно только в случаях, если человека сделать животным или Богом.

— Признайте, по крайней мере, что мистический сатанинский мятеж и наш имеют трагическую красоту, даже будучи побежденными в своем намерении сделать невозможное возможным, мы боремся с отчаянием, а это божественный подвиг.

— Да это трагично, но не прекрасно, красота несовместима с абсурдом. Переделать сущность человека - это равносильно убийству своего собственного "я", заметьте прежде всего: убийство не физическое, а убийство вашего бессмертного "я". Этого "я", от которого ни вы, ни я, никто не хочет и не может отказаться. Оно настолько непостижимо в своей реальности, что наш недостаточный язык может измыслить возможность изобразить его только при помощи уловки, попы-

тавшись об"ектизировать суб"ективное, выковав мираж изображения мертвого "я", как будто бы из ничего может быть сделан портрет. Никто не может желать стать другим и не может представить себя другим. Вы могли бы захотеть быть и даже вообразить себя Сталиным, но быть им... желать быть другим или воображать себе это - противно нашей природе, неприемлемо для нас, ибо это было бы равнозначуще тому, чтобы перестать существовать для того чтобы существовать, т.е. быть и не быть, что является непримиримым противоречием.

— Не вдавайтесь в подробности, доктор, я слушаю вас с величайшим интересом. Меня совершенно не интересует это духовное я, которое, будучи таким чистым, вечным и свободным, постоянно подчиняется материальному: в конце концов получатся существо, определяемое экономическими условиями. Создадим другую экономику, другие условия и найдем другое социальное я.

— Оставив в живых это самое персональное я?

— Ясно, не убивая его и не переделывая, как вы говорите.

— Ваш экономический детерминизм, который претендует быть математическим, оказывается тоже метафизическим. Не убив и не переделав этого я, вы не можете получить другого человека. Человек не только об"ект экономики, но и суб"ект. Не экономика определяет человека, а человек экономику. Если бы экономика определяла человека, то сытый был бы мирным, а голодный воинственным, а по-вашему - сытый человек - это человек, на которого нападают, голодающий, пролетариат, тот, которого вы поднимаете на мятеж, вы все, ваши начальники, происходите в своем большинстве из буржуазного класса... Нет, Габриель, нет: это ваше экономическое правило годится только для зверей, они, по общему правилу, когда они очень сыты, то не убивают, но на это есть причина. Импульс для убийства ему дает чувство, превращенное в страсть. Проверьте себя: боретесь ли вы и убиваете по экономическим причинам? Будьте откровенны: нет.

— Не играйте словами. И чувства и разум могут быть совместимы.

— Да, совместимость эта рождается из подчинения. В решающем же, в борьбе и убийствах, доминирует страсть, и

мы ей подчиняемся, затем идут адвокаты и прокуроры, которые составляют трибунал разума для санкционирования преступления, но поскольку адвокаты и прокуроры - это партия, то они всегда соглашаются, что имеется рациональный мотив, оправдывающий наши страстные действия, имеющие высокие цели в будущем.

— Идеальные цели, возвышенные или, если хотите, святые.

— Цель не оправдывает средств.

— Да, а если цель справедливая, оправдываемая!

— И даже приняв это, спрашиваю, кто же это докажет? Это должны сделать разум или чувство, или, если хотите, оба вместе... Разрешите мне не приписывать им непогрешимости. Это бы обозначало вместе с вами впасть в ошибку обожествления. Но я не создаю фальсифицированных богов.

— Итак, без богов или без разума за что уцепиться, как решить?

— Просто надо смотреть, есть ли соответствие между средством и целью. Для хорошей цели - хорошее средство. И очевидно, что убийство не соответствует никаким хорошим целям. "Не убий" - сказал Бог, не сделав исключений.

— Позволить убить себя? Это образ мыслей убойного скота, доктор.

— Кто может отрицать это? Убивать, чтобы не быть убитым, не включается в отрицание убийства... Убийство - это отрицание жизни, убить, чтобы не умереть - это утверждение.

— Мудрствуете, доктор... А как же мученики? Что это: диалектический абсурд или заблуждение?

— Не говорите о них, вы не можете понять мученика. На вашем языке я вам скажу, что мученик это и есть именно тот невозможный синтез между смертью и жизнью. Они умирают, чтобы жить, чтобы жить вечно, это в мистическом порядке, которого вы не понимаете и не принимаете. По человечески - мученик это тот, кто постоянно подвергается уничтожению для того, чтобы стать вечным победителем. Кто в действительности всегда сокрушает тиранов - это мученики, а не революционные конспираторы, не воинствующие. Ни один победитель не может дать народу такое свидетельство правды, какое дает настоящий мученик, мученик сокрушает тирана морально, и только он один в состоянии поднять заблудшее челове-

ство.

— А что же тем временем, пока не появятся эти побежденные и победители... дать возможность тиранам и злодеям изменять и убивать человеческий род?

— Пусть защищаются.

— Да это уж основное, но дело в том, чтобы сделать невозможным их нападение

— Натурально, лишая людей свободы.

— "Свободы чего?"... спрашивал уже Ленин. В нем, в этом вопросе мы находим высший смысл нашего государства. Скажите мне: свобода чего?

— Просто, Габриель, свобода любви, не может быть любви без свободы — и я, опустив глаза, произнес одну фразу из его письма Лидии.

Я почувствовал на себе укол его глаз. Затем он скосил глаза на окно и, как бы говоря себе самому, сказал сосредоточенным голосом:

— Нет, любовь потерпела крах, ваша христианская религия - это абсолютный повсеместный крах, посмотрите кругом себя, посмотрите на христианский мир, самоуничтожающийся наркотиком своего малодушного совращения. Да, да полный провал...

Он произнес это, как аксиоматическое утверждение, и так, как будто не хотел и не ждал ответа. Но я осмелился:

— Так же точно говорил бы самоубийца в момент, когда его тело двигалось бы по вертикальной траектории его падения, он думал бы о крушении всемирного притяжения, которое его убило, в то время, как потерпевшим крах был бы только он сам, он самоубийца.

— Изобретательно, доктор, но кто обладает человеческой чувствительностью и имеет мужество стать лицом к лицу с этим преступным и испорченным миром, то сможет избежать зла, только лишив людей средств для его реализации.

— Да, я это уже говорил, лишив их свободы и посадив за решетку...

— А кто же посадит в тюрьму тюремщиков? Или они не звери? Или родились от другой матери?

— Почему же нет, если они сделались зверями?

— Да, признаюсь, есть одно большое неизвестное в этой большой проблеме. И какое же решение подскажете вы, док-

тор?

— Не думаю, чтобы мне удалось быть понятым вами. Когда мы начали разговаривать, то я сделал намек на эту настоящую трагедию человечества, на неспособность людей понимать свои герметические языки в эту вавилонскую эпоху.

— Тем не менее скажите, скажите.

— Принимая во внимание природу человека, вполне естественен его ужас перед лицом зла и это привело его к всеобщему заблуждению, он персонализировал зло, сделав из него действие, суб"ект. Таким образом зло сделалось метафизическим существом, существующим само по себе. Пантеистический дуализм многих примитивных религий обожествил злобу персонализировав его в своих богах. Это было сверхчеловеческое усилие, целью которого было желание людей снять с себя ответственность за зло, совершенное ими. Их ужас перед ним был так велик, что они не подумали о том, что они уже перестают быть тем, чем были, людьми, а превращаются в зверей. Таково было язычество и таково же современное язычество, человеческие "противоречия" и марксистские "классы" в своей теперешней версии - это только всего лишь последнее воплощение дуализма для новой попытки доказать, что человек не есть "суб"ект зла". "Человек не определяет зла, это зло его определяет"... так говорите вы.

— Да хорошо, мы детерминисты... Ну и что же? Какой вы сделаете из этого вывод?

— Во первых, что вы прибегаете к мифологии, безусловно, очень устаревшей, с целью прежде всего дать возможность людям делать зло, отрицая в них качество суб"екта и сводя их к об"екту. Весьма хорошо помогает убивать совесть... то, что злу приписывается категория "необходимости", и даже оно рассматривается, как элемент синтеза, переходящий в "добро".

— Для вас зло...

— Закончим тем, с чего мы начали или должны были бы начать. Зло создано человеком, зло подлинное и трансцендентное - это то зло, которое причиняет человек человеку. Но зло не обладает категорией вечности, которую ему приписывает эпический страх людей, облеченных в высокомерие. В своей сущности зло имеет двойственный характер, противоречивый, он целиком об"ективен. Оно несет само в себе отрица-

ние - ничто. Таким образом, когда мы доводим зло до последней черты, то оно самоуничтожается, зло разрушает само себя. Зло является злом также и для самого зла. Поэтому зло не может быть ни вечным, ни абсолютным, оно должно быть временным, человеческим, ибо оно умирает при отсутствии объекта, без объекта - оно "ничто", - оно не существует. Оно не может иметь божественного происхождения, ибо "ничто" не может быть сотворено и зло - "ничто" противопоставляет себя Богу, ибо Он вечен и бесконечно могущественен. Слово. Итак, для нашей наивысшей способности понимания Бог есть любовь.

— Я уж не буду спорить, доктор. Верить таким образом - это чудесно для вас и для всех прочих, обладающих такой верой, я, будучи таким злым, каким я должен себя считать, не хочу разрушать того, что вы так любите, того, что, как я понимаю, несравнимо для человека в момент, когда он видит себя в опасности смерти... Но согласитесь, по крайней мере, что это только философия жертвы... Вы погибли...

— Как угодно... но не делайте мне чести, намекая на меня. Если я погиб, то значит, заслужил это, ибо я один из многих, бедный человек, который однако, обладая верой, знанием, несет огромную ответственность за неверность ей, исключительно из-за страха. Но не предсказывайте гибель всем. Переживут не те, которые ненавидят, а те, которые любят. Только любовь творит. Те, которые умеют только ненавидеть и убивать, уничтожают друг друга и никто из них не выживет... Разве вы сами этого уже не видите?

— Я ничего не вижу и ничего не слышал, доктор. Представьте себе, что я был диском сейчас и этот диск слушал Ежов.

Я вероятно смертельно побледнел. Но Габриель встал и положив мне руку на плечо добавил:

— Большое спасибо, доктор, это были хорошие академические занятия, совершенно немыслимые в советских академиях... Это как раз мне очень нужно сейчас, я еду в Западную Европу и возможно, что моя работа потребует от меня необходимости проявить себя пылким христианином, но поверьте мне, что эта роль забыта мною в силу того, что в течении многих лет уже ее не играл, благодарю за вашу великолепную лекцию. В награду за это я принес вам там кое-что в подарок:

книги и журналы, чтобы вы могли развлечься. Есть там и западные, что понравится вашему буржуазному вкусу, а также вам необходимо приобрести западную лакировку на тот случай, если в какой-то день вам снова придется туда выехать. Я уезжаю сейчас из СССР, возможно, что задержусь там на месяцы. Рассеивайтесь, разгоняйте заботы. Я повторил свои приказания, чтобы вас обслужили согласно вашим потребностям и желаниям. Вы располагаете полной свободой в той мере, в какой я могу вам ее предоставить: это значит – до дверей. И если вам больше от меня ничего не нужно, то я уйду.

Я был удивлен и благодарен Габриелю за эти деликатные заботы и осмелился спросить его:

— Вы знаете уже о самом моем большом желании: видеться с моими, или хотя бы иметь возможность написать им или узнать что-нибудь о них...

— Это не в моих руках – сделать что либо в отношении вашей семьи. Могу вам только сказать: верьте, что все придет, а пока что будьте уверены, что им всем хорошо, лучше, чем вам.

Он сказал мне это с серьезным лицом, взяв меня под руку, сжимая и отпуская свою руку во время ответа.

В последний момент Габриель глянул в большое окно. С левой стороны было видно заходящее солнце и небо, покрытое заревом, ниже над землей протянулись тени деревьев, похожие на головы влюбленных, целующихся при заходе солнца.

Габриель стал собираться уходить, и я его провожал. Когда он проходил мимо двери своего кабинета, то неизменное облако, придававшее мрачность чертам его лица, омрачилось еще больше и он замигал глазами, как бы желая отогнать какое-то видение. У этих же дверей он протянул мне руку.

— Привет, доктор — сказал он и пошел садиться в поджидавшую его машину.

Когда машина тронулась он еще помахал мне рукой.

ПОЛЕТ В ПАРИЖ

Я оставался один почти что два месяца. Мои нервы отдохнули.

В одно яркое солнечное утро интендант известил меня, что меня вызывают по телефону.

Вызвал меня Габриель. Он сообщил, что приедет навес-
тить меня после обеда.

Я поджидал его в вестибюле. По прибытии – он с живо-
стью приветствовал меня, но с той же серьезностью, как и при
отъезде.

Габриель остановился на момент, как бы колеблясь, и
пригласил меня пройти в лабораторию. Когда мы туда забра-
лись, он закрыл двери и я направился к выключателю, что бы
зажечь свет, так как в комнате царил полумрак.

— Не зажигайте, не нужно — сказал он мне, одновремен-
но открывая окно.

Он сел, а я так же уселся визави него.

— Я вернулся несколько часов тому назад и получил при-
каз ехать снова, вернее говоря, мы должны выехать вместе.

— Куда, если можно узнать?

— Да во Францию, опять по делу Миллера, знайте, чтобы
успокоить свое любопытство.

— Когда?

— День еще не назначен, но это будет очень скоро. Будь-
те готовы в любой момент. А ваши наркотики? Проверьте их,
что бы быть уверенным. Вторая неудача может стать фаталь-
ной.

— Я думал, что это дело оставлено в покое — сказал я
ему, с намерением разузнать побольше, так как мне показа-
лось, что он на этом закончил.

— Нет, меньше, чем когда бы то ни было. Присутствие
генерала Миллера в Москве теперь еще более необходимо.
Причина этого частично известна и вам.

— Да? Не догадываюсь.

— Оно необходимо в связи с ликвидацией генералов.

— Будет ликвидировано еще больше генералов-

изменников? — спросил я с непритворным изумлением.

— Возможно — подтвердил он просто. — Но пока что еще нет, Миллер необходим для ликвидации уже расстрелянных.

— Но как же? Ведь не живут же уже расстрелянные! — Воскликнул я с непритворным изумлением, но не без тайного предположения что расстрелянные еще живы, за исключением, конечно, Тухачевского.

В другом случае Габриель посмеялся бы немного надо мной, но его ирония умерла.

— Нет, доктор, не верьте в чудеса. Генералы изменники уже умерли, умерли по настоящему и уже похоронены. Нет нужды убивать их физически, нужно только добить их морально.

— И как?

— Вам известно ведь время, когда они предполагали начать действовать. Раскрытие заговора, доказательство его существования и его ликвидация были вещами почти что одновременными. Так потребовала этого грозящая опасность. Нельзя было судить публично ни одного генерала и даже нельзя было создать резюме, годного для опубликования, и таким образом высказать свое мнение перед народом и перед армией. Вследствие этого вынужденное неведение масс может повести к наличию определенных сомнений в отношении мотивов и причин казни, этими сомнениями может воспользоваться оппозиция и деморализовать пролетариат, а что еще опасней — и Красную Армию.

— Да, я понимаю эту опасность, но не нахожу связи с необходимостью доставки Миллера в Москву...

— Очень просто, доктор! Если белый генерал сознается в своем соучастии с генералами-изменниками в СССР и его признания будут подтверждены другими изменниками, подготовка коих к новому процессу уже ведется, то вы поймете, что перед лицом Красной Армии и перед лицом мирового пролетариата ликвидированные генералы будут ликвидированы полностью: как физически, так и морально.

— Да — включился я, — в самом деле, это значит дойти в ликвидации до такой степени, которую я не мог себе и представить.

— Договорились, доктор. Приготовьте очень внимательно свои вещи... — сказал он, поднимаясь.

Я подтвердил, и он протянул мне на прощание руку.

— Оставайтесь здесь, доктор. Я немедленно отправляюсь в Москву.

Я слышал, как удалялись его шаги вниз по лестнице, а затем услышал шум удаляющегося мотора.

Я не зажигал света. Неожданное известие о моем новом путешествии навело меня на размышления. Я сидел в раздумьи еще часа два. Я завязал сам с собой ожесточенную дискуссию. Вполне понятно, что передо мной неизменно выплывало основное препятствие и закрывало пути к любым решениям. Мои и их жизнь были той невидимой цепью, которая привязывала меня к ГПУ.

Как это уже когда то раз было в Париже, у меня опять появилась мысль умереть от "несчастливого случая", но самоубийство, ибо это было бы самоубийством, моя совесть отталкивала от себя полностью, мысль о "физической смерти" через самоубийство потянула за собой мысль о "гражданской смерти".

"А если бы я сам на себя донес? Меня бы задержали французские власти, я бы мог устроить так, чтобы нашлись доказательства моего соучастия в похищении генерала Миллера, кроме того, так можно было бы спасти генерала. В большой зале лаборатории стало уже темно, у меня создалась иллюзия, что в темноте лучше будут ограждены мои секретные мысли. Почти что приняв решение – я спустился вниз. Свет в освещенном вестибюле ослепил мне глаза, освоившиеся с темнотой, где я провел несколько часов. Искусственный свет рассеял, как мне показалось мысли, которые я незадолго до этого принял. Спускаясь по лестнице, ступеньки которой освещались постепенно все ярче и ярче, я ощутил, что в момент появления полного освещения протянулись ко мне руки моих дочерей и я видел своего сына, сидящего за уроками и свою жену, приготовляющую ужин.

Это воображаемое и неосуществимое видение одним махом уничтожило мое решение. Отказаться навсегда от свидания с ними, даже сумев освободить их от репрессий, это была жертва, на которую меня ничто бы не смогло подвигнуть.

-----ooooooooOOOOOoooooooo-----

Мы выехали из Москвы первого сентября. До Минска ехали поездом. Я не выходил из купэ никуда, кроме уборной. Со мной вместе ехало три человека, не знаю, все ли они были энкаведистами или только один из них, они были одеты в штатское платье и по своему виду могли бы принадлежать также к какой-либо категории служащих. Габриеля я видел издалека, так как он ехал в другом вагоне. Мне было сказано, что до Парижа мы не должны разговаривать друг с другом. Уже в Минске появилась личность, явившаяся забрать мой багаж и руководившая мною. Я получил чехословацкий паспорт на имя Jan Zioh, доктора медицины. По этому имени и справился у меня мой провожатый.

Путешествие до Минска было удачным, я спал сидя довольно хорошо почти что всю ночь. Прибыли с наступлением утра, согласно договоренности появился какой-то человек незначительной наружности и произнес мое имя, стоя в дверях купэ, но уже после того, как мои спутники вышли. Он взял мои чемоданы и я последовал за ним, взяв в руки только один маленький чемоданчик. Нас поджидал довольно потрепанный автомобиль и мы оба сели туда. Адреса никто не давал, но автомобиль тронулся. Думаю, что на путешествие к аэродрому понадобилось больше часу времени. Качество дороги, а также и автомобиля не позволяли развивать очень большую скорость.

Прибыли на аэродром. Аэродром был, по-видимому, временный или же находился в периоде стройки. Там была только просторная площадь, два больших деревянных ангара и еще один небольшой барак. Мы остановились перед входом в него. Мой проводник с шофером выгрузили мой багаж, и я последовал за ними. Меня провели в помещение, похожее на бар, где мне подали завтрак, без просьбы с моей стороны: подали хлеб и масло, кусок сальцесона, а затем чай. Тут не было ничего особенного для моих гастрономических привычек, но жадный взгляд моего сопровождающего говорил о том, что ему все это казалось банкетом, приготовленным для божества. Я пригласил его, но он отказался, когда он благодарил меня, то я заметил, что его рот был наполнен слюной. По окончании завтрака он принял от меня папиросу и курил ее с большим благоговением, ее качество увеличило его почтение ко мне, что я прочитал в его взгляде. Верно он подумал обо мне, что я являюсь какой-то важной особой, путешествующей инкогнито.

Немного времени спустя я разглядел вдали Габриеля в группе из семи или шести человек. Там, в противоположном конце поля, виднелись шесть трехмоторных аэропланов, вокруг которых двигалось несколько человек. Не прошло и нескольких минут после прибытия группы людей, в которой я заметил Габриеля, как все моторы авионов почти что сразу были пущены в ход. Сразу же вошли три солдата, чтобы забрать мои чемоданы. Я и мой провожатый пошли за ними, офицер, поджидавший нас, заговорил с моим сопровождающим и очень вежливо поклонившись мне пригласил меня подняться на борт аэроплана. По-видимому, кроме команды там никого больше не было, я видел только двух человек и мне показалось, что в кабине управления было еще двое. Внутри аппарата было голо, как в том, который доставил меня из Мадрида в Париж. Что-то вроде грубо обработанного деревянного кресла, привязанного веревками к металлической подставке, составляло единственный признак комфорта. Я предположил, что оно предназначалось для меня и решил его занять.

Прошло еще с пол-часа, прежде чем мы вылетели, несколько раньше поднялась одна из ближайших машин. Наша последовала за ней, а затем я видел летящими все пять, мы летели военным порядком в виде буквы V, хотя команда не была одета в военную Форму, но я думаю, что аппараты были военные.

Более двух часов летели мы в первоначальном порядке, поскольку я мог судить, мы летели в южном направлении. Затем, когда наша дорога повернула на запад, буква V расстроилась и аппараты рассыпались, увеличивая дистанцию, отделяющую их друг от друга, пока я не потерял из вида всех их. Когда мы приземлились, то на моих часах было три часа с минутами дня. Мне показалось, что перед нами прибыл уже раньше один из авионов из нашей формации и что немного времени спустя приземлились еще два, один вслед за другим. Насколько мне удалось рассмотреть, аэродром был очень благоустроенный. Вдали виднелось несколько низких белых зданий современного и элегантного вида. Аэроплан, который я считал одним из наших, пополнял запасы газа, затем тот же самый грузовик - колоссальный цилиндр на колесах, который стоял около него, подвез к нам для подачи газа, пока он возился с нами, тот аэроплан поднялся в воздух, наш задер-

жался немного и вылетел вслед за ним. Остановка длилась не более часу.

Я почувствовал желание перекусить и воспользовался своим чемоданчиком, где мной был уложен обычный запас продовольствия. Я взялся за еду с огромным аппетитом, но самолет начал нырять вниз, что было очень неприятно и грозило повредить моему пищеварению. Стоял чудесный день с небольшими белыми облачками на небе. Теперь мы пролетали над горами, поднимавшимися довольно высоко с правой стороны. Полет с падениями продолжался около часу, и затем уже больше не было никаких помех. Мне страшно хотелось покурить, но я должен был отказаться от этого, так как я знал, что это запрещено.

Наконец, после восьми вечера, я уже стал различать Париж с его неизменной Эйфелевой башней.

Во время этого долгого путешествия я очень мало думал. Аэроплан не является очень подходящим местом для размышлений в силу потенциального страха, небо и панорама земли всегда настолько притягивают наше внимание, что трудно сосредоточиться. Различивши Париж я не смог подавить охватившее меня беспокойство. Миссия, возложенная на меня, отличала меня от множества туристов едущих в Париж, как в "город света", "удовольствий" и т.п. и т.п, с целью реализовать мечты, лелеемые еще с юности. Мое путешествие не было путешествием для удовольствия, о каковом я тоже иногда мечтал, это было путешествие для совершения преступления, и когда я дошел до этой мысли, видя уже Париж под своими ногами, мне стало страшно и стыдно. Я отвернулся лицом от окошечка, как бы желая, чтобы Париж не заметил того, что мне стыдно.

Мы приземлились, солнце уже спряталось. Еще не успел остановиться совсем наш авион, как появилось много людей. Я поджидал извещения, сидя внутри. Вскоре вошел индивидуум в сопровождении другого человека, имевшего вид носильщика, и определив меня по имени, распорядился носильщику, чтобы тот забрал весь мною указанный багаж, а затем предложил мне сойти на землю. Как я уже говорил, подошло много типов, которые двигались вокруг авиона. Когда я проходил мимо них, то слышал русскую и французскую речь и еще, как мне показалось, испанскую или какую-то мне незнакомую -

другую. Никто не спросил у меня паспорта и вообще меня не беспокоили никакими формальностями, только на один момент зашел мой провожатый в канцелярию таможни и сразу же вышел, за это время они не могли успеть открыть мои чемоданы, да и при этом у меня не спросили ни одного ключа.

Нас поджидало ТАКСИ недалеко от выхода, я и тот француз поместились в него и отправились в путь. Не имею никакого понятия, по каким местам меня везли. Во всяком случае, мы не проникли глубоко в Париж. По-видимому мы описали большой полукруг вокруг города, ибо мы мало ехали по улицам, да и то по второстепенным, панорама нашего пробега состояла сплошь из домов и chalet (домик в швейцарском вкусе), то более, то менее красивых. Освещение было уже зажжено, и хотя мы не ехали по центральным улицам, движение было большое, особенно много было велосипедистов. Хотя мне это было и знакомо, но на меня опять произвела впечатление всеобщая роскошь, жизнерадостность людей, множество курящих, богатство освещения, звуки музыки, часто доносившейся до меня, террасы баров и таверны, наполненные пьющими людьми. Все большее и большее количество подробностей требовало моего внимания. На все это, столь поразительное для меня, и не имеющее значения для городского жителя, я раскрывал глаза, не желая ничего не потерять из этой бесконечной блестящей витрины, которая безостановочно передвигалась передо мной за окошком машины.

Я не разговаривал со своим провожатым, и он также не имел намерения завязывать со мной разговор. Эта сдержанность была единственной вещью, которая в данной обстановке напоминала мне советскую атмосферу.

Понемногу шум и движение стали уменьшаться. Мы свернули вправо и поехали по улице, вернее говоря по дороге, окаймленной разбросанными домами, огороженными колючей проволокой и challets, обыкновенного вида с решетками.

Время от времени мы проезжали по незастроенным местам, занятым огородами и садами. Освещение стало значительно реже, уже не видно стало ни магазинов, ни освещенных или открытых предприятий.

Мы остановились визави одной решетки, и мой сопроводитель сошел, чтобы позвонить. Послышался лай собаки и немного погодя открыли ворота. ТАКСИ медленно в"ехало, я ус-

лышал, как опять закрыли ворота решетки, и увидел шедшего сбоку от меня моего компаньона. Это длилось один момент, мы опять остановились перед освещенной дверью. Человек, проводивший меня до этого места, простился со мной и после того, как были выгружены мои чемоданы, сел в машину, предварительно он представил меня по имени человеку, которого я принял за хозяина дома. "Вы уже знаете" — сказал он ему, вместе всяких раз"яснений. Человек взял мои чемоданы и пригласил меня следовать за собой. Мы поднялись на второй этаж дома, он поместил меня в достаточно хорошо меблированной и чистой комнате, показав мне застланную кровать в комнате, рядом с этой, все было хорошо, а для советского человека роскошно, но все холодно, без малейшей интимности. Из выходной двери моей комнаты он показал мне на дверь рядом - в ванную. "Если желаете, то можете поужинать" — и он удалился, спустившись по лестнице. Мой хозяин, а может быть и сторож, был молодой человек, на вид ему было не больше тридцати лет, физиономия у него была нормальная и ничего в ней не было неприятного. Само собой разумеется, что это был коммунист, но он не имел мрачного вида, который простые люди приписывают обыкновенно большинству революционеров.

Я помылся и спустился вниз поужинать. Мне подавал этот же самый гостеприимный хозяин - с почтительностью и естественностью. Я ел с аппетитом и наслаждался, мое небо радовалось возбуждающему и приятному вкусу французской кухни, высвободившись от монотонности русской. Очень хорошее вино дополняло стол. Задержавшись немного за ужином, я сразу же лег спать, ибо чувствовал себя очень уставшим.

Мне ничего не снилось, и я не просыпался.

ИЗМЕННИК В ОПАСНОСТИ

Очень мало могу я рассказать об этом моем втором "официальном" визите в Париж. Во время первого я пользовался значительное время свободой и даже мог гулять и ходить сам по прекрасному городу. Безусловно, конечно, эта свобода могла обойтись мне очень дорого и я мог заплатить за нее жизнью, но это меня не утешало, ибо я в это мое пребывание в Париже почти что совершенно не выходил на улицу.

Правда мой дебют не предвещал мне заточения. Габриель появился в доме на следующий же день, приехав сам на великолепном автомобиле, и пригласил меня на экскурсию под вечер в центр Парижа.

В предыдущее путешествие мы тоже катались, осматривая бульвары в такое же позднее время, но мы ехали в ТАКСИ, мизерность которого унижала нас при наличии роскошных больших автомобилей, проезжавших близко около нас. Эти лакированные кузова и отражающиеся в них ослепляющие огни, подобные гордым взглядам, хотели, казалось, как бы выбросить нас из этой реки роскоши и ослепительности. Теперь же было не то, наша машина с пренебрежением относилась к другим, худшим, и продвигалась мягко, не спеша, тихо и с достоинством среди других, себе равных, она даже позволяла себе составлять пару с другими машинами, наиболее элегантными, особенно если внутри освещенной машины оказывалась очень красивая женщина.

Габриель не разговаривал, он вел машину без усилия, как бы составляя с ней одно целое, и казалось, что он не обращал ни на что внимания. У меня тоже не было никакого желания разговаривать, ибо я был увлечен рассматриванием и был в восхищении. Но затем я начал философствовать. Я стал думать о том, что вот мы вдвоем находимся здесь, как члены этого позолоченного общества. Оно нас принимает и мы пользуемся всеми его привилегиями, обладая всего лишь только паспортом нашего мнимого богатства. Без всякого намерения с нашей стороны нам удалось войти в доверие этой среды и включиться в довольно широкий слой этого общества. Никто

не останавливался, чтобы спросить нас о том, реально или фальшиво наше богатство, а еще менее о том, было ли оно приобретено моральным путем. Быть или казаться, украсть, заработать или получить в наследство - это было для них безразлично. Для апаша и публичной женщины достаточно было минимальных правил поведения, чтобы подняться до высокого социального ранга. И это еще не было худшим: здесь находились и мы оба, в реальности, согласно образу мыслей людей среднего ума, мы были только двумя гангстерами, задумавшими похищение, но наши костюмы, корректный вид, а сверх всего этот роскошный автомобиль, свидетельствовали о нашем богатстве и уравнивали нас с теми людьми... "Может быть и среди них большинство были гангстерами?" — задал я себе вопрос. Разве что только специальность была у них непохожая на нашу? Не таилось ли что-то гнилое под этими шелками и драгоценными камнями с их ослепляющим блеском, если никому даже не приходило в голову воздвигать стены и препятствия, но гангстеры были различные и не только такие, которые представляли собой незначительную опасность. Проектируемое нами преступление сводилось к изъятию только одного человека и имело целью получение вознаграждения или же утоления личной мести, но оно не приобретало такого значения, чтобы в связи с ним нужно было учреждать меры строгости, наше преступление не носило ограниченного или персонального характера, оно было частью всемирного преступления, совершаемого против всех и вся, и чего никто - ни государство, ни личность - не могли избежать ни теперь, ни позже. И разве это не могло бы натолкнуть людей когда-нибудь на мысль о защите, как всеобщей, так и персональной? Я не ответил себе на этот вопрос и продолжал смотреть вокруг себя, если это были все те, которые управляли и приказывали, то нет, у них не было средств для этого, но пожалуй они этого заслуживали?

— Развлекаетесь, доктор?

— Я интересуюсь всем этим, столь необыкновенным, но развлекаться - собственно говоря - нет.

— Вглядитесь хорошенько, доктор, в это расточительство богатства... И я вам даю слово чести, что столь гигантская марксистская пропаганда оплачивается не Коминтерном...

Я молчал, очевидность была слишком явная и на иронию Габриеля у меня не нашлось ответа. Мы свернули с машиной в другую улицу, где движение было меньшее.

— Не поужинаем ли, доктор? — позондировал он.

Я с удовольствием согласился, предвидя в перспективе хороший ужин. Вскоре мы остановились перед роскошным рестораном.

Габриель поинтересовался моим аппетитом и узнав, что я голоден, с большой серьезностью продиктовал мне меню. Я с удовольствием вспоминаю морских раков и два сорта вина, которые были сервированы с торжественностью языческого культа. Затем мы остались посидеть за столиком, в этот ресторан приходили тоже очень красивые и весьма элегантные женщины, что составляло приятное зрелище. Наш столик был расположен в укромном месте, но был очень удобен для наблюдения, и так как Габриель почти что не разговаривал и очень мало ел за ужином, то я развлекался, разглядывая все, что видел. Ужин и вина, завершенные кофе и коньяком, придали мне достаточно оптимизма, а в особенности, когда сверх всего этого я закурил гаванскую сигару и стал выпускать клубы голубоватого дыма. Все, что мне было видно за этим облаком, казалось мне интересным и прекрасным.

Габриель попивал рюмками коньяк и курил с рассеянным видом папирасы, но по-видимому он наблюдал за мной, ибо он сделал мне выговор:

— О, доктор! Не смотрите же так с видом провинциала, придайте этому вид натуральности и некоторого безразличия. По светским правилам не подобает так лицом к лицу восхищаться дамами, это годилось для "старого режима". Теперь, доктор, женщины, особенно же эти, предпочитают выбирать сами и не желают быть избранными... Ну, и вполне понятно, они избирают более трудное.

Я чуть не покраснел от стыда и не столько от произнесенным им слов, сколько от того, что они были произнесены Габриелем вполне серьезно, в них была ирония, но она не была подчеркнута улыбкой, покинувшей теперь его лицо. Я даже извинился.

— Тут ничего нет плохого, Габриель, это просто одно любопытство, вы же понимаете, что я нахожусь взаперти, ну яс-

но, значит, я люблюсь красотой. Разве она не достойна восхищения?

Когда я задал этот вопрос, то перед нами прошла женщина с величием императрицы.

— Что вы думаете, доктор?

— Это одна сплошная красота.

— Не будьте слишком уверены. На этом расстоянии вы не можете этого оценить, и даже на более близком тоже, возможно, что она почти что вашего возраста, доктор, и что эта красота, которая вас обворожила, есть результат работы эстетической хирургии, модистки, парикмахера, это магия и декорация — творчество сотни мужчин и женщин, которые приняли тут участие со своим искусством, знаниями и работой для превращения старой курицы в павлина. Для того, чтобы утверждать это с полной уверенностью, надо ее сначала выкупать и, в случае если бы этого было не достаточно, надо было бы ее еще и поскрести, да и погрузить в кислоту, тогда вы увидите ее такой, какова она есть.

— Ну вы это преувеличиваете!

— Не думайте, доктор, если бы вы знали, какие сюрпризы припрятавают для нас эти женщины, столь высокомерные и столь ослепительные, как эта... Хотите узнать одно правило?

— Какое?

— Прежде чем окончательно судить, не смотрите на нее.

— Да?

— Смотрите на него. Если сопровождающий ее человек молод и кажется почти что одного с ней возраста, то сомневайтесь, во всяком случае сомневайтесь, если она ведет с собой сателита с большой лысиной, то будьте уверены вполне, что красота ее настоящая.

— Не преувеличиваете ли вы?

— Мое правило имеет очень мало исключений, я его старательно проверил, поверьте мне.

Он произнес это так, как будто бы это был афоризм тысячу раз подтвержденный наукой. Он позвал официанта и заплатил ему, чаевые были, по-видимому великокняжеские, так как тот чуть ли не распластался по земле.

Я заметил, что он уплатил французскими франками и не проделывал никаких манипуляций, я сделал вывод, что советские финансы были счастливые.

При возвращении домой он предложил мне посетить на следующий день с утра Лувр. Я согласился с восторгом, я не был там со времен моей юности и очень желал видеть его опять. Итак, определенно мы займемся туризмом. Я не осмелился спросить Габриеля насчет нашей миссии (я называю это миссией) в Париже и о времени ее реализации.

Он отвез меня прямо на мою квартиру и оставил меня там, пожелавши мне спокойной ночи без кошмаров, сопровождающих молодым и старым.

-----ooooooooOOOOOoooooooo-----

Я еще находился в ванной комнате, когда уже появился Габриель.

Мы выехали в Париж после десяти часов утра. Большое движение и много людей, я думал о счастливой возможности смешаться с этой толпой и сделаться полным анонимом, быть неизвестным и самому никого не знать, бродить без направления и цели, быть еще одним лишним атомом этой бурлящей массы. Большие здания не привлекали моего внимания и перед моим рассеянным взором, они как бы бежали назад. Появившаяся передо мной Вандомская колонна вывела меня из наплывших на меня личных размышлений. У меня появилось страстное желание, чтобы появился другой Наполеон, который взял бы Москву и освободил бы и меня. Я желал этого, не подумав о печальном конце того, кто был увековечен и прославлен этой колонной, а также о трагическом конце русского генерала, желавшего подражать ему в создании нового Брюмера. Это длилось один момент, когда мы приблизились к колонне, то Габриель высказал вслух свои размышления.

— Нет, как ни высока эта колонна, но она не возмещает цены славы. Вот ты находишься тут, Наполеон, такой самолюбленный и самоуверенный и не можешь вспомнить о том, как непрочно было твое восшествие на престол. Кто заставит тебя снова спуститься? — тут он остановил машину у входа на площадь и продолжал: — Не будет ли это Гитлер, этот оп"яненный Бисмарк со своими смешными усами? Нет, не думаю, должна произойти наша революция. Да, она его низвергнет. Я бы предложил перенести эту колонну с ее статуей и

воздвигнуть ее перед Кремлем, перед последней мечтой его завоеваний...

— Вы с ума сошли? — перебил я его.

— Нет, доктор, я бы посоветовал Сталину воздвигнуть ее в яме такой же глубокой, как ее высота и при чем основанием вверх. Яма тоже обладает величию, весьма свойственным тирану, яма - это колонна вверх ногами.

Он снова пустил в ход машину. Я видел, что мы в"ехали в улицу Риволи по направлению к св. Павлу, удаляясь от Тюльери. Поэтому я спросил его, не направляемся ли мы в Лувр. Он ответил мне, что ему нужно зайти на один момент в Посольство и что он завезет меня в какой-нибудь бар на улице Сен-Жермен, где я должен буду его ждать. Мы проехали площадь Шателе и через мост св. Михаила в"ехали на улицу Сен-Жермен.

Но мне не было суждено отдохнуть в этот день и полюбоваться пластическим искусством: в этом аристократическом квартале Габриелю пришлось в голову купить газету. Он остановил машину и купил одну из них, он стал просматривать ее глазами, как бы ища что-то, а затем стал читать найденное. Ему, по-видимому не понравилось сообщение, ибо он положил газету между нами и с несдерживаемой яростью глухо воскликнул: "Глупцы!", я не мог знать, к кому относилось это оскорбление.

Он снова тронул автомобиль. Признаки недовольства были явные. Вскоре он опять сошел около газетного ларька. Я видел, как он покупал по очереди разные газеты и прочитывал какое-то одно сообщение в каждой из них. Из любопытства я взял газету, оставленную им около меня. Поскольку Габриель согнул ее на той странице, на которой читал, я надеялся, что отгадаю причину его недовольства. Ничто не навело меня на догадку, я прочитал только обыденные сообщения и события, в отношении которых я ничего не мог установить. Единственное, что навело меня на подозрение, это одна телеграмма из Лозанны, в ней говорилось об обстреле на дороге при выходе из города человека чешской национальности по имени Ганс Эберхарт, это имя было мне неизвестно, я запомнил его национальность, так как она совпадала с моей теперешней. Я подумал, не было ли это преступление причиной перемены настроения Габриеля, но больше у меня не было времени разду-

мывать. Он подошел к машине и подойдя бросил на сидение целую пачку газет. Я подвинулся в бок, чтобы дать место газетам и ему, но я не смог подавить желания разузнать больше и глянул искоса на беспорядочную кучу газет, одна из них по крайней мере была швейцарская из Лозанны. Я решил, что потом посмотрю, не будет ли на этой странице того же сообщения об убийстве чеха. Но предварительно я решил проверить это другим способом.

— Плохое известие? — спросил я.

— Ни плохое, ни хорошее, лично оно меня не затрагивает. Только достойно сожаления отсутствие здравомыслия и выдержки у некоторых особ, и именно в их профессиональной области.

— Быть может недостаток опыта, профессиональная молодость — постарался я смягчить, как будто разговор шел о чем-то нормальном.

— О нет! Дело в профессионалах, хорошо проверенных за долгие годы практики.

Я заподозрил еще больше, что дело касалось того преступления и хотел понудить его к раз'яснениям.

— В нашей профессии все мы можем совершать отдельные ошибки. Не идет ли здесь дело о медицинской ошибке? Заболел какой-нибудь друг?

— Вы больше ничего не узнаете, доктор, не пытайтесь заставить меня говорить.

На некоторое время воцарилось молчание, но вскоре он испустил восклицание и умерил ход машины, ведя ее одной только рукой, а другой одел на себя темные очки.

— Смотрите на этого человека, который идет с газетой.

Я посмотрел и увидел незнакомого человека, тоже в темных очках, который шел в противоположном направлении с газетой в руках, но не читая ее.

— Мы вылезаем, доктор, следуйте за ним, сейчас пойду и я.

Он вышел, пропустил меня вперед, а сам задержался, запирая ключом дверцу автомобиля. Я подчинился и продвинулся вперед настолько, что находился на расстоянии шести или восьми шагов от этого человека. Габриель моментально присоединился ко мне.

— Продолжайте — сказал он мне, — я буду итти, спря-

тавшись за вами, он меня знает.

Я так и сделал, позади себя я слышал его шаги, соразмеренные с моими.

Человек, которому на вид было лет сорок, одет был скромно и шел, проявляя некоторое беспокойство, бросая тайно вокруг себя взгляды. Он должен был видеть меня, но мой вид его не встревожил. Когда он еще раз повернул голову туда, где находился я, Габриель приказал мне очень тихим голосом, но не переставая прятаться за меня, перейти на другой тротуар. Я выполнил это, Габриель пошел за мной, притворяясь, что сморкается в носовой платок.

Так мы прошли одну улицу, пересекли еще две и по следующей подошли к площади, наверное это была площадь Сен-Жермен, но я не уверен в этом, так как смотрел почти что только на преследуемого нами человека.

Человек направился ко входу в метро, которое там находилось и исчез, спускаясь по лестнице. "Бегите" — почти что закричал мне Габриель, дернув меня за руку, я двинулся чуть ли не бегом и очутился у входа в подземку. "Быстренько спускайтесь — опять начал он меня торопить, — возьмите два самых дорогих билета и идите за ним туда, куда он пойдет". Я очень быстро спустился вниз, сталкиваясь с людьми и чуть ли не падая. Человек только что взял билет и уходил, я купил два билета и подоспевший Габриель забрал у меня один из них. Мы торопливо пошли вместе, надеясь различить человека издали. Когда мы вышли на платформу, то в первый момент мы его не заметили.

— Вот он — указал мне затем Габриель и добавил: — "Приблизимся, но по отдельности, сядем в другой вагон".

Габриель снял свои очки и притворился, что читает газету, с целью спрятать свое лицо. Подошел поезд, на платформе было много ожидающих, и мы вместе с ними проникли в вагон, соседний с тем, в который вошел человек. Габриель объяснил мне по-русски, что на следующей станции мы перейдем в тот вагон, в который вошел наш человек, но чтобы внутри вагона я отошел от него, не теряя все же его из виду, ибо я должен буду сойти на первой станции после того, как увижу, что он достанет платок, но если он тоже выйдет, то мы не должны будем подходить друг к другу, если он сам этого не сделает. В случае, если мы не сможем соединиться, я должен

буду поджидать его около машины, но если он опоздает больше, чем на два часа, то я должен буду позвонить в Посольство, вызвать товарища Шпигельгласа и указать ему свое местонахождение, рассказать о происшедшем я могу только ему, затем он еще добавил, что мы следили за Вальтером.

Не успел он еще вполне закончить свои поспешные инструкции, как поезд остановился. Мы вышли и тут же вошли в следующий вагон через разные двери, оставаясь стоять на ногах.

Я не мог ни о чем думать, сосредоточившись на наблюдении. Человек сидел спиной к двери, через которую вошел Габриель (он вошел через последнюю дверь вагона, а я через первую). Ничего не произошло. Габриель опять занялся чтением, как будто бы ему не было никакого дела до окружающего, газету он держал между своим лицом и человеком. Я не смог еще сообразить ситуации, как поезд уже тронулся. Когда он стал замедлять ход, приближаясь к следующей станции, Габриель вытащил носовой платок и я, будучи предупрежденным, вышел в момент остановки поезда.

Приблизительно все мы обладаем чувством времени, времени хронометрического, но мы ничего не знаем о другом времени, времени, в течение которого совершается факт, интенсивность которого заполняет всю нашу душу и тело, это время уже не есть время - это вечность.

Выходя, я смешался с входившими людьми на платформе и повернул в направлении к хвосту поезда. Я прошел мимо последней двери вагона, где находился Габриель. Я глянул искоса, я увидел, что он почти что касается уха человека своей газетой. Я сделал еще два шага, но слабый блеск чего-то, что дошло до моего мозга позже, заставило меня отступить. То "что-то" было у Габриеля. Я отошел в бок и стал опять смотреть: он уже не читал, а рассеянно смотрел в потолок вагона. То, что меня притягивало, было под газетой.

Он поддерживал бумагу левой рукой и почти что касался ее краем головы преследуемого, а нижняя часть газеты как будто поддерживалась правой рукой, но из кулака высовывалось лезвие очень тонкого ножа, вроде скальпеля, а на его тупую противоположную сторону опирался его вытянутый указательный палец. Зазвучал звонок к отходу поезда, все автоматические двери закрылись, кроме двери

около Габриеля, которую он поддерживал ногой. Я смотрел на руку Габриеля, которую мог видеть только я один, так как от других она была прикрыта газетой, она шевельнулась, и лезвие ножа находилось уже на расстоянии двух сантиметров от шеи того человека. Поезд вздрогнул перед отправкой. Больше я ничего не видел, я должен был закрыть глаза, черная тень скрыла от меня руку Габриеля. У меня не было даже силы упасть, шум от звонка и грохот уходящего поезда поддерживали меня, когда я открыл глаза, Габриель взял меня под руку, а в нескольких шагах от нас стоял спиной к нам охранник.

Все это произошло за несколько секунд, нужных для остановки и отправки поезда метро. Я заверяю, что в тот момент время для меня исчезло, и я жил в вечности.

Я не знал, разрезал ли Габриель сонную артерию человека, выпрыгнув на платформу в последнюю секунду.

Мои ноги были охвачены чуть ли не эпилептической дрожью, я волочил их вместо того, чтобы прыгнуть и не мог закричать, хотя пытался сделать это.

Габриель должен был заметить ненормальный вид моего лица, он крепко взял меня под руку и вытащил из метро. Уже на улице он чуть не выругал меня.

— Что с вами? Что с вами, доктор?

Я хотел отвечать, но язык не слушался меня, а мой подбородок задрожал и я слышал, как стучали мои зубы.

Габриель похлопал меня по спине ладонью своей руки.

— Давайте, давайте! Не будьте ребенком, доктор.

Он вел меня молча и не торопясь, крепко поддерживая меня под руку.

Я не знаю, куда мы пошли. Кажется мы сели в ТАКСИ, так как я помню все только с момента, когда увидел себя внутри нашего автомобиля, быстро едущего по Парижу. Уже вдали от населенных мест, когда мы проезжали мимо рощ, шале и дворцов, мои колени все еще постукивали одно об другое.

Я ориентировался и сообразил, что мы находимся в какой-то части Версаля. Вскоре Габриель остановил автомобиль перед рестораном в саду. Он помог мне сойти, и мы вышли. Под огромной трубой пылали раскаленные угли и там жарилось несколько цыплят уже поджаренных и

поблескивающих жиром, от них исходил восхитительный запах. Официант провел нас к столику, спрятанному за живой изгородью, и мы там уселись. В один момент столик был покрыт скатертью, и передо мной появилось два цилиндрических стакана с составным содержимым: жидким и густым.

— Пейте, доктор, пейте! — подстрекал меня Габриель, одновременно предлагая мне папиросу.

Я выпил залпом с жадностью и без передышки, я почувствовал, что глаза мои налились, а в груди горело. Я должен был глубоко и часто дышать, это было что-то очень крепкое.

— Ну, как дела, доктор? Уже реагируете?

Я подтвердил, хотя еще не мог говорить.

— Что случилось, что случилось, доктор? — спросил меня Габриель.

Я снова выпил, не давая ответа, и уже на повторный его вопрос воскликнул благодаря мужеству, которое мне придало это лекарственное питье:

— Но, Габриель, вы — демон!

Я видел по его рту, что он готов был разразиться смехом, но он не рассмеялся, он потушил свой смех в своем стакане с огненной жидкостью и возразил мне:

— О нет, доктор, неужели демон и ничуть не меньше? Нет, я просто человек и больше ничего, но к кому же теперь относятся эти неумеренные выражения чувств? Доложите, доктор, не видели ли вы хвоста у сатаны?

Я стал пить опять, набирая в напиток мужество, которого мне не хватало.

— Да, Габриель, я видел сатану... я видел все.

— А, доктор... ваше проклятое любопытство. Это детское любопытство, которое вам может обойтись дорого. Сердце у вас не очень крепкое, оно может отказать...

— Оно отказывает мне, как и его начальникам, чем-нибудь я должен же быть похожим на великих революционеров.

— Да, но по различным мотивам, ваши — чисто морального свойства. Достаточно было бы вам прибегнуть к вашей профессиональной совести, чтобы иммунизировать себя в отношении этих маленьких вещей.

Как и всегда, Габриель прибегнул к парадоксу, чтобы от-

влечь мое внимание от того, что меня удручало и было мне неприятно. Я должен был вторить ему.

— Что общего имеет с этим моя профессиональная совесть?

— Много, доктор. Ваша рука тоже не дрожала бы и была тверда и уверена, как моя, если бы вы видели, что необходимо вскрыть зараженную гнилую железу.

— Да, конечно, не дрожала бы, но это различные вещи, это жизнь...

— Нет, то, что вы называете жизнью, это только гнилая ячейка, которую мы должны уничтожить, чтобы она не заражала других, чтобы можно было завершить дело с настоящей, с социалистической жизнью. Смотрите на это так, по профессиональному, ибо я являюсь медиком, которому поручено заботиться об этой жизни: и тогда для вас будет вполне натуральным то, что моя рука не дрожит.

Рассуждая об этом, как об обыкновенных вещах, он поздравил знакомого официанта и спросил у него меню. Он посоветовался со мной насчет блюд, и я подтвердил те, которые он выбрал, несомненно, он хотел устроить мне праздник в возмещение пережитого.

Нам подали закуски и вино, все было чудесное, и мы начали завтракать, но я не имел намерения считать законченным наш разговор в момент, избранный Габриелем, когда он считал себя победителем.

— Вы сказали, Габриель... А, да! Вы установили основание для профессионального равенства, но я с вами не согласен.

— Ясно, что нет, уж я знаю, знаю, ваша мораль, ваше я и т.д, и т.д.

— Я всегда буду говорить вам, что никто не имеет права распоряжаться так чужой жизнью. Что вам сделал этот человек? За что вы его убили?

— Но вы так думаете?

— Вы его не убили?

— Нет, к сожалению, нет.

— Какое успокоение! — не смог я удержаться от восклицания, сделав вздох облегчения.

— А! А вы что же думали? Нет, уже оставалась одна десятая доля секунды, одна десятая секунды, но ничто не про-

изошло... Этот дурацкий кондуктор!

— Это был Ангел! Ангел Хранитель того человека.

— Не было ангелов у многих, кого убил он.

— Может быть, это был тот, который действовал в Лозанне?

Габриель посмотрел на меня с удивлением, задержав в воздухе руку с вилкой, и тут я понял, что выдал себя.

— Откуда вы знаете это о Лозанне? Я ничего об этом не говорил.

Я покраснел, как мальчик, которого поймали с пальцами, вымазанными медом, и должен был признаться.

— Это вывод, Габриель, вывод и больше ничего... Посмотрите: этим утром я прочитал об этом в газете, которую вы купили, я прочитал в тот момент, когда вы просматривали другие газеты у газетного ларька, и так как среди тех, которые вы купили, была одна швейцарская из Лозанны, то отсюда я...

Он прервал меня:

— Вы становитесь опасным, — сказал он мне тоном выговора, но без досады, — у вас развился полицейский инстинкт, который...

— Это не по моей вине, Габриель, я живу, правильнее, вы заставляете меня жить в окружении, называемом вами полицейским, вне контакта с другим, и я, не желая этого...

— Да, доктор, я это могу объяснить, но советую вам изменить направление. Шпионьте снаружи, но не внутри. Это лучше.

Я хотел повторить свои извинения, но Габриель продолжал:

— Теперь я должен буду разъяснить вам, чтобы вы не сделали какой-нибудь ошибки, сами того не желая. Нет ничего более опасного, как люди осведомленные только частично. Знайте, доктор, что человек, которого вы сегодня утром видели в опасности, был генерал.

— Еще один! — воскликнул я, не подумавши.

— Да, другой. По крайней мере он имеет такой ранг, он начальник военной разведки в этом секторе Европы.

— Он и сейчас является им?

— Официально является, а в реальности это только бродячий труп. Это опасный изменник, слишком много знающий в силу своей должности.

— И он убил этого Ганса?

— Нет, этот Ганс, вернее говоря Рейс, был его другом и соучастником, троцкистом, очень тонким, еврей...

— Следовательно его убили ваши?

— Плохо, катастрофически плохо, но да, его ликвидировали мы. Не знаю, не повредит ли это дело нашему. Вот почему я так возмущен. Несомненно будет тревога и полицейское вмешательство, этот Кривицкий будет ориентировать, он знает, откуда нанесен удар и сделает выводы о том, кто мог его реализовать, как вполне естественно, ему известны глупые авторы, и он направится на улицу Гренель. И все это, благодаря бульварному образу мыслей, каковым обладают очень многие люди. Виной этому - вино и желтые новеллы... Автомобиль, яд, пулемет... Кино, чистейшее кино! И все это несмотря на то, что они были предупреждены. Вы можете теперь понять мое личное возмущение и можете понять также, что поскольку мне попался под руку несколько часов тому назад человек, который может раздуть из этой ошибки серьезное дело, то я хотел этого избежать и одновременно дать урок организатору дела с Рейсом...

— Урок? Какой урок?

— Очень просто показав практически, как надо действовать без всяких сложных театральных средств, действовать нужно не оставляя ни следов, ни предметов для анализа. Все натурально - течение жизни и обычное движение, а на жертву как будто бы свалилась черепица. В конце концов вы сами присутствовали при этом, если бы этот кондуктор не появился в десяти сантиметрах от меня, когда мой человек хотел о чем-то осведомиться, то у него была бы уже перерезана яремная вена, и он, все люди и поезд находились бы уже далеко в туннеле, а я, никем не подозреваемый и без каких бы то ни было следов, выходил бы себе из метро... не правда ли?

— Да, разумеется, как когда-то Навачин — сказал я, вспомнив о нем по ассоциации, вызванной во мне Габриелем, но я сразу же раскаялся.

— Вы об этом тоже знаете? Вы представляете собой патологический случай, доктор!

Я было уже собирался признаться, с целью оправдаться в том, что я присутствовал при этом убийстве, но, к счастью, я удержался, ибо этим я только ухудшил бы дело, и я стал по-

дыскивать другое об"яснение.

— Я прочитал об этом несколько часов спустя в газете, вы же знаете, что предоставили меня самому себе. Прочитав об этом в одной из газет, я, по крайней мере, смог понять о соотношении между Гольдсмитом и Навачиным.

— Вы мне никогда ничего не говорили.

— Поймите, что у меня не было подходящего момента и возможности: — и затем, пытаясь уклониться ОТ ЭТОГО разговора, я добавил: — во всяком случае я все еще заинтригован той бумажкой, которую я привез из Мадрида... Знаете ли вы уже, что она обозначала?

— Да, бумага означала мой приезд в Испанию, вернее говоря — подтверждала его.

— Да? Будучи белой?

— Нет, доктор, бумага не была белой, она была подписана мною, вы знаете уже, что на ней были мои отпечатки.

— Это да.

— Хорошо, затем на ней было написано о местонахождении одного парохода, которой имел транспорт вооружения для испанской армии, и который был захвачен эскадрой мятежников в Атлантике...

— А какая же бумажка сыграла такую роль?

— Просто на следующий день после задержки бедного Дуваль - т.е. меня, как думали в ту ночь - в Советское Посольство явился военный атташе из Революционного Испанского Посольства. Мы его поджидали, его принял молодой статный секретарь, секретарем был я. С искренностью человека, не посвященного в тайны вещей, этот испанский военный вручил мне бумагу с обнаруженными моими собственными отпечатками и с градусами долготы и широты захваченного парохода, как он мне разъяснил, а также передал мне еще и более подробную письменную информацию, согласно которой я, Дуваль, задержанный на рассвете прошлого дня, передал эту бумагу несколькими днями раньше одному шпиону из Гестапо, спровоцировав захват республиканского торговца, что сразу же после того, как был захвачен Дуваль, его отправили в авионе в Испанию, но, к несчастью, я выбросился на полном лету из аппарата в тот момент, когда он пролетал над зоной мятежников, и что они очень сожалеют о случившемся несчастье, так как я раскрыл в Мадриде весь аппарат фашистского шпио-

нажа. Что они спешили донести обо мне и раскрыть мое имя Посольству для того, чтобы наша служба приняла меры предосторожности, поскольку они получили информации о том, что я состоял на Советской службе и как агент СССР был несколькими днями раньше в Испании. Такова была история, которую мне наивно изложил тот уважаемый военный.

— А что же сделали вы?

— Ничего. Я ограничился тем, что попросил его, если это возможно, расследовать, каким образом смог этот проклятый Дуваль выброситься в пространство на полном лету, ибо меня интересовало это с технической стороны.

Этот человек раскрыл широко глаза и не смог установить связи между моей просьбой и изложенным делом, он даже попросил меня разъяснить ему причины моей технической любознательности. Я ему ответил, что я лично интересовался только с научной точки зрения, а также ретроспективно, ибо хотел бы знать это для того, чтобы суметь объяснить себе, каким образом смог несколько лет тому назад выброситься над каналом из своего собственного самолета некий Левенштейн. Военный распростился, получив самые искренние излияния благодарности, но я не сомневаюсь, что он подумал о том, что русские реагирует весьма странным образом.

— Я вижу, что вы все еще до сих пор не знаете, каким образом вы оставляли свои отпечатки на той бумаге, или вы уже знаете?

— Нет, пока что еще не знаю.

— Ну, так я уже знаю.

— Нет!

— Нет!

— Да, эта бумага из W.C. в мадридском отеле.

Он раскрыл глаза, и они у него даже повеселели.

— Изобретателен же этот Берзин! Впредь придется ходить в умывальную комнату в перчатках...

Наш завтрак окончился. Мы еще долгое время сидели за столом, попивая кофе, ликеры и куря папиросы, но больше уже не говорили ни о чем важном.

Когда начало заходить солнце, он отвез меня домой и оставил меня там.

В течение нескольких дней я не видел Габриеля.

ПОХИЩЕНИЕ МИЛЛЕРА

Я провел десять или двенадцать дней в полном одиночестве. Хозяин дома был единственным человеческим существом, которое я видел.

Его звали Петром, однажды он мне сказал, что вечером меня посетят. У меня создалась иллюзия, длившаяся до вечера, что похищение будет отсрочено. Хотя отважности у них было и много - думал я - но не настолько, чтобы они решились совершить подряд два преступления на протяжении короткого времени, хотя преступление с Рейсом совершено было в соседнем государстве, но полиция знала, что оно было организовано во Франции, и разросся бы скандал, если бы в самом Париже произошло второе преступление по отношению к личности, известной среди белой эмиграции, к тому же это преступление отягчалось бы обвинением в том, что оно является повторным, ибо прошло еще только немного лет после исчезновения генерала Кутепова. Несомненно - предполагал я - визитеры имеют целью сообщить мне о прекращении или об отсрочке дела, с этой надеждой я поджидал прибытия вестника, каковым, как я надеялся и думал, будет Габриель.

Еще не было десяти часов утра, когда прибыл автомобиль. Так как я был начеку, то я услышал разговор входящих и приближающиеся по лестнице шаги. Мне показалось, судя по шуму, что поднималось больше, чем один человек, и я вздрогнул, не знаю почему, но я боялся, что это появилась французская полиция. Времени испугаться у меня не было, ибо сразу же, как открылась дверь, я увидел Габриеля в сопровождении двух или трех персон, силуэты которых виднелись позади него. Не пришел ли это он в сопровождении полиции, чтобы забрать меня? Габриель поздоровался со мной, как обычно, и, указывая на меня своим трем компаньонам, ибо их было трое, представил меня знаком, произнеся: "доктор", а обратившись ко мне - "товарищи". В этом состояло все представление. Я предложил им сесть, что они и сделали. Этот момент, я не знаю почему, получился несколько торжественным.

Двое из этих людей были блондины, но не знаю, настоя-

щие ли, у одного глаза были голубые, и он, по-видимому, был блондином, у другого же они были карие, оба были хорошего роста, я бы сказал, высокого, по своему виду они казались немцами. Третий был маленький, небольшого веса и темноволосый, вид у него был непрезентабельный, единственной характерной чертой его лица был узкий лоб и густые брови. Все трое были хорошо одеты.

Габриель заговорил первый, вытащив одновременно бумагу из кармана своей американки.

— Давайте сейчас обсудим подробности дела Миллера — сказал он, разворачивая бумагу и разложив ее на маленьком столе, стоявшем посередине комнаты.

— Будут делать? — осмелился я задать вопрос.

— Да, доктор — подтвердил Габриель, почти что не обратив на меня внимание.

— Могу ли я высказать одно соображение?

— Конечно, скажите то, что вы хотите — ответил он мне.

— Не будет ли слишком рискованно заняться сейчас этим делом, имея ввиду последствия того, что произошло совсем недавно?

— Нет, второе дело послужит в качестве стратегического отвлечения, но, кроме этого, вы должны понять, что там уже подумали о возможных последствиях, и нами получен конкретный приказ действовать. Я благодарю вас, во всяком случае, за ваше наблюдение, которое отражает ваши неустанные заботы об интересах Советской родины. Спасибо, доктор.

Я должен добавить, что там говорили по-русски. Габриель рассматривал бумагу, оказавшуюся планом Парижа, и поставив свой указательный палец в одном пункте, он сказал:

— Свидание с Миллером условлено здесь: угол улиц Жасмин и Рафет, участок шестнадцатый. Но нельзя будет схватить его здесь же. Может случиться, что Миллер пошлет вперед людей для наблюдения. Хотя, кажется, что дело насчет нечестности другого генерала успокоилось, все же возможно, что он примет какие-нибудь меры предосторожности, а нам необходимо избежать возможного наличия свидетелей в этом случае, а также их вмешательства.

— Как же это сделать? — спросил "немец", который был постарше.

— Дело в том, что тут могут возникнуть некоторые труд-

ности, ибо мы должны будем решать все на ходу, принципиально это будет зависеть от того, что будет делать сам Миллер. Вы, товарищи, должны будете встретить генерала, когда он будет направляться к месту свидания, как будто бы случайно сошлись все трое, такая вещь не сможет его удивить, предполагая, что ему будет известно о том, что вы идете в то же самое место. Скоблин уже сказал ему, что полковник, т.е. ты, знаешь его по виду, и ему покажется естественным, что, встретившись, вы поклонитесь ему все трое, в этот же момент ты объяснишь ему, что Скоблин ждет на условленном углу. Хотя это и кажется натуральным и простым, но требует подготовки, к тому же имеются осложнения, которые мне не нравятся. Я должен буду организовать службу передачи, первый наблюдательный пункт я должен установить против того места, откуда выйдет генерал для отправки на свидание, но как же разузнать об этом? Я устанавливаю пункт рядом с домом Ветеранов, ибо это место наиболее вероятное, но, конечно, тоже нам неизвестное. Если он выйдет из улиц, расположенных значительно выше дома или же напротив него, то меня известят насчет того, идет ли он пешком и по каким именно улицам, и тогда нетрудно будет угадать улицу и направление, по которому он должен будет прибыть, если он не выйдет через центр Ветеранов, то у меня еще останется способ локализовать его местонахождение через телефонные сообщения, которые будет делать Плевицкая. А если она сможет его локализовать, то она сообщит. Но все это является исключительно моим делом и не должно отвлекать ничьего внимания. Четверо людей должны расположиться с машиной "такси" очень близко от угла, где назначено свидание и ожидать моих приказаний. Если Миллер прибудет сам, как об этом договорено, и ничего не будет замечено ненормального, я им скажу, чтобы они выходили ему навстречу по той же улице, по которой он пойдет, о чем мне сообщат. Вы двое уже знаете его, а также и шофер машины, когда вы увидите, что он идет, и если это будет по тротуару с правой стороны от вас, то машина остановится, и вы двое сойдете раньше, чем он сможет вас увидеть, и начнете идти в направлении к углу свидания, но так медленно, чтобы генерал догнал вас, и чтобы эта случайная встреча произошла еще до того, как вы дойдете до условленного угла.

— Хорошо, мы втроем уже знаем дальнейшее — перебил

более молодой "немец".

— Я уже сказал вначале — продолжал Габриель, — все эти несколько усложненные маневры я продумал с единственной целью, чтобы это дело было реализовано не на том месте, где договорено точно о свидании с Миллером, и таким образом избежать возможного вмешательства лиц, каковых он, может быть, там расставит. Но возможность атаковать его до прибытия к углу улиц Жасмин и Рафет зависит целиком от того, удастся ли уточнить место, откуда выйдет генерал, чтобы отправиться к месту свидания. Если Миллер прибудет из неизвестного нам направления, а также, если он приедет на автомобиле, а не будет идти пешком, то считайте, что мы ничего не говорили, все это бесполезно и нужно отставить. Остается тогда только одна возможность: схватить его на условленном углу, идя на риск столкновения с людьми, которых он мог там разместить. Я бы не хотел, чтобы так получилось, но мы должны подчиняться, ибо приказ не допускает ни отсрочки, ни отступления. Шпигельглас привез окончательное распоряжение, я сообщил Слуцкому мои возражения насчет опасности действовать в том самом месте, где договорено о встрече и обратил на это также внимание комиссара, но он на это ничего не сказал. И Слуцкий и Шпигельглас приказали нам действовать. Я просил, чтобы мне оставили *Card blanche*, и я смог бы прекратить дело в любой момент, но мне не удалось этого добиться.

— Они не знакомы с вашим планом реализации похищения на пути, по которому пойдет генерал?

— Нет, товарищ, — ответил мне Габриель — эти оба об этом ничего не знают, и я благодарю вас за ваше вмешательство, ибо я должен обратить внимание всех на то, что о моем плане атаки на Миллера по пути, а не на углу, никто не должен говорить. За исключением нас пятерых, пятерых, которые отваживаются на это, никто не должен ничего знать. Повторяю: никто, все осведомлены?

Если понадобится, то я буду отвечать за это распоряжение перед самим Ежовым, чтобы вы знали, что этим покрывается ваша ответственность. Если вы желаете, товарищи, то я готов дать вам подписанный приказ в отношении того, что вы обязываетесь к молчанию. Хотите иметь в письменном виде?

Оба немца переглянулись, а я поторопился сказать:

— Мне этого не нужно, товарищ.

Немцы также отказались оба.

— А ты, товарищ? — спросил Габриель молчавшего третьего.

— Я так же.

— Спасибо, товарищи, я продолжаю. Если нам придется действовать на углу, вы двое только будете ждать там, правильнее сказать, прибудете сами с хронометрической точностью. Так как Скоблин не появится быстро, вы будете вынуждены вместе с Миллером ожидать некоторое время. Мы уже проштудировали ваш разговор в отношении Вицлебена и Бека, вы продолжите его на необходимое время. Когда пройдет нужное время, ввиду отсутствия Скоблина вы предложите Миллеру поговорить в каком-нибудь подходящем месте, которое он сам должен выбрать без малейшего подсказывания с вашей стороны, если он примет это предложение, то ты, товарищ, приподнимешь твою шляпу — и он указал на более молодого, — "такси" по этому сигналу начнет очень медленно приближаться вплотную около тротуара, и вы предложите Миллеру, чтобы он сел, случайное "такси" для поездки в место, выбранное им самим с целью обсуждения чего-то, вроде падения Советов и замещения их властью царя, благодаря ему, с целью ввести его в заблуждение. В этом случае - или я ничего не понимаю в психологии, или генерал сядет в такси без колебаний и подозрений. Что касается вас, доктор, то по этой последней вариации, вы должны будете выйти из "такси" в момент, когда выйдут эти два товарища, вы, а также этот другой товарищ, постараетесь ожидать поблизости и углубитесь в чтение и разговор о чем-то, прочитанном в газете, которую будете держать в руках. Если Миллер сядет в машину по своей воле, то произойдет легкая задержка при попытке тронуться, что успеет исправить механик к тому моменту, когда вы, доктор, и товарищ будете находиться у дверей этой самой машины. Шофер моментально займет снова свое место и пустит в ход мотор с большим шумом, товарищ откроет рывком дверцы и все трое будут держать Миллера, вы, доктор, тоже влезете туда, как сумеете. Машина быстро тронется, и тогда остается только сделать инъекцию. Даже зная о возможности вмешательства людей Миллера, ни о чем не беспокойтесь в этом случае, если будет нужно, то я сам вмешаюсь в это дело.

— Не будет ли нас слишком много для посадки в автомо-

биль? — спросил я.

— Да, много, но "такси" будет просторное и с довольно высоким потолком: это имелось уже в виду. Должен обратить ваше внимание, что, когда вы двое должны будете садиться, то эти другие два товарища и Миллер займут только заднее сидение и будут держать крепко генерала, предоставив вам по возможности все оставшееся место... Есть еще какие-нибудь возражения?

Никто больше ничего не говорил. Мне пришли в голову еще тысячи обстоятельств в поисках отсрочки, но я понимал, что все это было бесполезно, и поэтому я тоже молчал.

Они ушли. В дверях меня Габриель взбодрил так, чтобы другие не могли услышать:

— Приободритесь, доктор, все пройдет хорошо. Доверьтесь мне.

-----оооооОООООооооо-----

Когда я взялся за запись вышеизложенного, то прошли уже месяцы с тех пор, как все это произошло, и как я нахожусь уже на расстоянии тысяч километров от Парижа. Но, несмотря на это, вижу эти сцены все также ясно. Перед лицом этих событий я, правда, пережил ужасные и трагические моменты: вплоть до того, что моя жизнь находилась в опасности, но я сам был только присутствующим свидетелем, а если я действовал, то в силу непосредственного принуждения, находясь под надзором. Дело с Гамарником происходило при совсем других обстоятельствах на Советской территории и в рамках закона, правда закона криминального, но подтверждающего мое участие в преступлении, как законное действие. Естественно, что мое психологическое состояние тогда было совершенно другим. Теперь к моему моральному отвращению и отталкиванию от преступления добавлялся еще страх перед законом, который мог и должен был карать в случае провала. Бесконечное количество раз смотрел я с неподдельной паникой на тот шприц, который должен был сделаться в моих руках преступным оружием, и с какой осторожностью проверял я его каждый раз и опять помещал в металлическую трубочку, обложенную ватой. Я должен был разрешить вопрос, как мне носить при себе наполненный шприц, чтобы избежать

какого-либо случайного давления, от которого мог бы получить толчок поршень и вылиться жидкость, я разрешил это дело посредством алюминиевой трубочки, полый внутри, длина которой была приблизительно такая же, как и у наполненного шприца... Поместив эту трубочку с шприцем внутри в верхний карманчик моей жилетки, я не боялся, что жидкость разольется.

Поскольку я уже не имел надежды на долгую отсрочку дела, а тем более на отмену или возможность избежать мне его, то я почти что даже хотел, чтобы это ожидание сократилось. Уж если нужно было совершиться преступлению, то пусть оно произойдет поскорее и, таким образом, я смогу избавиться от своего страшного томления, хотя, может быть, вслед за этим мне снова придется страдать.

И как все плохое наступает, наступил и этот день.

Было десять часов утра, когда Габриель явился лично, чтобы забрать меня. Поторапливая меня, он распорядился, чтобы я приготовил все необходимое для моих действий: дело произойдет днем, от двенадцати до часу. Вся моя умственная подготовка совершенно мне не пригодилась, я начал ходить по моей комнате совершенно без всякого смысла, сначала я хотел надеть пальто, но потом отказался от этого намерения, я вспомнил, что погода хорошая, и что если я его надену, то мои движения будут более затруднены. Я взял ампулы и шприц и по мысленной инерции два раза повернулся, думая, как их продезинфицировать. Было очевидно, что в силу своей природы я не был в состоянии думать нормально. Наконец мне удалось зарядить шприц, я поместил его в трубку и положил в карман своей жилетки. Габриель смотрел на меня, не говоря ни одного слова, и когда я закончил и остановился, глядя на него, то он мне дал следующее наставление:

— Я рекомендую вам спокойствие. Чтобы добиться его, сконцентрируйтесь сейчас только на том, что вы должны будете делать лично. Не думайте больше ни о чем, предоставьте каждому действовать самому, не заботясь о том, будут ли они действовать хорошо или плохо. А! Еще одна последняя вещь: если будете задержаны, то вот ваш новый паспорт, просмотрите его сейчас же. Вы доктор поляк, едущий в Испанию, где вы уже были, в республиканскую армию. Вы ничего не знаете о Миллере. Вам сообщили ваши товарищи, тоже офицеры из

Испании, что дело касается какого-то полковника из бригады, который дезертировал по причине своей умственной ненормальности и что предполагали только отвезти его в больницу. Ваши товарищи скажут, что они вас обманули. Согласны? Больше мы не смогли для вас ничего сделать. Вас моментально отпустят на свободу, потому что, раз не будет пролита кровь, то они должны будут потребовать денежное поручительство. Оно будет вручено немедленно и мы выедем из Франции. Я не могу предстать перед комиссаром без вас, знайте это для своего спокойствия.

Я заучил свое новое имя и прочие детали о своей официальной личности. Я был неким Казимиром Стемлером, доктором, происхождением из Лодзи.

Мы вместе вышли в сад. Вправо от двери я увидел крытый грузовик среднего размера. Я не запомнил других подробностей, так как мы сели в машину и поехали. Петр открыл нам ворота на улицу, и Габриель предупредил его, чтобы он был настороже, начиная с двенадцати часов. Человек, получивший, по-видимому, предварительные инструкции, дал свое согласие, и мы поехали.

Стоял чудесный день, даже мои мрачные мысли не мешали мне восхищаться чистотой и радостью, которые придавало солнце растительности, воздуху и людям. Этот воздух, нежный и с порывами благоуханного ветра, казалось, хотел унести от меня мои мучительные мысли.

После длительного объезда по окрестности – мы въехали в самый Париж. Дома составляли уже законченные улицы, чем дальше, тем более роскошные и красивые. По бульварам и тротуарам циркулировало много людей. Это мало могло содействовать успеху, дождливый день уменьшил бы количество свидетелей на улицах. Я даже ласкал себя иллюзией, что все вдруг отменится в последний момент. Мы остановились близко около одного бара.

— Подождите меня здесь — сказал мне Габриель и вошел в это заведение. Я посмотрел на свои часы, было двадцать минут двенадцатого, Габриель задержался только на момент. — Он находится еще в Центре Белых — сказал он. — Мы должны ждать сообщений.

Прошло уже четверть часа, когда подошел какой-то индивидум, и я услышал, как он сказал:

— Сейчас уже вышел.

— Пешком? — спросил Габриель.

— Да, пешком, — ответил незнакомец.

Этот короткий разговор произошел так, что они не глядели друг на друга, как будто бы они друг с другом и не разговаривали. Прошло еще несколько минут, прошел опять другой и таким же образом сказал:

— Он вошел в метро Марбеф — и удалился.

Глядя на это обилие людей, я подумал. Что тут мобилизовано все НКВД. Габриель пустил в ход машину, но мы проехали только небольшой отрезок, он завернул за ближайший угол и остановился позади другой машины, имевшей еще более старый вид, чем наша.

— "Сойдите тоже, доктор", — приказал он мне, открыв передо мною дверцу, я вылез, и мы оба подошли к машине, стоявшей впереди.

— "Садитесь", — сказал он мне, открыв передо мною дверцу. Внутри машины я увидел моих трех знакомых. Не закрывая еще дверцы, Габриель разъяснил мне:

— Едет подземкой, выйдет через станцию Жасмин на улице Моцарта, не дайте ему дойти до улицы Рафет, когда вы с Миллером будете переходить через улицу Жасмин, то машина наскочит на всех троих. Ты, Суслов, держи дверцу приоткрытой и раскрой ее нараспашку, когда доедете до них и начнете действовать, — затем он двинул суставами пальцев стекло внутри и шофер открыл его, чтобы выслушать:

— Тормоза в порядке?

— Да, товарищ, — ответил он.

— По голосу этого товарища затормози моментально, но не останавливая мотора, увеличивь скорость и тронешься, как только все будут внутри, я буду с моей машиной рядом. Понятно? Поставить машину на ул. Моцарта, перед входом в Метро... А! Не забудь после того, как тронешь машину, вынуть наружу руку. Больше ничего. Поехали.

Он закрыл дверцу и смотрел, как мы удалялись. Мы проехали только два квартала и снова остановились... Два немца вышли из машины, я видел, как они франтовато шли, они были более элегантными, чем в тот момент, когда я с ними познакомился, по моему мнению у них вид был слишком немецкий и военный. Мы видели, как они остановились у входа в

Метро, но в таком месте, где их не могло бы увидеть лицо, выходящее оттуда. Названный Сусловым следил глазами за ними и шофер также. Мотор был в действии. Я почти что ничего не замечал, сердце мое билось так, как будто бы хотело выскочить из груди, я не дрожал, но ощущал в верхней части желудка такое чувство, как будто бы меня там скребли. Я несколько раз смотрел на часы, но не мог удержать в памяти, сколько прошло минут, я утратил чувство времени, и у меня было ощущение, будто наше ожидание длится вечность.

Я услышал горловой крик моего соседа, когда машина двинулась, то я тогда заметил, что немцы сошлись с третьим человеком на этой же стороне тротуара улицы Жасмин. Больше я почти что ничего не видел, я видел, что машина разворачивалась, ускоряя ход. Я сжал рукой трубку под своей американкой. Суслов держал в руках ручку дверцы, я соскользнул в его сторону, и он меня оттолкнул в противоположный угол левой стороны машины и, думаю, что он что-то повредил мне своей рукой. Дверца раскрылась настежь, и я увидел поблизости несколько фигур, которые суетились, толкая друг друга, другая машина, прошла очень близко параллельно нашей, чуть не наехав на них. Это длилось один момент. Какой-то человек всунул голову и плечи в дверцы. Суслов с ловкостью кошки охватил его обеими руками за шею и втащил его, один из немцев тоже подталкивал его сзади. Криков не было, но слышен был прерывистый голос. Шум от мотора не давал возможности что-либо расслышать. Я согнулся и как бы хотел исчезнуть. Не знаю как, Миллер, ибо это должен был быть он, оказался около меня, чуть ли не сверху меня, а Суслов продолжал сжимать его за горло своими руками. Вошел еще один из немцев, и дверца за ним захлопнулась.

Когда я перечитываю описание этого критического момента, то нахожу его достаточно верно описанным, но я не смог избежать того, что получилось впечатление, будто все продолжалось долгое время. Нет, я уверен, что для входа Миллера в автомобиль понадобилось времени не больше, чем понадобилось бы и мне, чтобы сесть в любой другой автомобиль. Когда позже я восстановил перед собой эту сцену, то я убедился в том, что она должна была пройти незамеченной для ближайших людей. Лицо, не предупрежденное о происшедшем, ничего не могло увидеть. Даже если бы кто-нибудь и знал о

том, могло произойти, то он должен был бы находиться на середине улицы или на балконе, ибо кузова обеих машин закрывали вид с боков, и никто не мог видеть с тротуара дверцу нашей машины. Лишь только кто-либо, находившийся на прямой линии, которую можно провести между двумя машинами, мог что-нибудь увидеть, поскольку я определил расстояние между ними в тот момент не более чем в один метр.

Когда я хотел дать себе отчет о происшедшем, мы уже ехали с нормальной скоростью. Взгляд немца, стоявшего на коленях впереди меня, спиной к передней части автомобиля, обратился ко мне. Я должен уже действовать — подумал я, и трубка, которую я сжимал в своей руке, мне это подтвердила. Я извлек неуклюжим движением шприц. Немец держал генерала за обе ноги, я сделал укол в ляжку и впрыснул жидкость. Мне казалось, что поршень никогда не дойдет до конца. Затем я забрался в свой угол и больше не хотел смотреть. Я закрыл глаза, и у меня появилась мысль, что Суслов задушит генерала. Я подскочил и посмотрел с испугом. Генерал не шевелился, и после двух неудачных попыток заговорить я смог сказать:

— Вы его не задушите?

— Нет — ответил он, — эта хватка позволяет ему прекрасно дышать, но ты скажешь, когда я смогу его уже отпустить.

Я не знал, много или мало минут прошло после инъекции и должен был сказать ему: — "Попробуйте, посмотрим".

Он медленно разжал свои руки, как будто освобождая птицу и боялся, что она улетит, а он снова был наготове ее зажать, но без сомнения генерал не мог уже говорить. Он только сделал еще одно движение и вскоре стал неподвижным.

Я не мог себе дать отчета в том, сколько прошло времени, пока мы прибыли. Шофер нажал гудок три раза и вскоре после этого завернул, глянув в окошко, я узнал, что мы находились в саду дома, где я жил. Немец сошел и я тоже. В этот самый момент въехала машина Габриеля, и за ней закрыли ворота. Петр, немец и Суслов перенесли генерала вовнутрь дома. Когда его вытащили из автомобиля, я бросил взгляд кругом изгороди сада: я боялся, что кто-нибудь смог бы увидеть эту операцию из какого-нибудь дома или из соседнего возвышения, но не различил ни одной постройки, которая доминировала бы над нашей, ясно, что выбор дома был хорошо продуман.

ман.

Я и Габриель вошли вслед за людьми, переносившими генерала, и закрыли за собой дверь. Миллера положили на низкую кровать, находившуюся в комнате налево. Я прошел туда, чтобы исследовать его состояние, и нашел его нормальным. Поскольку действие инъекции должно было длиться еще более трех часов, по крайней мере, то мне нечего было делать.

Суслов остался для надзора, а остальные вышли. Шофер остался во дворе, и Габриель вышел с Петром в сад. Через дверь я увидел, как тронулось "такси" вероятно, оно уехало, так как я его больше не видел. Вернулся Габриель и, обращаясь ко мне и к немцу, стал рассуждать,

— Как не хочешь все предвидеть, всегда забывается что-нибудь важное. Я не вспомнил про метро, а подумал только о том, как он может прибыть или машиной, или пешком. В результате мы избежали необходимости действовать в предназначенном месте, и хотя оно было недалеко, но появилась возможность избежать присутствия людей, которые бы нам помешали. Затем я боялся также, что он может притти с охраной на некотором расстоянии, но даже и в этом случае, тот "сэндвич", который мы устроили с машинами, позволил нам ловко спрятать генерала, и поэтому невозможно было сразу же все понять и увидеть. Но я уж говорю слишком много. Ты, товарищ, останься, доктор и я - мы уезжаем. Поднимитесь в его комнату, и пусть Петр быстренько поможет вам снести его багаж. Поторопитесь.

Тот выполнил приказание со всей поспешностью и через пять минут уже вернулся, спустившись с моими двумя чемоданами и маленьким чемоданчиком. Габриель и я вышли из дома и поехали на машине.

— Ну, как дела с нервами, доктор? — спросил он меня.

— Испуг не дал мне возможности реагировать.

— Испуг? Почему? Все произошло абсолютно правильно и легко. Конечно, в вашем воображении выработались несоразмерные представления о событии, ибо вы столько времени об этом думали.

— А разве это не было на самом деле нечто поразительное?

— Само по себе - нет, я же это видал. Дело, если на него смотреть без участия воображения, кажется простым. Вопре-

ки всяким предположениям - улицы не являются очень опасным местом для действий. Да, имеются люди, которые могут нарушить план, но при условии, что они будут иметь возможность реагировать, но они не реагируют, если не способствовать их ожиданиям. На самое бросающееся в глаза, на звук выстрела реагирует индифферентно почти что большинство людей, если к тому же не слышно криков и на видно беготни перед выстрелом или после него, ибо каждый занят своими собственными проблемами или наблюдениями. Улица, по которой движется людская масса, гарантирует при непредвиденных и молниеносных действиях почти что такую же безнаказанность, как и тропический лес. Да, в результате - это есть лес из передвижных кустов.

Я понял, что Габриель хотел рассеять меня этими лекциями по психологии уличных масс, для него это была экспериментальная психология.

Мы уже опять въехали в крупные артерии Парижа и в окружении движущихся автомобилей прибыли на авениду Елисейских Полей. Теперь мы стали ехать медленно. Мы отъехали немного в сторону от авениды и задержались перед кафе. Когда мы вышли, Габриель закрыл на ключ дверцу автомобиля. Мы вошли, и он предложил мне сесть, он положил на столик газету, купленную по пути, и сказал:

— Попросите пару рюмок и читайте, пока я поговорю по телефону.

Закурив папиросу, он удалился, проходя перед людьми со своей обычной непринужденностью. Я выполнил то, о чем он распорядился. Я не попробовал поданного напитка, потому что, держа газету в руках, я вспомнил, что там уже могло появиться что-либо о нашем похищении, поскольку было уже больше двух часов дня. Я взволнованно пробежал глазами по всем страницам, впиваясь в заголовки, но ничего не вычитал. Кажется, я вздохнул с большим облегчением и смог закурить и выпить.

Габриель не возвращался долгое время, когда же вернулся, то садясь успокоил меня:

— Наша информация не доносит ни о чем ненормальном. Уже можем утверждать что никто не дал себе отчета о происшедшем в момент его реализации. Что касается "белых" русских, то там ничего особенного не замечено. Можно почти что

утверждать, что до этого момента отсутствие генерала для них является вполне нормальным. Пойдемте, можем завтракать вполне спокойно.

Мы завтракали в скромном ресторане. Габриель говорил по телефону три раза за те полчаса, что мы там сидели,

Невозможно выполнить — сказал он, вернувшись последний раз — я имел намерение выехать сегодня же, забрав с собой и человека, но имеются затруднения с самолетом, У МОТОРА КАТАРР, И ДО ВЕЧЕРА ЕГО НЕ ПОПРАВЯТ. Я хотел использовать эту передышку, чтобы вылететь, предполагая, что "белые" и полиция пока что еще ничего не знают.

— Да — согласился я, — это было бы лучше, я все время сижу как на иголках.

— Почему, доктор? Для вас опасность уже миновала. Никто не имеет вашей личной характеристики, никто не видел вас в действии... чего вы боитесь?

— Да, это правда, но я беспокоюсь за окончание дела.

— Хорошо, ждать еще осталось немного времени. Завтра вылетим из Франции, Идемте. Ну как, сможете спокойно уснуть? — спросил он у меня.

Я ответил утвердительно и мы вышли. Он завез меня в маленький домик, где я жил, когда был последний раз в Париже. Он оставил меня там с моим багажом.

— Выспитесь хорошенько, доктор — посоветовал он мне на прощание, — а я уже заеду за вами.

В ИСПАНИЮ

Я проснулся внезапно. Сон одолел меня, по-видимому, в последние часы, и когда меня позвали, то я с большим трудом пришел в сознание. В первый момент я не знал, где я нахожусь и не соображал, кто я такой, я не узнал также того лица, которое меня будило, тряся меня за плечо. Наконец я узнал хозяйку. Ей сообщили по телефону, чтобы она меня разбудила.

Минут через двадцать после этого я услышал, как у дверей остановился автомобиль. Через момент вошел Габриель, спрашивая меня, хорошо ли я отдохнул. Я уже кончал умываться и в скором времени был в его распоряжении. Мы выехали сразу же, и когда машина тронулась, он мне сказал, что первоначально мы поедem в тот дом, где остался генерал, для того чтобы я опять усыпил его, прежде чем будет предпринято путешествие.

Было, вероятно, часа три утра с минутами, небо было почти что чистое, кое где были разбросаны облака, и звезд не было видно.

По прибытии в дом я приготовил инъекцию, на этот раз с предварительной стерилизацией, я прошел в комнату, где находился генерал. Он уже проснулся и был одет. Его держали привязанным за руки и за ноги к четырем ножкам кровати. Рот у него не был заткнут, но он хранил абсолютное молчание. Он посмотрел на меня глубоким и серьезным взглядом, я не прочел в нем страха, но беспокойство, ибо он следил глазами за всеми моими движениями. Присутствие человека с прибором для укола в руках, направляющегося к нему, не было явлением успокаивающим, что я понимал вполне: я должен был сделать над собой усилие, чтобы не выразить никаких эмоций, и это мне удалось. Первое мгновение я думал успокоить его предварительно, но присутствие русского и Петра парализовало мой язык, и так уже сделавшийся неподвижным из-за стыда, которым я был охвачен, и от чувства отвращения к самому себе.

Я ограничился только тем, что сделал инъекцию, спрятав свои глаза от взгляда генерала, мускулы руки у него были на-

пряжены, и это напряжение одно только и выдавало его патологическое состояние, он не жаловался и не говорил, и даже не было заметно ни малейшего сокращения мускулов.

Закончив, я сразу же вышел под предлогом спрятать шприц, а на самом деле, чтобы не страдать больше в присутствии жертвы. Я не вернулся, дав время подействовать инъекции, и решил курить, прогуливаясь. Петр вышел и в скором времени пригласил меня в столовую завтракать. Завтрак, состоявший из кофе, масла и гренок, был уже подан. Габриель и два немца уже завтракали: после полагавшегося приветствия они пригласили меня сесть с ними. Я завтракал без аппетита, они окончили раньше и вышли, я решил остаться сидеть здесь после завтрака и не двинулся с места, хотя слышал шум от шагов, ходивших взад и вперед, мне даже показалось, что я услышал шум от удаляющегося мотора.

Когда Габриель позвал меня, то я увидел только Петра.

Он сказал мне, что мы уже едем. Прежде чем сделать первый шаг я глянул в комнату, в которой находился генерал, дверь туда была открыта и кровать была пуста. Я вопросительно посмотрел на Габриеля и он мне сказал: "Его уже повезли". После этого мы вышли. Петр запер дверь дома и ворота на улицу, а затем приспособился на заднем сидении нашего автомобиля между чемоданами, и мы тронулись в путь.

Стало светлее, но солнце еще не показалось. В молчании мы втроем покинули Париж. После езды с хорошей скоростью мы остановились часа на полтора.

Мы ожидали порядочно долго на перекрестке дорог, время от времени проезжали мимо нас грузовики всевозможных размеров. Из них один, с фургоном из брезента, остановился рядом с нашей машиной. Его вел незнакомый мне человек, который обратился к Габриелю:

— Привет, товарищ, все хорошо, уже погружено.

— Хорошо, — ответил Габриель, — мы едем товарищ, привет.

Так как грузовик остановился с той стороны, где сидел я с левой стороны, то я, немного высунув голову, видел, как он отъехал, на матрикуле у него стояли буквы С. Д, нетрудно было угадать по словам, которыми они перебросились и по буквам С. Д. /Cuerpo Diplomatico/, что под защитой неприкосновенности Советского посольства генерала перевезли этим ут-

ром, оставив его "без перемен" в каком то месте... Но где? Сейчас я припомнил, что этот дипломатический фургон был точно такой же, как грузовик, который я видел в углу сада в момент выхода для осуществления похищения Миллера на ул. Моцарта.

Все эти размышления пришли мне в голову, когда мы уже опять ехали, и я, углубившись в них, не заметил, много ли прошло времени до момента прибытия. Когда мы остановились, то находились перед въездом на аэродром. Не видно было движения машин, ни прибывающих, ни отъезжающих пассажиров, Мы поспешно вышли, неся втроем чемоданы. Какой-то хорошего вида господин разговаривал несколько минут наедине с Габриелем. Я стоял на расстоянии нескольких метров, и хотя до меня не доносилось ни одного слова из их разговора, но почтительное и серьезное отношение их друг к другу говорило о том, что это была какая-то важная особа. Габриель не двигал ни руками, ни ногами, не жестикулировал, я хорошо знал, с какой живостью и непринужденностью обращался он с себе равными или с чужими людьми, чтобы не понять, что перед ним находилась персона. Я видел, как они распрощались без выражения чувств, протянув друг другу руки. Тот тип высокого ранга не удостоил нас взглядом и остался стоять на том же самом месте, пока мы удалялись.

После того, как мы прошли через проход, мы вступили на зеленую взлетно-посадочную дорожку. Невдалеке находился серый двухмоторный самолет с очень изящными крыльями. Около него находился французский офицер и несколько солдат, а попеременно с ними еще несколько человек в штатском самого различного вида. Один из этих последних, очень хорошо одетый, приблизился к Габриелю и заговорил с ним по-русски, сопровождая его до лестницы, приставленной для подъема на самолет, по ней поднимался человек с большим ящиком на спине. Габриель отдал Петру несколько ключей и простился с ним. Вслед за этим мы оба поднялись по лестнице. Аэроплан был гораздо меньше размерами, чем тот, советский, в котором я прибыл в Париж, но сиденья в нем были гораздо более комфортабельными. Я еще не успел сесть, как приметил на полу погруженный в самолет сундук, хорошо прикрепленный и очень похожий на тот, в котором путешествовал Гамарник.

Габриель настаивал перед русским, поднявшимся с нами на борт, чтобы наш отлет был ускорен, тот обещал и ушел. В скором времени заперли двери самолета, и моторы начали гудеть. Аппарат покатился по траве, докатившись до конца поля - сделал поворот и на момент остановился, а моторы, тем временем, увеличили свой грохот. После остановки на несколько минут самолет двинулся опять и вскоре я уже смотрел на распростершуюся перед моими глазами французскую землю.

— Через сколько времени он проснется? — спросил меня Габриель, указывая взглядом на сундук.

Я сделал мысленно расчет и ответил:

— Часа через три.

— В таком случае я могу предаться сну. Прошу вас разбудить меня, когда вы будете считать, что настал момент для освобождения нашего человека, я пообещал выполнить это, — и Габриель, приклонившись к спинке кресла и ничем не прикрывшись, закрыл глаза, по его равномерному дыханию я мог судить, что он заснул моментально.

Я тоже облокотился на кресло, стараясь подавить в себе желание закурить.

Спать мне не хотелось и я занялся рассматриванием панорамы. День был тихий, хотя небо не прояснилось, со всех сторон появились разбросанные облака. Неожиданно меня удивило то, что, как я заметил, солнце находилось от нас с левой стороны, чуть ли не за спиной у нас.

Слегка подумав, я сообразил, что мы летим в юго-западном направлении... "Не к океану ли?" — задал я себе вопрос. "Мы летим в направлении, повернувшись спиной к России" — сделал я вывод. Это встревожило меня, я совершенно не мог понять, куда могли мы направляться подобным курсом. Мое воображение, чрезвычайно возбужденное большим количеством сильных впечатлений, заставило меня заподозрить, что Габриель, я, а также генерал, можем сделаться жертвами захвата со стороны команды самолета. Окружавшая меня преступная среда была способна воздействовать на меня таким образом, что я смог бы поверить в какой-нибудь абсурд, как в свое естественное в мире дело.

И так, при виде того, каким курсом шел самолет, мне показалось вполне очевидным и определенным, что похитители и похищенный в свою очередь могли бы быть похищены. Не

раздумывая больше, я стал с силой трясти Габриеля.

— Уже? — спросил он меня, вскочив и глядя на меня сонными глазами.

Я, сильно жестикулируя, пытался обратить его внимание на то, каким странным курсом мы летим. Он не смог понять меня, а я, не желая быть услышанным, приблизился к нему и сказал тихим голосом:

— Мы летим курсом на юго-запад.

Но из-за шума моторов он не мог меня расслышать, и я принужден был повторить громким голосом.

— Ну и что?

— Но разве мы не летим в СССР?

— Нет, доктор, непосредственно нет.

— А как же?

— Летим в Испанию.

— Даже и так... не понимаете?

— Да, мы направляемся в Мадрид, мимоходом залетим на северное побережье Атлантики. Пожалуйста, дайте мне поспать.

Я оставил его в покое и вернулся на свое место немного смущенный и с чувством раскаяния.

Тем временем мы пролетели уже порядочное расстояние, мне казалось, что я могу различать там вдали, в том направлении, куда мы летели, берег. Прошло еще немного времени, и море было уже под нами, а наш самолет полетел определенно в южном направлении. Достигнув моря, наш самолет придерживался определенного расстояния от берега, не теряя его из вида на протяжении часов двух. После этого мы углубились в море и шли курсом больше на запад.

Мне показалось, что уже наступила пора будить Габриеля, и я, посмотрев, сколько прошло времени, так и сделал. После того, как он заснул, прошло уже три часа.

Еще не совсем проснувшись, он глянул на свои часы и убедившись в том, который час - отряхнулся окончательно от сна. Ничего не говоря он поднялся и подошел к сундуку, он открыл замок и устроил так, что железные полосы, обвивавшие сундук в разных направлениях, отскочили, оторвав одновременно большие сургучные печати, плотно прилежавшие к полосам и к крышке, а затем приподнял ее. Я тоже подошел и увидел спящего, неподвижно лежащего связанного генерала.

Сейчас это меня не тронуло: только я нашел, что его положение, с коленями, чуть ли не касавшимися подбородка, не достойно его особы, если он, проснувшись, увидит это.

Габриель косвенно занялся его высвобождением. Он поднял сундук, поставив его в вертикальном положении, и когда он это сделал, то ноги генерала расправились и вышли за пределы сундука. Он попросил меня помочь ему, и мы вместе извлекли оттуда, не без усилий, Миллера, проделывая одновременно эквилибристику, ибо как раз в этот момент самолет производил какие-то сильные движения. Наконец мы поместили его в одно из кресел, где он и оставался сидеть без сознания, ибо находился еще под воздействием наркотика.

Я выглянул наружу и увидел, что мы находимся над открытым морем. Там и сям виднелись пароходы, производящие впечатление детских игрушек. В это утро и море и небо были затуманенными и печальными.

Меня отвлек от наблюдений парень, появившийся в дверях кабины управления, который, обратившись к нам, сказал по-русски: "Прибудем не позже, чем через тридцать минут", а затем опять исчез.

Габриель посмотрел на генерала, по-прежнему погруженного в самый глубокий сон.

— Он не проснется? — справился он у меня.

— По расчетам он уже должен был проснуться, но это нормально, так как при его возрасте этот процесс замедляется — ответил я.

С левой стороны от нас уже была хорошо видна земля, это были высокие горы, вершины которых были окутаны облаками. Через некоторое время самолет сделал поворот, наклонив одно крыло, создалось странное впечатление, как будто поднималось море, и оно было похоже на скатерть, которую стягивают со стола. Теперь мы летели уже над землей, местность эта была очень пересеченной, почти что вся зеленая и покрытая бесчисленными коричневыми четырехугольниками. Там и сям небольшие поселения и много изолированно стоящих домов. Мне все это нравилось несмотря на знакомое уже неприятное состояние в ушах по мере того, как мы приземлялись. В этот момент я увидел, что Миллер сделал несколько движений, увеличение давления содействовало тому, что он стал освобождаться от действия отравления. Я больше уже ни-

чего не видел через окошко, решившись не упускать его из виду ни на один момент. Так мы незаметно и приземлились. Мы не сошли с машины ни в момент остановки, ни после того, как уже перестали работать пропеллеры. Удивленный этим я высунулся и увидел, как несколько человек подталкивали аэроплан, таща его на буксире по направлению назад. Я не мог себе объяснить этот странный маневр, я видел, как крыло с моей стороны почти что касалось стволов разных деревьев, и как дневной свет несколько уменьшился внутри аэроплана и снаружи. Наконец, когда мне стали видны уже на близком расстоянии прямые стволы окружавших нас со всех сторон деревьев, то остановили, и пилоты вышли из кабины управления. Открыли двери, и они вместе с Габриелем сошли с самолета. Габриель сказал мне, чтобы я подождал и присмотрел за генералом. Миллер приходил в себя моментами и все чаще и чаще делал усилие овладеть своими движениями, наконец, он замигал глазами, стараясь открыть их. Я ничего не делал, чтобы ускорить его пробуждение, я предоставил его самому себе восстанавливать медленно свои чувства. "Зачем же — думал я — сокращать ему время, раз он не страдает".

Я услышал за своей спиной шум: это вернулся Габриель с двумя или тремя мужчинами, с которыми он разговаривал на незнакомом мне языке, но который, как мне помнилось, должен был быть испанским. Двое из сопровождавших его взяли Миллера и посадили на переплетенные руки, а третий поддерживал его под спину. Это были высокие коренастые парни, которые очень легко управлялись с "больным". Вслед за ними сошли мы, и я увидел, как генерала положили на носилки, стоявшие поблизости. Тем временем к нам подъехал автомобиль, оказавшийся автомобилем скорой помощи Красного креста, так как на всех боках видны были на нем большие красные кресты. В машину поставили носилки с генералом, и Габриель разъяснил мне, что я тоже должен поместиться там же, добавив, что он будет ехать в другой машине позади нас. Я устроился возле носилок, а затем вошел врач или фельдшер, одетый в белый халат с повязкой Красного Креста на рукаве. За ним закрылись задние двери, и мы поехали.

Я не видел дороги, по которой мы ехали. Свет в машину проникал только через два окошечка, помещенные в передней части и почти что загороженных шофером и другим челове-

ком, сидевшим рядом. Путешествие длилось более получаса. Сходя, я увидел дом типа особняка, чуть ли не дворца, окруженного садом и фруктовыми деревьями и расположенного на возвышенном месте около моря. Вслед же прибыл автомобиль, на котором ехал Габриель. Его сопровождало четверо незнакомых мне лиц: двое были одеты целиком в военную форму, а двое других только частично, не знаю, были ли все они испанцами. В дверях стоял часовой со скучающим видом, беспрестанно менявший положение ружья, как будто оно ему мешало. Вокруг видны были солдаты в небрежных формах и с энергичными лицами. Вытащили носилки и понесли их во внутрь. Габриель заботился обо всем и ходил взад и вперед, пока в комнате нижнего этажа не поместили Миллера, который уже проснулся и с удивлением осматривался во все стороны. Поставили у дверей солдата, а другого внутри комнаты. Габриеля и меня провели в просторную столовую, где уже был накрыт стол. Этот дом был, по видимому, в свое время роскошным жилищем, следы богатства и утонченности были очень многочисленны: картины, ковры, посуда и обстановка были хорошего качества и со вкусом, но все это было довольно запущено, грязь, повреждения и беспорядок придавали общему виду жалкий оттенок. Тем не менее эти остатки комфорта и роскоши были для меня чем-то необычайным. Просторный сад, тоже очень запущенный, служил как бы изящной рамкой. Я был бы счастлив иметь возможность провести здесь остатки своих дней, само собой разумеется, только без этих криков, смеха и голосов, а кроме того, без ужасного шума от стука подбитых железом ботинок, от которых оставался след на натертом воском полу, как будто бы здесь ходили лошади.

Мы превосходно пообедали. Кухня не была изысканно утонченной и искусной, подобно французской, все было просто и несложно, вмешательство повара ограничивалось только элементарными приправами. Главным в каждом блюде было натуральное качество продукта, все было прекрасного качества: мясо, рыба и другие продукты моря имели свой собственный вкус, характерный и утонченный, такой, как их создала земля и море, не прикрашенный ни соусами, ни сложными манипуляциями. Фрукты, а в особенности яблоки, были превосходны и нежны: казалось, что все остальные фрукты были обыкновенными, а эти были специальным произведением

природы.

Аппетит у нас был большой, и мы не начинали разговора, предавшись целиком удовольствию наслаждаться этими столь вкусными и новыми для меня вещами.

Разговор завязался, когда мы услышали далекий и повторяющийся шум, доносившийся издалека и похожий на гром.

— Буря? — спросил я с удивлением, ибо день был ясный и нормальный.

— Нет, бомбардировка — ответил мне Габриель. — Это авиация повстанцев атакует порт, но не пугайтесь, доктор, мы находимся на расстоянии многих километров от того места, где падают бомбы.

— А где же мы находимся?

— Я уже вам сказал, мы находимся в Испании.

— Я это знаю, но в каком месте?

— На севере полуострова, на узкой полосе земли, окруженной фашистами со всех сторон, ну ясно, со всех, кроме моря и воздуха.

— Очень близко от фашистов?

— Да, самое большее около ста километров, а самое меньшее на тридцать или сорок, но не бойтесь и не воображайте себе, что можете попасть в плен. Мы выедем отсюда гораздо раньше, чем дойдут до этого места, где мы находимся, фашистские авангарды.

— Значит, победят коммунисты?...

— Классически - да.

— Не понимаю.

— Натурально, что не понимаете, вы не можете понять. Но не чувствуйте себя униженным, крупные европейские дипломаты тоже не понимают этого. Это один и тот же случай.

Мы окончили завтрак и нам сервировали на маленьком столике у окна бутылку ликера и кофе. Мы перешли туда и уселись на диван и на одно из кресел, составляющих уютный уголок. Далекий гром от бомбардировки смолк и панорама, раскрывшаяся перед нами через окно, была одной из самых прекрасных и мирных. Я хотел использовать возбуждение после еды и от окружающей обстановки с целью вызвать Габриеля на секретные признания. Всегда время после еды было удобным для моих повторных попыток заставить его говорить.

— Вы сказали, Габриель — возобновил я разговор, — что я нахожусь на том же уровне, как и любой европейский дипломат. Могу ли я узнать, в чем именно?

— Мы говорили о победе фашистов в Испании, не об этом ли?

— Да, вы сказали о победе, но квалифицировали ее классической... Что это обозначает?

— Не легко раз"яснить вам это, учитывая ваше полное незнание с предыдущим.

— Возможно, что и недостаточно для понимания то, что я был в Мадриде и читал в буржуазной и в советской прессе все, что писалось об этой гражданской войне, поскольку она в эти годы была событием, завладевшим страстями и вниманием всего мира, но я думаю, что я достаточно хорошо понял то, что здесь разыгрывается важная битва против фашистской экспансивной агрессии Гитлера и Муссолини, разве это не так? А если так, то поражение антифашизма всегда будет поражением. Есть или нету тут у меня логики?

— Да, логика есть, но логика первых ступеней самая элементарная.

— Но вы не будете защищать ту мысль, что поражение фашизма - это триумф коммунизма?

— Коммунизм - это СССР, доктор, до каких пор вы не будете знать этого?

— А фашизм - это его враг, не так ли?

— Фашизм - это не враг, есть только один враг - капитализм. Фашизм - это наименование одной из фракций капитализма, одна из его форм, последняя из тех, которую они могут принять и покровительствовать ей. Да, мы враги фашизма, но в той мере, поскольку он является капитализмом.

— Хорошо, но я никак не могу понять соотношения между столь ясной теорией с вашим неожиданным утверждением, что поражение антифашизма здесь является чем то вроде победы коммунизма. Это абсурдно с вашей же собственной точки зрения.

— Я не разговариваю с вами в плане пропагандном, вы - не масса. Какая стратегия будет самой удачной и гениальной как во время революции, так и во время войны? Не та, которая добивается победы, проливая свою собственную кровь, Это есть классическая победа. Великая стратегия, стратегия

нашего гениального Сталина, это такая, которая добивается поражения врага, не пролив ни одной капли коммунистической, т.е. советской крови.

— А какова же эта столь гениальная и чудесная стратегия?

— Заставить нашего врага бороться против самого себя. Разве это не гениально? Это столь же гениально, как и просто, получается в результате аксиома.

— Да, в самом деле, в теории это нечто превосходное. Ну хорошо, а теперь: трудность состоит в том, чтобы добиться самоуничтожения врага.

— Вполне правильно, здесь уж необходимо искусство, искусство повыше Ганибалова или Наполеоновского, но не думайте, что здесь необходимо чудо.

Капитализм имеет в себе противоречия, противоречия экономические, поэтому принцип разрушения уже заложен в нем самом, достаточно усилить эти его противоречия и довести их до высшей степени. Получится революция, гражданская война или война между государствами. Теперь вам ясно видно? Революция и война разрушает врага, разрушает капитализм, он сам по себе разрушается, хотя СССР не вступает в борьбу. Понятно?

— Теория чрезвычайно ясна, но я повторяю, что не вижу где и как она реализуется.

— Вы не видите этого, доктор? Но вы же находитесь в самом центре этой реализации! Только что вы подскочили, услышав грохот от бомбардировки. Кто там умирает? Не говорите мне, что умирают лояльные или повстанцы. Умирают только испанцы. Знайте это сразу, что каждый человек, каждый класс, каждая нация, если она мне примкнула через коммунизм к СССР, - является его врагом, враг действующий или потенциальный - это все равно. А враг существует только для того, чтобы его разгромить. Это настолько очевидная аксиома, что ее нельзя даже оспаривать.

— Итак, целью этой войны является только то, чтобы испанцы убивали друг друга?

— Если мы сократим этот вопрос до самого простого детского понимания, то да. Но никогда цель не бывает абсолютна, цель, действие всегда являются, сами по себе, средством для

другой более возвышенной цели. Тут имеется и другая цель, цель интернациональная, цель универсальная.

— Не является ли это одним из ваших парадоксов или ваших секретов? — спросил я, желая задеть его тщеславие.

— Вы добились доверия в силу своей лояльности и благоразумия. Помимо этого вы уподобляетесь ввиду обстоятельств, запертой гробницей для любого секрета. Я не буду больше теоретизировать с целью, чтобы вы меня поняли.

— Спасибо, слушаю всеми своими пятью чувствами — поблагодарил и подстрекнул я его.

— Эта маленькая война, одновременно война и революция, были "скачком коня" Сталина на шахматной европейской доске. Знайте, доктор, что она была спровоцирована нами.

— Как? Техника провоцирования войны должна быть очень любопытной.

— Не было нужды в технике очень сложной. Ситуация была нам дана, и она была отличная для провоцирования войны.

— Ситуация, предварительно созданная Москвой?

— Нет, это была ситуация, которая нам была предложена бесплатно.

— Кем?

— Капитализмом, и если вы хотите более точное название, то его демократической формой.

— Если не уточните больше, то не смогу понять.

— Хочу сократить. Не знаете ли вы кое-что из всемирной истории в отношении Испании?

— Самое элементарное или, может быть, немного больше.

— Кое что. Вы должны знать чем была и что есть теперь Испания. Она дошла до того, что стала одной из первых и крупных современных Империй. Это уже нечто экстраординарное в народе. Если вы хотите найти наиболее точную параллель для Испанской Империи, то только можете указать на СССР.

— Невероятно, история определяет ее, как наиболее враждебную.

— Вот, благодаря этому самому. Диаметрально противоположное в результате оказывается равным, но в обратном порядке. Если Испания, вместо того, чтобы служить христианству, будет обслуживаться коммунизмом, то ее Империя, дос-

тигшая почти что мирового значения, станет планетарной и вечной.

— Это заключение слишком смелое по моим понятиям.

— Абсолютно нет. У Испании хватило сил для открытия и овладения почти что всеми известными нам землями, но христианство породило дуализм власти... Те, которые восставали против короля, будь то отдельный человек или народ, хоть бы и обращенный этой самой властью в христианство, продолжал оставаться христианином. И это было для нее фатально. Вот, если бы испанский король был бы одновременно и главой католической церкви!

— Тогда он стал бы божественным Цезарем, или Александром, или Нероном.

— Но это ему запретила бы его собственная вера – его христианство. Вот поэтому при коммунизме, который отрицает рассудком всякую религию, не может быть дуализма и тот, то восстает против СССР, перестает быть коммунистом, несмотря на всю свою ортодоксальность. В вашем понимании, доктор, вы совершаете покушение на догмы единства и универсальности. Вы это понимаете теперь?

— Хорошо, но продолжим обобщение.

— И в чем же я виноват, если вы являетесь, при всем моем уважении к вам, совершенно безграмотным в политике? Я сокращаю, этот дуализм, свойственный Испанской Империи, помог другим государствам – врагам добиться ее разрушения. Христианство было основой об"единявшей Испанскую империю. В тот момент, когда оно поддерживалась другой властью – папской властью – легко было бы разорвать слабую политическую связь. Остались бы тогда для разрешения только вопросы военного характера. Но это было не легко, ибо по свидетельствам, начиная от Аристотеля и до Наполеона, учтя Фридриха и Веллингтона, всем известно, что испанец является наилучшим воином. Не случайно испанские кости разбросаны по всем меридианам нашей планеты.

За исключением Московского меридиана.

— Да, но это по тому, что они были единственными, кто восстал против Наполеона. Не вздумайте уверять, что они были неспособны до него дойти. Не усмотрите в том, что я говорю, ни малейшего признака расовой гордости, испанец – плохой солдат и идет в казарму со слезами, но вояка он порази-

тельный, на войну он идет с песнями и смеясь. Я беспристрастен. При наличии таких качеств у испанца, необходимо было изобрести новую стратегию для того, чтобы его покорить. Стратегия, о которой я упоминал, уже была применена для борьбы с Испанской Империей и против самой Испании. Испанцы провели больше двух веков, воюя друг против друга, т.е, это значит, нанося поражение самим себе.

— Почему и для чего?

— Благодаря иностранцам и для иностранцев. Любая гражданская война, колониальная или в метрополии, каковы бы не были ее результаты, является победой для нации-соперницы.

— И кого в этом случае?

— Неизменно и целиком: Англии.

— Через чье посредство и какой тактикой?

— Англия тоже располагала услугами Коминтерна, правильней сказать двух.

— Я не слышал их названия.

— Назовите его так, как об этом вам говорил Навачин.

— Масонерия?

— Да. Вероятно масонерия составляет политический Коминтерн, благорасположенный к той нации, которая его создает и им пользуется, а также к ее союзникам, если они имеются.

— А другой Коминтерн?

— Финансовый интернационал. Благодаря конспирации, подкупам и совращениям, плюс еще врожденную политическую тупость испанца, совсем не было особым подвигом умение добиться того, чтобы Испания сама себя развалила. Посмотрите – чуть ли не в одно только столетие она претерпела пять гражданских войн, революций и государственных переворотов почти что сотню, да еще вперемежку с самоубийственной интернациональной войной и тремя другими колониальными, последняя из которых продолжалась у них, благодаря внутренним и внешним изменам, двадцать лет. Как вы видите, это не мы выдумали подобную стратегию, мы ее усовершенствовали и подняли на степень мировой.

— А что же в данный момент?

— Теперь, что касается Испании, буржуазные империалистические нации продолжают свой вековой маневр. Теперь

они уже не удовлетворяются тем, что она поделена на три части, и намереваются поделить ее по крайней мере на пять частей.

— Я не в курсе политической географии.

— Да, доктор, Испания – одна, Португалия – вторая, Гибралтар – третья. Теперь отделяется еще две части: Каталонская республика и республика Басков. Эти две последние с соответствующими зонами влияния во Франции.

— Я этого не знал.

— Вот, собственно, такова была ситуация, представшая перед нами. Вполне естественно. Что эта новая попытка отделить еще две части, вызвала патриотически-военную реакцию. Само по себе все это было маловажно для Кремля. Откровенно говоря, наша позиция здесь была очень слаба. Наша партия в Испании была столь же малочисленна, как соответственно было мало большевиков в России в 1917 году. Здесь, как и там, решающим фактором была та ситуация, которая была нам дана и которую гениально понимал Ленин, а теперь Сталин.

— Настолько важно то, что творится здесь, что вы сопоставляете это с нашей Революцией?

— Да, то, что творится здесь, могло и может дать нам абсолютную интернациональную победу.

— Это в самом деле что-то невероятное.

— Верьте этому, здесь в Испании Сталин провидел своим взором разрешение двойной своей проблемы: внутренней и внешней, и это поднимает его до степени крупнейшего гения этой эры. Для того, чтобы добиться разрешения обеих проблем достаточно было спровоцировать эту гражданскую войну.

— Гражданская война в Испании разрешает внутреннюю проблему СССР и также интернациональную? Разрешите мне считать гиперболичным ваше утверждение или, по меньшей мере, преувеличением.

— Нет, доктор. Вызвать эту войну для трансформации потенциальной фашистской опасности в действующую, это все равно что заставить капитализм бороться против самого себя. И разрешите мне еще раз подтвердить нашу верность основной аксиоме, нашей воинствующей и революционной стратегии.

— А не может оказаться это одной только иллюзией?

— Абсолютно нет. Вы имели возможность читать за последние дни буржуазную и даже фашистскую прессу, послушайте, если хотите, их радиопередачи. Напряжение между Англией и Францией, а также Германией и Италией – огромно: война между четырьмя может вспыхнуть в любом месте.

— И впутать сюда и СССР, ведь так?

— Нет, это зависит только от нас. Для Советского Союза в Испании не разыгрывается ничего жизненно существенного для него.

— А для других наций?

— Для них – да, по крайней мере, они так думают, но по существу это все равно. В результате я хочу закончить. Знайте, доктор, что одной из вековых аксиом интернациональной Британской политики является владение Гибралтаром, и если какая-нибудь крупная держава на континенте овладеет берегами Гибралтарского пролива, то они начнут войну, вполне понятно, что для этого у нее имеется более, чем достаточно причин, чтобы оставаться верной этой аксиоме, начиная от Питта и до Чемберлена.

— Но Испания не является великой державой!

— Да, я это знаю. В Гибралтарском проливе находится не Испания, а Германия и Италия, т.е. не одна крупная держава, а целых две.

— И они находятся там тоже, исполняя приказ Сталина?

— Напрасно вы иронизируете, доктор. Да, они находятся там потому, что так хотел Сталин.

— Нечто поразительное! Но невероятное, разрешите мне сказать.

— Вы не даете мне докончить, перебивая меня беспрестанно и отклоняете меня от заключения. Патриотически-военная реакция, как я вам уже говорил, имелась налицо. Достаточно было только спровоцировать испанских корниловцев, для того чтобы вспыхнула гражданская война.

— И как же она была вызвана?

— Разрешите мне рассказать вам сперва о кое-чем несравненно более важном: несколькими днями раньше шеф самой важной политической испанской партии Народного Фронта, вскоре ставший премьер-министром, об"явил войну Италии и Германии через Лондон. В те дни это об"явление было принято, как донкихотство. Но это было не так, хотя и сам,

сделавший об"явление, думал так же. Оно было инспирировано нашими людьми, двое из которых проникли в его партию и стали близкими к социалистическому лидеру. Они льстили ему и называли его "Испанским Лениным", хотя он и был всего лишь глупым масоном, с мозгами начиненными цементом, оставшимся от его прежней профессии. После того, как было сделано это об"явление войны фашистским нациям, мы устроили через три или четыре дня провокацию.

— А как?

— Одна наша ячейка из военной милиции вошла в дом, где жил шеф оппозиции, и забрало его, на следующее утро его нашли с классически простреленным затылком.

— И этого было достаточно?

— А почему же нет? В действительности испанские военные корниловцы устраивали много и других провокаций, но эта их задела, а то как же? Этим утром многие испанские генералы и шефы видели во сне, как прибыл отряд полицейской милиции и как на следующий день они получили классическое ранение от пули в затылок. Этого было достаточно. Через несколько дней, думаю, что через пять: или шесть, восстали три четверти состава военных.

— Но я не вижу разрешения двух важных проблем.

— Не трудно, Франция, в силу близости к Народному Фронту, снабдила вооружением легальное Правительство. Германия и Италия спустя немного времени стали помогать восставшим, как это и было вполне естественно.

— Естественно?

— Да. Разве я вам не сказал, что тот испанский лидер об"явил войну фашистским нациям в Лондоне? Было естественно, чтобы оказали помощь врагу своего врага. Мы это предвидели и не ошиблись в этом. Вот как Сталин направил не только одну, а целых две великих державы на оба берега Гибралтарского пролива. Создалась угроза военного конфликта с Британией т.е. "Casus Belli" существующий уже веками. Оставалось только ожидать вспышки всемирной войны, каковая является предпосылкой для нового продвижения Мировой Революции или же ее полного торжества.

— Но война еще не началась.

— Это правда. Поэтому мы поддерживаем равновесие между обеими сторонами, дозифицируя свою помощь и взяли

в руки непосредственно командование армией и легальным Правительством, ибо поскольку будет продолжаться эта война, будет продолжать существовать и возможность превратить ее в европейскую и мировую.

— Я уже вижу теперь правильность плана в интернациональном аспекте: но а как же с внутренними проблемами СССР?

— Насчет этого вы имеете много доказательств. Напряжение, вызванное испанской войной между неприятельскими нациями - демократическими и фашистскими, позволило Сталину взяться за физическую ликвидацию оппозиции. Вы не можете забывать того, что вы уже знаете, о связи троцкизма с демократией и финансами. Поэтому мы должны поразмыслить о совпадении, т.е. о том, что только в момент, когда вспыхнула эта война, мы получили возможность расстрелять первых троцкистов: Зиновьева, Каменева и компанию, а это произошло через два года после случайной причины - убийства Кирова. Эта война вспыхивает после 20 июля, а расстрелы производятся спустя месяц, около 20 августа. По мере того, как растет напряжение из-за Испании и, все враждебные нации заняты войной, а посему не могут на это реагировать, расширяется также и чистка, хотя в данный момент еще нет всемирной войны, но испанцы уже потеряли убитыми пол миллиона и еще будут убивать друг друга, а мы будем иметь возможность обеспечить тыл Красной Армии и СССР, как укрепленного лагеря Мировой Революции.

— Признаться откровенно, быстрое следование аргументов и колоссальность фактов превысили способность моего понимания, в данный момент у меня в голове некоторая путаница.

— Забудьте рассуждения, усвойте только диалектику фактов. Заметьте себе: первые десять дней июля "об"явление войны" фашистским нациям "Испанским Лениным" в Лондоне, через пять дней - провокация: ликвидируется шеф оппозиции, еще через пять дней вспыхивает гражданская война, через месяц расстреляны Зиновьев, Каменев и компания, через X дней, месяцев или лет эта спровоцированная война вызовет европейскую мировую войну. Капитализм угробит сам себя, коммунизм восторжествует... Как видите, доктор, стратегия гениальна и в то же время проста, диалектика фактов

великолепна, безупречна. И я излагаю только два главных измерения капитального факта Революции, чтобы вас не сбить с толку, но есть и другие, связанные с этим же, и тоже колоссальные.

— Я ошеломлен, поверьте мне, я читал за последние недели кое-какую буржуазную прессу, но я не нашел там на страницах, испещренных сообщениями и мнениями по поводу интернациональных проблем, ни одного, которое хотя бы намекало или совпадало с тем, о чем вы мне говорили.

Хотя я сказал правду, но я имел, кроме того, намерение подольстить ему, чтобы стимулировать его на продолжение разговора.

— Да — добавил он, — буржуазная пресса молчит благодаря своему неисправимому неведению, а наша из расчета заинтересованности, ясно.

— Но вы говорили, что все это имеет еще другие измерения, другие благоприятные последствия.

— Разумеется, но список их всех был бы очень длинен. Я упомяну только об подлинных испанцах, поскольку испанский театр действий — перед нами. Конечно, является фактом то, что выпадение Испании, как военного фактора, из европейской войны, долженствующей разразиться в ближайшие месяцы, является вполне очевидным. В результате — потери испанцев ужасны.

— Так велики были бои?

— Да, велики и жестоки, но самые большие потери происходят в обоих тылах. Республиканская и фашистская чистка — это нечто очень серьезное: само собой разумеется, что мы поощряем ее по мере наших возможностей.

— А разве для нас не была бы более полезна победа республиканцев, благодаря чему мы имели бы союзника?

— У нас нет союзников. Выбирая союзника между мертвыми и живыми — мы предпочитаем мертвого. Мы не хотим союзников, а хотим Республику, входящую в состав СССР.

— Даже если это не коммунистическая Республика?

— Даже и так, мы бы терпели таковую только в силу элементарных стратегических причин, если бы она имела границы с СССР. Имейте ввиду, доктор, что любая колония, в случае, если метрополия не обладает абсолютным господством в воздухе и на море, это только помеха для ее власти. С этой

очевидной истиной не знакома почти что ни одна буржуазная нация, ибо их империализм продиктован экономикой, а не стратегией. Абсолютная реальность этого очевидна, Англия не потому обладает эскадрой, что имеет колонии, а обладает колониями потому, что имеет эскадру.

— С военной точки зрения эта доктрина безупречна, но в войне играет роль также и экономика.

— Да, но при условии, что колониальная экономика будет прибыльной для военной политики метрополии, и чтобы ее защита не была бы убыточной. Согласитесь: колониальная экономика и распределение населения в колониях способствует тому, чтобы Англия добивалась превосходства на море: для Италии получается наоборот. Она потеряет все вложенное и армию, которую она держит в колониях, победа Муссолини — это победа заранее подаренная им своему противнику. Мы не будем делать никакого подарка.

— Как будто бы вполне очевидно, но тут происходят столкновения с классическими идеями...

— Натурально, впрочем, если я не убедил вас вполне, то не буду увеличивать количества доводов, имеются еще и другие, в особенности в отношении Испании, очень типичные, почти что чудесные, как бы сказали вы.

— Какие же это?

— Испанские не только в Испании. Разве вы не знаете, что испанский мир насчитывает почти что столько же людей, сколько и СССР? Как потенциал это нечто очень серьезное. Их много миллионов, кроме того они занимают лучшее и нетронутое в Америке, имеется наличие опасности их об"единения под знаком христианства с целью обороны. Англия всегда об этом хорошо помнила. Не считаете ли вы, что важно разрушить эту возможность об"единения, пока потенциальную? Ибо эта опасность заключена как раз тут, в так называемой матери родине.

— А не было бы более полезным завоевать эту массу для коммунизма?

— Хотя это не противоречит стратегическим соображениям, но это не было бы полезным, потому что невозможное никогда не может быть полезным.

— Ересь! Разве есть что-нибудь невозможное для марксизма?

— Да, доктор, и это не ересь. Существуют суб"ективно невозможности. Почему бы не применить персональную и массовую ликвидацию? Но эта последняя невозможна в Испании.

— Это поразительно!

— Да, доктор, все христианское в своей самой мощной проекции – в едином Христианстве - а потому и всемирном католическом, было решающим фактором в национальном и индивидуальном формировании испанца. К сожалению, это печальная действительность, с которой надо считаться. Христианство, как вы уже знаете из опыта в России, труднее всего искоренить, когда будет ликвидирована троцкистская оппозиция, то в СССР останется только религиозная, искоренить ее трудно, ибо даже если рубить или совращать головы, то всегда остается индивидуальное и глубоко запрятанное, не поддающееся конфискации. Если так получается в России с государственной царской церковью, то как же будет в Испании, исповедующей всемирное Христианство?

— Получается, что их религия иммунизирует их против коммунизма?

— Частично да, но помимо этого это христианское воспитание создает редкий тип человека. Даже если он и порывает с религией - у него остаются очень своеобразные реакции. Именно эта, дорогая ему индивидуальная христианская свобода, хотя бы даже будучи видоизменена и извращена перед лицом государства, создала в Испании фактор - единственный в мире.

— С научной точки зрения это достойно изучения.

— Да, кажется я вам говорил, что наш собственный личный состав был здесь совсем незначительный, этот факт наведет вас на мысль, что в Испании не было коммунизма. Не так ли?

— Да, конечно.

— Ну так вам надо знать, что Испания - это страна, имеющая самое большое количество организованных коммунистов в мире. Абсолютное большинство, как ни в какой другой стране, в которой нет коммунистической власти: больше, чем в СССР, гораздо больше в пропорции к своему населению. Ясно, конечно, что коммунизм абсурдный, коммунизм анархический. Это не испанская реакция, а чисто русская. Ее апо-

столом и вождем, как мы его назовем, хотя его и не признают вождем, был тот баснословный человек, который назывался Бакуниным, этот человек осмеливался противопоставлять себя Марксу, Кропоткину, Толстому, Нечаеву и вся эта орава московских анархистов и нигилистов, потерпевших там неудачу из-за, отсутствия масс и организации, обладает здесь более полутора миллионами человек в самой могущественной рабочей организации. Что вы мне скажете?

— Скажу, что было бы лучше привлечь их к себе, поскольку они уже приняли самое трудное - коммунизм, Коминтерн располагал бы в этом случае той массой, которой ему не достает.

— Вы мечтаете, доктор, мы их привлекаем здесь, так, как привлекали на Украине, таща за веревку, которой они привязаны за шею. У вас не имеется достаточно опыта. Согласитесь: единственно опасное для коммунизма - это отсутствие единства, абсолютного и всеобщего единства во всех отношениях: в экономическом, политическом и социальном. Как вы думаете, почему мы прилагаем сейчас столько особого старания в борьбе против национал-социализма? Из-за того, что в нем есть враждебного? Нет, из-за того, что он имеет коммунистического в своей государственной структуре. С католической Церковью происходит тоже самое, мы не рассматриваем ее, как излюбленного врага из-за того, что ее философия противоположна нашей, но из-за того, что она такая же единая и так же универсальна, каким должен быть СССР. То же самое происходит у нас с анархическим коммунизмом, это наш враг первого порядка. Троцкизм - это более опасный коммунизм, так как обладает моральной идеей и аналогичной структурой. И если вы не верите, то вот вам еще один парадокс: я утверждаю со всей искренностью, что наш приговор о смерти капитализма не продиктован нашей классовой ненавистью, а тем фактом, что капитализм - это, в сущности и по своим окончательным выводам такой же коммунизм, как и большевизм.

Еще один раз заставил меня Габриель слушать, затаив дыхание, и заставил весь мир кружиться в моем мозгу, но я сделал усилие, чтобы ответить ему составленной для этого фразой.

— Как-то раз вы сказали мне, что Ницше в противовес Гегелю сказал об испанцах, что "что они были абсурдны и тем не менее реальны", так ли это было? Ну и так, знаете ли, что я вам скажу? Что я этому верю.

— Потому, что я рассказывал о них.

— Нет, потому, что я знаю вас.

— Вы думаете? Вы думаете, что знаете меня?

— Думаю, что сейчас да — подтвердил я.

— Поздравляю вас, доктор, вы меня знаете, а я нет. Но, который уже час? Больше четырех! И это вы, доктор, покусаетесь на мое здоровье, а я говорю да говорю, а сам умираю от того, что хочу спать.

И зевнув он вышел в столовую.

ТРАГЕДИЯ В МОРЕ

Я остался себе спокойно сидеть там и не заметил как заснул, проснулся я уже, когда наступил вечер. Я поднялся по лестнице в вестибюль. Уже начинало темнеть, когда вошел Габриель, разговаривая с незнакомым русским человеком. Он представил его мне, как "товарища". Мы втроем прошли в столовую, она утратила теперь свой веселый вид, который имела в полдень, ибо была освещена только старыми свечами, освещавшими стол и оставлявшими в углах густую темноту. Мы уселись втроем и нам начали подавать ужин. Как бы в вознаграждение за тот печальный вид, который нас окружал, ужин был очень хороший. Аппетит у меня был не особенно большой, но качество всего подаваемого способно было вызвать аппетит даже у мертвого. ЕСЛИ Я КОГДА НИБУДЬ БУДУ СТРАДАТЬ ОТ самого сильного голода, то я всегда буду вспоминать одно блюдо, по виду обыкновенное: бобы с салом и различными приправами. Это было новое блюдо, а остальные были вроде тех, что подавали на завтрак.

Хотя я и наслаждался с чувством благодарности этими вкуснейшими яствами, но мое внимание было привлечено разговором двух других сотрапезников. Габриель и тот русский, имени которого я не помню, но каковой, судя по тому, что я слышал, был служащим НКВД, разговаривали без отдыха.

Они начали разговаривать после первого блюда и разговаривали сперва о том, в каком положении находилась испанская война. Попробую воспроизвести диалог в основном.

— Положение здесь, на этом фронте — говорил чекист — очень плохое, этот фронт идет к своей ликвидации. Раз провалилась диверсия, реализованная на Мадридском фронте, то этот не может удержаться.

— Какова же главная причина? — спросил Габриель.

— Недостаток оружия, вооружение недостаточное и его мало, только ружья имеются в достаточном количестве, артиллерии всегда было мало, а авиация почти что отсутствует. Что можно тут сделать?

— Причины этой недостаточности?

— Не знаю, товарищ, известно ли тебе, что советские транспорты не дошли до этого фронта, в начале войны кое-что прибыло, но очень мало, а затем прекратилось совершенно.

— А что же ты думаешь? Не было ли это саботажем?

— Нет, думаю, что нет. В Москве не могли оставить без внимания нечто столь важное, как этот фронт, кроме этого, я знаю, что начальники Народного Фронта делали колоссальные усилия, чтобы добиться переправки на север всего, что было только возможно из советской помощи. Ты можешь себе вообразить, как много сделал я исследований по вопросу о возможности саботажа такого рода. Если ты хочешь, чтобы я сказал тебе откровенно, то даже здешние троцкисты сделали все возможное чтобы раздобыть оружие во всей Западной Европе и в Америке. Это мне известно. Правда, они не раздобыли много, причем даже и тут появились неудачи, так как фашисты перехватили у них несколько пароходов с большим грузом вооружения. Сепаратисты, эти католики и наши союзники, республика которых уже исчезла, делали бесконечные усилия и тратили деньги на все стороны. Они добились заметных успехов во Франции и Англии, а в особенности в Америке, но этого не хватило. А саботажа не существовало. Я в этом убежден.

— Не догадываешься, товарищ, о других причинах провала?

— Откровенно говоря, нет.

— Значит, если ты не находит причин у других, то исключая их, можем сделать вывод, что виноваты мы, Москва, не так ли?

— Я не говорил такой вещи — энергично сказал чекист, став сразу очень серьезным.

— Нет, товарищ, ты этого не сказал, но если мы оправдываем трех из четырех, принимавших участие в деле, то виноват четвертый, - Москва является виновником. Так или не так? — Заключил Габриель в мягкой, но резкой форме.

Его собеседник смолк, и при слабом свете свечей мне показалось, что его лицо как бы покрылось пеплом. Он выпил неловко одним глотком большой бокал вина, стоявший поблизости и сказал:

— Товарищ, — заговорил он серьезно и неуверенно, — я говорил откровенно об истинных фактах, это была моя обя-

занность при разговоре с тобой, моим шефом: я воздерживаюсь от заключений с моей стороны. Даже больше: во всей моей официальной и публичной деятельности я разоблачал саботаж троцкистов, анархистов и буржуазии, как единственную причину всех неудач. Я ликвидировал людей из этих партий и публично, и тайно, обвиняя их в саботаже. Если бы я находился в Мадриде или Барселоне, то я вел бы себя точно так же.

— Хорошо, оставим эту сторону дела. Я не прибыл сюда, как твой прокурор, и кроме того я знаю тебя. Меня интересует больше другая вещь. Как ты знаешь, эти испанские берега являются самыми близкими от Англии и от запада Франции: они закрывают с юга стратегически важный воздушно-морской треугольник. В случае, если фашисты закроют Гибралтарский пролив и таким образом блокируют Средиземное море, вытеснение республиканцев с этого побережья есть нечто очень важное для Франции и Англии. Откуда тогда сможет происходить снабжение французского фронта в случае европейской войны? Средиземное море запрут, а Атлантический океан там сделается непроходимым... Не удалось ли тебе узнать ничего больше, как реагируют Лондон и Париж?

— Да, кое-что знаю. Тебе уже известно, что как сепаратисты, так и социалисты и анархисты находятся в интимных отношениях с Лондоном и Парижем. У меня есть люди хорошо размещенные при руководителях этими силами, и даже некоторые из них занимают посты важных начальников. Но о реакции правительства в Лондоне, происходящей всегда с осмотрительностью, они знают только кое-что в расплывчатом и неясном виде. С басками за то, что они католики и звери, обращаются здесь хуже, чем с лошадьми, в действительности они ничего не знают, говорить им о деликатных в интернациональном значении вещах — это то же, как если бы они слушали сейчас наш разговор по-русски. Социалисты — с тех пор, как они потеряли управление Правительством, потеряли к себе доверие: хотя Негрин /Не русский ли? — задал я себе вопрос/ фигурирует, как социалист и является президентом, но им известно, что он наш. Кто, по-видимому, обладает информацией, так это министр Обороны, обуржуазившийся социалист и постоянный агент Intelligence Service я могу вести надзор только над его агентами здесь, но, поскольку он очень властный и грубый, он им не сообщает ничего интересного. По мо-

им информациям, министр Обороны составляет заговор по поручению из Лондона, с целью добиться мира через договор с фашистами.

— А почему же его еще не ликвидировали?

— Это единственный английский агент, который еще занимает высокий пост, я тоже задаю себе сам вопрос, почему он еще жив? Возможно, что причина тут в международной политике, чтобы Лондон мог сохранять надежду на то, что он сможет здесь еще распоряжаться и таким образом мы обеспечиваем его содействие в дипломатической сфере.

— Мне кажется, взгляд правильный.

— Более ценную информацию я получил через анархический сектор, с давних пор обладающий здесь большой силой. Здесь имеется один старый вождь анархистов, незначительный и миролюбивый по виду человек, почти, как апостол, тип, вроде Кропоткина, другом которого он был, он командует анархистскими начальниками, как ему вздумается, но самое интересное то, что он управляет также и левой буржуазией. Он масон самой высшей степени и ненавидит нас тихой, лицемерной, но звериной ненавистью. Имеет непосредственные интернациональные сношения и все знает. Я тебе даю его приметы, чтобы ты смог оценить его информацию. Он говорит о реакции в Париже и Лондоне, но не о воинственной реакции, он не предсказывает войны Франции и Англии против Италии и Германии, он знает, что будут реагировать политически и дипломатически, будут оказывать давление и материальную помощь республиканцам, но войны не будет ни в коем случае.

— Нет, если бы не случалось, что уже столько раз факты подтверждали его слова, то я бы даже и не обратил на него внимания.

Этот тип - масон-анархист, был чрезвычайно озабочен последней чисткой среди военных. Он, такой кроткий евангельский тип, был в припадке ярости, когда получил известие о расстреле Тухачевского и остальных генералов. Это парадоксально! Он, который ожесточился здесь против местных фашистов, - протестует и приходит в ярость, когда ликвидируются фашистские русские генералы, шпионы и соучастники Гитлера, и он же, будучи ярым антимилитаристом, как анархист добившийся расстрела всех тех военных, которые попали

в его руки, теперь превращается в защитника советских маршалов. Все это не ладится! Если к этой картине добавить еще сказанное им очень осторожно одному информатору, тоже масону, что Франко - фашистский испанский вождь - не фашист, и затем после утверждения, что вождь испанского фашизма не фашист, последовала такая бессмыслица: он, заливаясь смехом, воскликнул: "Сталин думает, что он очень хитрый!" Понимаешь ли, что тут с правдой мешается абсурд. Что ты скажешь на это, товарищ?

— Я, ничего — ответил Габриель и после паузы добавил: — в эти времена иногда бывает логичное абсурдом, а абсурдное - логичным... Но я себе замечу кое-что, что сможет мне пригодиться.

Он вытащил свою записную книжечку и записал своим вечным пером одну страничку, насколько я смог заметить, стенографическими знаками.

Несколько моментов Габриель размышлял, помешивая ложечкой кофе, но больше он уже не говорил и ничего не спрашивал.

После того, как мы встали, он поинтересовался, вернулись ли уже ушедшие.

Было уже почти что одиннадцать часов вечера, когда он спросил меня, не хочу ли уже спать. Я ответил отрицательно, и он мне сказал: "Лучше, если нам удастся выехать отсюда сегодня же ночью". Я молчал, как я поступал всегда в момент общения мне неожиданных решений. Он прогуливался порядочное время, а затем посоветовал чекисту пойти разузнать, не наладилось ли уже дело с нашим путешествием, о чем просил сообщить ему в спешном порядке. Чекист ушел, и мы остались вдвоем. Тогда Габриель заговорил со мной, сказав, что может быть уже этой ночью я погружусь на пароход, направляющийся в СССР, и если этот советский пароход, которого он ждет, уже прибыл, то он сам вернется самолетом во Францию, где ему надо кое-что закончить: таким образом он сможет использовать те дни, которые мне понадобятся для путешествия в Ленинград. Он встретит меня там, когда я прибуду. "Идем сейчас вдвоем и поговорим с Миллером — добавил он, — я хочу убедиться в его состоянии духа, прежде, чем он останется наедине с вами на время этого долгого путешествия."

Мы вместе вошли в комнату, где находился генерал. Габриель сказал по-испански часовому, стоявшему внутри, чтоб он вышел, и тот подчинился. Затем он пристально посмотрел на Миллера и садясь спросил его:

— Как с вами обращаются, генерал? А вы еще умеете говорить по-русски? Или желаете говорить со мной по-французски?

— Я говорю по-русски, сударь, и с лучшим акцентом, чем вы — ответил Миллер очень серьезно.

— Поздравляю вас, ваше превосходительство, это неоценимое счастье, что я имею возможность усовершенствовать свой язык, слушая тот русский язык, на котором говорилось в Зимнем Дворце во время разговоров, хотя, согласно моим сведениям, там говорилось только по-французски, а иногда по-немецки.

— Я, нет — сказал генерал твердо.

— Лучше, этот факт может быть знаком того, что мы сможем понять друг друга. Не примите ли рюмочку?

— Спасибо, нет.

— В конце концов, генерал, я предполагаю, что у вас есть желание узнать где вы находитесь, не так ли? Хорошо, вы в Испании около чудесного пляжа, с вами хорошо обращаются и хорошо вас охраняют.

— Это безразлично.

— Нет, генерал, это не безразлично. Ваше положение не так безнадежно, как это можно было бы заключить по первым признакам.

— Нет никакой разницы, если я являюсь пленником Г.П.У.

— Н.К.В.Д, генерал, это не одно и то же, тут имеется определенный прогресс и какие-то возможности.

— Я не спорю, вы должны знать об этом.

— Давайте, генерал, я бы хотел, чтобы исчезла эта натянутость в нашем неофициальном разговоре. Вот не желаете ли ответить. Как вы думаете насчет того, кто вас похитил, генерал? Я жду ответа.

— Это не трудно при моей должности начальника русских антикоммунистов.

— Видите, генерал, как вы ошиблись. Совершенно не это было поводом. Я не хочу оскорбить вашу гордость, опасность

вашей организации для Советской России равняется нулю, это как бы блоха, находящаяся на расстоянии тысячи километров от слона. Возможно, генерал, что вы, конечно, довольны сами собой: вы делали, что могли, против СССР, вы проявили храбрость и ум, тратили небольшие деньги, которыми вы располагали. Мы признаем это за вами, Генерал... но, и что же? Откровенно говоря, вы удовлетворены этим? Вы можете предположить, что ваши антисоветские успехи заставили нас войти на риск скандала при вашем похищении? Не чувствуйте себя униженным, но признайтесь, что наши Посольства не взлетели в воздух, наши посланники не убиты, внутри Советского Союза не имеется белого террора, не заметно монархического саботажа в пятилетнем плане, нет белых генералов на службе германского военного Генерального Штаба, они не являются союзниками ни Гитлера, ни Микадо, наши дипломатические связи и отношения нормальны, мы приезжаем и уезжаем и, в конце концов, передвигаемся с полной свободой без всяких помех со стороны ваших ужасных белых охранников. Я уж знаю, что вы рассчитываете там на секретные организации, на решительных людей, которые мечтают о том, что придет их час. Да, генерал, есть мечты, мечты у вас.

— Даже если бы так и было, я не могу спорить с вами, я выполнял свою присягу и свой долг, и если я пал, то пал с честью.

— Признаю, генерал, признаю. Поверьте мне, что большевику приятно слушать обо всем этом, когда ему ясно, что это не фарс, как обычно почти всегда случается, слышать это от вас, который, как нам известно, является человеком чести. Поэтому я хочу вас успокоить, мы не похитили вас, и я говорю "похитили", потому что оба мы, находящиеся здесь, принимали активное участие в этом деле, мы вас не похитили, повторяю, для того, чтобы получить от вас признания относительно ваших друзей и вашей организации, здесь, между нами, я даю вам слово чести, что нечего вам нам уже больше раскрывать, о вашей организации нам известно больше, чем вам, ибо мы знаем даже и шпионов... Что вы мне скажете о вашем дорогом Скоблине? Что даже подозревая, вы не могли поверить этому, не правда ли? Вы, генерал, удивительны. Припоминаете ли, что год тому назад вы должны были посетить так называемого доктора Зелинского? Да? Так вот он здесь — и он указал на

меня, — вас избавил тогда от похищения не белый, а один из троцкистов. Вы не доверяли, и вполне резонно, Скоблину, вы оставили письма с обвинением его в случае, если вы не вернетесь со свидания, так? И делая эту предосторожность, вы не предпринимаете ничего в отношении себя самого. Это же абсурд! Чего вы достигли? Да, что он не сможет быть вашим непосредственным заместителем, вы спасли уже пропавшую и бесполезную организацию. А с вами, генерал, что?

— Прежде меня существовала уже организация, я не мог проявить личный страх перед моими подчиненными. Пожалуй, вам это непонятно.

— Да, мы имеем в виду вашу военную гордость, но в конце концов все это уже в прошлом и положение безнадежно. Посмотрим, сможем ли мы друг друга понять. Я не сомневаюсь, генерал, что вы по-своему любите Россию. Я думаю, что это так, во всяком случае, на основании этого чувства я хочу вам предложить оказать услугу этой России, рассчитываю, что вы сможете избежать всех вопросов относительно правительства. Вы, без сомнения, более или менее хорошо знаете, что случилось с несколькими советскими генералами, я говорю о самом факте, я не о мотивах их расстрела. Мы хотим от вас, генерал, чтобы вы играли роль патриота, ввиду того, что эта роль вам очень близка, мы надеемся, что вы ее примете.

— Все это очень странно, вы уж объясните мне.

— Да, я объясню, не обязательно, чтобы вы решили это сразу, вы будете располагать порядочным количеством дней для того, чтобы пораздумать об этом столько времени, сколько продолжится путешествие на пароходе до прибытия его в СССР (для вас же - всегда в Россию). Смотрите, генерал: вам известно, что Гитлер планирует инвазию в СССР - вы об этом знаете потому, что у вас просили сотрудничества по военной и политической линии, в гитлеровском плане были замешаны генералы, расстрелянные в Москве, и другие, которые будут вам указаны, и с ними Троцкий и прочие политики, которые вам тоже будут указаны. Вы знали о том, что Германский Военный Штаб действует в целях реализации этого плана, и, преодолев политические предрассудки и свою ненависть к коммунизму, вы донесли на расстрелянных генералов, а теперь добровольно явились в СССР для того, чтобы выдать изменников, которые еще находятся в живых, а также их ин-

тернациональных соучастников.

— Но это же неправда! — воскликнул генерал.

— Все, нет, субъективно это неправда, но факты реальны. Какую важность представляет собой несущественное? Нет, сейчас мне не отвечайте ничего: вы должны подумать, генерал, у вас нет другого выхода. Вы поговорите с доктором обо всем этом. Для вашего блага примите это предложение. Я говорю вам искренне, и не говорю, чтобы запугать вас, но пощадите себя! Хорошо, вы избежите того, что, может быть, любым способом вы должны будете заявить о том, что будет приказано. Подумайте об этом, генерал, а тем временем можете попросить, что вам надо, и вам будет предоставлено то, что позволит ситуация. И еще один вопрос на окончание. Возможно, что через несколько часов мы уже должны будем погрузиться, должны будем мы везти вас связанным или усыпленным? С меня достаточно было бы вашего слова чести о том, что вы не будете пытаться покончить самоубийством, и тогда все эти неудобства будут устранены. Что вы мне ответите, генерал?

— Я не покончу самоубийством, не только из-за данного слова, но и потому, что мне запрещает это религия,

— По крайней мере, хоть в чем-то мы смогли уже понять друг друга. Больше мы не будем беспокоить вас, генерал.

Мы оба вышли и вошел часовой.

-----оооооОООООооооо-----

Было уже больше часу ночи, когда вернулся русский, который с нами ужинал. Он сказал, что установилась связь с парходом, на который мы должны были погрузиться, и что он лавирует перед нашими берегами.

Мы пошли за генералом. Габриель, прежде чем выйти из комнаты, напомнил ему о его обещании и велел ему пройти вперед даже несвязанному. Миллер подтвердил свое слово, и мы сразу же отправились в путь. С боку от меня нес мои чемоданы молодой парень.

Мы быстро дошли до моря. Видимость была очень плохая, но я смог разглядеть маленький деревянный помост, издававший гулкие звуки под ногами крепко ступавших мужчин. Пришвартованное судно не имело совершенно огней. Только

огоньки от папирос, похожие на светлячков и двигавшиеся в темноте, выдавали наличие на нем команды.

Габриель, Миллер и я поднялись на борт, мотор стал понемногу работать, издавая размеренные звуки - по - по. Мы отошли от берега и вскоре оказались окутанными мраком. Перед собой я видел, как темное пятно, фигуру того парня, который нес мой чемодан, он спокойно смотрел на меня и его сильно раскрытые глаза поблескивали в темноте. Он встал на чей-то голос и прошел на носовую часть, пробираясь, как кошка. Море было спокойное, волны были большие, низкие и не били. По временам мы видели отблеск какого-то перемещающегося огня: по-видимому, это были другие судна, одно из них прошло почти что затронув нас, оно было небольшое, и на его палубе двигалось много теней столпившихся там людей. Я спросил Габриеля, не были ли это рыбачьи судна, но он мне сказал, что они были предназначены для эвакуации во Францию семей республиканцев, которые не хотели попасть в руки фашистов. Наш переезд длился более трех часов, генерал находился между Габриелем и мной и не произнес ни одного слова. Вдруг перед нами выросла фигура парня, который, тронув меня одной рукой за плечо, другой сигнализировал, издавая негромкие звуки. Мы посмотрели в том направлении, куда он указывал, и увидели слабый мигающий свет. "Это, по-видимому, наш пароход, судя по указанному нам его местонахождению" — сказал мне Габриель и заговорил с парнем по-испански. "Да, это он" — подтвердил он мне. Я заметил, как мы повернули, выправляя курс по тому направлению, где были видны огни, которые появлялись через короткие промежутки... Я попытался зажечь папиросу, но мне это не удавалось из-за ветра, и я истратил несколько спичек. Вдруг передо мной появился огонек, это был парень. Он ловко зажег папиросу и протянул мне ее, чтобы я мог зажечь свою. При свете спички, которая озарила на мгновение черты его лица, я увидел в них столько живости, хитрости и симпатии, что он меня пленил. Когда опять стало темно, то я продолжал чувствовать и угадывать его взгляд на нас и видел мельком его улыбку. Я подумал о странном внимании того парня по отношению к нам, пожалуй, подумал я, это было вызвано "Престижем" советов, вызванным пропагандой, а в моей персоне он видел настоящего русского. Это подтвердилось в некоторой мере, когда

я увидел, как он, указывая своим пальцем, сказал:

— Русски?

— Да, русский, — подтвердил Габриель.

— Камарада, камарада, — воскликнул он, ласково похлопывая меня рукой по плечу. И больше ничего не сказал. Он продолжал спокойно сидеть против меня, не сводя с меня своих глаз.

Световой телеграф становился, по мере нашего приближения, все более четким. Наконец мы пришвартовались к боковой стороне какой-то черной массы. Я услышал русские голоса, и наш катер прошел несколько метров, тесно прижавшись к борту парохода. Паренек, подражая мужчинам, встал у края катера, упираясь своими руками в корпус парохода и стараясь не допустить до столкновения его с нашим катером. Подъехали к лестнице, поднялись при помощи команды. Миллер молча следовал за нами. Парень взял мой чемоданчик и стал подниматься впереди нас.

Когда мы добрались до палубы, то у самой лестницы нас поджидал капитан.

Габриель и я поздоровались с ним. Габриель спросил его, какие каюты предназначены для нас, и капитан сам проводил нас на другой бок палубы. Не было никакого освещения, и нас вел моряк, освещая электрическим фонариком пол. "Останьтесь с Миллером, доктор, а я сейчас вернусь" — приказал мне Габриель, уходя с капитаном. Генерал и я вошли в темную каюту, только после того, как закрыли за нами дверь, моряк открыл свет и мы сели. Вслед постучались. Опять был потушен свет, прежде чем была открыта дверь, это были люди, внесшие мои чемоданы, по небольшой фигурке я узнал в темноте парня, который тащил сюда мой чемоданчик. Они сразу же вышли, и снова был зажжен свет.

Прошло не более четверти часа, когда вернулся Габриель, с ним вошел капитан и сразу же вывел с собой генерала.

Габриель торопливо разговаривал со мной, сообщив мне, что снимает с меня обязанность охранять Миллера, ибо такую целиком возложил на капитана.

— Таким образом — добавил он, — вы избавлены от опасности нести ответственность, на вас на одном лежит обязанность разговаривать с ним, ни капитан и никто больше не смеет говорить с ним ни одного слова, ему уже дан насчет это-

го приказ. Если Миллер захочет что-нибудь сказать, то должны позвать вас, и он будет говорить с вами, Вы ответственны специально за обращение с ним и должны следить за тем, чтобы здоровье его не было нарушено. Вы можете разговаривать с ним, оставаться с ним наедине и, наконец, располагайте всем, что найдете нужным в отношении вопроса о его безопасности. Когда вы прибудете в Ленинград, где я вас встречу, вы должны будете средактировать мне информации и сообщить, если у вас в разговорах будет что-либо заслуживающее интереса. И больше ничего, доктор. Счастливого пути.

Мы вышли вдвоем на палубу, где нас поджидал капитан, он проводил нас до лестницы, по которой Габриель спустился вниз. Через мгновение я услышал шум мотора доставившего нас катера. Капитан отошел от борта, и я последовал за ним, мы пошли в направлении моей каюты. Прежде чем лечь, я захотел увидеть генерала. Мы вошли, предварительно постучав в дверь, и как и в первый раз, зажгли свет только после того, как закрыли дверь. Тогда я увидел лежащего Миллера, ему связали обе руки веревкой, протянутой под его койкой. Я захотел удостовериться, не была ли веревка слишком сильно натянута и пощупал ее у кистей рук, мне показалось, что она была достаточно свободна, но я задал вопрос генералу, не мешает ли она ему, и он мне ответил, что нет. Я предупредил его, что если он почувствует позже боль или помехи в циркуляции крови, то без церемонии пусть вызовет меня. Сказав это я вышел с капитаном, предприняв те же осторожности со светом. Ясно было, что на пароходе не желали обнаружить свое местонахождение.

Я зашел в свою каюту, соседнюю с каютой Миллера. Капитан был, по-видимому, неразговорчив, ибо он все время молчал. Он только пожелал мне приятного отдыха и ушел. Я закрыл дверь и улегся, я спал довольно хорошо, так как я пробыл на ногах уже около двадцати четырех часов.

-----ooooooooOOOOOoooooooo-----

Я провел первый день плавания в одиночестве, ходя из одного конца в другой, хотя я и не чувствовал качки, поскольку море было относительно спокойно, но все же ощущал какую-то ненормальность. Я посетил несколько раз Миллера, не

обнаружив ничего нового.

Наконец наступила ночь, и на пароходе зажглись огни, уже не было необходимости скрываться в темноте. Испания с ее опасными берегами осталась далеко позади,

Уже прошло порядочно времени, как я лег в постель, но мне не хотелось спать, и я курил, лежа в кровати. Мне показалось, что я слышал легкий шум, но так как он больше не повторился, то я предположил, что это мне показалось или что это скрипят доски. Прошла минута, и я опять слышал шум, уже более ясный, похожий на то, будто скребется в дверь собака. Я встал, открыл дверь и остановился пораженный. Испанский паренек стоял, облокотившись о дверную раму, он смотрел на меня и улыбался боязливо и нерешительно. Я видел, что он хочет пройти в каюту и дал ему проход. Он зашел быстро, как бы спасаясь бегством, а я закрыл дверь и лег опять в кровать, так как я был в пижаме. Он сказал мне негромким голосом несколько слов, из которых я понял только одно: "камарада". Он посмотрел пристально на графин с водой и показал мне на него. Я кивнул утвердительно головой, и он залпом его выпил. Вероятно его мучила жажда. Это мне показалось подозрительным, и я подумал, что его присутствие здесь, по-видимому, не совсем легально. Характер его появления и его жажда указывали на то, что он где-то прятался и прятался, несомненно, потому, что остался на пароходе без чьего бы то ни было разрешения. Теперь, в свою очередь, был обеспокоен я, я не знал, что мне делать с этим симпатичным мальчиком, смотревшим на меня одновременно с улыбкой и со страхом. Наличие у него жажды навело меня на мысль, что он наверное также и голоден. Инстинкт запасаться продуктами, свойственный любому советскому человеку, заставил меня оба раза при выезде за границу уложить в свои чемоданы кое-какие продукты. Там у меня были собраны - ветчина, сальцесон и фрукты в сиропе, а также галеты. Я благословил свою советскую предусмотрительность, вскочил с кровати и быстро вытащил свои запасы. Я положил их перед мальчиком, который вначале отказался брать что-либо, хотя его глаза говорили обратное. Я должен был подбодрить его, похлопав несколько раз по плечу, и тогда он начал есть, сохраняя вид безразличия.

Он не хотел показать, что он голоден, и съел очень немно-

го. Я должен был повторно подбодрить его, чтобы он съел еще. Когда он насытился окончательно, то вытащил из кармана пачку курительной бумаги и крошеный табак и предложил мне одну бумажку, чтобы я скрутил себе папиросу. Я отказался, а он, закрепив один уголок бумажки на нижней губе, начал манипулировать табаком, насыпанным на ладони, вскоре он свернул очень ловко папиросу, зажег ее и начал курить, выпуская важно дым через нос. Я наблюдаю за ним с большим любопытством: ему было лет двенадцать или четырнадцать, ростом он был меньше, чем полагалось бы для этого возраста, лицо у него было очень смуглое и загоревшее, глаза черные и живые, очень подвижные, блестящие и вьющиеся волосы красиво спадали на его лоб, движения его были быстрые и решительные, как у взрослого мужчины. На нем была надета курточка из коричневой кожи, а на голове была темная маленькая шапка, заканчивавшаяся на макушке несгибающимся хвостиком сантиметра в два длиной, что делало ее особенно изящной. Пока он курил, он очень внимательно осматривал каюту, около изголовья моей кровати находился обязательный портрет Сталина с его известной трубкой. Малыш пристально и с большим уважением смотрел на него, как будто бы это была для него настоящая, почитаемая им икона. Затем он заговорил по-видимому сам с собой, и я смог только разобрать слова: "partied", "pioner", "comite", "ruski" и еще небольшое количество слов в соединении со словом "guerra".

Я должен был дать понять ему, как уметь, что ему надо уходить, он сразу же понял меня и, протянув мне руку, ушел не без того, чтобы не посмотреть раньше на своего любимого Сталина и отдать ему военный салют, подняв свой правый кулак вверх. Он быстро вышел и не забыл благодарно с улыбкой взглянуть на меня,

Я подумал о том, что он запрячется в какой-нибудь неизвестный уголок, чтобы мечтать там о чудесном рае в СССР и с надеждой, увидеть в один прекрасный день издали своего бога, покуривающего трубку. Я глянул на Сталина прежде чем потушить свет и, как никогда, выделились на портрете его подмигивающие насмешливые и иронические азиатские глаза.

Во сне я видел этого испанского малыша. Он пришел посетить меня, и не знаю как, но я понимал его. Он говорил и говорил без умолку, радостно, подпрыгивая, мечтая в глубине

души о сказочном сияющем Кремле.

На следующее утро, ходя взад и вперед, я проходил мимо каюты Миллера: моя совесть подтолкнула меня, и я решил войти. Все было по-прежнему. Генерал был связан, а часовой стоял с безразличным видом. Неудержимый импульс заставил меня приказать моряку развязать его. Я сам удивился его послушности, поскольку это было впервые, что я воспользовался своей властью в отношении заключенного. Я почувствовал себя чем-то, и мое повышенное настроение духа воодушевило меня на то, чтобы приказать выйти матросу и ожидать снаружи. Я остался наедине с Миллером, немного смущенный, так как по-настоящему я не знал хорошо, почему я дал ему свободу движений и с какой целью я остался с ним наедине. Я вспомнил, что я был ответственен за его здоровье и неловко взялся за его исследование. Я проверил его сердце, приложив свое ухо к его груди, я не заметил ничего серьезного, порока сердца, несомненно, не было, но ослабление деятельности сердца было очевидно. В данный момент я не мог знать, в какой мере повлияло на его состояние нервное потрясение, причиненное ему волнениями последних дней. Я дал себе обещание усердно следить за этим сердцем и даже решил, что если его сердечная деятельность не поднимется, то я оживлю ее дигиталем. Я справился у генерала об его аппетите, он ответил мне утвердительно, я высунул голову за дверь и спросил охранника, ел ли генерал, тот мне ответил, что ел очень мало. Когда я поинтересовался о причине его воздержания, то генерал мне сказал, что у него совсем нет аппетита. Я справился о том, какого рода пищу ему подавали, и оказалось, что ее качество не очень способствовало его поддержанию. Я решил переманить его режим, пользуясь признанием здесь моей власти, и прописал Миллеру лучшее питание, о чем и распорядился.

Но я не нашел того, что искал, я имел бессознательное желание найти способ установить сердечные отношения с кем-нибудь, правильнее сказать, с Миллером, он держал себя с достоинством, и меня это чрезвычайно привлекало. Все мои намерения не удавались, при попытке завязать с ним разговор, я получал только односложные ответы.

Я быстро поужинал и снова стал прогуливаться, хотя уже начали спускаться ночные тени. Большой фонарь бросал изда- лека свой свет, скользя по поверхности моря, он изредка ос-

вещал через определенные промежутки корпус корабля.

Я был углублен в себя, как вдруг услышал шум шагов по направлению к корме. Меня охватило любопытство и я скользнул вдоль борта, я увидел в матовом свете надвигающейся ночи три человеческие фигуры. Две были нормальной величины и шли по бокам третьей, гораздо более маленькой. В этот момент свет фонаря лизнул на один момент палубу, и я узнал в более низком своего протеже, испанского мальчика. Думаю, что он меня увидел тоже, и даже мне показалось, что я перехватил его улыбку, которую он мне послал, все трое подошли очень близко к борту и там остановились. Остальное произошло мгновенно: двое мужчин взяли в свои руки мальчика и подняли его вверх на высоту своих голов, свет фонаря осветил, как молния, эту сцену, и я увидел тело мальчика брошенным и летящим в пространство. Послышался душераздирающий крик. Больше я ничего не видел, потому что я закрыл глаза и съежился, как будто бы меня самого бросили в море. Я стал слушать. Я слушаю напряженно, думая услышать крики или еще что-нибудь, но шум беспрестанно сталкивающихся волн этого безразличного моря не дал возможности мне что-либо воспринять. Я начал реагировать: я подскочил, как сумасшедший, к этим двум мужчинам, которые уже уходили.

Я кричал и упрекал их, а они смотрели на меня в смущении. Я принял решение идти к капитану и донести ему о преступлении, но когда я, разъяренный, бросился по направлению к его каюте, то почти что столкнулся с ним, так как он вышел, привлеченный моими криками. Взволнованный и вне себя я, запинаясь, донес ему об этом зверском убийстве. Он не ответил мне ни одного слова и ограничился тем, что взяв меня под руку, провел меня к своей каюте. Там он попытался успокоить меня. Затем он заговорил и говорил много, а он казался мне таким молчаливым. Я помню только то, что он на тысячу ладов разъяснял мне, что этот парень, забравшийся зайцем на его пароход таким образом, что его никто не заметил, скомпрометировал двух человек из его команды, двух женатых людей, ответственных за контроль над входящими и выходящими с парохода людьми. При прибытии в Ленинград с этим зайцем на борту они должны будут подвергнуться допросу, и это могло бы стоить отправки в Сибирь этим двум человекам, а ему лично отставки от командования. И это в лучшем слу-

чае, ибо, поскольку дело произошло во время выполнения парходом политической миссии, каковой являлась доставка меня и заключенного, то невозможно учесть, как повернулось бы дело, если бы этого зайца сочли за шпиона. Все это он повторял мне на разные лады по несколько раз. Он заставил меня выпить виски, чтобы успокоить мое возбуждение, но когда я ему сказал, что я дам отчет обо всем происшедшем в Ленинграде перед НКВД, то этот неотесанный и дородный мужчина задрожал. Тогда он смирился, как будто бы произошло фатальное несчастье, и только высказал мне важное размышление, что мальчика уже нельзя спасти, и что я добьюсь только того, что сделаю несчастными двоих людей из команды и их семьи, а возможно также и его с семьей. Он закончил, сказав мне, чтобы я подумал об этом и если бы я попробовал стать на его место, то увидел бы все дело совсем с другой стороны.

Я ушел, оставив капитана с его виски, которую он пил большими глотками, как бы видя единственное разрешение вопроса в том, чтобы напиться.

Вне себя от негодования, я вошел в свою каюту. Мне сделалось хуже: там на столе лежал хлеб, который я приготовил для мальчика, а также полная бутылка воды. В моем воображении я увидел его, пьющего с жадностью воду, а затем готовящего себе папиросу, приклеив предварительно уголок бумажки к нижней губе. Нет, это непростительное преступление — думал я — я не смогу его простить и не буду молчать по прибытии в Ленинград.

Я неистово ходил по своей узкой каюте и видел себя делающим информацию о совершенном преступлении. Не знаю, сколько прошло времени, но кажется, порядочно.

Я был целиком сосредоточен на своих мыслях и поэтому очень удивился, когда услышал стук в дверь, я думал, что стук связан с генералом. Когда я открыл дверь, то вошел капитан в сопровождении двух мужчин. Капитан сел на единственном стуле, а я сел на кровать, два незнакомца стояли на ногах.

Каюта была так узка, что мы едва поместились там вчетвером. Я догадался, что это были два матроса, у одного щека была испещрена глубокими параллельными царапинами. Когда капитан заговорил, то я уже больше не сомневался.

— Это как раз те два человека из команды, которые принимали участие в деле с мальчонкой. Так как мы втроем несем

ответственность за его присутствие на пароходе, то после того, как вы ушли, я вызвал их, чтобы осведомить вас о положении и переговорить с вами.

Так говорил капитан, который, несмотря на свою корректную речь, был очень возбужден, наверное от излишка алкоголя. Двое других смотрели на меня не мигая, уставившись на меня глазами. Чтобы быть искренним, я должен сказать, что при их входе моя ярость улеглась, и когда я убедился в том, кто они такие, то мне стало несколько не по себе. Я угрожал им своим будущим доносом и, не подозревая этого, также и капитану. Об их моральном облике у меня уже были неоспоримые доказательства: из-за страха они выбросили в море испанского мальчика. Благодаря этому размышлению у меня всплыл вдруг, как бы под действием напористой струи, вопрос: "А разве не смогут эти же трое выбросить из-за страха в море также и меня? Что-то поднялось у меня от желудка к горлу, и у меня затуманилось в глазах при виде этих трех мрачных и угрожающих лиц. Наверное, я очень побледнел в тот момент. Все это промелькнуло в моем мозгу за срок, который мне нужен был бы, чтобы написать одну строчку. Это длилось ровно столько времени, сколько понадобилось капитану, чтобы вздохнуть, потянуть пару раз свою трубку, которую он взял в рот, и затем предложить:

— Я просил вас, товарищ доктор, чтобы вы приняли во внимание личное и семейное положение этих двух матросов, честных работяг и отцов семейства, и мы пришли, чтобы узнать, не надумали ли вы что-нибудь лучшее.

Воцарилось полное молчание среди всех четверых, и слышно было только, как бьются волны о бок парохода. Я чувствовал, что мне очень трудно заговорить: в случае, если бы я не уступил, я видел себя влекомым этими шестью сильными руками наружу и выбрасываемым в темноту, как соломенное чучело.

Я измерил мысленно дистанцию, отделявшую мою кровать от борта, и определил ее приблизительно в три метра, расстояние между моей жизнью и смертью - равнялось трем метрам. Для меня это стало внезапной очевидностью. Когда ваш рассудок охвачен террором, то за какие-нибудь несколько секунд вы можете очень много пережить.

— У меня три сына, доктор, будьте сострадательны — ус-

лышал я, как заговорил человек с пораненной щекой.

И эта мольба придала мне смелости.

— Товарищи — тут я фальшиво закашлял: — я обдумал слова вашего капитана: вы должны понять то человеческое негодование, которое овладело мной, как свидетелем совершенного... - я бы сказал - преступления, которое в моих глазах не имело никакого оправдания, позже, когда я узнал, что вы поступили так исключительно из-за страха перед наказанием, которое разлучило бы вас с вашими детьми, а я, товарищи, тоже имею детей, я стал раздумывать об этом, как раз именно сейчас — соврал я — в этот момент, когда вы пришли ко мне, я собирался идти к капитану с целью сказать, что я изменил свое мнение и что я ничего не видел и ничего не знаю...

Оба человека, очень взволнованные, устремились ко мне.

— Спасибо, спасибо, товарищ доктор — повторяли они несколько раз.

Говорилось много, еще гораздо больше, но все это были только повторения и разъяснения к тому, что уже было сказано.

Уходя, все трое протянули мне дружески свои руки. Когда они ушли, то я стал раздумывать об этой сцене: я пожимал руки преступникам, которые бросили за борт этого малыша, все равно, как будто бы они выбросили моего сына... Час тому назад я бы этому не поверил. И вот теперь я объединился с убийцами, принужденными к убийству террором. В силу логики я поставил себе вопрос: А разве я не такой же, как они? Разве я не был терроризованным убийцей?

ГЕНЕРАЛ МИЛЛЕР И Я

Я чувствовал себя, как никогда, несчастным. Один раз представился мне случай свободного решения и даже некоторая власть, во время такого привилегированного положения перед моими глазами совершается страшное преступление: я могу и хочу наказать его, если я скажу об этом, то советское правосудие падет на виновных. Все просто и ясно, но вот я здесь онемевший, еще более молчаливый, чем если бы мне заткнули рот железным кляпом. И мои губы не раскрываются из страха тоже быть убитым. Бессонной ночью мое воображение, подогретое лихорадкой, подсказало мне способ, как смог бы я обманным путем избавиться от опасности смерти, конечно, это способ совсем не рыцарский: я должен был бы врать и притворяться до прибытия в Ленинград, делая вид, что я верен своему обещанию ничего не говорить о том, что я видел что-то, и тогда они не будут покушаться на мою жизнь, наоборот, они будут мне очень благодарны, а потом я смогу донести на них вполне безнаказанно в НКВД.

То, что я ощущал себя чрезвычайно несчастным, не вытекало из этих рассуждений. Мое презрение к самому себе родилось от того, что я видел себя потерявшим достоинство после того, как я сделался орудием Советов. В том окружении, где я находился, добро и справедливость были неприемлемы, как мораль и даже больше: справедливость и добро объективно превращались в величайшее зло. В своем отчаянии я думал о реальности сатанинского мира. Да, сатанинского, потому что я, предотвратив опасность смерти хитростью и симуляцией, не мог решиться на донос в силу своего собственного непреодолимого малодушия. Наказание за преступление пало бы на невинные существа и не как умеренная мера для назидания, а в жестокой и смертельной степени. А самое главное то, что советская юстиция не наказывала за преступление само по себе, а наказание было бы дано за небрежность при исполнении распоряжения, т.е. это было укрепление тирании советской диктатуры. Должен ли я был сотрудничать с террором? Разве настоящей причиной этого преступления не был этот

самый террор? Совершили ли они его, если бы не страдали от этого непреодолимого страха? Почему я должен считать их хуже себя самого? Не был ли и я сам криминалистом из-за одного только чувства страха? Нет, я не донесу. Наказание за преступление было бы еще большим преступлением. Я уже совершил их достаточно под воздействием террора, и можно добавить еще одно, хотя бы оно было в тысячу раз более преступно по своей лицемерной видимости с точки зрения юстиции.

Эти трагические парадоксы делали мою жизнь невыносимой.

-----ooooooooOOOOOoooooooo-----

Мы прошли, по-видимому, в прошлую ночь канал Ламанш, но я этого даже не заметил. Когда наступил день, то мне сказали, что мы плывем уже по Северному морю.

Я вспомнил, что мне надо провести генерала. Я вошел в его каюту и поздоровался с ним, стараясь казаться вполне естественным. Генерал был развязан согласно моему приказанию. Я распорядился, чтобы охранник вышел и остался с ним сам, как всегда не зная, что делать и что говорить. Чтобы избавиться от неловкого положения я стал машинально курить. По привычке, не дав себе отчета, я предложил папиросу генералу, он отказался и поблагодарил меня. Я заметил что-то в его глазах, когда он отказывался от папиросы, но в первый момент не сообразил в чем деле, затем же понял, это был типичный взгляд курца, тоскующего по табаку, как часто я видел такие взгляды и бросал их сам за долгие советские годы. Я стал настаивать.

— Курите, пожалуйста.

— Спасибо, нет — отказался он опять.

— Но разве вы вообще не курите?

— Да, я курящий.

— Значит... я должен объяснить ваш отказ тем, что вы отказываетесь по той причине, что это я предлагаю вам папиросу?

Я видел, что он колеблется дать ответ.

— О нет, это мне не годится по мотивам моего здоровья — скривил он душой.

— Да, в самом деле, оно не годится ни для кого из нас, но я, как врач, и по своему опыту, считаю, что лишение табака при определенных обстоятельствах причиняет еще больший ущерб, извините, что я до этого момента не подумал о том, что вы могли быть курящим, если бы я дал себе в этом отчет, то уже с первого же дня вы бы располагали необходимыми папиросами. Я хорошо знаю, какое возникает невыносимое мучение, когда человек лишен табака. Возьмите, генерал: мне будет приятно избавить вас от этого мучения, хотя я не имею возможности оградить вас от других...

И подчеркнув акцентом и жестом эти слова я поднес к нему портсигар.

ГЕНЕРАЛ ВЗЯЛ ОДНУ папиросу, и я сам ему ее зажег. Когда я увидел, как он вдохнул первую затяжку, я почувствовал, что все мое существо вдыхает возбуждающее наркотическое средство, я радостно вздохнул полной грудью. Я чувствовал, будто это я сам наслаждался этой папиросой после месячного воздержания. Тихий голос говорил мне внутри моей совести: "Да, человеку, да, наконец ты смог сделать какое-то добро."

Я больше не мог ничего ни сказать, ни сделать. Я ушел, бормоча сам не знаю что. Мне нужен был свежий воздух и одиночество, чтобы облегчить свою грудь, готовую, кажется, разорваться.

-----оооооОООООооооо-----

Мы были уже в Балтике. Не знаю почему, но с тех пор, как мы вошли в это море, я почувствовал себя как бы уже в СССР. Все мне казалось печальным, и свет дня казался более тусклым, и даже дышать стало труднее. Это последнее явление, чисто воображаемое, заставило меня заняться сердцем генерала. Я выслушал его очень внимательно и это не было моей иллюзией, но я определенно видел, что сердечная деятельность падала с каждым днем. Я решил прописать ему по несколько капель дигитала ежедневно и выполнял это очень регулярно. Было бы глупо — подумал я — подвергнуться неприятности из-за того, что я недостаточно следил за его здоровьем. Другое было бы дело, если бы я решился на риск подорвать его. Хоть один раз могла моя совесть быть в согласии с полученным приказом. Это был первый случай.

Однажды вечером я рискнул начать с Генералом серьезный разговор. После различных намеков и обиняков я решился задать ему такой вопрос:

— Вы надумали, насчет того, что вам говорилось при выезде из Испании?

— Разумеется, я думал об этом.

— Не буду ли я нескромен, если спрошу вас о том решении, которое вы приняли? — Не дав ему времени на ответ я добавил: — "Поверьте мне, что это не любопытство, я только имею ввиду найти способ помочь вам решить то, что, по необходимости, представляет для вас большие трудности. Но если вы считаете, базируясь на предположении, что разговор со мной может вам повредить, то вы имеете право молчать, Я предупреждаю вас, что мое обращение и мое поведение по отношению к вам останется таким же, как и до сегодняшнего дня, и будет таковым до прибытия в Ленинград, вне зависимости от того, будете вы говорить или хранить молчание. Как вы видите, хоть у вас и очень мало сведений, моя деятельность не включается в нормы НКВД.

Генерал долго молчал, и я заметил, что он внутренне возбужден, сделав над собой усилие он заговорил:

— Не знаю, хорошо ли я удержал в памяти то, что мне говорил другой господин. От меня хотят, как я думаю, заявлений т.е. совершенно фальшивых признаний, не так ли?

— Да, конечно, — ответил я — заявлений, но зачем квалифицировать их с такой неосмотрительностью?

— С неосмотрительностью? — перебил он меня. — Разве неосмотрительно поставить прежде всего предварительный и принципиальный вопрос?

— Для вас, генерал, существует предварительный вопрос?

Ясно, принципиальный вопрос - это мораль. И он высказал это без дрожи и без аффектации, как вещь вполне натуральную.

— Какой моральный вопрос?

Генерал посмотрел на меня с тем уже удивлением, с каким наблюдал его я и ответил:

— Вы этого не видите? Это странно. Я должен лгать, доктор, так или нет?

— А! Дело в том, что ваши раз"яснения должны быть фальшивыми. — подчеркнул я.

— Само собой разумеется, я должен буду присягать своей честью...

Я попробовал реагировать на столь архаический язык, который звучал для меня так, как будто бы мне говорили по-арамейски.

— Где вы находитесь, генерал? Даете ли вы себе отчет в том, что вы вступили на Советскую территорию? По тому, что я вижу, вы неспособны приспособиться к этой среде. Даже больше: ваша неспособность такова, что вы ее не знаете. Но это незнание не препятствует тому, что она существует. Советское - существует, нас обвалакивает, нас насыщает и определяет...

— Так вы думаете, доктор? — перебил он меня, — так абсолютно и повсеместно советское могущество? Оно способно диктовать нам нашу мораль?

— Мне легко сказать да, генерал, я мог бы привести тысячу примеров, но я хорошо знаю, что они не будут служить аргументами для вас, при наличии у вас способности быть целиком заполненным своей абсолютной моралью, поскольку я смог это заметить.

— Я все же не понимаю вас, доктор, разве для вас существует две или больше моралей?

— Да, генерал, и я говорю предположительно, вернее так, как говорил бы, будучи на вашем месте, с вашей персональностью и в ваших обстоятельствах.

— Могли бы вы в самом деле переключиться?

— Не сомневайтесь в этом, смогу с гораздо большей легкостью, чем вы можете это предположить.

— Я вас слушаю с интересом.

— Я не думаю, чтобы трудно было бы себе представить существование несправедливого режима, абсолютно несправедливого, не является ли для вас таковым советский? Нет не отвечайте мне, генерал, я не занимаюсь задаванием вопросов. Режим является несправедливым в абсолютной степени тогда когда в нем индивидуальная мораль, суб"ективное добро - в действительности оказывается об"ективным злом. Быть верным несправедливому режиму, быть правдивым, честным, защищать его, бороться и умереть за него только для того, чтобы выполнить присягу, значит укрепить его дурные качества. Так ли это?

— Да, так.

— Видите, генерал, как абсолютная и субъективная мораль, смотря по обстоятельствам, иногда может отсутствовать.

— Вы, доктор, очень искусный полемик. Я уже имел сведения о большом прогрессе диалектики в СССР, но, верьте мне, что когда политика или философия создают крупных диалектиков, то я не доверяю им, ибо всякая ложь — для того чтобы продержаться, нуждается в софистике. Я не оспариваю вас в этом отдельном случае, изложенном вами, ибо с нетерпением хочу узнать, куда вы клоните.

— Просто, генерал, к тому, что непобедимая и более крупная сила принуждет вас выбирать. Вы должны будете или подчиниться или восстать против Советского распоряжения. А что сделаете вы? По тому, что я вижу, вы хотите судорожно держаться за моральный императив, который без оснований вступает в игру.

— Извините, доктор, если я вам скажу, что по моему мнению вы сами себе противоречите.

— В чем, генерал?

— Вы сказали, что служить несправедливому режиму равносильно тому, чтобы его укреплять.

— Да, так оно и есть.

— Ну и значит тогда?

— А что общего имеет это с вашим случаем? Я изложил эту истину с целью сломать ваше решение подчинять все только морали, но только для этого. Ваш случай не касается справедливости или несправедливости Советской власти.

— В самом деле, вы привели меня в смущение.

— Для этого нет повода, генерал. В результате — что от вас требуется? Заявить против некоторых конспираторов — врагов Советского режима.

— Для меня — режима порочного.

— Ну и что?

— Как так "и что" доктор? Согласно вашему собственному тезису — служить порочному режиму — это значит его усиливать. А разве мы не служим ему, сражаясь с его врагами?

— При одном условии, генерал.

— Каком?

— Чтобы эти враги, которых большевистское государство приказывает вам атаковать, были хорошими.

— То, что противоположно злу, является добром.

— Постойте, генерал. С вашей собственной моральной точки зрения это глубочайшее заблуждение, вы, конечно, не единственный, но обобщение столь крупной ошибки не уменьшает ее серьезности. То, что вы утверждаете - правда, но только в том случае, если мы переставим термин.

— Как?

— Противоположное добру - есть зло, это верно без исключений, но абсурдно утверждать, что все, противоположное злу, обязательно хорошо. Врагом зла может быть также зло. Врагом убийцы может быть другой убийца. Враги Советского режима не должны быть обязательно хорошими, они могут быть столь же порочными или же еще больше... Думаете ли вы, что Троцкий лучше Сталина, или наоборот? Сокращая вопрос для простоты, скажу, что для вас все дело сводится к выбору между Троцким или Сталиным. Как вы видите, это нечто, стоящее вне вашей индивидуальной морали.

Видя, что генерал мне не отвечает, я решил, что я победил по всей линии. Считая разговор законченным я предложил ему папиросу и собрался уходить. Он принял ее, и я ушел, в достаточной мере удовлетворенный собой.

Остаток дня я ходил взад и вперед, уверенный в том, что я убедил генерала. Я был внутренне очень рад. Избавить жертву от издевательств и пыток НКВД я считая делом, которое почти что искупало мою вину.

На следующий день я замедлил со своим визитом. Прежде чем увидеть генерала я хотел построить в своем мозгу темы, которые - по моему пониманию - включались в его будущие заявления. Кроме того я набрасывал ложные утверждения таким образом, чтобы приписать Миллеру роль русского патриота, вынужденного действовать из любви к народу, ставя его выше всяких партий, а также горящего желанием спасти вечную Россию от новой инвазии.

Утешенный этой розовой панорамой я проник в его каюту. Генерал сидел на кровати и курил. Я проверил взглядом его состояние и нашел, что он вполне спокоен. Его вид воодушевил меня, и я вскоре стал говорить с ним. И так как я считал, что добился его согласия, то без всяких вопросов перешел к деталям. Прежде всего я сказал ему, что он должен отрицать свое похищение, его приезд в СССР должен быть изображен,

как добровольный. Его свидания с немецкими военными имели место в действительности, и именно планы, сообщенные последними, побудили его выдать заговор, в котором еще раньше были замешаны расстрелянные уже генералы.

Все это я прикрасил большим количеством деталей и внушений. Я говорил и говорил, и меня не перебивали. Затем я сделал паузу в ожидании, что заговорит генерал, но ввиду его молчания я снова возобновил свои раз'яснения, думая, что он меня недостаточно хорошо понял. В конце концов я должен был замолчать, приглашая этим молчанием заговорить его...

Он это понял и начал с того, что задал мне вопрос:

— Моя декларация не сможет уже повредить расстрелянным военным?

— Очевидно, что нет.

— А если они уже расстреляны, то каким образом сможет моя декларация помочь избежать инвазии?

— Конечно, есть еще больше генералов в этом заговоре.

— А изменники - политики тоже будут расстреляны, если я дам раз'яснения?

— Они будут расстреляны как в одном, так и в другом случае.

— Могу ли я знать, кто они?

— Я не знаю точно всех, кто должен явиться по вызову на суд, но во всяком случае Ягода, бывший шеф НКВД, Бухарин, бывший председатель Коминтерна, Рыков, бывший председатель Совета Комиссаров, остальные должны быть такого же ранга или вроде этого. Как вы видите с вашей точки зрения - дело идет о людях, которые были вождями революции и которые играли в ней роль гораздо более высокую, чем многие из их судей, поэтому они должны были бы быть палачами для своих...

— Это значит, что, как вы сказали, враги порочных людей сами порочны.

— Я, генерал, говорил теоретически, говорил с вашей точки зрения. Я верен Сталину и этому режиму.

Миллер посмотрел на меня внимательно и спокойно и, медленно, как будто бы произносил очень трудные слова, сказал:

— Я очень сожалею, но вы обманываетесь, доктор, я не буду лгать. Мои противники большевики, троцкисты и стали-

нисты отвратительны все одинаково и царский генерал не может устраивать комбинации ни с одной бандой убийц.

Я могу еще оказать услугу в своем процессе России. Я покажу миру и моим солдатам, что еще живет честь и мужество в груди русского человека. Умереть - это последняя услуга, которую я смогу оказать моей Родине и моему царю. Я не умру подло.

Не было ни высокопарности, ни дрожи в словах генерала. Внутри себя я ощущал удовольствие подобно тому, как если бы я слышал небесную музыку. Мой отец, старый полковник, поступил бы так же. Хотя по наружности он не был похож на генерала, но сквозь лицо Миллера мне виднелось его лицо, и это меня взволновало.

Наступило тяжелое молчание. Генерал никогда не смог бы отгадать, что происходило внутри меня, пожалуй, он думал, что у меня страдало самолюбие чекиста, потерпевшего неудачу. Я готов был совершить безумие, обнять его и тут же признаться, что я также был терроризированным пленником, но не обладал его мужеством для оказания сопротивления сотрудничеству. И что я со всеми своими доводами не мог представить еще одного против абсурда его чести...

Я чувствовал, что не имею сил спорить больше. Я оставил на кровати коробочку с табаком и вышел, не сказав ни одного слова.

Я забрался в самый задний уголок парохода, чтобы скрыть свою радость и свой стыд.

-----оооооОООООооооо-----

Оставалось еще два дня плавания до прибытия в Ленинград. У меня не было смелости настаивать. Я мог оставаться с генералом только на короткое время. Ежедневно я давал ему дигитадь.

Не помню больше ничего и не знаю ничего об этих двух последних днях плавания.

-----оооооОООООооооо-----

Я пишу уже спустя несколько месяцев после нашего прибытия в Ленинград, но эти сцены все еще сохраняются на сет-

чатке моего воображения, так как будто бы они произошли только сегодня.

Хотя я начал страдать бессонницей уже в эти последние дни, но в ночь перед прибытием я не смог заснуть ни на один момент. Очень рано, на рассвете я услышал движение команды на палубе, голоса и шум возвещали о скором прибытии. Я зажег свет и увидел, что часы мои показывали четыре часа. Капитан сказал мне, что мы пришвартуемся приблизительно к восьми часам. Я оделся и помылся холодной водой и почувствовал себя освежившимся.

Меня притягивала каюта Миллера. Я решил помедлить с визитом, рассеивая свое внимание угадыванием очертаний Ленинграда, погруженного в темноту. Город угадывался по огням освещения, пробивавшимся сквозь утренний туман. Сначала я хотел уточнить темную массу Кронштадта. Холод и сырость стали чувствоваться и согноли меня с палубы.

После хождения взад и вперед много раз, я решился войти в каюту генерала, я открыл дверь и просунул голову, увидев меня, охранник встал. Я посмотрел на Миллера и увидел его лежащим, его связали и его рука свешивалась с кровати, но он спокойно спал. Я сделал знак охраннику, чтобы он не двигался и не будил генерала, и ушел, осторожно закрыв дверь, чтобы не разбудить генерала.

Я вернулся в свою каюту и снова вышел, так как не мог сидеть спокойно. Я попробовал поднять свое настроение, думая о первой встрече с моей женой и моими детьми, я хотел насладиться их удивлением при виде небольших ценных подарков из одежды и других вещей, которые я привез им с запада за свои две поездки. Но счастливые мысли, наполнявшие меня, перемежались с печальной сценой смерти генерала. Она казалась мне столь варварской и жестокой на фоне туманного советского берега, что, облокотившись о борт, я должен был сжать свои виски ладонями рук. Ничто не было в состоянии успокоить мои моральные мучения.

Задуманное похищение генерала проходило через мой мозг, начиная от моего первого свидания с Ягодой, кончая приближающейся трагедией в подвалах Лубянки, и затем опять все начиналось сначала...

Я решил сделать себе ин"екцию каким-нибудь наркотиком и решительно направился к своей каюте, но придя в нее -

раскаялся. Я только сделал глоток коньяку, чтобы успокоить свои возбужденные мысли. Я несколько успокоился и стал рассуждать с большей ясностью. Теперь я обвинял себя в том, что не имел достаточно мужества, чтобы помешать похищению Миллера, о чем я так часто думал. Мой страх столкнулся с выдержкой и мужеством генерала, которого я видел спящим подобно ребенку несколько мгновений тому назад, а сам я сделался, как тряпка. Я выпил снова.

Дневной свет проник через иллюминатор моей каюты, и я смотрел на него, ничего не видя, через круглое стекло.

Мгновенно появилась у меня мысль, показавшаяся мне гениальной. Это была мысль дать генералу перед высадкой его ежедневную дозу дигитала. Его сердце должно быть крепким во время его первой встречи с НКВД, которое появится перед ним в окружении всего своего сцениграфического аппарата. Это очень простое и несложное дело, показалось мне в этот момент чуть ли не великим, это последнее неоценимое одолжение.

Я взял свой маленький чемоданчик с медикаментами и пошел в соседнюю каюту. Проходя я видел пароходы, стоявшие на якорях, наш - время от времени гудел своей сиреной.

Я вошел и, увидев генерала еще связанным, ощутил внутри себя чувство большого негодования. Я чуть не выругал охранявшего его матроса, приказав ему развязать генерала, что он выполнил с глазами ручного ягненка.

— Мы уже прибываем, генерал — сообщил я ему.

— Я предполагал это, судя по звуку сирены. Должен ли я уже вставать, если вы считаете это нужным?

Эта просьба генерала о разрешении вогнала меня в краску. Я утвердительно кивнул головой и повернулся спиной, чтобы он одевался.

Когда я понял, что Миллер кончил одеваться, я повернулся. Тогда я сообразил, что выйдя на улицу в своем парижском костюме, он будет страдать от холода. Температура была очень низкая и говорила о наступлении зимы этим утром.

— Вам холодно, генерал? — спросил я его.

— Вижу, что утро довольно свежее — ответил он мне, потирая руки.

Ничего ему не говоря я вышел и прошел в свою каюту. Быстро открыл я один из чемоданов и вытащил плотную ниж-

нюю рубашку и джемир из очень хорошей шерсти, с этими обеими вещами под мышкой я вернулся опять к генералу. Оставшись опять наедине с ним, я заставил его надеть обе вещи. Он воспротивился надеть нижнюю рубашку, желая ее спрятать, чтобы одеть ее потом в Ленинграде. Я должен был предупредить его, что не могу отвечать за то, что ему оставят ее, если она не будет на нем одета. Это его убедило, и он одел ее.

Пароход продвигался очень медленно, и день прояснялся все больше. Я попросил подать мне мой завтрак там, одновременно с генералом. Я постарался, чтобы он поел возможно больше после того, как я дал ему выпить капли дигитала.

Генерал бросил недоконченную папиросу, которую он курил. "Разрешите мне?" — сказал он поднимаясь и подошел к стеклу окна. Он стоял неподвижно и пристально смотрел. Уже виднелся неясно город, но с каждым моментом очертания становились все более четкими. Я тоже смотрел, но не мог пока что еще различить панораму и предоставил все маленькое окошечко генералу. Он продолжал смотреть не мигая вперед, бледный, неподвижный и застывший. Что видел и о чем вспоминал он сейчас? Думаю, что в его воображении всплыли мучительные воспоминания того Санкт-Петербурга, где был Царский двор, где он был офицером, а, может быть, и пережил первую любовь. Его мечты проникнуть в город, по которому он тосковал, во главе своих освободительных войск и пройти по великолепным императорским проспектам, вспыхнули, как исчезнувший сон, в его воображении и он как бы проснулся, увидев ужасную реальность. Молчаливая буря, бушевавшая в его сердце, была, наверное, ужасна.

Я смотрел на него со всем моим вниманием, почти что не дыша, участвуя всем своим нутром в его волнении и стараясь приметить его в каждом его движении. Но что-то мелькнуло сбоку и мелькнуло по моей сетчатой оболочке: я отвел глаза от генерала, привлеченный блеском. Это был мой чемоданчик с инструментами и химическими продуктами, который я оставил открытым на доске около кровати. Я вздрогнул. Я моментально вспомнил, что я оставил здесь открытым футляр с ампулами и бутылочками, содержание которых было в определенных дозах безусловно смертельно. Мысли галоппом пронеслись через мой мозг. Может быть генерал мог... Да, это было возможно только в один момент... Я почувствовал в своем по-

звоночнике ледяную струю страха. "Нет — повторял я себе и один и другой раз, — он дал слово чести, что не покончит самоубийством. Ну, а если его смутило его волнение при прибытии, неминуемая опасность и ужас? Я перевел глаза на ампулы и на бутылочки, желая обнаружить следы насилия. Может быть дигиталь? Не показалось ли мне, что его было больше? Я хотел проверить содержимое путем расчета и взяв бутылочку посмотрел ее на свет. Я попытался высчитать дозу, которую я истратил на генерала и старался отгадать...

Я снова глянул на генерала. Он продолжал все также стоять. Он был похож на стоячего мертвеца. Мне взбрело в голову, что он мертв, застыл и держится каким-то чудом. Меня душила тоска, мне уже мерещился генерал, лежащий у моих ног.

Сильный скрип чего-то, вроде колеса, вывел меня из моего состояния отупения, и мои нервы судорожно сжались. Стуки на время прекратились, и я мог смотреть более спокойно на профиль генерала. Я не знал, как реагировать и стоял как загипнотизированный, по его щеке катились две слезы.

Не знаю почему, но меня охватило спокойствие. Страх испарился из меня. Я почувствовал себя в полном сознании. Нет, генерал не отравился. Не было никаких причин для этой уверенности, вдруг заставившей меня переменить мнение, но в этот момент я был уверен в генерале так же, как и в самом себе.

Когда мой взгляд опять упал на бутылочку с дигиталем, то я только с полным хладнокровием высчитал, что достаточно половины небольшого количества содержимого, которое еще там оставалось, чтобы убить в течение нескольких часов того, кто его примет.

Во рту у меня пересохло и я решил налить себе чашку чая, так как чайник от завтрака стоял еще на доске. Я налил себе, а затем машинально наполнил также и чашку генерала, но когда я поставил чайник, то одна мысль скребанула у меня в мозгу, именно здесь, в лобной циркумвальной линии.

В это же время генерал повернул голову и сказал мне:

— Мы причаливаем, уже кладут мостки — и стал опять смотреть через окно.

Картины пыток и смерть генерала быстро промелькнули у меня в мозгу, резанув меня, как железной пилой. И я не знаю

был ли это мой рассудок или я действовал, как сомнамбула, но я увидел точно, без колебаний и быстро, как бутылочка с дигиталем очутилась между моими пальцами. Я влил половину или больше содержимого в чашку. Как автомат я спрятал лекарство и с силой запер чемоданчик.

Я услышал громкие приближающиеся шаги. Я взял в каждую руку по чашке и голосом, который показался мне странным, я предложил:

— Последнюю чашку, генерал?

— Спасибо — и он взял ее в свою руку.

Я выпил с закрытыми глазами.

Когда я их открыл, то генерал ставил свою пустую чашку на доску.

— Может быть еще и сигару?

— Спасибо, доктор, спасибо.

Я зажег ее ему без дрожи в руке.

Я слышал шум разговора в дверях и увидел через стекло шубы четырех чекистов. Дверь открылась и ворвался ледяной воздух,

— Вам холодно, генерал?

— Нет, доктор, я благодарю вас за теплые вещи. Без них я дрожал бы от холода, а они думали бы, что я дрожу от страха.

Так прошел еще момент, но никто не показывался в дверях. Послышалось приближение сильных, полноразличных, властных шагов и массивный силуэт одного из начальников НКВД загородил дверь.

Задержанный. — справился он.

— В вашем распоряжении, господин — ответил генерал, сделав шаг вперед.

Силуэт чекиста отошел в сторону. Генерал поднял ногу, чтобы переступить через высокий порог двери и в это время повернул голову и посмотрел на меня.

Я не могу описать этого последнего его взгляда. Я хочу верить, что прочитал в нем прощение и благодарность.

XXXVIII

НИЗВЕРГНУТЫЙ - ЯГОДА

Вот я опять здесь. Ничего не изменилось, кажется. За время меньше чем месяц я пережил целый фильм. Его реальные сцены с фантастической быстротой мелькали передо мной одни за другими, как вымыслы на кинематографической ленте. А тут же стоит неподвижный вечный СССР... Революция, "вечное будущее" для философов, является для меня в этот момент неподвижным центром мировых событий. Стремительные самолеты, динамические похищения, убийства, война, интриги, планетарные судороги. И что же? СССР продолжает стоять, облаченный в белый снежный саван, как вчера, как год тому назад, вечность.

Таким он кажется мне через железный четырехугольник большого окна в моей тюрьме-лаборатории, где я снова заперт. Зала, баночки, трещотки, аппараты, дом, люди, поле, все одинаково, это вечность.

-----ooooooooOOOOOoooooooo-----

Я вернулся в Москву с Дувалем. (Не знаю почему, но на протяжении времени всего моего последнего путешествия и сейчас, Габриель стал по отношению ко мне опять тем "Дувалем", с которым я познакомился в первый раз). Мы совершили поездку в поезде. Он оставил меня здесь и уехал. Я должен средактировать информацию о моем путешествии с генералом. Я попытаюсь подчеркнуть серьезность состояния его сердца. Мы выехали из Ленинграда через полчаса после прибытия туда. Габриель уже поджидал меня внутри автомобиля на самом молу. Во время нашего путешествия я ежеминутно задавал себе вопрос, умер ли уже Миллер? Я почти что не мог смотреть прямо в глаза Габриелю. Страх, что он прочтет в моих глазах об "убийстве" заставил меня выдумать предлог, что я хочу спать, и я должен был притвориться спящим. Сейчас я в очень повышенном настроении. Сообщение о смерти должно было притти в Москву раньше нашего приезда. Габриель придет, или позвонит. Я ожидаю его с нетерпением. Ничего не могу делать, даже читать. Могу только курить и прогуливаться.

Отсутствие известий о генерале заставило меня опасаться - пишу "опасаться", - что он остался живым, если бы дигиталь был советского происхождения. Но нет, этот был из Германии и его чистота была проверена мною здесь, в этой самой лаборатории. Я считаю его действие безошибочным. Было бы несчастьем, если бы знаменитая немецкая техника подвела в данном случае. Это было бы несчастьем для Миллера, так как для него жизнь стала бы пыткой, а смерть освобождением. Как всегда, постоянный советский парадокс. Добро является злом, а зло – добром.

... ..

Да, генерал умер. Мне сообщил об этом Габриель по телефону поздно вечером. Я уже лежал в кровати и крепко спал, когда он меня вызвал. Не знаю, было ли это заблуждением с моей стороны, но я молился и благодарил Бога. "Наконец — думал я — я смог сделать добро своему ближнему. Добро - убив его".

... ..

Прошло много дней. Я передал Габриелю через интенданта информацию о Миллере на следующий же день. Я ожидал, что он или кто-нибудь другой будут меня допрашивать, но нет, никто мною не занялся. Накопленное мною мужество и спокойствие мне не понадобились.

Зима уже наступила, и хотя я иммунизирован от ее холода, но она мне сжимает душу. Надежда вернуться опять к своим, которая всегда билась в моей груди, теперь превратилась в безнадежность. Ничего, ничего не знаю.

Завершение дела Миллера, вселявшее в меня надежду на свободу, более или менее урезанную, не принесло с собой никаких перемен. Не вижу Габриеля со времени нашего возвращения. Никто даже не побеспокоился мне что-нибудь сказать. Когда я его увижу, если я его увижу опять, то я поставлю вопрос со всею твердостью. Уже прошел год после моей изоляции. Это вечность для отца. Никто этого не видит? Никто об этом не думает?

... ..

Приехал Габриель. Он пробыл несколько минут.

Как досадно получилось с Миллером! Потерян целый год работы!

Таков был его комментарий.

Уже у самых дверей я взял его на бордаж. Я просил его, чтобы он занялся моим положением и говорил ему об абсолютной необходимости увидеться мне с моими. Я не смог развернуть свое красноречие, хотя пытался это сделать, ибо он торопился и слушал меня нетерпеливо. Вот все, что он мне ответил:

— Я доложу об этом Комиссару, сейчас он меня ждет. Я займусь этим, доктор. Но имейте ввиду, что вы знаете уже слишком много, чтобы свободно ездить по СССР.

И он уехал, даже не глянув на меня.

... ..

Новый год: 1938-й. Боже мой! Что меня ждет?

Я никого не видел на протяжении этих трех месяцев. Габриель сюда не заглядывал. Как всегда, я и боюсь и хочу, чтобы он вернулся.

Наконец я превозмог свою слабость и стал опять писать. Сейчас я дошел в последовательности событий до самоубийства Лидии. Я не удовлетворен тем, как мне это удалось изобразить. Мне не хватает литературного вдохновения для того, чтобы дать хотя бы слабое понятие об ее трагедии. Когда я переживаю чужое горе, то оно отражается на мне. Перо легко находит ритм, но когда я не принимаю участия в делах, или даже и не присутствую на них, а только вижу развязку, то как бы ужасна она не была, мои слова, описывающие ее не потрясают, мне кажется, что не обладают ни интенсивностью, ни эмоциональностью.

Приехал Габриель. Он остался ужинать в моей компании. Привез с собой замечательные сладости, как он говорит, из Германии. То что он ужинал со мной в эту знаменательную ночь и поднял тост с началом нового года, это я оценил, как внимание, за которое я ему в душе очень благодарен. Я этого ни ожидал. Я уже приготовился провести эту ночь, как и все прочие. Правда, я и моя семья никогда не праздновали окон-

чания большевистского года. На нашем скромном семейном празднике всегда встречался православный новый год. Это был немой и интимный протест против тирании.

Мы поужинали великолепно. Он заставил меня выпить несколько больше, чем нужно было бы. Хотя он пил столько же, сколько и я, но это на него не подействовало. Я видел, что он пытался найти в алкоголе радость, но я думаю, что это ему не удалось. Ужин продолжался долго. Большие часы в столовой пробили двенадцать часов в тот момент, когда мы ели сладкое. Мы выпили за наше личное и семейное благополучие. Я поверил в искренность его слов, несмотря на прошедшее, и меня это тронуло. Я чуть ли не готов был плакать, пожалуй какая-нибудь непослушная слеза и скатилась с моей щеки.

Во время ужина мы говорили обо всем, Габриель блеснул способностями интересного собеседника. Он говорил и говорил на тысячу различных тем, веселых, красочных и одновременно иронических, были вспышки юмора и даже он слегка коснулся и сентиментального, но ни одного единого разу не намекнул на "наше", на "профессиональное".

Мы затянули разговоры за столом чуть ли не до рассвета. На расставание он душевно попрощался со мной.

Счастливая первая ночь нового года.

-----ooooooooOooooo-----

Было двенадцать часов дня, когда я вышел из своей комнаты. Габриель тоже вскоре присоединился ко мне. Он предложил мне выпить в его компании по рюмочке вермута, и затем повел меня за собой в лабораторию.

— Маленькое одолжение, доктор — сказал он мне, когда мы пришли.

— Скажите.

Он порылся в кармане жилетки и достал пальцами что-то, завернутое в белую шелковую бумагу. Он развернул ее и показал мне. Это была никелированная капсула, величиной не больше пистолетной пули.

— Что это такое? — спросил я его.

— То, что вы видите: платиновый, яйцевидный сосуд.

— И что же вы хотите? Должен я сделать анализ?

— Нет, доктор, я хорошо знаю, что это такое и что там содержится. Я хочу только знать, не будет ли трудно ввести это под кожу.

— Какую кожу? — спросил я смущенный.

— Под мою.

— Под вашу? — Воскликнул я изумленно, не понимая, что за странная вещь ему понадобилась.

— Да, доктор, не удивляйтесь. Как я думаю, имеется много людей, у которых пули застряли гораздо глубже, в мускульных связках и даже в легких, и они живут себе, как будто это им ни почем, долгие годы... Так это или не так?

— Да, разумеется.

— Значит, если пуля может быть введена ружьем или пистолетом, то я не вижу никаких трудностей в том, чтобы вы со всей асептикой поместили бы мне эту капсулу в поверхностной области.

— Да, это операция не рискованная.

— Ну так давайте реализуем ее... Чего вы ждете?

Я уже больше не противоречил и не считал корректным задавать больше вопросы, я отправился за необходимыми инструментами.

Когда я вернулся, то спросил его:

— Где она должна находиться?

— Точно здесь — и он показал мне свою левую руку, сняв ручные часы. — Здесь — повторил он — немного выше сустава.

Я приготовился сделать местную анестезию и направлялся уже к Габриелю с готовым заряженным шприцем.

— Но что это вы хотите делать — спросил он меня удивленным тоном.

— Анестезию — ответил я.

— Вы думаете, что это необходимо?

— Конечно. Разве вы хотите терпеть боль без всякой к тому надобности?

— Боль будет небольшая, доктор, не убьет меня. Но, в конце концов, пусть будет так, вы же техник "обезболивания". Испробуйте один из своих знаменитых наркотиков. Давайте уж, колите.

Я сделал укол и инъекцию. Подождал несколько минут.

— Где точно?

— Здесь, доктор — и он провел ногтем указательного пальца линию на своей руке, — подальше от артерии, по которой выслушивается пульс, чтобы какой-нибудь врач не нащупал капсулу и не захотел бы узнать, в чем тут дело. Наука так любознательна! Правда, доктор?

— Как вы хотите. Готовы?

— Да, доктор, это не так важно.

Я сделал надрез, отделил немного кожу и ввел капсулу, которая была погружена в дезинфекционный раствор. Сделал шов и забинтовал. Все закончилось очень быстро.

— Великолепно — одобрил он, накладывая поверх бинта ремешок от часов. — Спасибо, доктор. Каков счет за операцию?

— Вам угодно шутить?... Ничего, Габриель, я думаю, что это относится к моим служебным обязанностям... Или это частным образом?

— Смотрите, доктор, потому что, если вы хотите получить...

— Я?

— Да, вы хотите, чтобы я вас удовлетворил...

— Ради Бога, Габриель

— Чтобы я удовлетворил ваше любопытство.

— Я? — протестовал я.

— Не отрицайте этого, доктор, вы смертельно хотите узнать, в чем тут дело, Я вам скажу, и даже больше, я вам предлагаю другую капсулу с этой вакуной.

— Но разве это вакуна? — спросил я удивленный.

Мне показалось, что он говорил искренно, и я не приметил у него иронии.

— Это правда? — спросил я с сильным сомнением.

— Я вам говорю это вполне серьезно.

— Вакуна, заключенная в капсулу? И она действует через металл? Что за редкостная вещь! Или это профилактический металл? Подозреваю, что вы стали жертвой какого-нибудь обмана насчет ее чудодейственности.

— Хорошо, я сейчас вам расскажу серьезно. Какая анестезия, доктор, будет по-вашему, самой длительной и безупречной?

Я начал отвечать научными терминами, но он остановил меня жестом и продолжал сам:

— Молчите, мы договоримся. Самая длительная и безупречная анестезия - это смерть, доктор: разве она не всеобщая и не вечная? Вот мы и договорились. Как-то раз вы слышали, как я кому-то говорил, что смерть, более точно самоубийство, здесь является невозможной роскошью... да? Многие бы отдали все свои богатства за одну хорошую пулю в мозг, даже жен, дочерей и сыновей. Этот факт навел меня на счастливую мысль, мысль, которую вы помогли мне выполнить практически. Я имею уже внутри себя эту пулю, эту недостижимую роскошь.

Когда он это сказал, то в его зрачках сверкнула мрачная радость. Я думал, что он продолжал шутить со мной, или что он сошел с ума, и продолжал настаивать:

— Но эта пуля не может убить, ваше здоровье осталось после ее введения таким же самым, так ведь?

— Да, доктор, да. Потому что моя пуля убьет меня только по моей воле.

— Она заговоренная?

— Я вас больше не буду интриговать. Эта знаменитая пуля содержит цианистую соль самой высокой концентрации. Если вы, доктор, об этом не донесете, никто не сможет лишить меня ее. Как бы я не был связан, будет очень трудно сделать так, чтобы я не смог достать эту капсулу ртом и там раскусить ее, я пробовал раньше ее сопротивляемость своими зубами с другой - точно такой же, ясно, что та была пустая.

— А если не будет чем сделать разрез, чтобы ее извлечь?

— Зубы будут всегда в моем распоряжении. Обычно не имеют обыкновения вырывать их в спешном порядке. Достаточно будет сделать решительный укус.

— Да, в самом деле, вы все обдумали, Но для чего все это, Габриель?

— О, ни для чего. Это просто предосторожность. Вы знаете уже, что я пережил кое-какие неприятные времена в Германии... Гестапо, понимаете? Не скажу, чтобы у них там пытки были очень усовершенствованными, нет, они только кошмарно избивают, как звери. Нет, "чернорубашечники" не имеют никакой утонченности. Если убивают, то убивают, относительно, быстро... хотя сейчас они были причиной этой моей автовакуны против боли, но еще более необходимой считаю я предосторожность по местным причинам.

— По причинам местным? — спросил я с чрезвычайным удивлением.

— Да, доктор, да. Именно здесь сможет стать эта вакуна для меня абсолютно необходимой. Вы уже кое-что знаете, хотя и немного, насчет наших методов... Мы, которые ими пользуемся, думаем о возможности того, что и мы сами можем подвергнуться мучениям, разве это не естественно?

— Но как же это возможно?

— А как же? Справьтесь об этом у Ягоды.

— Он также?

— Ясно. И если он, Народный Комиссар, сейчас подвергается деликатному обращению своих прежних учеников, то почему я, почему вы лично, не сможем подвергнуться этой же самой опасности?

— Вы боитесь?

— Я ничего не боюсь.

— Может быть есть какие-нибудь изменения?

— Нет, не думаю, но Сталин не бессмертен. Ни я, никто не знает, что здесь будет. Если начальник НКВД смог перейти из своего высокого и всемогущего положения в камеру, размером как гроб, то из гроба он снова сможет прыгнуть на свой трон террора. Представляете ли вы себя, доктор, сегодня в руках того Ягоды, которого вы знали? Не ощущаете вы холода в своем позвоночнике?

— Да ощущаю, и даже кое-что еще больше.

— Ну и так — сказал он, взявшись большим и указательным пальцем за карманчик жилетки, — ваша капсула, доктор?

— Нет, Габриель, нет. Спасибо. Вы уже знаете, что я не могу...

— А,.. да, ваш Бог, религиозный предрассудок... Да, пожалуй вам не нужна так анестезия, как мне... Религия есть опиум, как сказал Ленин. Думаете, что вам будет достаточно этого наркотика во время боли? Думаю, что нет, доктор, вы это почувствуете.

— Вы не можете понять.

— То, что я понимаю - это есть утешение, не проверенное вами на опыте, которое получается от поглаживания пальцем предохранителя в долгие часы опасности или от пульсирования на фаланге пальца спуска револьвера в глубине кармана,

но револьвер - это нечто обыкновенное. Кто не знает своего приговора, то его легко разоружить. То же, что я имею в себе, никто не похитит от меня. Это чудесная вещь в момент наивысших страданий во время пытки. Я представляю себе сумасшедшую радость отца, когда он чувствует, как под его пальцами трепещет пульс его сына, которого он считал уже мертвым. Это вещь в таком же роде... Когда я трону маленькую выпуклость, то почувствую отвагу и безмерную радость, еще большую, гораздо большую, чем в момент ощущения биения пульса любимого человека. В конце концов - это обозначает только жизнь, а это мое - смерть,.. и тут нет ничего сходного, тут самое страстное желание умереть раньше, чем быть замученным так, как мы умеем мучить.

Габриель замолк. Он говорил почти что с благоговением и с глубокой убежденностью. Его глаза не видели меня. Он видел, наверное, ужас.

Через минуту он уже реагировал. Его лицо сделалось опять спокойным и гладким, Внутри у него произошла мгновенная перемена.

— Не позавтракаем ли мы, доктор? Вы обладаете в совершенстве искусством заставлять меня говорить! Собирайте все это, пойдем уже.

Мы позавтракали с поспешностью.

Прибыла машина Габриеля, и он собрался уезжать. Уже в вестибюле, как будто бы он только что вспомнил, он сказал мне,

— А! Доктор, через несколько дней вам придется встретиться с Ягодой на очной ставке для предварительного следствия. Это чисто следственное дело: не тревожьтесь. У вас будет okazия удовлетворить свою ненависть.

— Мою ненависть? — спросил я удивленно.

— А разве у вас нет к нему чувства ненависти?

— Почему? Если Ягода избрал меня в качестве инструмента, точно так же мог бы меня выбрать и другой любой. Почему я должен ненавидеть именно его?

Габриель замолчал на несколько мгновений и посоветовал мне:

— Конечно, доктор, ненавидьте его, ненавидьте...

Больше он мне ничего не сказал и вышел, поправив наушники своей меховой шапки.

-----оооооОООООооооо-----

Еще десять дней одиночества. Пишу, читаю в монотонной обстановке, которая изнуряет меня.

Мне позвонил Габриель, чтобы предупредить, что этим же вечером за мной приедут, чтобы отвезти к нему.

Приехали после десяти часов и повезли меня в машине. Было страшно холодно. Мы поехали по направлению к Москве. "Куда меня доставят сегодня?" — спрашивал я сам себя, не имея возможности ответить на этот вопрос.

Мы остановились перед одной из дверей на Лубянке, перед той самой, через которую мы проходили в ночь экзекуции Тухачевского. Я вошел с одним из сопровождавших меня, который переговорил только с часовым... Мы вошли в какую-то комнату, что-то вроде караульного помещения, и там он стал разговаривать по внутреннему телефону. По-видимому, он получил распоряжение доставить меня в какой-то отдел, потому что мы сразу же вышли в сопровождении одного только солдата-энкаведиста. Сопровождавший меня держал в руке карточку и предъявлял ее несколько раз, согласно укоренившемуся там обычаю. Видно было, что здесь его хорошо знали и идентификация производилась чисто формально, но регламент все-таки выполнялся.

Мы проходили по коридорам и поднимались по лестницам, пока я не потерял всякую ориентацию. Наконец мы остановились перед одной дверью, охраняемой солдатом. Он зашел, чтобы доложить о нашем прибытии. Прошла пара минут, когда он вернулся, и я проинспектировал взглядом коридор. Он был чистый и содержался в порядке, не видно было на полу ни плевков, ни окурков, по обе стороны видны были лакированные двери с поблескивающими металлическими частями, наверное здесь помещались кабинеты высших начальников НКВД. Два вооруженных солдата стояли на карауле в противоположных концах коридора навытяжку с очень воинственным и серьезным видом.

Вышел часовой и пригласил меня зайти.

Солдат открыл дверь, перед которой я стоял, и с почтительным жестом пригласил меня зайти. В центре комнаты находился Габриель и курил папиросу.

Мы поздоровались, он подвел меня к кушетке в типе турецкого дивана, судя по ее комфортабельным размерам, и пригласил меня сесть. Я сел, он продолжал стоять передо мной. Он был в форме офицера НКВД и имел очень элегантный вид, ему мог бы позавидовать любой военный немец. Я обвел взглядом кабинет, он был чистый и скромный, мебель была солидная, новая и даже изящная, но без особых претензий. Если бы не фатальный цветной литографический портрет Сталина, то общее впечатление вовсе не было ужасающим.

— Что, доктор? Как насчет присутствия духа и смелости? Расположены ли вы встретиться со страшным Ягодой?

— Если это неизбежно... что делать?

— Мы будем говорить только об отравлении комиссара. Не думаю, чтобы для предосторожности...

— Что я должен делать и что говорить?

— Просто подтвердить только то, о чем он вам распорядился и затем засвидетельствовать, что те самые ампулы, которые вы ему переслали, вы нашли раздавленными под ковром Ежова.

— А насчет их содержимого?

— Это другой вопрос. Еще не решено пока, должно ли быть признано покушение с измышленными вами бациллами, или нужно будет кое-что изменить...

— В каком смысле?

— В смысле большей правдоподобности.

— И как?

— Факт, доктор, что наш уважаемый Комиссар, к счастью, не болен туберкулезом, это значит, что он не заражен. Если, что вполне естественно, это покушение Ягоды против него должно будет фигурировать на публичном процессе, то правда, даже и подтвержденная обвиняемым, получится неправдоподобной, притянутой за уши или вымышленной. Было бы необходимо, чтобы средство было бы такого рода, чтобы даже не убив Комиссара, оставило бы следы болезни в его здоровье, следы видимые, доказуемые... Не подскажите ли вы мне что-либо в этом смысле?

— Пока что мне ничего не приходит в голову.

— Я подумаю, мне кажется, что нужно было бы начать клиническое исследование Комиссара, узнать его актуальное состояние, мне известно только о его устаревшем сифилисе.

— И, конечно, сифилис не является болезнью, подходящей для того, чтобы совершить при ее помощи покушение... Было бы очень забавно заставить Ягоду признаться в том, что он сам заразил своего непосредственного заместителя... через половые пути! А?

Я не смог удержаться от улыбки. Ясно, что стены этой комнаты никогда не слышали эхо от частых раскатов смеха... Улыбка на портрете Сталина была очень молчаливая.

В конце концов я обещал подумать.

— Хорошо, я вам об этом напомним. Я распоряжусь, чтобы привели Ягоду.

Он подошел к своему столу и стал говорить по одному из телефонов.

— Пусть приведут наверх 322 — сказал он, а затем подзвал меня.

— Подойдите ближе, доктор, сядьте здесь в этом кресле с правой стороны от меня.

Я подчинился, усевшись там, где он мне указал, и ожидал с нетерпением нового свидания с тем Ягодой, который однажды показался мне чем-то вроде мифического полубога...

Прошло некоторое время, прежде чем послышался шум перед кабинетом. Постучали, и Габриель громким голосом дал разрешение. Вошел солдат, который привел меня сюда.

— 322 прибыл.

— Пусть пройдет — распорядился Габриель.

Солдат вышел и дверь снова раскрылась настежь. В дверях вырисовалась фигура Ягоды на фоне силуэтов двух солдат. Он сделал три шага и остановился, оставшись неподвижным, как рекрут. Дверь за ним опять затворилась. Я не сводил глаз с бывшего Комиссара. Габриель откинулся на спинку кресла и без надменности, вполне естественным голосом сказал ему:

— Подойди вперед, Ягода.

Тот подчинился и встал перед Габриелем, остановившись, как вкопанный на расстоянии немного больше метра от стола. Я изучал его, не осмеливаясь посмотреть ему в глаза, Габриель протянул мне свой портсигар и предложил мне:

— Не желаете ли папиросу, доктор? И когда я ее взял, а он зажег свою, то он добавил, обращаясь к Ягоде: — Знаком ты с этим товарищем?

Тот посмотрел на меня и я тоже глянул на него. Безусловно его взгляд не был таким, как раньше. В нем не было той пристальности, а также надменности и гораздо меньше того мерцания холодной угрозы, которая наполняла меня страхом.

— Отвечай — с твердостью воскликнул Габриель.

— Не помню... — ответил Ягода неуверенным голосом.

— Нет? Это странно. Это я тебе порекомендовал этого товарища по делам службы... Не припоминаешь?

— По официальному делу? Их было столько, товарищ...

— Внимание, Ягода... Чтобы ты больше ни одного разу не был рассеянным и не называл нас товарищами... Товарищ в чем? Это слово пачкает твой рот, Ягода.

— Извините, невольная...

— Довольно! Итак ты не знаком с моим товарищем! Не помнишь, что ты распорядился ликвидировать его в последний день твоего управления?

— Я? Нет...

— Цинизм - это твоя специальность. Ну посмотрим, доберемся ли мы до конца. Не помнишь дела Миллера? это не тот ли товарищ-специалист, который должен был сотрудничать в деле во избежание того, чтобы не получился промах, как это произошло с Кутеповым?

— Да, теперь я это вспомнил, я забыл его физиономию.

— Тоже лжешь ты и здесь... Не помнишь, что просил его о личной услуге?

Не припомнишь ли, что он тебе доставил? Не помнить тех случаев, когда ты интересовался еще до своего ареста здоровьем товарища Ежова? И я тебе повторяю, не помнишь, что ты послал Миронова, чтобы ликвидировать доктора?

В лице Ягоды произошла перемена, и он перебил Габриеля:

— Не утруждайтесь больше. Да, я все помню. Как с очередным инструктором, мы с вами можем притти к соглашению. Можете избежать всего допроса. Скажи мне попросту в чем тут дело. Предполагаю, что это дело о ликвидации теперешнего Комиссара. Сознаюсь. Если желаете все детали, то я вам их дам, я вам их напишу, если какие-нибудь из них вам неизвестны, я вам их укажу. Если, кроме этого, хотите других признаний в отношении других дел, скажите мне, я сознаюсь, я сознаюсь во всем. Это моя позиция на процессе...

— Да я это уже знал, Ягода, поэтому меня удивляло твое поведение передо мною... чему это надо приписать?

— Это глупость, я в этом сознаюсь, глупые сомнения... Ты, я говорю ваше присутствие, меня удивило. Я не думал, что вы будете вмешаны в мое дело, воспоминание о большом доверии, которое я имел к... вам, важные дела, которые вы реализовали, в конце концов - ваш фанатизм и верность большевизму меня устыдили... Поймите перемену положения, очень трудно приспособливаться к каждому моменту...

— Хорошо, хорошо, Ягода: имей в виду, что прошлого между мной и тобой не существует. Если я могу похвастаться чем-нибудь с профессиональной точки зрения, так это тем, что о твоём троцкизме я знал с момента нашего первого контакта. Знаешь, по чему я это узнал? По той ярости, которую ты проявлял при истреблении павших троцкистов... эта маскировка жестокостью выдала мне тебя. В конце концов бесполезно уже говорить о прошлом. Пришло время, что теперь ты пал, и теперь все в порядке. Остановимся на том, что ты готов сознаться во всем том, что я хотел бы знать. Хорошо, этой ночью я ограничусь обсуждением покушения против нашего шефа Ежова... Не будешь повторять намерения что либо скрыть?

— Ни в коем случае. Вы это можете понять, как никто другой, вы знаете, что мне известна бесполезность попыток сопротивления и отрицания...

— Говоришь очень умно. Ты профессор, автор многих средств для допроса, опытный знаток своей безошибочности впадешь в очень глупую ошибку, из ряда вон выходящую, если спровоцируешь нас на то, чтобы мы познакомили тебя с преимуществами твоей специальности на твоей собственной шкуре. Поверь мне, маэстро, ты оставил там, внизу, очень одаренных учеников... и настолько любящих твою собственную науку, что они с нетерпением ожидают докторской степени, проделавши свои упражнения над тобой самим...

Ягода замолк и уперся глазами в пол.

— Что же мне скажешь?

— Ничего... что я не подал никакого повода для этого.

— Хорошо, подвинь этот стул и садись.

— Спасибо, спасибо... — и подчинился.

— Пододвинься, чтобы ты мог писать. Я не буду тебя

допрашивать. Опиши, как сам думаешь, но не опустив ни малейшей детали.

Ягода пододвинулся, Габриель положил перед ним несколько листов бумаги и протянул ему перо. Ягода сидел с пером в руке в нерешительности.

— Что с тобой?

— Да у меня нет моих очков... они мне нужны для чтения.

— Почему же не сказал? — сделал ему выговор Габриель и в то же время взялся за трубку телефона, он сказал: "Очки 322-го пусть принесут сюда".

Постучал и вошел спустя немного времени солдат с очками, завернутыми в бумагу. Габриель вручил их Ягоде и приказал солдату оставаться здесь, сказав ему: "Стань сюда, с боку от него, чтобы он не вздумал снимать очки с носа".

— Я не буду делать никаких попыток — обещал Ягода, который конечно понимал значение приказа.

— Я не требую от тебя слова... ты знаешь так же, как и я, что легко перерезать главную артерию стеклом: и зачем же мы будем давать работу доктору, хотя их и легко соединить.

Ягода начал писать. Габриель встал и собрался прохаживаться.

— Идите, доктор, сядьте там — сказал он, показывая мне на турецкий диван — Хотите выпить хорошего кофе?

Я согласился, и он заказал его по телефону.

Я опять уселся на этот диван. Запасы энергии, которые я сделал для чудовищной сцены, были у меня не тронуты. И на самом деле, до этого момента, этот допрос знаменитого Ягоды не представлял ничего особо кровавого.

Вежливый и чистый повар принес нам кофе. Было приятно смотреть на человека, одетого в белое, в высоком накрахмаленном колпаке. Это был особый каприз держать здесь, в месте пролетарской инквизиции, типа в такой одежде, возбуждающей мысли о самой утонченной буржуазной кухне. Наверное этот представитель гастрономии был ироническим изобретением какого-нибудь тайного врага пролетарской диктатуры, ибо человек казался, как бы специально подобранным: это был блондин, круглый, выложенный, румяный, безбородый, евнухообразный, тип, взятый со страниц французского журнала. Он поставил с величайшей деликатностью свой под-

нос, подал нам кофе и, спросив разрешения, ушел, раскачивая своими основательными бедрами.

Мы выпили кофе и после того, как выкурили по папиросе, Габриель предложил мне небрежно отдохнуть: "даже вы можете там прилечь и поспать, это может продлиться еще два или три часа" — и он начал прогуливаться.

Мне кажется, что я не спал, но, лежа с закрытыми глазами, потерял понятие времени. Я открыл их, не отряхнувшись еще от сна, услышав шум. Это Ягода закончил писать и отодвинул стул от стола. Я видел, как Габриель забрал со стола последний листок бумаги и начал его читать, предыдущие листы он прочитал, по-видимому, раньше. Окончив чтение, он велел Ягоде снять очки и возвратил их солдату, который ушел с ними.

Ягода вопросительно смотрел на него, и Габриель так сказал ему:

— В принципе признание приемлемо. Я его изучу более подробно, и если будет надобность в том, чтобы что-нибудь дополнить, я тебя вызову. Один вопрос, Ягода, при намерении ликвидировать твоего преемника, какую цель ты преследовал? Была ли это чисто личная месть или это была надежда на возвращение опять на свою должность? Или это было для того, чтобы оставить место вакантным с целью, чтобы был назначен кто-нибудь из тайных троцкистов?

— Только досада и личная месть — ответил Ягода, не задумываясь.

— Это неправда, сейчас ты лжешь.

— Я говорю правду, для чего лгать, если я сознался уже в главном?

— Это может быть и для посмертной мести,.. а если кандидат занимает хорошее положение и если имеешь надежду на скорую смерть нашего комиссара, и что его место займет неразоблаченный троцкист, то это могло бы быть последней надеждой на получение спасения... Логично или нет, Ягода?

— Я признаюсь, что в качестве прокурора я рассуждал бы таким же образом, но поверьте мне...

— Я ничему не верю — перебил его Габриель. — Ты отрицаешь существование твоего кандидата для возглавления НКВД?

— Да, отрицаю.

— Докажи, если же нет...

— Как я могу доказать это?

— Ты должен знать инструктор прокуроров.

Ягода замолчал, опустив глаза на пол. Я думал о том, что происходило сейчас в этих криминальных мозгах. Я представил вдруг себе его в его прежней силе и задрожал за себя и даже за Габриеля. Теперь мне стало понятно то, с капсулей, наполненной цианистой солью, и вложенной в его мышцы.

Габриель заговорил снова:

— Я не буду настаивать этой ночью. Дам тебе несколько часов времени на обдумывание этого. Надеюсь, что что-нибудь придумаешь. Если нет, то плохое начало для переговоров со мной. Уж ты хорошо знаешь, что с тобой произойдет. Жаль... А я-то надеялся притти с тобой к соглашению... — сделав переход обратился ко мне:

— Есть у вас аппетит, Доктор?

Кстати говоря, я уже зевал, глянул на свои часы: четыре часа и двадцать минут утра. Было бы неплохо что-нибудь выпить. Я согласился.

Габриель заказал по телефону икру, вареные яйца в татарском соусе, ветчину - в общем, деликатесы, от названия которых у меня потекли слюнки во рту, затем спросил несколько марок иностранных вин и сделав жест недовольства, согласился на две бутылки бордо.

Через десять минут появился опять тот же самый великолепный повар, Габриель дал ему распоряжение устроить маленький ужин на рабочем столе и поставить вино и то, что на нем не помещалось, на паре ближайших стульев.

Когда Габриель начал действовать с живостью и с некоторой торжественностью и помимо этого стал прищелкивать языком о небо, пробуя вино, то я понял, в чем дело. Я вспомнил, как он допрашивал Крамера, того немца. Конечно, Ягода, чекист с самым большим стажем и опытом по службе, знал об этом трюке не в пример немцу, но их состояние желудков было также различно... Какому режиму был подвергнут прежний комиссар? Во всяком случае, я нашел его очень истощенным, под его скудной и потрепанной одеждой я угадывал выступавшие кости. Он зевал несколько раз, уж не знаю, от голода, или от того, что хотел спать, или по обеим причинам сразу.

Габриель подзадорил меня, и мы начали есть. Все это

может возбудить и непрожорливого человека и даже сломать пост самого Ганди, думал я. Не желая этого, я тоже должен был составлять зрелище для несчастного Ягоды.

Габриель, разумеется, играл в совершенстве роль обжоры-выскочки. Мне было стыдно, и я нагибал свою голову над тарелкой под тяжестью большого стыда, но как вкусно было все это. И как это люди имеют такие же желудки, как и злые животные?

Но что же такое происходит? Один стул перевернут, и чья-то рука хватает нож, который Габриель по рассеянности положил недалеко от Ягоды, последний вскочил со стула и отступает спиной. Холодная, странная спокойная улыбка промелькнула по его лицу.

— Стой! А то убью...

— Стреляй с...! С этим уже покончено. Смотри!

И он молниеносно провел себе по шее лезвием, что бы ее перерезать.

Я закрыл глаза и съежился. Вдруг слышу потрясающий взрыв смеха.

Когда я в ужасе открываю понемногу веки, предполагая увидеть Ягodu со струей крови, брызнувшей из перерезанной сонной артерии, то я вижу его стоящим уничтоженным, с головой опущенной на грудь и повисшими руками. Согнутый пополам нож валяется на ковре.

Габриель прячет свой пистолет и все еще смеется. Это удивительно. Со времени смерти Лидии я не видел, чтобы он смеялся.

— Иди сюда, несчастный, иди сюда. Я должен был знать о твоём состоянии, и было трудно придумать что-либо в отношении тебя. Трюк с окном или сообщником с ядом и т.д, и т.д, ты их знаешь на память и было необходимо изобрести для тебя что-то новое и неслыханное: оловянный нож...

Ягода не двигался.

— Иди сюда — повторил Габриель. — Хочешь, чтобы я позвонил?

Он медленно и вяло продвинулся на несколько шагов, волоча свои ноги.

И когда я думал, что Габриель разразится бранью и угрозами, хотя бы только за полученное им грубое оскорбление, то он, не повышая голоса, любезным тоном сказал ему:

— Теперь мы сможем договориться... не так ли? Ты хорошо знаешь, что тот, который готов убить себя, готов на все... Папироску... Ягода?

Он любезно протянул ему свой портсигар и помог ему зажечь ее. Итак, ничего особенного не произошло, только у меня в горле застряла еда, и мой желудок был подобен мешку, который был встряхнут сильной рукой. Ягода испортил мне мой роскошный банкет, я готов был тут же все вернуть назад.

— Садись, Ягода... насколько я помню, мы говорили о твоём предполагаемом преемнике, так ведь?

Ягода курил, сильно затягиваясь папиросой и она быстро уменьшалась.

Он все еще продолжал молчать, а Габриель настаивал:

— Придем ли мы к соглашению? Могли бы уже закончить со всем этим — затем обратился ко мне: но разве вы уже больше ничего не хотите, доктор?

— А ты, Ягода, не хочешь ли что-нибудь съесть? — и он пододвинул к нему тарелку с кусочками ветчины.

Тот не заставил себя просить, в начале видно было, что он пытался притворяться, но затем после первых кусков животный инстинкт превысил его волю, он ел торопливо, жадно, как пес, боящийся, что другая более сильная собака отберет у него еду. Габриель налил ему большой стакан вина и был очень внимателен в тот момент, когда Ягода держал его в своих руках, как бы боясь, что тот попытается его разбить, он вернул стакан уже пустым, не сделав ни одного подозрительного движения. По-видимому, он был побежден совершенно.

— Еще одну папиросу?

Ягода начал курить вторую. Я заметил, как вдруг его щеки помолодели. В них появился отблеск жизни, и его кожа потеряла частично землистый и матовый оттенок, который она имела.

— Если хочешь, Ягода, я могу позвонить, чтобы тебя забрали вниз. Мне нужно уходить, но раньше, для твоей собственной выгоды, хотел бы установить с тобой предмостное укрепление, если ты мне дашь имя, только имя.

— Имя моего преемника?

— Ясно.

— Пусть будет так: Жданов.

— Нет!

— Да, Жданов или один из Кагановичей.

— Я думал, что мы могли бы прийти к соглашению, Ягода, но уже вижу, что нет. Ты плохой, да еще и злой: ты хочешь отомстить, хочешь убить своих врагов даже после своей смерти.

— Вы не хотите мне верить? Что же я могу сделать...

— Ничего, не видишь, что я даже не спрашиваю у тебя доказательств. Ты не скажешь, что они имеются у тебя. Тут дело только в мести. Кажется, что в твоей ненависти ты оказываешь предпочтение шефам нашей партии.

— Я слушаю прокурора или защитника? — набрался тот мужества для иронии.

— Если бы я в тот момент, когда я был у власти, услышал по микрофону, что судья-инструктор так защищает того, на кого сделан донос, независимо от того, виноват он или нет, то я ликвидировал бы его моментально, а может быть, и еще что-нибудь худшее.

— Так же и я: если инструктор или допрашиваемый обегался бы, чтобы поверить или не поверить в виновность или невиновность лица, на которое есть донесение, по какой бы то ни было причине, то знай, что я бы его расстрелял... Нет, я не строю твоего обвинения из-за того, что я считаю его сделанным из чувства мести. Я заставляю тебя доказать его и показать, и ты все это мне подпишешь, но на отдельной бумаге. Нет, Ягода, нет, у меня нет ни доверия, ни предвзятого мнения насчет чьей бы то ни было виновности. Для меня, человека из НКВД, все обвиненные виноваты. Все, кроме двух ибо абсолютно невозможно, чтобы они ими были... Знаешь, кто они?

— Нет.

— Первый Сталин,.. второй, конечно, я. Но имей в виду, если при допросе твоем насчет твоего преемника ты назвал бы вместо Жданова или Кагановичей мое имя, то так же точно я заставил бы тебя подписать.

— Это оригинальное поведение.

— Единственно возможное для образцового большевика. Ты этого не можешь понять... Но закончим: сейчас ты пойдешь, пиши здесь кратко о моем вопросе насчет твоего предполагаемого преемника в случае успеха твоего покушения на Ежова и твой ответ. Давай, делая это поскорей.

Ягода взял перо и начал писать. Так как у него уже не было очков, он стал писать, сильно отклонив голову назад, теперь его буквы были почти что все неумеренно большими.

Наверное, Габриель вызвал охранника, так как еще до того, как Ягода кончил писать, вошел солдат, предварительно спросив разрешение и стал охранять стоя на вытяжку.

Ягода не заставил себя долго ждать. Габриель сдал его солдату и вернувшись к своему столу, забрал его предыдущие разъяснения и также последнее, он внимательно их проверил, подошел к несгораемой кассе, вложил их туда и запер.

Затем он повернулся ко мне, по дороге он нагнулся и поднял фальшивый ножик, которым Ягода хотел перерезать себе глотку, посмотрел на него иронически и сказал, как бы обращаясь к живому человеку:

— Из-за того, что ты был плохой, ты погиб.

И ЭТО ЛЮДИ?

После такой интересной и даже волнующей ночи меня опять доставили в лабораторию.

Габриель, которого одолел сон, поручил мне обдумать и изобрести болезнь для Ежова. Не имею понятия, на что он претендует. Пытаюсь удовлетворить его, тут придется решать настоящую загадку, но такая работа подходит каждому узнику.

Прошло около восьми дней, но обо мне никто не вспомнил. Много времени думал я о Ежове, но мне ничего не приходило в голову. Сотню раз я восстанавливал в памяти то, о чем просил Габриель: "болезнь, которая может быть вызвана по желанию и, если возможно, чтобы она имела видимые последствия".

Я думаю, что если бы я смог разрешить эту лабиринтную проблему, то Ежов порадовался бы. Иметь на своем счету покушение со стороны троцкистов – это особенная честь для сталинских начальников. Как я слышал таковых было запроэктировано против них довольно много, но ни одно из них не было совершено, доказательства в отношении провалившихся были достаточно подозрительны, ни одного ранения, ни одного выстрела в общественном месте, ничего. По мнению скептиков, все это должно было быть выдуманным. Я не сомневаюсь, что именно Габриель хочет оказать Ежову такую оригинальную честь своим подарком. Если бы я мог, то я подарил бы ему свой маленький шрам, который имеется у меня на спине, как результат от той троцкистской пули в Париже. "Троцкистская", согласно непререкаемому "официальному" признанию, но которая приписывается взаимно друг другу обеими шайками. Но так как моя пуля официально – троцкистская, то я на сегодняшний день имею большевистскую заслугу выше заслуг Ежова и таковых самого Сталина. Какая честь! Таковы были мои попытки анализа в целях оживления воображения. И так проходили и проходили дни. Два раза вызывал меня по телефону Габриель, чтобы спросить меня, не придумал ли я что-нибудь, и узнав, что нет, он настойчиво меня торопил, будучи очень этим заинтересован. Но что же я мог сделать?

Мне понравилась мысль, придумать, что покушение произошло при помощи воспламеняющейся или каустической жидкости, для чего надо было бы сфабриковать следы на каких-нибудь частях тела, лучше всего на руках и лице. Но я отбросил эту мысль. Ведь прошло уже порядочно времени со дня задержания Ягоды и было бы глупо, чтобы теперь появился Ежов, демонстрирующий рубцы, не существовавшие раньше.

— Также трудно было найти яд, якобы опаливший его губы при проглатывании, и симулировать следы от этого, да и как же мог Ягода, находясь в заточении, суметь его снабдить им? Разве что тут нужно было бы изобрести соучастника, пользующегося свободой и подчиняющегося ему. Для НКВД было бы нетрудно устроить, чтобы таковой сознался. Я почти что остановился на этом варианте, хотя предварительно должен был убедить себя самого в том, что дозволяется сделать еще кого-то новой жертвой, поскольку тут нужен был соучастник. Я смог заставить замолчать свою добросовестность, наблюдая, как падали тысячи и тысячи каждый день. Какая важность в том, что именно послужило бы причиной его смерти: то или другое?

Я даже решил предложить это средство Габриелю в записке, переданной через одного из его посланников. Он не принял этого, сказав мне, что срок покушения должен относиться к тому времени, когда Ягода пользовался еще свободой и властью.

У меня было ужасно стеснительное положение. Это уже был вопрос чисто профессионального самолюбия. Я сам себе удивлялся, видя себя захваченным тем, что заключало в себе столько криминальной техники. Но сознаюсь, так было, и я находил какие-то причины для успокоения своей совести.

После того когда то средство, которое я предложил Габриелю, не имело успеха и не было принято, мне пришло в голову прекрасное решение. Мне показалось достаточно удачным указать на губы Ежова, как пострадавшие от раз"едающего наркотического средства при проглатывании его, посредством чего враг его имел намерение добиться прободения желудка. Я вспомнил о воспалении слизистой оболочки его ротовой полости (стоматит), получившемся от воздействия синильной кислоты. Да, здесь было решение: уже у меня

имелись налицо видимые знаки и нужная публика. Ягода желал отравить его чем-то ртутным... Но как? Каким путем?

Уже было нетрудно выдумать что-нибудь правдоподобное. Я предложу несколько методов. Пусть уж они выберут самый подходящий.

Я средактировал заметку снабженную достаточным количеством научных формул и терминов и об"ясняющую, как можно реализовать отравление через рот, внутривенным путем, через введение в мышцы и через дыхательные пути. Если все обобщить, то получается так:⁷

... ..

Теперь они выберут.

Мне оставалось только сообщить об этом Габриелю. Я подошел к телефону и сказал ему, что моя проблема уже разрешена. Он поздравил меня и предупредил, что за мной заедут этим же вечером, чтобы доставить к нему.

Так оно и было. Еще не было одиннадцати часов, как за мной приехали и я увиделся с Габриелем в том же самом кабинете, в котором производился допрос Ягоды.

Наскоро поздоровавшись со мной он сразу же поспешно попросил меня сообщить подробности. Я протянул ему свою информацию и он ее быстро прочел.

— Я не очень хорошо понимаю все это — сказал он, кладя бумагу на стол. — Вы хорошо это продумали? Может выдержат критическую критику ваш метод интоксикации? Поймите меня хорошо: проверка не только нейтральными техниками, а техниками враждебными советскому режиму...

— Да, разумеется, — подтвердил я.

— Имейте ввиду, доктор, что на ваш метод будет указывать Прокурор СССР, что обвинение будет выслушиваться иностранными посланниками, что мировая пресса миллионы раз будет повторять о том, каким способом Ягода намеревался отравить Ежова... У вас нет никаких сомнений?

⁷ Издатель считает нужным опустить эту часть по тем же самым причинам, по которым была изменена формула, которую предложил Ягода для упразднения Ежова. Мы не хотим делать из этой книги учебника по способам отравления. В "стенографических актах" процесса, на котором судился Ягода, подробно описывается способ ртутного отравления, придуманный Ландовским, (Стр. 95-612, 658, „Акты“, изданные Комиссаром Юстиции СССР, Москва, 1938.)

— Абсолютно никаких. Средство это действует, более или менее медленно, смотря по тому способу отравления, который избирается, во всяком случае, через дыхательные пути оно не приводит к молниеносной смерти, осужденный на отравление должен дышать ртутными парами достаточное количество дней. Никто не сможет отрицать того, что если это отравление будет продолжаться необходимое время, то человек должен умереть, а количество времени вы можете свободно установить сами.

— А если оно не длится столько времени, сколько нужно, то тогда?

— Значит, если прекращается интоксикация, то человек может продолжать жить.

— А здоровье от этого не пострадает?

— Разумеется, с поврежденным здоровьем, в зависимости от степени отравления.

— Хорошо, великолепно! Таковым может быть случай с Комиссаром... Внешние симптомы?

— Даже после прекращения интоксикации, спустя долгое время он будет страдать острым стоматитом, его десны будут кровоточить, это в точности то, что есть у Комиссара Ежова, хотя у него оно происходит от отравления крови, получившегося в результате его лечения. Видимые знаки в обоих случаях - одинаковы.

— Счастливое совпадение! Поздравляю вас, доктор, поздравляю!

— Да, получается совпадение в оставляемых следах, именно это и привело меня к изобретению этого метода.

— Блестяще! Выпьем что-нибудь в честь этого! Как доволен будет вами Комиссар, — воскликнул Габриель, очутившийся уже в другой комнате, имевшей сообщение с его кабинетом, откуда до меня донесся звон стекла, он вышел оттуда с несколькими рюмками и показал мне с триумфом бутылку.

— Коньяк "Наполеон"!

— Я вызову Ягоду — сказал Габриель, пробуя с удовольствием этот превосходный коньяк, — необходимо договориться с ним о другой декларации, которая должна быть увязана с новым способом его покушения на Комиссара.

— И он согласится? — спросил я, предостерегая Габриеля от той самоуверенности, с которой он говорил.

— Разумеется! Какой способ? С Ягодой дело легкое. Он сломлен уже заранее, так что нет нужды применять насилие. Не даром он обладает личным опытом и техникой, до которой еще никто не дошел. В его памяти есть такие сцены, что достаточно только вызвать их в его воображении, чтобы иметь его в руках и делать из него все, что угодно.

Сказав это, он соединил телефон и приказал, чтобы привели 322. Не прошло много времени, как привели Ягоду. Не знаю, была ли это моя иллюзия, но он показался мне еще более истощенным, чем тогда, когда я его видел последний раз.

— Подойди, Ягода.

Ягода приблизился.

— Посмотрим — начал Габриель — сможем ли мы с тобой быстро договориться. Вот здесь доктор, по приказу свыше, изложил другой метод покушения, совершенного тобой против товарища Ежова. Имеешь что-нибудь против того, чтобы признать, что твое покушение было совершено не тем способом, а другим?

Ягода замигал глазами, как бы желая сконцентрировать мысли, и как бы не поняв хорошо сказанного - спросил:

— Другой способ? Какой?

— Отвечай, не спрашивай. Да или нет?

— В принципе...

— В принципе — перебил его Габриель, — в принципе да. Что ты выиграешь от того, что совершил свое преступление бациллами Коха или с револьвером? Наказание будет то же самое. Разница только в том, как ты знаешь, нужно ли добиться твоего признания силой или ты признаешься спокойно. Мой вопрос состоим в том, хочешь ли ты сделать признание по новой форме или я должен буду подождать, пока тебя убедят там внизу.

— Я согласен, что я должен подписать?

— Пока что еще ничего, садись.

Ягода сел, и Габриель прочитал мою информацию.

— Как вам кажется, доктор, насчет дыхательных путей?

— В каком смысле?

— Например, в смысле быстроты и силы действия.

— Эта формула более медленная и такая, что требует больше времени, чтобы интоксикация стала смертельной.

— Но, однако, самая благоразумная?

— Да, это так.

— Как, мы сказали бы? Самая утонченная?

— Так можно ее определить.

— Ну, хорошо: думаю, что как здесь мы читали — и он показал на информацию, — пульверизации и окропления должны повторяться, не так ли?

— Да, если претендовать на более быстрый и верный эффект, то должно было бы быть так.

— Поэтому нужно было бы, чтобы эти манипуляции продолжались еще некоторое время после того, как был удален Ягода из НКВД. Мы не должны забывать, что он пользовался в течение некоторого времени свободой и что его покушение с замедленным действием было раскрыто только незадолго до его ареста, когда были замечены признаки отравления у товарища Ежова.

— Но — попытался я противопоставить немного правды.

— Я говорю на чисто процессуальном основании, доктор, не перебивайте меня. Я хочу притти к заключению, что нам необходим один или два соучастника Ягоды.

— Попросту говоря, Ягода мог реализовать свои манипуляции по отравлению только здесь на Лубянке, когда узнал о своем низложении, это значит в течение только одного дня... достаточно этого или нет?

— Нет, учитывая очень ненормальные обстоятельства.

— Поэтому то и требуется, чтобы Ягода оставил себе здесь соучастников, которым было поручено делать новые пульверизации. Ведь так, доктор?

Я был огорошен. Эта манера обдумывания с этой безошибочной логикой, исходя из чистой лжи, была удивительна. И еще более удивился я, когда услышал следующие слова:

— А ты, Ягода, какие имена дашь мне?

— Для соучастников? Мертвых или живых?

— Ясно, что живых. Людей, которые благодаря дружбе с тобой, своему троцкизму и своему положению являлись бы правдоподобными исполнителями твоего поручения.

— Я должен подумать.

— Да, но побыстрее... На подкрепись — и он дал ему папиросу.

Я ему ее зажег. При свете спички я увидел расширенные зрачки с желтоватыми желобками, которые заставили меня

содрогнуться от одного только воспоминания о том взгляде. Теперь они были убегающие, тусклые, потушенные.

Он жадно сделал первую затяжку, не сразу выпустив дым, и сказал:

— Артузов?

— Швейцарец, нет — возразил Габриель. — Продолжай называть имена.

— Паукер? Волович? Жуков? Саволайнен? Буланов?

Ягода сделал паузу.

— Это все?

— Эти были наиболее близки ко мне. Они были бы самыми подходящими для этого дела.

— Но имеются определенные затруднения в отношении почти что всех. Многие из них не смогут явиться на суд.

— Ликвидированы?

— Не знаю. Я справляюсь.

Габриель взял телефонный аппарат, потребовал соединения с одним номером и сделал запрос насчет нескольких - как мне помнится - о Паукер, Волович и Саволайнен. Положил трубку и добавил:

— Пусть будут Буланов, твой секретарь, и Саволайнен. Договорились?

— Как угодно.

— Дело закончено. Теперь остается только средактировать общее показание. Тебе его уже сообщат, чтобы ты его выучил.

Ягода начал что-то отвечать, как вдруг прозвонил телефон. Габриель стал слушать и его лицо выразило озабоченность.

— Один момент — сказал он и нажал кнопку звонка. Дверь открылась и вошли два солдата, приведшие Ягоду.

— Отведите его вниз — приказал он им. Ягода вышел с ними, а Габриель извинился:

— Извините, Товарищ Комиссар, здесь у меня был в этот момент Ягода. Приказывайте.

Он выслушивал некоторое время. Я слышал звук голоса говорившего лица, но не разбирал его слов.

— Он здесь у меня... Не знаю, сможет ли он, он не обучен этому, но в конце концов подчинится. Приблизительно в каком часу? Хорошо, хорошо, товарищ Комиссар.

Повесил трубку и оставался некоторое время углубленным в себя. Встал и машинально зажег сигару, затем начал прогуливаться.

Я исподтишка поглядывал на него, желая угадать, но он все продолжал ходить взад и вперед.

Наконец он повернулся ко мне.

— Что, доктор, вы бы смогли прекратить сильное кровотечение?

— Не вижу никаких препятствий для этого.

— Дело в том, что вы увидите раненного, у которого будет вид достойный сожаления. Я бы не хотел, чтобы вам сделалось дурно. Это только неизбежность заставила меня прибегнуть к вам в эти часы... Я бы хотел этого избежать.

Я почувствовал что-то странное в этой озабоченности Габриеля, я не видел причин для его явной тревоги.

— Не беспокойтесь, хотя я не имею постоянной практики, но я владею и своими руками и нервами.

Я хотел было встать на ноги, но Габриель удержал меня.

— Не торопитесь: раненый еще не... не прибыл еще, у нас еще есть время. Еще осталось больше часу времени... Который час? — посмотрел он на свои часы. — Сейчас половина второго, мы должны ожидать по крайней мере до трех часов.

Его лицо оживилось, и он подошел ко мне.

— У нас есть время. Хорошего кофейку?

Он заказал его по телефону и мы стали ждать.

— Папиросу. Подбодритесь, доктор!

— Да я чувствую себя бодро.

Меня тревожило то внимание и подбадривание, которые проявлял Габриель.

Когда прибыл тот шикарный повар, напоминавший о столь многом, и принес кофе с чудесным ароматом и мы его стали пить, дополняя постоянно рюмками коньяка "Наполеон", то мое состояние возбуждения достигло предела.

— Операция? — думал я про себя. — Что за важность! Я видел уже все более светлым и блестящим. Бутылка заканчивалась, а Габриель все меня подзадоривал пить. Когда мы закончили с коньяком, он подстрекнул меня попробовать содержимое в большом стакане, где он намешал самых разнообразных ликеров, это было очень вкусно, я выпил сразу, одним глотком, так как он не советовал мне пить медленно.

На моих часах было два с половиной часа ночи. Я продолжал еще ощущать во рту вкус этого возбуждающего питья. В моей голове не было ни забот, ни проблем, все мне казалось легко, ясно и даже почти что хорошо.

Габриель глянул еще раз на часы. Он подошел к занавескам, за которыми по-видимому было окно, отодвинул одну из них и потянул за вертикальный шнур, штора поднялась и открылось окно. Габриель протер стекло рукой и внимательно посмотрел через него, я с несвойственной мне развязностью - ибо обычно всегда я был скромен, - также подошел посмотреть. Сразу я увидел только луну, окутанную легким туманом и казавшуюся убегаящей, хотя она не двигалась. Я опустил глаза и охватил взором видневшуюся площадь. Это была, наверное, Лубянка, и странная вещь. В этот столь поздний час тут было необычное движение автомобилей. Они беспрерывно прибывали и отбывали. Даже мне показалось она лучше освещенной, чем в момент, когда я ее пересекал сегодня же вечером, как будто бы освещение было более сильным. Отряды солдат стояли неподвижно как окаменевшие, на карауле на углах всех улиц.

Между ними быстро и энергично ходили взад и вперед другие люди в форме, по-видимому офицеры.

Позвонил телефон и Габриель подошел к нему. Пока он говорил, я продолжал смотреть. В этот самый момент въехал на площадь ряд одинаковых черных автомобилей. Я насчитал четыре, не знаю, было ли их больше, ибо Габриель позвал меня с оттенком торопливости.

— Идем, идем, доктор. Нет, оставьте это свое пальто: идите так, как есть. Он скинул с себя военный китель и осмотрел сам себя, как бы произведя ревизию, затем оглядел меня аналитическим взором, уже держась за ручку двери...

Мы вышли и пошли вместе. Он держал в левой руке карточку, которую показал солдату, стоявшему на карауле у дверей подъемного лифта. Мы вошли и я почувствовал странное ощущение спуска, не знаю на какую глубину мы опустились. Мы вышли и пошли по длинному коридору. Часовых там было очень много. После предъявления документа Габриелем и проверки списка - нас повел один офицер, идя впереди нас.

Мы дошли до двери, охраняемой двумя часовыми. Офицер остался снаружи, а мы вдвоем прошли внутрь. Не знаю

почему, я ожидал увидеть что-либо страшное, но эта комната была амбулаторией. Потом я ее узнал, это была та самая, где я соединился с коллегой для производства вскрытия бедной Лидии.

— Наденьте халат, доктор, да поторапливайтесь.

Я взял себе с вешалки один из них, и в то время, как Габриель помогал мне его одевать, он быстро говорил мне тихим голосом:

— Я предпочел бы, чтобы вы избежали этой сцены. Но решение произошло очень быстро, неожиданно. Не оказалось в распоряжении другого доктора с гарантией... Получается смешно, что тот доктор, который до недавнего времени оказывал свои услуги в подобных случаях, теперь оказался сам пациентом, спокойствие, доктор, я не должен был бы вам этого говорить, но говорю из уважения к вам, наберитесь мужества, ибо если даже вы никого не будете видеть, то вас будут видеть, и не спрашивайте меня – кто?

Идем, идем. Там будет все необходимое для вас.

Мы опять вышли. Офицер пошел впереди, мы завернули в другую галерею и опять прошли в другое помещение только мы сами: Габриель и я.

— Я думал, что вы совсем не придете — говорил мне четкий и звонкий голос.

— Привет, товарищ Райхман... Доктор — представил меня Габриель.

Этот тщательно одетый человек в форме глянул на меня.

— Там имеется все необходимое — и он показал мне на противоположный конец этого большого помещения.

— Посмотрите, все ли там в порядке и скажите мне.

Я прошел в указанный мне угол не без некоторого смущения, но я был спокоен, мой алкоголь давал мне возможность владеть собой, несмотря на слова Габриеля, в которых просвечивалось что-то значительное, серьезное.

Тем временем я проверил наличие марли, ваты, иглы, пинцетов, ниток, клещиков, скобок и т.д. И слышал голос того начальника, отдающий приказания, приходили и уходили другие офицеры, входя через боковую дверь. Мне показалось, что все в полном порядке и я вернулся к Габриелю, очень оживленно разговаривавшему с Райхманом. Когда тот увидел, что я подошел, то он спросил меня:

— Все в порядке?

— Все на лицо — заверил я с некоторым апломбом, хотя я не знал еще о степени серьезности лечения.

— Посмотрим, не нужно ли уже начинать.

Он повернулся ко мне спиной и вместе с Габриелем направился к большому столу, где стал говорить по телефону, стоявшему за ним. Я остановился в отдалении и смог заняться рассматриванием зала. Это была большая прямоугольная комната, стены голые, грязно-белого цвета. У одной из более длинных стен стоял стол, о котором я говорил, сзади него три кресла. В противоположной стороне на высоте около метра с лишним от пола горизонтальная штанга из дерева или из металла, положенная на несколько подставок, вделанных в пол, ее длина равнялась почти что длине того зала. В центре — узкий и низкий стол, поставленный вертикально по отношению к штанге и к большому столу, но отдаленный своими концами от обоих — расстоянием в метр длины... Налево от стола в более короткой стене — дверь и в противоположном конце — другая, через которую я вошел.

Пока что я больше ничего не приметил.

Райхман отошел от телефона и разговаривал тихим голосом с Габриелем.

Я смотрел на них с расстояния в шесть или в семь метров, вдруг я услышал у себя за спиной громкие шаги, я обернулся, это был дородный человек, вошедший облаченным в великолепное пальто, доходившее до щиколоток. По мере того, как он приближался, он расстегивал многочисленные пуговицы, наушники от его шапки, уже развязанные, раскачивались по обе стороны его раскрасневшегося лица, как уши у некоторых собак.

— Думал, что не успею... Я был на даче, когда мне сообщили, в моем распоряжении имелся только один открытый автомобиль и в пути он имел три остановки...

Уже освободившись от перчаток и шапки, он приветствовал широкими жестами Габриеля и Райхмана, затем освободившись при их помощи от своей шубы, он оказался в форме милиции НКВД. Как он, так и Райхман, имели генеральские знаки.

Воспользовавшись тем, что два высоких чина беседовали между собой, Габриель подошел ко мне.

— Как дела, доктор? Имеете мужество?

— До этого момента почему же нет?

— Что касается вас, то это было делом Ежова, я уверен, что он этим хотел сделать для вас почетное отличие... Вы уж знаете, как он вас отблагодарит и вознаградит...

Я не слушал всего этого, ибо моя тревога возрастала, я даже осмелился спросить,

— Но нельзя ли узнать, что здесь будет...

— Ничего, доктор, не беспокойтесь. Я буду около вас. Для вас это будет кое-что поразительное, но если почувствуете в какой-то момент, что ваши нервы пошаливают, то помните, что все, что вы увидите, это изобретение Ягоды и одного медика-садиста, вашего друга...

Габриеля позвали и он подошел к генералам. Ему, видно, сказали что-то насчет того, чтобы занимать места, так как он подозвал меня знаком к себе. Я прошел вперед, пройдя перед столом, имевшим вид судейского, поскольку за ним сидели в креслах два генерала и Габриель. Когда я проходил, то мне показалось, что вдоль стены тоже продвигалась белая фигура позади генералов. Я глянул и увидел другого человека в белом халате, шедшего в том же направлении. Это был я, отражающийся в зеркале, прикрепленном к стене. Зеркало имело метра 2 длины и метр высоты, его нижняя часть кончалась на высоте спинки кресла. Я подошел к Габриелю, который указал мне:

— Принесете себе стул из угла и сядьте около меня.

— Свет — приказал Райхман, наклонившись слегка над маленьким ящиком, стоявшим перед ним на столе.

Яркий свет в одно мгновение осветил залу.

Из ящика послышался звук как бы телефонного звонка, но гораздо более приглушенного и одновременно зажглась светящаяся точка.

Райхман опять отдал приказание в ящик:

— Первый.

Открылась боковая дверь слева. Вошло одновременно два человека, один в форме, а другой... как же шел этот человек... Казалось, что это цирковой клоун. На нем были панталоны, спавшие до щиколоток. Его вид был комичен. Панталоны у него заплетались между ногами и его походка была смешная. Охранник тянул его за цепь, надетую на левую руку. За этой парой вошла другая такого же вида, а затем еще одна. Ряд

продвигался медленно, неравномерными шагами. Эта сцена, растянувшаяся по линии, вызвала бурю смеха. Я не смеялся, в пристыженных и мрачных физиономиях выражалось что-то угрюмое. Наконец они дошли до конца перекладины, где и остановились. Охранники заставили их опереться на нее спинами, они стали манипулировать с их руками и люди оказались привязанными. Перекладина проходила у них через сгиб рук за спиной, а обе руки по отдельности были связаны цепью, которая, соединяя их, проходила через живот. Их вынужденное положение заставляли их держать голову вверх, а грудь выпячивать вперед. Охранники вышли и вернулись с другими арестованными, которые промаршировали подобным же необычным способом.

В третьей очереди я узнал в одном старике особо, где-то мною раньше виденную. Я не сводил с него глаз. Когда он был привязан и я увидел его в лицо, освещенное сильным светом, то я узнал доктора Левина.

В четвертой очереди показался Ягода. Я видел его всего лишь пару часов тому назад, но мне показалось, что это совсем другое существо. Он шел с опущенной головой. Человек, тянувший его, заставлял его двигаться побыстрее и он делал усилия, чтобы удержать крепкое равновесие из-за панталон, которые его связывали. Он не мог смотреть на других. Когда он уже был привязан к штанге в неприличной позе, то его взгляд сделался неподвижным, как у одержимого, и был направлен поверх наших голов. Было похоже на то, будто он видел в зеркале ненавистную личность. Его взгляд ненависти заставлял меня содрогнуться.

— Понаблюдайте за своим другом Ягодой... Посмотрите на его взгляд — прошептал мне на ухо Габриель.

— Что он видит? На что он смотрит? — спросил я тихим голосом.

— Он что-то себе представляет, доктор, он думает о том, что он сам был на том месте, откуда, как он чувствует, за ним наблюдают.

— Здесь, с этих кресел?

— Нет, доктор, больше сзади. Но молчите.

Я не смог удержаться и украдкой посмотрел. Я увидел только зеркало и отраженный в нем необычный вульгарный ряд людей. Что хотел сказать мне Габриель?

Операция закончилась. Я насчитал двадцать семь человек самых различных возрастов и самого различного вида, прижатых к штанге.

Это был колоссальный и комичный кукольный театр.

— Сколько вы знаете, доктор?

— Думаю, что только двоих – Ягоду и Левина.

А этого с бородой, который стоит рядом с Ягодой, тоже не знаете? Это Рыков, бывший Председатель Совета Комиссаров, преемник Ленина.

— Да, я помню его фотографии.

— А этого, который чихает, этого, такого рыжеватого и лысого? Это Бухарин, бывший председатель Коминтерна, следующий налево – Раковский, посланник в Лондоне и Париже, следующий Гринько, Комиссар финансов СССР, дальше справа от Рыкова – с бородой – Карахан, тоже заместитель Комиссара, рядом с ним Буланов, секретарь Ягоды, отравитель, эти два с краю – два маршала и Егоров.

Вслушиваясь в то, что мне говорил Габриель, я не обратил внимания на движение в зале. Три или четыре человека двигались позади привязанных. Но один молодой человек, румяный, с бритым черепом, улыбающийся и симпатичный, ходил перед нами впереди ряда. Он держал в одной руке тоненькую палочку, как тросточку – шага в три длиной – и ловко и изящно размахивал ею. Большая собака с маленькими острыми ушами очень внимательно смотрела на него и следила за всеми его движениями.

Опять зазвучал скрытый звонок в маленьком деревянном ящике и опять зажглась красная точка.

Теперь я хочу сократить, сын мой. Не знаю, должен ли я рассказывать тебе то, что я увидел потом. Но я думаю, что ты должен знать, на что способны люди... Люди?

По легкому сигналу Райхмана человек с палочкой отошел к концу ряда. Первый привязанный испустил продолжительный сдержанный крик. Затем он перешел к следующему, теперь я стал хорошо присматриваться. Тросточка била по половым органам и вырывала из человека, подвергнутого пытке, жалобный вопль. Три или четыре удара – не больше, но эта садистическая пытка должна была причинять ужасную боль.

Меня удивили то, что никто не поднимал ног для самозащиты, но уже после того, как был отхлестан третий, я понял в

чем дело. Прежде чем начинать бить каждого нового арестованного, солдат сзади наступал на панталоны между двумя ногами и таким образом не давал возможности двигаться.

Он продвигался вперед, хлеща одного за другим своей тросточкой и оставляя позади себя воющий и извивающийся, как одержимый, ряд людей.

Большая собака очень внимательно следила за ним.

Я двигался на своем стуле, как будто бы меня кололи. Действие алкоголя испарилось. Я уже не хотел смотреть. Теперь он, вероятно, дошел уже до людей визави нас, где находились прежние крупные начальники. Я закрыл глаза. Я оперся головой на обе руки, одновременно заткнув себе уши. Душераздирающие крики уменьшились и я их слышал, как бы издалека. Если бы я продолжал следить и слушать, то наверное мне сделалось бы нехорошо. Сейчас одни только мысли об этом наполняют меня ужасом. Если я не потерял сознания, то только потому, что мне казалось, что я чувствовал за своей спиной взгляд двух глаз, ощущая их, как две сверлящие ледяные пули.

Я призвал все свои силы и воспоминания. Я представил себе Ягоду, отдающего приказ о моей смерти, видел себя влекомым так же, как Тухачевский.

Постарался представить себе еще больше: видел свою жену и моих дочерей опозоренными, а моего сына, подвергаемого подобной же пытке, как теперь эти. Воображение рисовало мне, как живые, ужасные картины. Мой внутренний ужас победил ужас, наполнявший залу, и не думая о нем я открыл глаза.

Казнь заканчивалась. Оставалось только три или четыре человека. Почти что весь ряд находился в движении и извивался самым странным образом, как эпилептический. Трое или четверо потеряли сознание и повисли на штанге, как тряпки.

— Курите, доктор — и Габриель положил передо мной свой портсигар.

Я хотел взять папиросу и открыл уши, не думая о происходящем. Стон и жалобные душераздирающие крики пронзили меня, я заткнул снова свои уши.

— Спасибо, нет — отказался я.

Он настоял, и я должен был принять. Когда я зажигал па-

пиросу, Габриель прошептал мне на ухо

— Выпейте — и я заметил, что он чем-то дотрагивался до меня под столом.

— Пройдите на момент к своему столу с инструментами и выпейте, выпейте хорошо... Идите, идите.

Я послушался и прошел в угол, как смог я поднес к своим губам плоскую металлическую бутылочку и хотел осушить ее одним глотком, но не мог, это была очень хорошая водка, но слишком крепкая. Я почувствовал, как обожгло мне горло, а затем как бы появился огонь в желудке. Для меня это было великолепным укрепляющим средством, я смог вернуться к столу с новыми силами, которые мне были нужны еще в большей степени.

Мучительство было закончено. По крайней мере, так думал я. Палач кончил хлестать последнего из длинного ряда. Я вздохнул более свободно, когда увидел, что он уже направляется к нашему столу, где вскоре собрались все остальные люди, находившиеся позади штанги.

Большинство из подвергнутых экзекуции все еще стонали, хотя и слабее, и большинство еще извивалось. Только несколько человек сохраняли свое ровное положение, выявляя свою ужасную боль только тем, что они стояли совершенно, как окаменевшие. Ни один из этих более цельных натур не принадлежал к высокому начальству, как мне показалось. Левин, этот садист и ученый жид который с таким энтузиазмом выкладывая передо мной свою красноречивую апологию пыток, инертно повис на штанге и потерял сознание.

Видя его теперь как бы мертвым, я воображал себе знаменитого доктора, Льва Григорьевича стоящим около этого другого стола в центре зала, корректного, красноречивого и экспрессивного, выставяющего напоказ мимику своих живо жестикулирующих аристократических рук. Он разъяснял смысл и патологический и психологический эффект всего происходящего перед аудиторией мрачных палачей. Сначала он рассуждал об унижение и комизме необыкновенного дефигирования и воздействия его на тех, кто с такой высоты пал так низко...

Комплекс интимного *libido*, чувство страдания от сознания того, что когда-то был человеком.

Такое галопирование моего возбужденного воображения

длилось только один миг. Чекисты грубо приводили в себя всех, кто потерял сознание.

— Тишина! — закричал, выдвигаясь вперед палач, помахиавший палочкой. — Замолчать уже! Или начнем снова.

Воцарилось молчание, до нас доносилась только задышка от приглушенного дыхания. Даже упавшие в обморок, казалось начинали оживать, заслышав этот повелительный голос.

Только пес позволил себе несколько коротких стонущих вздохов.

Чекист повернулся и подошел к нашему столу, глядя на Райхмана.

— Карахан — произнес Райхман

Человек с палочкой пошел вместе с другими к штанге. Отвязали того, который был Караханом, и подвели его за цепь, прикрепленную к одной руке. Это был высокий, хорошо сложенный человек, черты лица у него были правильные и у него была очень большая темная борода. Он не сопротивлялся, когда его вели. Он был очень бледен и истощен. Очень быстро с него сняли одежду за исключением панталон, которые оставались опущенными вниз. Затем его повалили на низкий стол, и пока я сообразил в чем дело, он уже был распестрен на нем, а руки и ноги были привязаны к четырем ножкам. Его половые органы были совершенно открыты. Он был растянут так, что ноги его находились к нам ближе всего. Пес, сидевший на задних лапах, смотрел на него со страшным упорством. Палач смотрел на Райхмана.

Этот подал знак своей рукой. Человек приблизился к Карахану с боковой стороны стола, повернувшись лицом к нам. Он поднял тросточку и быстро начал наносить удары по яичкам... То что больше всего на меня действовало, так это легкий свист палочки, прорезывающей воздух... Раз... Два... Три... Четыре... Пять... Истерические крики пытаемого. Раз... Два.... Три... Четыре... Пять... Крики, крики и обморок.

Другие вытащили из под стола небольшой шланг и поливали потерявшего сознание человека сильной струей воды, которая была, по видимому, ледяная. Он дрожит и содрогается, снова кричит. Палочка опять свистит: раз..., два..., три...

Я больше не могу. При каждом свисте сотрясается все мое существо. Мои мускулы сократились от инстинктивного чувства обороны. Мои нервы натягиваются так, как будто бы

их стали тянуть клещами. Стараюсь не видеть и не слышать.

Сколько времени продолжалось это?

Чувствую, что меня трогают и щиплют за одну руку, это, наверное, Габриель. Я приоткрываю свои веки и вижу, как сквозь туман, что все так же продолжается это же самое – отвратительное, непристойное, жестокое. Я опять крепко закрываю свои веки, даже до боли.

— Давайте, давайте... Не будьте ребенком, доктор — говорит мне на ухо Габриель — скоро вам надо будет действовать. Нате, идите, выпейте — и он дает мне фляжку.

Я делаю усилие руками и ногами, чтобы подняться, но не могу, я должен повторить попытку три раза, прежде чем мне удастся оторваться от стола. Уже в углу я пью без передышки. Набираюсь немного сил и храбрости и осмеливаюсь посмотреть. Я осмеливаюсь посмотреть на подвергаемого пытке. Это один ужас. Его половые органы стали черными, бесформенными, разбухшими. Воспаление яичек от ударов — производят впечатление чудовищной слоновой болезни. У него уже нет сил кричать, из его рта вырывается только глухое хрипение... Время от времени его лицо поливают струей холодной воды.

Ряд его товарищей стоит неподвижно, молча, как приведения.

У меня уже нету сил отвернуться или закрыть веки. Я стою, как пораженный глупец... "Хотят они его убить таким образом?" — задал я себе вопрос, но все же я еще могу немного реагировать. "Нет..., раз они привезли сюда меня. Но я опять убеждаю себя: "А если я должен лечить совсем другого?"

Не знаю, длилось ли все это минуты или часы. Финал лишил меня всякого человеческого понимания.

Наносивший удары наконец остановился. Он испустил гортанный крик и его собака набросилась на безоружного человека. Она определенно и прямо ткнулась мордой между пах и стала вырывать целиком его половые органы. Кровь полилась ключом.

Мне не сделалось дурно. Меня охватило удивительное прояснение. Я как то машинально приходил в себя. Я бросился к инструментальному столику, захватил пучками марлю и вату и подошел к искалеченному. Сам не знаю как, я наложил ему компактный толстый компресс, прижав его своей рукой. Я хотел, было, попросить чтобы ко мне пододвинули столик с ин-

струментами, но увидел его уже около себя. Один из людей помогал мне с достаточным умением.

Мое внимание, сконцентрированное на оказании скорой помощи, не могло замечать ничего остального. Я перевязал главные артерии и вены, продезинфицировал, придавил, наложил швы, забинтовал... С меня градом катился пот.

— Вы вели себя не совсем плохо, доктор, имея ввиду, что это произошло в первый раз.

Когда я окончил бинтовать, то заметил, что Габриель стоит около меня.

Он положил свою руку ко мне на плечо и подбодрил меня.

Я посмотрел ему в глаза. Он не изменился и курил.

— Ради Бога, Габриель, пусть это будет первый и последний раз! — сказал я умоляюще

— Я позабочусь об этом, доктор. — И обратившись к одному из бывших там людей, приказал унести его. Те подняли со стола безжизненное тело несчастного Карахана и исчезли из моих глаз.

Тогда я заметил, что мы остались одни. Силы покинули меня. Желтые круги, фиолетовые и белые закружились перед моими глазами.

Когда я пришел в себя, то увидел себя лежащим на турецком диване в кабинете у Габриеля. Всюду была полутьма. Я зашевелился и услышал его голос:

— Спите, доктор, спите.

Меня как бы обволокло туманом, на сей раз теплым и приятным. Больше я ничего не слышал.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ РЕВОЛЮЦИИ

Я вернулся в лабораторию. Моя нервная система давала о себе знать, и я предписал себе абсолютный покой. Я провожу в кровати почти что целый день. Вот я здесь четыре дня уже совершенно один. Габриель ежедневно справлялся обо мне. Он должен считаться с моим состоянием. При одной лишь только мысли, что меня снова могут послать на Лубянку для присутствия при новой сцене террора, я волнуюсь и дрожу. Мне стыдно, что я принадлежу к человеческому роду. Как низко пали люди! Как низко пал я!

-----ooooooooOooooOoooo-----

Предшествующие строки - это то единственное, что я мог написать спустя пять дней после моего возвращения, при попытке изобразить на бумаге пережитый ужас, нарушая этим хронологический порядок моих записей. Я не мог писать. Только спустя несколько месяцев, когда началось лето, я смог спокойно и лаконично изложить все, виденное мною, столь отвратительное, дикое и похотливое...

За эти протекшие месяцы я задавал себе тысячу раз один и тот же вопрос: "Кто были те лица, которые инкогнито присутствовали на пытке?" Я напряг все свои интуитивные и дедуктивные способности. Был ли это Ежов? Это возможно, но я не вижу оснований для того, чтобы ему нужно было скрываться. Официально он несет ответственность, и чувство опасения, которое заставило бы его скрыться, не поддается логическому объяснению. Даже больше: если я могу считать себя хоть сколько-нибудь психологом, то этот фанатик - хозяин НКВД - с наличием признаков ненормальности должен был бы увлекаться криминальными зрелищами. Такие вещи, как проявление высокомерия перед униженным врагом, превращенным в отребье и психологически и физически, должны были бы доставить ему нездоровое удовольствие. Я анализировал еще дальше. Отсутствие подготовленности было налицо, по видимому, решение о созвании этого сатанинского заседания было сделано поспешно. То, что назначили присутствовать

меня, явилось следствием внезапной договоренности. Если бы Ежов мог выбрать время свободно, то подготовка была бы проведена заблаговременно. Тогда не был бы назначен я, тот генерал НКВД, который едва успел прибыть к сроку, с целью присутствовать на пытке, знал бы об этом раньше. Если же это был не Ежов, то кто же назначил срок? Какой другой шеф мог бы все согласовать? Как ни скупы мои сведения о советской иерархии, но над Ежовым - в делах по линии НКВД - имеется только один человек в СССР, один-единственный: Сталин. Значит, это был он?

Задавая себе эти вопросы, возникшие в результате моих выводов, я припомнил еще кое-что, что подтверждало мое мнение. Я вспомнил, что когда я наблюдал из окна за площадью за несколько минут до того, как мы спустились на "спектакль", я видел, как на нее въехало четыре больших одинаковых автомобиля, все мы, советские, знаем, что Сталин ездит в караване одинаковых машин, для того чтобы не было известно, в какой именно едет он, и таким образом было бы труднее совершить на него покушение. Был ли он там?

Но тут я столкнулся со следующим неизвестным: согласно деталям, в которые меня посвятил Габриель, скрытые зрители должны были помещаться за нашей спиной. Но там я мог видеть одно лишь продолговатое зеркало, за которым ничего нельзя было рассмотреть. Откуда могли они наблюдать за этим отталкивающим представлением? Я не заметил ни одной щели, через которую можно было бы подсматривать... Может быть, зеркало было прозрачным? Я не думаю этого: мое лицо отображалось там совершенно нормально. Это было для меня загадкой.

-----ooooooooOOOOOoooooooo-----

Прошло только семь дней, когда однажды утром в доме появился Габриель. Я нашел, что он имел энергичный и воодушевленный вид и был в оптимистическом настроении. Тем не менее те вспышки радости, которые озаряли черты его лица первое время, не появлялись больше никогда. Казалось, будто он хотел разогнать тени, которые обволакивали его лицо, усиленной активностью и умственным напряжением.

После завтрака он сказал мне:

— У нас есть тут гость.

— Кто же это? — спросил я его.

— Раковский, бывший посланник в Париже.

— Я его не знаю.

— Это один из тех, которого я показывал вам той ночью, прежний посланник в Лондоне и Париже... Конечно, большой друг вашего знакомого Навачина... Да, этот человек в моем распоряжении. Он у нас здесь, пользуется хорошим обращением и досмотром. Вы его увидите.

— Я? Почему? Вы хорошо знаете, что я не страдаю никаким любопытством к делам этого рода... Я прошу избавить меня от новых зрелищ, я еще не совсем здоров после того, на чем меня заставили присутствовать. Я не ручаюсь за свою нервную систему и за свое сердце...

— О! Не беспокойтесь. Этот человек уже сломлен. Никакой крови и никакого насилия. Нужно только давать ему в умеренных дозах наркотические средства. Я принес вам сведения: это от Левина, который все еще обслуживает нас своими познаниями. Кажется, где-то в лаборатории имеется определенный наркотик, могущий творить чудеса.

— Вы верите во все это?

— Я говорю в образной форме. Раковский расположен сознаться во всем, что он знает касательно дела. Мы уже здесь имели первоначальную беседу с ним, и получается неплохо.

— В таком случае для чего нужен чудодейственный наркотик?

— Увидите, доктор, увидите. Это маленькая предосторожность, продиктованная профессиональным опытом Левина. Она поможет добиться того, чтобы наш допрашиваемый чувствовал себя оптимистом и не терял надежды и веры. Он уже видит возможность сохранить свою жизнь в дальнем плане. Это первый эффект, которого надо достигнуть, затем нужно достигнуть того, чтобы он все время находился как бы в состоянии переживания решающего счастливого момента, но не теряя своих умственных способностей, правильнее сказать, их нужно обострить... Ему нужно создать состояние опьянения совершенно особенное... Как бы это выразиться? Точно: состояние просветленного опьянения.

— Что-то вроде гипноза?

— Да, так, но без усыпления.

— И я должен изобрести наркотик для всего этого? Мне кажется, вы преувеличиваете мои научные таланты. Я не смогу достигнуть этого.

— Да, но не надо ничего изобретать, доктор. Что касается Левина, то, как он утверждает, проблема эта уже разрешена...

— Он всегда производил на меня впечатление несколько шарлатана...

— Пожалуй, да, но я думаю, что указанный им наркотик, если даже и не будет таким действенным, то поможет нам добиться желаемого, в конце концов не надо ожидать чуда. Алкоголь против нашего желания заставляет нас говорить глупости, почему же другое вещество не может побудить нас говорить разумную правду, а не глупости? Кроме того, Левин рассказывал мне о предыдущих случаях, по-видимому, достоверных...

— Посему вы не хотите заставить его принять участие в деле еще хотя бы один раз? Или он может не послушаться?

— О, нет! Он-то хотел бы. Уже достаточно одного стремления спасти или продолжить свою жизнь при помощи этой или другой услуги, чтобы не отказываться от нее. Но я сам не хочу пользоваться его услугами. Он не должен ничего слышать из того, что мне скажет Раковский. Ни он, никто.

— Значит, я...

— Вы — это другое дело, доктор, вы личность глубоко порядочная... Я не Диоген, чтобы бросаться на поиски другого по снежным просторам СССР.

— Спасибо, но я думаю, что моя честность...

— Да, доктор, да, вы говорите, что мы пользуемся вашей честностью для всяких подлостей. Да, доктор, это так... но это так только с вашей, абсурдной точки зрения. А кому же могут на сегодняшний день нравиться абсурды? Например, такой абсурд, как ваша честность? Вы уж всегда в конце концов заставляете меня отклониться от темы, чтобы повести разговор о самых увлекательных вещах... Но что же, собственно, будет происходить? Вы только должны помочь мне дозифицировать наркотик Левина... Кажется, что в дозировке имеется незаметная черта, которая отделяет сон от бодрствования... просветленное состояние от одурманенного, разум от безумия... создается искусственное упоение.

— Если дело только в этом...

— И еще кое-что... Будем говорить серьезно. Изучите инструкции Левина, взвесьте их, примените их разумно к состоянию личности и силам арестованного. У вас есть для изучения время до наступления ночи, вы можете исследовать Раковского столько раз, сколько вам нужно. И пока больше ничего. Вы мне не поверите, как я ужасно хочу спать. Я посплю несколько часов. Если до вечера не произойдет ничего необыкновенного, то я распорядился, чтобы меня не вызывали. Вам я советую хорошо отдохнуть после обеда, потому что потом придется долго не спать.

Мы вышли в вестибюль. Распростившись со мной, он проворно взбежал по ступенькам, но на середине пролета задержался,

— А, доктор, — воскликнул он, — я забыл. Большая благодарность от товарища Ежова, Ожидайте подарка... может быть, даже и ордена.

Он махнул на прощание рукой и быстро исчез за лестничной площадкой верхнего этажа.

-----оооооОООООооооо-----

Заметка Левина была короткая, но ясная и точная. Я без труда смог найти лекарство. Оно было дозифицировано в миллиграммах в крошечных таблетках. Я сделал проверку, и, согласно объяснению Левина, они очень легко растворялись в воде и еще лучше в алкоголе. Формула там не была записана, и я решил произвести позже сам подробный анализ, когда буду располагать временем.

Несомненно, это был какой-то состав специалиста Люменштата, того ученого, о котором мне говорил Левин во время первого свидания. Я не думал, что натолкнусь в анализе на что-нибудь необыкновенное. Пожалуй, разве опять какая-нибудь база со значительным количеством опиума более активного качества, чем сам табаин. Мне были хорошо известны 19 главных видов и кое-какие еще. В тех материальных условиях, в которых протекали мои опыты, я был удовлетворен теми сведениями, которые мне дали мои исследования.

Хотя мои работы имели совершенно другое направление, я прекрасно ориентировался в области одурманивающих средств. Я вспомнил, что Левин говорил мне о перегонке ред-

ких разновидностей индейской конопли. Я должен был иметь дело с опиумом или гашишем, чтобы разгадать секрет этого хваленного наркотика. Я был бы рад иметь случай натолкнуться на одно или несколько новых оснований, в которых коренились его "чудодейственные" достоинства. В принципе, я готов был предположить такую возможность. В конце концов, исследования при наличии неограниченного времени и средств (при отсутствии экономических преград, что было возможно в условиях лаборатории при НКВД) представляли собой неограниченные научные возможности. Я тешил себя иллюзией найти в результате этих исследований, направленных для причинения зла, новое оружие в моей научной борьбе против боли.

Я не мог посвятить много времени для развлечения такими приятными иллюзиями. Я сосредоточился на мнении, чтобы подумать, как и в какой пропорции должен буду дать Раковскому этот наркотик. Согласно инструкции Левина, одна таблетка должна была произвести желаемый эффект. Он предупреждал, что при наличии у пациента сердечной слабости возможна сонливость и даже полная летаргия с последующим притуплением ума. Учитывая все это, я должен был предварительно осмотреть Раковского. Я не рассчитывал на то, что найду внутреннее состояние его сердца нормальным, если не было повреждения, то, наверное, был упадок тонуса по причине нервных переживаний, ибо не могла остаться неизменной его система после продолжительной и терроризирующей пытки.

Я отложил осмотр на время после второго завтрака. Я хотел обдумать все на случай, если бы Габриель пожелал дать наркотик как с ведома Раковского, так и без его ведома. В обоих случаях я должен был им заняться, поскольку именно я сам должен был ему давать наркотик, о чем мне было конкретно сказано. Тут не требовалось вмешательства профессионала, ибо лекарство вводилось через рот.

После завтрака я посетил Раковского, которого держали запертым в одной из комнат нижнего этажа. Охранявший человек не спускал с него глаз. Из мебели там имелись только одна табуретка, узкая кровать без спинок и маленький грубый стол. Когда я вошел, Раковский сидел. Он моментально вскочил, пристально посмотрел мне в лицо, и я прочитал в его глазах сомнение и, как мне показалось, испуг. Пожалуй, он дол-

жен был бы меня узнать, видя сидевшим в ту памятную ночь рядом с генералами.

Я велел охраннику выйти, распорядившись, чтобы он внес для меня стул, Я сел и попросил арестованного сесть. Ему было около 50 лет, это был человек среднего роста, спереди лысый, с большим мясистым носом. В молодости физиономия его была, наверное, приятная, черты лица не имели карикатурных семитских очертаний, но таковое хорошо подтверждалось в них. В свое время он был, наверное, довольно тучным, теперь же — нет, кожа висела у него повсюду, его лицо и шея были похожи на пузырь с выпущенным воздухом. "Дежурный обед" на Лубянке служил, по-видимому, слишком строгой диетой для бывшего посланника в Париже. В тот момент я ограничился только этими наблюдениями.

— Курите? — спросил я его, открывая портсигар, с намерением установить с ним несколько более сердечные отношения.

— Я бросил курить по причине сохранения здоровья, — ответил он мне очень приятным тоном, — но я благодарю вас, думаю, что я сейчас хорошо оправился от своих желудочных болезней.

Он курил спокойно, сдержанно и не без некоторой элегантности.

— Я врач, — представился я.

— Да, я это знаю, я видел, как вы действовали... "там", — сказал он сорвавшимся голосом.

— Я пришел поинтересоваться состоянием вашего здоровья... Каково ваше состояние? Страдаете ли какой-нибудь болезнью?

— Нет, никакой.

— Вы в этом уверены? Как сердце?

— Благодаря вынужденной диете — не замечаю у себя никаких ненормальных признаков.

— Есть такие, которые не могут быть замечены самим пациентом, а только врачом.

— Я врач, — перебил он меня.

— Врач? — повторил я удивленно.

— Да. Вы этого не знали?

— Никто мне этого не сообщил. Поздравляю вас, мне будет очень приятно быть полезным коллеге и, возможно, соуче-нику. Где вы учились? В Москве, в Петрограде?

— О нет! Я тогда не был русским гражданином. Я учился в Нанси и в Монпелье, в последнем я получил ученую степень.

— Значит, мы могли учиться одновременно, я прошел несколько курсов в Париже. Вы были французом?

— Я собирался им быть, я родился болгарин, но не спросив моего разрешения, меня превратили в румына. Моя провинция Добруджа, где я родился, после заключения мира перешла к Румынии.

— Разрешите выслушать вас, — и я вставил в уши фонендоскоп.

Он снял свой порванный и засаленный пиджак и встал на ноги. Я выслушал его. Ничего ненормального. Как я и предполагал, слабость, но без дефектов,

— Я полагаю, что надо дать питание сердцу.

— Только сердцу, товарищ?— спросил он с иронией.

— Я так думаю, — сказал я, как бы не приметив ее, — что ваша диета должна быть тоже усилена.

— Разрешите мне выслушать себя?

— С удовольствием, — и я передал ему фонендоскоп. Он быстро прослушал себя.

— Я ожидал, что мое состояние будет гораздо хуже. Большое спасибо. Могу ли я уже надеть пиджак?

— Разумеется... Остановимся, значит, на том, что надо принимать по несколько капель дигитала, не так ли?

— Вы считаете это абсолютно необходимым? Я думаю, что мое старое сердце вполне выдержит те несколько дней или месяцев, которые мне осталось жить,

— Я думаю иначе, я думаю, что вы будете жить гораздо больше.

— Не тревожьте меня, коллега... Жить больше! Жить еще больше! Должна быть инструкция об окончании, процесс уже не может дольше задерживаться... Затем, затем отдыхать.

И когда он сказал это, имея в виду окончательный отдых, то казалось, что в чертах его лица отразилось почти что блаженство. Я содрогнулся. Эта жажда умереть, умереть скорее, которую я прочитал в его глазах, бросила меня в озноб. Мне захотелось подбодрить его из сострадания.

— Вы меня не поняли, товарищ. Я хотел сказать, что в вашем случае может быть решено продлить вам жизнь, но жизнь без страданий... Для чего-то же привезли вас сюда... Разве с вами не обращаются сейчас лучше?

— Это последнее да, конечно. Об остальном мне уже намекали, но...

Я дал ему еще одну папиросу и после этого добавил:

— Имейте надежду. Со своей стороны и в той мере, в какой разрешит шеф, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы вам не был причинен какой-либо вред. Я теперь же распоряжусь улучшить вам питание, умеренно, имея в виду состояние вашего желудка, мы начнем с молочного режима и с кое-чего более существенного. Можете курить... берите... — И я оставил в его распоряжении все, что оставалось в коробочке.

Я позвал охранника и приказал, чтобы он зажигал арестованному папиросу, когда тот захочет курить. Затем я ушел, и прежде чем отправиться отдохнуть на пару часов, распорядился, чтобы Раковскому дали пол-литра молока с сахаром.

-----ooooooooOOOOOoooooooo-----

Мы приготовились к свиданию с Раковским в двенадцать часов ночи. "Дружеский" характер встречи подчеркивался во всех деталях. Хорошо нагретая комната, огонь в камине, умеренный свет, маленький изысканный ужин, хорошие вина, все - научно импровизированное, "Как для любовного свидания", — определил Габриель. Я должен был ассистировать. Главная моя миссия - дать заключенному наркотик так, чтобы он этого не заметил. Для этой цели напитки расставили "случайно" около меня, в расчете на то, что я буду угощать его вином, я должен следить также за прекращением действия наркотика и в нужный момент дать новую дозу. Это - главное в моем поручении. Габриель желает, если опыт удастся, добиться уже в первое свидание продвижения к сути дела. Он надеется на удачу, он хорошо отдохнул и находится в полном порядке, у меня есть желание услышать, как он будет сражаться с Раковским, который, кажется мне, является достойным ему противником.

Разместили перед огнем три кресла, стоящее ближе к двери займу я, Раковский сядет посередине, а в третьем по-

местится Габриель, который даже своей одеждой старался создать оптимистическое настроение: он надел русскую белую рубашку.

Уже пробило двенадцать часов, когда нам привели арестованного. Его прилично одели, и он был хорошо выбрит. Я бросил на него профессиональный взгляд и нашел его более оживленным.

Он сразу же попросил извинения, что не может выпить больше одной рюмки из-за слабости своего желудка. Я пожалел, что перед его приходом не положил ему туда наркотик.

Разговор начинается банально, Габриель знает, что Раковский гораздо лучше владеет французским языком, чем русским, и начинает говорить на этом языке. Делаются намеки на прошлое. Видно, что Раковский искусный собеседник. Его речь точна, элегантна и даже обладает изяществом. Он, по-видимому, хороший эрудит, по временам приводит цитаты с полной непринужденностью и всегда правильно. Иногда делает намеки на свои многочисленные побеги, на изгнания, на Ленина, на Плеханова, на Люксембург и даже говорит, что, будучи мальчиком, подавал руку Энгельсу.

Мы пьем виски. После того, как Габриель дал ему возможность поговорить с полчаса, я как бы невзначай спросил его: "Вам налить побольше соды?" — "Да, налейте", — ответил он мне машинально. Я манипулировал с напитком и опустил туда таблетку, которую с самого начала держал между кончиками указательного и среднего пальцев. Сначала я придвинул виски Габриелю, дав ему знать взглядом, что дело выполнено.

Я передал Раковскому его рюмку и начал после этого пить сам. Он с наслаждением пригубливал свою содовую.

"Я маленький негодяй", — говорю я себе. Но эта мысль мимолетна, и она сторает в веселом пламени камина, который производит впечатление почтенного очага.

Прежде чем Габриель добрался до главного - диалог был длинный, но увлекательный.

Мне посчастливилось раздобыть документ, воспроизводящий лучше, чем стенография, все, что обсуждалось между Габриелем и Раковским. Вот он здесь.

ИНФОРМАЦИЯ

ДОПРОС ОБВИНЯЕМОГО ХРИСТИАНА ГЕОРГИЕВИЧА РАКОВСКОГО ГАВРИИЛОМ ГАВРИИЛОВИЧЕМ КУЗЬМИНЫМ 26 ЯНВАРЯ 1938 ГОДА

Габриель. — Согласно тому, как мы договорились на Лубянке, я ходатайствовал о предоставлении вам последней возможности, ваше присутствие в этом доме означает то, что я этого добился. Посмотрим, не обманете ли вы нас.

Раковский. — Я не желаю и не собираюсь этого желать.

Г. — Но предварительно - благородное предупреждение. Теперь дело идет о чистой правде. Не о правде "официальной", той, которая должна выявиться на процессе в свете признаний обоих обвиняемых... Нечто, как вы знаете, подчиняющееся целиком политическим соображениям или "соображениям государственным", как бы выразились на Западе. Требования интернациональной политики заставят нас скрыть всю правду, "настоящую правду"... Каков бы ни был процесс, но государства и люди узнают только то, что они должны будут узнать... Тот же, кому надлежит знать все, Сталин, должен знать об этом все... Итак, каковы бы ни были здесь ваши слова, они не смогут отягчить вашего положения. Знайте, что они не усугубят вашу вину, а, наоборот, смогут дать желаемые результаты в вашу пользу. Вы сможете спасти свою жизнь, в данный момент уже потерянную. Вот я вам сказал это, а теперь давайте посмотрим: все вы будете сознаваться в том, что вы шпионы Гитлера и состоите на жаловании у гестапо и О.К.В. Не так ли?

Р. — Да.

Г. — И вы являетесь шпионами Гитлера?

Р. — Да.

Г. — Нет, Раковский, нет. Говорите настоящую правду, а не процессуальную.

Р. — Мы не являемся шпионами Гитлера, мы ненавидим Гитлера так, как можете ненавидеть его и вы, так, как может ненавидеть его Сталин, пожалуй, еще больше, но это вещь очень сложная...

Г. — Я вам помогу... Случайно я тоже кое-что знаю. Вы, троцкисты, имели контакт с немецким штабом. Не так ли?

Р. — Да.

Г. — С каких пор?

Р. — Я не знаю точной даты, но вскоре после падения Троцкого. Разумеется, до прихода к власти Гитлера.

Г. — Значит, уточним: вы не являлись ни личными шпионами Гитлера, ни его режима.

Р. — Точно. Мы ими были уже раньше.

Г. — И с какой целью? С целью подарить Германии победу и несколько русских территорий?

Р. — Нет, ни в коем случае.

Г. — Значит, как обыкновенные шпионы, за деньги?

Р. — За деньги? Никто не получал ни одной марки от Германии. У Гитлера не найдется достаточного количества денег, чтобы купить, например, комиссара Иностранных дел СССР, каковой имеет в своем свободном распоряжении бюджет больший, чем совместные богатства Моргана и Вандербилта, и не обязан давать отчет в обращении с ними.

Г. — Ну так по какой же причине?

Р. — Могу ли я говорить вполне свободно?

Г. — Да, я вас об этом прошу, для этого я вас и пригласил.

Р. — Разве у Ленина не было высших соображений при получении помощи от Германии для въезда в Россию? И нужно ли признавать верными те клеветнические вымыслы, которые были пущены в ход для его обвинения? Не называли ли его также шпионом кайзера? Его сношения с императором и вмешательство немцев в дело отправки в Россию разрушителей большевиков - очевидны...

Г. — Правда это или неправда - все это не имеет отношения к вопросу,

Р. — Нет, разрешите закончить. Не является ли фактом, что деятельность Ленина вначале была благоприятна для немецких войск? Разрешите... Вот сепаратный мир в Бресте, на котором Германии были уступлены огромные территории СССР. Кто объявил пораженчество в качестве оружия большевиков в 1913 году? Ленин. Я знаю на память его слова из письма к Горькому: "Война между Австрией и Россией была бы очень полезной вещью для революции, но вряд ли возможно,

чтобы Франц Иосиф и Николай представили нам этот удобный случай". Как вы видите, мы, так называемые троцкисты, избретатели поражения в 1905 году, продолжаем на данном этапе ту же самую линию — линию Ленина.

Г. — С маленькой разницей, Раковский: сейчас в СССР существует социализм, а не царь.

Р. — Вы в это верите?

Г. — Во что?

Р. — В существование социализма в СССР?

Г. — Разве Советский Союз не социалистический?

Р. — Для меня только по названию. Вот тут-то и кроется настоящая причина оппозиции. Согласитесь со мною, и в силу чистой логики вы должны это признать, что теоретически, рационально, мы имеем такое же самое право сказать нет, как Сталин - сказать да. И если для триумфа коммунизма оправдывается поражение, то тот, кто считает, что коммунизм сорван бонапартизмом Сталина и что он ему изменил, имеет такое же право, как и Ленин, стать пораженцем.

Г. — Я думаю, Раковский, что вы теоретизируете, благодаря своей манере широко пользоваться диалектикой. Ясно, что при наличии здесь публики я бы это обосновал, хорошо, я признаю ваш аргумент, как единственно возможный в вашем положении, но однако я думаю, что мог бы вам доказать, что это не что иное, как софизм... но отложим это до другого случая, когда-нибудь уж он появится у нас... И я надеюсь, что вы мне предоставите возможность для реванша. В данный же момент скажу только вот что: если ваше поражение и поражение СССР имеет своей целью реставрацию социализма, настоящего социализма, по-вашему — троцкизма, то, поскольку нами уже ликвидированы его вожди и кадры, поражение и поражение СССР не имеет ни объекта, ни смысла. В результате поражения теперь получилась бы интронизация какого-либо фюрера или фашистского царя... Не так ли?

Р. — В самом деле. Без лести с моей стороны - ваше заключение великолепно.

Г. — Хорошо, если, как я предполагаю, вы утверждаете это искренне, то мы уже добились многого: я, сталинец, и вы, троцкист, мы достигли невозможного. Мы дошли до точки, где наши мнения совпали, совпали в том, что в настоящий момент СССР не должен быть разрушен.

Р. — Должен сознаться, что я не ожидал очутиться перед такой умной особой. В самом деле, на данном этапе и, возможно, в течение нескольких лет, мы не сможем думать о поражении СССР и провоцировать таковое, ибо известно, что сейчас мы находимся в таком положении, что не можем захватить власть. Мы, коммунисты, не извлекли бы из этого пользы. Это положение точное, и оно совпадает с вашим мнением. Нас не может интересовать сейчас развал Сталинского государства, я это говорю и одновременно утверждаю, что это государство помимо всего сказанного - антикоммунистично. Вы видите, что я искренен.

Г. — Я это вижу, это единственный способ договориться. Я прошу вас, прежде чем продолжать, разъяснить мне то, что мне представляется противоречивым: если для вас советское государство антикоммунистично, то почему бы вам не пожелать разрушения его в данный момент? Кто-либо другой мог бы быть менее антикоммунистичным, и, таким образом, было бы меньше препятствий для реставрации вашего чистого коммунизма.

Р. — Нет, нет, этот выход слишком прост. Хотя сталинский бонапартизм также противостоит коммунизму, как наполеоновский - революции, но очевиден тот факт, что все-таки СССР продолжает сохранять свою коммунистическую форму и догмат, это - коммунизм формальный, а не реальный. И, таким образом, подобно тому, как исчезновение Троцкого дало возможность Сталину автоматически превратить настоящий коммунизм в формальный, так и исчезновение Сталина позволит нам превратить его формальный коммунизм в реальный. Нам достаточно было бы одного часа. Вы меня поняли?

Г. — Да, само собой разумеется, вы высказали нам классическую правду о том, что никто не разрушает того, что он желает наследовать. Ну, хорошо, все остальное - это софистическая сноровка. Вы базируетесь на предположении явно опровержимом: на предположении о сталинском антикоммунизме... Имеется ли частная собственность в СССР? Есть ли личная прибавочная стоимость? Классы? Не буду ссылаться на факты: для чего?

Р. — Я уже согласился с тем, что существует формальный коммунизм. Все, что вы перечисляете, это только формы.

Г. — Да? Для какой цели? Из обыкновенного каприза?

Р. — Нет, разумеется. Это необходимость. Невозможно удержать материалистическую эволюцию истории, самое большое - это что ее можно затормозить... И какой ценой? Ценой ее теоретического принятия, чтобы провалить ее практически. Сила, которая влечет человечество к коммунизму, настолько непобедима, что эта самая, но искаженная сила, противопоставленная самой себе, может добиться только замедления быстроты развития, более точно - замедлить ход перманентной революции.

Г. — Пример?

Р. — С Гитлером - наиболее очевидный. Ему нужен был социализм для победы над социализмом, вот этот самый его антисоциалистический социализм, каковым является нац.-социализм. Сталину нужен коммунизм, чтобы победить коммунизм. Параллель здесь очевидна. Но, несмотря на гитлеровский антисоциализм и сталинский антикоммунизм, оба, к своему сожалению, против своей воли, трансцендентно создают социализм и коммунизм... они и многие другие. Хотят или не хотят, знают или не знают, но создают формальный социализм и коммунизм, который мы, коммунисты-марксисты, должны неизбежно получить в наследство.

Г. — Наследство? Кто наследует? Троцкизм ликвидирован полностью.

Р. — Хотя вы это и говорите, но этому не верите. Какими колоссальными ни будут чистки, мы коммунисты, переживем. Не до всех коммунистов может добраться Сталин, как ни длинны руки у его охранников.

Г. — Раковский, прошу вас, а если нужно, то и приказываю, воздерживаться от оскорбительных намеков. Не злоупотребляйте своей "дипломатической неприкосновенностью".

Р. — Это я имею полномочия? Чей я посол?

Г. — Именно этого недостижимого троцкизма, если мы договоримся так его называть...

Р. — Я не могу быть дипломатом при троцкизме, на который вы намекаете. Мне не предоставлено право его представлять, и я сам на себя этого не брал. Это вы мне его даете.

Г. — Начинаю доверять вам. Отмечаю на ваш счет, что при моем намеке на этот троцкизм вы не стали отрицать его передо мной. Это уже хорошее начало.

Р. — А как отрицать? Ведь я же сам о нем упомянул.

Г. — Поскольку мы признали существование этого особого троцкизма по нашему взаимному соглашению, то я желаю, чтобы вы привели определенные данные, необходимые для расследования указанного совпадения.

Р. — Да, так, я смогу подсказать то, что вы считаете нужным знать, и сделаю это по своей собственной инициативе, но не могу уверять, что таково же всегда мышление и "Их".

Г. — Да, я так буду на это смотреть.

Р. — Мы согласились на том, что в данный момент оппозицию не может интересовать поражение и падение Сталина, поскольку мы не имеем физической возможности заместить его. Это то, в чем мы согласны оба. Сейчас это неоспоримый факт. Однако имеется налицо возможный агрессор. Вот он, этот великий нигилист Гитлер, нацелившийся своим грозным оружием вермахта по всему горизонту. Хотим мы этого или не хотим, но ведь он употребит его против СССР? Согласимся, что для нас - это решающее неизвестное. Считаете ли вы, что проблема поставлена правильно?

Г. — Поставлена хорошо. Но я могу сказать, что для меня тут нет неизвестного. Я считаю неизбежным наступление Гитлера на СССР.

Р. — Почему?

Г. — Очень просто, потому, что к этому расположен тот, кто этим распоряжается. Гитлер - это только кондотьер интернационального капитализма.

Р. — Я согласен с тем, что существует опасность, но до заключения на этом основании о неизбежности его нападения на СССР — целая пропасть.

Г. — Нападение на СССР определяется самой сущностью фашизма, кроме того, его толкают на это все те капиталистические государства, которые разрешили ему перевооружение и захват всех необходимых экономических и стратегических баз. Это само собой очевидно.

Р. — Вы забываете кое-что очень важное. Перевооружение Гитлера и те льготы, которые получены им в настоящий момент от наций Версаля (заметьте себе это хорошо), были получены им в особый период, когда мы еще могли бы стать наследниками Сталина в случае его поражения, когда оппозиция

еще существовала... Считаете ли вы этот факт случайным или только совпадающим по времени?

Г. — Не вижу никакой связи между разрешением версальских властей на перевооружение немцев и существованием оппозиции... Траектория гитлеризма сама по себе ясна и логична. Нападение на СССР уже очень давно входило в его программу. Разрушение коммунизма и экспансия на восток — это догмы из книги "Моя борьба", этого талмуда национал-социализма... а то, что ваши пораженцы желали бы использовать наличие этой угрозы против СССР — это, конечно, соответствовало ходу их мыслей.

Р. — Да, на первый взгляд все это кажется естественным и логичным, слишком логичным и естественным для правды.

Г. — Для того, чтобы этого не случилось, чтобы Гитлер не напал на нас, нам нужно было бы довериться союзу с Францией... но это было бы таки наивностью. Это бы означало поверить в то, что капитализм согласен пойти на жертву ради спасения коммунизма.

Р. — Если мы будем вести беседу только на базе тех понятий, каковые употребляются на массовых митингах, то вы вполне правы. Но если вы искренни, говоря так, то, извините, я разочарован, я думал, что политика знаменитой сталинской полиции стоит на большей высоте.

Г. — Атака гитлеризма на СССР является, кроме того, диалектической необходимостью, это то же, что неизбежная борьба классов в плане интернациональном. Наряду с Гитлером, по необходимости, против вас встанет весь мировой капитализм.

Р. — Итак, поверьте мне, что, при наличии вашей схоластической диалектики, у меня сформировалось самое неблагоприятное впечатление о политической культуре сталинизма. Я слушаю ваши речи, как мог бы слушать Эйнштейн ученика лица, говорящего о физике с четырьмя измерениями. Вижу, что вы знакомы только с элементарным марксизмом, т.е. с демагогическим, популярным.

Г. — Если не будет слишком длинным и запутанным ваше разъяснение, я был бы вам благодарен за некоторое разоблачение этой "относительности" или "кванты" марксизма.

Р. — Тут нет никакой иронии, я говорю, будучи воодушевлен наилучшими желаниями... В этом же самом элемен-

тарном марксизме, который преподают даже у вас в сталинском университете, вы можете найти довод, который противоречит вашему тезису о неизбежности гитлеровской атаки на СССР. Вас обучают еще и тому, что краеугольным камнем марксизма является утверждение, будто противоречия - это неизлечимая и смертельная болезнь капитализма... Не так ли?

Г. — Да, конечно.

Р. — А если дело обстоит таким образом, что мы обвиняем капитализм в наличии постоянных капиталистических противоречий в области экономики, то почему же он не должен страдать таковыми также и в политике? Политическое и экономическое не имеет значения само по себе, это состояние или измерение социальной сущности, а уж противоречия рождаются в социальном, отражаясь одновременно в экономическом или политическом измерении, или в обоих одновременно. Было бы абсурдно предположить погрешность в экономике и одновременно непогрешимость в политике, т.е. нечто необходимое для того, чтобы нападение на СССР стало неизбежным, по вашей мысли - абсолютно необходимым.

Г. — Значит, вы полагаетесь во всем на противоречия, фатальность и неизбежность заблуждений, которым должна быть подвержена буржуазия, каковая помешает Гитлеру напасть на СССР. Я - марксист, Раковский, но здесь, говоря между нами, чтобы не дать повода для возмущения ни одному активисту, я вам говорю, что при всей моей вере в Маркса я не поверил бы тому, что СССР существует вследствие заблуждения его врагов... И думаю, что такого же мнения и Сталин.

Р. — А я - да... Не смотрите на меня так, ибо я не шучу и не сошел с ума.

Г. — Разрешите мне, по крайней мере, усомниться в этом, пока вы мне не докажете ваших утверждений.

Р. — Видите ли теперь, что у меня были основания для квалификации вашей марксистской культуры как посредственной? Ваши доводы и реакция таковы же, как и у какого-нибудь низового активиста.

Г. — И они неправильны?

Р. — Да, они правильны для маленького управителя, для бюрократа и для массы. Они подходят тому, кто является рядовым борцом... Таковые должны в них верить и повторять все, как написано. Выслушайте меня в порядке конфиденци-

альности. С марксизмом получается точно так же, как с древними эзотерическими религиями. Их приверженцы должны были знать только все самое элементарное и грубое, поскольку у них этим нужно было вызвать веру, т.е. то, что абсолютно необходимо, как в деле религии, так и в деле революции.

Г. — Не желаете ли вы теперь разоблачить передо мной мистический марксизм, нечто вроде еще одного масонства?

Р. — Нет, никаких изотермизмов. Наоборот, я его изображу с наибольшей ясностью. Марксизм, прежде чем быть философской, экономической и политической системой, является конспирацией для революции. И так как для нас революция - это единственная абсолютная реальность, то философия, экономика и политика истинны только постольку, поскольку они ведут к революции. Основная истина (назовем ее субъективной) не существует ни в экономике, ни в политике, ни даже в морали, в научной абстракции это или истина, или заблуждение, но для нас, подчиненных революционной диалектике, - только истина, И поскольку для нас, подчиненных революционной диалектике, она - только истина, а следовательно, и единственная истина, то она должна быть таковой для всего революционного, каковой она и была для Маркса. В соответствии с этим должны действовать и мы. Припомните фразу Ленина в ответ на то, когда ему кто-то указал в качестве аргумента, будто его намерение противоречит реальности: "Я его ощущаю реальным" — был его ответ. Не думаете ли вы, что Ленин сказал глупость? Нет, для него всякая реальность, всякая правда была относительна перед лицом одной-единственной и абсолютной истины: революции. Маркс был гениален. Если бы его труды свелись только к одной глубокой критике капитализма, то и это был бы уже непревзойденный научный труд, но в тех местах, где его произведение достигает степени мастерства, получается как бы произведение ироническое. "Коммунизм, — говорит он, — должен победить, так как эту победу даст ему его враг капитал". Таков магистральный тезис Маркса... Может ли быть еще большая ирония? И вот, для того, чтобы ему поверили, достаточно было ему обезличить капитализм и коммунизм, превративши существо человеческое в существо рассудочное, что он сделал с необычным искусством фокусника. Таково было его хитроумное средство, чтобы указать капиталистам, что они являются ре-

альностью капитализма и что коммунизм может восторжествовать в силу врожденного идиотизма: ибо без наличия неумираемого идиотизма в *homo economicus* не могут проявляться в нем непрерывные противоречия, прокламируемые Марксом. Суметь достигнуть того, чтобы превратить *homo sapiens* в *homo stultum*, это значит обладать магической силой, способной низвести человека на первую ступеньку зоологической лестницы, т.е. до степени животного. Только при наличии *homo stultum* в эту эпоху апогея капитализма Маркс мог сформулировать свое аксиоматическое уравнение: противоречия + время = коммунизм. Поверьте мне, когда мы, посвященные в это, созерцаем изображение Маркса, хотя бы то, которое возвышается над главным входом на Лубянке, то мы не можем сдержаться от внутреннего взрыва смеха, которым заразил нас Маркс, мы видим, как он смеется в свою бороду над всем человечеством.

Г. — И вы еще способны насмеяться над самым уважаемым ученым эпохи?

Р. — Насмеяться, я? Это восхищение! Для того, чтобы Маркс мог надуть столько людей науки, необходимо было, чтобы он был выше их всех. Ну, хорошо: для того, чтобы судить о Марксе во всем его величии, мы должны рассмотреть настоящего Маркса, Маркса-революционера, Маркса - по его манифесту. Это значит Маркса-конспиратора, ибо во время его жизни революция находилась в состоянии конспирации. Не напрасно революция обязана своим продвижением и своими последними победами этим конспираторам.

Г. — Следовательно, вы отрицаете наличие диалектического процесса противоречий в капитализме, ведущих к финальному триумфу коммунизма?

Р. — Будьте уверены, что если бы Маркс верил в то, что коммунизм дойдет до победы только благодаря противоречиям в капитализме, то он ни одного разу, никогда бы не упомянул о противоречиях на тысячах страниц своего научного революционного труда. Таков был категорический императив реалистической природы Маркса: не научной, но революционной. Революционер и конспиратор никогда не разоблачит перед своим противником секрет своего триумфа. Никогда не даст информации: он даст ему дезинформацию, каковой вы пользуетесь в контрконспирации. Не так ли?

Г. — Однако, в конце концов, мы дошли до заключения (по-вашему), что в капитализме нет противоречий, и если Маркс о них и говорит, то это только революционно-стратегическое средство. Так ведь? Но колоссальные и постоянно нарастающие противоречия в капитализме имеются налицо... И вот получается, что Маркс, соврав, сказал правду.

Р. — Вы опасны, как диалектик, когда вы ломаете тормоза схоластической догматики и даете полную волю вашей собственной изобретательности. Так оно и есть, что Маркс сказал правду, совравши. Он соврал, когда ввел всех в заблуждение, определив противоречия, как "постоянные" в истории экономики капитала, и назвал их "естественными и неизбежными", но одновременно сказал правду, зная, что противоречия будут создаваться и увеличиваться в нарастающей прогрессии до тех пор, пока не достигнут своего апогея.

Г. — Значит, у вас получается антитезис?

Р. — Нет тут никакого антитезиса. Маркс обманывает из тактических соображений насчет происхождения противоречий в капитализме, но не насчет их очевидной реальности. Маркс знал, как они создавались, как обострялись и как дело доходило до создания всеобщей анархии в капиталистическом производстве, предшествующей триумфу коммунистической революции... Он знал, что это произойдет, ибо знал тех, кто их создает.

Г. — Весьма странной новостью является подобное разоблачение, утверждающее, что именно то, что ведет капитализм к "самоубийству", по счастливому выражению буржуазного экономиста Шмаленбаха, в подтверждение Марксу, не является сущностью и врожденным законом капитализма. Но меня интересует, меня интересует - доберемся ли мы этим путем к персональному?

Р. — Не почувствовали ли вы этого интуитивно? Не заметили ли вы, как у Маркса слова противоречат делу? Он заявляет о необходимости и неизбежности капиталистических противоречий, доказывая наличие прибавочной стоимости и накопления, т. е. доказывает реально существующее. Он ловко придумывает, что большей концентрации средств производства соответствует большая масса пролетариата, большая сила для построения коммунизма, ведь так? Теперь дальше: одновременно с этим заявлением он учреждает Интернационал. А

Интернационал является в деле ежедневной борьбы классов "реформистом", т.е. организацией, предназначенной для ограничения добавочной стоимости и, где возможно, упразднения ее. Поэтому, объективно, Интернационал - это организация контрреволюционная и антикоммунистическая - по теории Маркса.

Г. — Теперь получается, что Маркс контрреволюционер и антикоммунист.

Р. — Вот вы теперь видите, как можно использовать первоначальную марксистскую культуру. Квалифицировать Интернационал, как контрреволюционный и антикоммунистический, с логической и научной точностью возможно лишь, если не видеть в фактах ничего больше, кроме непосредственного видимого результата, а в текстах только букву. К таким абсурдным заключениям, при их кажущейся очевидности, приходят, забывая, что слова и факты в марксизме подчиняются строгим правилам высшей науки: правилам конспирации и революции.

Г. — Дойдем ли мы когда-нибудь до окончательного заключения?

Р. — Сейчас. Если борьба классов в экономической области по своим первым результатам оказывается реформистской и в силу этого противоречит теоретическим предпосылкам, определяющим установление коммунизма, то в своей настоящей и реальной значимости - она чисто революционная. Но повторяю снова: она подчиняется правилам конспирации, это значит - маскировке и сокрытию ее настоящей цели... Ограничение прибавочной стоимости, а следовательно и накоплений, в силу борьбы классов - это только видимость, иллюзия для вызова первичного революционного движения в массах. Забастовка - это уже попытка революционной мобилизации. Независимо от того, победит ли она или провалится - ее экономическое воздействие анархично. В результате, это средство для улучшения экономического положения одного класса несет в себе обеднение экономики вообще, каковы бы ни были размеры и результаты забастовки, она всегда приносит урон продукции. Общий результат: больше нищеты, от которой не освобождается рабочий класс. Это уже кое-что. Но это не единственный результат и не главный. Как мы знаем, единственная цель всякой борьбы в экономической области - больше за-

работать, а работать меньше. Таков экономический абсурд, а по нашей терминологии, таково противоречие, не примеченное массами, ослепленными на какой-то момент повышением жалованья, тут же автоматически аннулируемым повышением цен. И если цены ограничиваются при содействии государства, то происходит то же самое, т.е. противоречие между желанием расходовать больше, производя меньше, обуславливается здесь денежной инфляцией. И так создается порочный круг: забастовка, голод, инфляция, голод.

Г. — За исключением того, когда забастовка идет за счет прибавочной капиталистической стоимости.

Р. — Теория, голая теория. Говоря между нами, возьмите любой ежегодный справочник по экономике любой страны и поделите ренты и общий доход на всех, получающих жалование, и вы уж увидите, какое получается необыкновенное частное. Вот это частное, самое революционное, мы должны держать в строжайшем секрете Ибо, если из теоретического дивиденда высчитать жалование и расходы дирекции, которые получатся при упразднении собственника, то почти всегда остается дивиденд, пассивный для пролетариев. В реальности - всегда пассивный, если возьмем еще на учет уменьшение объема и снижение качества в области производства. Как теперь вам видно, призыв к забастовке как к средству за скорое улучшение благосостояния пролетариата - это только предлог, предлог, необходимый, чтобы понудить его к саботажу капиталистического производства, таким образом, к противоречиям в буржуазной системе добавятся противоречия у пролетариата, это двойное оружие революции, и оно, что очевидно, не возникает само собой: существуют организация, начальники, дисциплина, и, сверх того, отсутствует глупость. Не подозреваете ли вы, что пресловутые противоречия капитализма, в частности финансовые, тоже как-то организованы? В качестве основания для выводов напоминаю вам о том, что в своей экономической борьбе пролетарский Интернационал совпадает с Интернационалом финансовым, ибо оба производят инфляцию... а где имеется совпадение, там, надо думать, имеется и договоренность.

Г. — Усматриваю здесь такой колоссальный абсурд, или же намерение сплести новый парадокс, что даже и не желаю и не хотел бы себе это представить. Похоже на то, что вы наме-

каете на существование чего-то вроде капиталистического второго Коминтерна, само собою разумеется, враждебного.

Р. — Совершенно точно. Когда я говорил о финансовом Интернационале, то я мыслил о нем как о Коминтерне, но, признав наличие "Коминтерна", я бы не сказал, что он враждебен.

Г. — Если вы претендуете на то, чтобы мы теряли время на изобретательство и фантазии, то должен вам сказать, что вы избрали неудачный момент.

Р. — Кстати, не принимаете ли вы меня за фаворитку из "Тысячи и одной ночи", которая изоцряла вечерней порой свое воображение для спасения своей жизни... Нет. Если вы думаете, что я отклоняюсь, то вы заблуждаетесь. Чтобы добраться до того, что мы себе наметили, я, если я не хочу потерпеть неудачу, должен вам предварительно осветить самые существенные вещи, учитывая ваше общее незнакомство с тем, что я назвал бы "высшим марксизмом". Я не смею отказаться от этих разъяснений, так как хорошо знаю, что подобное неведение царит и в Кремле... Разрешите продолжать?

Г. — Можете продолжать. Но верно то, что если все окажется просто только развлечением для воображения, то это удовольствие будет иметь очень плохой эпилог. Я вас предупредил.

Р. — Продолжаю, как будто бы ничего не слышал. Поскольку вы являетесь схоластом в отношении капитала, и я хочу пробудить ваши индуктивные таланты, то я напому вам кое о чем, весьма своеобразном. Заметьте, с какой проницательностью делает Маркс выводы, при наличии в его время зачаточной английской индустрии, как он ее анализирует и клеймит, в каком отталкивающем виде рисует он образ промышленника. В вашем воображении, как и в воображении масс, встает чудовищный образ капитализма в его человеческом воплощении: толстопузый промышленник с сигарой во рту, как его обрисовал Маркс, самодовольно и злобно выкидывающий жену или дочь рабочего... Не так ли? Одновременно припомните умеренность Маркса и его буржуазную ортодоксальность при изучении вопроса о деньгах. В вопросе о деньгах у него не появляются его знаменитые противоречия. Финансы не существуют для него, как вещь, имеющая значение сама в себе, торговля и циркуляция денег являются последст-

виями проклятой системы капиталистического производства, которая подчиняет их себе и целиком определяет. В вопросе о деньгах Маркс - реакционер, к величайшему удивлению, он им и был, примите во внимание "пятиконечную звезду", подобную советской, сияющую во всей Европе, звезду из пяти братьев Ротшильдов с их банками, обладающими колоссальным скоплением богатств, когда-либо слышанных... И вот этот факт, настолько колоссальный, что он вводил в заблуждение воображение людей той эпохи, проходит незамеченным для Маркса. Нечто странное... Не правда ли? Возможно, что от этой, столь странной слепоты Маркса и происходит феномен, общий для всех последующих социальных революций. А именно. Все мы можем подтвердить, что когда массы овладевают городом или государством, то они всегда проявляют что-то вроде суеверного страха перед банками и банкирами. Убивали королей, генералов, епископов, полицейских, священников и прочих представителей ненавистных привилегированных классов, грабили и сжигали дворцы, церкви и даже центры науки, но хотя революции были экономически-социальными, жизнь банкиров была уважаема, и в результате великолепные здания банков оставались нетронутыми... По моим сведениям, пока я не был арестован, это продолжается и теперь...

Г. — Где?

Р. — В Испании... Не знаете этого? Раз вы спрашиваете, и вот теперь скажите мне, не находите ли вы все это очень странным? Пораздумайте, полиция... Не знаю, обратили ли вы внимание на странное сходство, которое существует между финансовым Интернационалом и Интернационалом пролетарским, я бы сказал, что один является оборотной стороной другого, и этой оборотной стороной является пролетарский, как более современный, чем финансовый.

Г. — Где вы видите подобие в вещах столь противоположных?

Р. — Объективно они идентичны. Как я это доказал, Коминтерн, дублируемый реформистским движением и всем синдикализмом, вызывает анархию производства, инфляцию, нищету и безнадежность в массах, финансы, главным образом финансовый Интернационал, дублируемый сознательно или бессознательно частными финансами, создают те же самые противоречия, но еще в большем количестве... Теперь мы бы

могли уже догадаться о причинах, по каким Маркс скрыл финансовые противоречия, каковые не могли бы укрыться от его проницательного взора, если бы не имелось у финансов союзника, воздействие которого, объективно-революционное, уже тогда было необычайно значительно.

Г. — Бессознательное совпадение, но не союз, предполагающий ум, волю, соглашение...

Р. — Оставим эту точку зрения, если вам угодно... Теперь лучше перейдем к субъективному анализу финансов и даже еще больше: разглядим, что представляют собой персонально люди, там занятые. Интернациональная сущность денег достаточно известна. Из этого факта вытекает то, что организация, которая ими владеет и их накапливает, является организацией космополитической. Финансы в своем апогее, как самоцель, как финансовый Интернационал, отрицают и не признают ничего национального, не признают государства, а потому объективно он анархичен и был бы анархичен абсолютно, если бы он, отрицатель всякого национального государства, не был бы сам, по необходимости, государством по своей сущности. Государство как таковое - это только власть. А деньги - это исключительно власть.

Это — коммунистическое сверхгосударство, которое мы создаем вот уже в течение целого века и схемой которого является Интернационал Маркса. Проанализируйте - и вы разглядите его сущность. Схема - Интернационал и его прототип СССР - это тоже чистая власть. Подобие по существу между обоими творениями - абсолютно. Нечто фатальное, неизбежное, ибо персональность их авторов была идентична: финансист настолько же интернационален, как и коммунист. Оба под разными предлогами и при помощи различных средств борются с национальным буржуазным государством и его отрицают. Марксизм - для того, чтобы преобразовать его в коммунистическое государство, отсюда вытекает, что марксист должен быть интернационалистом, финансист отрицает буржуазное национальное государство, и его отрицание заканчивается само в себе, собственно говоря, он не проявляет себя интернационалистом, но космополитическим анархистом... Это его видимость на данном этапе, но посмотрим, что он собой представляет и чем он хочет быть. Как вы видите, в отрицании имеется налицо индивидуальное подобие между комму-

нистами-интернационалистами и финансистами-космополитами, в качестве естественного результата такое же подобие имеется между коммунистическим Интернационалом и финансовым Интернационалом.

Г. — Случайное подобие, субъективное и объективное в противоречиях, но, стирающееся и малозначащее в самом радикальном и реально существующем.

Р. — Разрешите мне не отвечать сейчас, чтобы не прервалась логическая нить... Я хочу только расшифровать основную аксиому: деньги - это власть. Деньги - это сегодня центр всемирной тяжести... Надеюсь, что вы со мной согласны?

Г. — Продолжайте, Раковский, прошу вас.

Р. — Понимание того, как финансовый Интернационал постепенно, вплоть до теперешней эпохи, сделался хозяином денег, этого магического талисмана, ставшего для людей тем же, чем был для них Бог и нация, есть нечто, что превышает в научном интересе даже искусство революционной стратегии, ибо это тоже искусство и тоже революция. Я вам это истолкую. Историографы и массы, ослепленные воплями и помпой Французской революции, народ, опьяненный тем, что ему удалось отнять у короля - у привилегированного - всю его власть, не заметили, как горсточка таинственных осторожных и незначительных людей овладела настоящей королевской властью, властью магической, почти что божественной, которой она овладела, сама этого не зная. Не заметили массы, что эту власть присвоили себе другие и что они вскоре подвергли их рабству более жестокому, чем король, ибо тот в силу своих религиозных и моральных предрассудков, был неспособен воспользоваться подобной властью. Таким образом получилось, что высшей королевской властью овладели люди, моральные, интеллектуальные и космополитические качества которых позволили им ею воспользоваться. Ясно, что это были люди, которые от рождения не были христианами, но зато космополитами.

Г. — Что же это за мифическая власть, которой они овладели?

Р. — Они присвоили себе реальную привилегию чеканить деньги... Не улыбайтесь, иначе мне придется поверить в то, что вы не знаете, что такое деньги. Я вас прошу представить

себя на моем месте. Мое положение перед вами равносильно положению товарища доктора, которому пришлось бы разъяснить бактериологию воскресшему медику из эпохи до Пастера. Но я могу объяснить себе ваше неведение и могу вам простить его. Наш язык употребляет слова, которые вызывают неправильные мысли о вещах и поступках благодаря силе умственной инерции, и не соответствует реальным, и точным понятиям. Я сказал: деньги, ясно, что в вашем воображении моментально изобразились очертания реальных денег из металла и бумаги. Но это не так. Деньги - это теперь уже не то, реальная циркулирующая монета - это настоящий анахронизм. Если она еще существует и циркулирует, то только в силу атавизма, только потому, что удобно поддерживать иллюзию, чисто воображаемую фикцию на сегодняшний день.

Г. — Это блестящий парадокс, рискованный и даже поэтический...

Р. — Если угодно, может быть это и блестяще, но это - не парадокс. Я знаю уж - и вы поэтому улыбнулись, - что в государствах еще чеканят на кусках металла или на бумаге королевские бюсты или национальные гербы, ну и что же? Большое количество циркулирующих денег - деньги для крупных сделок, как представительство всех национальных богатств, деньги, да, деньги - их начали выпускать те немногочисленные люди, на которых я намекал. Титулы, буквы, чеки, долговые обязательства, индоссо, учеты, котировка, цифры, без конца цифры, неудержимым водопадом наводнили государства. Что же представляют собой наряду с ними металлические и бумажные деньги? Нечто, не имеющее влияния, какой-то минимум перед лицом нарастающего прилива все наводняющей финансовой монеты. Они, тончайшие психологи, безнаказанно добились еще большего благодаря общему невежеству. Кроме колоссально пестрого разнообразия финансовых денег, они создали деньги-кредит, с целью сделать их объем бесконечным. И придать им быстроту мысли... Это - абстракция, существо разума, цифра, число, кредит, вера...

Понимаете ли вы уже? Мошенничество, фальшивые деньги, снабженные легальным курсом... выражаясь другими терминами, чтобы вы меня поняли. Банки, биржи и вся мировая финансовая система - это гигантская машина для того, чтобы совершать противонатуральные безобразия, по выражению

Аристотеля, заставлять деньги производить деньги - это нечто такое, что, если оно является преступлением в экономике, то по отношению к финансам это преступление против уголовного кодекса, ибо оно является ростовщичеством. Я уж не знаю, каким аргументом все это оправдывается: может, тем, что они получают легальные проценты? Даже признавши это, а этого признания и так уж слишком достаточно, мы видим, что ростовщичество все равно существует, ибо если даже полученные проценты и легальны, то они измышляют и фальсифицируют несуществующий капитал. Банки всегда имеют в качестве вкладов или денег в продуктивном движении какое-то количество денег в пять или даже, может быть, в сто раз больше, чем имеется физически выпущенных денег. Я не буду говорить о тех случаях, когда деньги - кредит, т.е. деньги фальшивые, сфабрикованные, превосходят количество денег, выплаченных как капитал. Имея в виду, что законные проценты устанавливаются не на реальный капитал, а на несуществующий капитал, проценты оказываются незаконными во столько раз, во сколько фиктивный капитал выше реального.

Имейте в виду, что эта система, которую я детализирую, является одной из самых невинных среди употребляемых для фабрикаций фальшивых денег. Вообразите себе, если сможете, небольшое количество людей, обладающих бесконечной властью в обладании реальными богатствами, и вы увидите, что они являются абсолютными диктаторами биржи, а вследствие этого и диктаторами производства и распределения и также работы и потребления. Если у вас хватит воображения, то возведите все это в мировую степень, и вы увидите его анархическое, моральное и социальное воздействие, т.е. революционное... Теперь вы понимаете?

Г. — Нет, пока что еще нет.

Р. — Ясно, очень трудно постигать чудеса.

Г. — Чудо?

Р. — Да, чудо. Разве это не чудо, что деревянная скамья превратилась в храм? А ведь такое чудо люди видели тысячу раз, не моргнув глазом, в течение целого века. Ибо это было необычайным чудом, то, что скамьи, на которых усаживались засаленные ростовщики для торговли своими деньгами, сейчас превратились в храмы, величающиеся на каждом углу современных больших городов своими языческими колоннадами, и

туда идут толпы людей с верой, которую им уже не внушают небесные божества, для того, чтобы принести усердно вклады всех своих богатств божееству денег, каковое, как они думают, обитает внутри железных несгораемых касс банкиров, предназначенных в силу своей божественной миссии увеличивать богатства до метафизической бесконечности.

Г. — Это новая религия гнилой буржуазии?

Р. — Религия, да, религия могущества.

Г. — Вы оказываетесь поэтом экономики.

Р. — Если угодно, то для того, чтобы дать понятие о финансах как о производстве искусства, наиболее гениальном и наиболее революционном во все времена, необходима поэзия.

Г. — Это ошибочный взгляд. Финансы, как определяет их Маркс, а главным образом Энгельс, определяются системой капиталистического производства.

Р. — Точно, только как раз наоборот: капиталистическая система производства определяется финансами. То, что Энгельс говорит обратное и даже делает попытки доказать это, является самым очевидным доказательством того, что финансы господствуют над буржуазным производством. Так оно есть и так было еще до Маркса и Энгельса, что финансы были самой мощной машиной революции, а Коминтерн при них был не более, чем игрушкой. Но ни Маркс, ни Энгельс не станут раскрывать или разъяснять этого. Наоборот, используя свой талант ученых, они должны были вторично закамуфлировать правду для пользы революции. Это они оба и проделали.

Г. — Эта история - не новая, мне все это несколько напоминает то, что лет десять тому назад написал Троцкий.

Р. — Скажите мне...

Г. — Когда он заявляет, что Коминтерн - это консервативная организация по сравнению с Биржей в Нью-Йорке, он указывает на крупных банкиров как на изобретателей революции.

Р. — Да, он сказал это в маленькой книжке, в которой он предсказал падение Англии... Да, он сказал это и добавил: "Кто толкает Англию на путь революции?"... и ответил: "Не Москва, а Нью-Йорк."

Г. — Но припомните также его утверждение, что если финансисты Нью-Йорка и ковали революцию, то это делалось бессознательно.

Р. — То объяснение, которое я уже дал для того, чтобы понять, почему закамouflировали правду Энгельс и Маркс, одинаково действительно и для Льва Троцкого.

Г. — Я ценю у Троцкого только то, что он в своего рода литературной форме интерпретировал взгляд на факт, сам по себе слишком известный... с которым считались уже раньше. Ибо, как правильно говорит сам Троцкий, эти банкиры "выполняют с непреодолимостью и бессознательно свою революционную миссию".

Р. — И они выполняют свою миссию, несмотря на то, что Троцкий заявляет об этом? Что за странная вещь! Почему же они не выправляются?

Г. — Финансисты - бессознательные революционеры, ибо они таковы только объективно... в силу своей умственной неспособности видеть окончательные результаты.

Р. — Вы искренне верите этому? Вы думаете, что среди этих настоящих гениев есть кое-кто бессознательный? Вы считаете идиотами людей, которым на сегодняшний день подчиняется целый мир? Это-то уж действительно было бы глупейшим противоречием!

Г. — На это вы претендуете?

Р. — Я просто утверждаю, что они революционеры объективно и субъективно, вполне сознательные.

Г. — Банкиры! Вы сошли сума?

Р. — Я - нет. А вы? Поразмыслите. Эти люди такие же, как вы и я. То, что они владеют деньгами в неограниченном количестве, поскольку они сами их создали, не дает нам возможности определить предел всех их амбиций... Если человеку доставляет что-либо полное удовлетворение, то это удовлетворение его честолюбия. И больше всего - удовлетворение властолюбия. Почему бы им - этим людям-банкарам - не обладать импульсом к господству... к полному господству? Так же, точно так же, как это происходит у вас и у меня.

Г. — Но если, по-вашему, - так же думаю и я - они уже обладают всемирной политической властью, то какой же еще другой хотят они обладать?

Р. — Я вам уже сказал: полной властью. Властью, как у Сталина в СССР, но всемирной.

Г. — Такой властью, как Сталин, но с противоположной целью?

Р. — Власть, если в реальности она абсолютна, может быть только одна. Идея абсолютного исключает множественность. Поэтому власть, к которой стремится Коминтерн и "Коминтерн", являющиеся вещами одного и того же порядка, будучи абсолютной, в политике тоже должна быть единственной и идентичной. Абсолютная власть имеет цель в самой себе, или иначе она не абсолютна. И до сегодняшнего дня еще не изобретена другая машина полновластия, кроме Коммунистического государства. Капиталистическая буржуазная власть, даже на самой высшей своей ступени, власть кесаря, есть власть ограниченная, ибо если в теории она была воплощением божества в фараонах и цезарях в древние времена, то все-таки благодаря экономическому характеру жизни в тех примитивных государствах и при технической отсталости их государственного аппарата, всегда оставалось поле для индивидуальной свободы. Понимаете ли вы, что те, которые уже частично господствуют над нациями и земными правительствами, претендуют на абсолютное господство? Поймите, что это то единственное, чего они еще не достигли...

Г. — Это интересно, по крайней мере, как пример сумасшествия.

Р. — Разумеется, сумасшествия в меньшей степени, чем у Ленина, мечтавшего господствовать над целым миром на своей мансарде в Швейцарии, или сумасшествия Сталина, мечтавшего о том же во время своей ссылки в сибирской избе. Мне кажется, что мечты о подобной амбиции гораздо более натуральны для денежных господ, живущих в небоскребах Нью-Йорка.

Г. — Давайте закончим: кто они такие?"

Р. — Вы так наивны, что думаете, что если бы я знал, кто "Они" такие, так я сидел бы здесь пленником?

Г. — Почему?

Р. — По очень простой причине, ибо того, кто знаком с ними, не поставили бы в такое положение, когда он был бы обязан сделать на них донос... Это элементарное правило всякой умной конспирации, что вы должны понимать прекрасно.

Г. — Вы ведь сказали, что это банкиры?

Р. — Я - нет, припомните, что я всегда говорил о финансовом Интернационале, а персонализируя, всегда говорил "Они" и больше ничего. Если вы желаете, чтобы я откровенно

вас информировал, то я только сообщу факты, а не имена, ибо я их не знаю. Думаю, что я не ошибусь, если скажу вам, что ни один из "Них" не является человеком, занимающим политическую должность или должность в мировом Банке. Как я понял, после убийства Ратенау в Раппале они раздают политические и финансовые должности только людям-посредникам. Ясно, что людям, заслуживающим доверия и верным, что гарантируется на тысячу ладов, таким образом, можно утверждать, что банкиры и политики - это только "соломенные чучела"... хотя они и занимают очень высокие посты и фигурируют как авторы выполненных планов.

Г. — Хотя все это понятно и одновременно логично, но не является ли обоснованное вами неведение только вашей уверткой? Как мне кажется, и по имеющимся у меня сведениям, вы занимали достаточно высокое положение в этой конспирации, чтобы не знать гораздо больше... Вы даже не знаете персонально ни одного из них?

Р. — Да, но, разумеется, вы мне не верите. Я дошел до того момента, где объяснил, что речь идет о человеке или о людях с персональностью... как бы это сказать? Мистической, как Ганди или что-нибудь в этом роде, но без внешнего показа. Мистики чистой власти, освободившиеся от всяких пошлых случайностей... Не знаю, понимаете ли вы меня? Ну вот, что касается их резиденций и имен, то я этого не знаю... Представьте себе сейчас Сталина, реально господствующего в СССР, не окруженного каменными стенами, не имеющего охраняющего его персонала и имеющего для своей жизни такие же гарантии, как и другой любой гражданин. Какими средствами мог бы он избавиться от покушений? Он прежде всего конспиратор, как ни велика его власть: он аноним.

Г. — То, что вы говорите, логично, но я вам не верю.

Р. — Но все-таки поверьте мне, я ничего не знаю, если бы я знал, то как счастлив бы я был! Я не находился бы здесь, защищая свою жизнь. Я великолепно понимаю ваши сомнения и то, что в силу вашего полицейского призвания вы чувствуете необходимость узнать кое-что о личностях. В честь вас, а также потому, что это необходимо для той цели, которую мы оба себе поставили, я сделаю все возможное, чтобы вас ориентировать. Знаете, что по неписаной, но известной только нам истории, основателем первого Коммунистического Интернацио-

нала указывается, конечно, секретно, Вейсгаупт. Вы припоминаете его имя? Он был главой того масонства, которое известно под именем иллюминатов, это имя он позаимствовал из второй антихристианской коммунистической конспирации той эры — гностицизма. Этот крупный революционер, семит и бывший иезуит, предвидя триумф Французской революции, решил, а может быть, это было ему приказано (некоторые указывают, как на его начальника, на крупного философа Мендельсона) основать секретную организацию, которая спровоцировала бы и подтолкнула Французскую революцию пойти дальше ее политических объективов, с целью превратить ее в революцию социальную для установления коммунизма. В те героические времена было колоссально опасно упоминать о коммунизме как о цели, отсюда и происходят всякие предосторожности и тайны, которые должны были окружать иллюминатов. Еще не хватило сотни лет для того, чтобы можно было человеку признаться в том, что он коммунист, без опасности попасть в тюрьму или быть покаранным смертью. Это — более или менее известно. То же, что неизвестно — это сношения Вейсгаупта и его приверженцев с первым из Ротшильдов. Тайна получения богатств самых известных банкиров могла бы быть разъяснена тем, что они были казначеями этого первого Коминтерна. Есть указания на то, что когда 5 братьев распределились по 5-ти провинциям финансовой империи Европы, то они имели какую-то тайную помощь для составления этих баснословных богатств, возможно, что это были те первые коммунисты из Баварских катакомб, которые были уже рассеяны по всей Европе. Но другие говорят — и я думаю, что с большим основанием, — что Ротшильды были не казначеями, а начальниками того первоначального тайного коммунизма. Это мнение опирается на тот известный факт, что Маркс и самые высокие начальники 1-го Интернационала — уже явного — и в том числе Герцен и Гейне, подчинялись барону Лионелю Ротшильду, революционный портрет которого был сделан Дизраэли, английским премьером, являвшимся его же креатурой, и оставлен нам в наследство, он обрисовал его в лице Сидонии, человека, который, согласно повествованию, будучи мультимиллионером, знал и распоряжался шпионами, карбонариями, масонами, тайными евреями, цыганами, революционерами и т.д. и т.п... Все это кажется фантастичным.

Но доказано, что Сидония является идеализированным портретом сына Натана Ротшильда, что также явствует из той кампании, которую он поднял против царя Николая в пользу Герцена. Кампанию ту он выиграл. Если все то, о чем мы можем догадываться в свете этих фактов, реально, то, как я думаю, мы могли бы даже установить личность того, кто изобрел эту ужасную машину аккумуляции и анархии, каковой является финансовый Интернационал. Одновременно, как я думаю, он был тем же лицом, которое создало и революционный Интернационал. Нечто гениальное: создать при помощи капитализма аккумуляцию в самой высокой степени, толкнуть пролетариат на забастовки, посеять безнадежность и одновременно создать организацию, которая должна объединить пролетариев с целью ввергнуть их в революцию. Это должно составить самую величественную главу истории. Даже еще больше: вспомните фразу матери пяти братьев Ротшильдов: "Если мои сыновья захотят, то войны не будет". Это означает, что они были арбитрами, господами мира и войны, а не императоры. Способны ли вы представить себе факт подобной космической значимости? И не является ли уже война революционной функцией? Война - Коммуна. С тех пор каждая война была гигантским шагом к коммунизму. Как будто бы какая-то таинственная сила удовлетворила страстное желание Ленина, которое он высказал Горькому. Припомните: 1905-1914. Признайте же по крайней мере, что два из трех рычагов власти ведущих к коммунизму, не управляются и не могут быть управляемы пролетариатом. Войны не были вызваны и не были управляемы ни 3-м Интернационалом, ни СССР, которые тогда еще не существовали. Также не могут спровоцировать их, а тем более еще и руководить, те маленькие группы большевиков, которые прозябают в эмиграции, хотя они и жаждут этого. Это совершенно явная очевидность. Еще меньшими возможностями, чем чудовищное накопление капитала и создание национальной или интернациональной анархии в капиталистическом производстве, обладали и обладают Интернационал и СССР. Такой анархии, которая способна заставить сжечь огромные количества продуктов питания, прежде чем раздать их голодающим людям, и способна на то, что Ратенау высказал одной своей фразой, т.е.: "Сделать так, чтобы полмира занялось фабрикацией г...а, а другая половина мира

стала бы его потреблять". И, в конце концов, разве может пролетариат поверить тому, что это он является причиной этой инфляции, вырастающей в геометрической прогрессии, этап девальвации, постоянного присвоения прибавочной стоимости и накопления финансового капитала, а не капитала ростовщического, и что по причине того, что он не может справиться с постоянным снижением своей покупательной способности, происходит пролетаризация среднего класса, который является действительным противником революции. Не пролетариат управляет рычагом экономики или рычагом войны. Но он сам является 3-им рычагом, единственным видимым и показным рычагом, наносящим окончательный удар могуществу капиталистического государства и захватывающим его... Да, они захватывают его, если "Они" его ему сдают...

Г. — Я опять повторяю вам, что все это, изложенное вами в такой литературной форме, имеет название, которое мы уже повторяли до пресыщения в этом нескончаемом разговоре: естественные противоречия капитализма, и если, как вы на это претендуете, имеется еще чья-то воля и деятельность помимо пролетариата, то я желаю, чтобы вы указали мне конкретно на личный случай.

Р. — Вам достаточно только одного? Ну, так выслушайте небольшую историю: "Они" изолировали дипломатически царя для русско-японской войны, и Соединенные Штаты финансировали Японию, говоря точно, это сделал Яков Шифф, глава банка Кун, Леб и К°, являющегося наследником дома Ротшильдов, откуда и происходил Шифф. Он имел такую власть, что добился того, что государства, имеющие колониальные владения в Азии, поддержали создание Японской Империи, склонной к ксенофобии, и эту ксенофобию Европа уже чувствует на себе. Из лагерей пленных прибыли в Петроград лучшие борцы, натренированные как революционные агенты, они были туда посланы из Америки с разрешения Японии, полученного через лиц, ее финансировавших. Русско-японская война, благодаря организованному поражению Царской Армии, вызвала революцию 1905 года, которая хотя и была еще преждевременной, но чуть-чуть не завершилась триумфом, если она и не победила, то создала необходимые политические условия для победы в 1917 году. Скажу еще больше. Читали ли вы биографию Троцкого? Припомните ее первый революционный период. Он

еще совсем молодой человек, после своего бегства из Сибири он жил некоторое время среди эмигрантов в Лондоне, Париже и Швейцарии, Ленин, Плеханов, Мартов и прочие главари смотрят на него только как на обещающего новообращенного. Но он уже осмеливается во время первого раскола держаться независимо, пытаясь стать арбитром объединения. В 1905 году ему исполняется 25 лет и он возвращается в Россию один, без партии и без собственной организации. Прочитайте отчеты о революции 1905 года, не "прочищенные" Сталиным, например, Луначарского, который не был троцкистом, Троцкий является первой фигурой во время революции в Петрограде. Это действительно так и было. Только он один выходит из нее, обретя влияние и популярность. Ни Ленин, ни Мартов, ни Плеханов не завоевывают популярности. Они только сохраняют ее или даже несколько утрачивают. Как и почему возвышается неведомый Троцкий, одним взмахом приобретающий власть более высокую, чем та, которую имели самые старые и влиятельные революционеры? Очень просто: он женится. Вместе с ним прибывает в Россию его жена - Седова. Знаете вы, кто она такая? Она дочь Животовского, объединенного с банкирами Варбургами, компаньонами и родственниками Якова Шиффа, т.е. той финансовой группы, которая, как я говорил, финансировала также революцию 1905 года. Здесь причина, почему Троцкий одним махом становится во главе революционного списка. И тут же вы имеете ключ к его настоящей личности. Сделаем скачок к 1914 году. За спиной людей, покушавшихся на эрцгерцога, стоит Троцкий, а это покушение вызвало европейскую войну. Верите ли вы действительно тому, что покушение и война - это просто только случайности... как это сказал на одном сионистском конгрессе Лорд Мельчет. Проанализируйте в свете "неслучайного" развитие боевых действий в России. "Пораженчество" - это образцовое дело. Помощь союзников царю была урегулирована и дозифицирована с таким искусством, что дала право союзным посланникам выставить это как аргумент и добиться от Николая, благодаря его глупости, самоубийственных наступлений - одного вслед за другим. Масса русского пушечного мяса была колоссальна, но не неисчерпаема. Организованный ряд поражений привел за собой революцию. Когда угроза нависла со всех сторон, то нашлось средство в виде установления демо-

кратической республики - "Посольской республики", как называл ее Ленин, т.е. это означало обеспечение безнаказанности для революционеров. Но это еще не все. Керенский должен спровоцировать будущее кровопролитное наступление. Он реализует его с той целью, чтобы демократическая революция вышла из берегов. И даже еще больше: Керенский должен сдать целиком государство коммунизму, и он это и завершает. Троцкий имеет возможность "неприметным образом" оккупировать весь государственный аппарат. Что за странная слепота? Вот это-то и есть реальность в столь воспеваемой Октябрьской Революции. Большевики взяли то, что "Они" им вручили.

Г. — Вы осмеливаетесь говорить, что Керенский был сообщником Ленина?

Р. — Ленина - нет. Троцкого - да, правильнее сказать - сообщником "Их"

Г. — Абсурд!

Р. — Вы не можете понять... именно вы? Меня это удивляет. Если бы вы, будучи шпионом и скрывая свою персональность, добились того, что стали бы начальником вражеской крепости... то разве вы не открыли бы ворота тем атакующим силам, которым вы по-настоящему служили? Не сделали бы вы пленником, потерпевшим поражение? Разве вы не подвергались бы опасности смерти во время наступления на крепость, если какой-либо осаждающий, не зная о том, что ваша форма является только маскировкой, принял бы вас за врага? Поверьте мне: несмотря на статуи и мавзолеи, коммунизм обязан Керенскому гораздо больше, чем Ленину.

Г. — Вы хотите сказать, что Керенский был сознательным и добровольным пораженцем?

Р. — Да, для меня это очевидно. Поймите, что я во всем этом лично принимал участие. Но я вам скажу еще больше. Знаете ли вы, кто финансировал Октябрьскую Революцию? Ее финансировали "Они", в частности через тех же самых банкиров, которые финансировали Японию и революцию в 1905 году, а именно через Якова Шиффа и братьев Варбургов, это значит, через великое банковское созвездие, через один из пяти банков - членов Федерального Резерва - через банк Кун, Леб и К°, здесь же принимали участие и другие американские и европейские банкиры, как Гугенхайн, Хенеауер, Брайтунг, Ашберг, "Nya Banken", это из Стокгольма. Я "случайно" там

был... там, в Стокгольме, и принимал участие в перемещении фондов. Пока не прибыл Троцкий, я был единственным человеком, который выступал посредником с революционной стороны. Но наконец прибыл Троцкий, я должен подчеркнуть, что союзники изгнали его из Франции за то, что он был пораженцем. И те же самые союзники освободили его для того, чтобы он был пораженцем в союзной России... "Другая случайность". Кто же добился этого? Те самые, которые добились, чтобы Ленин проехал через Германию, Да, "Им" удалось перетащить Троцкого-пораженца из Канадского лагеря в Англию и доставить его в Россию, дав ему возможность свободно пройти через все контроли союзников, другие из "Них" - некто Ратенау - добиваются проезда Ленина через враждебную Германию. Если вы возьметесь изучать историю революции и гражданской войны без предубеждений и пустите в ход все свои исследовательские способности, которые вы умеете применять к вещам менее важным и менее очевидным, то, изучая сведения в их совокупности, а также изучая отдельные детали вплоть до анекдотичных явлений, вы встретитесь с целым рядом "паразитических случайностей".

Г. — Хорошо, примем за гипотезу, что не все было просто удачей. Какой вывод делаете вы здесь для практических результатов?

Р. — Дайте мне закончить эту маленькую историю, а затем мы вместе сделаем выводы... Со времени своего прибытия в Петроград Троцкий был открыто принят Лениным. Как вы знаете достаточно хорошо, за время в промежутке между двумя революциями, между ними имелись глубокие разногласия. Все забывается, и Троцкий оказывается мастером своего дела в деле триумфа революции, хочет этого Сталин или не хочет. Почему? Этот секрет известен жене Ленина - Крупской. Ей известно, кто такой Троцкий в действительности, это она уговаривает Ленина принять Троцкого. Если бы он его не принял, то Ленин остался бы заблокированным в Швейцарии, это одно было уже для него серьезной причиной, и кроме того, он знал о том, что Троцкий доставлял деньги и способствовал получению колоссальной интернациональной помощи, доказательством этого служил запломбированный вагон. Затем делом Троцкого, а не результатом железной непоколебимости Ленина, было также и дело объединения вокруг незначительной партии

большевиков всего левого революционного крыла, социал-революционеров и анархистов. Не напрасно настоящей партией "беспартийного" Троцкого был древний "Бунд" еврейских пролетариев, из которого родились все московские революционные ветви и которым он дал на девяносто процентов своих руководителей, не официальный и общеизвестный Бунд, а Бунд секретный, вкрапленный во все социалистические партии, вожди каковых почти что все находились под их руководством.

Г. — И Керенский тоже?

Р. — Керенский тоже... и еще некоторые вожди не социалисты, вожди политических буржуазных фракций.

Г. — Как так?

Р. — Вы забываете о роли масонства в первой фазе демократически-буржуазной революции?

Г. — Она тоже подчинялась Бунду?

Р. — Разумеется, в качестве ближайшей ступеньки, но фактически подчинялась "Им".

Г. — Несмотря на вздымающийся прилив марксизма, который угрожал также их жизни и привилегиям?

Р. — Несмотря на все это, понятно, что они не видели такой опасности. Имейте в виду, что каждый масон видел и думал увидеть в своем воображении больше, чем было в реальности, потому что он воображал себе то, что ему было выгодно. Доказательством политического могущества их ассоциации для них являлось то, что масоны находились в правительствах и во главе буржуазных государств, причем количество их все время увеличивалось. Имейте в виду, что в те времена все правители союзных наций были масонами за очень малыми исключениями... Это был для них аргумент большой силы. Они верили целиком в то, что революция задержится на буржуазной республике французского типа.

Г. — Согласно тем картинам, которые мне рисовали о России в 1917 году, нужно было бы быть очень наивным человеком, чтобы верить всему этому...

Р. — Они такими были и есть. Масоны не научились ничему из того первого урока, каким была для них Великая Революция, в которой они играли колоссальную революционную роль, она пожрала большинство масонов, начиная со своего Великого Мастера Орлеанской ложи, правильней сказать, ма-

сона Людовика 16-го, чтобы затем продолжать уничтожать жирондистов, гебертистов, якобинцев и т.д, и если кто-либо выжил, то это получилось в результате месяца Брюмера.

Г. — Не хотите ли вы сказать, что масоны принуждены умирать от руки революции, вызванной при их же содействии?

Р. — Совершенно точно. Вы сформулировали истину, облаченную большой тайной. Я масон, вы уже знали об этом. Не так ли? Ну так вот я расскажу вам, что это за такой большой секрет, который обещают раскрыть масону на одной из высших степеней... но который ему не раскрывается ни на 25-й, ни на 33-й, ни на 93-й и ни на какой самой высокой степени любого ритуала... Ясно, что я знаю об этом не как масон, а как принадлежащий к "Ним".

Г. — И каков он?

Р. — Каждая масонская организация стремится добиться и создать все необходимые предпосылки для триумфа коммунистической революции, это - очевидная цель масонства, ясно, что все это делается под различными предложениями, но они всегда прикрываются своей известной трилеммой. Понимаете? А так как коммунистическая революция имеет в виду ликвидацию, как класса, всей буржуазии, физическое уничтожение всех буржуазных политических правителей, то настоящий секрет масонства - это самоубийство масонства как организации, и физическое самоубийство каждого более-менее значительного масона... Вы, конечно, можете понять, что подобный конец, подготовляемый масону, вполне заслуживает тайны, декоративности и включения еще целого ряда других секретов, с целью скрыть настоящий... Если когда-нибудь вам случится присутствовать при какой-нибудь будущей революции, то не упустите случая понаблюдать жесты удивления и отражение глупости на лице какого-нибудь масона в момент, когда он убеждается в том, что должен умереть от руки революционеров... Как он кричит и хочет, чтобы оценили его заслуги перед революцией! Это зрелище, при виде которого тоже можно умереть, но от смеха.

Г. — И вы еще отрицаете врожденную глупость буржуазии?

Р. — Я отрицаю ее у буржуазии как у класса, но не в определенных секторах. Наличие сумасшедших домов не обозна-

чает еще всеобщего сумасшествия. Масонство - это тоже сумасшедший дом, только на свободе... Но я продолжаю дальше: революция победила, завершился захват власти. Встает первая проблема: мир, а с ним и первые разногласия внутри партии, в каковой участвуют силы коалиции, пользующиеся властью... Я не буду излагать вам того, что слишком хорошо известно, насчет борьбы, развернувшейся в Москве между приверженцами и противниками Брестского мира, Я только укажу вам на то, что уже здесь определилось и выявилось то, что потом было названо троцкистской оппозицией, т.е. это люди, часть которых в данный момент уже ликвидирована, а другая часть должна быть ликвидирована, все они были против подписания мирного договора. Этот мир был ошибкой и бессознательной изменой Ленина Интернациональной Революции. Представьте себе большевиков, заседающих в Версале на Мирной Конференции, а затем в Лиге Наций, очутившимися внутри Германии с Красной Армией, вооруженной и увеличенной союзниками. Советское государство должно было включиться с оружием в руках в немецкую революцию... Совершенно другой получилась бы тогда европейская карта. Но Ленин, опьяненный властью, при содействии Сталина, который тоже уже попробовал сладость власти, поддерживаемые национальным русским крылом партии, располагая материальной силой, навязали свою волю. Тогда вот и родился "социализм в одной стране", т.е. национал-коммунизм, достигший на сегодняшний день своего апогея при Сталине. Само собой разумеется, что происходила борьба, но только в такой форме и в таких размерах, чтобы коммунистическое государство не было разгромлено, условие это было обязательным для оппозиции на все время ее последующей борьбы вплоть до сегодняшнего дня. Это и была причина нашей первой неудачи и всех тех, которые за ней последовали. Но борьба была жестокая, хотя и скрытая с той целью, чтобы не скомпрометировать наше участие во власти. Троцкий организовал при помощи своих связей покушение Каплан на Ленина. По его приказу Блюмкин убил посла Мирбаха. Государственный переворот, подготовившийся Спиридоновой с ее социал-революционерами, был согласован с Троцким. Его человеком для всех этих дел, стоявшим вне подозрения, был тот Розенблюм, литовский еврей, который пользовался именем О'Рейли и был известен, как

лучший шпион при Британской Интеллидженс. На самом деле это был человек от "Них". Причиной того, что был избран этот знаменитый Розенблум, известный только как английский шпион, было то, что в случае провала ответственность за покушения и заговоры падала бы не на Троцкого и не на нас, а на Англию. Так оно и случилось. Благодаря гражданской войне мы отказались от конспиративных и террористических методов, ибо нам предоставлялась возможность держать в наших руках реальные силы государства, поскольку Троцкий сделался организатором и начальником советской армии, до этого армия беспрерывно отступала перед белыми и территория СССР уменьшалась до размеров прежнего Московского княжества. Но тут, как по мановению волшебной палочки, она начинает побеждать. Как вы думаете, почему? Посредством магии или по случайности? Я вам скажу, когда Троцкий взял на себя высшее командование Красной Армией, то он, таким образом, уже имел в своих руках силы, необходимые для захвата власти. Ряд побед должен был увеличить его престиж и силы: белых уже можно было разгромить. Считаете ли вы правдивой ту официальную историю, каковая приписывает разоруженной и недисциплинированной Красной Армии тот факт, что при ее содействии был достигнут ряд советских побед?

Г. — А кому же тогда?

Р. — На девяносто процентов они обязаны этим "Им". Вы не должны забывать, что белые были по-своему демократичны. С ними были меньшевики и остатки всех старых либеральных партий. Внутри этих сил "Они" всегда имели на службе много людей сознательных и несознательных. Когда Троцкий начал командовать, то эти люди получали приказ начать систематически изменять белым и одновременно им было дано обещание на участие - в более или менее скором времени - в советском правительстве. Майский был одним из таких людей, одним из немногих, для кого это обещание было выполнено, но он смог добиться этого только после того, как Сталин убедился в его лояльности. Этот саботаж в соединении с прогрессивным уменьшением помощи союзниками белым генералам, которые, помимо всего этого, были несчастными идиотами, заставил их терпеть поражение за поражением... Наконец Вильсон ввел в свои знаменитые 14 пунктов пункт № 6, наличие которого было достаточно для того, чтобы раз навсегда прекратить попыт-

ки белых воевать с СССР. Гражданская война укрепляет позиции Троцкого для перехвата власти у Ленина. Так оно и было, вне сомнения. Старому революционеру можно было уже умереть, будучи прославленным. Если он остался в живых после Каплан, то он не вышел живым после тайного процесса для насильственного прекращения его жизни, которому он был подвергнут.

Г. — Троцкий сократил его жизнь? Это большой гвоздь для вашего процесса! Не Левин ли лечил Ленина?,

Р. — Троцкий? Пожалуй, он не принимал участия, но вполне точно то, что он об этом знал. Ну, а что касается технической реализации... это несущественно, кто это знает? "Они" располагают достаточным количеством каналов для того, чтобы пробраться туда, куда они хотят.

Г. — Во всяком случае убийство Ленина является делом первостепенной важности, и стоило бы перенести его для рассмотрения на следующий процесс... Как вам кажется, Раковский, если вы случайно окажетесь автором этого дела? Ясно, в случае, если вы потерпите неудачу в этом разговоре... Техническое выполнение очень подходит к вам, как медику...

Р. — Я вам не советую этого. Оставьте это дело в покое, оно достаточно опасно лично для самого Сталина. Вы сможете распространять свою пропаганду так, как вам это будет нравиться, но "Они" имеют свою пропаганду, более мощную, и вопрос о том, "кто выгадывает", заставит видеть в Сталине убийцу Ленина, и этот аргумент будет сильнее всех признаний, вырванных от Левина, от меня или еще от кого-нибудь.

Г. — Что вы хотите этим сказать?

Р. — То, что классическим и безошибочным правилом для выявления убийцы является проверка того факта, кому это убийство выгодно... а что касается убийства Ленина, то в этом случае оказался в выигрыше его шеф - Сталин. Подумайте насчет этого, и я очень прошу вас не делать этих введений, так как они меня отвлекают и не дают мне возможности закончить.

Г. — Хорошо, продолжайте, но вы уже знаете...

Р. — Общеизвестно, что если Троцкий не наследовал Ленину, то не потому, что по человеческим соображениям в плане чего-нибудь не хватало. Во время болезни Ленина у Троцкого в руках находились нити власти, более чем достаточные для

того, чтобы он мог наследовать Ленину. И даже были приняты меры для объявления смертного приговора Сталину, Троцкому-диктатору достаточно было бы иметь в руках письмо Ленина против его тогдашнего шефа Сталина, которое вырвала от своего супруга Крупская, чтобы ликвидировать Сталина, Но глупая случайность, как вы знаете, разрушила все наши планы. Троцкий случайно заболевает и в решительный момент, когда умирает Ленин, он делается неспособным к какой-либо деятельности на срок в несколько месяцев. Несмотря на наличие у него огромных преимуществ, препятствием явилась наша организация дела, т.е. персональная централизация. Ясно, что такая личность как Троцкий, подготовленная для миссии, каковую он должен был реализовать, не может быть создана вдруг, по импровизации. Никто из нас, ни даже Зиновьев, не обладали нужными подготовкой и способностями для этого дела, с другой стороны, Троцкий, опасаясь, чтобы его не смогли вытеснить, не желал сам никому способствовать. Таким образом, когда после смерти Ленина нам пришлось стать лицом к лицу со Сталиным, развившим лихорадочную деятельность, то мы уже тогда предвидели свое поражение в Центральном Комитете. Мы должны были импровизировать решение: таковым было решение объединиться со Сталиным, сделаться сталинистами больше, чем он сам, преувеличивать во всем, а следовательно - саботировать. Остальное вам уже известно: наша беспрерывная подпольная борьба и постоянный провал ее перед Сталиным, каковой выявляет гениальные полицейские способности, абсолютно не имеющие равных себе в прошлом. И даже больше: Сталин, обладая национальным атавизмом, который не был в нем искоренен его начальным марксизмом, по видимому, по этой причине подчеркивает свой панрусизм, а в связи с этим возрождает класс, с которым мы должны были покончить, а именно класс национал-коммунистов - в противовес коммунистам-интернационалистам, каковыми являемся мы. Он ставит Интернационал на службу СССР, и тот уже ему подчиняется. Если мы захотим найти историческую параллель, то нам придется указать на бонапартизм, а если захотим найти личность в типе Сталина, то мы не найдем для него исторической параллели. Но я, пожалуй, найду ее в основных чертах, соединив двоих: Фуше и Наполеона. Попробуем лишить этого последнего его второй половины, его аксессуаров, формы, во-

енного чина, короны и тому подобных вещей, которые, как кажется, не соблазняют Сталина, и тогда они вместе дадут нам тип, идентичный Сталину в самом главном: он душегуб революции, он не служит ей, но пользуется ее услугами, он отождествляет самый древний русский империализм, подобно тому как Наполеон отождествил себя с галлом, он создал аристократию, если не военную, поскольку не имеется налицо побед, то бюрократически-полицейскую.

Г. — Хватит уже, Раковский. Вы здесь находитесь не для того, чтобы заниматься троцкистской пропагандой. Дойдете ли вы, в конце концов, до чего-нибудь конкретного?

Р. — Ясно, что дойду, но не раньше чем достигну того, чтобы вы сформулировали бы себе некоторое, хотя бы поверхностное суждение о "Них", с которыми вам придется считаться на практике и в конкретной действительности. Не раньше. Мне гораздо важнее, чем вам, не потерпеть неудачи, что вы должны, конечно, понимать.

Г. — Ну так сократитесь, насколько это будет возможно.

Р. — Наши неудачи, которые обостряются из года в год, препятствуют немедленному выполнению того, что подготовили "Они" в послевоенный период для дальнейшего прыжка революции вперед. Версальский договор, весьма необъяснимый для политиков и экономистов всех народов, поскольку никто не мог отгадать его проекции, являлся самой решающей предпосылкой для революции.

Г. — Это очень любопытная теория. Как вы ее объясните?

Р. — Версальские репарации и экономические ограничения не определялись выгодами отдельных наций. Абсурдность их с арифметической стороны была настолько очевидна, что даже самые выдающиеся экономисты из победивших государств вскоре ее разоблачили. Только одна Франция требовала на репарации несравненно больше, чем стоили все ее национальные владения, больше, чем нужно было бы уплатить в случае, если бы вся Франция была превращена в Сахару, еще хуже было решение наложить на Германию платежи, во много раз большие, чем она могла уплатить, даже запродав себя саму целиком и отдав всю свою национальную продукцию. В конце концов, реальным результатом этого явилось то, что на практике заставили Германию проделать фантастический демпинг для того, чтобы она смогла заплатить что-нибудь в счет репа-

раций. А в чем же заключался демпинг? Недостаточность продуктов потребления, голод в Германии и в соответствующей же мере - безработица в импортирующих странах. А раз они не могли импортировать, то была безработица и в Германии. Голод и безработица на одной и другой стороне, все это первые последствия Версаля... Был ли революционным этот договор или нет? Было сделано еще больше: предприняли в интернациональном плане одинаковую регламентацию... Знаете ли вы, что представляет собой это мероприятие в революционном плане? Это значит навязать анархический абсурд, заставить любую национальную экономику производить в достаточном количестве свое собственное, полагая, что для достижения этого безразличен климат, натуральные источники богатств и также техническое образование директоров и рабочих. Средством для того, чтобы компенсировать прирожденное неравенство почв, климата, наличия минералов, нефти и т.д. и т.п. в разных народных хозяйствах, являлось всегда то, что бедные страны должны были больше работать, что значит - они должны были глубже эксплуатировать способности рабочей силы для того, чтобы сократить разницу, получившуюся в результате бедности почв, а к этому добавляется еще ряд других неравенств, каковые должны были компенсироваться подобными же мерами, возьмем для примера промышленное оборудование, Я не буду распространяться дальше, но регламентация рабочего дня, проведенная Союзом Объединенных Наций на основе абстрактного принципа равенства рабочего дня, являлась реальностью в рамках оставшейся без изменений международной капиталистической системы производства и обмена и установила экономическое неравенство, ибо тут было налицо пренебрежение целью труда, каковой является достаточное производство. Непосредственным результатом этого была недостаточность производства, компенсируемая импортом из стран с достаточным натуральным хозяйством и индустриальным самоснабжением, постольку поскольку в Европе имелось золото, импорт этот оплачивался золотом. Затем мнимое процветание в США, обменивавшими свою баснословную продукцию на золото и золото в билетах, каковые имелись в изобилии. Подобно любой анархии производства, создалась в тот период невиданная финансовая анархия. "Они" воспользовались ею под предлогом помощи ей при посредстве другой еще

большей анархии: инфляции официальной монеты и еще в сто раз большей инфляции своей собственной валюты, кредитных денег, т.е. фальшивых денег. Припомните, как последовательно получились девальвации во многих странах, обесценивание денег в Германии, американский кризис и его баснословное воздействие... - рекордная безработица, больше тридцати миллионов безработных только в Европе и в США. Так вот не послужил ли Версальский договор и его Лига Наций в качестве революционной предпосылки?

Г. — Это могло бы случиться и помимо желания. Не смогли бы вы доказать мне, почему революция и коммунизм отстают перед логическими выводами, и больше того: они противостоят фашизму, победившему в Испании и в Германии... Что вы мне скажете?

Р. — Скажу, что только в случае непризнания "Их" и их цепей вы бы были правы... но вы не должны забывать об их существовании и об их целях, а также того факта, что в СССР владеет властью Сталин.

Г. — Я не вижу тут связи...

Р. — Потому что не хотите: у вас есть больше, чем надо, индуктивных талантов и элементов суждения. Я еще раз повторяю: для нас Сталин не коммунист, а бонапартист.

Г. — Ну и что?

Р. — Мы не желаем, чтобы созданные нами в Версале крупные предпосылки для торжества коммунистической революции в мире, каковые, как вы видите, стали гигантской реальностью, послужили бы тому, чтобы дать восторжествовать сталинскому бонапартизму... Вам это достаточно ясно? Было бы все по-другому, если бы в этом случае диктатором в СССР был Троцкий, это означает, что главой интернационального коммунизма сделались бы "Они".

Г. — Но ведь фашизм целиком антикоммунистичен, как в отношении троцкистского, так и сталинского коммунизма... и если власть, которую вы приписываете "Им", так велика, то как же они не смогли избежать его?

Р. — Так как это именно "Они" дали Гитлеру возможность торжества.

Г. — Вы побиваете все границы абсурда.

Р. — Абсурдное и чудесное смешиваются в результате недостатка культуры. Выслушайте меня. Я уже признал пораже-

ние оппозиции, "Они", в конце концов, увидели, что Сталин не может быть низвергнут путем государственного переворота, и их исторический опыт продиктовал им решение "bis" (повторение): проделать со Сталиным то, что было сделано с царем.

Имелось тут одно затруднение, казавшееся нам непреодолимым. Во всей Европе не было государства-агрессора. Ни одно из них не было расположено удобно в географическом отношении и не обладало армией, достаточной для того, чтобы атаковать Россию. Если такой страны не было, то "Они" должны были создать ее. Только одна Германия располагала соответствующим населением и позициями, удобными для нападения на СССР и была способна нанести Сталину поражение, вы можете понять, что Веймарская Республика не была задумана как агрессор ни с политической, ни с экономической стороны, наоборот, она была удобна для вторжения. На горизонте голодной Германии заблистала скоротечная звезда Гитлера. Пара пронизательных глаз остановила на ней свое внимание. Мир явился свидетелем его молниеносного возвышения. Я не скажу, что все это было делом наших рук, нет. Его возвышение, беспрерывно нараставшее в размерах, произошло благодаря революционно-коммунистической экономике Версаля. Версаль имел в виду создать предпосылки не для торжества Гитлера, а для пролетаризации Германии, для безработицы и голода, в результате которых должна была бы восторжествовать там коммунистическая революция. Но, поскольку, благодаря наличию Сталина во главе СССР и Интернационала, таковая не удалась, то вследствие нежелания отдать Германию новому Бонапарту, в планах Дэвиса и Юнга эти предпосылки были частично смягчены в ожидании, пока в России восторжествует оппозиция. Но и этого не случилось, а наличие революционных предпосылок должно было дать свои результаты. Экономическая предопределенность Германии принудила бы пролетариат к революционным действиям. По вине Сталина пришлось задержаться социал-интернациональной революции, и германский пролетариат просился в национал-социалистическую революцию. Это было диалектично, но при наличии всех своих предпосылок и по здравому смыслу никогда не могла бы восторжествовать там революция национал-социалистическая. Это было еще не все. Нужно было, чтобы троцкисты и социалисты распределили бы

массы с уже пробудившимся и цельным классовым сознанием - согласно инструкциям. Этим делом уже занялись мы. Но было необходимо еще больше: в 1929 году, когда национал-социалистическая партия начинает переживать кризис роста и у нее не хватает финансовых ресурсов, "Они" посылают туда своего посла. Я знаю даже его имя, это был один из Варбургов. В прямых переговорах с Гитлером договариваются о финансировании национал-социалистической партии, и этот последний за пару лет получает миллионы долларов, пересланных ему с Уолл Стрита и миллионы марок от немецких финансистов через Шахта, содержание СА и СС, а также финансирование происходивших выборов, давших Гитлеру власть в руки, делается на доллары и марки, присланные "Ими".

Г. — Те, которые, по-вашему, стремятся к полному коммунизму, вооружают Гитлера, каковой клянется в том, что искоренит первый народ-коммунист. Это, если верить вам, нечто весьма логичное для финансистов.

Р. — Вы опять забываете о сталинском бонапартизме. Припомните, что против Наполеона, душителя французской революции, укравшего у нее силы, стояли объективные революционеры - Людовик 18-й, Веллингтон, Меттерних и вплоть до царя-самодержца. Это - по строгой сталинской доктрине в двадцать два карата. Вы должны знать на память его тезисы о колониях в отношении к империалистическим странам. Да, по нему эмир Афганистана и король Фарук объективно являются коммунистами в силу своей борьбы против ее Величества королевы Англии, почему же не может быть объективно коммунистом Гитлер, раз он борется с самодержавным царем "Кобой I"? В конце концов, в общем, вот перед вами Гитлер со своей нарастающей военной мощью, и уже сейчас расширяющий свой 3-й рейх, а в будущем еще больше... до такой степени, чтобы иметь достаточно сил и возможностей напасть и целиком разбить Сталина... Вы не наблюдаете разве всеобщего благодушия версальских волков, которые ограничиваются лишь слабым рычанием? Что это, еще одна случайность? Гитлер вторгнется в СССР, и подобно тому, как это было в 1917 году, когда поражение, которое потерпел в те времена царь, дало нам возможность его низвергнуть, поражения, нанесенные Сталину, послужат нам для его свержения... Опять пробьет час для мировой революции. Ибо демократические госу-

дарства, сейчас усыпленные, помогут реализовать всеобщую перемену в тот момент, когда Троцкий возьмет в руки власть, как во время гражданской войны. Гитлер будет атаковать с запада, его генералы восстанут и ликвидируют его... Ну так вот, был ли Гитлер объективно коммунистом? Да или нет?

Г. — Я не верю ни в басни, ни в чудеса...

Р. — Ну, если вы уже не хотите верить в то, что "Они" в состоянии реализовать то, что "Они" уже реализовали, приготовьтесь присутствовать при вторжении в СССР и ликвидации Сталина раньше, чем через год. Вы думаете, что это чудо или случайность, ну, так приготовьтесь к тому, чтобы присутствовать при этом и пережить это... Но неужели вы в состоянии отказаться поверить тому, о чем я говорил, хотя это, пока что только гипотеза? Вы начнете действовать в этом направлении только в тот момент, когда начнете видеть доказательства в свете моего разговора.

Г. — Хорошо, будем говорить в предположительной форме. Что вы скажете?

Р. — Вы сами обратили внимание на совпадение мнений, которое произошло у нас. Нас не интересует сейчас нападение на СССР, ибо падение Сталина предположило бы разгром коммунизма, существование которого интересует нас, несмотря на то, что он формальный, ибо это дает нам уверенность в том, что нам удастся овладеть им и затем превратить его в реальный коммунизм. Мне кажется, что я вполне точно сообщил положение на настоящий момент.

Г. — Великолепно, решение...

Р. — Прежде всего мы должны добиться того, чтобы не существовала потенциальная возможность нападения Гитлера.

Г. — Если, как вы подтверждаете, это "Они" сделали его фюрером, то у них есть над ним власть и он должен им подчиняться,

Р. — Благодаря тому, что я торопился и выразился не совсем правильно, вы меня не поняли хорошо. Если верно то, что "Они" финансировали Гитлера, то это не означает того, что они раскрыли ему свое существование и свои цели. Посланник Варбург представился ему под фальшивым именем, и Гитлер даже не догадывается о его расе, он также солгал насчет того, чьим он является представителем. Он сказал ему, что послан финансовыми кругами Уолл Стрита, заинтересованными в

финансировании национал-социалистического движения в целях создания угрозы Франции, правительства каковой ведут финансовую политику, вызывающую кризис в США.

Г. — И Гитлер поверил этому?

Р. — Мы этого не знаем. Это не было так важно, поверил он или нет нашим объяснениям, нашей целью была провокация войны... а Гитлер - это была война. Поняли теперь?

Г. — Понял. Следовательно, я не вижу никакого другого способа сдержать его, как создать коалицию СССР с демократическими нациями, способную запугать Гитлера. Как я думаю, он не будет в состоянии броситься одновременно против всех государств мира. Самое большее - на каждое по очереди.

Р. — Не приходит ли вам в голову более простое решение... я бы сказал, контрреволюционное?

Г. — Избежать войны против СССР?

Р. — Сократите фразу наполовину... и повторите со мной "избежать войны"... разве это не абсолютно контрреволюционная вещь? Каждый искренний коммунист, подражающий своему идолу Ленину и самым великим революционным стратегам, всегда должен жаждать войны. Ничто так не приближает торжества революции, как война. Это марксистско-ленинская догма, которую вы должны исповедовать. Теперь дальше: сталинский национал-коммунизм, этот своего рода бонапартизм, способен ослепить рассудок самых чистокровных коммунистов вплоть до того, чтобы помешать им увидеть то переключение, в которое впал Сталин, т.е, что он подчиняет революцию государству, а не государство революции, что было бы правильно...

Г. — Ваша ненависть к Сталину ослепляет вас, и вы сами себе противоречите... Разве мы не согласились на том, что нападение на СССР было бы нежелательно?

Р. — А почему же война должна была обязательно против Советского Союза?

Г. — А на какое же другое государство Гитлер может напасть? Достаточно ясное дело, что он направит свою атаку на СССР, об этом он говорит в своих речах. Какие вам еще нужны доказательства?

Р. — Если вы, люди из Кремля, считаете ее вполне определенной и бесспорной, то почему вы вызвали гражданскую войну в Испании? Не говорите мне, что это было сделано из

чисто революционных соображений. Сталин не способен воплотить в жизнь ни одной марксистской теории. Если бы тут имелись революционные причины, то было бы неправильно погубить в Испании столько, да еще великолепных, интернациональных революционных сил. Это самое отдаленное от СССР государство, и самое элементарное стратегическое образование не допустило бы дать угробить эти силы... Как мог бы Сталин в случае конфликта снабжать и оказывать военную поддержку советской Испанской Республике? Но это было правильно. Там имеется важный стратегический пункт, скрещение противоположных влияний капиталистических государств... можно было бы спровоцировать войну между ними. Я признаю, что теоретически это было правильно, но на практике - нет. Вот вы уже видите, как не вспыхнула война между демократическим капитализмом и фашистским... А теперь я вам скажу: если Сталин считал, что он способен сам создать повод, достаточный для того, чтобы спровоцировать войну, в которой пришлось бы воевать между собой капиталистическим государствам... то почему он не должен допустить, по крайней мере хоть теоретически, что и другие смогут достичь того же, что для него самого не казалось невозможным?

Г. — Если согласиться с вашими предпосылками, то эту гипотезу можно допустить.

Р. — Значит, у нас есть уже и второй пункт соглашения, первый, - чтобы не было войны против СССР, второй, - что хорошо было бы вызвать таковую между буржуазными государствами.

Г. — Да, согласен. Это ваше личное мнение или мнение "Их"?

Р. — Я высказываю это как свое мнение. У меня нет власти и нет контакта с "Ними", но я могу подтвердить, что в этих двух пунктах оно совпадает с мнением Кремля.

Г. — Это самое главное, и поэтому важно установить это предварительно. Кстати, я хотел бы уж знать, на чем вы основываетесь в своей уверенности, что "Они" одобряют это.

Р. — Если бы я располагал временем для того, чтобы нарисовать их полную схему, то вы бы уже знали о причинах их одобрения. В данный момент я сокращу их до трех.

Г. — Какие именно?

Р. — Одна - это то, что я сообщал. Гитлер, этот необразованный элементарный человек, восстановил в силу своей природной интуиции и даже вопреки техническому мнению Шахта, экономическую систему очень опасного типа. Будучи безграмотным во всех экономических теориях и подчиняясь только необходимости, он устранил, подобно тому, как мы сделали это в СССР, частный и интернациональный капитал. Это значит, он присвоил себе привилегию фабриковать деньги и не только физические, но и финансовые, он взялся за нетронутую машину фальсификации и пустил ее в ход на пользу государства. Он превзошел нас, так как мы, упразднив ее в России, заменили ее лишь только этим грубым аппаратом, называемым государственным капитализмом, это был очень дорого оплаченный триумф в силу необходимости предреволюционной демагогии. Вот вам два реальных факта для сравнения. Скажу даже, что Гитлеру благоприятствовало счастье, он почти что не имел золота и поэтому не впал в искушение создать золотой стандарт. Поскольку он располагал только полной денежной гарантией техники и колоссальной работы немцев, то его "золотым вкладом" стали техника и работа... нечто настолько вполне контрреволюционное, что, как вы уже видите, он как бы при помощи волшебства радикально устранил безработицу среди более чем семи миллионов техников и рабочих.

Г. — Благодаря ускоренному перевооружению.

Р. — Что дает ваше вооружение? Если Гитлер дошел до этого вопреки всем окружающим его буржуазным экономистам, то он был бы вполне способен, при отсутствии опасности войны, применить свою систему и к мирной продукции... В состоянии ли вы представить, что бы получилось из этой системы, увлекшей за собой некоторое количество государств и приведшей к тому, что они создали бы период автаркии? Например, Коммонвелс. Если можете, то вообразите себе его контрреволюционные функции... Опасность пока еще не неизбежна, ибо нам посчастливилось в том, что Гитлер восстановил свою систему не по какой-либо предшествующей теории, а эмпирически, и не сделал формулировок научного характера. Это означает, что, поскольку он не размышлял путем основанного на разуме дедуктивного процесса, то у него не имеется ни научных терминов, ни сформулированной доктрины, все же имеется налицо скрытая опасность, ибо в любой

момент может появиться - путем дедукции - формулировка. Это очень серьезно... Гораздо более, чем все показное и жестокое в национал-социализме. Мы не атакуем его в своей пропаганде, так как может случиться что через теоретическую полемику сами вызовем формулировку и систематизацию этой, столь решающей, экономической доктрины. Имеется только одно средство: война.

Г. — И второй мотив?

Р. — Если в советской революции восторжествовал Термидор, то это произошло в силу существования прежнего русского национализма. Без подобного национализма невозможен был бы бонапартизм, и если так произошло в России, где национализм был только зачаточным в личности царя, то какие только помехи не встретит марксизм в национализме Западной Европы, вполне развитом? Маркс ошибся в отношении преимущества для торжества революции. Марксизм победил не в более индустриализированной стране, но в России, где пролетариат почти что отсутствовал. Помимо других причин, наша победа здесь объясняется тем, что в России не было настоящего национализма, а в других государствах он был в своем полном апогее... Вы видите, как он воскресает под этой необыкновенной властью фашизма и как он заразителен. Вы можете понять, что, не глядя на то что это может послужить на пользу Сталину, уже только одна необходимость пресечения национализма в Европе вполне заслуживает войны.

Г. — В итоге: вы изложили, Раковский, одну причину экономическую и одну - политическую. Какая же третья?

Р. — Это легко отгадать. У нас есть еще причина религиозная, Коммунизм не сможет быть победителем, если он не подавит оставшееся еще в живых христианство. История очень красноречиво говорит об этом, перманентной революции понадобилось семнадцать веков, чтобы добиться своей первой частичной победы - путем создания первого раскола среди христианства. В действительности, единственным нашим врагом является христианство, ибо все политические и экономические явления в буржуазных государствах - это только его последствия. Христианство, управляя индивидуумом, способно аннулировать революционную проекцию нейтрального советского или атеистического государства путем ее удушения, и, как мы видим это в России, дело дошло до создания того

духовного нигилизма, который царит в господствующих массах, оставшихся все же христианскими, это препятствие не преодолено еще и за двадцать лет марксизма. Признаем за Сталиным то, что в отношении религии он не был бонапартистом. Мы не сделали бы больше, чем он, и поступали бы так же. А если бы Сталин осмелился перейти так же, как и Наполеон, Рубикон христианства, то его национализм и его контрреволюционная мощь возросли бы в тысячу раз. Кроме того, если бы это произошло, то столь радикальное несоответствие сделало бы совершенно невозможным какое-либо совпадение по каким-либо пунктам между ними и им, хотя бы оно и было бы только временным и объективным... вроде того, которое, как вы видите, вырисовывается перед нами.

Г. — Итак, я лично считаю, что вы дали определение трех фундаментальных пунктов, на основании которых может быть составлен план. Это то, в чем я пока что с вами согласен. Но я подтверждаю вам мои мысленные оговорки, т.е. мое недоверие в отношении всего того, что вы изложили в отношении людей, организаций и фактов. Ну, а теперь продолжайте уж следовать по генеральным линиям своего плана.

Р. — Да, теперь да, теперь подошел этот момент. Но только предварительная оговорка: я буду говорить под свою собственную ответственность. Я ответственен за интерпретацию тех трех предыдущих пунктов в том смысле, как это понимают "Они", но допускаю, что "Они" могут считать более действенным для достижения трех указанных целей другой план действий, совершенно отличный от того, который я буду сейчас излагать. Имейте это в виду.

Г. — Хорошо, будем иметь в виду. Говорите уж.

Р. — Упростим. Поскольку отсутствует объект, для которого было создано немецкое военное могущество - дать нам власть в СССР. - то теперь дело в том, чтобы добиться наступления на фронтах и направить гитлеровское наступление не на восток, а на запад.

Г. — В точности. Продумали ли вы практический план реализации?

Р. — У меня было более чем достаточно времени для этого на Лубянке. Я обдумывал. Вот посмотрите: если были затруднения в том, чтобы найти между нами общие точки, а все остальное протекало нормальным образом, то проблема сводится

к тому, чтобы опять-таки разыскать то, в чем имеется совпадение между Гитлером и Сталиным.

Г. — Да, но признайте, что все это проблематично.

Р. — Но не неразрешимо как вы думаете. В реальности проблемы бывают неразрешимы только тогда, когда заключают в себе диалектические субъективные противоречия, и даже в этом случае мы считаем всегда возможным и необходимым синтез, преодолевая "морально невозможное" для христиан-метафизиков.

Г. — Опять вы начинаете теоретизировать.

Р. — В силу моей умственной дисциплины - это необходимо для меня. Люди большой культуры предпочитают доходить до конкретного через обобщение, а не наоборот. У Гитлера и у Сталина могут найтись совпадения, ибо, будучи весьма различными людьми, они имеют один и тот же корень, если Гитлер сентиментален в патологической степени" а Сталин нормален, то они - классические империалисты. А если дело обстоит именно таким образом, то уже не трудно найти между ними общие точки. Почему же нет, если это оказалось возможным между одной царицей и одним прусским королем...

Г. — Раковский, вы неисправимы...

Р. — Не отгадываете? Если Польша послужила пунктом объединения между Екатериной и Фридрихом - царицей России и королем Германии в то время, то почему же Польша не сможет послужить причиной для нахождения точек совпадения между Гитлером и Сталиным? В Польше могут совпасть персоны Гитлера и Сталина, а также историческая царско-большевистская и нацистская линии. Наша линия, линия "Их" - также, ибо Польша христианское государство и, что еще более осложняет дело - католическое...

Г. — И что же при наличии такого тройного совпадения?

Р. — Если есть совпадение, то возможна и договоренность.

Г. — Между Гитлером и Сталиным? Абсурд! Невозможно.

Р. — В политике нет ни абсурдов, ни невозможного.

Г. — Представим себе, как гипотезу: Гитлер и Сталин наступают на Польшу.

Р. — Разрешите мне перебить вас, нападение может быть вызвано только следующей альтернативой: война или мир. Вы должны признать это.

Г. — Да ну и что же?

Р. — Считаете ли вы, что Англия и Франция при их более плохих армиях и авиация, по сравнению с Гитлером, смогут напасть на объединившихся Гитлера и Сталина?

Г. — Да, это мне кажется затруднительным... разве что Америка...

Р. — Оставим на время Соединенные Штаты. Согласитесь ли вы со мной, что из-за нападения Гитлера и Сталина на Польшу не может возникнуть европейской войны?

Г. — Рассуждение логично, как будто бы невозможно.

Р. — В этом случае нападение или война была бы бесполезна. Она не вызвала бы взаимного разрушения буржуазных государств: гитлеровская угроза против СССР продолжала бы существовать после разделения Польши, так как теоретически и Германия и СССР усилились бы в одинаковой степени. Практически - Гитлер больше, потому что СССР для дальнейшего его усиления не нужны ни земли, ни сырье, а Германии — нужны.

Г. — Это правильный взгляд... но не видно другого решения.

Р. — Нет, есть решение.

Г. — Какое?

Р. — Чтобы демократии атаковали и не атаковали агрессора.

Г. — Что это вы бредите! Одновременно атаковать и не атаковать... Это что-то абсолютно невозможное.

Р. — Вы так думаете? Успокойтесь... Не два ли агрессора? Разве мы не договорились, что не будет сделано наступления именно потому, что их два? Хорошо... Что препятствует тому, чтобы атаковали одного из них?

Г. — Что вы хотите этим сказать?

Р. — Просто только то, что демократии объявят войну только одному агрессору, и именно Гитлеру.

Г. — Да, но это неосновательная гипотеза.

Р. — Гипотеза, но имеющая основание. Поразмыслите: каждое государство, которому приходится бороться с коалицией враждебных государств, имеет своей главной стратегической задачей - разбить их по отдельности одно за другим. Это правило настолько общеизвестно, что доказательства здесь излишни. Итак, согласитесь со мной, что нет никаких

препятствий для того, чтобы создать такие обстоятельства. Думаю, что вопрос о том, что Сталин не будет считать себя задетым в случае нападения на Гитлера, уже решен. Не так ли? Кроме того, к этому принуждает география, а в силу этого и стратегия. Как ни глупы Франция и Англия, собираясь воевать одновременно против двух держав, одна из каковых желает сохранять нейтралитет, а другая, даже будучи в одиночестве, представляет собой для них серьезного противника, но откуда и с какой стороны смогут они произвести нападение на СССР? У них нет общей границы, разве что они поведут наступление через Гималаи... Да, остается воздушный фронт, но какими средствами и откуда смогут они напасть на Россию? По сравнению с Гитлером они уступают ему в воздухе. Все приведенные мною доводы не являются никаким секретом, это общеизвестно. Как вы видите, все упрощается в значительной степени.

Р. — Да ваши выводы кажутся логичными в том случае, если конфликт будет ограничиваться четырьмя державами, но их не четыре, а больше, и нейтралитет не является вещью очень легкой в войне подобного масштаба.

Р. — Несомненно, но возможное вмешательство большего количества государств не изменяет соотношения сил. Взвесьте в уме и увидите, как будет продолжать существовать равновесие, хотя и вступят другие или даже все европейские государства. Кроме того, что весьма важно, ни одно из тех государств, которое вступит в войну на стороне Англии и Франции, не сможет отстранить их от руководства, в силу этого причины, которые помешают им напасть на СССР, будут сохранять свое значение.

Г. — Вы забываете о Соединенных Штатах.

Р. — Сейчас вы увидите, что я этого не забыл. Ограничусь изучением их функции в предварительной программе, которой мы сейчас заняты, и скажу, что Америка не сможет заставить Францию и Англию напасть одновременно и на Гитлера и на Сталина. Для того, чтобы этого достичь, Соединенные Штаты должны были бы вступить в войну с самого же первого дня. А это невозможно. Во-первых, потому, что Америка не вступала раньше и никогда не вступит в войну, если она не подвергнется нападению. Ее правители смогут устроить так, что на них нападут, если это будет им удобно. В этом

я вас уверяю. В тех случаях, когда провокация не имела успеха и враг на нее не реагировал, то агрессия изобреталась. В первой своей интернациональной войне против Испании, в поражении которой не сомневались, они придумали агрессию, или, вернее, ее изобрели "Они". В 1914 году провокация имела успех. Можно, правда, оспаривать технически, существовала ли таковая, но правилом без исключения является то, что тот, кто совершает внезапное нападение без предупреждения, совершает его при помощи провокации. Теперь так, эта великолепная американская техника, которую я приветствую в любой момент, подчиняется одному условию: чтобы агрессия произошла в подходящий момент, т.е. в момент, нужный подвергшимся нападению Соединенным Штатам, это значит, тогда, когда они будут иметь вооружение. Есть ли сейчас налицо это условие? Вполне очевидно, что нет. В Америке имеется сейчас немного меньше ста тысяч человек под ружьем и посредственная военная авиация: у нее есть только внушительная эскадра. Но вы же можете понять, что при наличии таковой - она не сможет убедить союзников решиться на нападение на СССР, так как Англия и Франция имеют лишь только единственное преимущество на море. Я опять доказал вам, что с этой стороны не может быть изменений в соотношении наличных сил.

Г. — Согласившись с этим, прошу еще раз разъяснить мне техническую реализацию.

Р. — Как вы видели, при наличии совпадения интересов Сталина и Гитлера в отношении нападения на Польшу, все сводится к тому чтобы добиться оформления этого совпадения и сделать пакт о двойном нападении.

Г. — И вы думаете, что это легкая вещь?

Р. — Откровенно говоря, нет. Тут необходима дипломатия более опытная, чем сталинская. Должна была бы находиться в услужении та, которую обезглавил Сталин, или та, которая гниет сейчас на Лубянке. В прежние времена был способен Литвинов с некоторыми затруднениями, хотя его раса была бы большим препятствием для того, чтобы вести переговоры с Гитлером, но сейчас это конченный человек, его губит ужасная паника, он одержим животным страхом перед Молотовым больше, чем перед Сталиным. Весь его талант направлен на то, чтобы не подумали, что он троцкист... Если он услышит совет

о необходимости предпринять сближение с Гитлером, то это будет для него равнозначно тому, чтобы сфабриковать самому себе доказательство своего троцкизма. Я не вижу человека, способного для этой цели, во всяком случае, это должен был бы быть чистокровный русский. Я бы мог предложить свои услуги для ориентировки. В настоящий момент я советую тому, кто начнет переговоры, чтобы они велись на почве строго конфиденциальной, с расточительной откровенностью... При наличии целой стены всяких предубеждений только правдивостью можно будет обмануть Гитлера.

Г. — Я опять не понимаю ваших парадоксальных высказываний.

Р. — Извините, но это только так по виду, меня обязывает к этому синтез. Я хотел сказать, что с Гитлером надо вести чистую игру по конкретным и ближайшим вопросам. Нужно ему показать, что игра не ведется с целью спровоцировать его на войну на два фронта. Например, можно пообещать ему и доказать в соответствующий момент, что наша мобилизация ограничится малым количеством сил, необходимых для вторжения в Польшу, и что силы эти будут невелики. По нашему фактическому плану мы должны будем расположить наши главные части для предполагаемого англо-французского нападения. Сталин должен быть щедрым в предварительных поставках, которых будет домогаться Гитлер, главным образом — нефти. Это то, что мне пока что пришло в голову.

Возникнут еще тысячи вопросов подобного же порядка, которые должны будут быть разрешены так, чтобы Гитлер, видя на практике, что мы желаем всего лишь только занять свою часть Польши, был бы вполне в этом уверен. И поскольку на практике оно так и должно получиться, то он будет обманут правдой.

Г. — Но в чем же в данном случае заключается обман?

Р. — Я дам вам несколько минут времени, чтобы вы сами вскрыли, в чем именно заключается обман Гитлера. Предварительно я хочу подчеркнуть, и вы должны себе заметить, что тот план, который я начертил вам сейчас, логичен и нормален, и по нему можно достигнуть того, что капиталистические государства уничтожат друг друга, если столкнуть их два крыла: фашистское с буржуазным. И я повторяю, что план логичен и нормален. Как вы могли уже увидеть, сюда не вмешиваются

таинственные и страшные факторы. Одним словом - для того, чтобы возможно было его реализовать, "Их" вмешательство не нужно. Сейчас я хотел бы отгадать ваши мысли, не думаете ли вы сейчас о том, что было бы глупо терять время на доказательство недоказуемого существования и могущества "Их". Не так ли?

Г. — Вы правы.

Р. — Будьте откровенны со мной. Вы на самом деле не замечаете их вмешательства? Я уведомлял вас, желая помочь вам, о том, что их вмешательство существует и является решающим, и поэтому логика и естественность плана - это только видимость. Неужели вы не видите "Их", говоря по правде?

Г. — Чистосердечно говоря, нет.

Р. — Логика и натуральность моего плана - это только видимость. Натуральным и логичным было бы то, что Гитлер и Сталин нанесли друг другу поражение. Это было бы для демократий простым и легким делом, в том случае, если им нужно было бы, чтобы Гитлеру позволили, обратите внимание - "позволили", напасть на Сталина. Не говорите мне о том, что Германию могли бы победить. Если русские просторы и отчаяние Сталина со своими людьми перед гитлеровским топором или перед местью его жертв не будут достаточны для того, чтобы добиться военного истощения Германии, то не будет никаких препятствий к тому, чтобы демократии, видя, что Сталин теряет силы, стали бы помогать ему мудро и методически, продолжая подавать эту помощь вплоть до полного истощения обеих армий. Это в действительности было бы легко, естественно и логично, если бы те мотивы и цели, каковые ставят перед собой демократии и которые большинство их приверженцев считают настоящими, были бы реальностью, а не тем, чем они являются: предложениями. Существует одна цель одна-единственная цель: торжество коммунизма, не Москва будет навязывать свою волю демократиям, а Нью-Йорк, не "Коминтерн", а "Капинтерн" на Уолл Стрит. Кто, как не он, был способен навязать Европе такое явное и абсолютное противоречие? Какая сила может вести ее к полному самоубийству? Только одна сила способна сделать это: деньги. Деньги - это власть и единственная власть.

Г. — Я буду откровенен с вами, Раковский. Я признаю за вами дар исключительного таланта. Вы обладаете блестящей

диалектикой, захватывающей, тонкой: когда вам ее не хватает, то ваше воображение располагает средствами для того, чтобы растянуть свой красочный занавес, измышляя блестящие и ясные перспективы, но все это, хотя меня и восхищает, для меня недостаточно. Я перейду к тому, чтобы задавать вам вопросы, предположив, что я верю всему тому, что вы сказали.

Р. — А я вам буду давать ответы, но с единственным условием, чтобы вы не прибавляли ничего к тому, что я скажу, и не убавляли.

Г. — Обещаю. Вы, утверждаете, что "Они" препятствуют или будут препятствовать германо-советской войне, логичной с точки зрения капиталистов. Правильно ли я разъяснил?

Р. — Да, в точности так.

Г. — Но реальность данного момента такова, что Германии разрешено перевооружение и экспансия. Это факт. Я уже знаю, согласно вашему объяснению, что это было вызвано троцкистским планом, провалившимся благодаря происходящим сейчас "чисткам", таким образом - цель уже утрачена. Перед лицом нового положения вы советуете только, чтобы Гитлер и Сталин заключили пакт и разделили Польшу. Я вас спрашиваю: как можем мы получить гарантию того, что, имея договор или не имея его, произведя или не произведя раздел, Гитлер не нападет на СССР?

Р. — Этого нельзя гарантировать.

Г. — Значит, зачем же говорить больше?

Р. — Не торопитесь. Великолепная угроза против СССР реальна и существует. Это не гипотеза и не словесная угроза. Это факт и факт, который обязывает. "Они" уже имеют превосходство над Сталиным, превосходство, которого нельзя отрицать. Сталину предоставляется только одна альтернатива, право выбора, а не полная свобода. Нападение Гитлера произойдет само собой, "Им" ничего не нужно делать, чтобы оно произошло, а только всего лишь предоставить ему возможности действовать. Это основная и определяющая реальность, забытая вами при вашем слишком кремлевском образе мышления... Эгоцентризм, господин, эгоцентризм.

Г. — Право выбора?

Р. — Я уточняю еще один раз, но вкратце, или на Сталина будет сделано нападение, или будет реализован начерчен-

ный мною план, по которому капиталистические европейские государства уничтожат друг друга. Я обратил внимание на эту альтернативу, но, как вы видите, она только теоретическая. Если Сталин захочет выжить, то он будет вынужден реализовать план, предложенный мной и ратифицированный "Ими"!

Г. — А если он откажется?

Р. — Это будет для него невозможно. Экспансия и вооружение Германии будут продолжаться. Когда Сталин увидит перед собой эту гигантскую угрозу... то что же он станет делать? Это будет продиктовано ему своим собственным инстинктом самосохранения.

Г. — Похоже на то, что события должны реализоваться только по указке, намеченной "Ими".

Р. — И так оно и есть. Конечно, в СССР на сегодняшний день еще не обстоят дела так, но рано или поздно все равно произойдет так. Не трудно предсказать и предположить для реализации что-либо, если оно выгодно тому, кто должен реализовать дело, в данном случае - Сталин, каковой вряд ли помышляет о самоубийстве. Гораздо более трудно делать прогнозы и заставлять выполнять что-либо того, кому это невыгодно, но кто все же должен действовать, в данном случае демократии. Я приберегу разъяснение для этого момента, конкретизирующее истинное положение. Откажитесь от ошибочной мысли, что это вы являетесь арбитрами в данной ситуации, ибо арбитрами являются "Они".

Г. — "Они" и в первом и во втором случае... Значит, мы должны общаться с призраками?

Р. — А факты - это разве призраки? Интернациональная ситуация будет необычайная, но не призрачная, она реальна и очень реальна. Это никакое не чудо, здесь предопределена будущая политика. Вы думаете, что это дело призраков?

Г. — Но давайте посмотрим: предположим, что ваш план принимается... Мы же должны иметь что-то осязаемое, личное, для того, чтобы вести переговоры.

Р. — Например?

Г. — Какая-либо особа с полномочиями и с представительством.

Р. — А для чего же? Ради удовольствия познакомиться с нею? Ради удовольствия поговорить? Имейте в виду, что предполагаемая персона, в случае своего представления, не

предъявит вам верительных грамот с печатями и гербами и не наденет дипломатического мундира, по крайней мере, особа от "Них", если она что-нибудь скажет или пообещает, то это не будет иметь ни юридического, ни договорного значения. Поймите, что "Они" - это не государство. "Они" - это то чем был до 1917 года Интернационал, то, чем он еще пока что является: ничем - и одновременно всем. Вообразите себе, возможно ли, чтобы СССР вел переговоры с масонством, со шпионской организацией, с македонским комитагис или с хорватскими усташами. Не будет ли написан какой-либо юридический договор? Подобные пакты, как пакт Ленина с германским Генеральным Штабом, как договор Троцкого с "Ними" - реализуются без записей и без подписей. Единственная гарантия их выполнения коренится в том, что выполнение того, о чем договорено, выгодно пактирующим... эта гарантия и есть единственная реальность в пакте, как бы ни велико было его значение.

Г. — С чего же бы вы начали в таком случае?

Р. — Просто, я бы начал уже с завтрашнего дня зондировать Берлин...

Г. — Для того, чтобы договориться о нападении на Польшу?

Р. — Я бы не с этого начал... Я бы проявил свою уступчивость и намекнул бы на некоторые разочарования в демократиях, ослабил бы в Испании... Это было бы актом поощрения, затем бы я намекнул на Польшу. Как вы видите - ничего компрометирующего, но достаточно, чтобы какая-то часть ОКВ, бисмарковцы, как они называются, имели бы аргументы для Гитлера.

Г. — И больше ничего?

Р. — Для начала ничего больше, это уже большая дипломатическая работа.

Г. — Откровенно говоря, имея в виду те цели, которые до сих пор господствовали в Кремле, я не думаю, чтобы кто-либо сейчас осмелился посоветовать такой радикальный поворот в интернациональной политике. Я предлагаю вам, Раковский, мысленно превратиться в то лицо в Кремле, которое должно решать... На основании одних только ваших разоблачений, доводов, ваших гипотез и внушений, как мне представляется, нельзя будет никого убедить. Я лично, после того, как вас вы-

слушал и при этом, чего не буду отрицать, испытал на себе сильное воздействие от ваших высказываний, от вашей персональности - ни на один момент не чувствовал искушения считать германо-советский пакт чем-то практически осуществимым.

Р. — Интернациональные события заставят с непреодолимой силой...

Г. — Но это будет потерей драгоценного времени. Обдумайте что-нибудь осязаемое, что-нибудь, что я мог бы представить в качестве доказательства правдоподобности... В противном случае я не осмелюсь передать вашу информацию о нашем разговоре, я отредактирую его со всей точностью, но она попадет в Кремлевский архив и там застрянет.

Р. — Не было бы достаточно для того, чтобы ее приняли во внимание, чтобы кто-нибудь, хотя бы сверхофициальным образом, поговорил с какой-нибудь высокопоставленной особой?

Г. — Как я думаю, это было бы нечто существенное.

Р. — Но с кем?

Г. — Это только мое личное мнение, Раковский. Вы говорили о конкретных особах, о крупных финансистах, если я правильно запомнил, то вы рассказывали о некоем Шиффе, например, затем назвали другого, который служил для связи с Гитлером с целью его финансирования. Имеются также и политики или лица с общественным положением, которые принадлежат к "Нам", или же, если желаете, служат "Им". Кто-нибудь в этом роде мог бы нам пригодиться для того, чтобы начать что-либо практическое... Знаете ли вы кого-нибудь?

Р. — Я не вижу в этом необходимости". Подумайте: о чем будете вы договариваться? Вероятно, о плане, который я изложил, не так ли? Для чего? В данный момент "Им" в этом плане нечего делать: их миссия - "не делать"... И поэтому вы не сможете договориться ни о каком позитивном действии и не сможете потребовать этого... Припомните, обдумайте хорошо.

Г. — Даже если оно и так, то в силу нашего личного мнения требуется обязательно реальность, хотя бы даже и бесполезная... человек, личность которого подтвердила бы правдоподобность власти, приписываемой вами "Им".

Р. — Я удовлетворю вас, хотя я и уверен в бесполезности этого. Я уже говорил вам, что я не знаю, кто входит в состав

"Их", но имею заверения от лица, которое должно было знать "Их".

Г. — От кого же?

Р. — От Троцкого. От Троцкого я знаю только то, что один из "Них" был Вальтер Ратенау, известный по Раппалу. Вы видите последнего из "Них", занимающего политический и общественный пост, ибо это он разрывает экономическую блокаду СССР. Несмотря на то, что он был одним из самых крупных миллионеров, разумеется, им был и Лионель Ротшильд. С уверенностью могу назвать только эти имена. Конечно, я могу назвать еще больше лиц, деятельность и персональность каковых я определяю как целиком совпадающую с "Ними", но я не могу подтвердить, чем командуют или же кому подчиняются эти люди.

Г. — Назовите мне нескольких.

Р. — Как учреждение - банк Кун, Леб и К° с Уолл Стрит, к этому банку принадлежат семьи: Шифф, Варбург, Леб и Кун, я говорю семьи, чтобы указать разные имена, ибо все они связаны между собой браками, затем Барух, Франкфуртер, Альтшуль, Кохем, Бенъямин, Штраус, Штейнхарт, Блом, Розенжан, Липман, Леман, Дрейфус, Ламонт, Ротшильд, Лод, Мандель, Моргентан, Эзекиель Лаский. Я думаю, что уже достаточно имен, если я напрягу свою память, то, может быть, припомню еще, но я повторяю, что я не знаю, кто из них может быть одним из "Них", и я даже не могу утверждать, что обязательно кто-нибудь из них туда входит, я хочу избежать всякой ответственности. Но я определенно думаю, что любое из перечисленных мною лиц, даже из не принадлежащих к "Ним", всегда сможет довести до "Них" какое-либо предложение существенного характера. Разумеется, независимо от того, угадано лицо или нет, нельзя ожидать непосредственного ответа. Ответ будет дан фактами. Это неизменная тактика, которую они предпочитают и с которой заставляют считаться. Например, если вы решитесь начать дипломатические хлопоты, то вам не нужно пользоваться способом личного обращения к "Ним", надо ограничиться высказыванием размышлений, изложением какой-нибудь рациональной гипотезы, зависящей от определенных неизвестных. Затем остается только ждать.

Г. — Вы понимаете, что в моем распоряжении не имеется сейчас картотеки, чтобы установить всех упомянутых вами

лиц, я предполагаю, что они находятся, вероятно, где-то очень далеко. Где?

Р. — Большинство в Соединенных Штатах.

Г. — Поймите, что если бы мы решили хлопотать, то пришлось бы потратить на это много времени. А дело срочное и срочное не для нас, а для вас, Раковский.

Р. — Для меня?

Г. — Да, для вас, помните, что ваш процесс будет очень скоро назначен для слушания. Я не знаю, но думаю, что не будет рискованным предположить, что в том случае, если все, что здесь обсуждалось, заинтересует Кремль, то оно должно заинтересовать его прежде, чем вы предстанете перед трибуналом, это было бы для вас делом очень решающим. Я думаю, что в ваших личных интересах вы должны предложить нам что-нибудь более быстрое. Самое главное - это добиться доказательства того, что вы сказали правду, и добиться не за срок в несколько недель, но за срок в несколько дней. Я думаю, что если это вам удастся, то я почти что мог бы дать вам относительно большие заверения в возможности спасти свою жизнь... В противном случае я не отвечаю ни за что.

Р. — В конце концов - я отважусь. Не знаете ли вы, находится ли сейчас в Москве Дэвис? Да, посланник Соединенных Штатов.

Г. — Думаю, что да, должен был вернуться.

Р. — Только исключительный случай дает мне право, как я думаю, вопреки правилам, воспользоваться официальным посредником.

Г. — Значит, мы можем думать, что американское правительство находится позади всего этого?

Р. — Позади - нет, но под этим...

Г. — Рузвельт?

Р. — Что я знаю? Я могу только делать выводы. Вами все время владеет мания политического шпионажа. Я бы смог сфабриковать для того, чтобы доставить вам удовольствие, целую историю, у меня более чем достаточно воображения, дат и правдивых фактов для того, чтобы придать ей видимость правды, граничащей с очевидностью. Но разве не более очевидны общеизвестные факты? И дополните своим воображением остальное, если вам нравится. Смотрите сами. Припомните утро 24-го октября 1929 года. Придет время, когда

этот день будет для истории Революции более важным днем, чем октябрь 1917 года. В день 24-го октября произошел крах биржи в Нью-Йорке, начало так называемой "депрессии", настоящая революция. Четыре года правления Гувера - это годы революционного продвижения, 12 или 15 миллионов забастовавших. В феврале 1933 года происходит последний толчок кризиса с закрытием банков. Трудно сделать больше, чем сделал капитал для того, чтобы разбить "классического американца", находящегося еще в своем индустриальном оплоте и в экономическом отношении поработанного Уолл Стритом. Известно, что всякое обеднение в экономике: будь то в отношении общества или животных, дает расцвет паразитизма, а капитал — это крупный паразит. Но эта американская Революция имела в виду не одну только цель - увеличить власть денег для лиц, имеющих право пользоваться ими, она претендовала на большее. Хотя власть денег и является политической властью, но до этого таковая применялась только косвенным образом, а теперь она должна была превратить ее в непосредственную прямую власть. Человек, через посредство которого пользовались такой властью, был Франклин Рузвельт. Поняли? - Заметьте себе следующее: в этом, 1929-м году, первом году американской Революции, в феврале выезжает из России Троцкий, крах происходит в октябре месяце... Финансирование Гитлера договорено в июле 1929 г. Вы думаете, что все это случайно? Четыре года правления Гувера употреблены на подготовку захвата власти в Соединенных Штатах и в СССР, там - посредством финансовой революции, а здесь - посредством войны и последующего за ней поражения. Разве какая-нибудь хорошая новелла с богатым воображением была бы для вас более очевидна? Вы можете понять, что выполнение плана в подобных масштабах нуждается в специальном человеке, направляющем исполнительную власть в Соединенных Штатах, предназначенных для того, чтобы стать организующей и решающей силой. Этим человеком был - Франклин и Элеонора Рузвельт. И разрешите мне сказать, что это двуполое существо не является совсем иронией. Ему нужно было избежать возможных Далии.

Г. — Рузвельт один из "Них"?

Р. — Я не знаю является ли он одним из "Них", или только подчиняется "Им". Что вам надо больше? Я думаю, что он соз-

навал свою миссию, но не могу утверждать, подчинялся ли он в силу шантажа или он был одним из тех, кто управляет, верно то, что он выполнил свою миссию, реализовал все предусмотренные для нее действия со всей точностью. Не спрашивайте меня больше, потому что я больше ничего не знаю.

Г. — В случае, если будет решено обратиться к Дэвису, в какой форме вы это сделаете?

Р. — Первоначально вы должны избрать персону такого типа, как "барон", он мог бы пригодиться... жив он еще?

Г. — Я не знаю.

Р. — Хорошо, выбор персон предоставляется вам. Ваш посланник должен будет выявить себя конфиденциальным или нескромным, лучше же - тайным оппозиционером, Разговор нужно будет ловко повести о том противоречивом положении, в которое ставят СССР так называемые европейские демократии своим союзом против национал-социализма. Это - заключение союза с империализмом британским и французским - современным реальным империализмом - для разрушения потенциального империализма... Цель словесных выражений должна послужить тому, чтобы увязать фальшивое советское положение с таковым же американской демократии. Она также видит себя вынужденной поддерживать колониальный империализм для защиты демократии внутри Англии и Франции. Как вы видите, вопрос может быть поставлен на очень сильной логической базе. После этого уже очень легко сформулировать гипотезу о действиях. Первое: что ни СССР, ни Соединенные Штаты не интересуют европейский империализм, и, таким образом, диспут сократится до вопроса о личном господстве, что идеологически и экономически России и Америке желательно разрушение европейского колониального империализма, будь он прямой или косвенный. Соединенным Штатам желательно это даже еще больше. Если бы Европа потеряла в новой войне всю свою мощь, то Англия, не имеющая своих собственных сил, с исчезновением Европы, как силы, как власти, с первого же дня легла бы всей тяжестью со всей своей империей, говорящей на английском языке, на Соединенные Штаты, что было бы неизбежно и в политическом и в экономическом отношении... Проанализируйте выслушанное вами в аспекте левой конспирации, как можно было бы выразиться, не шокируя любого американского буржуа. Дойдя до этого

момента, можно будет сделать перерыв на несколько дней. Затем, заметив реакцию, нужно будет двигаться дальше. Вот - выступает Гитлер. Тут можно изобразить любую агрессию: он целиком и полностью - агрессор, и в этом нет сомнений. А затем перейти к тому, чтобы задать вопрос: какую совместную деятельность должны будут избрать Соединенные Штаты и Советский Союз перец лицом войны между империалистами, стремящимися к этому? Ответ может быть - нейтральность, но нейтральность не зависит только от желания одного, она зависит также от агрессора. Гарантия нейтральности может существовать только тогда, когда агрессор не может напасть или ему это не подходит. Для этой цели безошибочным является нападение агрессора на другое империалистическое государство. Отсюда очень легко перейти к высказыванию необходимости и моральности - с целью гарантии безопасности - спровоцировать столкновения между империалистами, в случае, если это столкновение не произойдет само по себе. И если это будет принято в теории - а оно будет принято, - то уладить вопрос о действиях фактически - это уже вопрос только техники. Вот вам здесь указатель:

1) пакт с Гитлером для раздела между собой Чехословакии или Польши (лучше последней), 2) Гитлер примет. Если он способен на блеф в ставке на завоевание, т.е. на захват чего-либо в союзе с СССР, то для него будет полной гарантией то, что демократии уступят. Он не сможет поверить их словесным угрозам, так как ему известно, что пугающие войной являются одновременно сторонниками разоружения и что их разоружение - реальное, 3) демократии нападут на Гитлера, а не на Сталина, они скажут людям, что хотя оба они виноваты в агрессии и в разделе, но стратегические и логические причины вынуждают их к тому, чтобы они были разбиты отдельно: сначала Гитлер, а потом Сталин.

Г. — А не обманут ли они нас правдой?

Р. — А каким образом? Разве Сталин не располагает свободой действий для того, чтобы помогать Гитлеру в нужной мере? Разве мы не передаем в его руки возможность продолжения войны между капиталистами до последнего человека и до последнего фунта? Чем же они смогут его атаковать? Истощенным государствам Запада уже достаточно будет дела с

коммунистической революцией внутри, которая в противном случае может восторжествовать.

Г. — Но если Гитлер добьется быстрой победы и если он, подобно Наполеону, мобилизует всю Европу против СССР?

Р. — Это невероятно! Вы забываете о существовании Соединенных Штатов. Вы отвергаете фактор силы - более важный. Разве не естественно, чтобы Америка, подражая Сталину, помогала бы со своей стороны демократическим государствам? Если согласовать "против часовой стрелки" помощь обеим группам воюющих, то таким образом будет гарантирована без промаха бесконечная затяжка войны.

Г. — А Япония?

Р. — А не достаточно ли им уже Китая? Пусть Сталин гарантирует им свое невмешательство. Японцы очень привержены к самоубийству, но все-таки не настолько, чтобы быть способными одновременно напасть и на Китай, и на СССР. Есть еще возражения?

Г. — Нет, если бы это зависело от меня, то я бы попробовал... Но верите ли вы, что посланник...

Р. — Верить я верю. Мне не дали поговорить с ним, но заметьте себе одну деталь: о назначении Дэвиса стало известно в ноябре 1936 года, мы должны предположить, что Рузвельт подумал о том, чтобы послать его гораздо раньше, и начал с этой целью предварительные хлопоты: мы все знаем, что на рассмотрение дела и на время, которое требуется для официального объяснения о назначении, уходит больше двух месяцев. Его назначение было согласовано, по-видимому, в августе... А что произошло в августе? В августе были расстреляны Зиновьев и Каменев. Я готов присягнуть в том, что его назначение было сделано с целью новой увязки "Их" политики с политикой Сталина. Да, я определенно так думаю. С каким душевным волнением должен он был ехать, видя, как один за другим падают главари оппозиции в "чистках", следующих одна за другой. Не знаете ли вы, присутствовал ли он на процессе Радека?

Г. — Да.

Р. — Вы его увидите. Поговорите с ним. Он ожидает уже много месяцев.

Г. — Этой ночью мы должны закончить, но прежде, чем мы разойдемся, я хочу знать еще кое-что. Предположим, что

все это правда и все будет реализовано с полным успехом. "Они" предложат определенные условия. Угадайте, какими они могут быть?

Р. — Это не трудно предположить. Первым условием будет прекращение экзекуций над коммунистами, это значит над троцкистами, как вы их называете. Затем, разумеется, заставят установить несколько зон влияния, как это я говорил. Границы, которые должны будут отделить формальный коммунизм от коммунизма реального. Это самое существенное. Будут сделаны взаимные уступки для взаимной помощи на время, пока будет длиться выполнение плана. Вы увидите, например, парадоксальное явление, что целая толпа людей, врагов Сталина, будет ему помогать, нет, это не будут обязательно пролетарии, не будут и профессиональные шпионы... Появятся влиятельные люди во всех рангах общества, даже и в очень высоких, которые будут помогать этому сталинскому формальному коммунизму, когда он превратится если не в реальный, то хоть в объективный коммунизм... Вы меня поняли?

Г. — Немного, вы обволакиваете вещи такой непроницаемой казуистикой...

Р. — Если надо закончить, то я могу выразиться только таким образом. Посмотрим, не смогу ли я еще помочь понять. Известно, что марксизм называли гегелевским. Так был вульгаризирован этот вопрос. Гегелевский идеализм - это общераспространенное приспособление к невежественному пониманию на Западе природного мистицизма Баруха Спинозы. "Они" являются спинозистами, пожалуй, дело даже обстоит наоборот, т.е. спинозизм - это "Они", поскольку он является только версией, адекватной эпохе "Их" собственной философии, гораздо более ранней и вышестоящей. В конце концов - гегельянец, а в силу этого и последователь Спинозы, был предан своей вере, но только временно: тактически. Дело обстоит не так, как утверждает марксизм, что в результате уничтожения противоположения возникает синтез. Это благодаря преодолевающему взаимослиянию - из тезиса и антитезиса возникает, как синтез, реальность, истина, как окончательная гармония между субъективным и объективным. Не видно ли вам уже этого? В Москве - коммунизм, в Нью-Йорке - капитализм. Вое равно как тезис и антитезис. Анализируйте и то и другое. Москва: коммунизм субъективный, а капитализм -

объективный - государственный капитализм. Нью-Йорк: капитализм субъективный, а коммунизм объективный. Синтез персональный, истина: финансовый "Интернационал" капиталистическо-коммунистический. "Они".

-----ooooooooOOOOOoooooooo-----

Свидание длилось около шести часов, Я еще раз всыпал наркотик Раковскому. Наркотик, видно, действовал хорошо, хотя я это мог заметить только по определенным симптомам возбуждения. Но я думаю, что Раковский в нормальном состоянии говорил бы так же. Несомненно, тема разговора соответствовала его специальности и он имел страстное желание разоблачить то, о чем говорил. Ибо, если все это правда, то им была произведена энергичная попытка заставить торжествовать свою идею и свой план. Если это была ложь, то получилась необычайная фантазия, и это был чудесный маневр для спасения своей, уже потерянной, жизни.

Мое мнение насчет всего слышанного не может иметь никакого значения, У меня нет достаточной подготовки, чтобы понять его универсальность и размеры. Когда Раковский коснулся самого основного в теме, то у меня было такое же ощущение, как в тот момент, когда я впервые увидел себя на экране X-лучей, Мои пораженные глаза увидели нечто неточное, расплывчатое и темное, но реальное. Нечто вроде призрака, мне пришлось согласовать его фигуру, его движения, соотношения и действия в той степени, в какой возможно было об этом догадаться при помощи логических интуиций.

Я думаю, что мне пришлось наблюдать в течение нескольких часов "рентгенографию революции" в мировом масштабе. Быть может, частично она не удалась, оказалась извращенной или деформированной, благодаря обстоятельствам или личности, которая ее отображала, недаром ложь и притворство являются в революционной борьбе дозволенным и моральным оружием, А Раковский - страстный диалектик большой культуры и первоклассный оратор - является прежде всего и сверх всего революционным фанатиком.

Я много раз перечитывал разговор, но каждый раз чувствовал, как возрастало во мне ощущение моего невежества в этом отношении. То, что до сих пор казалось мне, а также и

всему миру, истиной и очевидной реальностью, подобной гранитным блокам, где социальный порядок держится, как на скале, неподвижно и вечно, - все это превратилось в густой туман. Появляются колоссальные, неизмеримые, невидимые силы с категорическим императивом, непокорные... хитроумные и титанические одновременно, что-то вроде магнетизма, электричества или земного притяжения. Перед лицом этого феноменального разоблачения я почувствовал себя подобно человеку из каменного века, у которого голова была еще наполнена первобытными суевериями насчет явлений природы и которого перебросили вдруг однажды ночью в сегодняшний Париж. Я поражен еще больше, чем был бы поражен он.

Я много раз не соглашался. Сначала я убедил себя, что все то, что разоблачил Раковский это продукт его необычайного воображения. Но даже убедив себя в том, что я был игрушкой в руках самого великого из известных мне новеллистов, я тщетно пытался отыскать достаточные силы, логические причины и даже людей с достаточной персональностью, которые могли бы мне объяснить это гигантское продвижение революции.

Я должен признаться, что если здесь участвовали только те силы, причины и люди, которые указываются официально в письменной истории, то я должен заявить, что революция - это чудо нашей эры. Нет, слушая Раковского, я не мог допустить, чтобы горсть евреев, эмигрировавших из Лондона, добилась того, чтобы этот "призрак коммунизма", вызванный Марксом в первых строчках Манифеста сделался на сегодняшний день гигантской реальностью и всеобщим страшилищем.

Является ли правдой или нет то, о чем говорил Раковский, является или нет секретной и настоящей силой коммунизма Интернациональный Капитал, но то, что Маркс, Ленин, Троцкий, Сталин недостаточны для разъяснения необычайности происходящего - это для меня абсолютная истина.

Реальны или фантастичны эти люди, которых Раковский называет "Они" с почти что религиозной дрожью в голосе? Но если "Они" не существуют, то я должен буду сказать о них то, что Вольтер сказал о Боге: "Его надо было бы выдумать", ибо только в этом случае мы сможем объяснить себе наличие, размеры и силы этой всемирной революции.

В конце концов я не имею надежды увидеть ее. Мое положение не позволяет мне смотреть с большим оптимизмом на возможность того, что я доживу до близкого будущего. Но это самоубийство буржуазных европейских государств, о котором рассуждает Раковский и которое он доказывает, как непреложное, было бы для меня, посвященного в секрет, магистральным и решающим доказательством.

-----ooooooooOOOOOoooooooo-----

Когда Раковского увели в место его заключения, Габриель оставался некоторое время углубленным в себя. Я смотрел на него, не видя его, и на самом деле, мои собственные представления потеряли почву под ногами и держались как-то на авось.

— Как вам показалось все это? — спросил меня Габриель.

— Не знаю, не знаю, — ответил я, и я сказал правду, но добавил: — Думаю, что это поразительный человек, и если дело идет о фальшивке, то она необычайна... в обоих случаях - это гениально.

— В результате, если мы будем располагать временем, то обменяемся впечатлениями... Меня всегда очень интересует ваше мнение профана, доктор. Но сейчас мы должны договориться о нашей программе. Вы нужны мне не как профессионал, но как скромный человек. То, что вы слышали, по причине вашей своеобразной функции, может быть ветром или дымом, который с ветром уйдет, но это может быть и нечто такое, важность чего совершенно ни в чем не превзойдена. Тут недостаточна умеренная терминология. При наличии этого осторожность заставляет меня сократить число осведомленных в этом лиц. До этого момента об этом знаете только вы и я. Человек, который манипулировал с аппаратом для записи разговора, совершенно не знает французского языка. То, что мы не говорили по-русски, - это не было моим капризом. Короче говоря: я буду вам благодарен, если вы будете переводчиком. Поспите несколько часов. Я дам сейчас необходимые распоряжения для того, чтобы техник согласовал с вами время, и насколько возможно скорее вы должны перевести и записать разговор, который он будет пускать для того, чтобы вы слушали его. Это будет тяжелая работа, вы не умеете писать на машинке, и аппарат должен будет двигаться очень медленно,

и если аппарат обгонит вас, то нужно будет повторять параграфы и фразы, но другого средства нет. Когда вы сделаете французский черновик, то я его прочитаю. Будут необходимы некоторые эпиграфы, заметки: я их добавлю. Вы печатаете на машинке?

— Очень плохо, очень медленно, только двумя пальцами. Я иногда печатал для развлечения в лаборатории, в которой я работал до того, как попал сюда.

— Ну, уж как-нибудь вы устроитесь, очень жаль, потому что потратим времени больше, чем нужно, но нет другого выхода. Самое главное, чтобы вы не наделали много ошибок.

Габриель позвал человека. Мы договорились начать нашу работу в одиннадцать часов, а было уже почти что семь. Мы разошлись все, чтобы немного поспать.

Меня позвали пунктуально. Мы устроились, согласно уговору, в моем маленьком кабинете. И началось мучение. Кроме того, вначале механик должен был делать частые остановки для того, чтобы дать мне время записать. Через два часа я приобрел уже некоторую практику. Мы работали приблизительно до двух часов дня и пошли завтракать. Техник остался там же, на месте, не покидая аппарата, а я не оставил своих листов бумаги и взял их с собой, вложив в карман.

Борясь со сном, я писал до пяти часов вечера. Но больше уже не мог: я рассчитал, что написал уже половину. Я отпустил человека, разъяснив ему, что он может отдыхать до десяти часов вечера, и бросился в кровать.

Я окончил писать после пяти часов утра. Габриель, которого я не видел в течение того дня (я не знаю, уезжал он или нет), сказал мне, чтобы я, как только окончу писать, вручил ему работу в любое время дня или ночи.

Я так и сделал. Он находился в своем кабинете и немедленно же взялся за чтение моих листков. Он разрешил мне пойти поспать, и мы договорились, что я смогу начать писать на машинке, уже отдохнувши после завтрака.

Запись информации на машинке заняла два дня, включая еду и около двенадцати часов сна.

Габриель поручил мне сделать две копии, я сделал три, чтобы припрятать одну себе. Я осмелился на это, так как он отправился в Москву. Я не раскаиваюсь в том, что у меня хватило на это мужества.

Начиная с этого места воспоминания Ландовского превращаются в наброски. Они не имеют окончательной редакции, они похожи на заметки, сделанные наскоро и отражающие самое существенное, несомненно, что он их делал для того чтобы сохранить свои воспоминания в ожидании возможности сделать окончательную редакцию, как он где-то раньше об этом говорил.

Раковский спас свою жизнь. Он был осужден только на двадцать лет тюрьмы. Не является ли это знаком того, что кое-что из сказанного им было принято во внимание? И на самом деле, такая благосклонность была несколько странной. Раковский признал себя виновным, столь же виновным, по крайней мере, как и все остальные, в измене и в ужасных преступлениях. Приговор - не об"ясним, если он не имеет целью еще чего-нибудь добиться от него.

... ..

Лето протекло спокойно. У меня было время, чтобы все спокойно записать. К некоторым местам я вернулся, чтобы их переделать. Мое положение не меняется. О своих я абсолютно ничего не знаю. Я покоряюсь, хотя моментами я совсем изнываю. Габриеля я видел несколько раз в конце апреля, он, по-видимому, чрезвычайно занят. Пожалуй он путешествует за границей. Он был приветлив и ласков со мной, но ничего интересного мне не сообщил.

... ..

В середине октября меня повезли повидаться с Ежовым. Те же обычные предосторожности. Комиссар каждый раз проявляет себя все более ясно, как патологический тип. Какой у него взгляд! Я снова должен делать ему ин"екции. Так как Габриеля нет, то меня возят одного какие-то серьезные молчаливые типы, но они обращаются ко мне с уважением и с некоторой торжественностью.

Габриель появился в первых числах ноября.

ТАИНСТВЕННЫЙ РУДОЛЬФ

Габриель провожает меня на дачу Ежова. Как обычно, визит наш ночной. Ежов лежит несколько дней в кровати, он очень пал духом. Помимо подавленного состояния, которое вызывается ин"екциями, он болен еще тяжелым бронхитом, который осложняется от того, что он ни на один момент не бросает курить. Он принял Габриеля и меня очень сухо. Повидимому причиной такого поведения был Габриель, и вскоре это подтвердилось. В общем их диалог был таков:

Ежов. — Неудачи в Германии, не так ли?

Габриель. — На много мы не продвинулись, но есть надежда, вы уже увидите товарищ Комиссар, у меня имеется одна очень подвинутая информация.

Е. — Бумаги, бумаги! Слова, слова! Что знаете о Рудольфе? Кто он такой? Не знаете этого. Не знаете, что он делает. Пожалуй даже думаете, что он не существует.

Г. — В наших руках все люди, которые выехали из СССР. Особенно те, которые работают в Германии. Никто из них, кажется, ни по личным свойствам, ни по деятельности не может реализовать столь необыкновенную миссию. Наша служба при Партии, Армии и в Германии не сигнализирует никаких контактов. Пожалуй я и потерпел неудачу, но я тут был не один.

Е. — Это большое утешение! Я не узнаю вас, говорите, как какой-то несмыслящий, вроде тех, которыми здесь кишит.

Г. — Возможно, что дело идет о каком-то авантюристе из числа тех, которых имеется такое изобилие вокруг нацистских начальников, вы должны знать, товарищ Комиссар, что около Гитлера и Гесса и около многих других, поскольку Фюрер ввел это в моду, кишат астрологи, гадатели, хироманты, целая живописная и странная фауна, о манипуляциях и передвижениях которой никто ничего не знает и каковая, как мне кажется, очень похожа на "Intelligence Serviec". Но если бы это было правдой...

Е. — Это правда, в этом нет сомнения.

Г. — Ибо если это правда то я позволил бы себе предложить...

Е. — Что?

Г. — Исследовать первоисточник. Если дело серьезное, то и тем более, если опасное, то оно может исходить от какого-нибудь комиссара, пожалуй из самого Кремля.

Е. — Вы опять начинаете выдумывать, вы думаете, что я ожидаю получить от вас совет? Мне нужен этот "Рудольф", он мне нужен для того, чтобы получить от него в качестве доказательства его признание, потому что я знаю, кто послал его в Германию...

Г. — В таком случае мне кажется, что "Рудольф" не так уж и необходим. Можно запросить любого, кто стоит за ним...

Е. — Ну и глупость же... Вам кажется, что я не способен подумать о такой простой вещи? Товарищ Сталин пока еще настроен скептически, но не подлежит сомнению тот факт, что он уверен в том, что основа пакта с Гитлером построена на его и на моей ликвидации. Если замышляется интрига, то он предполагает ее со стороны военных. Кажется у шефа берет верх идея о том, что командование Армией и НКВД должно находиться в одних и тех же руках. Нужно покончить с мыслью о неприкосновенности маршалов: ликвидация Тухачевского как будто бы дала возможность увидеть кое-что для них неприятное... Это дело чрезвычайной важности. Вопрос был бы легко разрешим, но трудность в том, что я должен суметь убедить и доказать это товарищу Сталину. У меня есть приказ не трогать скомпрометированных без его особого распоряжения.

Г. — Поскольку дело касается столь важных лиц, то нужно было бы применить другие меры, косвенные и осмотри-тельные, чтобы раздобыть нужные доказательства для убеждения товарища Сталина... Вы уже знаете, товарищ Комиссар что можете располагать мною, как ни высоко положение особы, но я, всегда, если уж решу, то буду действовать, беря на себя всю ответственность в случае провала. Припомните случай с Гамарником.

Е. — Да, но тогда у вас в распоряжении был немец, кстати говоря, как он сейчас работает?

Г. — Хорошо, очень хорошо. Он пущен в дело, он является начальником одной группы экзальтированных внутри анти-гитлеровской конспирации... Если обстоятельства будут благо-

приятствовать, то мы сможем дойти до того, что в любой момент жизнь Гитлера будет в наших руках.

Е. — Это уже кое-что, но я возвращаюсь к вашему предложению, нам надо это очень хорошо продумать. Вы не можете себе, товарищ, представить каких лиц это касается. Они занимают такое высокое положение, что если бы я и смог доказать их измену, то было бы невозможно устроить для них публичный процесс. Нам нужно будет испробовать новые методы. Никаких процессов и казней. Величественные похороны, речи, цветы. Наш доктор займется в нужный момент их драгоценный здоровьем. Доставьте мне "Рудольфа" и вы уж посмотрите как заболеют Мехлис, Булганин, Ворошилов и этот честолюбивый Молотов...

Г. — Вы страшный человек, товарищ Комиссар... Это люди, которые пользуются наибольшим доверием нашего товарища Сталина! Конечно, теперь уже нет. Я предполагаю, что абсолютным доверием будете пользоваться вы, товарищ Комиссар. Поверьте мне, я приложу весь свой энтузиазм, чтобы добиться раскрытия личности этого "Рудольфа", являющегося ключом ко всему заговору.

Е. — Завтра поговорим об этом. Сейчас я очень устал. Давайте, доктор.

Я сделал инъекцию и мы моментально ушли.

По дороге Габриель не разговаривал со мной, но я сказал бы, что он чувствовал себя внутренне очень довольным, что, как мне казалось, отражалось в его глазах, принявших слегка иронический оттенок.

Он оставил меня в лаборатории и снова уехал, не выходя из машины.

МОЙ МЯТЕЖ

Прошло пять дней, когда я снова увидел Габриеля. Он не сопровождал меня во время моего последнего визита к Ежову. Он прибыл во время ужина. После ужина нам сервировали кофе и коньяк в его кабинете. Эта деталь меня озаботила. Несомненно у него есть какие-то намерения. Я не ошибся. Когда мы сделали по глотку кофе, Габриель начал:

— Как дела, доктор, с нервами? — Я не знал, что ответить на такой редкий вопрос, и он продолжал... — Предполагаю, что хорошо, а? Вы сделались маленьким буржуа... Не расположены ли вы к тому, чтобы принять маленькое участие кое в чем?

— Какого рода, Габриель? Не пугайте меня!

— Ясно, что профессиональное вмешательство.

— В пользу или против кого?

— Доктор, я должен впервые призвать вас к доверию ко мне.

— Доверие к вам? Как к личности или как к человеку профессии?

— В обоих аспектах.

— Вы пользуетесь моим полным доверием, и вы это уже знаете. Кроме того, как же я могу не иметь его, если жизнь моя вот уже в течение двух лет находится в ваших руках? Для моего спокойствия лучше мне иметь к вам доверие, чем сомневаться. Вы можете понять это.

— Два года. Как проходит время! Я думаю, что у вас не было ни одного случая раскаяться в том, что вы мне доверяли? Не так ли?

— Да, конечно.

— Ну и так, вы должны доказать теперь полностью свое доверие ко мне.

— Вы меня немножко тревожите, Габриель.

— Не тревожьтесь, вам никого не нужно убивать.

— Говоря откровенно, я подозревал именно это.

— Какое плохое мнение у вас обо мне! Вот в чем дело. Припоминаете ли вы наш последний визит к Ежову? Разговаривая со мной, он среди прочих вещей изложил мне нечто

хитроумное... Я не подозревал столь тонкой черточки в этих шизофренических мозгах.

— Что это такое было? Я не помню...

— Да, доктор, это та его идея, чтобы упразднить процессы в случае, если должна быть ликвидирована крупная советская персона... Нормальная смерть, пышные похороны, первый почетный караул у трупа - с участием Сталина и всего Политбюро. Теперь вспоминаете, а?

— Да, припомнил, но это как раз не его изобретение: это уже его предшественник хотел ускорить похороны и именно Ежова... Припомните, что именно я был выбран для того чтобы сократить время, оставшееся до погребения нашего теперешнего Комиссара Внутренних Дел.

— Вы правы, я забыл об этом. В таком случае вопрос упрощается. Требуется, чтобы вы, доктор, содействовали заболеванию одной советской персоны. Нет, не делайте такого лица, только привить болезнь, не обязательно, чтобы умер..., во всяком случае - в данный момент. Припомните, что Ежов наметнул именно на вас, когда говорил об ускорении похорон некоторых шефов, в случае удачного доказательства их измены, и вы даже не сморгнули. Я должен предположить, что у вас нет никаких возражений, не так ли?

— Благодаря моему доверию к вам я не буду пытаться скрыть своего отталкивания от такого дела, да и, кроме того, такая попытка была бы глупа, так как вы знаете меня слишком хорошо, при моем положении я не располагаю правом выбора... Если Комиссар распорядится...

— Ежов? В таком случае для чего же я взывал к вашему доверию ко мне? Для того, чтобы сопровождать вас на визит к Комиссару, от которого вы получите приказ, я мог бы избежать столь продолжительного разговора.

— Он не должен знать об этом?

— Нет.

— Разрешите мне высказать вам мое недоумение. Я очень хорошо помню, что вы мне много раз повторяли нечто совсем другое. Когда я иногда выражал сомнение в некоторых случаях, в которых я должен был подчиняться вам, то вы всегда говорили мне, что я могу просить подтверждения ваших распоряжений у Комиссара, я помню, даже, еще больше: вы добавочно говорили мне, что если бы меня спросил кто-либо,

имеющий на это власть, обо всем том, ЧТО известно вам, то я должен был бы отвечать правду обо всем том, что вы сделали. Так ли я помню?

— Вполне точно.

— Поймите, что ввиду столь исключительного случая я осмеливаюсь спросить у вас, каковы мотивы того, что ваш приказ должен быть скрыт от Комиссара.

— Причина очень важная: ибо тот, заболеванию кого вы должны способствовать, это сам Ежов.

Я должен был схватиться за поручни кресла, чтобы не вскочить. Габриель оставался невозмутимым.

— Не беспокойтесь, доктор. Очень жалко терять время подобным образом для того, чтобы потом вам все равно пришлось бы уступить, но других средств нет для этого. В конце концов все это не так непонятно, ибо одновременно вы узнали уже о самом главном. Помните разговор с Раковским? Знаете ли вы, что его не приговорили к смерти? Хорошо, зная все это вы не должны удивляться тому, что товарищ Сталин усмотрел разумным испробовать тот, по своей видимости столь невероятный, план... Тут ничем не рискуется и можно столько выиграть... Если вы напряжете вашу память, то вы сможете кое-что понять.

— Я помню все это довольно подробно, не забывайте, что я слушал разговор два раза, затем два раза писал его, а кроме того переводил. Не могу ли я узнать, известны ли вам те, кого Раковский величал "ОНИ"?

— Чтобы доказать вам мое доверие, я скажу вам, что нет. Мы не знаем определенно, кто такие "ОНИ", но к последнему моменту подтвердилось много вещей из сказанного Раковским, например верно то, что Гитлера финансируют банкиры: с Wall Street. Это правда, а также много чего другого. Все эти месяцы, которые я не виделся с вами, я посвятил исследованию, связанному с информацией Раковского. Правда, я не мог идентифицировать, какие именно лица являются столь поразительными персонами, но является фактом то, что существует своего рода окружение, состоящее из финансистов, политиков, ученых и даже духовных особ с высоким рангом, богатством и властью, занимающих положение, если судить по результатам их позиции, большей частью как посредников, то она оказывается странной и необъяснимой по крайней мере

при свете обычных рассуждений, ибо в действительности они имеют большое сродство с идеями коммунизма. Конечно, коммунистической идеей весьма своеобразной. Но оставляя в стороне все эти вопросы касательно оттенков, линии и профиля, об"ективно, как выразился бы Раковский, они, слепо подражая Сталину в действиях и ошибках, строят коммунизм.

— То, что я слушал и писал, и то, что вы теперь мне иллюстрируете, напоминает мне о тех ораторских периодах, с которыми обращался ко мне Навачин, когда они просили у меня содействия для вашего устранения. Припоминаете ли вы это?

— Да, разумеется. Я даже думал, что было бы более полезно секвестровать его, чем Миллера. В конце концов тут делу помочь уже нельзя и то, что было сказано Навачинным, сводится теперь в связи со всем этим к бесполезному логическому красноречию.

— А посланник?

— Последовали совету Раковского почти что пункт за пунктом. Ничего конкретного. Но не было отказа и не разорвал своих одежд. Наоборот проявил много понимания ко всему. Нет, он не влюблен ни в Англию, ни во Францию. В этом, по-видимому, отражается секретное мнение его великого друга Рузвельта. Осторожно намекнул на прошлые процессы и даже дошел до намеков на то, что много было бы выиграно в общественном мнении американцев в случае помилования в ближайшем времени Раковского. За ним хорошо наблюдали во время сессий процесса в марте, что вполне естественно. Он присутствовал сам на всех, мы не позволили ему привести с собой никого из техников, чтобы помешать всякому "телеграфированию" с подсудимым. Он не профессиональный дипломат и не знаком с определенной техникой. Он был вынужден смотреть, стараясь глазами выразить очень многое, как мне показалось, мы думаем, что он поднял глазами дух у Розенгольца и также у Раковского. Этот последний подтвердил интерес, проявленный во время сессий Девисом, и сознался, что сделал ему тайно знак масонского приветствия. Есть еще одна очень странная вещь, которая уже не может быть сфальсифицирована. 2-го марта на рассвете была получена радиопередача от какой-то очень мощной станции, ясно, что с запада, на-

правленная лично к Сталину, и которая гласила: "Помилование или возрастет угроза наци".

— Не было ли это шуткой или маневром?

— Нет. Радиограмма была зашифрована шифром нашего собственного Посольства в Лондоне. Можете понять, что это нечто весьма важное.

— Но угроза не была настоящей?

— Как же нет? 12-го марта заканчивались дебаты в Верховном Трибунале и в 9 часов вечера Трибунал удалился на совещание. И вот, в этот самый день 12-го марта, в пять часов тридцать минут утра Гитлер дал приказ своим бронированным дивизиям двинуться в Австрию. Конечно это была военная прогулка: были ли причины подумать об этом? Или же мы должны были быть настолько глупыми, чтобы посчитать приветствия Девиса, радиограмму, шифр, совпадение инвазии с приговором, а также молчание в Европе только случайностями? Нет, в действительности мы "Их" не видели, но слышали их голос и поняли их язык. Несомненно - голос и язык слишком ясны.

— Да это очевидно.

— Мы не погрелись в неосмотрительности. Приговор был таким, каким должен был быть. Разве не заверял Раковский, что нападение немцев было бы излишним если бы не было оппозиции? Так мы и покончили с ней. Он спасся в данный момент. При столь ясных фактах Сталин не потерял голову. Он ограничился распоряжением навести информации и одновременно предпринял очень легкое зондирование по дипломатической линии: но этого ничем нельзя доказать. Во всяком случае "Рудольф", который не обладает никакими официальными чинами в СССР, и который даже не является русским, сможет сойти, если это будет нужно, за смелого авантюриста или за американского репортера, охотящегося за сенсациями.

— Но разве вы не сказали Ежову, что не имеете никаких сведений насчет "Рудольфа?"

— Никто не знает о нем больше, чем я. Но Ежов не должен ничего знать. Это приказ.

— Чей?

— Кто же может приказывать что-либо помимо Ежова? Ну, закончим. Если мы слышали в марте "ИХ" слово в последний день процесса, то сейчас, не более, как месяц тому назад,

первого октября они говорили нам вторично. Не менее ясно, не менее громко. Гитлер захватил часть Чехословакии. Теперь в Европе исчезло спокойствие. Англия и Франция дали Гитлеру свое разрешение публично в определенной и утвердительной форме. Есть и еще кое-что более красноречивое. Германия и Польша об"единились, чтобы вцепиться в чехов. Они уже совершили совместное преступление. Это то, что сильнее связывает между собой разбойников. Они попробовали человеческого мяса. "Они" показали нам, как возможно об"единить двоих, даже и сильно ненавидящих друг друга, если целью союза является удовлетворение аппетита. Не хотели ли они предупредить нас, что с такой же легкостью об"единится и Польша с Германией, чтобы пожрать СССР?

— При раз"яснении фактов подобным образом оправдывается наличие недоверия и тревоги.

— А какая же еще другая интервенция может быть возможна? Кроме того, когда игрок проигрывает - а для СССР является проигрышем столь быстрое усиление Германии, - то если вам предоставляется возможность возмещения проигрыша путем только одной игры словами, то чем вы рискуете? Что теряете? Было бы глупо не попробовать. Но я преувеличиваю. Риск есть. Конечно не внешний, а внутренний. Игра может быть опасной. Наше умонастроение как среди масс, так и среди правящих, в высшей степени антифашистское. Мы расстреляли всю оппозицию и провели чистку во всей Красной Армии, обвиняя казненных в том, что они являются гитлеровскими псами и шпионами... Можете себе представить, каким оружием против Сталина было бы доказательство того, что он заключил пакт с фюрером? Способен ли кто-нибудь вообразить себе какое-либо вразумительное раз"яснение этому? Рассмотрите наш собственный случай. В силу исключительных причин нам известны происхождение, причины и факты этого дела. Можем ли мы дать удовлетворительное об"яснение? Вы же понимаете абсолютную необходимость того, чтобы все оставалось в секрете? Настоящий секрет - секрет одного лица.

— А вы и я?

— Вы и я не идем в счет. Оба мы будем молчать по одинаковым причинам. Помимо этого, ни вы, ни я не являемся персонами и не имеем ни военной, ни политической власти.

Мы лишены возможности использовать секрет путем силы. Это не так, как с Ежовым.

— Но не в силу ли системы получается так, что никто не может никому доверять?

— Техника, оправдываемая очень обильным опытом заставляет не доверять ни одному человеку. Доверяют только тогда, когда нет другого выхода, но предварительно стараются получить весьма точные гарантии, в которых ставится на карту жизнь. Каждый начальник, который оставляет на свободе человека могущего предать его, перестает быть начальником, а становится его пленником.

Если это аксиома общего характера, то вы понимаете, как важно иметь это ввиду человеку, который ставит на карту такую огромную и абсолютную власть, какой обладает Сталин, власть столь похожая на власть библейского Бога, и припомните к тому же, что даже при наличии Бога, Люцифер взбунтовался для того, чтобы низвергнуть Его с трона. Если так могло случиться, то только потому, что Люцифер был оставлен на свободе. Нет, Сталин не повторит этой ошибки божественного простодушия.

— Конкретно, что вы от меня желаете?

— Чтобы вы вывели на какой-то срок из сражения Ежова. Так, чтобы вы сделали его более больным, неспособным работать и чем бы то ни было заниматься.

— Но нет, мне очень жаль. Перед моими глазами еще стоит образ Левина и того другого медика. Несомненно, что они подчинялись Ягоде в то время, когда он пользовался полной властью... и я вижу, до чего они дошли. Какому риску подвергнусь я, послушавшись вас, поскольку мне неизвестны ваши официальные полномочия, да еще совершив покушение на здоровье одного из Комиссаров СССР, и не более и не менее, как по Внутренним Делах? И не приводите больше аргументов. Нет, это окончательно.

— Кто должен вам дать приказ? Выбирайте. Ворошилов?

— Не, это один их тех, на кого Ежов указал, как на заговорщика.

— Молотов?

— Он в таком же положении, нет.

— Калинин?

— Кто слушается Калинина?

— Значит... Кто же должен дать приказ, чтобы вы его выполнили?

— Сталин, поймите, что в данном случае не годится никто другой.

Габриель встал и с аффектированной твердостью воскликнул:

— Сталин вам его даст.

Больше он ничего не сказал и ушел.

СОМНЕНИЯ И СТРАХИ

Я не мог заснуть. Когда Габриель ушел, то я оставался некоторое время спокойным и довольным самим собой. Придя в свою комнату я часами раздумывал об этом. Мое положение может стать очень серьезным. Это впервые, что я осмелился взбунтоваться. У меня есть причина, очень основательная причина, но... достаточно ли этого, чтобы не бояться? Нет. Если на самом деле дело идет о покушении на Ежова, на которое решился Габриель, будучи в компании сообщников или же самостоятельно, то моя жизнь находится в опасности, ибо если я буду оставаться в живых, то он и остальные будут находиться у меня в руках..., и он уже изложил мне свою основную теорию в отношении таких случаев... Если дело решено лицами столь же высокого ранга, как и сам Ежов, заинтересованных в пакте с Гитлером за спиной Сталина, то я все равно подвергаюсь опасности. Я должен увидаться с Ежовым... Когда? Завтра я должен делать ему ин"екцию, они будут бояться, что я смогу сказать ему, и постараются избежать этой опасности, устранив меня физически раньше. У меня есть средство позвонить сейчас же Комиссару и донести сразу же о махинациях. Я могу сделать это. Но вероятно телефоны находятся под контролем поскольку идут отсюда, а теперь еще и с тем большим основанием. Я много думал и в таких размышлениях меня застал рассвет. Я отсчитываю часы: семь, восемь, девять. Я одеваюсь. Решаюсь сделать попытку. Спускаюсь, чтобы протелефонировать. Дрожу, берясь за ручку двери. Щеколда не поворачивается, пробую другой и третий раз. Я заперт. Это ново для меня, с тех пор, как я вернулся из моего первого путешествия, меня уже не запирали. Мой страх увеличивается. Меня мучит мое воображение, рисующее передо мной сцены убийства. Сцена насильственной смерти чередуется со сценой спокойной, естественной, не воспринимаемой смерти, но не знаю, что меня приводит в большой ужас. Я задаю себе вопрос, "А может быть это в самом деле дело Сталина?" — и отвечаю себе утвердительно, но в этой мысли я не очень уверен. Я хватаюсь за нее как отчаявшийся. Это естественно, у меня нет больше никакого другого благоприятного решения. Если это не так, то

я вижу, что ничего не могу больше сделать или предпринять. Я решаюсь не показывать вида, что я заперт.

В двенадцать часов меня зовут, чтобы я спустился завтракать. Я делаю это с радостью и определенным доверием, это обозначает возвращение к нормальной жизни. Когда я заканчиваю, то внезапный импульс заставляет меня подойти к телефонному аппарату в вестибюле. Я снимаю трубку и вызываю один из тех номеров, которые мне дал Габриель во время дела с Крамером, но ответа нет, даже не слышно сигналов вызова. Интендант, появившийся у меня за спиной, сообщает мне, что аппарат испорчен.

— С кем вы хотите говорить? — спрашивает он меня.

— С товарищем Гавриилом Гавриловичем — отвечаю я.

— Это срочно? — снова спрашивает он меня.

— Нет, нет — отказываюсь я. — Я поговорю с ним, когда будет исправлено.

Я лишен связи с внешним миром, в этом нет сомнения.

Я ВИДЕЛ "БОЖЕСТВО"

Целый день я провел в непрерывной тревоге. Состояние моего духа можно сравнить с состоянием присужденного к смерти. Конечно, приговор мне не известен, не отрицаю того, что у меня имеется надежда, но ее имеет и обвиняемый, надеющийся на помилование до самого последнего момента своей жизни.

После одиннадцати звонит звонок, один, два, три вызова, никто не подходит. Я не осмеливаюсь. Я повышаю голос и кричу, подзывая к телефону. Наконец подходит интендант. Я пытаюсь стараться понять то, что ему говорят, стоя в нескольких шагах от него, но не удачно. Он вешает трубку и обращается ко мне:

— Товарищ Кузьмин просит вас, чтобы вы не ложились.

— Больше ничего? — спрашиваю я.

— Больше ничего — отвечает он.

Один, два, три, четыре долгих часа. Я выпил больше, чем всегда. Держусь, но оптимизм отсутствует. Мой внимательный слух воспринимает на далекое расстояние, да, приближается и нарастает гудение мотора. Остановится? Задержится? Мое сердце колотится. Да, это Габриель. Я вижу, как он входит. Мое положение ужасно. Я смотрю на него с мучительным беспокойством на лице. Он нормален. Здоровается со мной с безразличным видом и делает мне знак, чтобы я следовал за ним. Мы входим в его кабинет и он без подготовки говорит:

— Что, доктор, вы хорошо подумали? Вы продолжаете отказывать в послушании?

— Да — отвечаю я упавшим голосом.

— Что делать! Я очень сочувствую вам лично, поверьте мне, что я разочаровался в вас. У меня была иллюзия, что я пользуюсь вашим полным доверием. В конце концов одевайтесь. Едем в Кремль.

Ноги у меня ослабели, я стоял, как одурелый, не зная что сказать и не двигаясь.

— Что с вами? Идите, идите,

Мы поехали с большой скоростью в Москву. Через час тусклые стекла начинают делаться более светлыми, и я пони-

маю, что мы в"ехали в город. "Правда ли это?" — задаю я себе вопрос один и другой раз — "Или он отвезет меня обманом в другое место?" — Габриель курит и молчит.

Короткая остановка. "Наденьте это". Это большие очки. "Идем", и Габриель открывает дверку и выходит. Я следую за ним. Офицер. Я хорошо не вижу через свои темные очки. "Поднимите себе воротник пальто". Опять приказывает он мне. Двойная дверь, входим вдвоем в узкую кабину, где находится еще один человек в форме. Закрываются двери. Поднимаемся. "Но Кремль ли это?" — спрашиваю я себя. Не думаю, я слышал разговоры о больших предосторожностях и контроле, который производится прежде, чем туда удастся зайти. Остановка. Выходим. Просторный корридор, почти что монументальный. Архитектура его не похожа на современную. Двери по обеим сторонам. Внушительные часовые на расстоянии каждые десяти, двенадцати метров. Продвигаемся вперед без затруднений, без задержек. Входим в одну из комнат. Никого нет. Сразу же выходит из боковой двери человек с решительным видом. Заметно, что это, по-видимому, высший начальник, он тут как у себя дома. Учтиво кланяется, обращаясь к Габриелю, но не теряя вида своего превосходства. — "Давайте", — говорит он просто. Габриель уже понимает значение этого слова. Он вытаскивает из под мышки револьвер и кладет его на стол. Я не знаю, что делать.

— Вы, товарищ, — приглашает меня предполагаемый шеф.

— У меня нет оружия.

— Оставьте здесь все.

— Понимаю. — Опустошаю на стол свои карманы, не оставив в них ни одной бумажки, ни одной папиросы. Так же сделал и Габриель без чьего бы то ни было приглашения, затем он сам предложил человеку в форме, который нас сопровождал: "Если угодно, товарищ". Со всей естественностью он дал себя обыскать. Обыск не является пустой формулой: его делают основательно. Затем обыскали меня.

— Минуточку, товарищ — и шеф ушел туда, откуда он появился. Не прошло и нескольких секунд, как послышался приглашенный звонок. Человек в форме открывает дверь, через которую скрылся другой, и пропускает нас. Габриель идет впереди. Стена, видно, очень толстая. Расстояние между две-

рю, через которую мы вошли, и другой, закрытой, около полутора метров. Габриель толкает ее и входит в другое помещение, а я не отстаю от него. Комната обыкновенных размеров. В ней находится только один этот самый шеф. Он показывает нам знаком, что нужно подождать. В этот момент через другую дверь входит еще один человек с папкой под мышкой. Очень корректно кланяется Габриелю, слышу, что он называет его "товарищ Берия". Они оба отходят от меня на несколько шагов и оживленно негромко разговаривают. Замечаю по Габриелю, по его мимике, что он говорит с откровенностью и с доверием. Другой слушает его с улыбающимся видом, но на его круглом полном тщательно выбритом и лоснящемся лице не пошевелится ни один мускул. Одет безукоризненно. Одежда хорошо выглажена, а сапоги блестят, как зеркало. Характерная особенность этой особы: он сверкает. Это то впечатление, которое сохранилось у меня. "Внимание, товарищи" — предупреждает человек, являющийся, по-видимому, хозяином этого помещения, поднимаясь и глядя на свои ручные часы. Он пересекает комнату и исчезает за дверью, охраняемой изнутри. Снова появляется на момент. Подзывает рукой Габриеля, а этот тоже делает знак мне, чтобы я следовал за ним. Тот шеф придерживает дверь, и мы проходим вперед: Габриель первый, я позади него, а шеф за нашими спинами. Там тоже две двери. Габриель открывает другую. Комната в полутьме, более освещенное пространство различается у противоположной стены. Я чувствую снова, как меня подталкивают, чтобы я стал рядом с Габриелем, это делает шеф, продолжающий оставаться у нас за спиной. Теперь я вижу. Там, на расстоянии нескольких метров — два человека. Один читает громким голосом при свете настольной лампочки, позади стола на кресле, различается другой, но он не в фокусе света, Я хорошо вижу, что это "он". Он сидит с очень сильно откинутой назад головой, как бы глядя в потолок. Между пальцами он держит горизонтально перо или карандаш. Слышен четкий голос чтеца... Что он читает? Хочу запомнить: "Между обеими занавесками появляется рука, слышен лязг металла, и стальное кольцо опоясывает его руку... Молчание прерывается адскими проклятиями..." "Он" зашевелился. Чтец замолкает, встает и уходит. Дается больше света и освещается все помещение. Да, это "он". Он уже видит нас. Он берет карандаш в одну руку и делает

нам знак, чтобы мы подошли ближе. Я чувствую подталкивающую меня руку. Без этого, пожалуй, я не сдвинулся бы с места. Габриель проходит более решительно первый, а я следую за ним.

Сталин приподнялся и уже выходит из-за стола, размеренно и со спокойными движениями. Он останавливается у угла доски. Вид в точности такой, как я видел его на стольких фотографиях. Он не дает времени на то, чтобы с ним поздороваться. Обращаясь к Габриелю, он говорит:

— Дело Николая Ивановича... Доктору нужен непосредственный приказ? Да? — смотрит на меня: — По делу Николая Ивановича приказывается вывести его временно из строя, доктор... — Теперь он опирается на край стола и добавляет,

— И если товарищ Гавриил Гавриилович прикажет вам в какой-нибудь день ликвидировать его, то ликвидируйте, это распоряжение Партии.

Через его почти что прищуренные веки, как бы иронически подмигивающие, промелькнуло что-то, показавшееся мне похожим на острие двух ножей. Я почувствовал как бы укол в своих зрачках.

Он обратился к Габриелю:

— Это верный человек, с гарантиями? Да? Вы уже знаете, товарищ, ваша собственная ответственность.

И затем произошла перемена в его тоне и в его жестах. Он положил одну руку на плечо Габриелю, как бы притягивая его к себе, ибо Сталин был более низкого роста, и даже мне показалось, что он ему по-настоящему улыбнулся.

— Ежов все по-прежнему так же решительно хочет поймать Рудольфа?

— С каждым днем все больше.

Сталин похлопывает Габриеля своей большой ладонью по плечу.

— С каждым днем больше? Ну, значит, товарищ, подчинитесь и задержите самого себя... — Сталин смеялся, теперь это было видно вне сомнения, и Габриель вторил ему, как будто бы это было очень остроумно.

Слышно было, что открылась дверь. Я машинально повернул голову. В дверях задержался скромный и невидный Молотов, эта голова была неповторима, я узнал его с первого взгляда. Это продолжалось один момент. Потом Сталин заме-

тил его. Он попрощался с нами без церемоний.

Мы вышли. Снова задерживаемся в секретариате... Тот, кого называли Берией, еще ожидает. Габриель опять разговаривает с ним наедине несколько минут. Затем они прощаются и мы выходим. Нам возвращают наши вещи. И без всяких препятствий, сопровождаемые все время тем же офицером, мы доходим до крытой остановки, где нас поджидает автомобиль. Садимся в него и едем. Только на один момент останавливаемся в воротах.

Габриель не произносит ни слова. Я чувствую, будто у меня не моя голова. Сцена повторяется в моем воображении. Снова вижу Сталина. Он вульгарен по типу и по манере говорить. Чувствую, как те гигантские размеры, которые придал ему мой страх, уменьшились до размеров ниже нормальных. Но так было только на один момент, благодаря напору чувств. Вдруг опять я сразу вижу его огромным, бесконечным, господином жизни и смерти. Да, это "бог".

Я СОДЕЙСТВУЮ ЗАБОЛЕВАНИЮ ЕЖОВА

Габриель очень торопится. После своего возвращения из Кремля я должен решить, когда и как должен я привить болезнь Ежову. Я настолько не верил этому, что даже не подумал раньше ни о форме, ни о средстве. Мне надо напрячь свои мозги. Габриель молча ожидает и время от времени молча поглядывает на свои часы, я тем временем прохаживаюсь и думаю. Я решаюсь на малярию⁸. Я ему говорю об этом. "Откуда можно получить это?" — спрашивается он. — "Здесь в лаборатории нет этой культуры" — отвечаю я ему. — "Завтра день инъекции, посмотрим, смогу ли я через четыре часа принести их вам".

... ..

Я выполнил это. Во время моего последнего визита я захватил с собой пустую ампулу. Мне нужно было принести культуру малярии в точно такой же ампуле, как ампулы с цианистой солью и сделать там подмену. Я боюсь.

Меня сопровождает Габриель, он неизменен, как всегда. Пока я подготавливаю инъекцию, он оживленно разговаривает с Комиссаром, отвлекая его. Я делаю инъекцию, как всегда. Ежов не чувствует обычного сердцебиения, но это не удивляет его. Мы уходим бесстрастно, как два преступника-ветерана.

⁸ По уже разъясненным причинам меняется метод заражения, употребленный Ландовским N del T.

НОВЫЙ КОМИССАР

Декабрь, 15 - Габриель посетил меня. Он сообщил мне об устранении от должности Ежова, уже прошло сколько-то времени, как его послали на Кавказ лечиться от его малярии. Ему наследует некий Берия. Он напомнил мне, что это то лицо, с которым он разговаривал в секретариате Сталина. Да, я помню его: нарядный, блестящий, бесстрастный, как директор банка, пожалуй, как популярный медик.

На Рождество и на Новый Год я в одиночестве. Как никогда мучают меня воспоминания. Боже мой, до каких же пор! Увижу ли я их когда-нибудь? Неужели я их больше не увижу?

ГОВОРIT СТАЛИН

(Часть одной из речей Сталина об интернациональной политике, произнесенной им 10-го марта 1939 года перед Центральным Комитетом Коммунистической партии, вырезанная из газеты "Правда и найденная среди бумаг доктора Ландовского).

"Вот самые важные события за упомянутый период, в течение какового вспыхивает новая империалистическая война. В 1935 году Италия совершает нападение на Эфиопию и побеждает ее. Летом 1936 года Германия и Италия делают военную интервенцию в Испании, причем Германия располагается на севере Испании и в Испанском Марокко, а Италия на юге Испании и на Балеарских островах. В 1937 году Япония, овладев сперва Маньчжурией, занимает северную и центральную часть Китая, Пекин, Тяньзинь и Шанхай и начинает выкидывать из оккупированных зон иностранцев-соперников. В начале 1938 года Судетская область в Чехословакии. В конце 1938-го года Япония занимает Кантон, в начале 1938-го года - остров Хайнан.

Таким образом война, приближающаяся неприметным образом к ряду государств, захватывает в сроду орбиту до 500 миллионов людей, расширяя сферу действий на колоссальную территорию от Тяньзиня, Шанхая и Кантона, затем через Эфиопию до Гибралтара.

После первой империалистической войны государства-победители, в особенности Англия, Франция и Соединенные Штаты Америки создали между собой новый режим отношений, режим послевоенного мира. Эта система имела в своих главных основах договор девяти держав на Дальнем Востоке, а в Европе Версальский договор и серию других. Сообщество Наций занималось регулированием отношений между различными странами, входящими в эту систему на базе единого Фронта государств для коллективной защиты своей безопасности. Несмотря на это, три агрессивные державы разгромили сверху до низу всю эту систему послевоенного мира, благодаря ногой империалистической войне, затеянной ими. Япония

превратила в ничто договор девяти держав. Германия и Италия нарушили Версальский договор. Для того, чтобы иметь свободу действий, эти три страны вышли из Сообщества Наций.

Таким образом, новая империалистическая война стала фактом.

... ..

Характерным для новой империалистической войны является то, что она пока что еще не сделалась общей войной, войной всемирной. Агрессивные нации ведут войну, всяческим образом нарушая интересы неагрессивных стран, в первую очередь Англия, Франция и Соединенные Штаты Америки, между тем, как эти последние отбрасываются назад и отступают, делая уступки, одну за другой, в пользу агрессоров.

Таким образом на наших глазах реализуется весьма явным образом раздел мира и его сфер влияния за счет стран - не агрессоров без всякой попытки сопротивления и даже с некоторой благосклонностью со стороны этих последних.

Невероятно, но это факт.

Как объяснить странный и односторонний характер этой новой империалистической войны? Как возможно было то, что страны - не агрессоры, располагающие колоссальными возможностями, так легко и без сопротивления отказались от своих позиций и пошли на такое количество всяких уступок для удовлетворения агрессоров?

Случилось ли это благодаря слабости неагрессивных стран? ... Очевидно, что нет... Неагрессивные демократические государства в своей совокупности бесспорно сильнее фашистских государств, как с экономической, так и с военной точки зрения.

Как же объяснить тогда постоянные запросы этих государств агрессорам?

Этот факт мог бы быть объяснен, например, их страхом перед революцией могущей вспыхнуть в случае, если неагрессивные государства вступят в войну, и эта война превратится в мировую. Политические буржуазные деятели, конечно, знают, что первая мировая война дала победу революции в одном из самых крупных государств. Они боятся того, что и вторая

империалистическая война также сможет дать победу революции в одной или нескольких странах.

Но в данный момент этот мотив не является ни главным, ни единственным. Главная причина заключается в отказе со стороны большинства неагрессивных стран и прежде всего Англии и Франции, от коллективной политики безопасности, от политики коллективного сопротивления в отношении буржуазии, она становится теперь политикой "невмешательства" на позиции "нейтралитета".

В общих чертах эта политика невмешательства могла бы быть обобщена следующим образом: "каждая страна должна защищаться от агрессоров, как она желает и как может, мы не вмешиваемся и тем временем сохраняем торговые отношения как с агрессорами, так и с жертвами". В реальности желе политика невмешательства обозначает сообщничество с агрессором в отношении завязки войны и результатом этого является ее очевидное стремление и желание не мешать агрессору в его темных делах. Например: не мешать Японии вести войну с Китаем, или еще лучше, с Советским Союзом, не мешать Германии вмешиваться в европейские дела и дать ей возможность готовиться к войне против Советского Союза, заставив все воюющие державы завязнуть в новой войне, исподтишка поощряя их и выжидая, пока они ослабнут взаимно и не потеряют сил, а тогда, когда они будут уже в достаточной мере утомлены, то подняться на ноги со свежими неистощенными силами начать действовать в "пользу интересов мира", конечно, и продиктовать воюющим ослабевшим странам свои собственные условия!

Элегантно и очень дешево.

Возьмем, например, Японию. Очень симптоматично то, что перед ее вступлением в Северный Китай все французские и английские газеты кричали на все лады, что Китай слаб, не способен к сопротивлению и что Япония могла бы покорить его своей армией в два или три месяца. В результате этого, американские и европейские политики решились ожидать и наблюдать. Когда, несколько позже, Япония развернула свои операции, ей уступили Шанхай, сердце иностранного капитала в Китае, ей уступили Кантон, центр монополизированного английского влияния в Южном Китае, ей отдали Хайнан, позволили окружить Гонг-Конг.

Разве не является правдой то, что все это поощряет агрессию? Получилось так, как будто бы было сказано: "Подвергай себя все большему риску в войне, а мы потом поглядим!"

Или же вот возьмем в качестве примера Германию. Ей уступили Австрию, несмотря на принятое решение защищать независимость таковой, ей уступили Судеты, предоставили Чехословакию самой себе, нарушив все обязательства, и, наконец, начали с большим шумом распространять в большой прессе ложь насчет предполагаемой слабости русской армии, насчет "разложения русской авиации", насчет "беспорядков", происшедших в Советском Союзе, толкая таким образом, немцев на восток, обещая им легкую военную добычу и повторяя им: "Достаточно будет, если вы только начнете войну против большевиков, а потом все пойдет хорошо." Надо признать, что все это тоже ничто иное, как поощрение агрессора.

... ..

Еще более симптоматичным является тот шум, который был поднят некоторыми политиками и представителями англо-французской и североамериканской прессы с целью возбудить злобу в Советском Союзе против Германии, нагнетания атмосферы и вызвать войну с Германией без очевидных причин.

... ..

Также более симптоматичен тот факт, что некоторые политики и представители Европейской прессы и Соединенных Штатов Америки, потеряв терпение в ожидании "кампании против Советской Украины", начинают восставать сами и отступать в закулисной политике невмешательства. Они откровенно говорят и пишут черным по белому, что они жестоко разочаровались в немцах, ибо вместо того, чтобы продвигаться дальше на восток против Советского Союза, те повернулись к западу и просят и требуют колоний. Можно было бы считать, что немцам предоставили области в Чехословакии в качестве вознаграждения за заключение соглашения начать войну против Советского Союза, и что теперь немцы уклоняются от уплаты по его букве и отсылают кредиторов.

... ..

Вот это настоящее обличье политики невмешательства, находящейся сейчас в действии.

Это ситуация в капиталистических странах.

Я читал речь Сталина от 10-го марта. Мне не доставляли газет в течение нескольких дней, что случается частенько, и сейчас я получил их около семнадцати номеров.

Гитлер занял Чехословакию. Если я увяжу речь Сталина с этим фактом, то не знаю, что и думать. Не продолжает ли выполняться все, заявленное Раковским? Продолжают ли Демократии и дальше разрешать Гитлеру укрепляться для нападения на СССР? Сталин определенно разоблачает это в таком именно смысле.

Но как раз его заявление и заставляет меня отнестись к этому скептически. Имея возможность видеть и наблюдать его лживость на процессах, я думаю, что он никогда не говорит правду. Что проделал за эти месяцы Габриель, изображая на полной свободе "Рудольфа"? Не захватил ли Гитлер Чехословакию с разрешения Сталина, а не с разрешения демократий?... Я склонен думать, что этот читатель полицейских новелл способен на все. Почему он разоблачает сейчас демократии, как соучастников агрессоров, если он знает об этом уже более года? Я теряюсь в целом море путаницы. С каким удовольствием я обсудил бы все это с Габриелем!

Верным кажется то, что война неизбежна. Произойдет ли она между Германией и СССР или между Демократиями и Германией?

Выполнится ли полностью "Их" план?

Достоверно или нет то тонкое подобие между Финансовым Капитализмом и Коммунизмом, о котором заявил Раковский? Но то, что, по-видимому, неминуемо и неизбежно, так это то, что вся Европа будет принесена в жертву и разрушена.

Меня кидает в дрожь. В европейских государствах, которые подлежат разрушению, при наличии в них всей их расточительности, разложения и порочности, я, живя там, не мог бы, все-таки, сделаться тем вынужденным преступником, каким я являюсь сейчас. Имелись преступники всякого рода,

шедшие на преступление из-за денег, но никого не принуждали к тому, чтобы он стал убийцей под угрозой истребления его жены и детей, под угрозой адских мучений.

Только с такой конкретно личной точки зрения я хочу рассматривать мировую катастрофу, ибо внутри меня живет постоянно и ежечасно терзающий меня вопрос: вернет ли мне мою супругу и моих детей эта страшная война, висящая над нами, как угроза? И мне тогда хочется закричать, как сумасшедшему: если это так, то будь благословенна война.

1-го МАЯ 1939 го ГОДА

Когда я стоял у большого окна в зале лаборатории и наблюдал за прилетающими и улетающими соединениями авианов, наполняющими пространство грохотом своих моторов, то чья-то рука оперлась на мое плечо. Это Габриель, это Габриель, но он кажется другим. Он с живостью здоровается со мной. Я не могу наглядеться на него. Его серьезная и измученная физиономия напоминает мне его в те моменты, когда покончила жизнь самоубийством Лидия. Но теперь его лицо не такое, тогда на нем было видно бешенство, сдерживаемая ярость, жажда убивать. Теперь - нет, боль, да, но сдержанная, упорная, она, казалось, может продолжаться целую вечность. Я смотрел на него и не мог даже заговорить. Вопросы стремились сорваться с моих губ, но меня охватил страх, и я не осмелился.

Он провел здесь целый день. Два раза мы ели вместе, но он говорил мне только о самом необходимом. Он ел очень мало, и я заметил, что его мысли часто где-то отсутствуют.

Габриель уехал 2-го числа и вернулся 5-го. Вид у него такой же самый.

Я не могу догадаться о причине его страдания или его трагедии, Но его подавляет что-то необъятное. Я хочу отгадать, никто, никогда не мог читать в лице этого человека так, как я. Не напрасно в течение уже почти что трех лет я изучал малейшую мимику его лица с мучительным беспокойством преступника, осужденного на смерть и желающего узнать, помилован ли он. Затем без всяких комментариев он сообщил мне о замене в Комиссариате Иностранных Дел Литвинова Молотовым.

— Это обозначает войну? — спросил я не удержавшись.

— Да.

— Между какими государствами? Вы восторжествовали?

— До этого момента восторжествовали, если это вам доставляет удовольствие. Восторжествовал Сталин.

— Раздел Польши?

— Уже договорен.

— А "Они"?

— До этого момента выполняли. Независимость Польши

гарантировали Англия и Франция, с того времени, как была взята Чехословакия.

— Эта гарантия обязывает их в отношении какого-нибудь агрессора?

— Да, конечно, тут нет разницы.

— В этом случае еще рано уверять о том, что они нападут на двух агрессоров. "Они" в любой момент будут располагать свободой.

— Теоретически да, практически нет.

— Как же это так?

— Франция и Англия сейчас в военном отношении и на земле и на воздухе слабее Гитлера. Нам это хорошо известно.

— Возможно ли это?

— Это правильно и в такой степени, что демобилизация, определенно проведенная во Франции и Англии была той реальной гарантией, которая дала нам возможность решиться на пакт с Гитлером насчет раздела Польши. Вы понимаете, что когда решаются на военные действия, то недостаточно одних словесных гарантий.

— Настолько совершенно отсутствует военная подготовка?

— Настолько, что если бы в СССР находился человек, виновный только в половине подобной неподготовленности, то он получил бы пулю на Лубянке, но там, нет, виновные управляют, пользуются всеми почестями и богатствами. Это невероятно, даже если сам и видишь это. Общая франко-английская демобилизация относится согласно "Им", к старому плану, по которому хотели заставить Гитлера напасть на СССР. Если бы Франция и Англия были вооружены, то он никогда не осмелился захватить базы для атаки - Австрию, Чехословакию, Мемель, который он захватил, а тем менее решился бы на выступление против СССР. Несмотря на свою манию величия Гитлер не оставил бы у себя в тылу солидной англо-французской армии.

— Но, а теперь...

— Положение, создавшееся против Сталина, поворачивается к нему благоприятным образом, Если, согласно заключаемому пакту, мы нападём на Польшу, то не существует коалиции, способной объявить войну Советскому Союзу или райху.

— Даже если включится Америка?

— Она сейчас тоже не вооружена. Участие Соединенных Штатов останется, по-видимому номинальным в течение нескольких лет. В общем тут может возникнуть запутанная ситуация, но два обстоятельства должны дать результаты, благоприятные для нас.

— Какие?

— Что нападение на Польшу вызовет всеобщую войну или же ее не вызовет.

Если будет всеобщая война, то демократии не смогут нападать на двух агрессоров, разве что случится абсурд с военной точки зрения, что они атакуют одного агрессора, в случае нападения им надо будет выбирать, а география содействует тому, что они нападут на Гитлера, это так, если верить в тех "невесомых", о которых сигнализировал Раковский. Другая возможность, что не осмелятся напасть ни на двоих, ни на одного. В этом случае вы понимаете, что наше положение тоже благоприятно для нас. Пол Польши, Литва, Эстония и Латвия - это нечто достаточно существенное в отношении риска.

— Также еще и три Балтийских государства?

— Ясно. Пакт заключался в плане равенства. Советский Союз должен получить компенсацию, соответствующую тому, что захватила Германия. Три балтийских государства не эквивалентны Чехословакии и Австрии, но еще имеется Бессарабия, чтобы уравновесить.

— Не кажется ли вам все это слишком великолепным? Не желаете ли вы, если возможно, высказать мне свое личное мнение?

— Я думаю, как и Гитлер, что сейчас не будет всеобщей войны.

— В этом случае - раздел и мир...

— Разумеется, за исключением одного случая, которого мы не приняли в расчет.

— Какого?

— Что демократии нас обманывают и, и что наш пакт с Гитлером - это их хитрая уловка.

— Как же это может быть?

— Очень просто, что Сталин, думая, что он нападет вместе с Германией на Польшу, получит такой сюрприз, что на него нападут Польша и Германия.

— И вы думаете, что это возможно?

— Все возможно. Кто может думать в настоящий момент, что Сталин и Гитлер союзники? Если возможен союз между капитализмом и фашизмом, то почему не может быть возможным союз между капитализмом и капитализмом? В пределах принятой политической логики гораздо более естественным кажется объединение двух буржуа.

— И нет никаких средств перед лицом такой опасности?

— Да, это уже обдумывалось: Гитлер должен напасть первый.

— И он согласен на это?

— Понятно. Это частичное доказательство, что он не верит во всеобщую войну. Поэтому то обстоятельство, что он будет атаковать первый, хотя это будет стоить ему больше крови, представляет собой для него некоторую выгоду и гарантии против его союзника Сталина. Выгода заключается в том, что он приведет в движение свои линии и продвинет их вперед на случай, если нужно будет сдерживать поползновение Сталина напасть на него. Понимаете?

— Да. Нарушится доверие между союзниками...

— Нарушится дипломатия... Но согласитесь с тем, что если план Раковского будет выполнен до конца, и европейские государства разгромят друг друга, оставив в покое Сталина, несмотря на его пятикратную агрессивность, - ведь она пятикратная, не так ли? - то существование "Их" станет очевидностью. Кто может быть способен на такую колоссальную и необыкновенную вещь? В конце концов увидим. А пока что не стоит заниматься гаданиями.

— Единственное, что вы мне еще не разъяснили - это, что же выиграют "Они", по крайней мере, непосредственно, в ближайшее время. Нет ли у вас каких-нибудь догадок насчет этого?

— Отчасти, да, "Они" так же, как и Сталин, надеются на то, что европейская война, доведенная до крайней степени самоистребления, даст возможность восторжествовать коммунистической революции на западе, согласно тому, как об этом учит опыт.

— Это значит, что Сталин доведет границы СССР... но до каких пределов же, до Рейна, до Сены или до Гибралтара?

— Официально да. Но я чувствую интуитивно, что их альтруизм не так уж велик. Если мы обезглавили в СССР троц-

кизм, т.е. коммунизм, подчиняющийся финансам, то они будут надеяться на то, что воспользовавшись этой колоссальной бойней и потрясениями в Европе, они смогут поставить во главе новых коммунистических республик своих подставных лиц, которые, будучи включенными в СССР и в Коминтерн, послужат им в качестве "Троянского коня", их мечта, с целью попытаться снова овладеть властью в СССР.

— И новые процессы и новые чистки!

— Разумеется, но есть еще и другая гипотеза: нет ли у них в самых высоких кругах какого-нибудь "их" человека, абсолютно нам неизвестного, но которого они считают имеющим возможность стать наследником Сталина? Сталин сметен. Если трудно уничтожить его при помощи покушения, а "Они" будут пытаться сделать это с той же настойчивостью, как и до сих пор, то всегда может подвернуться случай, вероятно и то, что он может умереть естественной смертью. Он еще не очень стар, но когда-нибудь настанет его конец... Не ожидают ли "Они" этого момента с тайным "царевичем"? Как видите, проблемы эти реальны и заслуживают того, чтобы товарищ Берия страдал бессонницей...

Больше я не мог получить от Габриеля никаких разъяснений.

Я с ужасом размышлял обо всем том, что раскрылось передо мной: об этой дьявольской хладнокровности и дьявольском уме, которые действуют в целях спровоцирования войны и совершения преступлений против человечества. И я задавал себе вопрос: "Что значат ужасы Лубянки перед лицом такого преступления? Это развлечения детей, играющих в преступников и убийц."

КОНЕЦ

На этом, собственно говоря, заканчиваются воспоминания доктора Иосифа Ландовского. Дальше следует много неразборчивых страниц без всякого смысла и порядка, в которых тысячи раз повторяются имена его супруги, его дочерей и сына.

По-видимому, он потерял рассудок после того, как прочитал нижеследующее письмо:

Мой добрый друг:

Я окончил читать то, что вы написали. Но не бойтесь, доктор. Ваша любовь к вашей супруге и детям - это нечто большое и прекрасное. Поверьте мне, что меня это взволновало. Мое сердце, которое я считал уже умершим для любых человеческих эмоций, забило в жалостливом аккорде с вашим.

Покидая вас, я должен изложить вам кое-какие разъяснения. Я видел, как вы все время мучились от жестоких угрызений своей совести. Вы считаете себя, жалким убийцей, недостойным прощения от Бога и от людей. Нет, доктор. Вы не являетесь злым преступником. Сами не зная этого, вы были человеком, боровшимся против сил зла.

Вы много видели и о многом догадались, но вы никогда не дошли до того чтобы заподозрить, кем же вы были в реальности, ибо вы не были способны постигнуть того, кем был я.

Припомните, что я вам говорил той ночью в Париже, вы посчитали все ложью и проверкой. Помните ли вы это? Но все это было правдой. После того, как рушился мой план, и я был принужден опять двигаться дальше на галере Террора, прикрепленный к ней цепью моей матери, я был разъярен и моя ярость понудила меня убить вас. Я сознаюсь в этом и прошу у вас прощения, как и я простил вас в дальнейшем, видя, что мы оба были рабами в силу одинаковой любви.

Вы не были убийцей. Я должен вам разъяснить это. Если вы всегда думали, что поступали плохо, то это получалось потому, что вы не знали реальных побудительных причин моих распоряжений. Если бы я мог открыть вам причину и следствия, то вы поступили бы точно так же, как поступал я. Вы были моим товарищем в наиболее безумной и отважной борьбе человека, кото-

рый был способен сражаться сам против ада.

Да, друг, меня превратили в демона. Во мне убили Бога, любовь, совесть и родину, но когда в этот ад втащили мою мать, то тот демон, в которого они меня превратили, взбунтовался против всех с бесконечной сатанинской ненавистью... Я нашел во внутренней борьбе Партии чудесные возможности для своей ненасытной мести. Как я их пытал! Как я их убивал! Как я заставлял их убивать друг друга! Но в этом мире зла - убийство, жестокость и криминальный ум - это крупные заслуги для того, чтобы иметь возможность подняться на самые высокие вершины власти. И я поднялся по ним. Не замечая во мне честолюбия и любви к чинам, Сталин считал меня мистиком, влюбленным в его непреклонную "божественность". И я был таким, каким и вы видели меня в некоторые моменты. Вообразите себе меня таким всегда, день за днем, год за годом.

Вначале моя месть была для меня только спортом, наслаждением, радостью, но когда я достиг головокружительных вершин Ужаса, то моя слепая ненависть превратилась в просветленную, диалектическую: сатанинскую.

Ясность моего ума показала мне, что обожествленные шефы-коммунисты не были богами. Секрет их силы и ключ их побед лежал в их ненависти, бесконечной ненависти ко всему, и поскольку она была бесконечна, она заставляла коммунистов ненавидеть коммунистов же. На этой фундаментальной истине и базировался план моих действий. Я использовал ненависть и жестокость коммунистов для того, чтобы они уничтожали друг друга. Эта свирепая борьба между марксистами должна иметь что-то общее в своей сущности с природой самого коммунизма... Она началась, когда родился Интернационал (Бакунин-Маркс). И она продолжается, сопровождаемая безжалостным уничтожением друг друга и с бесконечной жаждой крови.

"Зло есть зло для зла", сказали вы мне однажды. Это правда. Я не отрицаю этого, я был преступником, убийцей убийц.

Я мечтал стать самым великим убийцей, убив самого крупного убийцу: Сталина.

Но это "Они" порождают все революции и все войны. Без "Них" не существовал бы сейчас этот Ужас коммунизма. Без "Них" не бросилось бы человечество в данный момент в планетарную бойню, в войну и перманентную революцию, разливающих во всем мире потоки огня.

Да, доктор, это запактировано между Сталиным и Рузвельтом... Восторжествует ли их махинация? Пока что, в данный момент, да.

Уже видно, что "Их" не воодушевляет страстное желание абсолютной власти над всеми людьми на земле, но воодушевляет сатанинское намерение разрушить все Творение.

Я хочу и я должен помешать всему этому, хотя бы потеряв свою жизнь в этом намерении. Я скажу людям, ответственным за Европу, приговоренную "Ими" к смерти, каков план Сталина и Рузвельта. Эти люди пока что еще имеют в своих руках возможность спасти свою родину. Что Гитлер и Сталин должны уничтожить друг друга, а они чтоб не приносили в жертву на глупой бойне свои народы для того, чтобы затем оказаться в порабощении у Сталина или у "Них".

Да, я знаю, какой идиотизм и какая совращенность царят в приговоренной Европе... но в ней пока что не господствует заблуждение, еще существует христианство: еще возможна любовь.

Если благодаря глупости, соединенной с изменой стольких людей достигается то, что христианские государства уничтожают друг друга взаимно, что звучит, как самый бездумный парадокс, то единственной надеждой на спасение оставшихся в живых является существование Сталина. Если будет жив Сталин, то этим будет гарантировано разделение сил зла, их равновесие и нейтрализация, а в конце концов их столкновение и их самоуничтожение. Несомненно было благоразумным то, что вы хотели препятствовать тому, чтобы я убил Сталина. Если он будет жить, то будет налицо разделение сил зла... "И всякое царство разрушится", как сказал Христос.

Поверьте мне, что я с очень тяжелым чувством оставляю вас здесь, если будет необходимо, и я смогу, то я вернусь, чтобы забрать вас с собой. Сейчас это невозможно. Вы являетесь единственным лицом, к которому я привязался в СССР.

Лидия, страсть моей жизни, уничтожила сама себя, думая, что я принес ее в жертву Молоху Коммунизма. И ее смерть показала мне, что в этом аду невозможна любовь.

Моя мать тоже умерла несколько дней тому назад. Господь захотел наградить мою святую тем, что она умерла в неведении. Когда я закрыл поцелуями ее веки, то я почувствовал на себе ее вечный взгляд. Она будет всегда видеть меня, каков я. Я по-

клялся перед Богом и перед ней, что она никогда уже больше не будет стыдиться за своего сына.

И в силу рефлекса это было поводом для этого моего письма к вам, мой друг. Мне не хотелось, чтобы вы чувствовали стыд перед своей супругой и своими детьми, которые уже порядочное время видят вас, какой вы есть. Мужество, мой друг! Ваша жена и ваши дети были убиты по приказу Ягоды тогда же, когда он распорядился убить и вас. Да подаст вам силы Господь и смирится над вами. Я ничего не могу сказать вам, чтобы утешить вас в вашем безграничном горе.

Прощайте, доктор. Там я оставляю вам средства, визы, ключи на случай, если наступит война, и вы захотите бежать. А вы захотите бежать. Если вы освободитесь сами, то я вас найду.

Утешьтесь. Для вас уже закончена эта "красная симфония".

Прощайте, доктор, или навсегда, или до освобождения.

Мужества и смирения желает вам ваш друг

Габриель.

Оглавление

ПОСВЯЩЕНИЕ.	3
I. ОНИ СТУЧАТ В МОЮ ДВЕРЬ	5
II. В ЛАБОРАТОРИИ НКВД	24
III. ДОКТОР ЛЕВИН - УЧЕНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЫТКАМ	28
IV. УБИЙСТВО ПУТЕМ "ЕСТЕСТВЕННОЙ" СМЕРТИ"	42
V. РЕНЭ ДУВАЛЬ, МОЙ СИМПАТИЧНЫЙ НАЧАЛЬНИК.....	67
VI. МОСКВА-ВАРШАВА-БЕРЛИН	74
VII. ПАРИЖ. СОВЕТСКОЕ ПОСОЛЬСТВО	86
VIII. МОЙ АНГЕЛ ИСТРЕБИТЕЛЬ	100
IX. Я ДОНОСЧИК	142
X. ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ	151
XI. ПОКУШЕНИЕ НА МЕНЯ	176
XII. УБИЙЦЫ ДЕТЕКТИВЫ	182
XIII. МАДРИД	200
XIV. ЖИВОПИСНЫЕ ИСПАНСКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ	217
XV. ЗАГАДОЧНАЯ ДУЭЛЬ МЕЖДУ КИЛИНОВЫМ И ДУВАЛЕМ	234
XVI. ВЫЯВЛЕНИЕ ТРОЦКИЗМА.....	273
XVII. ГОСПОДИН ГОЛЬДСМИТ.....	285
XVIII. СМЕРТЬ РЕНЭ ДУВАЛЯ.....	294
XIX. НЕОБЫКНОВЕННЫЙ УБИЙЦА	309
XX. ПОЭЗИЯ ОТЦЕУБИЙСТВА.....	315
XXI. ЛИЧНЫЙ ВРАЧ ЕЖОВА	321
XXII. СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ	332
XXIII. НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ДОПРОС	338
XXIV. ПОХИЩЕНИЕ ОДНОГО МАРШАЛА	354
XXV. ПЫТКА	370
XXVI. ПРИЗНАНИЕ	381
XXXVII. ГИПОТЕЗЫ ЧЕКИСТОВ.....	398

XXVIII. ДВА ПИСЬМА	408
XXIX. ТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА	429
XXX. КОНЕЦ ОДНОГО МАРШАЛА	440
XXXI. ПОЛЕМИКА	452
XXXII. ПОЛЕТ В ПАРИЖ	467
XXXIII. ИЗМЕННИК В ОПАСНОСТИ	475
XXXIV. ПОХИЩЕНИЕ МИЛЛЕРА	491
XXXV. В ИСПАНИЮ	505
XXXVI. ТРАГЕДИЯ В МОРЕ	528
XXXVII. ГЕНЕРАЛ МИЛЛЕР И Я	547
XXXVIII. НИЗВЕРГНУТЫЙ — ЯГОДА	561
XXXIX. И ЭТО ЛЮДИ?	582
XL. РЕНТГЕНОГРАФИЯ РЕВОЛЮЦИИ	601
XLI	678
ТАИНСТВЕННЫЙ РУДОЛЬФ	679
МОЙ МЯТЕЖ	682
СОМНЕНИЯ И СТРАХИ	690
Я ВИДЕЛ "БОЖЕСТВО"	692
Я СОДЕЙСТВУЮ ЗАБОЛЕВАНИЮ ЕЖОВА	697
НОВЫЙ КОМИССАР	698
ГОВОРIT СТАЛИН	699
1-го МАЯ 1939 го ГОДА	705
КОНЕЦ	710

